

БИБЛИОТЕКА
ПИОНЕРА

НИКОЛАЙ
ШУНДИК

НА СЕВЕРЕ
ДАЛЬНЕМ

С. УЛУТ-ЗОДА

УТРО
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Д е т и и з





40 Л Е П
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА



**ИЗБРАННЫЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**

X

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
D ЕТСКОЙ *L* ИТЕРАТУРЫ

*Министерства
Просвещения*

РСФСР

1 9 6 4

НИКОЛАЙ
ШУНДИК

НА СЕВЕРЕ
ДАЛЬНЕМ

Повесть

С. УЛУГ-ЗОДА

УТРО
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Повесть

М О С К В А



НИКОЛАЙ
ШУНДИК

НА СЕВЕРЕ
ДАЛЬНЕМ

Повесть



*Пионерам и школьникам
Чукотки
посвящает
Автор*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

У ЛЕДЯНОЙ ГРАНИЦЫ

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР

На черной линии горизонта, там, где кипящее море сходилось с небом, покрытым снеговыми тучами, виднелась сплошная гряда плавучих льдов. Было трудно представить, чтоб сквозь эти льды мог пробиться в бухту пароход. Но два чукотских мальчика — Кэукай и Эттай и русский мальчик Петя с нетерпением и надеждой высматривали пароходный дым на горизонте.

— Трудно пароходу сквозь такие льды пробиться, — угрюмо сказал Эттай. — А что, если он так и не придет?..

— Как — не придет? Почему так говоришь — не придет? — не очень уверенно возразил Кэукай.

Ветер срывал с мальчиков легкие летние малахаи, обдавал мелкой водяной пылью.

За судьбу парохода, который должен был прийти в поселок Рэн, тревожились не только дети, но и взрослые.

Председатель колхоза Таграт то и дело выходил на крыльцо своего домика, подносил к глазам бинокль. Его жена, Вяля, с группой женщин спешно дошивала из нерпичьих шкур большую партию рукавиц, предназначенных для бригад грузчиков: с парохода должны были выгрузить срубы пяти домов. Комсорг Тынэт, назначенный бригадиром комсомольской бригады, еще и еще раз окидывал критическим взглядом давно уже приготовленные разгрузочные площадки.

Быстро надвигался вечер. Густой туман покрывал море и тундру. Едва-едва мерцали вспышки маяка, возвышавшегося на скалистом утесе недалеко от поселка.

— Спать особенно не укладывайтесь, — посоветовал Таграт колхозникам, собравшимся у него дома. — Пароход, возможно, придет ночью, значит, сразу же ночью и приступим к работе.

А спать в поселке никто и не собирался. Так уж повелось здесь, что прибытие парохода всегда было для чукчей большим и веселым праздником.

Не спали даже дети. Кэукай, Эттай и еще полдюжата мальчиков сидели в комнате Пети, окна которой выходили на море.

— Ой, уже десятый час! — с тревогой глянул на стенные часы Эттай. — Сейчас Виктор Сергеевич придет, спать прогонит.

Не успел Эттай закончить фразу, как на пороге комнаты действительно оказался директор школы. Мальчики встали.

— Папа, не прогоняй нас! Видишь, еще и десяти часов нет... — взмолился Петя, вскакивая со стула.

Виктор Сергеевич провел рукой по черной бородке, сильно тронутой сединой, внимательно осмотрел притихших ребят. С широкими прямыми плечами, в полувоенном костюме, в нерпичьих торбазах¹, он выглядел не по годам стройным и бодрым. Лицо сухощавое, с прямым носом, с резко очерченным, твердым ртом; у голубых глаз — густая сетка лучистых морщинок; ровный смуглый цвет лица оттенялся серебристой белизной седых волос.

— Ну что ж, посидеть еще с полчаса я вам разрешу, — сказал он, — но только с таким условием, что вы примете меня в свою компанию.

— Примем, конечно, примем! — наперебой закричали мальчики.

— Ну, а кто у вас начальник наблюдательного пункта?

— Я! — вытянулся в струнку Петя.

¹ Торбаза́ — меховая обувь.

Непослушный вихор коротко подстриженных белесых волос и несколько конопушек на кончике носа придавали ему шустрый и даже озорной вид. Во взгляде и в четких изгибах припухлого рта чувствовалось что-то своевольное, быть может даже упрямое.

— Доложите обстановку, — скрыв рукой усмешку, приказал Виктор Сергеевич.

— На море по-прежнему туман. Прибой значительно утих. К берегу подошли первые льды! — в один дух выпалил Петя.

— Доложено правильно! Вот так у нас и в журнале написано, — подтвердил Кэукай, сын председателя колхоза Таграта.

В открытом смуглом лице этого мальчика с чуть горбатым носом особенно обращали на себя внимание глаза. Черные и горячие, в узком и длинном разрезе, они выражали малейшие оттенки его настроений.

— О, так у вас и журнал специальный есть! — многозначительно произнес Виктор Сергеевич, рассматривая на обложке старательно нарисованный якорь.

Присев с журналом на кушетку, он спросил:

— Волнуетесь?

— Конечно, волнуемся, — сознался за всех Петя. — А вдруг пароход заблудится да попадет на Аляску, к американцам, или вместе со льдами туда задрейфует!

— На Аляску он не попадет, — возразил Виктор Сергеевич, — а вот попасть в дрейф действительно может.

— На Аляске у меня, кажется, братишка есть, — вдруг задумчиво сказал Кэукай, и глаза у него стали печальными.

— Братишка? На Аляске?! — изумленно спросил Петя.

— Что же ты нам раньше об этом не говорил? — соскочил со своего места Эттай, крепкий, приземистый мальчик с круглым курносим лицом, которому веселые ямочки на румяных щеках и узенькие глаза придавали выражение неподдельной приветливости и добродушного лукавства. Но сейчас в устремленных на друга черных глазах Эттая было величайшее изумление.

Поднялся невероятный галдеж. Забыв обо всем на свете, ребята тормошили Кэукаю, требовали объяснения, что за братишка у него на Аляске и как он туда попал. Виктор Сергеевич молча наблюдал за происходящим.

— Я и сам еще толком ничего не знаю. Это мама вчера о сестре своей рассказывала... Она много о ней думает. И плачет... — чуть слышно добавил мальчик.

Ребята притихли. Они жадно слушали каждое слово Кэукаю.

— Говорят, когда-то в этом поселке жил мой дедушка. Ако его звали... — продолжал Кэукай, не зная с чего ему начать рассказ, и вдруг повернувшись к директору школы, попросил: — Виктор Сергеевич, расскажите вы! Мама и отец много раз говорили, что мой дедушка Ако большим вашим другом был.

Виктор Сергеевич дотронулся рукой до бородки, сдержанно вздохнул:

— Да, был у меня когда-то большой друг Ако. С ним мы вместе на побережье нашем и в тундре народ поднимали, советскую власть организовывали. Если хотите, я расскажу вам кое-что о событиях тех давних лет...

И вот что рассказал Виктор Сергеевич.

...Давно это было, и много воды утекло с тех пор.

Жил в чукотском поселке Рэн одноглазый шаман Мэнгылю. Страшной была власть шамана.

Понравилась ему однажды девушка — дочь охотника Тэркинто. Глянул на нее Мэнгылю своим единственным глазом и сказал:

— Тэркинто, дочь твоя будет моей третьей женой.

Больно стало Тэркинто; еще больше ему стало, когда увидел он, как заплакала с горя его дочь. Но Тэркинто покорился и отvez свою дочь в ярангу¹ Мэнгылю. Мог ли он, простой охотник, послушаться все сильного шамана!

Понравилась однажды шаману собака охотника Кооро. Взял шаман бубен, вошел в ярангу Кооро и сказал:

— Посмотри, Кооро, на свою собаку, хорошенько посмотри, и ты увидишь, что это совсем не собака.

— А что же это такое? — спросил перепуганный Кооро.

— О, это страшное существо! — ответил шаман и вдруг ударил в свой бубен.

Жутко стало охотнику Кооро. А шаман продолжал:

— Это совсем не собака. Это злой дух в образе собаки. Я заберу его с собой. Я — великий шаман, и никакой дух мне не страшен. О! Шаман Мэнгылю умеет как следует обращаться со злыми духами.

— Бери, бери его скорей! — закричал Кооро, совсем забыв о том, что любил свою собаку, как лучшего друга.

Ненасытным был шаман Мэнгылю. Чем больше он грабил народ, тем сильнее разгоралась его жадность.

Шел год за годом, и никто не становился на пути грозного и алчного шамана Мэнгылю.

¹ Яранга — чукотское жилище, сделанное из оленьих шкур, натянутых на деревянный остов.

Но однажды по стойбищу разнеслась поразительная новость: Мэнгылю явился к охотнику Ако и стал требовать, чтобы он отдал свою дочь, красавицу Вяиль, в жены Экэчо. Злобный был человек Экэчо, брат шамана. Никто не любил его в поселке.

И вот поднялся Ако во весь свой богатырский рост, посмотрел в единственный глаз шамана и сказал, указывая рукой на выход из яранги:

— Убирайся сейчас же отсюда! С сегодняшнего дня я не позволю тебе обижать ни меня, ни других!

Шаман явно оторопел. Засмеялся Ако ему прямо в лицо, взял его за шиворот и вытолкал вон.

Ее раз с тех пор выступал богатырь Ако в защиту бедных людей. Много чудесного говорилось о нем в чукотских стойбищах у охотников и оленеводов. И трудно было понять, где в рассказах начало легенды, а где конец точно поведенного события.

Слава Ако бесила Мэнгылю. Много бессонных ночей провел он в тревожных думах, тщетно пытаясь понять, в чем же сила Ако: «Не стал ли он шаманом? Не посетил ли его какой-нибудь могущественный дух? Не победит ли меня Ако в единоборстве?»

И так шаман был занят своими мыслями, что даже во сне искал ответа на них. И вот однажды приснилось шаману, что явился к нему вещий дух Кирвир. Склонился Кирвир над ухом шамана и шепчет: «Пусть отныне тебе, Мэнгылю, станет известно: сила у Ако от его богатырского лука. Тот, кто луком его овладеет, — тот и силой его овладеет, и тогда неразумный Ако станет беспомощным, как детеныш оленя в первый день появления на свет».

Обрадовался Мэнгылю. Так обрадовался, что даже проснулся. Соскочил с постели и закричал:

— Да, да, все дело в его луке! Лук у него и в самом деле богатырский, и стреляет его лук так далеко, так метко, словно винчестер...

На второй, на третий день от яранги к яранге, от стойбища к стойбищу новость пошла: «Чудесный лук у Ако! Волшебным луком обладает Ако! Вся сила Ако — от его богатырского лука!»

Дошла эта новость и до самого Ако. Случилось это так.

Вбежал в ярангу сын Ако, десятилетний мальчик Гоомо. Сбросив с головы волчий малахай, он заговорил торопливо, возбужденно, порой поглядывая на чернобородого гостя, с которым беседовал его отец:

— Глаза мои нехорошее увидели, а уши нехорошее услы-

шали: шаман Мэнгылю за своей ярангой делал заклятье перед мертвой головой оленя. На тебя, отец, он порчу наслать решил. Страшно мне было, очень страшно! Но я подполз по снегу к самой его яранге и стал слушать, о чем шаман с мертвой головой оленя разговаривал. И вот что он сказал: «Ко мне ночью вещей дух Кирвир явился и поведал о том, что вся сила Ако от его лука идет...» А дальше шаман стал вокруг мертвой головы оленя прыгать, в бубен колотить и заклятия выкрикивать. И понял я, что хочет шаман овладеть твоим луком, отец.

Ако посмотрел внимательно на своего сына и сказал, обращаясь к гостю:

— Послушай, Виктор, какая новость обо мне пошла! Не знаю, хорошо ли это...

У гостя засветились в улыбке голубые глаза:

— Все дело в луке, говорят? А вот сам ты как думаешь, Ако, в чем твоя сила?

Крупное лицо Ако с чуть горбатым носом, с черными в длинном разрезе глазами стало как-то по-особенному задумчивым.

— Пусть сила моя будет в луке, — наконец сказал Ако. — Но лук мой — сердце мое, а стрела его — это великий гнев мой. Долго не знал я, куда стрелу направить. Но вот я тебя, Виктор, встретил. У тебя точный глаз, рука у тебя твердая, и ты показал, куда мне стрелу направлять...

Человек с голубыми глазами улыбнулся и сказал:

— Вижу, ты хорошо знаешь, в чем твоя сила. Теперь уже много, очень много простых людей обладают такой же силой, как и ты, Ако. Там, на Большой земле, уже закончилась великая битва. Выгнали простые люди таких богачей, как американский купец Кэмби, как шаман Мэнгылю. Наступило время сделать то же самое и здесь. А то, что говорят про твой богатырский лук, — пусть говорят. Пройдет немного времени, и люди поймут, в чем твоя сила. Поймут, что лук твой — это действительно большое сердце твое, а стрела — великий гнев твой...

Не простые слова сказал человек с голубыми глазами, по имени Виктор Сергеевич Железнов. Бывший политический ссыльный, а тогда уполномоченный Чукотского ревкома, он был представителем новой власти, сметавшей прочь эксплуататоров на дальних окраинах молодого Советского государства.

Еще не всем на чукотской земле ясна была происшедшая перемена. Долго не мог да и упрямо не хотел понять эту перемену американский купец Кэмби. А когда наконец понял, решил как можно скорее убраться с чужих берегов восвояси.

Пригласив к себе шамана Мэнгылю, Кэмби долго уговаривал его покинуть Чукотку и перебраться на американскую Аляску. Шаман упрямылся.

— Пойми же, ты здесь не можешь остаться! — убеждал Кэмби.

Был купец еще молод, но хитер, как старая лиса. Ему нужны были попутчики для бегства в Америку, и он решил найти их во что бы то ни стало.

— Пройдет месяц, пройдет другой, и они заберут у тебя всех собак, не позволят шаманить, не дадут собирать пушнину, и ты погибнешь, — не унимался Кэмби, пододвигая к Мэнгылю стакан с виски.

Единственный, налитый кровью глаз шамана немигающе уставился в одну точку. Скуластое лицо его, расписанное густой сетью татуировки, выражало злобу и растерянность.

— А там, на Аляске, ты станешь еще богаче, — вкрадчиво говорил Кэмби. — Там ты снова будешь великим шаманом. Там уже не станет поперек твоей дороги этот проклятый Ако, отнявший у тебя славу...

Шаман вскочил, стукнул ладонью об стол, топнул ногой, по шаманской привычке завихлял бедрами, загремел бубенцами на поясе и закричал:

— Едем! Я буду им мстить! Великий шаман Мэнгылю будет им мстить с того берега!..

А через несколько дней в поселке Рэн поднялся переполох.

Ако и его русский друг Виктор Железнов ушли в соседние стойбища для организации местных Советов. Шаман Мэнгылю решил воспользоваться удобным моментом. Он спустил на воду свою огромную байдару. Вместе с братом Экэчо и купцом Кэмби, угрожая оружием, посадил в нее нескольких здоровых мужчин: в опасном пути нужны были сильные, умелые гребцы.

Но не хотел покинуть чукотский берег Мэнгылю, не отмстив Ако.

— Я увезу с собой его красавиц дочерей и сына! Пусть сердце Ако почернеет от горя, когда он увидит свою ярангу пустой!.. Тащите их в байдару! — громко приказал шаман.

И тут же брат шамана Экэчо бросился в ярангу Ако. Там он нашел за ворохом шкур старшую дочь Ако Ринтынэ и сына Гоомо.

— А где Вияль? Куда она спряталась? — закричал Экэчо. — Я не могу уехать без нее... Ако не отдал мне Вияль в жены, так я сам заберу ее!

— Я не знаю, где Вияль, она еще утром ушла куда-то из стойбища, — едва слышно промолвила Ринтынэ.

— Выходите скорее на улицу, помогите столкнуть на воду байдару! — скомандовал Экэчо и снял с плеча винчестер.

Ринтынэ и Гоомо, пугливо озираясь на винчестер, вышли на улицу. Едва они подошли к байдаре, как шаман Мэнгылю и американец Кэмби схватили их, заломили им руки за спину и связали ремнями.

— Садитесь в байдару! Будете в пути воду вычерпывать! — кричал шаман и подталкивал их в спину.

Тревожно было в поселке. Плакали женщины и дети. Были собаки. Раздавались выстрелы, злые окрики: это Экэчо рыскал из яранги в ярангу, искал младшую дочь Аكو — Вияль.

— Где, где она? Кто ее прячет? Я не могу уехать без Вияля: она должна стать моей женой! — бесновался он.

В одной из яранг ему сказали, что Вияль ушла с юношей Тагратам на реку ставить рыбачьи сети.

— А-а-а! С женой своим ушла! Так я и там найду ее!..

Экэчо побежал к реке.

...Когда байдара была загружена, шаман Мэнгылю вдруг обнаружил, что пропал его брат Экэчо.

— Экэчо! Где Экэчо? — громко кричал Мэнгылю.

— Он пошел искать младшую дочь Аكو, — сообщил кто-то из охотников.

— В любое мгновение сюда могут явиться русский Железнов и сам Аكو. Я не хотел бы сейчас встречаться с ними, — с тревогой сказал Кэмби шаману.

— Да и я не хочу с ними встречаться, — забеспокоился Мэнгылю.

Время шло, а Экэчо все не появлялся.

— Пусть он подойдет здесь! — наконец не выдержал Мэнгылю. — Я не могу больше ждать его!

Байдара отчалила. Когда Экэчо прибежал к берегу, беглецы уже скрылись в тумане.

— Остановитесь! Вернитесь! — закричал Экэчо, входя по колени в воду. — Остановитесь!..

Но беглецы уходили все дальше и дальше.

Люди в поселке волновались: что они скажут Аكو и другим сородичам, у которых угнали детей? Можно ли утешить человека в таком горе?

А на второй день Виктор Железнов вернулся в стойбище Рэн один. Лицо его было мрачным. Встретив юношу Таграта, спасшего младшую дочь Аكو от погони Экэчо, он тихо сказал, тяжело опускаясь на землю:

— Там вон, за той сопкой, лежит на холме убитый Аكو. Он на сутки раньше меня хотел вернуться домой и теперь уже никогда не вернется.

— Убит! Ако! Добрый богатырь Ако убит! — передавалась из яранги в ярангу страшная весть.

Заунывно запричитали женщины, по старинному обычаю оплакивая покойника.

А русский человек Виктор Железнов, обхватив голову руками, неподвижно сидел возле осиротевшей яранги Ако.

— ...Вот какой случай произошел в нашем поселке много лет назад, когда здесь только устанавливалась советская власть, — после долгой паузы сказал Виктор Сергеевич. — Так попали на чужую землю сестра и брат матери Кэукая. Приходили вести, что Ринтынэ вышла замуж за чукчу Кэргына, также похищенного из нашего поселка, и что у них были дети. Двое из них умерли, а третий, мальчик, примерно вашего возраста, еще недавно был жив.

— Вот он и есть братишка Кэукая! — не выдержал Петя.

Его дернули за рукав: не мешай, мол, рассказывать отцу. Петя послушно умолк.

— Но, как вы поняли, не только Вияль была разлучена в тот день с сестрой и братом, — продолжал Виктор Сергеевич. — У Кэргыла увезли молодого сына Чумкеля... Напрасно Чумкель умолял Мэнгылю и Кэмби не разлучать его с женой, у которой скоро должен был родиться ребенок. Даже слушать не хотели это злые люди. Через месяц жена Чумкеля родила мальчика и дала ему имя Тынэт.

— Тынэт?! — вскочил на ноги Кэукай. — Наш комсорг Тынэт?

— Да, это наш комсорг Тынэт, — подтвердил Виктор Сергеевич.

— Так это выходит, что он никогда, никогда не видел своего отца! — выкрикнул Эттай, да так громко, словно хотел, чтобы его услышал весь поселок.

Поднялся шум. Кто-то опрокинул стул. Эттай кричал, что нужно немедленно отправиться к Тынэту.

Директор, попыхивая трубкой, наблюдал за разволновавшимися мальчиками. На лице его была грустная улыбка.

— Вот пока все, что я могу вам рассказать сегодня... На этом мы кончим. А сейчас — спать.

— А можно еще...

— Нет, нет! — строго перебил Виктор Сергеевич Петю. — Я сказал, что сейчас нужно расходиться по домам и ложиться спать. Пароход, очевидно, прибудет утром. Завтра выходной день, и вы сможете даже помочь при разгрузке...

Мальчики нехотя стали собираться домой.

ПРОЩАЛЬНЫЕ САЛЮТЫ

За ночь прибой утих. Пароход стоял в бухте. Юркие катера сновали между пароходом и берегом, вода на буксире тяжело нагруженные кунгасы¹. Матросы тревожно смотрели на подступающие льды, торопились с разгрузкой. Крикливые чайки парили над морем.

Нина Ивановна Коваленко, сойдя на берег, не отрываясь смотрела на подходившие льды, зябко ежилась, тяжело вздыхала. Что-то враждебное чувствовала она в их молчаливом наступлении. Ей пришла в голову мысль, что это идут посланцы седого полюса, которые вот-вот скуют своим холодным дыханием непослушное море, и не вырваться тогда пароходу из их ледового объятия. Студено дыхание их, казалось, проникло ей в душу. Девушка была угнетена могучей силой Ледовитого океана, о котором, как ей теперь стало ясно, она не имела никакого понятия, хотя и прочла о Севере немало книг.

Невысокая, хрупкая, с грустными темно-синими глазами, она казалась одинокой и затерянной на этом суровом морском берегу. И все же, как никогда, именно в эту минуту в задумчивом лице девушки, с своевольным изгибом нахмуренных бровей, с плотно сомкнутым ртом, чувствовалось что-то очень настойчивое.

Окончив Хабаровское педагогическое училище, Нина Коваленко решила во что бы то ни стало уехать на работу в далекую северную школу, где, ей казалось, она могла больше всего принести пользы. Нина Ивановна знала, что на ее пути встретится много трудностей, и готовила себя к встрече с ними. Даже сейчас ей не приходило в голову раскаиваться в своем решении. Но вот в эту минуту, когда пароход должен был поднять якорь, она затосковала: ведь он еще как-то соединял ее с Большой землей, с родным домом.

— Скажите, вы — Нина Ивановна? — вдруг услышала она звонкий мальчишеский голос.

Девушка оторвала взгляд от огромной льдины, повернулась на голос. Перед ней стояли три мальчика: один русский и два чукчи. Нина Ивановна с любопытством осмотрела их и только после этого ответила:

— Да, я Нина Ивановна.

— А мы думали, вы уже старенькая, и потом, думали, что очки у вас должны быть, — сказал русский мальчик, доверчиво глядя на девушку голубыми глазами.

¹ Кунга́с — небольшое морское судно, обычно буксируемое катером.

— Нет, очков я не ношу...

— Ай, жалко как! В школе у нас пока ни одного учителя с очками нет. На вас надеялись. Очки по-чукотски «тэнлилет» называются, стеклянные глаза значит, — сказал полный краснощекий мальчик; узенькие черные глазенки его лукаво поблескивали.

— Ну ты, Эттай, сейчас начнешь совсем не те слова говорить, какие собирались, — неодобрительно промолвил вполгласа русский мальчик.

— А какие слова вы собирались мне сказать? — заинтересовалась Нина Ивановна.

— Вот я и хотел начать так, как сразу договаривались, — снова заговорил Эттай. — Мы давно знали, что вы на пароходе к нам едете, что имя ваше Нина Ивановна. А вот что тэнлилет у вас нету, этого не знали, и потом не знали, что вы такая молодая...

Эттай открыл было рот, чтобы еще что-то добавить, но все приготовленные слова, как назло, вылетели из его головы. Быстро повернувшись к третьему мальчику, он дернул его за рукав кухлянки и сказал:

— Ну, говори, Кэукай, чего-нибудь! Что ты молчишь, как будто язык откусил?

— Да ты все перепутал, а теперь я и не знаю, что говорить, — недовольно глянул на Эттая Кэукай и, немного помолчав, вдруг весело обратился к учительнице: — Праздник у нас сегодня большой! Пароход пришел, в поселок нам дома́ привезли. Видите, как быстро охотники кунгасы разгружают. Мы им тоже немножко помогаем. Только они нас гонят — боятся бревном зашибить нечаянно...

Нина Ивановна минуту-другую наблюдала, как идет выгрузка. «А верно ребята говорят, — подумала она, — по всему видно, что у людей этих большая радость».

— А потом мы вам хотели вот еще что сказать... — продолжал Кэукай, получив ободряющий толчок кулаком в бок от Пети. — Мы хотели вам сказать, чтобы вы не сильно печалились. Здесь вам будет хорошо. Вы не смотрите, что у нас холодно, — все равно вам тепло будет. А пароход на следующее лето снова приплывет к нашему берегу.

Нина Ивановна смотрела на мальчиков, в глазах которых можно было прочесть огромное желание как-то подбодрить ее, оторвать от невеселых дум, и почувствовала, что у нее и вправду становится теплее на душе. «Значит, меня ждали здесь... Я еще была в пути, а мое имя уже было известно вот этим ребятам», — думала она, дружелюбно разглядывая мальчиков.

— Вот вы стоите здесь одна, а чукчи, которые бревна с

кунгасов выгружают, поглядывают на вас, вздыхают и всё приговаривают: «Тоскует учительница, с пароходом-то трудно ей расставаться», — с какой-то особой доверительностью сказал ей Петя. — А больше всех комсорг Тынэт о вас беспокоит-ся. Собирался несколько раз подойти к вам, но ему отсоветовали. «Подожди, говорят, ей, наверное, хочется одной побыть. Потом поговоришь, успеешь».

Учительница с искренним изумлением поглядывала то на Петю, то на суетящихся у кунгаса чукчей, которые, как и прежде, были поглощены работой настолько, что, казалось, ничего вокруг себя не замечали.

«Ну и много же будет у меня среди них друзей!» — вдруг подумалось Нине Ивановне, но вслух она сказала:

— Ну что же, ведите меня в школу, показывайте, где вы учитесь.

— Вот хорошо! Пойдемте, Нина Ивановна, мы вам каждый класс покажем! — с восторгом приняли ребята предложение новой учительницы.

...Когда Коваленко снова пришла на берег, она сразу поняла, что разгрузка подходит к концу. «Быстро управились. За одну ночь и половину дня пять домов выгрузили», — подумала девушка.

На пароходе по-прежнему суетились люди. Дым из его огромной трубы стал гуще, чернее. Кунгасы уже были водворены на палубу. Загremели лебедки, выбирающие якорные цепи.

На берег спешили люди со всего поселка. И чукчи и русские были с ружьями.

— А льдов, льдов-то сколько! — сказал кто-то из них с беспокойством. — Не затерло бы пароход...

И вдруг пароход загудел глухо, протяжно. Басистый гудок его отозвался в сердце Нины Ивановны. Люди подняли вверх ружья и под чью-то команду дружно выстрелили, салютуя уходящему пароходу.

Пароход снова загудел, и, хотя это был самый обыкновенный гудок, Нина Ивановна почувствовала в нем то тревожно-грустное, что порой слышится в голосе человека, который расстается со своими близкими на очень долгое время. Девушке захотелось тоже попрощаться с пароходом; она быстро окинула взглядом людей, вооруженных ружьями, намереваясь попросить, чтобы и ей дали выстрелить хотя бы один раз. Здесь были и ее новые знакомые: Петя, Кэукай и Эттай. Но, всмотревшись в их взволнованные, торжественные лица, Нина Ивановна поняла, что взять ружье у кого-нибудь из мальчиков просто невозможно.



*Двадцать раз прогудел пароход. Двадцать раз выстрелили
проводжающие.*

Еще раз прогудел пароход, еще раз раздался прощальный залп.

Нина Ивановна быстро подошла к молодому чукче и попросила:

— Послушайте, позвольте выстрелить!

Чукча повернул к ней возбужденное лицо и, неожиданно улыбувшись широкой, доброй улыбкой, ответил по-русски:

— Бери стреляй. А я сбегаю другое возьму — здесь близко.

Нина Ивановна взяла дробовое ружье. Чукча стремглав побежал к ближайшему дому. Пропустил он всего лишь один залп.

— Огонь! — послышался чей-то густой, басовитый голос.

Нина Ивановна нажала гашетку и почувствовала толчок в плечо.

Двадцать раз прогудел пароход. Двадцать раз выстрелили провожающие. Чайки с тревожным криком кружили над морем.

— Грустно, когда пароход уходит, — обратился молодой чукча к Нине Ивановне.

В смуглом лице его, оттененном аккуратно подстриженной черной челкой, было столько участия, теплоты и неподдельной грусти, что Нина Ивановна с благодарностью пожала ему руку чуть повыше кисти и сказала как можно тверже:

— Ничего, на следующее лето снова придет.

— Придет, конечно, придет!.. — обрадованно подхватил чукча. — Мое имя Тынэт. Я комсорг.

— А меня зовут Нина Ивановна. Я учительница.

— Вот хорошо! Помогать мне будешь, а я тебе помогать буду, — сверкнул ослепительной белизной зубов Тынэт.

Высокий, гибкий, с широко раскрытыми черными глазами, с чуть горбатым тонким носом, он с первого взгляда понравился Нине Ивановне своим открытым мужественным лицом и подкупающим прямотушением, которое сквозило в каждом его слове, взгляде, жесте.

— Ну ладно, пока до свидания! Пойду к своей комсомольской бригаде. Работать надо. Новые дома строить надо.

Тынэт еще раз сверкнул своей белозубой улыбкой и побежал к людям, собравшимся у штабелей бревен.

«Ну что ж, у меня уже много знакомых», — облегченно вздохнула Нина Ивановна.

Где-то за угрюмым скалистым мысом глухо прогудел пароход. Девушка вся подалась вперед, навстречу плывущему звуку гудка. Эхо унесло хрипловатый звук далеко в море.

Еще долго стояла учительница на берегу моря. Бесконечные вереницы льдов все двигались и двигались к берегу.

«Где-то там, за этой ледяной чертой, — чужая земля, Аляс-

ка, — подумала Нина Ивановна. — Всего три года прошло, как окончилась война, а оттуда уже снова грозят нам войной. Ну что ж, теперь я буду жить и работать у самой границы, у ледяной черты, за которой начинается чужой мир, самая крупная капиталистическая страна».

От этой мысли Нина Ивановна почувствовала какую-то особенную ответственность за свою работу. Сурово нахмутив брови, она смотрела далеко-далеко, за ледяную черту, думая о том, что очень правильно сделала, приехав сюда, в Чукотский национальный округ, на самый край родной советской земли.

НАВСТРЕЧУ ШАМАНУ

Экэчо вышел в пролив на своей легкой парусной байдаре ночью, когда южный ветер погнал от берега льды. То и дело поглядывая на звезды и на светящийся компас, он шел на север, ловко огибая плавающие льдины. В байдаре его лежало два туго упакованных тюка песцов и лисьих шкур. Посасывая длинную деревянную трубку с медной чашечкой на конце, он зорко всматривался в залитое лунным светом море и думал о предстоящей встрече с братом, шаманом Мэнгылю.

Не однажды встречался Экэчо с братом после того, как тот оставил его на Чукотском берегу, а сам ушел на Аляску. Но особенно памятной для него была первая встреча.

Вышло это совершенно случайно. Экэчо плыл на своей байдаре километрах в десяти от берега. Искусно огибая льдины, он внимательно осматривался вокруг, стараясь найти тюленью лежбище. И вдруг из-за огромной льдины показался нос кожаной байдары. Скоро появилась и вся байдара. Экэчо, подналегший было на весла, чтобы встретиться в море с человеком, вдруг замер: в байдаре он увидел брата!

Ярость охватила Экэчо. Бессознательно он потянулся к винчестеру.

— Ты, однако, забыл, что шамана Мэнгылю пуля боится! — услышал Экэчо сильный и властный голос брата.

Экэчо вздрогнул и выронил винчестер. Безотчетный страх, который он всегда испытывал перед Мэнгылю, снова овладел им.

Шаман вплотную подошел на своей байдаре к байдаре Экэчо. Его единственный глаз смотрел на младшего брата спокойно, чуть-чуть насмешливо.

— А если ты и убьешь меня, то завтра же самый сильный дух мой задушит тебя! — погрозил шаман.

Экэчо, опустив глаза, промолчал. Он искоса поглядывал

на хрупкую байдару Мэнгылю, искренне изумляясь тому, что брат его сумел пересечь на ней опасный пролив.

— Далеко ушел ты от нового очага своего. Не страшно было тебе, что льдины раздавят твою байдару? — наконец заговорил Экэчо с братом.

— Надо море знать хорошо, надо ход льдов знать хорошо — тогда не раздавит.

Мэнгылю умолчал о том, что совсем недалеко от места их встречи его ждет американская шхуна.

— Да, да, ты правду говоришь. Надо море знать хорошо, льды знать хорошо. Тогда, когда ты уходил на Аляску, ты, однако, плохо знал все это, потому и брата родного не взял с собой, — недобро усмехнулся Экэчо.

— Пусть лучше не болтается язык твой для глупых слов. Не ты ли за девчонкой погнался, как волк за оленем? — строго возразил Мэнгылю.

— Да, я за ней погнался. Я не мог оставить Вияль здесь. И я не оставляю ее здесь, пока не убью или не увезу с собой туда, к вам.

— Зачем же тогда ты зло на меня, как собаку на цепи, держишь? — уже миролюбиво спросил у брата шаман и, немного помолчав, добавил: — Туда, к нам на Аляску, торопиться тебе не следует. Трудно на чужой земле жить... — Мэнгылю тоскливо окинул взглядом сопки, идущие вдоль побережья Чукотского моря. — Я вернулся бы сюда, но теперь нет мне здесь места. Только мертвым могу я поселиться здесь, где-нибудь на высоком кургане...

— Да, жители стойбища не простят тебе того, что ты сородичей их на чужую землю увез, — сказал Экэчо, принимая от брата трубку. — Осторожным будь, не встречайся с ними. Особенно не становись на одну тропу с врагом моим, Тагратом. Он взял Вияль в жены. Она теперь стала товарищем по очагу. Таграт отомстит тебе за то, что ты похитил у Вияль сестру и брата.

— Таграт взял в жены Вияль? — спросил Мэнгылю. — И ты спокойно смотришь на их семейный очаг?

— Как смотрю я на их очаг, только мне известно, — зло усмехнулся Экэчо. — Сказать лишь могу, что я не уеду отсюда, пока в очаге этом не поселится горе.

— Я знаю тебя. Ты действительно не уедешь отсюда, пока в очаге их не поселится горе. И я постараюсь помочь тебе.

Мэнгылю, оттолкнув веслом небольшую льдину, шедшую прямо на его байдару, заговорил снова:

— Духи послали мне встречу с тобой. Я шел сюда, чтобы увидеть тебя тайно. Ты не забыл, конечно, дорогу в ту нашу

пещеру на берегу моря, в которой я раньше свои камлания¹ совершал? Поставь в ней небольшую ярангу. Здесь будет мой тайный очаг. Я буду привозить туда американские товары, а ты будешь оставлять там выменные на эти товары шкуры песцов и лисиц. Понимаешь ли ты теперь, зачем я приехал сюда?.. Осторожнее будь. Самой старой, самой хитрой лисой будь, Экэчо. Тайное дело всегда осторожности требует...

Так Экэчо при первой же встрече с братом стал контрабандистом.

В двадцатые годы, когда еще американские шхуны могли безнаказанно подходить близко к Чукотскому берегу, встречался Экэчо с Мэнгылю и по два и по три раза в лето.

Но время шло. Экэчо все труднее и труднее было сбывать американские товары, в которых уже не нуждались ни охотники, ни олениводы. А когда появились пограничники, встречи с братом стали очень опасными. Мэнгылю перестал посещать Чукотский берег...

И вот сейчас Экэчо ушел в море тайно, как вор, под покровом ночи. Слабый ветер гнал под парусом его байдару довольно быстро. Экэчо спешил. По зарубкам на палочке, которые он начал делать с первым восходом солнца после полярной ночи, ему было ясно, что брат его Мэнгылю тоже вышел в море.

Едва забрезжил рассвет, Экэчо стал поглядывать в бинокль — искать сигнальный дым костра, который должен был зажечь Мэнгылю на своей байдаре. Но, кроме плавающих льдов, Экэчо ничего не видел.

Заря разгоралась. Вскоре из воды показался багровый край раскаленного солнечного диска.

На скуластом лице Экэчо, с узкими холодными глазами, с тяжелыми челюстями, с длинным, чуть приплюснутым на конце носом, была тревога. Высокий, костлявый, с неровно острой головой, на макушке которой болталась тоненькая косичка с вплетенной в нее красной засаленной тряпицей, он, казалось, весь превратился в зрение и слух. Временами Экэчо нет-нет да и посматривал на быстро растущее черное облако, надвигавшееся прямо на восходящее солнце.

Вскоре подул холодный северный ветер. Экэчо надвинул на голову малахай, взял в руки шест с железным наконечником. Зоркие глаза его хорошо видели, что с севера к югу гонит сплошную гряду тяжелых льдов.

«Плохо дело! Большие льды навстречу идут. Байдару раздавит», — подумал он, тревожно вглядываясь в горизонт.

¹ Камлание — действия шамана, когда он шаманит.

А льды надвигались. Все чаще и чаще приходилось Экэчо пускать в ход свой длинный шест с железным наконечником. «Зря поехал. Погибнуть можно», — думал он, все энергичнее отталкивая надвигающиеся льдины.

Туча росла. Вскоре она закрыла все солнце. Черная с багровыми просветами, она бурно клубилась, охватывая все большую и большую часть неба. Экэчо с суеверным страхом смотрел на нее, и чудилось ему, что он никогда еще в своей жизни не видел такой тучи.

— Плохой знак. Погибну, однако... — прошептал он.

Встав на ноги, он с силой оттолкнулся багром от огромной льдины. И сразу же вторая льдина ударила байдару в корму. Послышался легкий треск. Экэчо быстро обернулся, осмотрел излом одного из ребер деревянного остова байдары.

«Назад! Домой!» — стучало в его мозгу.

А льды уплотнялись. Толкаясь друг о друга, они переворачивались, порой уходили в воду и с шумом опять вырывались на поверхность в самом неожиданном месте.

Заметив большое ледяное поле, Экэчо устремился к нему. Он уже не в силах был увертываться от ударов льда. В верхней части носа байдары лопнула кожа. Через мгновение появилось отверстие в корме. Вода хлынула в байдару.

Схватив винчестер и сумку с патронами, Экэчо выпрыгнул на льдину.

Несколько секунд он наблюдал, как перетирало его хрупкую байдару между тяжелыми жерновами огромных льдин. А когда обломки ее исчезли, он быстро осмотрелся вокруг и снова уставился с суеверным страхом на черные клубы туч, которые совсем закрыли солнце.

ЗА ЛЕДЯНОЙ ЧЕРТОЙ

Шаман Мэнгылю, вышедший в пролив для встречи с братом на моторном вельботе, принадлежащем самому мистеру Кэмби, вернулся домой ни с чем.

— Наверное, побоялся Экэчо выйти далеко в пролив, — доложил он Кэмби. — А может быть, его льдами затерло. Очень много льдов в эти дни через пролив с запада на восток идет.

— Скажи спасибо духам своим за то, что сам домой живым вернулся, — отозвался Кэмби, тщательно осматривая исцарапанный льдами вельбот. — Ранняя осень в этом году наступает, а быть может, даже не осень, а зима. Посмотри хорошо на небо.

Мэнгылю окинул усталым взглядом покрытое тучами небо и согласился:

— Тучи снеговые. Сегодня ночью, однако, большой снег упадет.

Мэнгылю не ошибся. Ночью на угрюмые аляскинские земли выпал глубокий снег. На вторые сутки ударил мороз, подул ветер и погнал тучи вздыбленного снега с востока на запад. Неумолчный гул из самых разнообразных звуков стоял над окоченевшей землей.

Мальчику Чочою снится, что он лежит на холодной земле и трясется от холода. Он шарит руками, чтобы найти шкуру, которой можно было бы накрыться, и не находит. Какая-то чудовищная птица с громадными черными крыльями летает над ним, обдувая его холодным ветром. Вдруг крылья птицы складываются, она садится возле Чочоя и превращается в одноглазого шамана Мэнгылю. Шаман наклоняется над Чочоем и пристально смотрит в его лицо.

«Пришел тебе глаз выколоть, — говорит он хриплым голосом. — Я одноглазый, и ты будешь одноглазый».

Чочой вскрикивает и просыпается. Его широко раскрытые от ужаса черные глаза бессмысленно осматривают небольшой меховой полог¹. У задней стенки его коптит маленький огонек жирника. Мать сидит к Чочою спиной и поправляет тонкой палочкой витувит². Чочой прислушивается к разноголосым звукам пурги. Скрипят палки остова яранги, хлопают на ветру оторвавшиеся куски ткани, которыми мать чинила рэтэм³. Трясется полог. Пламя жирника все время колеблется, мигает. Мать складывает над жирником колпачком свои руки, чтобы не дать ему потухнуть. Худые пальцы ее просвечивают по краям розовым светом.

— Где же отец? Почему он не приходит? — спрашивает Чочой.

Мать вздрогнула, повернулась в его сторону. Она долго смотрит тоскливыми влажными глазами на сына. Заметив, что он посинел и дрожит от холода, Ринтынэ пошарила в углу полога, нашла рваную шкуру, накинула ее на плечи Чочоя.

— Где отец, говоришь? — переспросила Ринтынэ. По худым щекам ее потекли слезы. — Это надо у Кэмби спросить, — добавила она, — это он послал его перед пургой разыскивать отбившихся оленей.

¹ П ó л о г — спальное помещение в яранге сшивается из оленьих шкур.

² В и т у в и т — болотный мох. Употребляется в качестве фитиля.

³ Р э т э м — сшитые оленьи шкуры, которыми покрывается остов яранги.

Чочой подвинулся к матери, положил свою голову на ее колени. Мать, мерно покачиваясь, изредка всхлипывала. Плакал и Чочой. Ему невыразимо жалко мать, отца, самого себя. Он слизывает с шершавых губ соленые слезы, пугливо блуждает глазами по пологу. А ветер все сильнее и сильнее трясет ярангу. Все сильнее хлопают куски рваного рэзэма. Чочою становится страшно. А мать все качается и качается. Вот она тихо, заунывно запела: «Ого-гого-го-ооо-гог-го-го...»

Монотонное пение, ритмичное покачивание и тепло, идущее от колен матери, постепенно усыпили Чочоя.

Проснулся он перед утром. Пурга уже прошла. Мать не спала. Над жирником висел небольшой закопченный чайник. Чочой, натянув на себя тщательно залатанные меховые штанишки и кухлянку, сел рядом с матерью.

Чайник вскипел. Мать налила кипятку в две толстые глиняные кружки, поставила их на маленькую фанерную дощечку. Достав из сумочки жесткую лепешку, она отщипнула себе небольшой кусочек, остальное отдала Чочою.

Позавтракав, Чочой собрался на улицу. Но в это время чыргин¹ полога поднялся, и тут же показалась в громадном малахае голова мистера Кэмби. Его бесцветные холодные глаза равнодушно осмотрели полог и задержались на шкуре песца, висевшей на тюленьем ремне у потолка. В приподнятый им чыргин проникал морозный воздух.

Заглядывать в полог, пригнувшись до земли, Кэмби было, видимо, неудобно. Он нетерпеливо поморщился, шумно втянул в себя большим красным носом воздух и сказал:

— Ринтынэ, подай-ка этого песца. Он хоть убит раньше срока, но все равно пригодится.

Мать Чочоя испуганно глянула на шкурку песца и, не тронувшись с места, робко спросила:

— Зачем тебе этот песец? Разве муж сказал, чтобы ты забрал его?

— Да, конечно, — немного подумав, ответил Кэмби. — Причиной тому, что я должен взять эту шкурку, твой муж, — неопределенно добавил он.

— Нет, я не отдам песца, — тихо, но твердо ответила Ринтынэ.

Кэмби влез в полог, заполнив его весь своей широкой, в меховых одеждах фигурой, и без дальнейших слов отвязал шкурку песца. Чочой со страхом и с затаенной ненавистью смотрел ему прямо в лицо.

¹ Чыргин — передняя стена полога, открывающаяся снизу вверх; она служит входом в полог.

Вот Кэмби попятился назад, вылез из полога, но тут же снова поднял высоко вверх чоыргин и сказал с добродушной улыбкой на лице:

— Твой муж — скверный пастух: не мог до начала пурги найти отбившихся оленей. Теперь, конечно, назад они не вернуться. В пургу их волки порвали. А мне сегодня надо перед уполномоченным фирмы отчитаться — уплатить за пропавших оленей. Пока вот эту шкурку возьму, а остальное подсчитаем после.

Закончив объяснения, Кэмби опять шумно втянул носом воздух, пошевелил вверх-вниз своими косматыми медно-красными бровями.

— Но ведь муж еще может пригнать оленей, — сказала Ринтынэ.

— Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Вернулся бы сам живым. Пищи-то, кажется, у него никакой не было, а прошло около пяти суток. Да и одет он плохо...

— Да, пищи у него никакой не было... И одет он плохо, — сказала Ринтынэ, низко опуская голову, чтобы не показать своих слез Кэмби.

Не успел уйти Кэмби, как в ярангу явился шаман Мэнгылю. Забравшись в полог, он закурил трубку и, пристально глядя в измученное лицо Ринтынэ, спросил:

— Волнуешься за мужа? — и, не дождавшись ответа, добавил: — Да, однако, беда с ним вполне может случиться. Не любил меня Кэргын. Он всегда против меня зло, как собаку на цепи, держал. Теперь я не могу помочь ему в беде. Пробовал, но духи на это не соглашаются.

Чочой прислушивался к голосу шамана, и ему чудилось, что страшный сон продолжается. Вот сейчас повернется к нему шаман и скажет: «Пришел тебе глаз выколоть. Я одноглазый, и ты будешь одноглазый».

Но шаман даже не замечал Чочоя.

Ринтынэ, опустив голову, молчала. Ее рано постаревшее от болезни и недоедания лицо с глубоко запавшими глазами было неподвижно.

— Позавчера с Экэчо встречался в проливе. О Вяиль и ее муже Таграте брат рассказывал кое-что, — неожиданно сообщил шаман.

Ринтынэ встрепенулась. Встав на колени и судорожно комкая худыми руками упавшие на грудь тяжелые черные косы, она спросила:

— Ты имеешь вести о моей сестре? Говори, скорее говори, что ты знаешь о ней!..

Мэнгылю глубоко затянулся из трубки, закашлялся. Рин-

тынэ крепко сжала в руках свои косы и, не сводя с шамана умоляющего взгляда, напряженно ждала, когда же он заговорит снова. А Мэнгылю все кашлял, и кашлял, и кашлял...

«Вот, раскашлялся из-за своей вонючей трубки!» — с неприязнью подумал Чочой и вдруг испугался: не узнает ли шаман его мыслей?

— Плохие вести сообщил Экэчо о сестре твоей, — наконец снова заговорил Мэнгылю. — От голода почти при смерти лежит она в яранге. Был у нее сын, ты уже знаешь. Так вот, мальчик с месяц тому назад умер...

Ринтынэ посмотрела в лицо шамана долгим взглядом, а затем воскликнула с горестным недоумением:

— Почему такое горе в семье нашей?! Я думала, что хоть сестре моей хорошо живется. Доходили же такие вести сюда, что хорошо живут люди там, на родной земле...

— Твоя родная земля давно уже здесь, — назидательно сказал шаман. — А вести о хорошей жизни на том берегу живые, не следует верить им. Голод на том берегу, болезни на том берегу... А еще забыл сказать тебе: муж сестры твоей, Таграт, бросил твою больную сестру и ушел к какой-то другой женщине. Один Экэчо старается спасти Вияль. Жалеет она теперь, что не стала его женой.

Ринтынэ снова вскинула глаза на Мэнгылю. На мгновение в темной глубине их мелькнул далекий огонек недоверия. Мэнгылю это заметил:

— Мысли твои я понял сейчас. Не веришь словам моим. Враждебный дух отца твоего Ако живет в тебе. От Ако на всех родичей твоих зло пошло. Вот почему горе вселилось во всех людей из вашего рода.

Вглядываясь в одноглазое морщинистое лицо шамана, расписанное черными линиями татуировки, Чочой все плотнее и плотнее прижимался к плечу матери. Он ждал, с нетерпением ждал, когда уйдет шаман из яранги.

Наконец Мэнгылю ушел. Чочой прислушался к его удаляющимся шагам и сказал вполголоса:

— А ты, мама, не верь ему. Дядя Гоомо всегда называет Мэнгылю лгущим человеком.

Ринтынэ слабо улыбнулась сыну, дотронулась рукой до его головы с черными жесткими волосами:

— Большой ты у меня уже становишься. Не боишься такое о шамане говорить?

— Дядя Гоомо не боится, и я не хочу бояться! — уже громче и смелее сказал Чочой. — Я хочу быть таким, как отец, как дядя Гоомо.

— Как отец... — вздохнула Ринтынэ и вяло потянулась к недоконченным торбазам, которые шила для мужа.

Чочой съел оставшийся от завтрака кусок лепешки, быстро оделся и вышел на улицу.

Поселок Кэймид почти весь был завален сугробами. Ветер утих совсем. Из труб домов, из верхушек чукотских яранг и эскимосских хижин ровными столбами поднимался к небу синеватый дым. У фактории Кэмби толпились люди. Чочой жадно всматривался в них еще издали, надеясь увидеть отца. Но здесь его не было. Мальчик посмотрел в ту сторону, где должно было находиться оленья стада. Но и стада он не увидел. Там было пусто. «Наверное, угнали стадо за перевал», — подумал Чочой, не решаясь отправиться в такой далекий путь.

Чочой пошел вдоль поселка. У небольшой хижины, почти совсем заваленной снегом, он встретил своего друга Тома — сынишку инвалида-негра. Том был в рваной оленьей дошке и в истоптанных торбазах. Его худенькое, всегда улыбающееся лицо с ослепительно белыми зубами, с черными живыми глазами сейчас казалось растерянным. Мальчик тревожно поглядывал в сторону соседнего дома.

— Том, ты не знаешь, где сегодня должно находиться стадо оленей? — грустно спросил Чочой.

Том открыл было рот, чтобы ответить Чочою, но в это время плотный комок снега больно ударил его в лицо. Том закрыл лицо руками, и в ту же минуту еще несколько комьев стукнуло его по плечам и голове. Один ком ударил в затылок Чочою. Чочой повернулся, чтобы увидеть обидчика, но очередной комок снега попал ему прямо в глаз. За углом соседнего дома послышался смех.

— Это Дэвид! — негромко воскликнул Том. — Бежим к нам...

— Эй, черномазый! — послышался голос Дэвида, младшего сына мистера Кэмби. — Как тебе нравится белый снег? Он очень идет к твоей черной физиономии.

Том промолчал.

Дэвид вышел из-за угла дома. Это был высокого роста парень лет шестнадцати. Полное лицо его с заплывшими светлосерыми, почти бесцветными глазками казалось добродушным, веселым. Ему и в голову не приходило, что он мог больно ударить мальчиков, которые по сравнению с ним были совсем еще детьми. Быстро нагнувшись, Дэвид опять набрал полные пригоршни снегу.

Том скользнул за дверь своей хижины и поманил Чочоя. Чочой вбежал в хижину следом за ним.

Одноногий жестянщик Джим, отец Тома, сидел на иссечен-

ном обрубке дерева, пристально рассматривая примус. Глянув на сынишку, все еще отряхивающегося от снега, он спросил:

— Что, с Чочоем боролся?

— Нет, сын Кэмби снегом забросал, — ответил Том, робко и почему-то виновато улыбаясь. — Одним твердым снежком так больно ударил в лоб, прямо искры из глаз посыпались.

Джим с ненавистью оглянулся на крохотное оконце хижины. Его черные узловатые пальцы нервно забарабанили по деревянной стойке, на которой лежали всякие инструменты, обрезки жести, гвозди, испорченные примусы, лампы.

Чочой сел на табуретку, а Том прилип носом к окну, наблюдая за Дэвидом.

— Вся жизнь я спасаюсь от них, — задумчиво сказал старый негр; крупное черное лицо его сморщилось в скорбной гримасе. — С далекого юга я пробирался на север. Дошел до самого конца света, а покоя не вижу...

Джим вытер свои сильные руки о фартук, покрывавший его колени, встал, прошелся по хижине, тяжело стуча деревянной ногой.

— Нет спасения моему мальчику, — вздохнул сокрушенно Джим. — Нельзя ему выйти на улицу без того, чтобы не получить сыняка...

На лбу Тома и в самом деле виднелась шишка с небольшой ссадиной.

— Он уже ушел, — со сдержанной радостью объявил Том, имея в виду сына Кэмби. — Пойдем, Чочой, поиграем на улице!

Мальчики вышли на улицу, быстро пробежали вдоль поселка, спустились в глубокий овраг и выбрались на противоположный его берег. Это было любимое место ребят; здесь они играли, никем не замечаемые.

— Том, лови меня! — закричал Чочой и побежал что было силы прочь от Тома.

Вдруг он споткнулся обо что-то черное и упал. Поднявшись, Чочой осмотрел предмет, о который споткнулся... Лицо его побледнело. Мальчик слегка попятился назад. Из-под снега торчали человеческие ноги в обледенелых торбазах.

Захотавший было Том осекся:

— Человек, человек замерз!..

А Чочой смотрел широко раскрытыми от ужаса глазами на белую заплату на левом торбазе и не мог вымолвить ни слова. Он слишком хорошо знал эти торбаза.

Превозмогая ужас, Чочой медленно опустился на колени и, обхватив мертвые ноги отца, заголосил тонко, протяжно,

как это делают обычно чукчи и эскимосы, оплакивая покойников.

Глаза Тома наполнились слезами. Он молча смотрел на своего друга и, не удержавшись, вдруг тоже заплакал, опускаясь на снег.

Необычный плач Чочоя услышали в поселке. К месту происшествия потянулись люди. Пришла и Ринтынэ, поддерживаемая своим братом Гоомо. Узнав в погибшем мужа, она опустила на землю и заголосила так же протяжно и заунывно, как и Чочой.

Люди стояли безмолвно, понуриив головы.

Когда пришел мистер Кэмби, все немного расступились. Кэмби недовольно поморщился, закурил свою коротенькую трубку и сказал с досадой:

— Жаль, очень жаль! Погиб самый лучший пастух... — И, немного помолчав, добавил: — Скажите шаману Мэнгылю, пусть займется похоронами пастуха.

Люди постепенно разошлись.

Весть о несчастье вскоре облетела все дома и хижины поселка. Эскимосы и чукчи выходили на улицу, долго слушали заунывный плач овдовевшей Ринтынэ и осиротевшего Чочоя, тяжело вздыхали и вполголоса проклинали мистера Кэмби.

ПОХОРОНЫ

В яранге погибшего Кэргына собрались эскимосы и чукчи.

Перед чоыргином полога Ринтынэ поставила продолговатое мелкое деревянное блюдо со строганиной из вяленого оленьего мяса. Люди уселись вокруг блюда, принялись есть. Ели они молча, не глядя друг другу в лицо, в точности соблюдая все правила похорон, установившиеся вековыми обычаями.

Усадили около блюда и Чочоя. Но мясо Чочою не лезло в горло. Глаза мальчика, устремленные к стенке полога, за которой лежал мертвый отец, выражали удивление и страх. Он не хотел верить, что отец его умер.

Когда покончили с мясом, люди вошли в полог, сели полукругом у тела покойника. Чочой забился в самый угол, где сидела с окаменевшим лицом мать.

Люди затаив дыхание к чему-то чутко прислушивались. В пологе было так тихо, что у Чочоя зазвенело в ушах. Вдруг яранги слышались шаги.

— Идет! — хором воскликнули люди.

Чочой знал, что, по обычаю, и ему надо было крикнуть это слово, но он опоздал и уже после всех еле слышно промолвил:

— Идет.

Чоыргин поднялся, показалась косматая голова шамана Мэнгылю. Минуту он смотрел своим единственным глазом на собравшихся, потом влез в полог. В руках он держал большой, овальной формы бубен с множеством жестяных кружочков с колокольчиками, трензельками. При малейшем колебании бубен издавал разнообразные звоны — от тончайшего до самого басовитого.

Отложив бубен в сторону, шаман снял свою кухлянку. Косматые волосы его кое-где были заплетены в косички.

Встав на корточки возле головы покойника, Мэнгылю высунил руки из полога, достал походную палку Кэргына с маленьким копытцем на конце, выточенным из оленьего рога. Положив палку к себе на колени, шаман снова высунул руку из полога и достал длинный ременный аркан, сложенный в кольца, хозяином которого тоже был Кэргын. Люди молча наблюдали за действиями шамана. Минуту над чем-то поразмыслив, Мэнгылю привязал концом аркана походную палку к голове покойника, чуть приподнял ее. Чочой резко подался всем телом вперед, на какое-то мгновение узнав в покойнике живого отца, которого он так любил. Но тут же мальчик закрыл глаза и отшатнулся в сторону: он почувствовал в окаменевшем лице умершего что-то незнакомое, чужое.

Шаман низко опустил голову и замер. Через минуту он стал изредка вздрагивать плечами, потом у него задрожала голова, и вскоре все его тело затряслось, завихлялось в судорожных конвульсиях. Люди затаив дыхание, боясь шелохнуться, наблюдали за ним.

Чочой, обхватив мать руками, прижался к ней, не в силах оторвать взгляда от шамана.

Пламя жирника разгоралось, дымя черной копотью. Но огня никто не поправлял.

Быстро отцепив от головы покойника привязанную арканом палку, шаман взял ее в зубы как раз посередине, а концы обхватил руками. Голова его снова затряслась, задрожала мелкой дрожью колени. Выронив изо рта палку, Мэнгылю схватил свой бубен и встряхнул им что было силы над головой. Задрезбуждали трензеля, зазвенели звонки, залязгали косяные кружочки. Судорожным движением прижав бубен к груди, шаман скорчился, словно у него сильно заболел живот. На лице его выступила испарина. Резко выпрямившись,

он ударил китовым усом по бубну и, оскалив желтые крепкие зубы, завыл.

— Гoo! Ooo! Ooo! Гогого!.. А ата, ата! Ата! Га як-кай, якай, якай! — восклицал он и снова принимался выть то на очень высоких нотах, то опускаясь до хриплого баса.

Затем, встав на колени, Мэнгылю завихлял бедрами; загремели побрякушки, закачались воронья голова, свиные когти, медвежьи зубы, прицепленные к шаманскому поясу.

— Го-гооо-го-гооооо!.. — тянул шаман, колотя в бубен.

Все резче и резче становились движения шамана, все громче и громче были его выкрики. Чочой с остановившимися, полными ужаса глазами смотрел на Мэнгылю и все плотнее прижимался к матери своим худеньким вздрагивающим телом. Мальчику порой казалось, что он спит и видит кошмарный сон.

А шаман между тем продолжал бесноваться. Вот он упал в изнеможении на спину рядом с покойником и забился, как в припадке черной болезни.

Люди с окаменевшими лицами смотрели на шамана, и никто из них не осмеливался сделать ни малейшего движения.

Вот, закрыв лицо бубном, шаман неожиданно замер и долго лежал неподвижный, словно бездыханный, как и покойник, находившийся рядом с ним. Чочою показалось, что Мэнгылю умер. Нервы мальчика были напряжены настолько, что ему казалось — вот-вот что-то лопнет у него внутри, и он уже не сможет молчать, не сможет сидеть на одном месте. Горе тогда ему будет: Чочой знал, что шаман может даже убить в припадке бешенства, если помешать его камланию.

Вдруг, отняв от лица бубен, шаман так же неожиданно встал. Лицо его казалось спокойным, но страшно усталым, изможденным.

— Одевайте... — слабым голосом сказал он, натягивая на себя кухлянку.

Шаман вышел из полога. За ним потянулись и другие. В пологе остались лишь мать Чочоя да еще две старушки эскимоски. Они одели покойника в новую одежду, обвинили его тонким нерпичьим ремнем. К груди привязали комок плиточного чаю, курительную трубку, кожаный мешочек с табаком, спички, кусочек мяса. Старушки перешептывались между собой. Они говорили о том, что Кэргын был хорошим человеком, что он непременно должен очень скоро попасть в «долину предков». Из их слов Чочой понимал, что отец хотя и умер, но должен пойти куда-то далеко-далеко, для этого ему и привязывают на грудь мясо, табак, трубку, чай — все, что может пригодиться в пути. «Отец уходит совсем, навсегда уходит».

Глянув на бледные, безжизненные руки отца, Чочой вспо-

мнил, какими они были теплыми и ласковыми еще совсем недавно. Неудержимая сила влекла Чочоя прикоснуться к мёртвым рукам отца, и в то же время что-то останавливало его.

Одна из старух вырезала в боковой стене полога дыру, чтобы вынести тело покойника. По обычаю чукчей, не полагалось выносить умершего через вход полога.

Покойника вынесли. За ним вывели под руки жену и сына. Тело Кэргына положили на узкую, длинную нарту, поставленную на две круглые жердины.

Приложив руку к магическим кругам на груди, Мэнгылю сказал чуть хриловатым голосом:

— Сейчас узнаю, на каком месте желает быть похороненным Кэргын.

Опустившись коленями прямо на снег, Мэнгылю взялся за копылья¹ нарты и принялся двигать ее взад и вперед. Круглые жерди слегка шевелились, вдавливаясь со скрипом в снег. Порой шаман замирал, опустив низко голову, а затем снова принимался двигать нарту, называя сначала шепотом, а потом вслух окрестные места вокруг поселка. Наконец, после того как Мэнгылю назвал один из самых дальних холмов у небольшой речки, на которой Чочой летом любил ловить рыбу, нарта, по мнению шамана, заскользила по жердям легко.

— Нарта скользит сейчас легко. Кэргын желает быть похороненным на этом холме, — сказал шаман, поднимаясь на ноги.

Одна из женщин подбежала к шаману, голой рукой отрянула с его колен снег.

В нарту впряглись несколько мужчин. Низко склонив голову, они медленно тронулись в путь. И как раз в тот момент, когда Чочой рванулся вперед, чтобы вцепиться в нарту и остановить ее, кто-то взял его за плечи и строго сказал:

— Путь у твоего отца далекий. Тебе еще рано с ним в дорогу...

Чочой глянул вверх, увидел склоненное над собой одноглазое лицо шамана. Мальчик беспомощно опустил на корточки и заплакал.

Когда похоронная процессия скрылась из виду, Чочой вошел в ярангу, забился в угол между пологом и сломанной нартой, заваленной домашней рухлядью, и, уткнувшись лицом в колени, замер.

Подавленный горем, долго сидел Чочой на одном месте. И вдруг он ощутил легкое прикосновение к своему лицу. Чо-

¹ Копылья — вертикальные стойки в нарте.

чой вздрогнул, поднял голову и увидел свою любимую собаку Очера. В умных глазах Очера была тоска. Чочой мгновение смотрел в эти выразительные глаза, затем обнял собаку за шею, прижал к своему лицу. Очер поднял кверху морду и завыл протяжно, заунывно.

— Не надо, не надо плакать, Очер, — приговаривал Чочой, глотая слезы. — Я знаю, как тебе жалко отца. Он очень любил тебя, Очер. Я не раз слышал от него, как он тебя хвалил, говоря, что ты вывозил его упряжку в самую сильную пургу, когда нельзя было найти дорогу.

А Очер, прижимаясь пушистой шеей к лицу Чочоя, все выл и выл, словно хотел поведать миру о том, как тоскливо ему сейчас, когда он потерял своего любимого хозяина.

Погруженный в горе, Чочой не заметил, как в ярангу вошел маленький негр Том. Несмело кашлянув, Том подошел к Чочою и, опустившись на корточки, тихо сказал:

— Не плачь, Чочой. У тебя нет больше отца, но у тебя есть мать и друзья.

Чочой, отпустив Очера, вытер глаза грязными кулачками и слабо улыбнулся Тому.

Том тяжело вздохнул и сказал как можно тверже, как и полагается настоящему мужчине:

— Дай руку, мой друг! Клянусь тебе, что никогда и ни за что на свете не оставлю тебя одного в беде!

— Спасибо, Том, спасибо тебе... — тихо ответил Чочой, крепко пожимая худенькую черную руку товарища.

— Пойдем к нам в хижину, — ласково пригласил его Том. — Может, отец мой споет нам свои негритянские песни. Ты же очень любишь слушать, как поет мой отец...

Опираясь на плечо Тома, Чочой встал на ноги.

— Пойдем с нами, Очер, — сказал он, погладив собаку.

Когда Чочой и Том подходили к хижине негра, навстречу им из-за сугроба вышли сыновья Кэмби. Впереди Дэвида шел его старший, восемнадцатилетний брат Адольф.

В противоположность Дэвиду Адольф был тощий, костлявый, с худым благообразным лицом. Темные глаза его казались задумчивыми и даже грустными.

— Вот тебе, пожалуйста, — повернулся в сторону брата Адольф, широким жестом указывая на Чочоя, — этот мальчишка потерял отца. Лет в пятнадцать — двадцать он, быть может, и сам умрет...

Чочой был ошеломлен этой фразой. «Как — умру? Почему так скоро умру?» — хотелось ему спросить, но он молчал, не сводя немигающих глаз с Адольфа. А тот продолжал:

— Народы эти у нас вымирают, как вымирают зубры. Но

для зубров устраивают заповедники, чтобы как-то спасти их от вымирания. А почему же здесь для этих народов ничего не делается?

— Вот колледж окончишь, потом в университет пойдешь, после университета заповедник для эскимосов и чукчей устроишь, бизнесменом станешь!

Еще долго разглагольствовали братья, загородив собой тропинку и словно не замечая, что мальчикам хочется пройти дальше.

— Вот посмотри хорошенько на него...—Адольф присел на корточки и сочувственно улыбнулся Чочою. — Какое худое у него лицо! На этом лице — явные признаки обреченности... А ну-ка, мальчик, сними малахай, покажи нам свою голову...

— Сейчас же зима, он простудится, — не выдержал Том. — У него же отец умер...

— Что? — удивленно поднял брови Адольф. — Простудится? А это кто там подал голос? Это ты, черномазый?

Сочувственной улыбки на лице Адольфа как не бывало.

— Оставь ты их сегодня в покое обоих, — лениво посоветовал Дэвид. — Меня не столько эти щенки привлекают, сколько вот эта настоящая собака. — Он указал глазами на Очера.

У Чочоя болезненно сжалось сердце. Он обхватил руками шею Очера и вполголоса сказал:

— Пойдем, Очер, пойдем скорее назад.

Дернув Тома за рукав, Чочой поспешил отойти со своим другом от сыновей Кэмби как можно подальше.

— Говорят, этот пес — прекрасный передовик в нарте, — донесся до мальчиков голос Адольфа. — Надо будет сказать отцу, чтобы он забрал его. Зачем он теперь в этой яранге? Ведь Кэргын умер...

— Ну да, да, конечно. Кэргын умер, и сын его тоже обречен на смерть, — насмешливо ответил брату Дэвид.

Том и Чочой подошли к хижине Джима с другой стороны. Старый негр впустил мальчиков вместе с собакой.

— Что они вам говорили? — спросил Джим, посмотрев в заплаканное лицо Чочоя. — Я в окно глядел, когда они с вами разговаривали.

— Собака им моя понравилась, — всхлипывая, промолвил Чочой. — Отнимут, наверно.

Джим почесал свою кудрявую голову, потер жесткими пальцами лоб и сказал:

— Ничего, ничего, Чочой... Успокойся, мальчик, успокойся, мой милый мальчик. Все будет хорошо, обязательно все будет хорошо...

Старому негру очень хотелось утешить Чочоя, но было видно, что он нисколько не верит в хороший исход разговора с сыновьями Кэмби. И действительно, глядя на собаку, Джим думал о том, что раз она понравилась Дэвиду и Адольфу, значит, не сегодня-завтра ее заберут.

Заметив, что Чочой никак не может развязать озябшими руками тесемки малахая. Джим, громыхая своей деревянной ногой, бросился ему помогать. Затем, отряхнув с одежки Тома снег, старый негр засуетился у печки.

— Сейчас, сейчас, мальчики, сейчас будет тепло, — приговаривал он. — Сейчас горячего чаю напьемся. Где-то у меня даже припрятан кусочек сахару...

Том проглотил слюну и, подмигнув Чочою, улыбнулся.

Вскоре Чочой сидел за столом, а перед ним дымилась глиняная кружка с горячим чаем.

Джим расколлот ножом сахар, дал самый большой кусочек Чочою и ласково сказал:

— Пей, мальчик, пей. Постарайся забыть о своем горе. Пора уже тебе сердце одевать в железную кольчугу. Иначе трудно будет жить на свете.

Чочой посмотрел в темное, с огромными грустными глазами лицо старого негра и, как ни крепился, вдруг разрыдался. Том, не зная, чем утешить друга, бросил свой кусочек сахару в его кружку. «Нет, наверное, не найдется такого сахара, который мог бы подсластить горе бедного мальчика», — подумал старый негр, присаживаясь рядом с Чочою на грубую скамейку.

Усадив Чочоя к себе на колени, Джим обхватил его лицо руками и поцеловал в лоб. Почувствовав тепло рук доброго Джима, Чочой вспомнил ласковые руки отца и заплакал еще горше.

— Успокойся, успокойся, мой мальчик, — шептал старый негр, слегка покачиваясь, словно баюкая Чочоя. — Я знаю, тяжело, очень тяжело терять родного человека... Да, да, очень тяжело терять родного человека...

Продолжая покачиваться взад и вперед, Джим запел сначала тихо, мягким, бархатным басом, потом все громче и громче. Чочой постепенно успокоился. Утомленный, разбитый горем, погрузился в зыбкую дремоту.

А Джим, слегка покачиваясь, пел и пел о своей большой любви к простым людям, которых обижают и унижают богатые, о безрадостной жизни негров, о том, что они каждую минуту могут ждать смерти, страшной смерти, называемой судом Линча.

Когда Чочой уснул, Джим положил его на свою постель и, обхватив кудрявую седеющую голову руками, глубоко за-

думался. Том, подражая отцу, тоже обхватил свою кудрявую голову и огромными, не по-детски серьезными глазами уставился в лицо Чочоя.

Чочой во сне всхлипывал, порой улыбался. Ему снилось, что отец вернулся из той проклятой «долины предков», куда его увезли по приказанию шамана; снилось, что отец снова шепчет ему что-то ласковое, нежное, а руки его, как и прежде, удивительно теплые.

— Что-то хорошее приснилось Чочою, — сказал Том, невольно улыбаясь.

— Да, — тяжело вздохнул старый негр, — теперь только во сне он и сможет иногда быть счастливым. Возможно, живой отец ему приснился. Не знает, бедняга, что там... — Негр не договорил и махнул рукой в том направлении, куда увезли Кэргына.

А там, на дальнем холме у реки, хоронили отца Чочоя. Его сняли с нарты, раздели догола, положили головой на запад, а ногами на восток.

Изрезав одежду покойника ножом на мелкие кусочки, шаман положил ее чуть подальше от трупа и совершил заклятие, призывая песцов, лисиц и волков скорее съесть тело Кэргына, чтобы «освободить его душу от телесной оболочки и отправить ее в долину предков, к верхним людям».

ЗИМА ИСПУГАЛАСЬ

На Чукотском побережье тоже несколько дней стояла непогода. Сначала дул ветер, шел дождь, потом выпал глубокий снег.

— Рано, совсем рано зима пришла, — сокрушался председатель колхоза Таграт. — Домá собрать не успели до снега.

Но прошли сутки, вторые, и погода установилась. Прояснилось небо. Яркое солнце растопило снег. Словно весной, кругом побежали ручьи. Обрадованные хорошей погодой, колхозники принялись собирать домá. Комсомольская бригада Ты-нэта взяла на себя самую трудную часть работы — доставку бревен на строительные площадки. Под смех и дружные шутки парни зваливали тяжелые бревна на плечи и несли их к местам сборки.

Председатель колхоза несколько минут наблюдал за работой комсомольцев, затем пошел на берег моря и ловко взобрался на высокие вешала с висящей на них вяленой юколой. Долго всматривался Таграт в море, покрытое льдами. Обветренное морскими ветрами, прокаленное солнцем, чуть скула-

стое лицо его с густой сеткой морщинок возле узких, с твердым блеском глаз было сердитым. Несколько минут назад к Таграту подошел мальчик, сын Экэчо — Тавыль, и сообщил, что отец его все еще не вернулся с моря.

— А зачем он в море ушел, не знаешь? — спросил Таграт.

— Сказал, что решил поохотиться, — невесело ответил мальчик.

И вот сейчас Таграт думал о странном поведении Экэчо:

«Нехороший человек. По-прежнему куда-то в сторону смотрит. Колхозной дисциплине не подчиняется. Вот ушел в море, когда у колхозников работы много... Быть может, несчастье случилось с ним? Надо людей от работы отрывать, посылать в море на розыски...»

Таграту вспомнилось, с каким упорством когда-то Экэчо стремился посорить его с Вияль, расстроить их семейную жизнь.

— Нехороший человек, очень нехороший, — уже вслух сказал Таграт. — Много зла он мне сделал. Но, однако, я должен узнать, не случилось ли с ним несчастья. Может, спасти нужно...

Спрыгнув на землю, Таграт позвал Тынэта. Комсорг подбежал к председателю возбужденный, с потным лицом, весело поблескивая белозубой улыбкой.

— Хочу дать тебе очень важное задание, — сказал Таграт, раскуривая трубку.

— Ну что ж, давай! — с готовностью ответил Тынэт.

— Три дня, как не появляется с моря Экэчо. Боюсь, как бы с ним несчастья не вышло. Возьми с собой четырех комсомольцев и отправляйся на самом лучшем вельботе в море.

Лицо Тынэта сразу помрачнело. Он никак не думал, что задание председателя не будет касаться строительства домов.

— А почему он в море ушел? Ты разрешил ему? Так, что ли?

— Ты не знаешь Экэчо? Сам ушел, без разрешения ушел, — нахмурился Таграт.

— Ну, если я найду его в море, поколочу! — вдруг заявил Тынэт; жаркие глаза его по-озорному блеснули. — Поколочу! Или искупаю в море, если он еще сам не искупался!

— Колотить и купать его не разрешаю, хотя я и сам это с удовольствием сделал бы, — серьезно заметил председатель. — А вот на собрании колхоза о нем следует поговорить громким голосом... — И, немного помолчав, добавил: — Ну ладно, хватит нам с тобой разговаривать. Сейчас же собирайся в море.

Тынэт яростно почесал затылок и с выражением величайшей досады на лице сказал:

— Эх, как плохо получается!

Не хотелось Тынэту отрываться от строительства, но через полчаса в сопровождении четырех комсомольцев он ушел на вельботе в море.

Парта Кэукая и Пети стояла возле самого окна. Им хорошо было видно, как работали люди у одного из новых домов.

— Уже потолок настилают, — толкнул Петя локтем в бок Кэукая. — Смотри, смотри, вон Кэргыль пришел...

Действительно, седой старик, тяжело опираясь на посох, смешно задирая кверху редкую бородку и смотрел, как его сосед, уже пожилой мужчина, Аймын, с тремя другими колхозниками настилал потолок. Порой Кэргыль сердито взмахивал своим посохом, отчаянно жестикулировал — видимо, что-то подсказывал людям, работающим наверху.

Нина Ивановна, которую назначили учительницей в четвертый класс, нет-нет да и поглядывала строго в сторону Пети и Кэукая. Тогда Петя толкал друга ногой, мгновенно принимал вид чрезвычайно внимательного ученика, полностью поглощенного решением задачи. Так длилось минуту-другую, а затем неведомая сила заставляла его снова хотя бы углом глаза глянуть в окно.

— Смотрите! Смотрите! Кэргыль наверх полез!.. — почти закричал Петя, вскакивая на ноги. В классе послышался смех. Петя испуганно оглянулся и, встретившись с укоризненным взглядом Нины Ивановны, покраснел до корней волос.

— Железнов, пересядь на заднюю парту третьего ряда, — спокойно, но сухо сказала учительница.

Смущенный Петя быстро собрал свои книги. Кэукай умудрился незаметно дать ему в спину тумачи и тем самым выразить свое неодобрение нелепой выходке друга.

А старик Кэргыль, действительно чем-то очень рассерженный, цепляясь трясущимися руками за леса, к изумлению всех, кто за ним наблюдал, взобрался на сруб дома. Стукнув Аймына палкой по спине, он взялся руками за доску и почти незаметным усилием водворил ее на надлежащее место. Аймын, который долго не мог справиться с доской, смотрел на старика с виноватой улыбкой.

...Прозвенел звонок. Последний урок кончился. Нина Ивановна разрешила ученикам встать. Класс быстро опустел. Веселой стайкой дети разбежались по поселку, устремляясь к тем местам, где строились дома.

Петя и Кэукай подошли к старику Кэргылю, к тому времени уже сошедшему вниз.

— А страшно там, наверху? — спросил Кэукай, заглядывая в морщинистое, с узкими подслеповатыми глазами лицо Кэргыля.

Старик заложил под мышку свой посох, ухватился рукой за бородку и вдруг, весело улыбнувшись, спросил:

— Вам, наверное, очень хочется побывать наверху, — так, что ли, говорю?

— Очень! — вздохнул Кэукай.

— А вы полезайте, — предложил Кэргыль.

— Да нас же не пустят, скажут — мешаем, — махнул рукой Петя.

Тогда старик выхватил из-под мышки посох и погрозил людям, работающим наверху:

— Эй, вы, там! Пустите этих мальчиков к себе, да только смотрите, чтобы они вниз не слетели!

Не успел старик закончить свой строгий наказ, как Кэукай и Петя, цепко хватаясь за леса, уже взбирались на самый верх дома.

— Как хорошо! — с восхищением сказал Петя, осматривая широко раскрытыми глазами поселок и его окрестности.

— Ай, хорошо! — в тон ему произнес Кэукай, всей грудью вдыхая свежий воздух светлого, солнечного дня.

Перед глазами мальчиков ровной линией тянулись до самого конца поселка уже выстроенные и еще строящиеся дома. Оставалось всего лишь несколько яранг, приютившихся у скалистого берега, и они теперь казались чужими, случайно заброшенными в этот поселок.

Снег, растаяв, обнажил пламенеющую темно-красными, коричневыми, желтыми красками осени бесконечную тундру. Густая сетка золотых солнечных бликов трепетала на море. Синее, спокойное, оно казалось нежным, ласковым. Льдины, отражаясь в воде, медленно двигались вдоль берега с востока на запад. Маленькие и большие, они были бесконечно разнообразны. Одни из них напоминали корабли невиданных конструкций, другие — причудливые вазы на тонких ножках, третьи — вздыбленных медведей или охотника в белом халате, притаившегося в ожидании зверя. Иногда подмытая водой льдина обваливалась, и тогда гулкое эхо сотни раз повторяло грохот, унося его далеко-далеко, туда, где синева моря сходилась с голубизной чистого, безоблачного неба.

А воздух казался таким чистым, прозрачным и свежим, что люди невольно вдыхали его всей грудью и еще громче сту-

чали топорами, молотками, еще энергичнее работали рубанками, пилами.

— Эге-ге-гей, Инанто! — донесся чей-то густой, басистый голос с самого конца поселка, где люди уже устанавливали стропила на выросшем доме. — Почему твоя бригада так плохо работает? Что-то вашего дома совсем не видно-о-о!..

— Не туда смотришь. Повыше голову задирай, тогда увидишь! — послышался голос бригадира Инанто.

Веселый смех прокатился по поселку.

— А снегу, смотри, совсем нет! Вот только там, где и летом лежал, в горах остался, — показал на вершины гор Петя.

— Зима испугалась. Ушла зима, — ответил Кэукай и, щурясь, улыбнулся солнцу.

— А Нина Ивановна, наверное, на меня обиделась, — вдруг нахмурился Петя.

— Ничего, ничего, — успокоил его Кэукай. — Я видел, хорошо видел, что она сама чуть-чуть не расхохоталась, когда старик Кэргыль по спине Аймына палкой своей стукнул. Я и сам, понимаешь, даже язык прикусил, чтобы не расхохотаться. Вот, посмотри!

Кэукай, насколько мог, высунул свой язык, чтобы Петя собственными глазами удостоверился, что он действительно прикушен.

Петя рассмеялся.

— О! Он у тебя такой длинный, что, если ты и половину его откусишь, все равно никто не заметит!

Кэукай смешно скосил на свой язык глаза и, словно испугавшись, что язык и в самом деле длинноват, быстро закрыл рот.

— Посмотри-ка, Кэргыль так все и не уходит, — показал глазами вниз Петя.

А Кэргыль действительно, заложив свой посох под мышку, торопливо шагал вокруг дома, покрикивая на колхозников, если они делали, по его мнению, что-нибудь не так.

— Наверное, рад, что скоро из яранги в дом перейдет, — предположил Петя.

— Давай спросим? — посоветовал Кэукай.

Не раздумывая долго, мальчики спустились на землю, подошли к старику.

— Дедушка! Скажи, ты очень рад тому, что скоро в дом перейдешь жить? — спросил Кэукай.

Кэргыль щипнул несколько раз свою седую бородку, не спеша закурил трубку и только после этого очень серьезно ответил:

— В дом не перейду. Всю жизнь я прожил в яранге, в яранге и умирать думаю.

Кэукай и Петя изумленно переглянулись. Петя развел руками, как бы говоря: «Ничего не понимаю», и, прокашлявшись, несмело сказал:

— Как же это получается? Нехорошо как-то получается. На колхозном собрании решили, чтобы все колхозники в этом году перешли жить в дома...

— Стар я, дети. Очень стар, чтобы совсем по-новому жить, — хмуро ответил Кэргыль. — Не уйду я из яранги. Привык к ней. Больше об этом меня не спрашивайте.

— Но как же так? Ты же вот пришел посмотреть, как домá строятся! — горячо, как бы боясь, что Кэргыль не дослушает его до конца, заговорил Кэукай. — По лицу твоему видно, что ты очень рад...

— Рад, это ты правду говоришь, рад, — перебил Кэукай Кэргыль. — За людей в нашем поселке рад, потому и пришел сюда из яранги своей, чтобы вместе с людьми порадоваться. А теперь — всё! Не мешайте мне, я пришел помогать людям...

Кэргыль взял свой посох. Мальчики боязливо покосились на старика и, обескураженные, нехотя отошли от него.

— Не понимаю, чудной он какой-то! — вздохнул Петя.

— «Рад, рад!» А сам, как медведь в берлоге, собирается в своей яранге сидеть! — возмутился Кэукай.

— А знаешь, давай об этом скажем твоему отцу — он же председатель колхоза, — предложил Петя; голубые глаза его смотрели решительно, настойчиво. — Это ничего, что мы как бы на Кэргыля нажалуемся. Для него же лучше будет.

— Конечно, для него лучше, — согласился Кэукай.

...Таграт выслушал мальчиков очень внимательно и улыбнулся одними глазами. Суровое, озабоченное лицо его подобрело.

— Ну что же! Хорошо, что вы мне об этом сказали. Теперь давайте вместе думать, хорошо думать, чтобы Кэргыль согласился свою ярангу покинуть, — предложил им Таграт.

В это время сзади подбежал к мальчикам Эттай. Краснощекое лицо его выражало восторг.

— Идемте! Идемте скорее за мной! Я покажу, где мы будем жить. Отцу моему уже сказали, в каком доме мы жить будем!..

Мгновенно оценив всю важность сообщения Эттая, Кэукай и Петя во весь дух помчались вслед за ним.

Таграт долго смотрел вслед мальчикам, и глаза его лучились.

— Какое сегодня яркое солнце! — тихо сказал он и, вытащив из кармана рулетку, зашагал в самый конец поселка, чтобы проверить, правильно ли наметили закладку фундамента еще для одного дома.

У СОНИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Оправившись от болезни, Соня наконец вышла из дому. Ее поразило то, что на улицу можно, оказывается, выходить без теплой шубы и меховой шапки, что никакой пурги уже нет и в помине, на небе светит ласковое, теплое солнце, а снег хоть и выпал, но скоро растаял.

Соня глянула на море, по которому блуждали плавучие льды.

— Как красиво! — воскликнула она и, тихо ступая, словно боясь, что красота эта неожиданно может исчезнуть, направилась к берегу.

Гигантская стая уток, с шумом летевшая у самой воды, вдруг взмыла над девочкой к небу. Соня испуганно присела и замерла, подняв глаза кверху.

Тысячи уток летели над ней. Долго слышалось бесконечное хлопанье крыльев, пока не раздался где-то слева громкий выстрел из дробовика. Сразу две утки упали на землю. Соня подбежала к одной из них, взяла в руки.

— У, какая тяжелая! — сказала она, доверчиво глядя на подходившего к ней юношу чукчу, в руках у которого было ружье. — А какая голова у нее красивая! Смотри, вот здесь красненькое, а вот зелененькое и синенькое вместе, а вот желтенькое...

Юноша присел около Сони на корточки, улыбнулся.

— А какие белые у тебя зубы! — неожиданно воскликнула Соня. — Ты, видно, чистишь их каждый день и утром и вечером?

Юноша смутился и, немного подумав, сказал:

— Нет, девочка, не чищу, только полощу водой.

— Не чистишь? — удивилась Соня и тут же строго добавила: — Это плохо. Очень нехорошо... А хочешь, я тебе дам зубной порошок и щетку? У нас есть. Я знаю, мне мама позволяет.

— Вот какая ты быстрая, девочка! — засмеялся юноша. — Я первый хотел дать тебе в подарок вот эту утку, а ты уже предложила мне свой подарок.

— Ты хочешь подарить мне утку?

На чистеньком, нежном личике Сони с маленьким, чуть капризным ртом появилась такая простодушная, детская ра-

дось, что юноша схватил вторую, с еще более яркой раскраской утку и сказал:

— А вот из этой я тебе сделаю чучело!

Соня секунду-другую молчала, глядя в приветливое и тоже по-детски простодушное лицо чукчи, и вдруг вздохнула глубоко, всей грудью:

— Какой же это будет красивый подарок!.. А как тебя звать?

— Мое имя Тынэт.

— Тынэт, — повторила девочка. — А меня зовут Соня.

Минут через пять Соня уже мчалась во весь дух от крыльца своего дома на берег, где ожидал ее чукча.

— Вот тебе порошок и зубная щетка! — кричала она, протягивая свои подарки.

Так, сразу же, не успев отойти от своего дома, Соня неожиданно нашла себе друга, с которым даже обменялась подарками.

Но это событие не было единственным у Сони в тот день.

Насмотревшись как следует на море, покрытое плавучими льдами, девочка пошла вдоль поселка, с любопытством рассматривая все, что попадалось ей на глаза.

В одном месте она увидела перевернутый кверху килем деревянной остов чукотской байдары. Соня долго смотрела на остов, гадая, что бы это такое могло быть. Самые невероятные предположения приходили ей в голову. Остов байдары напоминал ей скелет какого-то чудовищного зверя. «Может, это крокодил когда-нибудь был или такая длинная пузатая черепаха?..»

И, когда девочка наконец убедилась, что это чудовище сделано из тонких ремней и из дерева руками людей, она подумала:

«Наверное, это Тынэт хочет сделать чучело кита. Только где же он такое огромное чучело будет хранить?»

Особенное внимание Сони привлекла первая же яранга, которая попала ей на пути. Девочка робко обошла вокруг не виданного ею раньше жилища. То, что яранга имела шатерообразный вид, ей понравилось. «Только если бы отпилить вон те черные палки, которые торчат на верхушке, тогда было бы совсем хорошо», — размышляла она.

Осмотрев ярангу снаружи, девочка подошла к входу, заглянула внутрь. Там никого не оказалось. Полумрак внутри яранги, незнакомые запахи дубленой кожи, дыма, кислого мяса и нерпичьего жира немного пугали ее. Заметив цепь, идущую сверху вниз, на которой висел закопченный чайник, Соня не выдержала и вошла в ярангу.

«Интересно, зачем это он висит на цепи?» — подумала девочка и вдруг заметила внизу, под чайником, угли потухшего костра.

«Ну да, конечно, плиты здесь нет, — рассудила она, — придется чай кипятить на костре».

Долго смотрела Соня на полог, занимавший около трети яранги. Сшитый из оленьих шкур шерстью внутрь, полог не напоминал ей ничего такого, с чем можно было бы его сравнить.

Так и оставив эту загадку неразрешенной, Соня принялась осматривать закопченные перекладыны внутри яранги, на которых висели меховая одежда, оружие, вяленая рыба и еще много совершенно незнакомых ей предметов. Заметив среди них деревянных человечков¹ с уродливыми головами, Соня глубоко вздохнула и подумала: «Какие некрасивые куклы! Если здесь живет девочка, я отдам ей, пожалуй, одну из своих настоящих кукол».

Когда в яранге все было осмотрено, Соня снова вышла на берег моря и вдруг заметила разбросанные по морской гальке оленьи рога.

«Ой, сколько вешалок прямо на земле валяется!» — изумилась она.

Недолго думая Соня принялась складывать оленьи рога в длинный и ровный ряд. Вообразив себе, что они висят на стене, Соня начала мысленно развешивать на них всю одежду, которая имелась в их доме: «Вот здесь будет висеть моя дошка и белая меховая шапка с длинными ушами, а вот здесь — папино пальто, а вот тут — мамина доха...»

Рогов-вешалок было еще много, и Соня собиралась мысленно развесить все, что только могло на них держаться, вплоть до отцовских сапог, внутри голенищ которых имелись для этого петельки, как вдруг позади себя она услышала чьи-то легкие, быстрые шаги. Соня обернулась и увидела девочку-чукчанку таких же примерно лет, как она сама. Черные быстрые глаза девочки с густыми загнутыми ресницами выражали беспредельное любопытство. Миловидное смуглое личико ее было приветливо и чуть-чуть застенчиво.

«А косы у нее точно такие, как у меня! — почему-то обрадовалась Соня. — Только у меня они светлые, а у нее совсем черные».

Соня обратила внимание и на одежду девочки: на ее легкую кухлянку, отороченную пушистым мехом, и на расписные торбазики.

¹ Некоторые чукчи все еще держат в жилище деревянных божков, которые, по их поверью, являются хранителями домашнего очага.

Некоторое время девочки рассматривали друг друга, а затем, словно сговорившись, улыбнулись и наконец сдвинулись с места.

— Гымнан энмэн лиги, гинии нынны Соня (Я уже знаю, твое имя Соня), — сказала черноглазая девочка.

Соня растерянно оглянулась, как бы прося кого-нибудь помочь ей понять, что сказала девочка.

— Соня, — повторила девочка.

— А-а... Да-да, Соня! А тебя зовут как?

— Гымнан нынны Қаала (Мое имя Қаала), — показала девочка на себя пальцем. — Қаала, Қаала, — повторила она.

— Ну, ну, понимаю: тебя зовут Қаала! — обрадованно схватила Соня свою новую знакомую за руку.

Опять наступила пауза.

— А знаешь, давай в вешалки играть! — указала на оленье рога Соня.

Қаала согласно закивала головой и вдруг побежала в ту самую ярангу, в которой только что была Соня.

— Зачем же ты убегаешь? — удивилась Соня.

Но прошло не более полминуты, и Қаала выбежала из яранги с каким-то тонким витым ремнем в руках.

— Чаат! Аркан! — по-русски объяснила она, потрясая ремнем. — Гыт коранэ! (Ты олень!)

Наморщив лобик, Соня изо всех сил старалась догадаться, о чем говорит ей девочка.

— Я говорю, давай играть в вешалки, — робко повторила она свое предложение.

Қаала схватила оленье рога, подняла их над своей головой и плавно побежала вдоль берега.

— Олень! Олень! — кричала она по-русски.

Соне вдруг вспомнилась одна из ее книжек, где были нарисованы олени. И тут же рога-вешалки в ее воображении приобрели совершенно другое значение.

— А-а-а, понимаю... Ты хочешь, чтобы мы играли в оленьей!

Передав своей подруге оленье рога, Қаала быстро собрала тонкий аркан для броска. Соня подняла над головой рога и побежала вдоль берега. Қаала метнула аркан. Петля захлестнулась на отростке оленьих рогов. Соня быстро повернулась к Қаале и восхищенно заметила:

— Вот это здорово ты меня поймала! А ну-ка, еще раз...

Так в первый же день Соня успела познакомиться и вдоволь наиграться с девочкой-чукчанкой Қаалей, сестрой Эттая.

На другое утро они встретились снова. Отчаянно жести-

кулируя, по несколько раз повторяя отдельные слова по-русски и по-чукотски, они удивительно быстро научились понимать друг друга. Выбрав за ярангой сухое местечко, Қаала насобирала палочек, стала что-то складывать. Соня скоро поняла, что Қаала играет в ярангу.

— А еще можно в дом играть! — сказала Соня.

— Дом? Хорошо, дом! — улыбнулась Қаала и, без сожаления разрушив ярангу, принялась сооружать вместе с Соней дом.

— А знаешь, давай в классы играть! — вдруг предложила Соня.

Тут же вскочив на ноги, она начертила на земле классы и бросила камешек из одного класса в другой. Қаала с живейшим интересом наблюдала за Соней и, поняв смысл игры, запрыгала на одной ноге.

— Давай, давай сюда! Делай, как я, — попросила Соня.

За этой игрой и застал их Эттай. Поглощенная игрой, Соня не обратила на него никакого внимания. Зато Эттай рассматривал ее долго и с большим любопытством. «Вот я сейчас расскажу Кэукаю и Пете, как я встретился с русской девочкой», — думал Эттай, пытаюсь между тем понять смысл игры.

— А ну-ка, я попробую, попробовал сам перегнуть камешек из одного класса в другой.

Но игра эта оказалась не такой простой, как думал Эттай. Задетый носком его растоптанного торбаза, камешек отлетел далеко в сторону.

Соня расхохоталась, а Қаала бесцеремонно вытолкала брата за линию классов.

— Ну что ж, прыгайте, как зайцы, — обиженно заметил Эттай, — а я к своим друзьям пойду.

...Кэукай и Петя подошли к дому, где жил новый доктор Степан Иванович Морозов, и внимательно наблюдали за дверью.

— Да спит она еще, наверное, — наконец не выдержал Петя.

— Подождем еще немножко, — попросил Кэукай.

— Зовут ее Соня, — тихонько сообщил Петя, склонившись к уху Кэукая, хотя их и так никто не мог слышать.

Кэукаю не меньше, чем Пете, нравилась та таинственность, с которой они решили во что бы то ни стало повидать дочку доктора, Соню. Поэтому он с выражением чрезвычайной настороженности в лице осмотрелся вокруг, а затем сообщил ему все, что успел узнать о русской девочке:

— Ей семь лет. После дороги она немного болела, потому так долго и не выходила на улицу.

— А ты откуда все это узнал? — вдруг во весь голос, совсем игнорируя то, что они тайком подобрались к дому доктора, спросил Петя.

Кэукай протестующе замахал на Петю руками, предлагая хотя бы немножко пригнуться. Но такой уж упрямый человек был этот Петя! Разочарованный в своем друге, который, оказывается, так заинтересовался девчонкой, что даже знает, сколько ей лет, Петя всем своим видом старался показать, что с Кэукаем ему больше не по пути.

— Тоже мне друг — о девчонке сведения собирал! — еще громче сказал он.

— Да тише ты, язык откусил бы, что ли! — досадливо поморщился Кэукай. И вдруг, сделав несколько шагов за угол, тайнственно поманил Петю пальцем: — Иди сюда, в окно заглянем. Незаметно заглянем...

Это показалось Пете заманчивым.

— Как невидимки? — спросил он.

— Да, да, — поспешил ответить Кэукай, хотя, как назло, совершенно забыл, что значит русское слово «невидимка».

Затаив дыхание, плотно прижимаясь к стене дома, мальчики начали подкрадываться к окну.

— Э-э-э!.. Совсем зря вы собираетесь в окно смотреть! — неожиданно послышался насмешливый голос Эттая.

Петя и Кэукай, как ошпаренные, мгновенно повернули головы.

— Она там, у нашей яранги, с моей сестренкой играет.

— Кто — она? — смущенно спросил Петя.

— Понятно же, Соня, — с самым невинным видом ответил Эттай; узенькие глазки его смотрели насмешливо.

Петя хотел было по-настоящему рассердиться на Эттая, но раздумал:

— Пойдем тогда к твоей яранге, посмотрим, какая она, эта Соня.

— Я так думаю, что у вас ничего не получится, — вдруг заявил Эттай, с достоинством закладывая руки за спину.

— Это почему же? — спросил Кэукай.

— Да убежит она сразу. Соня из мальчиков только меня одного не боится. А всех остальных сильно боится. Пугливая, ну прямо как дикий олень, — поморщился он.

— Тогда вот что: мы подкрадемся незаметно, подползем по-пластунски, а когда хорошо рассмотрим, встанем прямо перед ней, и всё, — предложил свой план действий Петя. В тоне его чувствовалась решительность.

Кэукай и Эттай приняли этот план с восторгом.

— А чего тебе ползти? Тебя-то она не боится, — пренебрежительно заметил Эттаю Кэукай.

— Да чего ей, правда, Эттая бояться, когда он так себе, ни то и ни се, — поддержал Петя.

Поняв, что недавнее его преимущество перед друзьями превратилось в самый настоящий порок, Эттай вздохнул, провёл рукой под носом и сказал, стремясь придать себе как можно более устрашающий вид:

— Заметил я, что последнее время ее как будто бросало в дрожь, когда она на меня смотрела. Так что и я поползу тоже. А то убежит, если увидит меня...

— А все же какая она? — поинтересовался Кэукай.

— Такая... — неопределенно взмахнул руками Эттай. — Голова, руки, ноги...

— Ну да, конечно, и глаза есть, — иронически заметил Петя.

— Да, да, и глаза и уши есть, — не чувствуя насмешки, подтвердил Эттай.

— Э, разве от него добьешься толку! Пойдем сами посмотрим, — предложил Кэукай.

Пригибаясь низко к земле, мальчики побежали к яранге Эттая. Недалеко от яранги они легли на землю и, укрываясь за бочками и камнями, поползли по-пластунски. Когда Пете казалось, что Эттай слишком громко сопит, он поворачивал голову и, делая устрашающие глаза, просил дышать тише.

Девочки заметили подползающих к ним мальчиков, удивленно переглянулись и на время прекратили игру. И, хотя Пете, Кэукаю и Эттаю было совершенно ясно, что они уже давным-давно замечены, все трое упорно продолжали ползти. Соня не выдержала, пошла к ним навстречу и с серьезнейшим видом спросила:

— Интересно, вы всегда так, на животе, ходите или иногда ногами тоже?

Друзья прижались к земле, а затем смущенно переглянулись, как бы говоря друг другу: «А и вправду мы очутились в каком-то глупом положении».

— А чего же? Если хочешь знать, мы и на спине ходить можем, — заявил Эттай.

Петя встал на колени.

— Ну и удивил! Я вот на руках ходить умею! — похвастался он.

— А ну-ка, походи, — доверчиво наклонилась над ним Соня.

Петя встал, отряхнулся от мусора и, состроив рожицу Эттаю, воскликнул:

— Эх, ты, а говорил, что она пугливая, как дикий олень! Показать им, что ли, как на руках ходят?

— Показать, конечно, показать! — горячо поддержал Петю Кэукай.

Соня ему очень понравилась, и сейчас он ругал себя за то, что до сих пор не выучился у Пети ходить на руках и не может изумить русскую девочку своей ловкостью.

И тут Кэукай вспомнил, что никто из всего класса не умеет лучше него делать пятерной прыжок¹ с места. И только он об этом успел подумать, как Петя дернул его за рукав и сказал:

— Я похожу на руках, а ты покажи свой пятерной...

Кэукай посмотрел на друга с благодарностью:

— Хорошо, что ты вспомнил об этом!

Эттай стоял чуть в стороне и, усиленно вращая носком растоптанного торбаза, не отрывал от Кэукай невеселых глаз.

— А ты, Эттай, покажешь девчон... то есть, — запнулся Петя, — девочкам, как мечешь аркан.

Грустное лицо Эттая мгновенно просветлело.

А Соня и Кааля, обнявшись так, как это могут делать только девочки, терпеливо ждали, когда же наконец мальчики начнут демонстрировать перед ними свою ловкость.

РАЗБИТАЯ ТРУБКА

Пять дней носило Экэчо в море на льдине, пока не подобрал его пограничный катер.

Истощенного и окоченевшего Экэчо положили в поселковую больницу. Долго он лежал с закрытыми глазами, пока не почувствовал, что кто-то взял его за руку. Экэчо открыл глаза. Перед ним сидел полный человек в белом халате с чисто выбритой головой. «Это, кажется, новый доктор, который с парохода сошел», — подумал Экэчо, разглядывая добродушное лицо человека с темно-серыми глазами за толстыми стеклами очков.

— Ну что, ожил? — улыбнулся человек в халате. — Меня зовут Степан Иванович, а можно просто — Морозов, товарищ Морозов, а еще проще — врач, или, как еще говорят, доктор.

¹ Пятерной прыжок — прыжок пять раз с места без разбега. Это любимое спортивное состязание чукотских ребят.

Экэчо изобразил на своем лице некое подобие улыбки, замотал головой: дескать, не понимаю, хотя отлично понял, что говорил ему доктор.

— Не понимаешь? Вот досада какая! — вздохнул Степан Иванович. — Ну ничего, мы с тобой договоримся.

Кухлянка с Экэчо уже была снята. Доктор взял стетоскоп и принялся его выслушивать.

— Так, так... Хорошо... — время от времени приговаривал он, поворачивая пациента с одного бока на другой.

Экэчо морщился, но, однако, не сопротивлялся: чувствовал он себя довольно скверно и надеялся, что врач поможет. «Вот уже каким ты стал: радуешься, что к доктору попал, — невесело подумал о себе Экэчо, но тут же поспешил оправдать себя: — Что ж поделать, если меня притащили к нему! Где шамана теперь взять? Перевелись шаманы на чукотской земле. А Мэнгылю далеко... Однако больше я никогда Мэнгылю не увижу...»

— Ну, ничего страшного нет! — весело сказал доктор. — Истощен немножко. Но мы тебя здесь подкормим. Только сначала понемножку есть будешь, совсем понемножку. Ты уж не обижайся, — попросил Степан Иванович, нисколько не смущаясь тем, что больной, как казалось ему, совсем не понимает русских слов.

Озабоченно почесав мизинцем лысину, доктор энергичной походкой вышел из палаты.

Через три дня Экэчо выпустили из больницы. Он знал, что с ним будут серьезно разговаривать в правлении колхоза, и уже сочинил историю, как он выехал в море перед рассветом, чтобы поохотиться немножко, всего лишь до утра, и как раздавило его байдару и ему пришлось плавать на льдине в море.

Но Экэчо ошибся, полагая, что ему придется разговаривать только с членами правления. Отправившись в правление колхоза, он за углом одного из строящихся домов повстречался с комсоргом Тынэтом.

— А, вот хорошо, что я тебя увидел, — тоном, не обещающим ничего доброго, сказал Тынэт.

Экэчо окинул его неприязненным взглядом с ног до головы и, потянувшись к трубке, ответил:

— А я не очень рад встрече с тобой. Можно было бы нам и разойтись спокойно.

— Из-за тебя я два дня с четверьмя комсомольцами на вельботе по морю лазил, известно ли тебе это? Два дня! Понимаешь ты или нет?

— А зачем тебе так нужны были эти два дня? Невесту

за эти два дня у тебя украли — так, что ли? — усмехнулся Экэчо, протягивая Тынэту трубку.

Тынэт схватил трубку Экэчо и в запальчивости бросил ее в стену дома. Трубка раскололась, а медная чашечка отскочила в сторону, рассыпав по земле дымящийся табак.

— Ты... ты что это сделал?! — задохнулся Экэчо.

— Я злой, сильно злой на тебя! — закричал Тынэт. — Я поколотить хотел тебя! Ты украд два дня у меня и моих товарищей!

— О, ты полоумный человек! Знаешь ли ты, что эта трубка в руках уже четвертого колена рода моего?..

Экэчо поднес к глазам обломки трубки. Редкая борода его дрожала, рот нервно подергивался.

— Трубку тебе жалко? А того, что ты у нас два дня и две ночи украд, тебе не жалко? — не унимался Тынэт; черная челка то и дело падала на его гневные глаза: Тынэт энергично взмахивал головой.

— А-я-яй! Какими стали молодые в наше время... — вполголоса произнес Экэчо, не отрывая глаз от обломков трубки. И вдруг, подняв кверху руки с разбитой трубкой, он метнулся прочь от Тынэта: — Смотрите, люди! Хорошо смотрите, какими нынче молодые стали! Тынэт трубку мою разбил! Тынэт трубку разбил, перешедшую в четвертое колено рода моего!..

Из домов и яранг выходили колхозники; они выслушивали Экэчо, сокрушенно качали головами, ощупывали обломки трубки.

«Ай, как нехорошо получилось! Совсем нехорошо... И зачем только он сунул мне в руки эту вонючую трубку!» Тынэт хорошо знал, какой огромной ценностью у его народа считается фамильная трубка. Он также знал, что с курительной трубкой связано много суеверий. «Ай, голова моя — как у глупой нерпы!» — сокрушался Тынэт.

А Экэчо между тем шел от яранги к яранге, от дома к дому и всем показывал свою разбитую трубку, сетуя на грубость и неуважительность современной молодежи к старшим.

Петя, Кэукай и Эттай уже давно крутились там, где останавливался Экэчо со своей трубкой.

— Тынэта все время ругают! Другие тоже комсорга ругают! — тревожно шептал Эттай.

— Ничего. Сейчас будет колхозное собрание. Мой отец такое скажет Экэчо, что он и о трубке своей забудет, — ответил Кэукай, неприязненно глядя на Экэчо.

— Да, конечно! Таграт обязательно заступится за Тынэта, — с уверенностью сказал Петя.

Экэчо знал, что сейчас на собрании его будут крепко ру-

гать за то, что он не подчиняется колхозной дисциплине. Чтобы как-нибудь отвлечь внимание от себя, он решил пожаловаться на Тынэта. «Хорошо, что я этому полоумному парню сунул в руки трубку, а то просто молчать пришлось бы», — думал он, наблюдая за тем, как собирались в клуб колхозники.

Вскоре началось собрание. Первое слово предоставили Экэчо, чтобы он рассказал, почему упорно цепляется за старую жизнь, почему до сих пор приходится говорить о нем как о прогульщике и отсталом человеке.

Экэчо встал, поправил на животе ремешок, перепоясывавший кухлянку, и крепко вцепился в него жилистыми руками.

— Может, не все поймут меня, но старики, пожилые люди понять должны, — произнес он притворно-жалобным тоном. — Давно так получилось, что жители нашего поселка невзлюбили меня за брата моего, Мэнгылю. Много зла сделали эти люди. Обидные слова мне говорили, никогда мне не верили. А разве я виноват, что брат мой плохим человеком оказался? Разве я виноват, что он сородичей наших на чужую землю увез?..

Экэчо еще хотел что-то сказать, но тут случилось то, чего он никак не предвидел. Со своего места быстро встала Вияль и, в упор глядя в лицо Экэчо, громко сказала:

— Ты, Экэчо, лучше бы не вспоминал тот проклятый день, когда наших сородичей на чужую землю увезли, когда какой-то злой человек отца моего, Аю, убил!.. Не ты ли тогда людей винчестером пугал и помогал шаману Мэнгылю и американцу Кэмби загонять людей в байдару?..

Словно задохнувшись, Вияль на мгновение умолкла. Еще свежее лицо ее, с вздрагивающими тонкими ноздрями, с гневными жаркими глазами, казалось Экэчо в это мгновение прекрасным. И его опять захлестнула застарелая злоба. «Ай, проклятая женщина! Сколько лет подряд ты мучаешь меня!» — мысленно обругал он Вияль, а вслух не очень смело сказал:

— Разве женщина, которая вмешивается в беседу мужчин, может сказать что-нибудь дельное?

— А разве ты забыл, как волком гонялся за мной, чтобы и меня туда, на чужую землю, увезти? — выкрикнула Вияль, судорожно сжимая в руках переброшенные на грудь тяжелые черные косы.

Экэчо почувствовал, что разговор принял очень опасный поворот. Мгновув исподлобья взгляд на враждебно притихших людей, он повернулся в сторону председателя собрания Таграта, как бы говоря ему: порядок, кажется, есть такой, что не должны перебивать на собрании говорящего человека. В глу-

бине твердых, суровых глаз Таграта на мгновение вспыхнула ненависть. Экэчо поежился от этого взгляда, неловко переступил с ноги на ногу.

— Ты, Вияль, сядь. Не твоя очередь говорить, — насколько мог спокойно сказал Таграт своей жене.

— Ай, как хорошо твоя мама сказала! — Петя крепко вцепился руками в плечо Кэукай.

С трудом овладев собой, Вияль села на место.

— Ну что ж, говори, Экэчо, дальше, — предложил председатель.

— Да что ж говорить мне... — обиженно промолвил Экэчо. — Известно же всем, как боялся я брата, — не меньше, чем многие, кто здесь сидит, боялся я Мэнгылю. Зачем же на меня смотрят люди так, как смотрят волки на приبلудившуюся в их стаю собаку? Зачем вот мальчишка Тынэт схватил мою трубку и разбил ее вдребезги? — Экэчо вытащил дрожащими руками из-за пазухи обломки трубки, показал их собранию. — Тяжело мне, люди, жить так на свете, — все больше и больше входил Экэчо в роль обиженного человека. — Вот зачем Тынэт трубку разбил, которая перешла в четвертое колено рода моего? Могу ли я теперь передать ее моему сыну?..

— У-у, как старая лиса, хвостом метет, — тихонько промолвил Эттай.

— Ничего, сейчас оборвут ему этот хвост, — отозвался Кэукай.

— Известно же всем: курительная трубка является лучшим хранителем человека от злого начала, — продолжал Экэчо. — Чего теперь я должен ждать, когда лишился лучшего хранителя?

Таграт заметил, что слова Экэчо о его трубке подействовали на некоторых колхозников. Он посмотрел на хмуро молчавшего Тынэта, укоризненно покачал головой. Тынэт виновато вздохнул и, подперев голову руками, неподвижно устался в пол.

Рядом с Тагратом в президиуме сидел директор школы Виктор Сергеевич Железнов. Чукчи привыкли к тому, что директор никогда не пропускал колхозных собраний. Много лет они прожили вместе с ним и хорошо знали, сколько сил положил этот человек на организацию колхоза. Не было ни одного трудного дела, в котором не помог бы им Виктор Сергеевич Железнов.

Короткое, но взволнованное выступление Вияль напомнило Виктору Сергеевичу далекие годы, когда он впервые попал на Чукотку. Одни воспоминания сменялись другими, как пролетают стаями птицы. Еще в молодости, когда загнали его

царские чиновники в ссылку в этот далекий, тогда еще совсем дикий край, он со всей страстью русского человека-подвижника взялся за просвещение чукотского народа.

Отшумели грозные годы борьбы с интервентами, с бандами колчаковцев, с местными богатеями, ушли в прошлое трудные годы организации первых чукотских школ, больниц, колхозов. Во всем этом Виктор Сергеевич принимал самое деятельное участие. Он первый написал школьные учебники на чукотском языке, составил первые чукотские словари. И школа его в поселке Рэн была не простой школой: здесь коллектив учителей под руководством Виктора Сергеевича вел напряженную творческую работу по созданию методических пособий для чукотских школ, по переводу детской литературы с русского на чукотский язык. Много записал Виктор Сергеевич чукотских легенд и сказок. Его сборники сказок, изданные в Хабаровске и Ленинграде, были дороги на Чукотке и детям и взрослым. «Это человек, любящий наши сказки и сказания. Это человек, любящий чукотский народ», — так говорили чукчи о Викторе Сергеевиче Железнове.

И вот сейчас, когда чукчи были взволнованы необычным разговором на колхозном собрании, многие из них нетерпеливо да и поглядывали на директора школы, ждали с нетерпением его слова, потому что знали, насколько слово его справедливо.

«Да, из-за этой трубки Экэчо удалось на время отвлечь от себя внимание, — думал Виктор Сергеевич, слушая суровую отповедь Тынэту его деда Кэргыля. — Ну, да ничего. Посмотрим, что будет дальше...»

Экэчо, опустив голову, с затаенной радостью слушал слова Кэргыля. А старик, потрясая в воздухе посохом, разошелся не на шутку:

— Мне стыдно теперь знать, что ты внук мой, Тынэт! Я жалею, очень жалею, что не колотил тебя палкой, когда ты был мальчишкой. Может быть, ты был бы умнее, может, после этого ты стариков стал бы почитать!..

— Ай, как жалко Тынэта! — сокрушался Кэукай, сочувственно глядя в его сторону.

— Вот сейчас выступит твой отец, выступит мой отец — защитят Тынэта, — утешал себя и своих друзей Петя.

— А может, ты, как и Вяль, вспомнишь, что твой сын Чумкель, а мой отец, которого я так никогда и не видел, тоже на чужую землю угнан? — вдруг обратился к своему деду Тынэт.

Кэргыль осекся, замолчал и, посмотрев в сторону Экэчо с окровавленной ненавистью, сел на свое место.

Долго тянулось молчание, от которого Экэчо было не по себе. И вот наконец председатель объявил, что будет говорить Виктор Сергеевич Железнов. Экэчо почувствовал, как зашепило куда-то его сердце. «Так, так, послушаем, что скажет друг врага моего Аю», — думал он со страхом.

«Вот сейчас Тынэт высоко поднимет голову», — заранее радовался Петя.

Эттай, необыкновенно возбужденный, попытался даже встать на скамейку, чтобы лучше видеть, как директор школы будет заступаться за комсорга и ругать Экэчо. Оступившись, он полетел на пол. На него зашикали.

Виктор Сергеевич дотронулся рукой до своей бородки, строго взглянул на Тынэта, потом перевел взгляд на Экэчо.

— Кэргыль правильно ругал своего внука, хотя, быть может, уж слишком громким голосом, — начал директор школы.

Среди охотников пронесся одобрителный шепот. Тынэт еще ниже опустил голову. А Петя, ошеломленный совсем неожиданным поведением отца, не хотел верить ни ушам своим, ни глазам. Виновато взглянув на Кэукая, а затем на Эттай, он весь подался вперед и замер, ожидая, что скажет отец дальше. На носу его, там, где виднелось несколько крошечных конопушек, выступили бисеринки пота.

— Я тоже хочу перед всеми людьми поругать Тынэта, — продолжал Виктор Сергеевич. — Парень он хороший, лучший охотник в нашем колхозе, но слишком горячий и потому иногда делает глупости. Зачем ему понадобилось ломать трубку Экэчо? Почему он не поступил совсем по-другому?

«Вот оно, начинается! — тревожно заерзал на своем месте Экэчо. — Сейчас он ко мне перейдет».

— Почему Тынэт не дождался собрания? — строго спрашивал Виктор Сергеевич. — Всем понятно: у него есть причина сердиться на Экэчо. Он не зря сейчас напомнил своему дедушке про отца. Кроме того, Тынэту пришлось искать Экэчо в море в то время, когда его бригада дома строила. Тынэт недоволен, сильно недоволен, как и все охотники поселка, тем, что Экэчо часто идет в сторону от людей, делает так, как нравится только ему одному. Вот об этом Тынэт должен был прямо, без бранных слов сказать Экэчо вот здесь, на собрании. Вот как надо было сделать тебе, Тынэт!

Комсорг поднял наконец голову, прямо посмотрел в глаза Виктору Сергеевичу:

— Понятно ли сейчас тебе, почему тебя здесь, на собрании, ругают?

— Понятно. Хорошо понятно. Правильно ругают, — громко, но твердо сказал Тынэт.

Опять среди охотников пробежал одобрителный шепот. А Петя, почувствовав огромное облегчение, повернулся к своим друзьям и прошептал скороговоркой:

— Не так, как мы думали, но все равно хорошо.

— Ну, а теперь нужно сказать несколько слов о самом Экэчо.

Виктор Сергеевич сделал паузу. Снова наступила тишина.

— Много здесь слов сказал Экэчо. Человек он умный, но напрасно думает, что все остальные глупее его. Почему ты, Экэчо, не сказал здесь слов, идущих от сердца? Почему трубкой своей прикрыться хотел? Тынэт, конечно, сделал плохо, и его следовало тебе поругать. Но почему ты больше ничего не сказал? Люди нашего поселка хорошо тебя знают. Люди нашего поселка хорошо тебя помнят, каким ты был, когда здесь жили Мэнгылю и американец Кэмби. Люди нашего поселка простили тебе все зло, которое ты им причинил. Почему не ценишь этого? Почему не становишься настоящим другом всем людям нашего колхоза? — Голос Виктора Сергеевича звучал суровой: — Вот ты сказал, что живешь, как собака, которая попала в волчью стаю. Ты лжешь, Экэчо! Ты живешь среди людей, среди очень добрых людей. Иначе они не забыли бы того зла, о котором Вияль была вынуждена вспомнить. Подумал ли ты, какое горе на сердце у Вияль, у которой увезли на чужую землю сестру и брата? Подумал ли ты, какое горе на сердце у Кэргыла, у которого отняли сына? А понимаешь ли ты, что творится на душе Тынэта, у которого украли отца!.. Видно, не понимаешь и понимать не хочешь...

— Верно! Очень правильно! — не выдержал кто-то из охотников.

Напряженная тишина взорвалась. Многие вскочили, просили слова.

Со всех сторон доносились до Экэчо гневные возгласы:

— Верно, очень верно Виктор Сергеевич говорит!

— Он сказал то, о чем много лет думали мы, когда на тебя, Экэчо, смотрели!

— Ты сам волк, Экэчо, а хочешь казаться зря побитой собакой!

Экэчо словно врос в скамейку.

«Это все он, русский этот, друг моего врага Ако, сделал», — пронеслось в его голове.

Таграт минуту две вслушивался в гневные голоса охотников, затем встал и поднял руку, пытаясь навести порядок.

Колхозники один за другим постепенно умолкли. Но от этого Экэчо легче не стало. Охотники выступали уже органи-

зованно и говорили о том, что давно накопело у них на сердце. Еще ни разу в жизни не разговаривали с Экэчо так беспощадно, без всяких недомолвок.

Слово взял Таграт:

— С тобой у меня мог быть особый разговор. Но раз тебе разрешили сегодня сказать на собрании все, что ты хотел, то и я скажу все. Прямо вот перед людьми скажу!.. Подними голову, в глаза мои посмотри. Не ты ли вот уже много лет пытаешься зло поселить в моем семейном очаге? Или мало тебе горя, которое ты со своим братом принес нашей семье?..

«И это припомнили, всё припомнили!» — думал Экэчо. Ему казалось, что собранию не будет конца. Несколько раз он порывался закурить, но его дрожащие руки нащупывали только обломки трубки. «О, проклятый день, самый проклятый в моей жизни день!» — повторял он мысленно, вытирая руками красное, потное лицо.

...После собрания Экэчо долго бродил по берегу моря.

Страх, вызванный гневными словами колхозников, постепенно проходил, но злоба росла. «Как мальчишку выругали! О Тынэте и трубке моей совершенно забыли. Это русский положил разговору такое злое начало. Это он заставил их сказать все».

Пройдя из одного конца поселка в другой, Экэчо решил заглянуть в ярангу старика Кэргыля.

Кэргыль принял его не очень радушно, но чай пить пригласил. Экэчо пил молча, потом наконец спросил:

— Слыхал я, что ты не хочешь переходить в дом из яранги?

— Это правда. Привык я к своему жилищу, да и стар уже слишком, чтобы в новом очаге жизнь начинать, — неопределенно отозвался Кэргыль.

— Спасибо тебе, Кэргыль, что Тынэта отругал. Тяжело мне очень. Если бы ты не заступился за меня на собрании, наверное, я рассудка лишился бы от обиды.

Кэргыль промолчал, протягивая Экэчо свою трубку.

— Я тоже в дом переходить не буду. Жилище чукчи — яранга... Не стало настоящих людей. Мало таких, как ты, Кэргыль, осталось на нашей земле.

Поглощенный своими мыслями, Экэчо не замечал, как постепенно темнело лицо Кэргыля.

— Жить стали чукчи, как пришельцы белолицые, думать стали, как пришельцы белолицые, и говорить так же, как они, стали, — продолжал брюзжать Экэчо.

Кэргыль наконец не вытерпел. Он почти вырвал из рук Экэчо свою трубку и сказал, стараясь не повышать тона:

— Не знаю, как я говорить сейчас буду — как белолицый или как чукча, но я так скажу тебе: иди-ка из моей яранги куда хочешь! Недобрый ты человек, Экэчо, ты злой человек, настолько злой, что тебе и в голову не пришло: а не думает ли старик Кэргыль сейчас о своем сыне Чумкеле? А я думаю о нем! Да, да, думаю о нем. А ты уходи из моей яранги, не мешай мне о сыне думать!.. Не ты ли помогал брату своему на Аляску угонять Чумкеля?

Экэчо молча поднялся и вышел из яранги.

— Вот так лучше будет, — бросил ему вдогонку Кэргыль, а сам подумал: «Зря я, однако, так сильно ругал Тынэта за разбитую трубку. Понять надо было гнев его...»

СЫН ЭКЭЧО

Ученики Нины Ивановны, кроме одного русского мальчика Пети Железнова, были чулки. И, хотя они в большинстве своем говорили по-русски еще до школьного возраста, учительница чувствовала: ей необходимо знать чукотский язык. Надо как можно быстрее ознакомиться с бытом, с обычаями чукотского народа, с их привычками, навыками. Учительница понимала, что все это поможет ей как следует изучить характеры своих учеников.

Внимание молодой учительницы очень быстро привлек к себе сын Экэчо, Тавыль.

Неряшливо одетый, в грязной, засаленной рубашке, с длинными всклокоченными волосами, заплетенными сзади в две косички, он заметно выделялся среди других школьников. Худенькое, болезненное личико этого мальчугана часто было печальным, иногда озлобленным.

Не знала еще Нина Ивановна, что отец Тавыля делал все возможное, чтобы вытравить у сына любовь к школе, к учителям и товарищам. Иногда Экэчо удавалось озлобить сына. В такие дни Тавыль приходил в школу хмурый, с раздвоенной душой. Чувствуя неприязнь со стороны одноклассников, он замыкался в себе, забивался в угол и, обозленный, начинал придумывать, какую бы пакость учинить тому или другому товарищу по классу. Порой он умышленно ломал перья или обливал тетради чернилами. Но от этого ему становилось не легче, а еще тяжелее.

Успокоение к нему приходило, когда в классе появлялась Нина Ивановна. Начинался урок. Шла минута за минутой, хмурое лицо Тавыля постепенно прояснялось, и вскоре его узкие глазенки начинали блестеть так же весело, как и у его товарищей.

Нина Ивановна замечала это. Часто она обращалась к нему с вопросами, предлагала вслух прочесть рассказ о честном поступке мальчика или вспомнить, не было ли и в его жизни подобного случая.

И Тавыль, переживая мучительный стыд за свои проделки, постепенно всей душой устремлялся к тому доброму, к чему увлекала его учительница, мысленно перевоплощался в героя прочитанного рассказа, испытывая искреннюю радость от его честных, благородных поступков. Это были счастливые минуты для Тавыля, когда он бесконечно любил свой класс, свою школу.

«Надо присмотреться ближе к его отцу, надо сегодня же побывать в их яранге», — решила Нина Ивановна.

Экэчо сидел в своей яранге и раскуривал новую трубку. Недавнее собрание колхозников, на котором так много говорили о нем, все еще не выходило из его головы. Глядя полузакрытыми глазами на жирник, он думал о том, что ему надо как-то изменить свое поведение. «У лисы голова не человечья, а, однако, поучиться есть чему у нее: надо хитрым быть, как старая лиса; хитрым быть, хорошо притаиться надо, а то худо будет. Присматриваются они ко мне, словно зверя выслеживают. Зло в сердце, как собаку, на цепь посадить надо. А там, быть может, и убегу... К брату убегу!»

Увлеченный своими мыслями, Экэчо не выпускал из рук трубку, не замечал, что жирник коптит.

У яранги послышались чьи-то шаги.

— Это ты, Тавыль? — спросил Экэчо.

Ему никто не ответил. Экэчо насторожился. Немного подумав, он зажег кончик палочки, которой обычно поправлял жирник, поднял чохыргин полога кверху и вдруг увидел учительницу.

Нина Ивановна неловко забралась в полог.

Экэчо потеснился, с нескрываемой насмешкой уставился в лицо учительнице: ну что, мол, как тебе понравилось мое жилище?

Нина Ивановна внимательно осмотрела полог. Был он тесный и грязный. Резкий перегар нерпичьего жира, кислый запах прелых шкур и еще какие-то ей незнакомые запахи затрудняли дыхание. «Вот он, уголок старой Чукотки», — грустно подумала девушка.

— Я пришла поговорить о Тавыле, — наконец сказала она.

Экэчо знал русский язык довольно хорошо, понимать учительницу ему было нетрудно. «Старой, хитрой лисой надо быть», — мысленно повторил он себе.

— О сыне моем говорить пришла? Это хорошо, шибко хорошо, — насколько мог миролюбиво отозвался Экэчо.

— Покажи мне, пожалуйста, место, где выполняет свои домашние задания Тавыль.

Экэчо непонимающе замигал глазами.

— Какое такое место? — почти ласково спросил он.

— Ну, столик какой-нибудь или что-нибудь другое, на чем пишет Тавыль, — с трудом скрывая свою неприязнь к Экэчо, сказала учительница.

— А вот так, как ты, на шкуру сядет, книги на колени положит, на книги тетрадки положит и пишет, — с прежней ласковостью, за которой явственно слышалась издевка, ответил Экэчо.

— Скажи, Экэчо, столик ты можешь ему сделать?.. И потом, здесь очень темно. Жирник надо заменить лампой.

— Какой такой столик? Какая такая лампа? — притворно удивился Экэчо. — Я чукча, жилище у меня, как у чукчи, предметы у меня в жилище, как у чукчи. Так прадед мой жил, так дед мой жил, так я живу, так Тавыль жить будет!

Рот Экэчо по-прежнему улыбался, но колючий взгляд холодных глаз его как бы спрашивал: «Ну что, нравятся тебе слова мои?»

Нина Ивановна со спокойствием, бесившим Экэчо, выдержала его взгляд и сказала:

— Тавыль будет жить так, как будет жить его народ... А еще хочу сказать, что теперь я к тебе часто ходить стану. Хочу помочь Тавылю. Слыхала я, что ты обижаешь его, даже бьешь. Советский закон не разрешает так поступать. Если это и дальше будет продолжаться, мы так сделаем, что ты не будешь отцом Тавыля. Под суд тебя отдадим.

— Как так не буду отцом своего сына? — изумился Экэчо.

Лицо его потемнело. Нина Ивановна ждала, что он сейчас накричит на нее. Но Экэчо закрыл глаза, посидел неподвижно, затем неожиданно спокойно сказал:

— Пусть будет так. Пусть я не буду отцом моего сына. Но тогда пойдет весть от стойбища к стойбищу: «Русские отнимают у чукчей детей. Спасайте, скорее спасайте своих детей! Увозите в тундру своих детей!..»

Нина Ивановна на мгновение растерялась: «Не слишком ли я круто повела с ним разговор? Надо посоветоваться с директором школы: он давно здесь живет, он умный и опытный человек».

— Ну, значит, так. Теперь я буду часто приходить к тебе. К следующему моему приходу столик Тавылю сделай, — еще раз предупредила она.

Когда Нина Ивановна ушла, Экэчо долго сидел непо-

движно, думая о том, что учительница, пожалуй, действительно не оставит его в покое.

А Нина Ивановна в это время разговаривала с директором школы. Когда она рассказала о своей беседе с Экэчо, Виктор Сергеевич подумал немного и заметил:

— Ну что ж, в принципе ваш разговор был верный, хотя на первый раз резковатый. А вот то, что вы с первого дня с головой окунулись в свою работу, меня очень радует. Вы правильно понимаете: учеников своих невозможно изучить как следует, если не будешь хорошо знать их родителей, их домашние условия. В Тавыле можно очень ошибиться, если не знать его отца. А Тавылд не такой уж плохой мальчик, как кажется на первый взгляд.

— Да, я решила серьезно заняться этим мальчиком. Надо как-то привести его в порядок... вот хотя бы срезать косички эти...

— С косичками пока подождите, — скупой улыбнулся директор. — Носит он их по требованию Экэчо: это, видите ли, оберегает мальчика от злых духов, от злого начала. Разрешил я носить эти косички не потому, чтобы угодить Экэчо, а потому, что приходят к нам из тундры мальчики иногда с такими же вот косичками, и родители их, честные колхозники-оленоводы, просят оставить косички в покое, чтобы не случилось с их детьми какого-нибудь несчастья. Состриги косички у Тавыля — и тут же, на второй день, к нам приедут за объяснениями из тундры взволнованные, перепуганные родители, отцы и матери только что поступивших в школу ребят.

Директор минуту помолчал и задумчиво добавил:

— Вот как оно получается, дорогая Нина Ивановна. Все это уже мелочи по сравнению с тем, что было раньше, и, однако, мы, педагоги, не имеем права оставлять эти мелочи без внимания...

После разговора с директором Нина Ивановна долго ходила по берегу моря, думая о Тавыле, о своей первой беседе с его отцом.

У ТЫНЭТА ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ

Нину Ивановну назначили старшей пионервожатой. Комсоргу это очень понравилось.

— Вот теперь ты по пионерской части мне сильно помогать будешь. Комсомол же должен руководить пионерами, — полушутливо сказал он Нине Ивановне, входя с ней в пионерскую комнату.

Взяв один из горнов, Тынэт оглушительно затрубил.

Нина Ивановна закрыла уши руками; смеясь, подбежала к Тынэту, вырвала у него горн.

— Ну, тогда я барабанить буду! — потянулся Тынэт к барабану.

Нина Ивановна схватила его за руки, улыбнулась.

— Как маленький все равно!

— Ай, как хорошо, Нина, что ты к нам приехала! — почему-то тихо проговорил Тынэт, останавливаясь около длинного стола, покрытого красной скатертью. — Скоро у нас будут перевыборы, в комсомольское бюро тебя выберем...

— Послушай, Тынэт, а почему у тебя не все пуговицы на гимнастерке? — вдруг спросила Нина Ивановна.

Тынэт покраснел, что-то хотел сказать в оправдание, но возразить было нечего.

— Чего так смутился? Я ведь не обидное сказала тебе, — промолвила Нина Ивановна и мягко дотронулась до незастегнутой пуговицы на кармане гимнастерки Тынэта.

— Я пришью пуговицы! Честное слово, пришью! Если хочешь, еще десять штук лишних пришью!

— Лишних не надо, — возразила Нина Ивановна. — Все лишнее всегда плохо.

Тынэт долго молчал, то сворачивая в трубку, то разворачивая журнал «Мурзилка».

— Ну почему же ты молчишь?

— Сейчас, сейчас буду говорить, — преодолевая неловкость, пообещал Тынэт. — Все скажу. Вот что я скажу тебе: учи меня! За пятый, шестой, за седьмой класс учи! Четыре класса я кончил, теперь дальше учиться хочу. Будешь учить?

— Буду.

— Ай, хорошо! Дай хоть один разок в горн подудеть или в барабан постучать!

— Не дам! Ты вот лучше скажи, комсорг, как тебе пионерская комната нравится.

— Нравится, сильно нравится!

— Нет, верно, еще не вполне нравится, — возразила Нина Ивановна, — иначе ты давно такую же комсомольскую комнату оборудовал бы в нашем колхозном клубе.

— Комсомольскую комнату? А как? У нас же нет барабанов этих, горна тоже нет...

— А ты подумай.

Тынэт обвел пристальным взглядом пионерскую комнату, остановил свое внимание на аккуратно оформленном плакате с торжественным пионерским обещанием, на пионерской стенной газете, на графике успеваемости.

— Можно сделать комсомольскую комнату! — наконец сказал он. — Хорошо сделать можно. На одной стене портрет Ленина будет. На другой — красный переходящий вымпел, который наша комсомольская бригада получила. Стенгазету мы тоже выпускать можем. Соцдиалоги на стенку повесить можно. Устав комсомола на большой лист перепишем.

— А когда возьмешься за это дело? — спросила Нина Ивановна. — Я со своими пионерами могу помочь.

— Сейчас возьмусь! Да, да, сейчас возьмусь!

В пионерскую комнату вошли Петя и Кэукай.

— Вот хорошо, что мы увидели тебя, Тынэт! — сказал Петя. — Скажи нам, почему это твой дедушка до сих пор в дом переходить не хочет?

Тынэт помрачнел. Опустившись на стул, он подпер голову руками и, немного помолчав, сказал:

— Наверное, я возьму его на руки и насильно перетащу. Говорить с ним я уже больше не могу. Все слова, и хорошие и плохие, какие знаю, сказал ему — все равно ничего не выходит.

— А может, еще не все слова пришли тебе в голову? — спросил Кэукай.

— Говорю вам — все, значит, все! — сердито возразил Тынэт. — На руках перетащить придется, а ярангу сжечь, чтоб он опять не убежал туда.

— Ты что это, шутишь или серьезно говоришь? — обеспокоилась Нина Ивановна. — Наверное, опять, как с трубкой Экэчо, сделать хочешь?

— Да так... шучу и не шучу. Сержусь... — неопределенно отозвался Тынэт.

— А вот мы с Петей думали-думали и кое-что придумали...

— Попросить вас хотели, — перебил Петя Кэукай, обращаясь к Нине Ивановне, — чтобы на совете дружины нашему отряду поручили разговаривать с Кэргылем.

— Да, да, чтобы нам поручили разговаривать с Кэргылем! — снова вмешался в разговор Кэукай. — Один раз скажем, второй раз скажем, еще и еще говорить будем, пока не согласится Кэргыль ярангу покинуть.

— Где вам! — Тынэт безнадежно махнул рукой.

— А вот если мы лично говорить будем — согласится! — уверенно заявил Петя. — Всем отрядом нагрянем к нему. Не станет же он колотить нас клюкой!

— Кто его знает... может, и поколотит. Он у меня такой старик. Вот вчера я сказал ему, что на руках его в дом перетащу, так он как стукнул меня палкой своей... до сих пор болит. Петя и Кэукай переглянулись.

— Ничего, ребята, все это мы с вами хорошо продумаем. Вместе наступление на Кэргыля поведем, — пообещала учительница. — Ваше предложение мне очень понравилось.

— А хороший старик, очень хороший! Сильно я люблю его, — задумчиво сказал Тынэт.

— Нина Ивановна, а сейчас нам с Кэукаем можно сходить к Кэргылю? — спросил Петя. — Про дом мы ему пока ничего говорить не будем, а только так... сделаем разведку.

— Ну что ж, делайте разведку, — согласилась учительница.

Кэукай и Петя торопливо ушли.

— А что ж, кто его знает... может, старик и послушается этих агитаторов, — с проблеском надежды в голосе сказал Тынэт. — Он такой у меня — странный очень и, потом, сильно детей любит. Ну, если не послушается, на руках, как ребенка, перенесу, — упрямо повторил он.

— Вот что, Тынэт, давай договоримся так: и ты со мной и я с тобой по всем важным делам будем советоваться, — попросила Нина Ивановна. — Вот сейчас, например, я хочу посоветовать тебе не только не переносить Кэргыля в новый дом силой, но даже и не намекать ему об этом...

— Ай, как хорошо ты сказала, Нина! Советоваться! — повторил Тынэт, не сводя с девушки восторженных глаз. — Будем советоваться, всегда с тобой будем советоваться!

— Ну, вот и хорошо. А с завтрашнего дня мы с тобой начинаем учиться. Только знай, Тынэт: я очень строгая учительница. Если станешь относиться к делу несерьезно, буду ругать и очень буду сердиться.

— Как так — несерьезно? Почему такое говоришь — несерьезно? — почти возмутился Тынэт и, тут же улыбнувшись, мягко добавил: — Вот хорошо, теперь у Тынэта есть учитель. До свидания пока! Пойду в клуб, думать буду, как комсомольскую комнату сделать.

В ГОСТЯХ У КЭРГЫЛЯ

Петя и Кэукай застали Кэргыля в яранге за любимым его занятием: старик вырезал что-то из моржового клыка. Вокруг него на нерпичьих шкурах лежали резцы, похожие на замочные ключи, всякие буравчики, пилочки, долота, кривые и прямые ножи, рашпили, напильники самой различной формы и величины.

Увидев мальчиков, Кэргыль сердито подергал свою реденькую седую бородку, потом неожиданно улыбнулся и сказал гостям, чтобы они расстелили олени шкуры и сели.

— Как много всяких пилочек, буравчиков! — удивился Петя.

А Кэукай не отрывал своих восхищенных глаз от вещи, которую вырезал Кэргыль из клыка.

— Какая красивая трубка! — восторгался мальчик.

Взяв кусочек стриженной оленьей шкуры, Кэргыль принялся отшлифовывать трубку.

— Скажи, а это ты не для Экэчо делаешь? — вдруг, сам не зная почему, спросил Кэукай.

Ничего не ответив, Кэргыль пососал трубку, подул в нее, затем набил табаком, прикурил.

— На-ка, попробуй, потяни, — предложил он Кэукаю. — Еще совсем недавно все чукотские дети в твои годы курили...

— А разве хорошо это было? — робко спросил Кэукай.

— Плохо, совсем плохо было. Кашлять рано начинали люди, грудь рано портили, — нахмурился Кэргыль и тут же обратился к Пете: — Может, ты потянешь?

Петя пугливо осмотрелся вокруг и решил: «Ах, была не была, один раз можно, только бы Кэргыль не сердился. Это даже очень любопытно...»

Неумело взяв трубку, Петя заговорщически подмигнул Кэукаю, затянулся и громко закашлялся. Долго кашлял Петя, вытирая слезы, бормоча что-то невнятное.

— Ну, а теперь ты, — обратился Кэргыль к Кэукаю. — Товарищ твой, вижу я, смелый человек, не побоялся новой трубки.

Кэукай нерешительно протянул руку за трубкой и через мгновение уже кашлял вместе с Петей.

Старик с бесстрастным лицом молча смотрел на мальчиков. И, когда они наконец пришли в себя, сурово спросил:

— Ну, скажите теперь: вы тайком от учителей и родителей курите?

Кэукай и Петя недоуменно переглянулись.

— Курите или нет, я вас спрашиваю? — не отставал Кэргыль.

Кэукай замахал руками:

— Нет! Честное слово, нет!

— Ну, если нет, значит, хорошо, — уже мягко сказал Кэргыль. — Вот когда внук мой Тынэт был таким же, как вы, он курил, сильно курил. И, хоть было это у нас тогда еще в обычае, я все же, как вам, дал ему покурить новую трубку, начиненную особым табаком... Можете рассказать своим учителям, как старик Кэргыль от курения вас отучивал.

— Так мы же и так не курим! — Петя все еще вытирал выступающие на глаза слезы.

— Ну и хорошо. После моей трубки вряд ли вам захочется курить, — насмешливо предположил Кэргыль, выбирая клык из связки моржовых бивней, висевших на закопченной перекладине.

Осмотрев клык со всех сторон, Кэргыль глянул на Кэукаю:

— А насчет Экэчо зря беспокоишься. Моя трубка для него еще более невкусной будет, чем для вас. Не для него эта трубка делается.

— Как много у тебя моржовых клыков! Наверное, и других всяких вещей понаделал, — несмело сказал Кэукай, надеясь, что старик покажет что-нибудь из своих изделий.

Мальчик никак не мог отделаться от желания самому выточить из моржового клыка какую-нибудь вещь.

— Нет у меня сейчас ничего готового. Все, что делаю, раздаю... Мало работаю сейчас, глаза совсем слепые стали, ничего не вижу, — вздохнул Кэргыль. — Плохо, что никто из молодых этому делу учиться не хочет. Тынэта приучал — ничего не вышло.

— Поучи меня, а? — вдруг сказал Кэукай. — Я буду учиться. Каждый день буду учиться!

— Ты будешь косторезному делу учиться? — недоверчиво спросил Кэргыль.

— Будет, обязательно будет! — поспешил Петя заверить Кэргыля. — Он же у нас художник.

— Ну что ж, приходи, посмотрим, — скептически заметил Кэргыль.

Мальчики посидели еще немного. От сознания, что они пришли в ярангу Кэргыля «на разведку» и ничего, собственно говоря, не разведывают, им было не по себе.

— Надо как-то начинать, — тихо сказал Петя по-русски.

— Я сам думаю об этом. Башка трещит, а ничего не придумаю, — признался Кэукай. — Он нам своей трубкой весь ум отшиб...

— А в яранге этой, верно, очень темно, работать трудно? — обратился Петя по-чукотски к Кэргылю.

Старик оторвался от своего занятия, проницательно посмотрел на Петю. В глазах его промелькнуло что-то лукавое.

— А ты, Петя, уже совсем хорошо на нашем языке говоришь, — ласково, но с оттенком иронии промолвил Кэргыль.

Петя ущипнул Кэукаю за ногу, что должно было означать: смотри, мол, как я удачно начал!

— Так вот, я говорю — темно, совсем темно в яранге твоей, — откашлявшись, снова повторил Петя.

— Да, да. Ты говоришь, что темно в яранге моей, — тем же тоном отозвался Кэргыль. — А дальше ты так скажешь:

в яранге темно, зато в доме очень светло. Окна большие, солнца много, места много — переходи, старик Кэргыль, в дом! Так, что ли, а?

Петя смутился, глянул на Кэукая, как бы говоря: «Ничего не понимаю! Не то Кэргыль добрый сейчас, не то, наоборот, злой...»

— А ты что скажешь? — обратился старик к Кэукаю.

— Да я что, я не знаю... — замылся Кэукай, на всякий случай оглядываясь, чтобы посмотреть, не слишком ли близко возле Кэргыля лежит его палка. — Если правду говорить, дедушка, то выходит так, как ты сказал: в доме светло, окна большие, солнца много. Там хорошо тебе работать было бы, а то в темноте глазам твоим плохо.

— Ну что ж, за то, что о глазах моих заботитесь, спасибо, — уже ласково, без всякой усмешки, промолвил Кэргыль и глубоко вздохнул.

Старик долго сидел неподвижно. Лицо его постепенно становилось суровым, задумчивым.

— Что-то еще сказать ему надо, — шепнул Пете Кэукай.

Кэргыль вздрогнул, словно очнувшись от забытья, и промолвил с глубокой грустью:

— Жалею я, что не в ваше время родился. Годы у меня большие-большие, как вода в реке в осенние дожди. Умирать пора, а не жизнь начинать заново... Спасибо, мальчики, вам! Приходите ко мне еще. Только о доме никогда не говорите больше. Слышите?

Кэукай и Петя молча потупились.

— Ну, вот и всё. А теперь идите. Я один посидеть хочу. Я один люблю сидеть, когда в мою седую голову печальные мысли вселяются.

Петя и Кэукай вышли из яранги Кэргыля невеселые. Им стало очень жалко старика и от этого еще сильнее захотелось помочь ему, сделать для него что-нибудь особенно приятное.

— Послушай, Кэукай, что я придумал! — вдруг остановился Петя. — Ты помнишь, Кэргыль все на глаза свои жаловался: он плохо видит, и работать ему трудно.

— Ну, помню...

— Давай исправим ему глаза!

— Что ты болтаешь! Разве глаза — пуговицы, которые песком отчистить можно? — нахмурился Кэукай.

— Очки! Понимаешь, очки Кэргылю достать надо! — выпалил Петя.

— Ай, как хорошо ты придумал! — искренне восхитился Кэукай. — А где их достать, эти очки?

— Побежали к доктору! Я знаю, это доктор очки людям прописывает.

Нахлобучив как следует на голову свой легкий малахай, чтобы он не слетел во время бега, Кэукай сорвался с места. Петя побежал за ним. Через несколько минут они уже стояли у двери Сониного дома и, прежде чем постучать, пытались хотя бы немножко отдышаться.

Степана Ивановича дома не оказалось. Мальчики уже хотели было уйти, как дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге они увидели Сою. В пушистом лыжном костюмчике красного цвета она показалась сегодня друзьям старше, чем обычно.

— Вот как хорошо, что пришли! — радушно сказала девочка. — Проходите сюда, не стесняйтесь, будьте как дома, — приглашала она, подражая маме.

Петя и Кэукай приняли приглашение.

К своему изумлению, в комнате Сони, кроме неразлучной ее подруги Каали, друзья увидели Эттая. Но главное было не в этом: Эттай сидел на полу и, как самая настоящая девчонка, играл в куклы. Видимо, он настолько был поглощен этим занятием, что не сразу заметил появление Пети и Кэукай.

— Ты посмотри, посмотри, что он делает! — воскликнул Петя, указывая на Эттая.

Эттай вздрогнул и быстро оглянулся. Необычайно смущенное лицо его стало пунцовым; казалось, он готов был провалиться сквозь землю.

— Мы с ног сбились, дела разные выполняем, а он тут с девчон... с девочками в куклы играет! — продолжал Петя.

Кэукай молчал, но, казалось, всем своим видом говорил: «Хорош, хорош, нечего сказать!»

Сося недоуменно поглядывала то на Эттая, то на своих новых гостей.

— Зачем вы Эттая обижаете? — наконец вмешалась она.

Но Кэукай не унимался.

— Он и заметку, наверное, не написал еще, куклами заигрался, а сегодня нам выпускать стенную газету. Забыл про заметку — так, что ли, говорю? — спросил Кэукай.

Потупив глаза, Эттай молчал.

— Это она все наделала: затащила меня сюда, — наконец буркнул он, указывая на сестренку. — А тут кукла, у которой глаза сами открываются и закрываются... Вот я и хотел понять, почему так получается: может, машина какая сидит в ее голове?

— Глаза сами открываются и закрываются? — изумился Кэукай.

Не медля ни минуты, он бросился к Эттаю, встал на колени.

— Вот посмотри! — обрадовался Эттай. — Положишь ее — глаза закрываются; поднимешь — открываются.

Постояв в нерешительности, подсел к друзьям и Петя, хотя такие куклы были ему не в диковинку.

Соня была счастлива. Она поманила пальчиком Каалю, попросила ее помочь вытащить из-под стола ящик с игрушками.

— А у меня вот еще что есть! — торжествующе сказала она и опрокинула ящик.

Самые разные игрушки рассыпались по полу. У мальчиков разгорелись глаза. Они бросились к игрушкам, хватали то автомобиль, то пушку, то заводную лодку.

— А юла, юла какая! — возвестил Петя и вдруг с ожесточением начал ее крутить.

Опомнились друзья не скоро.

— Это как же так получается? — удивился Петя. — Пошли по важному делу — и вдруг с девочками да Эттаем заигрались!

Кэукай решительно поднялся с пола и только тут заметил чучело утки. Чучело стояло у Сони на столике.

— Ай, какое красивое! — восхитился Кэукай.

— Это мне Тынэт подарил, — важно заметила Соня. — Он очень хороший, Тынэт! Он сказал, что мы с ним большие друзья. А потом, у него белые-белые зубы...

— При чем здесь зубы? — спросил Петя, хотя, собственно, возражать Соне ему не хотелось. — А чучело действительно хорошее. И когда только Тынэт успевает все это делать?.. Пойдем, Кэукай, в больницу к доктору, у нас же с тобой важное дело.

— А я с вами пойду? — Эттай заранее нахмурился, будучи уверенным, что получит отказ.

— Ну-ну, пойдем, — снизошел Кэукай.

Эттай весело дернул сестренку за косу и поспешил за своими друзьями.

— А вот как машина та устроена, которая сама ездит, я еще потом посмотрю, — обратился он к Соне, останавливаясь на пороге.

Мгновенно поколебавшись, Эттай быстро вернулся и, насупившись, повертел машину в руках.

— А ты возьми и посмотри дома, — предложила Соня.

Эттай не верил своим ушам.

— Возьми, возьми! — настаивала Соня.

Эттай сунул машину в карман и, споткнувшись на пороге, выбежал на улицу.

— Вот смотрите, какую машину мне Соня дала! — кричал он, снова извлекая игрушку из кармана.

— Ну, теперь ты и спать будешь с этой машиной. — Кэукай осмотрел игрушку: он хорошо знал страсть Эттая к технике.

Эттай был влюблен в математику и, так же как и его отец, колхозный моторист Рочгин, в машины. В противоположность своему другу, стремительному, подвижному Кэукаю, всегда чистенькому и аккуратному, Эттай был неповоротлив, комично неуклюж, часто ходил вымазанный машинным маслом. Поэтому тетради его были всегда в самом плачевном состоянии.

— Как же нам теперь быть? — однажды спросила у него Нина Ивановна. — Задачи и примеры ты решил без единой ошибки, но тетрадь так грязна, что ее просто неприятно взять в руки.

— А вы скажите, какую отметку поставить надо, я сам поставлю. Это неважно, что немножко хуже, чем у вас, получится, — простодушно ответил Эттай, искренне полагая, что нашел замечательный выход из трудного положения.

— Нет, попробуем сделать по-другому, — погасив улыбку, возразила Нина Ивановна. — Сейчас же пойди к школьному умывальнику и как следует вымой руки. А потом возьмешь эту новую тетрадь и аккуратно — слышишь, аккуратно! — перепишешь решенные тобой вчера задачи и примеры. Если у тебя получится чистенько, я поставлю пять.

— Ну что ж, один раз это сделать нетрудно!

— Да, один раз это сделать нетрудно, — согласилась учительница, — но каждый раз переписывать будет трудновато. Поэтому с сегодняшнего дня ты всегда будешь мыть руки перед тем, как садиться за тетради, и все делать сразу начисто.

Эттай озадаченно почесал затылок и направился мыть руки. Но тут же, на перемене, забежав в колхозный склад, где отец его ремонтировал мотор вельбота, снова вымазался в масле; к тому же на руках его появились ссадины.

— Понимаете, как-то так получилось... Я не заметил даже... — говорил он с виноватым видом на следующем уроке. — Мотор там... Очень машина интересная. Я посмотреть хотел, ну и немножко запачкался...

В классе засмеялись. Кэукай сравнил Эттая со старухой Энмыной, известной в поселке своей неряшливостью. Эттай не обиделся: он привык к тому, что над ним постоянно подтрунивали.

И вот сейчас, стремясь не отстать от друзей, Эттай все вертел и вертел игрушку в руках, мысленно прикидывая, как бы это разобрать ее на составные части, заглянуть в ее нутро.

...Доктор понял мальчиков сразу. Улыбаясь, он сказал:

— Знаю, знаю я этого старика. Нравится мне Кэргыль, очень нравится, хотя как пациент старичок этот страшно капризный.

Степан Иванович подошел к шкафу, выкрашенному белой краской, достал большую плоскую коробку. Петя, Кэукай и Эттай на цыпочках устремились к доктору.

— Тут у меня много разных очков. Только вот как мне выбрать те, какие нужны Кэргылю? — озабоченно проговорил Степан Иванович. — Ну, да что-нибудь придумаем. А очки я ему подберу обязательно...

Вскоре друзья стояли перед Ниной Ивановной и наперебой докладывали ей о своих делах.

— Степан Иванович сказал, что очки Кэргылю подберет обязательно! — запыхавшись, выпалил Петя.

— А меня Кэргыль обещал косторезному делу учить, — сказал Кэукай.

Это Нину Ивановну явно заинтересовало.

— А что, Кэргыль — косторез?

— О, очень хороший косторез! Его по всему побережью как костореза знают! — не без гордости заявил Эттай.

Нина Ивановна минуту помолчала.

— Эх, ребята, что я придумала! Давайте организуем при школе косторезный кружок, а Кэргыля попросим быть руководителем. Только бы согласился! Как вы думаете, согласится он?

— Не знаю, — усомнился Петя.

— Наверное, согласится, — неуверенно сказал Кэукай.

— Я сама поговорю с ним, а вы мне поможете, переводчиками будете.

Через полчаса учительница, веселая, возбужденная, возвращалась вместе с мальчиками из яранги Кэргыля в школу.

Старик принял ее очень приветливо, хотя и заметил, что если она пришла говорить о доме, то он разговаривать с ней не станет и только лишь предложит выпить чаю. Когда же Нина Ивановна завела разговор о косторезном деле, старик оживился, подслеповатые глаза его заблестели.

— Скажите учительнице вашей по-русски, что хоть она молодая, но мысли ее очень мудрые, — попросил он мальчиков. — Нельзя, чтобы косторезное дело совсем исчезло на чукотской земле.

— Скажите Кэргылю, — в свою очередь, просила своих переводчиков Нина Ивановна, — что я сейчас пойду к директору школы, попрошу, чтобы он дал нам особую комнату, помог достать инструменты и материал. По-моему, он согласится.

— Согласится, обязательно согласится, — закивал головой Кэргыль. — Я хорошо знаю: это большой человек, и он не может сказать, что косторезное дело — пустячное дело.

Кэргыль не ошибся. Выслушав учительницу, Виктор Сергеевич встал, прошелся по комнате.

— Какой же вы молодец, Нина Ивановна! — наконец сказал он, останавливаясь перед девушкой. — Чукотские косторезы в свое время прославились изделиями из моржовой кости. На мировой выставке в Париже восхищались их работой. Это один из самых замечательных видов искусства чукотского народа. Мы сделаем так, чтобы наша школа дала новых настоящих мастеров-косторезов. Я сегодня же напишу письмо в Илирнэй, на полярную станцию, чтобы там изготовили в механических мастерских специальные инструменты.

КОНФЛИКТ НА ПЕРЕМЕНЕ

Выполнив все, что надо было сделать по другим предметам, Кэукай принялся за домашнее задание по арифметике. Но задача никак не выходила. Помимо своей воли, Кэукай нет-нет да и открывал ящик стола, смотрел на изуродованный им самим кусок моржового клыка: «Надо было выше немножко резать, чтобы руки примерно у пояса были, а в руках — лук». Но тут же ему пришла в голову другая мысль: «Нет, пожалуй, лучше получится, если одна рука у груди будет, напротив сердца, а другая опущена».

Мерно тикали часы, наступали сумерки. За окном падал большими хлопьями снег. Кэукай смотрел на белый снег, а перед глазами, в мыслях его, стояла уже законченная статуэтка, изображающая дедушку Ако таким, каким он его себе представлял. «Трудно, очень трудно так сделать, как хочешь», — думал Кэукай, и руки его невольно тянулись опять к начатой статуэтке.

«А задача как же?» — Мальчик с шумом захлопнул ящик и принялся вчитываться в условие задачи. Но сосредоточиться он не мог.

«Как же это?.. — Кэукай приложил руки ко лбу. — Неужели я не смогу решить? Что же я тогда скажу завтра Нине Ивановне?..»

Учился Кэукай хорошо, хотя и не очень ровно. Ни одного предмета, кроме рисования, он, казалось, не выделял. Но рисование Кэукай любил и славился как лучший художник среди учеников младших классов.

В противоположность Эттаю тетради у Кэукая всегда были чистые, без малейшей помарки, завернутые в белую бумагу, разрисованную цветными карандашами или красками.

Рисовал Кэукай всегда и везде.

Однажды Нина Ивановна дала своему классу на дом работу: написать сочинение «Как мы провели выходной день». Когда, проверяя сочинение, она дошла до тетради Кэукая, то увидела целую серию рисунков с короткими надписями. Сочинения здесь почти не было, но выразительные картинки рассказывали учительнице забавную историю знакомства Кэукая, Пети и Эттая с русской девочкой Соней. В рисунках было столько юмора, что Нина Ивановна смеялась до слез. Особенно понравились ей те рисунки, на которых изображалось, как Кэукай и Петя, влекомые любопытством, подкрадывались к окну дома доктора, чтобы посмотреть на Сою, и затем уже почти в самом конце, как Соня с растопыренными ручками, с изумленным лицом смотрит на ползущих мальчиков и спрашивает, всегда ли они ходят животом или иногда и ногами.

«Вот так сочинение! Что же мне сказать ему?» — задумалась учительница.

На другой день она задержала Кэукая после уроков, села с ним за парту, открыла его тетрадь:

— Значит, ты очень любишь рисовать?

— Да. Я всегда рисую, везде рисую: на бумаге, на стенах, на снегу, — ответил Кэукай.

Заметив, что под его сочинением-рисунками нет отметки, он помрачнел.

— Рисунки твои мне нравятся, — сказала учительница. — Ты очень хорошо нарисовал, как вы познакомились с Соней.

— Очень хорошо? — недоверчиво спросил Кэукай. — А почему же нет отметки?

— А вот давай договоримся с тобой так: если это тетрадь не для сочинений, а по рисованию, тогда я поставлю тебе отметку.

— Ай хорошо, очень хорошо! Пусть теперь всегда так будет: другие сочинения пишут, а я рисую — рисунками рассказываю то, что они словами рассказывают.

Нина Ивановна посмотрела в возбужденные глаза мальчика и, немного подумав, ответила:

— Видишь ли, Кэукай, тебе не только рисунками надо учиться рассказывать, но и словами. Это очень важно — научиться хорошо словами рассказывать. Так что теперь, после нашего разговора, когда все ученики будут писать сочинения, ты тоже будешь писать, а не рисовать.

Восторга на лице Кэукая как не бывало.

— Пробовал я словами — не получается.

— А ты вот словами рисовать попробуй. Делай то же самое, что карандашом и красками делаешь, только вместо карандаша и красок бери слова...

— Как это? — удивился Кэукай.

— Да так. Вот здесь, на рисунке, ты показываешь, как Пета на руках ходит. Это же самое словами покажи. Ведь когда ты книгу читаешь, ты видишь все, о чем в ней написано: и людей, и море, и различные цвета. Не кажется ли тебе, что все это как бы словами нарисовано?

— Да, да, правильно! Теперь я понимаю! — обрадовался Кэукай. — Вот я возьму и все это, что карандашом нарисовал, попробую нарисовать словами.

— Как раз об этом я и хотела тебя попросить... А за рисунки эти я тебе ставлю пять.

Нина Ивановна обмакнула перо в чернила и аккуратно вывела самую высокую отметку под рисунками Кэукая.

Через несколько дней Кэукай отдал учительнице на проверку свое сочинение. Было оно довольно длинное и очень неровное, но Нину Ивановну поразило стремление мальчика к образности. Он действительно пытался рисовать словами.

Выслушав замечания учительницы и еще раз переделав сочинение, Кэукай принял за второе. Новое увлечение его было настолько сильным, что он незаметно для себя стал отставать по остальным предметам. Получив однажды по арифметике три, Кэукай удивился, но вскоре забыл об этом. И вот настал день, когда Кэукай по той же арифметике получил два.

— Как же это? Почему голова моя испортилась, почему я задачи разучился решать? — растерянно бормотал Кэукай; в глазах его стояли слезы.

— Я давно за тобой, Кэукай, наблюдаю, — спокойно сказала учительница. — Заметила я, что, когда ты одним делом увлекаешься, все остальные дела забываешь. Это нехорошо. У настоящего человека всегда разных дел очень много, и он не забывает ни одного из них. Ты посмотри на отца: сколько дел у него! Дома́ надо достроить, к зимней охоте на песца подготовиться, моржового и нерпичьего мяса на зиму заготовить, учиться ему тоже надо...

— У отца моего очень много работы. И он всегда успевает!

— И тебе успевать необходимо. Ясно теперь, в чем дело?

— Кажется, ясно...

Вскоре Кэукай подтянулся по арифметике. Но вот костюрез Кэргыль увлек мальчика-художника своим ремеслом — и началась новая беда.

...Кэукай вчитывался в условие задачи, а перед глазами его по-прежнему стояла начатая им статуэтка.

В соседней комнате послышался голос отца. Кэукай прислушался.

— Зима совсем уж пришла. Надо к охоте на песца колхоз готовить, надо свежей нерпы как можно больше на приманки вывезти, чтобы задержать песцов, которые у подкормок норились, — говорил он матери Кэукай, гремя умывальником.

— Трудно тебе... устал, наверное, — отозвалась Вияль.

— Трудно — это верно. Но усталости нет! Э, я молодой еще, рано уставать мне!

В голосе отца Кэукай почувствовал столько бодрости, что невольно заулыбался.

Вияль гремела посудой — видно, накрывала на стол.

— Голоден сильно, — продолжал Таграт. — Вот поем и побегу к Виктору Сергеевичу.

— Зачем? — спросила Вияль.

— Да дело такое, понимаешь... Обещался с Илирнэйской полярной станции печника прислать, и вдруг заболел печник. А тут зима пришла, в домах печи поскорее ставить надо, но как их поставить, если не умеешь? Вот я и хочу Виктора Сергеевича просить поучить людей наших печи ставить. Ты же знаешь, он все делать умеет.

— Уметь-то он, конечно, умеет, а вот, может, у него еще больше дел всяких, чем у тебя.

— Думал я об этом, да ничего придумать не мог. Нельзя же дома на целую зиму пустыми оставить.

«Ой, сколько дел у отца! — невольно пришло в голову Кэукаю. — И он все равно во всем успевает. А я вот сижу целый час, а задачу решить не могу».

Тряхнув головой, Кэукай снова попытался вдуматься в условие задачи. «Ну да, один самолет, значит, пролетел за три часа тысячу двести километров, второй — за пять часов... А все же зря я сразу из клыка резать стал, надо было сначала из дерева...»

Долго еще сидел Кэукай за своим столом, а задачу все же не мог решить. За этим занятием и застал его Петя.

— Ты задачу сделал? — спросил Кэукай друга.

— Да, сделал, — ответил Петя, подозрительно глядя на Кэукаю: недавно на заседании совета отряда Кэукай получил замечание за то, что плохо готовил уроки.

— Так, значит, решил задачу? — снова спросил Кэукай, хмуря брови.

Где-то в подсознании у него теплилась надежда, что вот сейчас Петя подойдет к нему, подскажет, как надо

подступиться к задаче, и с домашним заданием будет покончено.

Петя действительно спросил его:

— Может, подсказать?

— Нет, нет, что ты говоришь такое!

— А долго еще так сидеть будешь? — поинтересовался Петя.

— Да не знаю... минут десять или двадцать, — неуверенно промолвил Кэукай.

— Жаль, что так долго. У меня новость хорошая есть. Хотел пригласить тебя в одно место. Эттай я пригласил — задачу он давно уже решил. Крепкая, знаешь, у него башка на задаче: за пять минут решил!

— За пять минут решил! — не без зависти повторил Кэукай. — А новость, новость какая, скажи? Куда пригласить меня собираешься?

— Сейчас твой отец приходил к нам. Просил папу научить колхозников делать печи. Долго они думали, кого печниками поставить. Сначала хотели стариков просить, но потом решили, что это дело для них непривычное. Мой отец так сказал: «Давай печному делу учить будем молодежь, комсомольскую бригаду Тынэта. Этим всё привычным кажется, эти быстро научатся». Ну вот, твой отец с моим отцом согласился. Так что комсомольцы с завтрашнего дня печному делу учиться будут. Тынэт уже сегодня начал готовить кирпичи и глину.

— Ой, как много наговорил ты мне! По всему видно, хочешь пригласить меня пойти помогать Тынэту, — догадался Кэукай.

Петя вплотную подошел к Кэукаю и, заглянув в его тетрадь, спросил:

— А может, помочь немножко, а?..

Кэукай мгновение колебался, потом протестующе замахал головой:

— Нет, нет!.. Ты иди, а я сейчас сам решу и приду.

Петя ушел. Кэукай снова начал шептать: «Один самолет за три часа пролетел тысячу двести километров, второй...»

Время шло, а решение задачи никак не сходилось с ответом.

«А, ладно! Утречком рано встану, голова свежая будет, тогда, как Эттай, за пять минут решу...»

Однако, не чувствуя особенного восторга от такого поворота дела, Кэукай минуту еще постоял в нерешительности, вяло убрав книги, тетради, взглянул еще раз на свою статуэтку и, одевшись, вышел на улицу.

Петю и Эттая он нашел в самом крайнем доме поселка. Мальчики помогали Тынэту складывать кирпичи в штабеля.

— Ну как, решил? — спросил Петя.

— Да, вроде как будто получилось, — неопределенно отозвался Кэукай, включаясь в работу, а сам подумал: «Надо рано утречком встать, а то будет стыдно перед Ниной Ивановной, перед всем классом».

Но, наработавшись, Кэукай спал до самого утра как убитый. Едва успев позавтракать, он побежал в школу. На душе его было тревожно.

Кэукай сделал было попытку решить задачу на первом уроке русского языка, но стоило Нине Ивановне взглянуть на него, как мальчик понял: ее не проведешь. Подавленный, он сначала почти не слушал учительницу. Тогда Нина Ивановна обратилась к нему с вопросом один раз, другой и заставила слушать.

«Может, на перемене спишу задачу у Пети...» Кэукай испуганно оглянулся, словно боясь, не высказал ли он вслух эту позорную мысль, и тут же подумал: «Попробую сам на перемене решить. Пусть голова лопнет, а все равно решу...»

Когда прозвенел звонок, Кэукай, уприсив дежурного оставить его в классе, лихорадочно раскрыл тетрадь по арифметике. В классе было пусто и тихо. Кэукай покосился на тетради Пети и сердито отодвинул их на самый край парты, а затем спрятал в парту. «Надо только о задаче думать, не надо больше ни о чем думать».

И, странное дело, решение задачи на этот раз пришло к Кэукаю удивительно быстро. Обрадованный, он схватил Петину тетрадь, чтобы сверить, одинаково ли с ним ставил вопросы. В эту минуту в класс заглянул Тавыль. Кэукай машинально захлопнул тетрадь Пети и спрятал ее в парту. Тавыль язвительно улыбнулся и прикрыл за собой дверь.

«Сейчас начнет что-нибудь плохое обо мне говорить», — подумал Кэукай и быстро вышел из класса.

Кэукай не ошибся. Тавыль подзывал к себе школьников и рассказывал о том, как он поймал Кэукаю за списыванием задачи из Петиной тетрадки.

— Пусть олень поднимет меня на рога, если я говорю неправду! Сейчас своими глазами видел.

— Лживый человек! — кричал Кэукай, наступая на Тавыля со сжатыми кулаками. — А ну, повтори еще раз то, что сейчас говорил обо мне! Что ж ты молчишь? Или язык откусил со страху?

Тавыль спрятался за спины ребят и с ехидством ответил:

— Ты бы лучше свой язык откусил, тогда не пришлось бы на уроке арифметики говорить Нине Ивановне, что сам решил задачу.

Этого Кэукай уже не мог вынести. Не помня себя, он бросился на Тавыля. Но перед ним словно из-под земли вырос Петя, схватил руку Кэукай:

— Ты думаешь, кто-нибудь верит лживым словам Тавыля?.. Ребята, скажите честно: кто верит словам Тавыля?..

— Кто может поверить Тавылю, язык у которого болтается, точно у старухи Энмыны! — воскликнул кто-то из мальчиков.

Школьники рассмеялись: они все знали старуху Энмыну, которая была известна в поселке как зловередная сплетница. Тавыль исподлобья посмотрел на хохочущих школьников и попытался уйти. Его не пустили.

В это время дверь в коридор отворилась, и на пороге показался Эттай, бегавший посмотреть, как комсомольцы учатся класть печи. Заметив взволнованно толпившихся школьников, он опрометью бросился бежать через весь коридор.

— Что такое? Что случилось? — кричал Эттай, локтями и головой пробивая себе дорогу в самую гущу толпы.

Кто-то из ребят в нескольких словах объяснил ему суть происшествия.

Эттай досадливо почесал затылок:

— Ах, жаль, меня не было здесь!

Послышался звонок. Ребята поспешили в классы.

— Подождите, не расходитесь! — снова закричал Эттай. — Я хочу сказать что-то. Я хочу сказать, что за лживые слова Тавыль расстанется со своими косичками!

ДВА ПРОСТУПКА СРАЗУ

С самого утра до четырех часов дня, без перерыва, учились комсомольцы класть печи. Весь перемазанный глиной, с засученными рукавами, Тынэт жадно присматривался к работе Виктора Сергеевича, еще и еще раз переспрашивал, в каком направлении должны идти дымоходы, как лучше крепить печную дверцу и поддувало, как будет идти под духовой пламя.

— Слушайте! И ушами и ртом слушайте, и глазами и ртом смотрите! — весело говорил комсорг.

Во вторую половину дня в дом, где клали первую печь, тихо вошел Эттай. Сначала он только смотрел во все глаза на работу, потом раз-другой подал кирпич, попытался даже ме-

силь глину, сеять песок. Уже никто не кричал Эттаю обидное: «Не мешай!» — и даже, наоборот, просили: «Поддай вон тот кирпич», «Подсыпь еще немножко песочку», «Налей в банку воды».

Важный и немножко медлительный, подпоясанный поднятым с полу мешком, Эттай выполнял поручение за поручением, не упуская, однако, из виду ни одного действия Виктора Сергеевича. «Интересно как получается! Огонь и дым, значит, идти должны из топки по каналу вверх, потом опять вниз, потом снова вверх, и опять вниз, и только после этого в трубу, — рассуждал про себя Эттай, присматриваясь, каким образом укладываются кирпичи. — Это как бы машина такая, внутри которой ходит огонь».

Когда Виктор Сергеевич и комсомольцы в пятом часу дня ушли обедать, Эттай долго ходил возле неоконченной печи, то заглядывая внутрь топки, то открывая и закрывая дверцу и конфорки. Время от времени он брал горсть глины и подмазывал те места, которые ему казались шероховатыми.

«А что, если самому попробовать кирпичи класть? — пришла ему в голову неожиданная мысль. — Вот только как бы не испортить печку...»

Постояв немного в нерешительности, он еще раз обошел вокруг печи.

«Ничего, я только попробую. Положу один или два рядка, а потом снова сниму, никто и не заметит», — сказал он себе.

Отобрав кирпичи, Эттай с трудом поднял на плиту ведро с глиной, а затем туда же забрался и сам.

Дело пошло, как казалось Эттаю, с первой же минуты успешно. Довольно скоро он выложил целый ряд. Соскочив с плиты, Эттай полюбовался на свою работу издали.

— Так же, как у них, получается!

Скоро был готов и второй ряд. Эттай окончательно увлекся. Он пошлепывал ладонями по обогревателю, который значительно поднялся вверх, и в ушах его уже звучали восхищенные возгласы комсомольцев.

И вдруг случилось нечто ужасное. В самую приятную для Эттая минуту, когда он был в упоении от собственных успехов, недостроенный обогреватель печи покачнулся и с грохотом обрушился на пол. Ошеломленный Эттай стоял на плите ни жив ни мертв. Не скоро он понял, что произошло. Но, когда снова к нему вернулась способность хоть что-нибудь соображать, он ощупал руками жалкие остатки обогревателя.

— Ай, жалко как! Немножко, однако, кирпичи неровно ложились, косо ложились...

Соскочив с плиты, Эттай смотрел на свою работу уже далеко не с тем восторгом, с каким он любовался ею всего минут пятнадцать назад. Он сорвал с себя мешок, наскоро ополоснул руки в ведре с водой и задумался над тем, что же делать дальше.

«Надо сказать кому-то, обязательно сказать», — решил он наконец и, подавленный случившимся, вышел из дому.

На улице уже было довольно темно. Шел снег. Эттай загреб полные горсти пушистого снега, протер им как следует руки и побрел вдоль поселка. Он не заметил, как подошел к школе, и только тут понял, что непременно хочет увидеть Нину Ивановну.

«Да, да! Это ей сказать надо, — подумал Эттай. — Она все поймет. Я скажу ей, что очень хотел помочь комсомольцам, что хотел сам научиться делать печь. Это так интересно! Никогда ни дед мой, ни отец мой такого не умели делать, а вот я почти научился. Вот только плохо лампа горела, темновато было — не заметил, что кирпичи немножко косо клал. Если бы светлее было, хорошо бы сделал... Виктор Сергеевич тоже бы понял все это, только стыдно к нему идти. А Тынэту так лучше и на глаза не показываться: поколотит, сильно поколотит, а то еще носом в корыто с глиной толкать станет...»

Отряхнувшись, насколько мог, от приставшей к одежде глины, Эттай направился в школу, чтобы встретиться со своей учительницей.

А Нина Ивановна в это время шла с Тынэтом по поселку, направляясь в дом, где клали первую печь.

— Хорошо работают мои комсомольцы! Виктор Сергеевич все время их хвалит, — радовался Тынэт. — Я даже листок специальный в комсомольской комнате повесил и на листке красным карандашом написал: «Список комсомольцев, которые успешно учатся делать печи». А дальше столбиком аккуратно фамилии написал. Как думаешь, хорошо ли это?

— Неплохо, — одобрила Нина Ивановна. — Вот только заголовков длинноват немножко.

— Ай, как я рад, Нина, что тебя наконец сегодня увидел! — Тынэт вдруг остановился, стараясь в темноте заглянуть в глаза девушки. — Долго мы в море плавали, пять дней плавали...

— И я тоже, Тынэт, рада видеть тебя, — негромко, после долгой паузы, ответила Нина Ивановна. — Сегодня ты мне даже приснился.

— Правда? — Тынэт схватил Нину Ивановну за руки, порывисто приложил ее ладони к своему горячему лицу. — Почему же это я тебя до сих пор во сне не увидел? Но сегодня

увидю, обязательно увидю! — убежденно сказал он, как будто это зависело исключительно от его желания.

— Работать долго еще сегодня будете? — поинтересовалась Нина Ивановна, высвобождая руки.

— Долго, наверное. Виктор Сергеевич сказал, что, пока до потолка печь не доведем, работу не бросим.

— Ну, а заниматься сегодня придешь?

— Приду! Обязательно, Нина, приду, если только разрешишь прийти позже, чем обычно. В пять часов сегодня утром встал, чтобы домашнее задание успеть выполнить.

— Вот это мне нравится! — Нина Ивановна вдруг схватила в пригоршню пушистого снега и бросила им в Тынэта.

...В дом, где клали печь, Тынэт и Нина Ивановна пришли первыми.

— Что это такое? — испуганно вскрикнул Тынэт, глядя на полуразрушенный обогреватель.

Подбежав к лампе, он прибавил огня и внимательно осмотрел груды вымазанных глиной кирпичей, валявшихся на полу.

— Почему так много кирпичей глиной вымазано? — громко спросил он, словно обращаясь к невидимому виновнику. — А-а-а, это Эттай! — закричал он. — Это Эттай здесь крутился все время. Он, видно, и решил класть печку, когда мы на обед ушли...

— Не может быть! — возразила Нина Ивановна.

— Почему — не может быть? Зачем такое говоришь — «не может быть»? Ты что, до сих пор Эттая не знаешь?

— А ты можешь не кричать? — с укоризной спросила учительница.

Тынэт как-то сразу осекся, смущенно улыбнулся.

— А хотя бы и Эттай, — продолжала Нина Ивановна. — Надо разобраться, почему он это сделал. Может, он был рад, что представился случай помочь комсомольцам?

— «Помочь, помочь»!.. — недовольно буркнул Тынэт. — Вот я увидю этого помощника, так он больше сюда и носа не покажет!

Вышло так, что, кроме Эттая, в этот вечер искал Нину Ивановну еще один человек. Это был Тавыль.

Обиженный отцом, он долго плакал в своей яранге и вдруг почувствовал, что ему нестерпимо хочется рассказать кому-нибудь о своей обиде и о многом другом, что так мучило его последний год. И невольном Тавыль вспомнил о школе, о своей учительнице. «Пойду к ней, — думал Тавыль, — расскажу, как отец порвал сегодня мою тетрадь по русскому языку. Расскажу, как он маму год назад из яранги выгнал. Расскажу, как трудно жить мне без мамы...»

Но тут же пришла вторая мысль: «А хорошо ли это будет — про отца все рассказывать? Он же отец!»

Тавылю вспомнилось, как иногда отец становился добрым, закрывался с Тавылем в яранге или уходил с ним на охоту и говорил о том, что он, Тавыль, остался единственным другом ему. Говорил отец также о том, что научит Тавыля быть настоящим охотником, которому всегда в охоте будет удача, научит его плавать в байдаре по морю, ходить в горах через перевалы.

Тавыль с восторгом слушал отца, и ему становилось так тепло на душе, что он невольно думал: «Вот и я так же с отцом живу, как Петя со своим отцом живет, как Кэукай со своим отцом живет. Он скоро, однако, совсем хорошим будет, тогда, быть может, и мама вернется к нам».

Мысль о матери не переставала волновать Тавыля. Год назад она ушла в тундру, к родственникам, так как уже не в силах была выдерживать злобный нрав Экэчо. Тавыль помнил, как она уговаривала его уйти с ней от отца в тундру, к оленеводам. И Тавыль ушел бы не задумываясь, если бы не тянула его к себе школа.

Жизнь без школы ему казалась немыслимой. К тому же Тавыль был уверен, что учителя ни за что не позволят ему бросить школу.

«Вот хорошо, если бы мама вернулась! Может, попросить отца, чтобы он привез ее домой?» — спрашивал себя Тавыль, когда Экэчо казался ему добрым.

Но добрым Экэчо бывал недолго. Почти всегда после хороших слов он начинал говорить сыну такое, что пугало мальчика.

— Ты уже большим становишься, Тавыль, — говорил Экэчо, мрачно посасывая трубку. — Ты уже разбираться должен, кто твой враг и кто твой друг. Ты чукча, Тавыль, ты знать должен древний закон прадедов наших — закон родовой мести. Ты знать должен, что у меня с Тагратом вражда многолетняя, поэтому не может сын его быть другом твоим. Так говорит древний закон родовой мести...

Чем дальше вел свою беседу Экэчо, тем тяжелее становилось Тавылю. Лицо его хмурилось, иногда на глазах навертывались слезы.

И, как только Экэчо замечал перемену в настроении сына, начиналась буря. Тавыль знал: в такие минуты отец может страшно обидеть его, даже избить.

И вот сейчас, когда Экэчо изорвал тетрадь, обругал его плохими словами, Тавыль невольно потянулся к школе — туда, где чаще всего он находил успокоение.

Побродив по коридору, он заглянул в полуоткрытую дверь учительской, затем в свой класс. Через плечо у него висела засаленная сумка с книгами и тетрадями.

«Перепишу все из порванной тетради в новую, — подумал Тавыль, всхлипывая, — а там, быть может, Нина Ивановна зайдет. Тогда, я знаю, она сама заговорит со мной, и я все-все расскажу ей».

Положив голову на руки, Тавыль долго сидел неподвижно, снова и снова обдумывая, что же он скажет своей учительнице.

«И про Кэукая скажу тоже, — думал он. — Скажу, что ошибся я и потому плохое наговорил на него».

Одна мысль за другой проносились в голове Тавыля. Постепенно мысли стали путаться, расплываться: Тавыль погружался в сон. Во сне мальчик видел, как подошла к нему Нина Ивановна, как ласково прикоснулась к его голове, заглянула ему в лицо. И тогда Тавыль, схватив ее за руки и не стесняясь слез, стал быстро-быстро говорить ей обо всем, что накипело у него на душе. Нина Ивановна слушала очень внимательно, и по глазам ее Тавыль видел, как она жалеет и любит его...

Долго Эттай искал Нину Ивановну, сходил к ней на квартиру, побывал в учительской и наконец решил заглянуть в свой класс.

Увидев уснувшего за партой Тавыля, Эттай удивился, хотел было разбудить его, но тут вспомнил, что грозился обрезать ему косички.

Недолго думая Эттай на цыпочках вышел из класса и сломая голову побежал домой за ножницами. Когда он вернулся в школу, Тавыль все еще спал. Осторожно подкравшись к Тавылю сзади, Эттай взял одну из его косичек и хладнокровно обрезал ее. Тавыль поморщился, почесал то место, где только что была косичка, и снова успокоился. Закусив язык, как это всегда бывало с ним, когда он что-нибудь резал ножницами, Эттай так же хладнокровно обрезал вторую косичку.

— Всё, — пробормотал он, засовывая косички Тавыля к себе в карман.

Краснощекое озорное лицо его выражало торжество.

И вдруг Эттай услышал, что Тавыль во сне всхлипывает. «Наверное, что-то плохое приснилось ему», — решил Эттай. И тут же задумался: «Почему Тавыль сейчас здесь, в школе, спит за партой? А может, его отец прогнал из дому? Может, опять обидел?»

Эттаю так стало жаль Тавыля, что он вытащил из кармана

косички, с невеселым видом покрутил их в руках и, словно убедившись, что уже никакими способами не возможно их водворить на прежнее место, тяжело вздохнул.

А Тавыль между тем продолжал всхлипывать. Худенькие плечи его вздрагивали. Что-то горестное, подавленное было в эту минуту в его щуплой фигурке.

«Ай, лучше б я себе уши обрезал, чем косички эти!» — подумал Эттай и осторожно, с каким-то особенным чувством нежности к обиженному им товарищу погладил Тавыля по голове и на цыпочках вышел из класса.

На пороге школы Эттай встретил наконец свою учительницу.

— Нина Ивановна! Это я, я все наделал! — быстро заговорил Эттай. — Это я печку развалил, помочь хотел... Всегда у меня получается не так, как хочу!

— Успокойся, Эттай! Войдем в школу, там все мне расскажешь, — мягко сказала Нина Ивановна.

— Не хочу я в школу, там Тавыль!.. Нина Ивановна, пойдите в наш класс, там Тавыль спит и чего-то во сне плачет. Мне так жалко его! Пойдите, пожалейте его... У него сейчас нет мамы, а отец злой очень...

— В классе спит Тавыль? — удивилась Нина Ивановна.

Взволнованный тон Эттая, его рассказ о Тавыле встревожили ее.

— Да, да, он в классе за партой спит. Идите к нему. А я приду завтра. Буду думать, что сказать вам, всю ночь думать буду...

— Ну-ну, ладно, Эттай. Я сейчас пойду к Тавылю, а ты иди домой, только всю ночь тебе думать не надо.

Когда учительница ушла, Эттай глубоко вздохнул и подумал: «Ну ничего. Хорошо, что я встретил Нину Ивановну. Она пожалеет Тавыля... она обязательно его пожалеет... А про косички я потом... я завтра все расскажу».

СОЗНАЕТСЯ ЛИ ВИНОВНИК

На другой день случилось то, чего Эттай никак не предвидел. Еще до линейки в школу явился Экэчо, открыл дверь в кабинет директора.

— Тавыль больше в школу ходить не будет! Хватит! — закричал он еще с порога.

Виктор Сергеевич озабоченно прикоснулся рукой к своей черной бородке и спокойно предложил:

— Входи, входи, Экэчо! Я вижу, у тебя ко мне есть серьезное дело.

— Да, да, есть большое дело! — Экэчо шагнул на середину кабинета.

Тонкие губы его дрожали, ноздри раздувались. Виктору Сергеевичу стоило большого труда усадить его на стул.

— Ну, теперь рассказывай, отчего ты такой сердитый сегодня, — улыбаясь, обратился он к Экэчо.

— Да, да, сердит! Очень сердит! Как не будешь сердит? Ты сам мне сказал, что Тавыль может ходить в школу с косичками, а теперь что получилось?

— А что же такое получилось? — удивился директор.

— Чего ты у меня спрашиваешь, что получилось? Сам хорошо знаешь, что получилось. Почему у моего сына Тавыля косички обрезаны? Не может теперь он без косичек в школу ходить! Он теперь совсем от злых духов беззащитный! Чуть свет я его сегодня с оленеводами в тундру услав. Пусть лучше у дяди своего оленей как следует научится понимать.

Виктор Сергеевич откинулся на спинку стула, думая про себя: «Да, история! И кто же это мог так напроказить?»

Экэчо с минуту смотрел ненавидящими глазами на Виктора Сергеевича, а затем ехидно заметил:

— Хитрый ты, учитель, очень хитрый! Сам, однако, подослав кого-нибудь косички Тавылю обстричь, а теперь прикидываешься, будто ничего не знаешь.

Виктор Сергеевич прямо посмотрел в глаза Экэчо. Тот не выдержал его взгляда, отвел глаза в сторону.

— Кто уважать себя умеет, тот сначала умом и сердцем слова свои проверяет, а потом вслух произносит, — сурово сказал директор. — Я не привык, чтобы меня обвиняли в том, в чем я не виновен. Слова твои мне не понравились.

Экэчо промолчал, хотя ему очень хотелось выразить всю свою ненависть к этому сильному, невозмутимо спокойному человеку.

— А ты сам как думаешь, кто мог сделать это нехорошее дело? — спросил Виктор Сергеевич, набивая трубку. — Кури, — протянул он табак Экэчо.

— Это твой ученик Эттай сделал! — опять закричал Экэчо, не обращая внимания на протянутый ему табак. — Это он грозил косички Тавылю обрезать.

— Грозился, говоришь? — переспросил Виктор Сергеевич. — А вот мы сейчас проверим.

— Как ты проверишь? Ничего ты не проверишь! У вас тут в школе дети лживыми привыкают быть.

— Опять необдуманные слова говоришь! — чуть повысил голос Виктор Сергеевич. — Нельзя же, чтобы у мужчины язык во рту болтался, как у болтливой старухи. Ведь ты же можешь быть посрамлен: виновник сознается, и тогда...

— Не сознается! — убежденно сказал Экэчо. — Лживыми вы их здесь делаете, не уважающими своих родителей делаете!

Директор спокойно докурил трубку, выбил ее о пепельницу и вдруг весело предложил:

— Давай так договоримся: если виновник сознается, ты сегодня же возвратишь сына в школу. Пусть твой сын будет там, где правдивости учат. Если же виновник не сознается... — Виктор Сергеевич сделал паузу, как бы еще раз обдумывая, не делает ли он ошибку, — тогда, если тебе так покажется лучше, не приводи сына в школу.

Экэчо испытующе посмотрел в лицо Виктору Сергеевичу, в задумчивости несколько раз щипнул волоски реденькой своей бородки. Хотя предложение учителя и казалось заманчивым, он боялся просчитаться: «А что, если виновник сознается?»

Неверие в доброту людей, ненависть к ним продиктовали решение Экэчо. Да, он был убежден, что виновник ни за что не сознается!

Задумался и Виктор Сергеевич: «Ну, а если виновник не сознается? Как тогда придется решать судьбу Тавыля? Нельзя же допустить, чтобы он не учился!»

Прозвенел звонок на линейку. Когда ученики выстроились в длинном коридоре, директор и Экэчо вышли из кабинета. Дежурный, как обычно, отдал рапорт.

Экэчо, заложив руки за спину, пристально вглядывался своими холодными, злыми глазами в серьезные, сосредоточенные лица ребят. Экэчо волновался. Он боялся думать о том, что виновник сознается. Ему бы очень хотелось бросить в лицо директору такие слова, от которых тот смутился бы, как мальчишка.

Виктор Сергеевич прошел на середину коридора.

— Я хочу сказать учащимся несколько слов, — тихо обратился он к дежурному по школе педагогу и, внимательно осмотрев всю линейку от одного конца до другого, негромко, но четко произнес: — Кто обрезал косички Тавылю, сделай шаг вперед!

Экэчо прилип к стене коридора. «Нет, нет, они скорее язык свой откусят! Они будут молчать. Виновник не сознается, ни за что не сознается!» — твердил мысленно Экэчо, успокаивая самого себя. А Виктор Сергеевич испытующе пробежал взгля-

дом по лицам учащихся, застывших в безмолвии. Он не хотел повторять свои слова, он был уверен, что виновный обязательно сделает шаг вперед.

Наконец наступил тот момент, когда Виктору Сергеевичу показалось, что нужно повторить свой приказ. И тут в напряженной тишине послышался решительный шаг Эттая. Лейка ахнула.

Экэчо втянул голову в плечи, вкрадчиво, как будто он на охоте подходил к зверю, вплотную приблизился к Эттаю и с ненавистью посмотрел в его взволнованное виноватое лицо. Да, он, Экэчо, ненавидел этого мальчика! И не столько за то, что тот обрезал косички Тавылю, сколько за то, что своим признанием оставил его, Экэчо, побежденным в поединке с директором школы.

— Пройди ко мне в кабинет, — строго сказал Виктор Сергеевич Эттаю.

Экэчо быстро прошел к двери кабинета и вдруг резко повернулся к директору:

— Случайно ты прав оказался, учитель. Тавыля я приведу в школу, но не сейчас. Нет, не сегодня, а тогда, когда у него косички отрастут!

И, не дождавшись ответа, Экэчо пошел прочь не оглядываясь.

ПОЛЯРНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

У Пети была своя страсть. Прожив почти всю свою, пока еще маленькую, жизнь на Чукотке, он очень полюбил Север. В воображении своем Петя видел себя мужественным покорителем Северного полюса, открывателем новых земель в Ледовитом океане. Перечитав все, что ему попадалось о великих северных путешественниках, Петя вынашивал планы больших путешествий, готовил себя к лишениям, ко всяким испытаниям.

Мать Пети, Вера Николаевна, была поражена тем, что сын ее несколько раз пытался незаметно выбросить завтраки, обеда и ужины в помойное ведро и тем самым создать видимость, что он ел.

На все ее просьбы объяснить свое странное поведение Петя не отвечал.

— Ну, тогда ты дай мне честное слово, что больше так делать не будешь, — попросила она.

— Нет, мама, такого слова, да еще честного, я дать не могу, — вздохнул Петя.

— Это почему же? — изумилась Вера Николаевна.

Петя упрямо сдвинул свои белесые брови и, глядя в пол, пояснил:

— Это секрет, мама. Вот когда я вырасту большой, тогда все объясню.

Не очень довольная причудами сына, Вера Николаевна решила оставить его на время в покое. Но, когда еще раз заметила, что обед Пети опять очутился в помойном ведре, она возмутилась:

— В конце концов ты объяснишь мне свое поведение или нет, негодный мальчишка?!

Петя молчал.

Возможно, так и держал бы Петя в тайне причину своего необычного поведения, если бы его поступками не заинтересовался отец.

— Подожди, Петя... Ведь я до сих пор думал, что ты меня и маму уважаешь, — сказал он, усаживая сына перед собой на стул. — Почему же ты не объяснишь нам, зачем опаздываешь к столу, выбрасываешь обеды и голодаешь? Рассказал бы, в чем дело, тогда, возможно, мама просто не стала бы звать тебя к столу.

— Я хотел, чтобы это было тайной, — буркнул себе под нос Петя.

— А-а-а, тайна! — многозначительно заметил Виктор Сергеевич. — Ну, раз тайна, тогда, конечно, другое дело... Хотя мне, по совести, очень обидно, что мой сын не пожелал посвятить меня в свою тайну...

— Знаешь, папа, тебе я, пожалуй, скажу!

— А ну, ну...

Петя подошел к двери, чтобы удостовериться, нет ли кого-нибудь за ней, и сказал:

— Видишь, я про одного северного путешественника книгу читал. В книге рассказывается, что, когда ему было еще только восемнадцать лет, он уже приучал себя по четверо-пятеро суток не есть, чтобы стать закаленным, чтобы уметь переносить голод. Вот и я тоже решил попробовать...

— Ну-ну, теперь ясно, теперь все ясно... — Виктор Сергеевич дотронулся до бородки и, немного подумав, добавил: — Вот ты сказал, что путешественнику тому было всего восемнадцать лет. А не скажешь ли ты, сколько лет тебе?

Петя смутился:

— Мне еще немножко маловато... Но мне уже десять лет...

— Действительно, маловато еще, чтобы пять суток не есть, — сказал Виктор Сергеевич. — Таким путем ты, пожалуй, скорее чахнуть начнешь, чем сил набираться.

— Да вот я проверить себя хотел, но разве нашу маму проведешь! Только один раз мне удалось полтора дня не есть... На ногах стоял, но колени, знаешь, дрожали...

— Значит, колени дрожали?

— Дрожали, — сознался Петя.

— Давай твердо договоримся: как только станет тебе восемнадцать лет, тогда, если захочешь, ты повторишь свои опыты, а сейчас пока воздержись. Это мой совет тебе. До сих пор советы мои ты ценил — не знаю, как на этот раз будет.

— Хорошо. Даю тебе слово, что буду ждать до восемнадцати лет, — твердо сказал Петя.

— Ну что ж, по рукам? — протянул свою руку Виктор Сергеевич.

— По рукам! — повторил Петя и звонко хлопнул рукой по ладони отца.

Но вскоре после происшествия с Эттаем и Тавылем Петя опять внушил Вере Николаевне подозрение своим странным поведением. В каждом его шаге, в каждом жесте сквозила таинственность. Он то и дело перешептывался с друзьями, осматривал свою меховую одежду; наконец спрятал в рюкзак отцовский бинокль. Там же мать обнаружила коробочку с гвоздями, молоток, иголку с нитками, связку нерпичьих ремней, модельный наган. И что больше всего испугало ее — это спички.

«Э, нет, тут что-то неладно», — сделала вывод Вера Николаевна и показала рюкзак отцу.

— Ясно. Полярный путешественник собрался в поход, — нахмурился Виктор Сергеевич.

Как только Петя вернулся из школы, он сразу же услышал голос отца:

— Зайди-ка, Петя, ко мне на минутку.

Петя подозрительно взглянул на подушку, под которой прятал рюкзак, и, стараясь придать себе непринужденный вид, вошел в кабинет к отцу.

— Ну, как у тебя дела? Завтра выходной день — может, сходим капканы на песца поставим? Ты же любишь охоту.

— Да... Но, может, еще рано капканы ставить? — потупился Петя.

— Почему же рано? Охотники поставили капканы уже два дня назад.

— А-а-а, вот как... Я и не знал, — неопределенно протянул Петя.

— Я вижу, тебе хотелось бы провести выходной день как-нибудь по-другому?

Петя подозрительно глянул на отца, нахмурился, что-то обдумывая.

— Помнишь, ты говорил, папа, чтобы я советовался, если в голову мне придет что-нибудь тайное? — спросил он, глядя отцу в глаза.

— Как же, как же, помню и, признаться, жду, когда же ты наконец скажешь мне что-нибудь в этом роде, — подавил улыбку Виктор Сергеевич.

— Так вот, такое время пришло, папа, — полушепотом сказал Петя и побежал на цыпочках к двери, чтобы прикрыть ее поплотней. — Только не говори пока маме. Не потому, что я не уважаю ее или еще что-нибудь, а просто... Ты же знаешь, что мама испугаться может.

— Да, да, понимаю, — кивал отец.

— Так вот, мы узнали, что ты и председатель сельсовета сумели доказать Экэчо, что Тавыль должен учиться. И вот мы, то есть я, Кэукай и Эттай, решили съездить за ним на собаках в тундру. В этой экспедиции я буду главным полярным путешественником, а они — моими проводниками. Помнишь, как у Арсеньева Дерсу Узала?

— Как же, как же, помню. Очень хороший человек был Дерсу Узала.

— А Арсеньев? — спросил Петя и тут же ответил сам: — Арсеньев был замечательный путешественник!

— И насчет Арсеньева я с тобой согласен. — Виктор Сергеевич положил ногу на ногу.

— Долго спорили Кэукай и Эттай, кто из них будет проводник гольд Дерсу Узала, — блестя глазами, продолжал рассказывать Петя. — И наконец мы решили так, что оба они будут Дерсу Узала. Понимаешь, сразу два Дерсу Узала!

— Да, понимаю. Спор, конечно, разрешен замечательно. Почему бы действительно не быть двум Дерсу Узала? — согласился Виктор Сергеевич и, немного подумав, спросил: — А вот скажи мне, Петя: как ты представляешь себе путешественника? Ведь ты читал о Дежневe, о Миклухо-Маклае, о Пржевальском, даже в книги мореплавателя Василия Михайловича Головина заглядывал...

— А как же! Конечно, заглядывал. Я, если хочешь знать, папа, в свою специальную тетрадь, которая называется у меня «Учебник путешественника», отдельные места из книги Головина переписал...

Петя бросился к своему рюкзаку и вскоре принес толстую общую тетрадь, завернутую в хрустящую непромокаемую бумагу.

В тетради действительно было много выписок из книг пу-

тешественников. Выписки перемежались с раскрашенными рисунками, которые Петя срисовал из тех же книг.

— Вот здесь у меня Головнин, — показал Петя, — а вот тут я слова выписал его... вот это, что красной рамкой обведено... Видишь, он говорит, что ум и... — как он еще пишет? — обширные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились. А дальше вот пишет, что если бы собрать детей со всего земного шара и дать им одинаковое воспитание, то из темнокожих вышло бы не меньше великих людей, чем из детей с белыми лицами...

— А скажи, Петя, почему ты в свой «Учебник путешественника» выписал именно эти слова? — спросил Виктор Сергеевич.

— А ты, папа, забыл разве, что я учусь с мальчиками и девочками чукчами? — ответил Петя вопросом на вопрос. — Вот как раз и получилось: в школе нашей собрались и русские и чукчи, есть два ламута, один коряк, а Пурлис, который учится в седьмом «Б», — латыш, и никакой разницы нет между нами! Вот увидишь, что Кэукай когда-нибудь будет знаменитым художником, а Эттай что-нибудь такое изобретет, что все прямо ахнут. Очень он машины любит. Эттай и печку машиной считает, внутри которой ходит огонь. И потом на математику у него башка сильная... Вот потому я и выписал эти слова из книги Головнина...

— Теперь я вижу, что ты не зря их выписал — ты хорошо понял, зачем их выписал. Ну, а все же: как ты себе представляешь, каким должен быть путешественник?

— Прежде всего он должен быть мужественным и суровым, вот таким! — Петя нахмурил брови, сделал по возможности каменное лицо. — Вот таким он должен быть, как я сейчас показал.

— Мужество путешественнику действительно нужно, но этого, по-моему, маловато, — улыбнулся отец.

— А еще нужно, чтобы путешественник был умным человеком, — добавил Петя, — чтобы польза какая-то была от его путешествий. Потом он должен быть очень чутким к своим товарищам по экспедиции, чутким к тем народам, к которым ему придется попасть. Вот, например, как Миклухо-Маклай! Он приносил людям пользу: кого лечил, кому что-нибудь объяснял, и его очень любили. Вообще, папа, надо прежде всего человеком быть, тогда у путешественника всегда друзья найдутся. Вот тут, например, я записал, как хорошо относились люди одного неизвестного тогда еще острова к Головнину, помогали ему и ничем не беспокоили. А почему так получилось? — спросил Петя. — Потому что наш Головнин был на-

стоящим человеком, и относились к нему островитяне так же, как к настоящему человеку. А вот ты, наверное, знаешь, что одного английского мореплавателя туземные жители даже убили: англичане очень плохо вели себя и туземцы не любили их.

— Да, дела!.. — пробормотал Виктор Сергеевич и, встав со стула, принялся ходить по кабинету.

Петя молча следил за отцом.

Голубые глаза мальчика, в которых одновременно были и тревога, и надежда, и острое нетерпение, смотрели то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, куда двигался отец. «А что, если скажет: «Сиди дома, никуда ездить не смей»? Тогда мои Дерсу Узала поедут, а я, великий путешественник, буду сидеть дома», — беспокоился Петя.

— Я знаю, ты ждешь моего совета, — прервал наконец молчание Виктор Сергеевич. — Сейчас я тебе ничего не скажу, а вот через часок, думаю, кое-что посоветую.

Петя вздохнул и невесело ответил:

— Ну что ж, я подожду. Только ты уж как-нибудь хорошо посоветуй, ладно, папа?

Через час после разговора с сыном Виктор Сергеевич встретился с Тынэтом.

— Я слышал, что тебя Таграт в тундру к оленеводам посылает с каким-то поручением. Верно это?

— Да, завтра я еду в тундру, капканы оленеводам везу. Пусть оленей пасут и охотой занимаются. План на песца у нас в этом году большой.

Виктор Сергеевич рассказал комсоргу о тайной подготовке мальчиков и поездке в тундру за Тавылем.

— Ну что ж, пусть тогда едут со мной, — с готовностью согласился комсорг.

— Нет, я хотел по-другому немножко сделать. Пусть они сами поедут, пусть уже сейчас учатся быть настоящими мужчинами. А ты сзади поедешь, присматривать будешь. Только, пожалуйста, будь повнимательней. Я на тебя очень надеюсь.

— Хорошо, Виктор Сергеевич, я буду очень внимательным, — пообещал Тынэт.

И вот наконец Петя получил совет от отца собираться. Не чья под собой ног от восторга, он бегал из угла в угол, делая последние приготовления в дорогу.

Виктор Сергеевич с заговорщическим видом подмигивал сыну, вместе с ним осматривал его меховую одежду, упаковывал рюкзак.

— Только маме, пожалуйста, не говори пока. А то, если

она узнает, тогда все пропадет. Она не пустит меня и тебя заставит передумать.

— Хорошо, не буду говорить, — обещал Виктор Сергеевич. — Давай-ка запакуем в рюкзак еще эти коврижки. Настоящий путешественник без провизии в путь не отправится.

— Хорошо, давай запакуем, — суетился Петя, не подозревая о том, что коврижки эти специально испекла ему мать на дорогу.

Вечером, лежа в постели, Петя старался представить, каким завтра будет его путешествие. «Хорошо, что я с отцом посоветовался, он мне сильно помог, — думал Петя. — Хорошо, когда у тебя есть такой папа — настоящий друг, папа, которому можно доверить самую тайную тайну...»

А назавтра ранним утром мальчики уже мчались по накатанной оленеводами нартовой дороге в тундру. Собаки бежали быстро и легко. Каюрил Кэукай. Потом путешественники останавливались, тщательно осматриваясь вокруг. У них считалось, что едут они не в глубь тундры, а как раз наоборот — на север, к самому полюсу. На этом пути предполагались «открытие в Ледовитом океане новых земель», встреча с «незнакомыми племенами».

Покрикивая на собак, Кэукай часто соскакивал на землю и долго бежал рядом с нартой.

— Боюсь, собаки, сильно устанут, до полюса еще далеко! — кричал он, погоняя собак.

Опушки малахаев, брови и ресницы у мальчиков заиндевели, и от этого они действительно казались суровыми полярниками, отправившимися в дальнейшее путешествие.

ТАВЫЛЬ ХОЧЕТ В ШКОЛУ

Экэчо отправил Тавыля к своему дальнему родственнику, лучшему пастуху колхозного стада Вальфо. Стойбище оленеводческой бригады Вальфо стояло километрах в двадцати от поселка Рэн.

Вальфо не очень обрадовался приходу Тавыля.

— Не понимаю, что это отец твой выдумывает, — недовольно сказал он, собирая в кольца аркан. — Учиться тебе надо. Мой же сын учится, а ты что здесь делать будешь?

Тавыль обидчиво отвернулся. В узких глазах его сверкнули слезы. Не притронувшись к мясу, которое поставила перед ним жена Вальфо, Тавыль встал и вышел из яранги на улицу.

Свежий снег, покрывший тундру и горы, слепил глаза.

С трудом Тавыль разглядел, что на склонах невысоких сопок паслось огромное стадо.

— Гок! Гок! Гок!.. — доносились до стойбища громкие возгласы пастухов.

Надев на ноги снегоступы, Тавыль понуро побрел к стаду. Он хорошо помнил строгий наказ отца: «День и ночь находишься у стада. Учись понимать оленей, это куда лучше будет, чем попусту сидеть за книгой».

— Это куда лучше, чем сидеть за книгой... — прошептал Тавыль и вдруг с новой силой почувствовал жгучую обиду на отца.

Проложенная пастухами тропа шла на сопку. Тавыль чуть поднялся вверх по тропе и сел на черный камень, выступавший из-под снега. Закрыв глаза, он представил себе школу.

Нина Ивановна стоит с указкой у карты и рассказывает о чудесной уральской земле, о сказочной реке Волге, о больших городах и заводах. В классе очень тихо: ученики затаив дыхание слушают Нину Ивановну. Тавылю сейчас кажется, что он даже слышит голос своей любимой учительницы.

«Эх, все это Эттай проклятый наделал! — с горечью подумал Тавыль. — Ну да ничего, Нина Ивановна поможет мне. Она же тогда вечером, когда в классе меня разбудила, сказала, что теперь будет мне другом, заступаться за меня будет. Да и Виктор Сергеевич все равно заставит отца опять послать меня в школу...»

Но как ни утешительны были эти мысли, на душе у Тавыля становилось все тоскливей. Повернувшись в сторону стойбища, он положил локти на колени, подпер кулаками подбородок и задумался о том, что ему делать дальше.

Из верхушек шатерообразных яранг струился синий дымок. Возле яранг мужчины и женщины упаковывали тяжелые грузовые нарты, готовясь к перекочевке. Мужчины отвозили упакованные нарты чуть в сторону от стойбища, ставили их одна на другую передками вверх, образуя овальной формы кораль¹.

Тавыль знал, что завтра чуть свет подгонят пастухи к этому коралю стадо и начнут отделять неездовых оленей. Когда на месте останутся только ездовые олени, их загонят в кораль, начнут хватать за рога и тут же впрягать в нарты, из которых и состоит самый кораль. Каждого впряженного оленя привяжут поводом к впереди стоящей нарте. Первого оленя возьмут за повод, он выдернет свою нарту из-под второй,

¹ Кораль — здесь: загон, сделанный из нарт, где запрягают ездовых оленей.

а второй олень, привязанный поводом ко второй нарте, выдернет свою нарту из-под третьей, и так весь кораль вытянется в длинную цепочку кочевого каравана. И пойдет караван вверх по речной долине, все глубже и глубже в тундру, туда, где синеют горы Анадырского хребта. Тавыль в своих снегоступах отправится вместе с пастухами, погоняя шумно передвигающееся стадо, а школа будет оставаться позади все дальше и дальше. И таким одиноким и несчастным сам себе показался Тавыль, что не выдержал и заплакал.

Где-то вверху прокаркал ворон, и тут же над самой головой Тавыля встрепелась огромная полярная сова. Тавыль вздрогнул. Сова сидела почти рядом и, казалось, в упор смотрела на мальчика своими круглыми, выпуклыми глазами. Тавыль минуту смотрел на нее, а затем осторожно набрал в пригоршни влажного снега и, скомкав плотный снежок, запустил им в сову. Птица взмахнула тяжелыми крыльями, полетела прочь понизу, почти касаясь снежных застругов. Тавыль проследил за ее полетом и снова погрузился в свои невеселые думы.

Прошло несколько дней. Оленеводы перекочевали дальше, и Тавылю уже начало казаться, что его мечты о школе никогда не сбудутся.

Когда пастухи устанавливали яранги, он ушел от стойбища, уселся под сопкой и задумался.

И вдруг позади себя Тавыль услышал дружный лай собачьей упряжки. Он обернулся. Прямо к стойбищу мчалась нарта с тремя седоками. Двоих Тавыль узнал сразу — это были Кэукай и Петя. Лицо третьего мальчика, сидевшего спиной к собакам, Тавыль пока рассмотреть не мог.

Взвихрив снег остолом¹, седоки с трудом остановили нарту возле Тавыля.

Третьим оказался Эттай.

Все трое были одеты в кухлянки и штаны из оленьего меха, обуты в зимние торбаза из оленьих камусов². На головах у них были огромные волчьи малахаи с цветными кисточками из крашеной шерсти белкóв³.

С минуту длилось неловкое молчание. Собаки с громким лаем рвались из алыков⁴ к стойбищу.

¹ Остол — палка с окованным острым концом. Остолом пользуются, когда нужно затормозить нарту.

² Камусы — снятые с оленьих ног шкуры, из которых чулки шьют торбаза, рукавицы и проч.

³ Белкí — нерпичьи детеныши, еще имеющие белый цвет. Когда белкí вырастают, они становятся пятнистыми.

⁴ Алык — собачья упряжь.

Встретившись глазами с Эттаем, Тавыль отвернулся.

— Не сердись, Тавыль, — мягко начал Петя, — мы к тебе с добрым сердцем приехали.

Губы у Тавыля дрогнули. Он был бесконечно рад приезду своих одноклассников, и в то же время жгучая обида на Эттаю заставила его глубоко упрятать взволновавшую его радость. Придав своему лицу по возможности независимый и равнодушный вид, Тавыль повернулся к мальчикам и спросил:

— С добрым сердцем, говорите, приехали? А где же Эттай взял это доброе сердце?

Услышав это, Эттай громко рассмеялся. На его добродушном лице не было ни тени обиды. Тавыль смутился.

— Эттай, конечно, виноват, — вмешался в разговор Кэукай. — Виктор Сергеевич и Нина Ивановна его поругали как следует...

— Виктор Сергеевич ругал Эттаю? И Нина Ивановна ругала? — нетерпеливо переспросил Тавыль.

На миг лицо его просветлело, но тут же опять стало холодным, обиженным.

— Вот что, Тавыль: мы решили честно и прямо сказать тебе. Хочешь — злись на нас, хочешь — не злись, а теперь мы будем твоими защитниками. И на заседании сельсовета Экэчо сказали, чтобы он немедленно привез тебя в школу. Только Экэчо отложил поездку дней на пять — говорит, что у него сломалась нарта. Так вот мы и решили поехать сами. И знаешь, Тавыль: Нина Ивановна сильно по тебе скучает. Она сказала, чтобы мы обязательно привезли тебя в школу. Нина Ивановна сама к Экэчо ходила, уговаривала его.

— Так вы хотите увезти меня в школу? — не смог уже сдержаться своей радости Тавыль.

— Ну да, конечно! Скорей собирайся! И запомни, Тавыль: мы же не какие-нибудь капризные девочки... — тормошил Тавыля Кэукай.

— Ну да, конечно же, мы не капризные девочки, — перебил Кэукай Эттаю. — Вот ты однажды облил чернилами все рисунки в моей тетради для рисования, так я же на тебя, Тавыль, не обижаюсь за это. Зачем обижаться? Совсем не надо обижаться... Собирайся скорее, и поедем с нами...

Что Тавыль облил тетрадь Эттаю, это действительно было, но он вспыхнул и закричал:

— Врешь, врешь ты, Эттай! Никакой тетради я у тебя не обливал! Зачем мне обливать твои тетрадки? Ты это все выдумал!

Обескураженный Эттай почесал затылок и, глянув виновато на своих друзей, промолвил:



Седоки с трудом остановили нарту возле Тавыля.

— Вот и опять я все дело испортил... Ну ладно, не обливал, это чернильница сама, понимаешь, подпрыгнула, как шаловливый щенок, и мою тетрадь облила...

— Нет, так дело не пойдет, — невольно отчужденным тоном сказал Петя. — Тетрадь Эттая ты, Тавыль, действительно облил, я сам видел. Если душой кривить, так у нас с тобой никакой дружбы не выйдет.

— Ну и не надо! — снова вспыхнул Тавыль. — Это я, что ли, к вам со своей дружбой лезу? Это вы ко мне со своей дружбой лезете!

Тавыль круто повернулся и пошел, не оглядываясь, прочь.

— Опять мы, кажется, глупостей наделали! — вздохнул Эттай.

— Нет, по-моему, Петя правильно сказал, — возразил Кэукай. — Так мы ему не поможем, если угождать во всем будем, если нехорошее прощать будем...

Пообедав в яранге Вальфо, мальчики принялись выкладывать свои подарки. Ведь они, великие путешественники, при встрече с местными народами обязательно должны оставлять после себя хорошую память.

— Вот, берите альбомы с газетными вырезками. В них показано, что на нашей земле сейчас делается, — объяснял Петя, — где заводы восстанавливают, разрушенные фашистами, где сады новые разводят. А вот тут, смотрите, новые дома сейчас строят. А вот наш поселок Рэн — Кэукай сам нарисовал. Кто еще не видел, сколько в нашем поселке новых домов построено, пусть на рисунок посмотрит, а потом приезжает к нам в гости...

Оленеводы, окружив мальчиков, с интересом рассматривали альбомы.

— А вот еще подарок! — сказал Кэукай, вытаскивая из нерпичьего мешка капканы. — В вашем стойбище четырнадцать мужчин. Вот я четырнадцать капканов и привез — каждому мужчине по капкану. Это счастливые капканы — удача вам в охоте будет. Берите, пожалуйста.

Оленеводы со смехом и шутками принимали капканы, щелкали ими, расхваливали их.

— А у меня вот какой подарок... — засуетился у своего мешка Эттай. — В наш магазин хорошие напильники привезли пароходом. Вот, берите четырнадцать напильников, каждому мужчине по напильнику. Будете точить свои ножи, топоры и скребки для выделки шкур.

— Ай, вот это гости, какие добрые гости! — воскликнул Вальфо, пробуя напильник на своем ноже.

Тотчас и все остальные оленеводы вытащили из своих чехлов ножи и принялись пробовать напильники.

— Женщины! — громко воскликнул Вальфо, заталкивая в длинный кожаный чехол нож с резной рукояткой из оленьего рога.—Принесите гостям ответные подарки: принесите им красивые камусы — каждому на пару торбазов и на рукавицы.

Женщины с готовностью принялись шарить в своих вещевых мешках, выбирая самые красивые камусы.

Попив в дорогу чаю, мальчики решили еще раз поговорить с Тавылем, но его и след простыл.

— Ну что же, поедем, — нахмурился Петя. — Если не мы, так кто-нибудь другой его привезет. Я знаю, Тавыль очень хочет в школу...

— Конечно, хочет, — согласился Кэукай.

Горопьяс к вечеру вернуться домой, «великие путешественники» тронулись в путь.

Тавыль так и не показался им на глаза. Друзья не заметили, как, глотая слезы, он наблюдал за уходящей нартой. Ему хотелось закричать им вдогонку: «Остановитесь! Подождите, я поеду с вами!» Но кто-то другой, упрямый и обиженный, шептал ему: «Пусть, пусть едут, обойдусь и без них. Ни за что не поеду с ними!..»

На другой день Тавыля привез домой Вальфо.

Экэчо окинул прибывших мрачным взглядом и спросил недовольно:

— Зачем приехали, кто вас просил?

Прямо глядя в глаза Экэчо, Вальфо негромко, сдерживая раздражение, ответил:

— Ты меня не просил — это верно, зато я тебя попрошу: больше сына ко мне не привози. Его место в школе, а пастухов в нашей бригаде достаточно. Мальчику нужно учиться. Понятно ли тебе, о чем я говорю?

Экэчо с минуту смотрел на Вальфо и вдруг закричал:

— И ты, и ты туда же?! Убирайся из моего жилища, глазам моим противно тебя видеть!

Вальфо спокойно набил огромную трубку табаком, прикурил и с достоинством вышел из яранги.

Уже на следующий день Тавыль прибежал в школу. Он сразу заметил, что Петя, Кэукай и Эттай обрадовались его возвращению, но ничем не ответил на их радость. На переменах Тавыль старательно избегал встречаться с ними, а мальчики особенно и не стремились к этому. Но Тавыль хорошо видел, что и Петя и Кэукай строго следят за тем, чтобы школьники не смеялись над его обрезанными косичками, и что-то теплое, доброе согрело его сердце.

После уроков Тавыль заметил группу одноклассников возле колхозного питомника ездовых собак.

— Эй, Тавыль, иди-ка сюда! — крикнул кто-то из них.

Тавыль подошел к ребятам. В это время заведующий питомником старик Кумчу открыл дверь теплого дощатого сарая, в котором размещалось больше сотни кормушек для собак.

Мальчики вошли в просторное отделение и увидели около тридцати породистых щенят. Толстые, неуклюжие, они барахтались в своих кормушках. У Тавыля от восхищения заблестели глаза.

— Вступай в нашу шефскую бригаду, — предложил Кэукай Тавылю. — Будем вместе ухаживать за этими щенками. Ты же очень любишь собак!

— Сколько их здесь! — с восторгом воскликнул Тавыль, не отвечая на предложение Кэукай.

Схватив одного из щенков, Тавыль прижал его к своему лицу.

— Ну как, будешь в нашей бригаде? — спросил Кэукай.

— Если возьмете, то буду, — наконец ответил Тавыль и погнался за пестрым лопоухим щенком. — У, какие лапы! У него лапы, как у медведя, огромные! Си-и-ильный будет пес! — с видом знатока говорил Тавыль, приглашая ребят посмотреть на лапы щенка.

— Нина Ивановна идет! — крикнул кто-то из ребят.

Тавыль быстро обернулся к двери и увидел свою учительницу.

— И Тавыль здесь? Вот хорошо! Мне ребята сказали, что ты очень любишь собак. Верно ли это?

— Да, ребята правду сказали! — глубоко, с каким-то огромным чувством облегчения вздохнул Тавыль и подумал: «Нет, теперь ни за что не уеду отсюда!»

ЖЕНЩИНА-ОХОТНИК

Зима утвердилась прочно. Прибитый ветрами снег окаменел. Солнце уже не показывалось: наступила полярная ночь. Только часа на три загоралось огненное замкнутое кольцо на горизонте. Краски его были и яркими и в то же время очень мягкими. У вершин сопок и у огромных ледяных морских торов полыхал густой темно-красный сумрак. Выше них краски постепенно светлели, переходя в красный, а затем бледно-розовый цвет, неуловимо растворявшийся в холодной синеве неба. А само небо не казалось бездонным, как летом. Теперь

холодная синева его напоминала тончайшее стекло опрокинутой кверху дном огромной чаши, по краям расписанной чистейшим пламенем нежно-ярких красок. И, когда трещал на реках и озерах лед, чудилось, что вот-вот расколется и небесная чаша, осыпаясь на землю звенящими осколками. По мере того как гасло кольцо зари, стужа становилась все злее.

Тусклый мерцающий свет далекого звездного мира, казалось, с трудом пробивался сквозь стекло небесного колпака, чуть подернутого сероватой мглой. Слабый ветерок был нестерпимо жгучим.

А сверху все сыпался и сыпался с еле уловимым звоном мельчайший порошок изморози.

Председатель колхоза Таграт ехал с охотничьих участков на собаках, любуясь тем, как утренняя заря встречалась с зарей вечерней. Иногда он останавливал собак и внимательно осматривал попадавшиеся на его пути следы песцов.

— Ай, много песцов в этом году! Не всех задержим, многие, однако, мимо капканов пройдут, — сокрушался Таграт, обдумывая, как сделать, чтобы его колхоз выставил намного больше капканов, чем стояло сейчас.

Чем чаще попадались следы песцов, тем сильнее задумывался он.

Почувяв близость поселка, собаки побежали быстрее. Таграт то и дело тормозил остолом нарту.

— Тааа! Тааа! Та-аа! — кричал он, сдерживая собак.

Вияль встретила мужа, как обычно, приветливо, радостно.

— Иди скорее в дом, погрейся, — сказала она. — Я сама собак распрягу...

Таграт улыбнулся жене, выбил из кухлянки снег. Перед глазами его все еще тянулись бесконечные цепочки песцовых следов.

— Что-то ты хмурый сегодня. Однако, что-нибудь плохое случилось?

— Э, нет, Вияль! — улыбнулся одними глазами Таграт. — Могу сообщить тебе хорошие вести. Очень много песцов идет через побережье наше: охотники каждый день по два, по три песца ловят. План уже в два раза перевыполнили.

— Что ж ты тогда невеселый? — удивилась Вияль.

— Думаю, много думаю, как бы еще раз в пять больше капканов поставить, чтобы по всему побережью нашего сельсовета капканы стояли, чтобы в море, куда песцы идут, капканы стояли. Охотников немножко больше бы нам, чтобы добавить еще хоть одну бригаду.

Вияль отстегнула от потяга¹ нарты передовых собак, осмотрела их лапы — не поранились ли о твердый снежный наст. Собаки ласкались к хозяйке. Вияль отпустила их, задумалась.

— А знаешь, я помогу тебе, Таграт. Я опять соберу женщин, как, помнишь, тогда, когда была еще война, и скажу, что мы, как и прежде, будем ловить песцов. Большую бригаду соберу. Человек двадцать соберу!

Тронутый словами жены, Таграт осторожно стряхнул с ее малахая иней, заглянул ей в глаза.

— Я знал, Вияль, что ты мне это скажешь. Надеялся на тебя. Сегодня же собери женщин.

...На другой день женская бригада в двадцать с лишним человек вышла ставить капканы на побережье и в ледяных торосах моря.

Вияль на легкой нарте, в которую было впряжено всего шесть собак, переезжала от одного охотничьего участка к другому, показывала женщинам, как закреплять капканы.

— В снегу надо выкопать ножом глубокую узкую яму, — объясняла Вияль женщинам, которые вышли на охоту впервые, — в яму заложить вот эту палку, что находится на конце цепи капкана. А затем засыпать палку снегом и как следует затоптать. Пусть палка в снегу держится прочно, чтобы песец не ушел вместе с капканом и цепью.

— Хорошо, женщина-охотник, — шутили подруги Вияль, — будет сделано так, как ты говоришь.

Каждый день выезжала Вияль на своих шести собаках к капканам и почти каждый день возвращалась домой с песцами.

Однажды она задержалась на своем охотничьем участке дольше обычного. Один из капканов оказался слабо прикрепленным к цепи, песец ушел на приманки вместе с капканом. Долго ехала по следу песца Вияль, пока не нашла его замерзшим в одном из оврагов.

Завернув собак, Вияль осмотрелась вокруг, чтобы понять, куда она забралась по следу песца.

«Это же берег реки Кучевээм», — догадалась она.

Заиндевелые собаки повалились на спины, чтобы сбить с шерсти иней. Некоторые из них тщательно зализывали пораненные лапы.

Еще раз внимательно осмотрев занесенный снегом берег

¹ П ó т я г — длинный ремень с кольцами, к которому пристегиваются впряженные в алыки собаки.

реки, Вияль вдруг обнаружила остатки остова небольшой землянки, в которой много лет назад, когда еще был жив ее отец Аю, жила она в летний лов рыбы. Сейчас из-под снега торчало несколько китовых ребер и один деревянный кол, почерневший от времени.

Вияль снова уселась на нарту, задумалась: «Когда-то в этой землянке я жила с сестренкой и братом. Рыбу вместе ловили. Вон там вешалá стояли. Много юколы вялилось на вешалах наших. Гоомо всегда подгонял нас, называл лентяйками, а Ринтынэ за это давала ему подзатыльник».

Воспоминание о сестре и брате, которых насильно увезли на чужую землю, омрачило Вияль. Вздыхая, она перебирала в памяти все, что было связано с ними, и не заметила, что подкрадывается ночь.

Отдохнувшие собаки, жалобно повизгивая, ласкались к хозяйке, но она не обращала на них внимания. Тогда левый передовик поднял к небу заиндевелую морду и завыл протяжно, тоскливо. Глядя на тоскующую хозяйку, завыли и все остальные собаки. Вияль вслушивалась в их унылый разноголосый вой и думала: «Понимают, хорошо понимают, что на душе у хозяйки печаль, вместе с хозяйкой печалются».

«Уу-у-уу!..» — басовито выводил левый передовик. «Ай, ай, ууу!..» — подтягивала пара у самого барана нарты¹. И столько тоски было в заунывном вое собак, что Вияль невольно еще ниже опустила голову и почувствовала, как горячие слезы обожгли ее щеки.

Еще раз осмотрев остатки землянки, Вияль наконец встала, поправила на собаках алыки, тронула с места нарту.

Кругом было тихо. Мороз все усиливался. Из-за морских торосов поднималась багровая луна. Она казалась огромной и совсем не круглой, напоминая собой гигантский расплющенный медный пятак. Багрово-сумрачный свет луны то здесь, то там окрашивал тусклыми бликами вершины торосов в море. «Вон там, за этими льдами, на чужой земле томятся сестра и брат», — думала Вияль, не отрывая взгляда от холодных лунных дорожек на ледяных торосах.

Чем-то чужим, враждебным повеяло на нее при виде этих холодных лучей уродливой луны, которая взошла где-то далеко, за ледяной границей. На миг ей почудилось, что и она, Вияль, очутилась там, на чужбине, где, как ей сейчас казалось, нет солнца и только светит раздавленная кроваво-багровая луна.

¹ Баран нарты — деревянная или железная дуга, за которую держится каюр, управляющий собачьей упряжкой.

Ей стало страшно.

«Доходили вести, что у Ринтынэ был сын. Жив ли он? Не болеет ли он там, под этой холодной луной! — думала Вияль, погоняя собак. — Какой он, на кого похож? Ринтынэ очень была на меня похожа. Быть может, и сын ее на моего Кэукая похож?»

Мысль о своем сыне немного отвлекла Вияль от горестных размышлений. «Хороший он у меня, честный и добрый, — думала Вияль. — Характером своим он чем-то на дедушку Аго похож...»

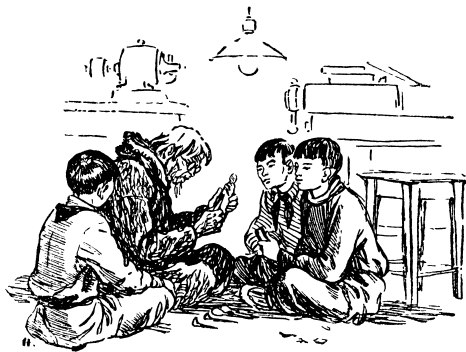
А Кэукай в это время, не замечая, как пристально наблюдает за ним сквозь очки старый мастер Кэргыль, трудился над своей статуэткой.

В школьной мастерской визжали пилки, напильники, стучали долота, слышались шутки, детский веселый смех. Мальчики то и дело обращались к Кэргылю, просили посмотреть, так ли получается морда медведя, корма шхуны или спинка нерпы.

— Сейчас, сейчас посмотрю, — обещал Кэргыль. — Теперь у меня двойные глаза, теперь у меня, как у молодого, глаза — все увижу, все объясню.

Ярко горели электрические лампочки. В мастерской было светло и тепло. Кэргыль, забросив под верстак свой посох, чувствовал себя так, словно он помолодел на добрых сорок лет.

И никто не замечал, да и не хотел замечать, в этом светлом доме, как, заглядывая в окно, поднималась над ледяной границей угрюмая, холодная луна.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ФАКЕЛЫ В ЧЕРНОЙ НОЧИ

ГОРЬКИЕ ЛЕПЕШКИ

Похоронив мужа, Ринтынэ занемогла. Первые месяцы она еще крепилась, но к весне слегла совсем. Беспрерывный кашель изнурял ее. Чочой с тревогой наблюдал, как его мать угасала с каждым днем.

Часто к Ринтынэ приходил ее брат Гоомо. Высокий, чуть сутулый, он выглядел так, будто всю свою жизнь нес на спине незримую тяжелую ношу. Смуглое скуластое лицо его с впалыми щеками, с мелкими добрыми морщинками возле узких глаз почти всегда было печально-задумчивым.

— Я тебе свежего нерпичьего мяса принес, — говорил он негромким низким голосом, присаживаясь возле сестры.

— Спасибо тебе, Гоомо, — шептала Ринтынэ и заходилась в кашле.

Гоомо молча смотрел на сестру, изредка беззвучно шевеля губами. Иногда он поправлял изголовье больной, подавал ей пить. Острая тревога светилась в темной глубине его глаз. «Вот умрет Ринтынэ, и тогда у меня, кроме Чочоя, никого не останется, — думал он, тяжело вздыхая. — Правда, где-то

там, на родной земле, живет Вияль, но увижу ли я ее когда-нибудь?..»

Весна ушла, наступило лето, а Ринтынэ все так и не могла встать на ноги.

— Мама, да ты поешь чего-нибудь! — умолял Чочой.

— Что, что есть? — тихо спросила Ринтынэ. — Кэмби загнал Гоомо с оленьим стадом далеко в тундру, свежего мяса добыть некому...

— Вот тут у нас есть юкола. — Чочой протянул матери сухую тухлую рыбу.

— Нет, Чочой, я уже не могу есть юколу, не лезет она в мое горло.

Когда кончилась и юкола, Чочой обежал яранги чукчей и хижины эскимосов в надежде раздобыть что-нибудь, чем можно было бы накормить больную мать. Но, кроме юколы, никто ничего предложить не мог. «Муки хотя бы немножко достать, — думал Чочой, — лепешек испечь. Наверное, лепешки мама стала бы есть, она так давно не ела лепешек!..»

Худенькое смуглое личико мальчика с заострившимися скулами и подбородком, с тонким, чуть горбатым носом было не по-детски серьезным.

— Но я должен, должен найти ей что-нибудь поесть! — вслух сказал он и зашагал по поселку.

Остановившись напротив дома мистера Кэмби, Чочой смотрел на его окна. «А что, если попросить у Кэмби хотя бы немножко муки, — вдруг даст?» — с тоской подумал Чочой, не решаясь, однако, тронуться с места.

Мистера Кэмби Чочой боялся. Пугало его также и то, что сыновья Кэмби вернулись из города, где они учились в колледже. «Поколотят еще или словами нехорошими обругают, — подумал Чочой, чувствуя, как у него от голода ноет желудок. — Хотя бы немножко муки, хотя бы на несколько лепешек для мамы... А я бы юколы пожевал. Мне ничего, я здоровый!..»

Мысль о том, что он должен во что бы то ни стало покормить мать, заставила Чочоя действовать. «Пусть поколотят, пусть обидят, но, может, мне удастся уговорить Кэмби, чтобы он хоть немножко дал нам муки. Придет Гоомо и с ним рассчитается», — думал Чочой, подходя к двери дома мистера Кэмби.

Открыв дверь, Чочой робко вошел в коридор, пугливо осмотрелся. Ему казалось, что сзади кто-то непременно схватит его за шиворот и вытолкнет на улицу: мистер Кэмби не любил, когда в его дом входили не американцы.

Вот одна из дверей открылась, и перед мальчиком предста-

ла полная женщина с тройным подбородком, с благодушным, на первый взгляд даже приветливым лицом. Брови ее удивленно поднялись, и она ласково спросила:

— Что тебе, мальчик, здесь нужно? Разве тебе неизвестно, что мистер Кэмби не любит, когда к нему в дом заходят эскимосы и чукчи?

— Я... я хотел попросить мистера Кэмби... — замылся Чочой, чувствуя, что от ласкового голоса миссис Кэмби у него пересохло в горле.

— Ты хочешь поговорить с мистером Кэмби? — У женщины снова брови поднялись вверх. — Наверное, у тебя, мальчик, случилось несчастье, раз ты решился на такое. Слыхала я, что у тебя больна мать. Может быть, она...

Заметив выступившие слезы на глазах Чочоя, миссис Кэмби вздохнула и направилась в кабинет мужа. Вскоре она опять появилась в коридоре:

— Мистер Кэмби занят, подожди немножко...

Видимо, ей очень хотелось добавить: «Подожди за дверью», но у миссис Кэмби было доброе сердце, настолько доброе, что она разрешила мальчику-чукче постоять у порога в ее доме.

Не успела миссис Кэмби закрыть за собой дверь, как Чочой услышал недовольный голос Дэвида:

— Пусть дверь будет открытой, а то невыносимо жарко.

— Но там, дорогой мой, в коридоре, стоит мальчик-чукча, он одет в шкуры, запах... — ласково возразила сыну миссис Кэмби.

На пороге показался Дэвид. В руках он держал вилку с поддетой на нее оладьей.

— А-а, это Чочой! — сказал он с набитым ртом и, повернувшись к столу, за которым сидел Адольф, насмешливо добавил: — Вот к нам гость явился из тех, что ты собираешься воспитывать.

— Я тебе говорил об индейцах, а это чукча.

— Не все ли равно, индеец или чукча? Они даже лицом друг на друга похожи. Вот посмотри на этого: нос с горбинкой, широко раскрытые глаза...

— Ну что ж, в конце концов я согласен с тобой, — отозвался Адольф.

— Быть может, ты этого своего будущего воспитанника посадишь рядом с собой за стол?

— Надо знать меру, Дэвид, — недовольно сказал Адольф. — За стол я его, конечно, с собой не посажу, а вот покормить, пожалуй, покормлю, потому что уверен — он голоден, как волк.

С этими словами Адольф положил на тарелку несколько оладий и вышел к Чочою.

— Мама, дай фотоаппарат! — закричал Дэвид. — Такой прекрасный момент: янки из собственных рук кормит мальчи-ка-чукчу, у которого почти черная кожа.

Чочой плохо понимал, о чем говорит Дэвид, и все-таки ему было ясно, что говорит он что-то обидное, оскорбительное.

— Бери, бери, Чочой. — Адольф протянул тарелку с оладьями. — Ты не слушай, что брат болтает. Он шутит, он добрый шутник.

Два чувства боролись в Чочое: первое — повернуться и уйти, ни слова не сказав этим людям, и второе — забрать оладьи, забрать во что бы то ни стало и накормить умирающую мать. А они были такие маслянистые, такие вкусные! Спазма сдавила горло Чочоя, на лбу и на щеках выступила испарина.

Вид голодного мальчика поразил даже Дэвида.

— Бери, бери! Адольф же сказал, что я шучу, — буркнул Дэвид и отвернулся в сторону.

— Мне... мне не надо. У меня мама больна, она ничего не ест, — наконец выдавил из себя Чочой.

— Так тебе завернуть, да? — спросил Адольф и повернулся к матери: — Заверни, пожалуйста, во что-нибудь.

Миссис Кэмби посмотрела на одного сына, перевела взгляд на второго и вдруг засуетилась, собираясь выполнить просьбу Адольфа.

— Ай, Адольф, Адольф, — приговаривала она, — у тебя такое мягкое сердце! Только как бы ты, мальчик, не нажил себе горя. Да, да, как бы ты не нажил себе горя со своим добрым сердцем. Это очень, очень часто бывает.

Получив сверток, Чочой ринулся прочь из дома мистера Кэмби. Он был счастлив, что наконец может принести матери такую пищу, которая ей должна непременно понравиться. Пугливо озираясь, как бы боясь того, что Адольф и Дэвид могут раскаяться в своей доброте и отнять оладьи, Чочой бежал, не выбирая дороги. И, когда ему показалось, что он ушел уже достаточно далеко, он присел за эскимосской хижинкой и осторожно развернул сверток.

«Я не буду их есть... Нет, нет, ни за что не буду! — твердил Чочой, чувствуя, что ему нестерпимо хочется съесть их все сразу. — Я только посмотрю на них, я только языком попробую».

Чочой не знал, как долго сидел он на одном месте, с жадностью вдыхая вкусный запах оладий. Голова его кружилась, от слабости дрожали колени. Не удержавшись, он откусил по

крошечному кусочку от каждой оладьи, думая о том, проглотить ли ему сразу эти кусочки или подержать их во рту как можно дольше.

И вдруг сзади себя Чочой услышал шаги. Быстро завернув оладьи в бумагу, он обернулся и увидел Адольфа и Дэвида с ружьями за плечами: сыновья Кэмби шли на охоту. Чочой поднялся на ноги и, крепко прижимая сверток к груди, попятился назад.

— Чего же ты испугался? — спросил Адольф. — Почему ты такой дикий?

— Между прочим, Адольф, ты забыл, наверное, что этот волчонок очень дружен с грязным негритенком Томом, — напомнил Дэвид.

И тут случилось то, чего так боялся Чочой. Добрая улыбка мгновенно исчезла с лица Адольфа. Сделав резкий шаг вперед, Адольф выхватил из рук Чочоя сверток и, швырнув его в грязь, растоптал тяжелыми резиновыми сапогами.

— Что касается негров, то тут я беспощаден! — сплюнув, промолвил он и пошел прочь.

Довольный выходкой брата, Дэвид громко хохотал, шагая вслед за ним.

А Чочой, прижав худые кулачки к груди, стоял неподвижно, с выражением безмолвного крика на лице; затем губы его дрогнули, и он заплакал так горько, как еще не плакал ни разу после смерти отца.

Не видя дороги, он ступал наугад в лужи, глотая слезы и размазывая их кулачками по чумазому лицу. На груди своей он еще ощущал тепло от свертка с оладьями. И, словно надеясь на то, что он еще нащупает дорогой ему сверток, от которого, как ему казалось, теперь зависела жизнь его матери, мальчик приложил руки к груди, немного постоял молча и вдруг залился слезами сильнее прежнего.

Таким и повстречал своего друга Том.

— Почему ты плачешь, Чочой? — спросил Том и пугливо осмотрелся вокруг.

Чочой умолк на мгновение, посмотрел на Тома так, словно не узнал его, и, присев на корточки, уткнулся лицом в колени.

— Адольф растоптал лепешки в грязи. Мама ничего, ничего не ест... — наконец сквозь судорожные всхлипывания промолвил Чочой.

Том нерешительно потоптался на месте, сиюсь понять, что за лепешки растоптал Адольф в грязи, и пришел к простому, невеселому выводу: у Чочоя отняли возможность покормить большую мать.

— Не плачь, Чочой, не надо, мы сейчас что-нибудь придума-

маем, — наклонился он к своему другу, чувствуя, что дальше переносить плач Чочой уже не в состоянии.

Чочой умолк. Он стал на ноги и, круто повернувшись в ту сторону, куда ушли Адольф и Дэвид, погрозил крепко сжатыми кулачками:

— Ну, подождите же, пусть только придет дядя Гоомо!..

Что будет, когда придет Гоомо, Чочой толком не знал, но ему хотелось в это мгновение верить: с возвращением дяди обязательно произойдет такое, после чего и Адольф и Дэвид непременно жестоко поплатятся за ту страшную обиду, которую они ему причинили.

— А знаешь, Чочой, пойдем ко мне! У отца припрятано немножко муки, мы сами лепешек напечем, — вдруг предложил Том.

В лице его с большими печальными глазами было столько участия к горю своего друга, что Чочой поверил: еще не все потеряно, мать еще можно накормить.

Чочой улыбнулся сквозь слезы Тому и снова погрозил кулачками своим обидчикам.

— Пойдем, — тянул его Том за рукав, — я знаю, отец не станет меня ругать. Он уже второй день по соседским поселкам ходит — посуду эскимосам чинит. Может, что-нибудь заработает, тогда мы купим муки.

Вскоре мальчики, запершись в хижине старого негра Джима, хлопотали у горящего примуса.

— О, мы сейчас такие вкусные лепешки состряпаем, каких ни Адольф, ни Дэвид никогда не едали! — приговаривал Том, намазывая сковородку нерпичьим жиром, потому что масла в хижине Джима не было.

Чочой топтался возле примуса, пытаясь хоть чем-нибудь помочь своему верному другу.

— Мы и себе по одной лепешке сделаем. Будешь есть лепешку? — спросил Том, наливая на шипящую сковородку жидкого теста.

Чочой неопределенно кивнул головой и попробовал подкачать примус. Подавленный происшедшими событиями, он сейчас уже не ощущал того мучительного голода, который еще так недавно терзал его.

К матери в полог Чочой вошел с большим волнением. Ему так хотелось хоть чем-нибудь помочь ей.

— Вот на́, возьми. Это мы с Томом тебе лепешек напекли, — приговаривал мальчик, выкладывая из алюминиевой кастрюли еще горячие лепешки.

Ринтынэ встrepенулась, пожалала чуть выше локтя худень-

кую ручонку сына, потянулась за лепешкой. Чочой широко раскрытыми, немигающими глазами смотрел на мать, словно ожидая: вот она съест одну, вторую, третью лепешку — и тут же с ее лица сойдет болезненное выражение и она встанет на ноги, бодрая, веселая, радостная. Но Ринтынэ жевала лепешку вяло, порой замирала, как бы к чему-то прислушиваясь, с трудом проглатывала. Она ощущала на себе напряженный взгляд сына и, насколько могла, заставляла себя есть. «Не знает, бедняжка, какими горькими кажутся мне его лепешки», — думала она, предчувствуя приближающийся конец.

ТОСКА ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Все чаще и чаще приходила в голову Ринтынэ мысль, что она доживает последние дни. Глядя в одну точку, она думала о том, что в последний раз видит пробивающиеся сквозь дыры в крышке яранги лучи летнего солнца.

Однажды она попросила, чтобы соседи вынесли ее на улицу. Когда пришли мужчины-чукчи, которые когда-то вместе с ней были насильно увезены с Чукотки, Ринтынэ нахмурилась и сказала:

— Не надо нести меня на улицу. Это чужая земля. Я не хочу перед смертью видеть чужую землю. В мыслях я сейчас там, далеко, на родной земле. Дух мой вместе с тоской, которая точит мне сердце, уходит туда, за пролив.

Ринтынэ слабо взмахнула высохшей рукой, тяжело задышала. Чукчи присели и молча долго смотрели на умирающую. Один из них, со скуластым угрюмым лицом, изъеденным оспой, по имени Чумкель, тяжело вздохнул и негромко сказал:

— Тоска точит и мое сердце, Ринтынэ. Один я здесь. А там, за проливом, живет мой сын, которого я никогда не видел. Ты нэт его имя. Как знать, может, и отец еще жив, — помнишь Кэргыля-костореза?

— А как же! Я помню, я очень хорошо его помню, — отозвалась Ринтынэ. — Это он для лука отца моего, Ако, кольца вырезал костяные. А помните, что говорили люди о луке моего отца?

— О как же, как же, Ринтынэ! Я помню, очень хорошо помню! — поспешил заверить Чумкель.

— Я тоже хорошо помню, — отозвался еще один чукча, худой, с впалой грудью, с красными от трахомы глазами, имя которого было Нутэскин.

В это время в ярангу вошел Чочой. Ринтынэ встрепенулась, подняла голову и тут же беспомощно уронила ее.

— Сын пришел... как раз вовремя пришел. Сядь, Чочой, рядом со мной...

Чочой безмолвно опустился на шкуру у ног матери.

— То был не простой лук, а волшебный, украшенный костяными кольцами, — продолжал Нутэскин. — Если бы Ако в тот день был со своим луком, нас бы не угнали на чужую землю.

«О дедушке Ако говорят», — мелькнуло в голове Чочоя.

Он насторожился, весь подался вперед, боясь пропустить хоть одно слово о дедушке Ако, который представлялся ему, по рассказам матери, сказочным богатырем.

— Мэнгылю и Экэчо боялись Ако, боялись его также и те, кто в дружбе был с Мэнгылю и Экэчо, — очень тихо, стараясь не напрягать голоса, сказала Ринтынэ. — Как знать, может, это сам Мэнгылю убил моего отца еще утром, перед тем как на чужую землю бежать...

Чумкель тревожно посмотрел на вход в ярангу, как бы боясь неожиданного появления шамана, и сказал вполголоса:

— Да, так могло быть. Ако действительно был убит в тот тяжелый день, когда нас на чужую землю угнали. Может, оттого Мэнгылю так и торопился, что даже брата своего оставил.

— Быть может, и лук Ако увез Мэнгылю, — еще тише сказал Нутэскин, так же как и Чумкель тревожно поглядывая на вход в ярангу. — Может, он хранит лук Ако сейчас где-нибудь в своем железном складе. Там он прячет все свои шаманские вещи.

Чочой жадно ловил каждое слово. «Может, он хранит лук Ако сейчас где-нибудь в своем железном складе. Там он прячет все свои шаманские вещи», — мысленно повторил мальчик слова Нутэскина. «А что, если как-нибудь залезть в этот склад, поискать?» — спросил он себя и почувствовал, как часто застучало у него сердце.

Долго тянулось молчание. Ринтынэ лежала неподвижно, с закрытыми глазами.

— Пойди, Чочой, на улицу, посмотри, почему Очер лает, — вдруг обратилась она к сыну.

Чочой испуганно и удивленно посмотрел на мать и сказал:

— Это тебе чудится, мама. Очер не лает.

— Пойди, пойди, посмотри, — повторила Ринтынэ.

Чумкель и Нутэскин замахали руками, показывая Чочою на выход. Он встал и, тревожно оглядываясь на мать, вышел.

— Не хотела при сыне этих слов говорить, а теперь скажу. — Ринтынэ открыла глаза. — Жалею, очень жалею, что брат мой Гоомо далеко в тундру ушел со стадами оленей и

что его нет сейчас с нами: чувствую я, что веду с вами прощальный разговор.

— Не надо, чтобы тебе такие тяжелые мысли в голову приходили, — попросил Чумкель.

В ярангу опять вошел Чочой:

— Очера нет нигде близко, мама.

— Ну хорошо, сядь на свое место, — сказала Ринтынэ.

— Ходят тайные вести, что хорошо теперь люди живут там, на нашей земле, — снова заговорил Чумкель.

— Да, все чаще и чаще такие вести до наших ушей доходят, — подтвердил Нутэскин. — Однажды об этом мне даже американец рассказывал. Не такой американец, как Кэмби, а своими руками работающий американец говорил мне об этом. Джон его имя, он копает землю недалеко от индейского селения Ирдэм. Там американцы расчищают такое место, на которое самолеты должны будут садиться.

— Очень хотела бы я, чтобы те вести были верные, — отозвалась Ринтынэ. — Мэнгылю прошедшей осенью о другом говорил мне. Говорил он, что сестра моя Вияль от голода умирает, а сын ее умер. Как будто он узнал об этом от брата своего Экэчо, с которым встречался в проливе.

— Не верь, не верь Мэнгылю! — вдруг вмешался в разговор Чочой; он встал на колени перед матерью. — Гоомо всегда говорил, что Мэнгылю лживый человек!

— Не надо так громко кричать, Чочой, — попросил мальчика Чумкель. — Ты слушай, хорошо слушай, что тебе Гоомо говорит. Нехороших слов он тебе не скажет. Только не надо громко всюду кричать о том, что тебе Гоомо рассказывает.

Чочой, не то обиженно, не то действительно поняв что-то важное, умолк. Ринтынэ ласково посмотрела на него, слабо улыбнулась. «Любит он Гоомо, очень любит», — подумала она и зашлась в надрывающем душу кашле.

Чумкель и Нутэскин ушли. Чочой пожевал сухой вонючей юколы и пошел по ярангам чукчей и хижинам эскимосов в надежде достать для матери хотя бы небольшой кусочек свежего нерпичьего мяса.

Оставшись одна, Ринтынэ снова погрузилась в воспоминания о родной земле. Сейчас, когда Ринтынэ твердо знала, что должна умереть, ей особенно сильно захотелось туда, за пролив, на ту землю, где она родилась и выросла. «Пусть там будет плохо, как говорит Мэнгылю, — думала она, — но попасть бы туда хоть на один день, посмотреть бы в последний раз на те места, где бегала с сестрой, где ходила с отцом. Но как, как сделать это?»

От мысли, что ее желание никогда не исполнится, Ринты-

нэ стало так больно, так горько, что она закрыла лицо руками и заплакала.

«Вот птицы крылья имеют, — думала она, чувствуя, как сбегают вниз по вискам горячие слезы, — далеко лететь могут. Была бы я чайкой, я поднялась бы в небо и улетела на родную землю. Там и умерла бы легко, совсем легко умерла бы там...»

Ринтынэ мысленно представила себе родные места вокруг поселка Рэн, где она родилась, вспомнила самое любимое место, где хотелось бы ей быть похороненной. «Вон там, на берегу Кучевээм, где наша землянка стояла, где мы рыбу ловили летом», — наконец решила она, и вдруг ей пришла на память картина, которая ничем особенным примечательна не была, но Ринтынэ она показала сейчас необыкновенной.

Светлый, солнечный день. Вияль сидит вверху, на вешалах, а Ринтынэ подает ей разделанную рыбу. Вияль встает и ходит по тонким жердям, балансируя руками.

— Упадешь! — кричит ей Ринтынэ.

Вияль хохочет и продолжает ходить. В смеющихся ее глазах — легкий страх и озорное веселье.

Все это с такими мельчайшими подробностями всплыло в памяти Ринтынэ, что она даже улыбнулась, словно на какое-то мгновение ей действительно удалось побывать на родной земле. Но вот картина исчезла, и Ринтынэ почувствовала, как ей стало холодно и жутко в ее ветхой яранге, в этой чужой и мрачной стороне.

«Надо думать, вспоминать, надо все-все вспоминать, что было со мной там, за проливом», — с тоской подумала Ринтынэ.

Так она и умерла в тоске по родной земле...

После похорон матери Чочой на целый день ушел в тундру. Возможно, он не вернулся бы домой, в поселок Кэймид, и на вторые сутки, если бы не нашли его возвратившийся в поселок Гоомо и маленький негр Том.

Не скоро успокоился Чочой. Он жил то у дяди Гоомо, то у Тома.

Серьезный, замкнутый, он мало разговаривал и совсем перестал улыбаться.

Том заметил, что его друг о чем-то часто сосредоточенно и упорно думает. Однажды, промолчав до самого вечера, Чочой отозвал Тома за хижину и, усевшись на корточки, сказал с таинственным видом:

— Слушай меня, хорошо слушай!..

Долго слушал Том.

Чочой говорил о своем дедушке, богатыре Ако, обладав-

шем замечательным луком. А когда Чочой в конце рассказа сообщил, что он уже хорошо снаружи обследовал склад шамана Мэнгылю и знает, как в него проникнуть, чтобы проверить, нет ли там лука дедушки Ако, Том вскочил на ноги и сказал:

— И я пойду с тобой! Там же страшно! Как ты один там будешь? Это опасно очень...

— Вот-вот, опасно, потому тебе и нельзя, — с прежней таинственностью сказал Чочой. — Тебе же известно, что склад шамана Мэнгылю находится под одной крышей со складом мистера Кэмби, они же друзья. Если там нас поймают, тогда мы погибнем. Тебе лучше, Том, остаться.

Том явно обиделся, молча отвернулся.

Чочою стало жалко друга, он обнял его за плечи и тихо сказал:

— Не сердись на меня, Том. Но я не хочу, чтобы Кэмби тебя убил.

Том вырвался из рук Чочоя и с решительным видом заявил:

— Все равно я пойду с тобой! Тебя тоже могут убить! Может, я сумею помочь тебе чем-нибудь. Вдвоем не так страшно...

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Шаман Мэнгылю выехал в соседний поселок, узнав, что там заболел охотник.

Чочой и Том, перебегая от дома к дому, от яранги к яранге, пробирались к длинному складу из гофрированного цинкового железа.

— Вон, видишь, железная решетка? — сказал Чочой, указывая на окно в стене склада. — Там одна перекладина выломана. Через ту дыру можно залезть в склад.

Том утвердительно кивнул головой и внимательно осмотрелся вокруг.

Мальчики подкатили к окошку одну из валявшихся у склада железных бочек, потом испытующе посмотрели друг на друга и на какое-то мгновение остановились в нерешительности.

— Дай, я первый, — предложил Том.

Тогда Чочой, не отвечая ему, поднялся на бочку, ухватился за решетку, подтянулся на руках и решительно заглянул в окно. Однако глаза его, не привыкшие к мраку, сначала ничего рассмотреть не могли. Просунув сквозь прутья решетки локти, он поднялся еще выше, перевалился всем туловищем в

склад и увидел внутри, под окном, высокую кучу мягких оленьих шкур. Чочой отпустил руки, нырнул вниз головой.

Глянув вверх, он увидел переваливающегося через окно Тома. Чочой махнул ему рукой, что означало: «Смелей!» — и чуть поосторонился. Через мгновение Том был уже рядом с ним.

Невольно мальчики схватили друг друга за руки, пугливо осмотрелись. В складе было почти совсем темно, тихо, пахло прелыми шкурами, тухлым моржовым жиром, вяленой рыбой.

Постепенно глаза привыкли к мраку. Минута шла за минутой, а друзья, настороженные и взволнованные, не решались сделать ни шагу. И тут за ворохом оленьих шкур, где-то слева, послышались странные звуки, похожие на шипение и щелканье. Друзья присели.

— Страшно! — невольно вырвалось у Тома.

— Страшно! — признался Чочой.

Звук больше не повторился. И снова жуткая, зловещая тишина повисла в шаманском складе.

— Может, здесь шаманские души живут? — высказал предположение Чочой.

Том промолчал. Друзья глазами спрашивали друг друга: «Не уйти ли назад?»

— Нельзя назад идти. Я должен поискать лук дедушки Ако, — прошептал Чочой.

Том сжал его руку и решительно встал.

Бесшумно мальчики двинулись в глубь склада. За ворохом оленьих шкур они увидели подвешенную к перекладине большую клетку с филином. Немигающие выпученные глаза филина перепугали мальчиков.

— Шаманский дух! — прерывающимся от страха голосом сказал Чочой.

— Филин, — поправил его Том, перепуганный, однако, не меньше Чочоя.

Филин зашипел, захлопал крыльями. И это неожиданно разозлило Чочоя. Он смело подошел к клетке и сказал:

— Кто бы ты ни был — шаманский дух или просто филин, — сиди спокойно, а то скручу тебе голову!

Филин повернулся в его сторону, взмахнул крыльями и присмирел.

Восхищенный поступком Чочоя, Том тихо засмеялся и сказал:

— Вижу я, ты такой же храбрый, как твой дедушка.

После разговора с филином мальчики почувствовали себя свободнее. Перед их глазами стояли штабеля ящиков с яркими этикетками, бочонки, ведра. На деревянных перекладинах

висели шкуры песцов, лисиц, волков. Один из длинных ящиков был полукрытый. Чочой приподнял крышку и моментально захлопнул снова.

— Что такое? — спросил Том.

— Кажется, там черти сидят! — скороговоркой ответил побледневший Чочой.

Несколько минут друзья стояли напряженные, готовые в любое мгновение обратиться в бегство. Но вот Чочой подошел к ящику, открыл его крышку. Вслед за ним подошел и Том. Из ящика выглядывали оскаленные морды каких-то невиданных зверей. У одного из них были всего лишь единственный глаз во лбу, рога и длинная черная борода. Том невольно отступил назад, а Чочой неожиданно весело сказал:

— О, так это же шаманские маски! Вот в этой маске Мэн-гылю мою маму лечил.

Теперь он спокойно извлек из ящика маску полумедведя-полуптицы и надел себе на голову. Том рассмеялся.

— Тсс! — остановил его Чочой. — Как бы нас не услышали.

Друзья перерыли весь ящик. Там оказалось несколько десятков шаманских масок, связки птичьих когтей, звериных клыков, высушенные птичьи головы, но лука дедушки Ако в ящике не было.

Закрыв ящик, мальчики пошли дальше по складу. В одном месте Том споткнулся и чуть не упал в чан, наполненный вонючим моржовым жиром. За чаном стояли огромные, выше человеческого роста, деревянные идолы, отдаленно напоминавшие фигуры людей. Там, где были намечены рты, виднелись следы жертвенной крови, которой шаман кормил идолов во время праздничных жертвоприношений.

Неподалеку от идолов был привязан к перекладине длинный шест. Конец шеста, почти упиравшийся в крышу, был увенчан мертвой головой оленя. Подняв кверху головы, мальчики со все возрастающим страхом смотрели в мертвые глаза оленя, не в силах шелохнуться.

— А вот, посмотри! — приглушенно воскликнул Том, держа Чочоя за рукав кухлянки.

Чочой посмотрел в том направлении, куда показывал Том, и увидел огромное моржовое чучело. Длинные желтые клыки моржа угрожающе нацеливались на мальчиков.

— Не бойся, это неживой морж! — успокаивал Тома Чочой. — Я видел однажды на празднике моржа, как шаман с бубном плясал на этом чучеле.

В одном из уголков склада друзья увидели целую коллекцию шаманских бубнов самой различной величины. Одни из

них имели овальную форму, другие — круглую, третьи — форму яйца. Все они были увешаны колокольчиками, трензельками, медными и железными бляхами.

Окончив общий осмотр склада, мальчики принялись за поиски лука.

— Мама говорила, что лук дедушки Ако украшен широкими костяными кольцами, а на кольцах вырезаны человеческие и звериные фигуры, — пояснил Чочой, заглядывая в самые укромные места.

Долго они шарили в складе, но ничего не нашли. Постепенно друзья добрались до противоположной стороны склада.

— Это всего лишь перегородка, — объяснял Тому Чочой. — Там, за этой перегородкой, начинается склад мистера Кэмби...

Он не успел договорить. За перегородкой послышались хлопанье двери и громкие возгласы Адольфа и Дэвида.

— Ты хорошо сделал, Дэвид, что уговорил отца оборудовать этот уголок в складе под наш боевой штаб. Уютно, прохладно, а главное, не на глазах у матери. Надоела она мне со своими нежностями!

— Неплохо, неплохо, — согласился с братом Дэвид. — По крайней мере, здесь никто нам не будет мешать — делай что хочешь.

Осторожно осмотрев перегородку, Чочой заметил в одном месте щель и бесшумно припал к ней. Через мгновение он махнул рукой Тому, подзывая его к себе.

Стены «штаба» были увешаны картинами, оружием, охотничьей одеждой. По обе стороны небольшого стола, заваленного книгами и журналами, стояли неряшливо убранные кровати. В одном из углов виднелось что-то прикрытое одеялом. Чочою на миг показалось, что одеялом накрыт человек.

Дэвид повалился на кровать, забросив ноги в огромных резиновых сапогах на спинку кровати.

— Сними сапоги, — укоризненно заметил Адольф.

Дэвид немного помедлил, снял сапоги и снова положил ноги на спинку кровати.

— В общем-то, ты прав, Дэвид, когда говоришь, что дома у нас скучища невероятная. — Адольф зевнул, устраиваясь на своей кровати. — Город — совсем другое дело. Сколько там развлечений!

— В последнее время, знаешь, пошла мода танцевать в ресторанах босиком... да-да, босиком! — засмеялся Дэвид. — Представляешь, дочь или сын какого-нибудь банкира — и вдруг танцует босиком. И ничего, привыкают. Я сам однажды попробовал.

— Ты танцевал босиком? — изумился Адольф.

— Конечно, не сразу решился, — отозвался Дэвид. — Сначала, понимаешь, как-то стыдно было. Но, когда я прочел об этом в газете статью, которая называлась «Вызов условностям!», и попробовал танцевать, — знаешь, ничего...

— Нелепо! Глупо! Дико! — попробовал возмутиться Адольф. — Чего только у нас иногда не выдумывают! Вот, например, эта возмутительная анкета, которую по колледжам послали: «За сколько долларов вы плюнете в лицо вашей матери?» Кстати, я все собираюсь спросить у тебя: ты принимал участие в этой анкете?

— Хотел было переплюнуть всех в колледже, — после некоторого раздумья сознался Дэвид, — решил написать, что готов плюнуть в лицо матери за один цент. Понимаешь, за один цент! Потом понял, что буду одним из героев колледжа, об этом напишут в газетах, и почему-то стало жалко мать...

— А все же ты негодяй, Дэвид! — мрачно заметил Адольф. — Ну, пусть там за тысячу долларов, за две еще можно было бы на это решиться. На это, в конце концов, мама, наверное, и сама согласилась бы. А тебе пришло в голову — за один цент!

Чочой выпрямился, на миг оторвался от щели и прошептал:

— Плевать в лицо своей матери! Как так можно, а? Понимаешь ли ты, о чем они говорят?

— Разве ты не знаешь, кто это говорит? — спросил Том и снова припал к щели.

А за перегородкой сыновья Кэмби продолжали свой разговор,

— Вот я расскажу обо всем матери! — погрозил брату Адольф.

— Не скажешь, — лениво ответил Дэвид.

— Это почему же?

— Потому что ты знаешь, насколько тяжелы мои кулаки. Ведь признайся, дорогой братец: ты очень боишься меня, хотя и старше на целых два года.

— Не боюсь, а просто не хочу с тобой связываться, — ответил Адольф и потянулся к журналу. — «Лайф»!¹ — громко прочел он название журнала.

Перелистав несколько страниц, Адольф всмотрелся в какую-то фотографию, вскочил на ноги.

— Или вот еще, полюбуйся! — с негодованием потряс он журналом. — Вот под этими фотографиями написано, что

¹ «Л а й ф» — американский реакционный журнал.

среди богатой молодежи Америки пошла новая мода прически.

— Ну и что же? — Дэвид лениво повернулся на бок.

— Да ты посмотри, посмотри на эти фотографии: спереди все выстрижено, а сзади космы. Вот полюбуйся, какой вид у этого молодчика с новой прической!

— Неси сюда журнал, покажи, — зевая, предложил Дэвид.

Адольф нахмурился, но послушаться младшего брата не решился. Он подсел к нему на кровать и показал фотографию в журнале «Лайф». Дэвид долго смотрел на фотографию, прочел текст под ней, оживившись, спрыгнул с кровати:

— Адольф, тащи ножницы, сейчас мы себе точно такие же прически сделаем.

— Ты с ума сошел! — запротестовал Адольф. — Да я скорее голову позволю себе отрезать, чем подстричься таким образом.

— Чудак ты, право! Кто нас тут увидит? Сам же говоришь, что скука страшная, хоть посмеялись бы, — попробовал уговорить брата Дэвид.

— Скучища — это верно ты говоришь... — Голос у Адольфа дрогнул. — Но нельзя же допускать такие дикие выходки! — А хочешь, я сам принесу ножницы?

Адольф заглянул в глаза брату, посмотрел в зеркало на свои темные длинные волосы и, вздохнув, сказал:

— Ну ладно, черт с тобой! Разве только на один день, что ли, так подстричься. Завтра я и сзади состригу.

Дэвид быстро натянул сапоги, бросился за ножницами. Вскоре он вернулся.

— Давай я тебя первого подстригу, — предложил младшему брату Адольф.

Дэвид перевернул кверху дном какой-то ящик и приказал:

— Садись!

Адольф, безмолвно опустив руки, уселся. Дэвид принялся стричь ему голову. Порой он приглядывался к фотографии в журнале «Лайф» и снова принимался за стрижку. Адольф морщился, стонал, просил брата быть поосторожнее. Минут через десять Дэвид объявил:

— Ну, кажется, кончил. Встань-ка, я на тебя полюбуюсь.

Адольф встал. Вид у него был безобразный.

— Ну-ка, давай стриги совсем, — не очень настойчиво попросил он брата.

— Это еще что такое?! — возмутился Дэвид. — Почему ты такой? Ну, просто кисель какой-то, а не человек... Давай лучше стриги меня.

Вскоре новая прическа была и у Дэвида. Похлопав себя по темени, Дэвид больно боднул брата стриженной спереди головой, заглянул в зеркало.

— Ну что ж, получилось ничуть не хуже, чем на фотографии в журнале, — удовлетворенно заключил он.

Братья снова уселись на кровати. Несколько минут они сидели со скучающим видом, не зная, чем им заняться.

— Уехать надо отсюда куда глаза глядят. — Адольф тяжело вздохнул.

А Дэвид неожиданно встал и направился к щели в перегородке, отделяющей склад Кэмби от склада шамана Мэнгылю.

Чочой и Том отшатнулись в сторону, припали к земле. Понесся скрип отдираемой жести. Чочой схватил руку Тома, крепко сжал.

— Темно и вонь невыносимая. — Дэвид недовольно поморщился. — Надо будет нам эту стену заделать как следует.

— Пойдем побродим с ружьями по озерам, что ли, — предложил Адольф.

Дэвид согласился.

Когда сыновья Кэмби ушли, Чочой и Том наконец встали на ноги.

— Ох, и боялся я: думал, сердце выскочит! — признался Чочой, дотрагиваясь рукой до груди.

— А я тоже так боялся, что думал — весь в землю влипну, — сказал Том, стряхивая пыль с одежды.

— Ну что ж, давай скорее уходить отсюда, — предложил Чочой, подталкивая Тома в бок.

Мальчики направились к окну с железной решеткой. Убедившись, что у склада никого близко нет, они торопливо, но без шума выбрались на улицу и побежали в хижину негра.

ПОДВИГ МАЛЬЧИКОВ

В поселок Кэймид пришел индеец Шеррид. Остановился он у своего старого друга Гоомо.

Сидя у костра, Шеррид смотрел воспаленными от бессонницы глазами на огонь. В зубах у него была длинная дымящаяся трубка.

Много горя было за спиной у Шеррида. Уже с детства ему пришлось быть изгнанником. Американцы угоняли его племя из родных мест все дальше и дальше на север, на бесплодные, суровые земли. Индейцы гибли. У Шеррида никого не осталось из родных. Отец Шеррида, вождь племени, покончил с собой, когда его насильно угнали американцы в какой-то го-

род, пытаясь сделать из него балаганного актера. Предприимчивые янки хотели заработать на нем большие деньги. Шутка сказать — вождь индейского племени в своем индейском наряде показывает на подмостках балагана сцены из былой вольной жизни!

Шеррид попал на Аляску, будучи юношей. Но не было покоя ему и здесь, на этой суровой земле. Много миль прошел пешком Шеррид по Аляске. Он бывал в городах Джуно и Ном, на берегах рек Тананы и Юкона, в мрачных горах Святого Ильи. Однажды судьба его забросила на остров Кодьяк. А теперь Шеррид жил в одном из соседних поселков, недалеко от Кэймида, занимался охотой и рыболовством. Недавно у него умерла жена. Единственным его утешением была восьмилетняя дочь Лойя.

Уходя на охоту, Шеррид оставлял свою дочку одну дома, и она была отличной хозяйкой. Но недавно Шеррид, вернувшись домой, нашел свою хижину пустой. Весь поселок и его окрестности обшарил Шеррид, но Лойи не нашел. Обезумев от горя, он бросился в соседние поселки. Поиски были безрезультатны. Но вот вчера Шерриду сказали, что в его отсутствие, в день исчезновения Лойи, в поселок приходил из Кэймида американец Кэмби и никто не видел, когда американец ушел.

— Кэмби! Кэмби! — воскликнул Шеррид. — Возможно, это он похитил мою дочь?!

Не раздумывая, Шеррид отправился в Кэймид. Ночью он долго ходил вокруг дома Кэмби. Откормленные собаки рвались с цепи, лаяли до хрипоты. И как раз тогда, когда Шеррид хотел проникнуть во двор, на крыльцо вышел сам Кэмби и крикнул в темноту:

— Эй, кто там лезет? Убирайся прочь, или я продырявлю твою безмозглую голову!

Шеррид прижался к забору. Собаки по-прежнему рвались с цепи. Кэмби вскинул винчестер и разрядил в воздух все девять патронов.

«Надо подождать до утра», — решил Шеррид и бесшумно, как это может сделать только индеец, ушел прочь от усадьбы Кэмби.

И вот сейчас, сидя у костра в яранге Гоомо, Шеррид мучительно думал о том, как ему проверить, нет ли его дочери в доме Кэмби. Но измученное бессонницей лицо его было непроницаемым.

На индейце не было того живописного наряда, разукрашенного пестрыми птичьими перьями и цветными ракушками, какой носили когда-то его предки. Он был одет в сильно поно-

шенную меховую куртку и брезентовые штаны. На ногах у него были эскимосские торбаза из нерпичьей шкуры.

В ярангу вошел с арканом в руке Гоомо. Шеррид осмотрел его могучую фигуру и, грустно улыбнувшись, сказал:

— Не было бы у Кэмби оружия, сейчас пошли бы мы с тобой к нему вдвоем и дознались бы, кто похитил Лойю.

Чочой насторожился.

В это время в ярангу вошел Том. Чочой кинулся к нему навстречу, схватил его за рукав и вывел на улицу:

— Послушай, Том, не показалось ли тебе вчера, когда мы были там, в складе, что в углу, около кровати Дэвида, был закрыт одеялом человек?

— Да-да, мне показалось...

Чочой минуто помолчал, потом отвел Тома еще дальше от яранги и таинственно зашептал:

— Сейчас мы с тобой должны проверить, человек ли это был и что за человек. У индейца Шеррида дочь исчезла. Возможно, это она там была.

Возбуждение Чочоя передалось Тому. Во что бы то ни стало помочь индейцу Шерриду найти его дочку — вот что сейчас занимало мальчиков.

— Надо сказать ему о том, что мы видели вчера... — предложил Том.

— Но меня дядя будет ругать за то, что мы лазили в склад шамана, — возразил Чочой.

Том нахмурился:

— Да. Дядя будет тебя ругать, это верно.

— Но Шерриду все же надо рассказать о том, что мы вчера видели, — твердо решил Чочой. — Надо предупредить его, чтобы он не уходил из поселка. Возможно, его дочь удастся спасти, а без отца как же она убежит отсюда?

— Спасти? — переспросил Том. — Да-да, надо ее спасти, — решительно добавил он, еще не представляя себе, как это сделать.

Мальчики вошли в ярангу. Глянув в окаменевшее лицо индейца, Чочой подсел к нему, положил на его колено руку и вдруг сбивчиво, быстро начал рассказывать о том, что они видели в складе шамана Мэнгылю.

Лицо индейца оживилось. Он вытащил изо рта трубку, мгновенно встал на ноги и весь превратился в слух и внимание. Гоомо изумленно смотрел на мальчиков. К удивлению Чочоя, он не спросил, зачем они очутились в складе.

— Придется тебе, Чочой, еще раз полезть в склад Мэнгылю. Если девочка действительно у сыновей Кэмби, тогда мы с Шерридом подумаем, как ее освободить, — сказал Гоомо.

Индеец опустился на корточки возле Чочоя:

— Шеррид долго помнит сделанное ему зло, но Шеррид еще дольше помнит сделанное ему добро. Шеррид не останется в долгу!

— Пошли, Том! — позвал Чочой.

Индеец положил свои руки на головы мальчиков, посмотрел им в глаза и, чуть кивнув головой, тихо промолвил:

— Пусть будет вам удача!

В склад шамана Мэнгылю мальчики попали точно так же, как и в первый раз. Теперь он не казался им таким таинственным и страшным, как прежде.

Еще не подойдя к перегородке, они услышали голоса Адольфа и Дэвида. Жесть, которую вчера оторвал Дэвид, осталась неприбитой.

Подкрывшись к щели, Чочой и Том сразу увидели сидящую в углу худенькую девочку-индианку с огромными неподвижными глазами. Лицо девочки выражало презрение и даже отвращение к братьям Кэмби, которые в эту минуту занимались странной игрой.

На кровати Дэвида лежал Адольф, а Дэвид, склонившись над ним, прикладывал свой нос к носу старшего брата и с шумом втягивал в себя воздух.

— Ничего не получается! — рассердился он и взял в руки журнал «Лайф». — Тут же ясно описано, что нужно одному играющему вложить папиросную бумагу в ноздрю, а второму играющему попытаться путем энергичного вдыхания через нос втянуть ее в свою ноздрю.

— Мы же так и делаем, — отозвался Адольф, дотрагиваясь пальцами до своего мясистого носа.

— Дай-ка я лягу на кровать, а ты будешь, как тут говорится, энергично вдыхать через нос, — предложил Дэвид.

Братья поменялись местами.

Долго возились они, чертыхаясь, и, видимо, не удовлетворенные результатами игры, уселись на кровати красные, потные, с выражением апатии и пресыщения на лицах.

— Все это очень и очень противно, — сказал Адольф. — И какой только идиот поместил описание этой игры в журнале «Лайф»!

— Не так противно, как скучно. — Дэвид поморщился и, посмотрев пристально на девочку-индианку, почти вплотную подошел к ней. — Ну, чего так смотришь, а? Видно, смешно тебе показалось, как мы забавлялись новой игрой?

— Не столько смешно, сколько противно, — ответил за девочку Адольф. — Если бы было смешно, она смеялась бы.

— Ну, ты сейчас начнешь свое благородство показывать.—

Дэвид повернулся к брату. — И какой же ты, Адольф, нудный человек! Всегда все ругаешь, возмущаешься, плюешься — и, однако, делаешь то же самое, что и другие. Одним словом, ханжа!

— Не понимаю, зачем отец эту девочку взаперти держит? — желая перевести разговор на другую тему, сказал Адольф.

— Да говорит, что этот бродяга Шеррид изрядно задолжал ему и теперь сюда не показывается. Так вот, почтенный родитель придумал способ затянуть индейца к нам в поселок.

— И он, кажется, добился своего. Сегодня я видел Шеррида здесь.

В это время дверь открылась, и на пороге показался Кэмби с каким-то свертком в руках.

Чочой поежился от страха, а Том прикрыл рот рукой, словно боясь, что Кэмби услышит его дыхание.

Мистер Кэмби не видел еще сыновей со вчерашнего дня. Он минутой с недоумением смотрел то на младшего, то на старшего сына, удивленный нелепыми их прическами, а потом строго спросил:

— Это еще что такое?

Дэвид сел на кровать, с независимым видом заложил ногу за ногу и сказал, улыбаясь:

— Это новые прически, отец! Прически по последней моде, признанной золотой молодежью Америки. Вот, можешь убедиться: об этом пишут в журнале «Лайф». Даже фотографии помещены.

— Да это мы пошутили. Сегодня совсем сострижем волосы. — Адольф конфузливо потер рукой голое темя.

Рассмотрев фотографии в журнале и прочитав текст под ними, Кэмби еще раз окинул взглядом своих сыновей.

— Ну что ж, к новым вашим прическам очень пойдет новый наряд! — наконец воскликнул он.

С этими словами Кэмби заговорщически подмигнул сыновьям и развернул два белых балахона с капюшонами.

— Нате, меряйте, привыкайте! Готовьтесь к посвящению в ку-клукс-клан!

— Что? Ты хочешь, чтобы мы стали куклуксклановцами? — изумился Адольф, почти со страхом глядя на белый балахон.

— А разве ты против этого? — после некоторого молчания спросил мистер Кэмби. Голос его прозвучал угрожающе.

— Нет! Что угодно, только не это! — с решительностью, которая озадачила даже Дэвида, заявил Адольф.

— Ты что? — Мистер Кэмби тяжело ступил вперед. — Быть может, там, в своем колледже...

Он не закончил. Ему было страшно подумать, что его сын мог заразиться в колледже опасными идеями.

— Напрасно, отец, так волнуешься, — флегматично заметил Дэвид. — Ты плохо знаешь Адольфа. Он выполнит обряд посвящения. Это так же верно, как и то, что сегодня после вечера наступит ночь.

Адольф зло посмотрел на брата, хотел сказать что-то, но мистер Кэмби миролюбиво перебил его:

— Ну ничего, ничего... Не будем зря терять время. Мне очень некогда. Я хочу предупредить вас, чтобы вы не выпустили вот эту птичку. — Мистер Кэмби указал на девочку-индианку, которая с его приходом, забившись как можно плотнее в угол, закрылась одеялом. — Я хочу, чтобы этот бродяга Шеррид как следует поволновался, тогда он станет сговорчивей и припомнит все свои долги.

Хлопнув Адольфа по длинной спине, мистер Кэмби снова добродушно подмигнул ему и направился к выходу.

— Поручи кому-нибудь как следует заделать вот эту стену, — угрюмо обратился Адольф к отцу, — а то запах оттуда идет такой, что тошно.

— Хорошо, хорошо, сделаю, — пообещал мистер Кэмби и скрылся за дверью.

Адольф закурил сигарету, бросил спичку под ноги Дэвиду:

— Если ты, Дэвид, еще будешь в подобном тоне говорить обо мне, то...

— Ах, оставь, пожалуйста, все это! — перебил брата Дэвид. — Лучше померяем эти дурацкие балахоны. Не думаю, чтобы в них было удобно, но зато в этом наряде у нас будет дьявольски страшный вид. Не ты ли еще совсем недавно сказал: «Что касается негров, то тут я беспощаден»? А ты же знаешь, как боятся негры этих белых балахонов!..

— Можешь надевать, а я ни за что не надену! — упрямо повторил Адольф и отвернулся от брата.

— Наденешь, — спокойно возразил ему Дэвид.

Нарядившись в балахон, он посмотрел в зеркало, сделал несколько воинственных поз и, повернувшись к девочке, сказал:

— А ну-ка, встань, посмотри на меня!

Девочка еще плотнее прижалась к стене. Дэвид, грубо дернув ее за руку, поставил на ноги.

Приникший к щели в перегородке Чочой крепко вцепился рукой в плечо Тома:

— Что-то делать надо, а?

Том встал и осмотрелся вокруг, словно надеясь найти кого-нибудь для помощи.

А девочка гордо подняла голову и посмотрела на Дэвида ненавидящим взглядом. Тонкие ноздри ее сухощавого носа вздрагивали.

— А ты обрати внимание, как она, черт побери, смотрит! — возмутился Адольф. — Меня бесит, если такой взгляд они бросают на нас только вскользь, незаметно, а это...

Адольф не договорил, не находя подходящего выражения. Схватив стул, он сел на него верхом и, облокотившись на спинку, уставился на девочку злыми глазами.

— Так ты что, не боишься, а?

— Ну что ж нам делать? — Чочой снова вцепился рукой в плечо друга.

— Давай стучать кулаками об жесь! — Том замахнулся кулаком.

— Не надо! Так мы все дело испортим.

Быстро осмотрев складское помещение, Чочой остановил свой взгляд на ящике с шаманскими масками и вдруг прошептал радостно:

— Маски!..

Мальчики бесшумно подбежали к ящику, открыли его, быстро выбрали маски пострашнее. Чочой надел на себя маску с одним глазом на лбу, с рогами и длинной черной бородой, закрывавшей почти все его туловище, Том — огромную маску диковинной птицы, отчего стал намного выше собственного роста.

Не сговариваясь, они что было силы толкнули полуоторванный еще вчера Дэвидом железный лист и в то же мгновение очутились перед глазами братьев Кэмби.

От неожиданности Дэвид так испугался, что, сорвав с лица капюшон, неуклюже попятился назад. Споткнувшись, он бросился сломя голову из склада. Адольф в одно мгновение скрылся вслед за братом.

Девочка с недоумением и страхом смотрела на своих спасителей. Мальчики подняли маски.

— Бежим с нами! — схватил ее за руку Чочой.

Девочка последовала за ними в шаманский склад. С лихорадочной поспешностью водворив маски на старое место, мальчики устремились к окну.

— Лезь туда, вверх! — Том подсадил девочку.

...Опомнившись от страха, Адольф и Дэвид не очень решительно заглянули в свой «боевой штаб». Там уже было пусто.

— Ничего не понимаю! — сказал Дэвид. — Кто-то зло подшутил над нами.

— Ты думаешь, что это... были люди?

— А что ж, по-твоему, — перебил брата Дэвид, — это были настоящие черти, что ли? Вот я им задам! Они сейчас где-нибудь в этом вонючем складе.

Дэвид отогнул жезл и с трудом пролез в склад Мэнгьюлю. Адольф, потоптавшись в нерешительности, последовал за ним.

Сыновья Кэмби осмотрели весь склад, но никого не обнаружили.

— Ничего не понимаю! — разводил руками Дэвид. — Дверь на замке, разве только в окошко выбрались?

— Но оно же маленькое, — возразил Адольф. — Там только дети могут пролезть.

— Это верно, — согласился Дэвид.

О том, что их перепугали Чочой и Том, сыновьям Кэмби не приходило и в голову.

В это время в яранге Гоомо девочка-индианка, обхватив отца за шею худенькими ручонками и уткнувшись лицом в его грудь, горько плакала. Шеррид гладил ее по голове и приговаривал:

— Не плачь, моя Лойя, не плачь. Теперь ты уже со мной... да-да, со мной... Запомни этих двух мальчиков — Чочоя и Тома. Это настоящие мужчины!

Индеец Шеррид ушел с дочерью из поселка Кэймид. На прощанье он сказал, что на другой же день уйдет из своего селения, чтобы уже никогда не нашел его американец Кэмби.

...Шаман, вернувшись домой, с изумлением узнал, что произошло в его складе. Он немедленно отправился в склад и вместе с мистером Кэмби тщательно осмотрел его. Недоумению Мэнгьюлю не было границ. В складе все было на месте, все лежало и висело так же, как и много лет подряд.

— Может, у тебя, в конце концов, где-нибудь потайная дверь появилась? — выходил из себя Кэмби.

— Да нет, у меня всего одна дверь, вы же знаете, — растерянно оправдывался Мэнгьюлю.

Мистер Кэмби плюнул и ушел прочь.

«Какие-то коварные духи завелись в моем складе», — сделал вывод шаман и, схватив бубен, принялся колотить в него, выгоняя из склада непрошенных гостей.

А мистер Кэмби ходил в это время по ярангам и по хижинам эскимосов, пытаясь дознаться, кто перепугал его сыновей и увел девочку-индианку. Эскимосы и чукчи смотрели на него с искренним недоумением и отвечали, что они поражены этой новостью.



*Обхватив отца за шею худенькими ручонками, горько плакала
девочка-индианка.*

СТРАННЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Еще долго ходили разговоры о происшествии, случившемся в складах шамана Мэнгью и мистера Кэмби. Чочой и Том прислушивались к этим разговорам, заговорщически перемигивались и незаметно посмеивались над сыновьями Кэмби.

— А у Дэвида глаза выпучились, волосы, которые еще на затылке остались, дыбом встали! А бежал-то он как!..

Стараясь изобразить страшно перепуганного человека, Том смешно тарачил глаза, широко расставлял руки и бросался бежать сломя голову. Чочой покатывался со смеху и, в свою очередь, начинал показывать, как испугался Адольф.

— Пойдем послушаем, эскимосы говорят о страшных чудовищах, которые перепугали Адольфа и Дэвида, — сверкая белозубой улыбкой, как-то предложил товарищу Том.

— Пойдем послушаем! — согласился Чочой.

Но в этот день никто из эскимосов и чукчей о страшных чудовищах не говорил. Всюду речь велась об одном: нерпа ушла от берегов, очень мало рыбы в реках, в хижинах нет еды, голод отнимает у людей силы, голод отнимает жизнь.

Чочой и Том угрюмо слушали эти разговоры и чувствовали, как их самих гложет голод.

— Отец мой тоже ничего за последние дни заработать не может, — тоскливо промолвил Том, — а есть сильно хочется.

Мальчики вяло поднялись на ноги и зашли еще в одну хижину.

— Здесь дочь старика Таичи живет. У нее недавно муж умер, — сказал Чочой.

Внутри хижины на нерпичьей шкуре сидела очень худая женщина в изорванной ватной куртке и в таких же изорванных ватных штанах. Рядом с ней сидел ребенок лет четырех. Крупная голова его, казалась, чудом держалась на тоненькой шейке. На худом и прозрачном лице, не по-детски серьезном, особенно заметны были широко открытые, немигающие глаза.

Когда в хижину вошли мальчики, ребенок с трудом повернул в их сторону голову. По лицу его пробежала едва уловимая тень оживления. Том подсел к малышу и сказал, не в силах оторвать взгляда от его тоненькой шеи:

— Темно здесь. На солнце пойдешь. Сегодня день теплый, солнечный.

Женщина печально улыбнулась гостям и, прервав на время выделку нерпичьей шкуры, сказала:

— Разве вы не знаете, что ножки у моего Тотыка не ходят? Вот взяли бы его с собой, отнесли бы на зеленую травку, где ягода есть, поиграли бы с ним.

— Поиграешь с нами? — Чочой наклонился к Тотыку.

Ребенок кивнул головой, доверчиво протянул ручки.

Бережно несли Тотыка по очереди Чочой и Том. Усадив мальчика на лужайке, они попытались занять его какой-нибудь игрой. Тотык изумленно смотрел вокруг широко раскрытыми глазами, личико его постепенно оживлялось. А когда совсем близко возле него уселась пестрая бабочка, он засмеялся, потянулся к ней ручонками.

— А какой он веселый стал, — тихо сказал Том, глядя на Тотыка. — Вот бы ножки ему здоровые, чтобы побежать как следует...

Положив вокруг Тотыка зеленую траву и цветы, мальчики пошли искать ягоды.

— Давай в счастливую жизнь играть! — вдруг предложил Том.

— А как? — спросил Чочой.

— Да вот пойдем ягод нарвем, только есть сначала не будем. Много-много нарвем морошки, клюквы. Потом к Тотыку все это принесем, станем есть и все время будем думать, что мы едим лепешки. И Тотыка хорошо накормим...

— Да, вот бы нам сейчас лепешек таких, какие однажды мы с тобой пекли! — сказал Чочой. — Я бы ничего другого всю жизнь не хотел, только бы такие лепешки всё ел и ел...

— Ну вот, давай будем думать, что не ягоды едим, а лепешки. Скорее идем, а то Тотык без нас скучать станет, — заторопился Том.

Уговор мальчики соблюдали строго: они не съели ни одной ягодки, пока не вернулись к Тотыку.

Заметив ягоды, Тотык потянулся к ним ручонками, потерял равновесие и упал на бок. Чочой поднял его, поставил перед ним свой летний малахай, наполненный морошкой и клюквой. Набирая дрожащими ручонками ягоды, Тотык жадно подносил их ко рту. И мальчики, наблюдая за ребенком, совсем забыли, что собирались играть в счастливую жизнь.

— Как бы у него не разболелся живот! — забеспокоился Том.

— Да, от ягод может заболеть живот.

Но никто из них не решался отнять у Тотыка малахай с ягодами.

Неожиданно сзади себя ребята услышали чьи-то тяжелые шаги. Оба мигом повернулись и увидели незнакомого человека.

— Американец! — испуганно шепнул Тому Чочой.

Не будь с ними Тотыка, мальчики не замедлили бы подняться с места, чтобы избежать встречи с неизвестным белолицым человеком.

Американец был высокий, сутулый, с худым, болезненным лицом. Изорванный синий комбинезон его был измазан глиной, стоптанные башмаки перевязаны проволокой. Подойдя к мальчишкам, он слабо улыбнулся, снял с плеч котомку и устало опустился на землю.

— Ну что, дорогие мои, пасетесь? — спросил он надтреснутым голосом.

Пристальным взглядом посмотрел американец на Тотыка и прошептал потрескавшимися губами:

— Бог ты мой, неужели и мои дети сейчас вот так же выглядят, как этот измученный ребенок?

Долго тянулось молчание. Чочой и Том с затаенным страхом не очень дружелюбно разглядывали непрошеного гостя. Американец заметил это.

— Эх, милые дети, — печально промолвил он и вдруг улыбнулся широкой, мягкой улыбкой, — у меня там, в Чикаго, такие же, как вы, сынишки остались. Такие же, как вы, худенькие, оборванные, такие же, как вы, голодные...

И от этой улыбки, от слов этих у мальчишек как-то сразу пропала враждебность к незнакомому человеку. Им стало жаль его.

— Ешьте, ешьте эти ягоды, вы, наверное, очень голодны! — с готовностью предложил Том, поднимаясь на колени.

— Спасибо, дорогой мой. — Американец дотронулся до головы Тома огромной шершавой рукой. — Но сможете ли вы еще собирать себе столько ягод?

— Мы сможем, сможем! — поспешил заверить гостя Чочой.

Американец запрокинул голову, чтобы высыпать ягоды из горсти в рот. Кадык на его сморщенной шее стал еще больше, еще острее.

Медленно пережевывая кислые ягоды, американец все смотрел и смотрел на Тотыка.

— Ножки у него не ходят, есть ему нечего, — угрюмо объяснил Чочой, вытирая рукавом своей изорванной кухлянки вымазанное ягодным соком личико Тотыка.

— Ножки не ходят, — повторял американец, горестно качая головой, — ножки не ходят...

— У него отец недавно умер, мама тоже больная, — рассказывал Том, подвигая гостю малахай с ягодами.

— Жарко тебе, мальчик, в твоей кухлянке, солнце печет. — Американец положил руку на спину Чочоя.

— От рубашки только один воротник, — откровенно сознался Чочой, показывая на шее через головной вырез кухлянки засаленную тряпицу, которая когда-то была воротни-

ком рубашки. — А в кухлянке ничего, — как можно бодрее добавил он, — в ней дыр много...

— Бог ты мой, бог ты мой, — качал головой американец, — воротник один от рубашки...

Снова настало долгое, тягостное молчание. Чочой глянул в малахай и заметил, что ягод уже почти не осталось. «Вот и поиграли в счастливую жизнь, — подумал он. — Ну ничего, потом еще насобираем».

— А откуда и куда вы идете? — сам не зная, как он на это решился, спросил Том, обращаясь к американцу.

— Иду далеко, очень далеко иду, мой мальчик. Иду, чтобы брать мертвой хваткой за горло тех, кто сидит на шее у простого народа. Нет, с меня довольно. Я больше терпеть не могу. Я не брошусь с горя, как бедный Мартин Несс, вниз головой с моста в реку, я буду драться!.. — с ожесточением говорил американец, немного пугая мальчиков своей непонятной речью. — А до этого я был не так уж далеко от вашего поселка. Может, слышали, в долине реки Эйпын строится большой аэродром? Да, совсем недалеко от вас строится аэродром, с которого должны будут подняться самолеты, чтобы там, за проливом, убивать людей...

— Убивать людей за проливом? — Чочой поднялся на колени.

— За что убивать? — Том подвинулся ближе к американцу; на лице мальчика было напряженное внимание.

— А за то убивать, что там, за проливом, нет вот таких несчастных детей, как ваш Тотык, у которого не ходят ножки... Убивать только за то, что там все люди стоят прочно на ногах и знают, куда им идти.

Том и Чочой переглянулись, не всё понимая в речи американца.

— Но там же, за проливом, у меня двоюродный братишка живет! — сказал Чочой. — Правда, шаман Мэнгылю говорит, что он умер, но дядя Гоомо не зря называет шамана лгущим человеком. Врет Мэнгылю!..

— У тебя за проливом братишка живет? — Американец мягко взял Чочоя за худые плечи.

— Да-да, там мой брат живет, — подтвердил Чочой и принялся путано, сбивчиво объяснять, как это получилось, что он живет здесь, а братишка — за проливом.

Американец слушал Чочоя внимательно, изредка покачивая головой.

— А вы что, глину копали? — спросил Том, пытаясь соскрести ногтем комок грязи с комбинезона американца.

— Да-да, копал, мальчик, глину, только не могу я больше

эту глину копать. Не могу выполнять работу, которая похожа на то, что я могилу копаю тысячам невинных людей! Ушел! Бросил, хотя, может быть, это была единственная возможность иметь более или менее постоянную работу. Но я не могу быть могильщиком! Пусть лучше сам подохну с голоду! Да-да, мы копаем другим народам могилы, но, даст бог, в них лягут те, которые хотят видеть горы человеческих трупов. Эх вы, не-смышлениши маленькие. Непонятно еще вам, о чем я говорю. Растите быстрее. Вы поймете, вы всё хорошо поймете! — Американец сдвинул измятую шляпу на глаза, почесал затылок и задумчиво добавил: — Не может быть, чтобы наши дети всего этого как следует не поняли...

Сняв с головы шляпу, американец стряхнул с нее пыль, поднялся на ноги. И снова, не отрываясь, он смотрел в личико Тотыка, доверчиво поглядывавшего на него своими глазенками.

— Ах, бог ты мой, не ходят ножки!.. — горестно выдохнул американец и вдруг принялся рыться в своей котомке. — НÁ, мой дорогой, — поспешно опустился он на колени, протягивая Тотыку небольшую шоколадку. — Съешь это — ты, наверное, никогда-никогда не пробовал конфет! А я, быть может, еще зарабатую, быть может, куплю своим детям...

Тотык вертел в руках шоколадку и не подозревал, что ее можно есть. Тогда американец, быстро развернув бумажку, помог Тотыку откусить кусочек. И тут случилось невероятное: голодный ребенок выплюнул шоколадку и заплакал.

Лицо американца болезненно искривилось, губы дрогнули.

— Научите его съесть это, — упавшим голосом попросил американец Чочоя и Тома. — Мальчик поймет, что это вкусно... пусть съест...

Тяжело поднявшись на ноги, он снова сдвинул на глаза шляпу и зашагал прочь, бормоча себе под нос:

— Ах, бог ты мой, не ходят, совсем не ходят ножки!..

Чочой и Том долго смотрели на его сутулую спину, испытывая искреннюю жалость к непонятному им человеку.

— Станный какой-то американец, — наконец нарушил молчание Чочой.

— Видно, человек очень хороший...

— Да, он человек добрый, потому что худой и голодный, — объяснил Чочой.

Том молча кивнул головой. Такое объяснение его вполне удовлетворило.

Американец скрылся. Мальчики принялись убеждать Тотыка съесть шоколадку. Облизав вымазанные в шоколаде губы, он съел ее очень быстро и потребовал еще. С трудом уда-

лось Тому с Чочоем уговорить его съесть вместо шоколадки хотя бы немного ягод.

Наплакавшись вдоволь, Тотык уснул. Мальчики бережно поправили ему изголовье из свежей травы и снова пошли собирать ягоды. Но в счастливую жизнь они уже не играли.

— Знаешь, теперь мы будем сразу есть ягоды, ладно? — сказал Чочой. — Не будем играть.

— Да, будем есть сразу, — согласился Том и потуже затянул поясок на своих засаленных до блеска брезентовых штанашках.

А высокое солнце, как назло, палило нещадно. Мальчики вяло ползали по траве, собирали ягоды и никак не могли унять свой голод, как не может утолить жажду человек, пьющий воду во сне.

ВСТРЕЧА С ПОГРАНИЧНИКАМИ

А по другую сторону пролива тоже стояло высокое летнее солнце. Неразлучная тройка — Петя, Кэукай и Эттай бродили вдаль от поселка.

— Вот видите тот высокий холм? — спросил Петя.

— Ну видим, конечно, — ответил Эттай.

— Так вот знайте: это не холм, а самый высокий в мире перевал, на который мы сейчас должны будем взойти.

— Ну да, понятно, — поправил свой заплечный мешок Кэукай. — Мы путешественники!

— Правильно! — сурово нахмурился Петя. — Мы великие путешественники. Мы много, очень много километров прошли пешком. Очень устали. Но не сдаемся. Когда дойдем до перевала, у нас уже совсем не будет сил. Но мы все равно не сдадимся, мы поползем, чтобы добраться до вершины перевала.

— Правильно! Поползем, будем цепляться руками за камни, будем бросать друг другу веревки, будем подтягиваться кверху, чтобы всем вместе до вершины добраться! — сказал Эттай, быстро-быстро разматывая свой аркан.

— Но это еще не все, — фантазировал Петя. — Там, за перевалом, нас ждут больные люди. Мы обязательно должны будем помочь им, спасти их.

— А пусть там, за перевалом, будет Аляска, а? — Кэукай ухватился за рукав Петинной рубашки. — Это ничего, что она совсем не там, не за перевалом, а за проливом. Если это будет Аляска, то мы братишку моего спасем и всех-всех остальных спасем, кто на земле той погибает...

— Ой, как хорошо ты придумал! — обрадовался Эттай.

— А верно, Кэукай очень здорово придумал! — похвалил Петя. — Итак, вперед, великие путешественники! Нам не страшны никакие трудности. Все люди будут гордиться нами!

До самого подножия холма путешественники подбадривали друг друга, говорили о том, что они должны «или умереть, или победить». Когда же началось восхождение на «самый высокий в мире перевал», силы постепенно стали изменять им. Но путешественники не сдавались. Метр за метром они поднимались вверх уже ползком.

— Скорее! Скорее! — подбадривал Петя. — Там, за перевалом, ждут нас люди, которых мы должны спасти.

«Утомленный до изнеможения», Кэукай вдруг покатился вниз. Эттай, быстро собрав аркан для броска, ловко метнул его. Кэукай схватил конец аркана, обвязался им вокруг пояса и с помощью своих преданных друзей, которые готовы были «скорее умереть сами, чем оставить друга в беде», стал снова подниматься вверх.

Все ближе и ближе вершина «перевала».

— За мной! За мной! — кричал Петя. — Скоро мы на вершине перевала водрузим красный флаг! — Но тут же встав на колени, Петя огорченно добавил: — Как же это мы о красном флаге, в самом деле, забыли? Галстук у меня есть, а вот дерева нет.

— Я сейчас принесу. Вон видишь — внизу, под холмом, кусты растут. — Эттай с готовностью вскочил на ноги и побежал вниз.

— О, придумал! — Кэукай стукнул себя по лбу. — Эттай теперь не путешественник, а горный барашек. Давай стрелять!

Тут же Кэукай и Петя повалились на землю и открыли по «горному барашку» оглушительную пальбу, изображая выстрелы собственным голосом.

Когда Эттай снова был вместе с друзьями, он немедленно превратился опять в «великого путешественника». Петя привязал к деревку красный галстук, и восхождение на «перевал» возобновилось.

— Там, за вершиной перевала, ждут нас голодные, измученные люди, — твердили друзья.

И каково же было их удивление, когда за вершиной холма они действительно встретили людей! Правда, эти люди не были ни голодны, ни измучены, мало того — на их фуражках алели звезды, а на коленях лежали автоматы.

— Пограничники! — вполголоса воскликнул Петя и застыл на месте.

А пограничники, видимо, уже давно наблюдали за «вели-

кими путешественниками». Один из них был русский, с добродушным, улыбающимся лицом, второй — чукча, сухощавый, смуглый, с пронизательными узкими глазами. Оба они были в чине младшего лейтенанта.

— Так, так... Значит, вперед! «Там, за вершиной перевала, ждут нас голодные, измученные люди!» — засмеялся русский пограничник.

— А интересно, почему голодные? Почему измученные? — спросил чукча.

— Да потому, что за перевалом у нас здесь Аляска... — недовольно буркнул Петя, хотя встреча с пограничниками его в душе обрадовала.

— Аляска? — многозначительно переспросил русский.

— Ай, как плохо получается, когда географии совсем не знаешь! — Чукча укоризненно покачал головой. — Аляска же за проливом, а не за перевалом находится.

— Я так и знал, что они это скажут, — пробормотал Петя. — Давайте растолкуем им, — обратился он к своим друзьям.

Долго и довольно путано объясняли «великие путешественники», почему у них Аляска очутилась не за проливом, а за перевалом.

— Ладно! Все понятно! Видно, что географию вы знаете, — успокоил мальчиков русский. — А вот скажите мне, как вы, советские школьники, должны себя чувствовать, если вам хорошо известно, что вы живете на границе с государством, которое готовит против нас войну?

— Известно, как. Мы должны быть по-настоящему бдительными, — с достоинством ответил Петя.

— Надо, чтобы уши наши врага слышали, надо, чтобы глаза наши врага видели, — по-своему ответил на вопрос Кэукай.

— Надо, чтобы мы помощниками вашими были, — добавил Эттай.

Пограничники переглянулись, как бы говоря друг другу: «Видал ты их? Отвечают как надо...»

— А скажите... — Пограничник-чукча подвинулся ближе к мальчикам. — Вот встретится вам незнакомый человек, спросит дорогу к нам на заставу или о полярной станции что-нибудь выспрашивать станет — что вы будете делать?

Мальчики переглянулись, помолчали.

— Посмотрим, как он одет, — наконец не очень уверенно начал Кэукай.

— Ну, ну, дальше, — поторапливал русский пограничник.

— Спросим, кто он такой, — продолжал Кэукай, — откуда он. Если человек поселок какой-нибудь назовет, спросим, кого

он там знает. Но если он запутается, как заяц в собственных следах, то...

— Ну, ну, интересно, что же тогда?

— Тогда я вот этот аркан ему на шею наброшу и поведу, как чымначгына¹, к вам на заставу, — с решительным видом сказал Эттай. — Я лучше всех в школе аркан кидаю.

— А то можно камнем по башке слегка стукнуть, чтобы не совсем убить, а так, немножко оглушить, — добавил Петя.

Пограничники расхохотались. Друзья, довольные собой, переглянулись, будучи уверенными, что на все вопросы дали блестящие ответы.

— Нет, не годятся они еще нам в помощники, — промолвил пограничник-чукча.

У мальчиков от изумления вытянулись лица. Они с надеждой уставились на второго пограничника, ожидая, что он возразит первому. Но русский вздохнул и согласился:

— Да, к сожалению, вы еще не годитесь нам в помощники.

— Это почему же? — обиженно спросил Петя.

— Да потому, что не знаете вы, как с незнакомым человеком обойтись, — ответил русский. — Вот один из вас говорит, что на аркан его поймает. Так он же, этот незнакомец, может вас застрелить, если это действительно шпион. А вот второй предлагает камнем по башке слегка стукнуть. А вдруг вы ошиблись? А вдруг это настоящий советский человек и подозрения ваши не оправдались бы?

— Да, тогда действительно беда получилась бы. — Петя почесал затылок.

— Просто надо будет следить за ним, хорошо следить, вот так, как охотник следит за зверем, — нашел выход из затруднительного положения Кэукай, всем своим видом изображая охотника, выслеживающего зверя.

— Да-да, следить! — подхватил Петя. — А одного кого-нибудь послать к вам на заставу, или в сельсовет, или в правление колхоза.

— Вот это я понимаю! — воскликнул русский.

— Да. Думаю, что хорошими они будут у нас помощниками. — Пограничник-чукча улыбнулся.

— Ну что ж, друзья, так и договоримся, — поднялся с пригорка русский. — Помните, хорошо помните, что живете вы на границе. Там, за льдами, у берегов Аляски и Канады, враги сейчас проводят военные маневры, учатся во льдах воевать. Вполне возможно, что они попытаются заслать к нам своих шпионов. Значит, будьте бдительны!

¹ Ч Ы М Н Э — олений бык, ч ы м н а ч г ы н — бычище.



У мальчиков от изумления вытянулись лица.

— Да-да, будьте нашими хорошими помощниками. — Пограничник-чукча встал. — Побеседовали бы с вами еще, да некогда...

— Постойте, постойте! — заторопился Кэукай. — А вот как мне быть? Там, на Аляске, у меня родные есть, братишка есть...

— Родные? Братишка?.. — удивились пограничники.

— Да-да, и у Тынэта, комсорга нашего, отец там, — подтвердил Кэукай и принялся объяснять, почему все это так получилось.

— Да-да... Дело это очень сложное, — задумчиво сказал русский, выслушав Кэукай.

— А нельзя ли туда как-нибудь проникнуть и забрать их? — Эттай хитро скосил глаза в сторону Аляски.

— Нет. Этого сделать нельзя, — сказал пограничник-чукча. — Советские люди на чужую землю не лезут.

— Эх, вот бежали бы они к нам сами! — Кэукай повернулся в сторону пролива.

— Ну, а если бы они бежали сюда, тогда, конечно, мы порадовались бы вместе с вами, — промолвил русский. — Советские люди друзей всегда приютят...

Долго мальчики провожали глазами пограничников, пока они окончательно не скрылись из виду.

— Ну что ж! Давайте теперь играть в пограничников, — предложил Петя.

— Правильно! Давайте играть в смелых пограничников, — согласился Кэукай.

— Только я все равно шпионом не буду, — заранее запротестовал Эттай, предчувствуя, что именно ему будет предложена эта неблагоприятная роль.

— Пусть пока побудет шпионом вот тот каменный столб, который на берегу моря стоит, — нашел выход из положения Петя. — Этого мы можем и камнями колотить.

Вскоре мальчики были захвачены новой игрой. Они подкрадывались к врагу, заманивали его в ловушку, опрокидывали в прямом бою. И вот они уже дерутся не с одним шпионом, а с целой армией захватчиков. Один за другим совершаются подвиги. Враг бежит. А они, доблестные, благородные воины земли советской, освобождают порабощенных, спасают больных, кормят голодных.

А в сердцах их, в их неудержимой фантазии столько неистребимой силы, что, казалось, они действительно готовы принести счастье всем обездоленным людям на земной планете, да вот жаль: возможности их мальчишеские пока ограничены.

ШЕСТВИЕ БЕЛЫХ БАЛАХОНОВ

Старый негр Джим вошел в свою хижину встревоженный и подавленный. Он схватил Тома на руки и прижал его к груди.

Том забеспокоился:

— Что такое, отец? Тебя обидел кто-нибудь?

— Ничего, ничего. Может, все обойдется. О, слишком много горя видел старый негр Джим! Пожалуй, слишком много для одного человека, чтобы сердцу его сейчас быть спокойным.

— Скажи, чем ты так расстроен? — настаивал Том.

Мальчик широко расставил ноги, заложил руки за спину, как бы говоря всем своим видом: «Скажи, отец! На меня ты можешь положиться».

— Я когда-то был крепким мужчиной, — сказал Джим. — Сотни ударов плетью не могли вырвать из меня ни одного слова, ни одного стога. Но сейчас мои нервы далеко не те. Сейчас все чаще и чаще на меня находит отчаяние. Вот так случилось со мной и сегодня... Будь готов, мой мальчик, ко всему, — вдруг твердо сказал Джим. — Дело в том, что я видел, как во дворе мистера Кэмби делают большой деревянный крест. А что это такое, знает каждый негр...

Том съезжился, словно его облили холодной водой. Теперь он понял, почему так встревожен его отец.

Во дворе Кэмби кипела работа. Члены местной организации ку-клукс-клана сколачивали огромный деревянный крест.

— Мы им, черномазым чертям, покажем свою силу! — гудел мистер Кэмби, поглядывая на сыновей, кипятивших в черном котле смолу, предназначенную для обливания креста. — Правда, у нас в поселке только два негра и они, кажется, пока нам ничего дурного не сделали, но мы должны предупредить их!

О чем следует предупреждать негра-калеку и его сынишку, Кэмби не знал, и все же воинственный пыл в нем загорелся настолько, что он готов был, не задумываясь, учинить над Джимом и его сыном Томом самую жестокую расправу. Но для этого нужна была хотя бы маленькая причина, а старый негр, как назло, был самым безобидным существом в поселке Кэймид. Он неустанно паял в своей хижине посуду эскимосов, чукчей, индейцев и пользовался у этих людей глубокой симпатией и уважением.

— Все они, черные свиньи, притворяются тихими да добрыми! — распалая себя Кэмби. — А вот представится им случай перерезать чистокровному янки горло, они и перережут. Да-да, черт побери, перережут!

Голос Кэмби поднимался все выше и выше, наливаясь яростью.

— Вот мы сегодня им зададим! — захлебывался от восторга Дэвид.

Несмотря на свои шестнадцать лет, он готов был прыгать по двору, как ребенок, и орать на весь мир о том, что наступает в его жизни исключительный момент: он будет участником ночного парада ку-клукс-клана!

Заметив пробежавшего мимо Чочоя, Дэвид вымазал пальцы в смоле, вышел из-за калитки и остановил мальчика:

— Ты, Чочой, очень дружишь с черномазым негром Томом...

В глазах Чочоя была затаенная ненависть. Дэвид заметил это. Криво усмехнувшись, он сказал:

— Да-да, ты дружишь с негром Томом. Хорошая пара, ничего не скажешь, только вот лицо у тебя не такое черное, как у негра. Но я готов помочь тебе...

С этими словами Дэвид схватил Чочоя и вымазал ему лицо смолой. Во дворе Кэмби послышался хохот.

Чочой от обиды готов был заплакать, но он проглотил слезы и снова бросил на Дэвида такой взгляд, что тот невольно выпустил его из рук. Чочой бросился бежать.

— У, дикий волчонок! — бросил ему вслед Дэвид.

Несмотря на то что его выходка рассмешила добрый десяток американцев, Дэвид почувствовал какое-то смутное неудовлетворение. Когда он подходил к Чочою, он ожидал увидеть его в смятении, ожидал услышать от него слова о пощаде, но ничего этого не случилось. Перед глазами Дэвида все еще стоял полный ненависти взгляд Чочоя.

— Ничего, он еще расплатится за свою дружбу с черномазым чертенком, — пробурчал Дэвид и зашагал по двору.

А Чочой вбежал в хижину к старому Джиму и одним духом рассказал все, что с ним произошло. Старый негр, увидев смолу на лице мальчика, пошатнулся, как от удара, и тихо сказал:

— Горе! Большое горе нам будет сегодня! Линч идет! Черный крест и смола — это страшный знак для негра.

Он беспомощно затоптался на одном месте, тоскливым взглядом осмотрел хижину, как бы прощаясь с ней и, опустившись на скамью, тяжело задумался.

— Понимаешь, Чочой, нас с отцом сегодня ночью будут бить... возможно, убьют, — сказал Том с таким спокойствием и самообладанием, что даже его отец поднял с изумлением голову.

Чочой во все глаза смотрел то на Тома, то на самого Джима, еще не вполне понимая, о чем идет речь.

— Как — бить? За что вас бить? Как можно невинных людей убивать? — наконец спросил он.

Глядя на худенькие, слегка согнутые плечи Тома, на его не по-детски серьезные, со скорбным выражением глаза, Чочой только сейчас почувствовал, насколько любит он своего друга.

— Я и мой дядя Гоомо вас спасем! — воскликнул он.

Старый негр медленно повернулся к нему, пристально посмотрел на взволнованное лицо Чочоя и тихо сказал:

— У тебя большое, очень большое сердце, мальчик... Но знаешь ли ты, что будет угрожать тебе и твоему дяде, если вы попытаетесь защищать нас?

— Пусть будет что будет! — решительно заявил Чочой, устремляясь к двери.

Он выбежал из хижины негра и бросился в ярангу Гоомо.

Джим и его сынишка долго молчали, как бы прислушиваясь к тому, что происходит во внешнем мире, в том проклятом мире, где так много тревог и горя у простого человека, и особенно, если этот простой человек имеет черный цвет кожи.

Тихо было в хижине, настолько тихо, что Том вдруг услышал, как шуршат жуки, которых он насобиравал в коробку из-под консервов.

— Том, иди ко мне, — послышался ласковый голос отца.

Том вздрогнул, подошел к отцу.

Джим посадил сынишку на колени, закрыл глаза и принялся покачиваться взад и вперед. Том подумал, что отец сейчас будет петь. Так оно и вышло: старый Джим запел. Трудно было назвать это песней — столько боли, столько обиды и ненависти было в голосе негра!

«Странные плоды раскачиваются на деревьях, — говорилось в песне. — Странные черные плоды. Хищные птицы клюют их, а ветки деревьев, на которых висят они, обогрены кровью. Странные черные плоды раскачиваются на деревьях...»

Том слушал песню отца, и порою сам подпевал ему тихонько. В его задумчивых прекрасных глазах была видна вся его детская душа, глубокая, чистая.

У двери послышались шаги. Джим умолк. Дверь отворилась, и на пороге показалась богатырская фигура Гоомо. Нанувшись, он шагнул в хижину, а за ним вошел и Чочой.

Гоомо минуту стоял неподвижно: его поразили глаза Тома. Тяжело вздохнув, он вытащил из-за пазухи трубку, раскурил ее и протянул Джиму. Затем, положив свою огромную руку на голову Тома, он скупно улыбнулся и сказал:

— Собирайте-ка с Чочоем инструменты отца в мешок.

Джим хотел что-то возразить, но Гоомо предупредил его:

— Как хочешь, но, если ты и Том останетесь здесь и эти

звери нападут на вас ночью, я вынужден буду прийти сюда, и тогда кто его знает, чем все это кончится. Не лучше ли вам перебраться к моему очагу?

— Ну хорошо, хорошо, — сдался старый негр. — Я слишком давно знаю тебя, Гоомо: ты действительно не сможешь спокойно уснуть, если мы с Томом на ночь останемся в нашей хижине.

Постепенно наступили сумерки. Зловещая тишина нависла над поселком Кэймид. Эскимосы и чукчи, узнав о предстоящих событиях, поглядывали в сторону массивного креста, вкопанного американцами в землю, и на всякий случай заряжали свои винчестеры. Они уже знали, как люди в белых балахонах бесчинствуют над неграми.

Когда поселок Кэймид совершенно погрузился во тьму, у дома Кэмби послышались громкие голоса, сердитые окрики, команда. Громче всех выделялся голос самого мистера Кэмби.

— Зажечь факелы! — приказал он.

Во мраке замерцали слабые огоньки. Вскоре они загорелись ярче, заколыхались нестройным рядом. Багровые отблески факелов смутно осветили около десятка людей в белых балахонах.

У креста факельное шествие остановилось. Прошло минут десять, и вот, извиваясь, пламя поползло снизу вверх по кресту, облитому черной смолой. Оно разрасталось; красные с черной копотью языки рвались в чернильную тьму.

Люди в балахонах, размахивая факелами, пошли в каком-то диком танце вокруг пылающего креста, и в тот же миг посышались ругань, визг, свист, улюлюканье.

Громко лаяли в поселке возбужденные собаки.

Слышались сдержанные голоса эскимосов и чукчей, наблюдавших дикую пляску белых балахонов. Люди собирались группами и с тревогой говорили о том, что времена становятся все хуже и хуже, что страшные обычаи богатых американцев пришли и сюда, на самые далекие берега Аляски.

Собралась отдельно группа и тех американцев, которые не увидели Кэмби и его друзей. Здесь тоже слышались слова тревоги.

А люди в балахонах продолжали бесноваться.

— Выходи сюда, черномазый хромоногий Джим! — кричали они. — Выходи, черная свинья! Мы тебе и вторую ногу на деревянную колотушку сменим!

Яранга Гоомо стояла метрах в двухстах от хижины негра. Крепко сжимая винчестер, Гоомо сурово смотрел в ту сторону, где бесновались клуклуксклановцы.

Старый негр и его сын, крепко прижавшись друг к другу, лежали на мягких оленьих шкурах и с ужасом глядели на пылающий черный крест и белые балахоны.

Чочой лежал рядом с Томом. Обхватив его худенькие, дрожащие плечи, он тихо приговаривал:

— Ничего, ничего, Том, они сюда не придут... Мой дядя не пустит их сюда. Он сильный, очень сильный и метко стреляет.

— Выходи сюда, грязный негр! — донесся чей-то хриплый возглас.

— Мы хотим тебя предупредить! — взвизгнул кто-то другой.

— О чем, о чем вы меня хотите предупредить? — полушепотом спрашивал Джим. — Что я вам плохого сделал?

Один из белых балахонов отделился, пошарил рукой на земле и, вернувшись к кресту, швырнул что-то в хижину негра. Послышался звон разбитого стекла.

Гоомо вскочил на ноги. Джим тоже встал. Он схватил руки Гоомо, сжимавшие винчестер, и умоляюще сказал:

— Успокойся, Гоомо! Не ходи туда. Пусть они бьют стекла. Если останусь жив, вставлю новые. У меня где-то там, на чердаке, были осколки стекол...

Крест постепенно догорал. Когда он совсем потух, белые балахоны выстроились и, подняв горящие факелы, с дикой бранью и свистом обошли вокруг хижины негра. Убедившись, что хижина пуста, они направились к дому Кэмби.

Когда наступила тишина, Гоомо повесил на перекладину в яранге своей винчестер и сказал:

— Ну что же... кажется, на сегодня они успокоились. Давайте вскипятим чайник и попьем чайку.

Тускло горел костер в яранге. Над костром на железном крюке висел чайник. Том и Чочой лежали рядом на оленьей шкуре; утомленные, они дремали. А старый Джим смотрел на костер и говорил о том, что ему с сыном нужно отсюда уходить, чтобы спастись от дикой расправы.

— Но куда? — Он беспомощно развел руками. — Разве есть на этой проклятой земле хоть один уголок, в котором можно было бы жить спокойно чернокожему человеку?

— Скоро пойду и я. Поброжу по другим поселкам, — отозвался Гоомо, — поищу такое место, где можно охотой заниматься, где нет поблизости вот этих балахонов. Если найду такое место, Чочоя заберу и вас с Томом к себе приглашу.

— Нет, такого места тебе не найти, — со вздохом сказал Джим.

— Попробую поискать, — невесело ответил Гоомо, поправляя в костре головешки.

ГИБЕЛЬ ТОМА

Через несколько дней после тревожной ночи Гоомо действительно ушел на поиски другого места, куда можно было бы перебраться с негром. Ушел и Джим на несколько дней в соседние поселки в надежде найти там заработок. Чочой и Том остались у чукчи Таичи.

Хижина Джима стояла по-прежнему с выбитым окном, безлюдная, жалкая. Том и Чочой иногда забирались в нее и долго оставались там, изобретая одну игру за другой. Часто они брали с собой и Очера. Очер любил своих маленьких друзей. Он позволял делать с собой все, что приходило им в голову.

Как-то мальчики нарядили Очера в нечто похожее на юбку, сделанную ими из старого мешка, и в рваную шляпу Джима, найденную под кроватью. Пес не противился. Мальчики проверили, не слишком ли туго завязаны тесемки, придерживающие юбку и шляпу на Очере, а затем попросили его встать на задние лапы, пройтись по полу. Очер с видимым удовольствием выполнил просьбу: ступая только задними лапами и смешно пригнув передние, он пошел, лукаво поглядывая то на Чочоя, то на Тома. Мальчики от души смеялись. И вдруг у разбитого окна послышались голоса, Чочой и Том вздрогнули, повернулись к окну и увидели сыновей Кэмби.

— Слушай, Дэвид, а мы с тобой забыли об этой чудесной собаке! — воскликнул Адольф.

— Ну что ж, не поздно и вспомнить, — отозвался Дэвид.

Чочой, обхватив Очера за шею, забился в угол. Рядом с ним встал его друг Том. Оба мальчика с затаенной ненавистью смотрели на непрошенных гостей.

— Как звать собаку? — со своей недоброй ухмылкой спросил Дэвид.

Мальчики молчали.

— Я вас спрашиваю, черномазые, как звать собаку? — повторил вопрос Дэвид.

Чочой плотнее прижался к стене, а Очер угрожающе зарычал, оскалив свои крепкие белые клыки.

— Нам с тобой ее не увести. Надо напомнить отцу, чтобы он распорядился доставить собаку к нам во двор, — сказал Адольф.

— Я никому не отдам Очера! — заявил Чочой.

— Что?! — изумился Дэвид.

Он вошел в дверь и сделал шаг вперед к мальчику, но тут снова зарычал Очер.

— Пойдем отсюда, — сказал Адольф. — Ведь это хижина грязного негра.

Но, прежде чем выйти из хижины, Дэвид сказал, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Ты, Чочой, помни: дядя твой далеко, а у нас с Адольфом характер решительный...

Чочой молчал.

Когда сыновья Кэмби ушли, мальчики сняли с собаки шляпу и юбку и горестно задумались, не зная, что же им делать.

— Может, дядя Гоомо скоро вернется, — неуверенно сказал Чочой. — Нам бы только до его прихода спрятать куда-нибудь Очера.

Решение это было у мальчиков твердое, но, где именно спрятать Очера, они долго не могли придумать. Друзья перебрали в памяти все известные им укромные места, но ни одно из них не было надежным.

И вдруг Том воскликнул:

— Придумал! — Он поднял кверху палец, указывая на потолок. — Будем прятать Очера на чердаке. Вход на чердак с западной стороны, а с той стороны нет как раз ни одного дома.

Чочой одобрил предложение Тома, хотя и выразил опасение, что, если Очер будет выть, его могут узнать по голосу.

— Я и сам боюсь этого, — сознался Том, — но другого нам ничего не придумать. Только там можно спрятать Очера.

Очутившись на чердаке, Очер приуныл. Глядя в грустные лица своих друзей, он, казалось, понял, что случилось неладное.

— Не будешь выть, а? — спросил Чочой у собаки.

Очер поднял голову, завилял хвостом.

— Не надо выть, не надо лаять, Очер, — ласково попросил Чочой, обнимая пушистую шею собаки.

Посидев еще немного с Очером, мальчики спустились вниз и, стараясь не попадаться на глаза сыновьям Кэмби, ушли к Таичи.

Не успели они пройти и двух десятков метров, как из-за соседней хижины показался сам мистер Кэмби.

— Где собака? — спросил он Чочоя, подходя вплотную.

— Чья собака? — спросил, в свою очередь, Чочой, отступая назад.

— Моя, моя собака. По вине твоего отца погибло сорок оленей, и мне пришлось рассчитываться за них перед Стивенсоном! Очер теперь мой, понимаешь?

Чочой молчал, опустив голову.

— Так где же собака, я тебя спрашиваю? — не унимался Кэмби.

— Я не знаю, где Очер. Поищите — может, найдете, — тихо сказал мальчик.

Кэмби шумно потянул носом воздух, повел вниз-вверх бровями и пошел в хижину Таичи.

Три дня искал собаку Кэмби. Мальчики могли навещать Очера только тайком. Они хорошо знали, что ждет их, если убежище собаки будет раскрыто, и с нетерпением ждали возвращения Гоомо.

На четвертый день Том сказал Чочою:

— Ты не ходи к моей хижине. Собаку я сегодня сам накормлю и напою. Если они поймают тебя, то станут бить.

— Они и тебя будут бить, — горестно ответил Чочой. — Лучше пойдем вместе, все же не так страшно.

Однако Том сделал по-своему. Под вечер он завернул в тряпку кусок моржового мяса для Очера и отправился обходным путем к своей хижине.

Холодный ветер дул прямо в лицо Тому. Шел дождь по полям со снегом. Небо было покрыто свинцовыми тучами. Тяжелые волны сшибали одну с другой огромные льдины, дробя их в куски. Над морем стоял грохот.

Том, стараясь быть незамеченным, нагибался как можно ниже; подойдя к хижине, прижался к ее стенам. Вот он, словно тень, ловко взобрался по мокрой, скользкой лестнице на чердак...

Очер бросился с привязи к нему навстречу, жалобно заскулил. У Тома тревожно сжалось сердце. В два прыжка он очутился возле собаки, схватил ее руками за челюсти. Очер вырвался, встал передними лапами на колени Тома и протяжно завыл.

— Не надо, не надо так. Слышишь, не надо... — вполголоса умолял мальчик собаку, чутко прислушиваясь к тому, что происходит на улице.

Быстро развернув мясо, Том положил его перед собакой. Очер обнюхал мясо, но есть не стал.

— Ты, наверное, Чочоя хочешь видеть? — спросил Том.

Очер рванулся с привязи и снова завыл громко, порой прерывая свои завывания жалобным лаем.

Том был в отчаянии. Два чувства боролись в нем: убежать, пока Кэмби и его сыновья не услышали воя Очера, и второе — остаться и как-нибудь успокоить Очера, чтобы он не выдал своего убежища.

— Замолчи, ну замолчи же, Очер! — умолял Том собаку. — Ведь тебя же в поселке услышат, мистер Кэмби заберет

тебя, и ты больше никогда не будешь играть с нами. Чочой страдать будет, да и я люблю тебя, как человека...

Но Очер был неумолим. Том метался по чердаку, не решаясь убежать. «Если я уйду, он еще сильнее станет выть», — подумал Том, бросаясь перед Очером на колени и хватая его за челюсти.

И вдруг сердце Тома дрогнуло: ему почудился голос Дэвида.

Заскрипела лестница. Том в ужасе попятился в угол чердака. Почувствовав чужого человека, собака зарычала.

— Здесь! — закричал Дэвид, и в ту же минуту показалась его голова.

Дэвид с минуту всматривался в чердачный мрак и наконец заметил расширенные, полные ужаса глаза Тома. На лице Дэвида появилась недобрая усмешка. Он сделал резкий шаг вперед, но, услышав сердитое рычание Очера, снова остановился.

— Ну, что там? — послышался голос Адольфа.

— Лезь, лезь сюда, — усмехаясь, сказал Дэвид, не отрывая своего взгляда от огромных неподвижных глаз Тома.

Адольф несмело переступил порог чердака.

— Вон, видишь? — спросил его Дэвид, указывая рукой на Тома.

— Э-те-те, те-те... — только и мог сказать Адольф.

Сжимая кулаки, братья Кэмби приближались к маленькому негру. А Том, втянув голову в плечи, все плотнее и плотнее жался в угол чердака, мысленно призывая на помощь отца, Чочоя и его дядю Гоомо.

— Вор! Грязный негр, вор! — взвизгнул Адольф, делая еще шаг в сторону Тома.

Очер рванулся с привязи, оскалив клыки. Адольф отступил и, вдруг повернувшись, побежал к выходу, громко крича:

— Сюда, сюда! Мы поймали вора! Грязный негритенок-вор украл нашу собаку!

Рассчитав расстояние так, чтобы его не достала собака, Дэвид опустился на корточки и тихо спросил с той же недоброй ухмылкой на лице:

— Ты слышишь, черномазый, о чем оповещает людей мой брат Адольф?

Тот открыл рот, хотел что-то сказать, но голос у него перехватило. Он откашлялся и наконец сказал:

— Я... я не вор. Я спасал Очера...

Дэвид засмеялся и переспросил:

— Спасал Очера? От кого же ты его спасал?

Том поднялся на колени и, прижав дрожащие руки к гру-

ди, заговорил горячо, быстро, порой всхлипывая, глотая слезы:

— Я не вор! Нет, я не вор! Не надо меня трогать... не троньте меня, я вас умоляю... У меня отец без ноги... Ведь ты же человек, Дэвид, а? Ты же видел, что у отца моего деревянная нога... Он старый, совсем старый, он не сможет жить без меня. Умоляю вас, пощадите меня!

Ноздри Дэвида раздувались. Чувствовалось, что смотреть на объятого ужасом мальчика-негра для него было огромным наслаждением. А Том продолжал:

— Отпусти меня, Дэвид... Я умоляю тебя!

— Отпустить тебя?

Глянув на собаку, Дэвид понял, что к мальчику она не подпустит.

— Ну-ну, беги из своего угла. Твои горячие слова разжарили мое сердце. Я готов отпустить тебя...

В глазах Тома мелькнул проблеск надежды. Он быстро встал на ноги, сделал нерешительный шаг и, пытаясь улыбнуться, спросил:

— Это правда, Дэвид, а? Ты меня не обманешь? Ты меня не тронешь, а? Ведь ты же человек, Дэвид!.. У меня отец с деревянной ногой, ему помогать надо...

— Иди, иди! Конечно же, я человек, — ответил Дэвид.

Том втянул голову в плечи и бросился мимо Дэвида. Но тот вскочил и что было силы ударил мальчика точно таким же ударом, как били гангстеры из только что им прочитанной книги. Том упал навзничь. Очер рванулся вперед и с громким лаем забился на привязи. У хижины послышались шаги, сердитые возгласы Кэмби, Адольфа и еще доброго десятка американцев.

Таичи с тревогой спрашивал у Чочоя, не знает ли он, где может быть Очер.

— Худо получается, Чочой: Кэмби не отстаёт от меня — говорит, что я виноват в пропаже собаки.

Чочой молчал. Низко опустив голову, он лихорадочно думал о том, что ему делать. Полумрак хижины скрывал его волнение, но Таичи догадывался, что с Чочоем творится неладное. «Это он, однако, где-нибудь прячет собаку», — догадался старик.

— Подумай, Чочой, хорошо подумай, где сейчас мог бы находиться Очер, — ласково упрашивал Таичи. — Можешь сказать потом, я могу подождать... Да-да, могу подождать...

Еще ниже опустив голову, Чочой вышел из хижины.

Не успел он открыть дверь, как услышал истошный лай

Очера. «Нашли Очера, нашли!» — пронеслось в его голове. Чочой побежал к хижине Тома. Метрах в десяти он остановился. На чердаке хижины по-прежнему слышались неумолчный лай Очера, ругань, сердитые возгласы многих людей.

«А где Том? Что, если он там, на чердаке!..»

От этой мысли Чочою стало не по себе. Он рванулся к лестнице, но в это время доски крыши затрещали, вход на чердак стал гораздо шире.

— Бросай, бросай его на землю! — послышался чей-то истеричный голос, и через секунду несколько пар рук что-то сбросили с чердака.

Чочой узнал безжизненное тело Тома. Он пошатнулся и присел на землю, чувствуя, что голове его становится нестерпимо горячо, а в груди не хватает воздуха.

Заскрипела лестница. Один за другим спустились на землю разъяренные люди. Кто-то взял Тома за ноги и поволок прочь от хижины.

Чочой не в силах был сразу осмыслить, что произошло. «Они его убьют, убьют! Быть может, даже убили!» — наконец пришло ему в голову. Вскочив на ноги, Чочой бросился к толпе:

— Это я! Я прятал собаку! Не троньте Тома, это я!..

Тяжелый пинок сапогом в живот повалил Чочоя на землю, удары обрушились на голову, и он потерял сознание.

...Когда в мальчике-негре уже нельзя было узнать человека, Кэмби и его друзья отошли в сторону, красные, растрепанные.

— Вот жаль только, что мы балахоны не надели, креста не зажгли: не по форме вышло, — сказал Кэмби, стирая тыльной стороной ладони пот со лба.

На руке мистера Кэмби была кровь, и теперь на его лбу появились багровые пятна. Увидев это, Дэвид вздрогнул, перевел взгляд на растерзанного мальчика и, побледнев, вдруг зашагал прочь, пугливо озираясь.

— Назад! Назад! — закричал мистер Кэмби.

— Тряпка! — с презрением прошипел Адольф. — А еще меня уговаривал надеть белый балахон.

Адольф торжествовал. Наконец-то сегодня не Дэвид, а именно он, Адольф, будет считаться настоящим героем.

— Назад! — еще громче закричал мистер Кэмби, срывая голос.

Но вслед за Дэвидом от толпы отделилось еще несколько куклуксклановцев, участвовавших в суде Линча. Точно так же, как и Дэвид, они, втянув головы в плечи и пугливо озираясь, уходили прочь. Ветер хлестал им в глаза мокрым сне-

гом, бил резкими толчками в грудь, словно вынуждал повернуться назад и посмотреть на то, чего они сейчас так боялись.

Над притихшим поселком с тревожными криками носилась стая чаек, порой взмывающая к черным косматым тучам. И чудилось, что чайки прячутся в тучах, чтобы не видеть ни трусливо уходящих от места расправы преступников, ни их жертвы.

Чочой очнулся в хижине Таичи. Голова его разламывалась от боли. В первую минуту он не мог понять, что с ним происходит, но наконец вспомнил все и, приподняв голову, возбужденно крикнул:

— Где Том? Что они сделали с ним?..

Голова у мальчика закружилась, и он снова упал на постель.

— Лежи, лежи, Чочой, — слышался печальный голос Таичи. — Потом узнаешь, потом все узнаешь... Но лучше бы нам на свет не родиться, чем знать такое...

ГОРЕ ТЫНЭТА

Нина Ивановна зашла в клуб. Там, как всегда, было много молодежи, но Тынэта она не увидела. «Как же это? Неужели он еще с моря не вернулся? Но ведь его бригада полностью здесь!.. А может, он ушел в комсомольскую комнату?»

И девушка поспешила туда.

Пять дней она не видела Тынэта. Все чаще и чаще Нина Ивановна ловила себя на том, что стоит у окна и пристально всматривается в море — не приближается ли к берегу вельбот. Жизнь для нее уже казалась невыносимой без дружбы с этим горячим, стремительно рвущимся ко всему новому юношей.

Тынэт действительно оказался в комсомольской комнате. Он сидел спиной к двери, склонившись над журналом «Огонек».

Нина Ивановна тихонько подошла, заглянула через его плечо в журнал и увидела большой портрет мальчика-негра. Это был рисунок прогрессивного американского художника, изображавшего трущобы негритянского гетто¹ в Чикаго.

¹ Гётто — особые еврейские кварталы в больших средневековых городах, за пределами которых евреи не имели права селиться. В годы второй мировой войны гитлеровцы насаждали гетто на завоеванной территории, превратив их в подлинные лагеря смерти. Сейчас в американских городах существуют негритянские гетто. Это одна из гнусных форм преследования негров в США.

В широко раскрытых глазах маленького негра, в худом, изможденном личике художник запечатлел тоску голодного человека.

Шла минута за минутой, а Тынэт все смотрел и смотрел на портрет.

— Ну и задумался! — наконец не выдержала Нина Ивановна.

Тынэт вскочил, порывисто схватил девушку за руки и крепко прижал ее ладони к своим щекам.

— Как давно я не видел тебя! — тихо сказал он, все крепче прижимая руки девушки.

Нина Ивановна осторожно высвободила руки, поправила у Тынэта галстук и мягко спросила:

— Так, значит, соскучился?

— Ай, как соскучился! В следующий раз из дому тебя украду, в вельбот посажу, в море с собой увезу!

— А ты попроси — может, я и сама соглашусь хоть раз выехать с вашей бригадой в море.

— Прошу, сильно прошу, десять раз, сто раз прошу: поедем послезавтра с нами в море! — заторопился Тынэт.

— Можно подумать, что здесь у тебя пурга. — Нина Ивановна постучала по груди Тынэта и засмеялась.

— Пурга! Конечно, пурга! — Тынэт еще хотел сказать что-то, но в это время взгляд его опять упал на портрет мальчика-негра. — Вот посмотри сюда, — уже тише сказал он. — Как тяжело этому мальчику жить на свете! Вот из-за этого у меня здесь, в груди, тоже пурга, только уже другая, злая пурга. Я сейчас думал-думал и такое придумал: нам надо этого мальчика всем показать в поселке, надо рисунок этот на стене в клубе повесить.

Нина Ивановна взяла журнал, перелистала еще несколько страниц.

— Хорошая у тебя мысль, — сказала она, — только, Тынэт, кроме этого портрета, мы найдем еще много других рисунков, которые расскажут о жизни в Америке негров, индейцев, эскимосов. Это будет целая выставка, и назовем мы ее примерно так... — Нина Ивановна задумалась, подыскивая подходящее название. — И назовем мы ее так: «Там, где пылают факелы». Сейчас я сбегая домой, принесу кое-какие материалы.

Она ушла.

Открыв журнал на прежней странице, Тынэт снова задумался. Ему казалось, что голодные глаза мальчика-негра заглядывают прямо ему в душу и именно у него, Тынэта, просят есть. И чем дольше смотрел юноша в эти глаза, тем становил-

ся мрачнее: «Как же это получается?.. Неужели ему никто не может помочь?..»

И вдруг Тынэту пришла мысль об отце, который тоже находится где-то там, по ту сторону пролива, в той стране, где живет вот этот голодный маленький негр. «У него тоже не белое лицо... Он, конечно, беден, как и отец этого мальчика, и, верно, вот так же сильно хочет есть...»

Шла минута, другая, и уже не глаза маленького негра видел перед собой Тынэт, а голодные, затравленные, умоляющие глаза своего отца, которого он представлял себе очень смутно, лишь по рассказам бабушки Кэргыля.

От мысли, что его отец живет где-то там, на чужой земле, и что, быть может, сейчас вот, в эту минуту, он страшно голоден и болен, Тынэту стало невыносимо больно. Казалось, что именно сейчас, как никогда, Тынэт понял, насколько тяжело сложилась судьба его отца, и он с горечью думал: «А мне, как же мне жить на свете, если я знаю, что ничем не могу помочь ему, моему родному отцу?..»

А голодные глаза со страницы журнала всё смотрели и смотрели на юношу, просили, умоляли его...

Тынэт обхватил голову руками и почувствовал, как часто бьются жилки на его висках.

«Я знаю, они такие... Они думают, что мы не люди, — пришла в голову Тынэта мысль уже о чем-то другом, но он чувствовал, что это новое в его мыслях неразрывно связано с мыслями о его отце, с мыслями о маленьком голодном негре. — Да, они думают, что тот, у кого лицо не белое, должен жить хуже собаки... Они там, за проливом, даже книги такие пишут, и их за это называют учеными...»

— Ну как, немного успокоилась пурга в твоей груди? — услышал Тынэт голос учительницы.

Юноша вскочил на ноги.

— Нет, не успокоилась! — Он с шумом отодвинул стул, на котором сидел. — Еще злее стала. Они думают, что Тынэт ничего не понимает! Они думают, что чукча Тынэт не человек!..

Нина Ивановна изумленно смотрела в его лицо.

— Нет, Тынэт все понимает! Тынэт лучше их понимает, кто человек, а кто волк с лицом человека... Скажи, Нина, где эта книга, которая называется «Миклухо-Маклай»? Дай мне эту книгу, я еще раз читать ее буду. Я должен делать доклад... Слышишь, Нина, я буду делать доклад! Я буду говорить обо всем... Об отце расскажу. Об этом вот мальчике расскажу. О советских чукчах и американских эскимосах расскажу. О хорошем человеке Миклухо-Маклае расскажу. Ругать, сильно ругать буду тех, кого Миклухо-Маклай ругал! Всю

ночь сидеть буду, а доклад напишу... Завтра всех людей соберем. Всех, даже тех стариков, которые уже по улице не ходят. Пусть слушают!

Нина Ивановна терпеливо ждала, когда Тынэт выскажет все, что было у него на душе.

— Хорошо, Тынэт, я тебе помогу сделать такой доклад, — наконец сказала она. — Это должен быть хороший, очень хороший доклад.

— Дай книгу о Миклухо-Маклае, дай твои материалы, — продолжал Тынэт уже более спокойным голосом. Но лицо юноши было по-прежнему возбужденным, глаза его, казалось, стали еще жарче.

«Да, Тынэт правду говорит: в груди у него пурга», — думала Нина Ивановна, прикидывая в памяти, какие материалы ей следует подобрать для доклада своего друга.

ГООМО ВЕРНУЛСЯ

Долго болел Чочой. Таичи заботливо ухаживал за ним.

— А где мой дядя Гоомо? — все чаще и чаще спрашивал мальчик.

Таичи беспомощно разводил руками и тяжело вздыхал. Он боялся сказать, что с Гоомо, возможно, произошло какое-нибудь несчастье.

— А где Джим? — спросил однажды Чочой, пытаюсь поднять голову.

Таичи подсел к Чочою, положил ему на голову мокрую тряпку и сказал:

— Ушел Джим из нашего поселка, совсем ушел. Когда узнал о гибели сына, безумие вселилось в его голову. Правда, он не буйствовал, не кричал, он только повторял несколько слов: «Когда сердце превращается в камень, им можно пользоваться, как камнем». Где Джим сейчас, я не знаю. Одни говорят, что его схватили американцы и посадили в дом для людей, потерявших разум, другие говорят, что его приютил индеец Шеррид...

Чочой закрыл глаза. Из-под его густых, длинных ресниц, перегоняя одна другую, заскользили слезинки.

— Был бы я сильным человеком, — тихо начал Чочой, — я бы отомстил и за отца, и за мать, и за Тома... За Джима тоже обязательно отомстил бы... Вот бы мне найти лук дедушки Ако! Ты не слыхал о чудесном луке богатыря Ако?..

Старик подсел к мальчику, пристально всматриваясь в его худое лицо и пытаюсь понять, не бредит ли он.

— Это замечательный лук! — продолжал Чочой. — Даже шаман Мэнгылю боялся Ако, потому что у дедушки Ако была огромная сила от этого лука. Если бы жив был мой дедушка Ако, он отомстил бы за Тома!

Чочой минуту помолчал, потом приподнялся на постели, заговорил быстро и горячо:

— Я найду этот лук! Вот Гоомо вернется домой, мы с ним вместе станем искать. Тогда пусть не ждут добра от нас мистер Кэмби и его сыновья!..

Таичи приложил руку к горячему лбу Чочоя и сказал:

— Чтобы отомстить, надо быть здоровым и сильным. Значит, тебе надо скорее выздороветь, а потому нельзя волноваться. Спи, Чочой, ты еще совсем мальчик. Нельзя, чтобы в голову тебе приходили мысли взрослых.

Чочой умолк. Долго лежал он, устремив неподвижный взгляд в потолок.

И все же Чочой дождался возвращения Гоомо. К этому времени мальчик уже был здоров. Впервые после гибели Тома он ощутил такую огромную радость, что даже запрыгал, как это бывало с ним раньше, когда играл вместе со своим курчавым другом.

Узнав, что случилось с Томом и старым негром, Гоомо помрачнел, обхватил голову руками и тихо сказал:

— Много я в других селениях и городах видел, многое понял. Не только в нашем поселке есть люди, которые наряжаются в белые балахоны и которые своими факелами хотят поджечь всю землю. Но много я и других людей видел, честных людей. Они тоже ненавидят таких, как мистер Кэмби.

Чочой, словно зачарованный, смотрел на своего дядю и думал: «Вот таким же, наверное, был дедушка Ако».

Собравшиеся послушать Гоомо эскимосы и чукчи молча посасывали трубки, изредка переспрашивали непонятное.

— Трудно прожил я этот месяц, — говорил Гоомо. — Был в больших городах, где за стеклами огромных окон можно было увидеть много всякой вкусной пищи и где не мог я купить кусок хлеба, чтобы утолить голод. Несколько раз меня били, а однажды, назвав бродягой за то, что я пешком добирался домой, на три дня посадили в тюрьму. Но не только о плохом я хочу рассказать вам...

Гоомо стал рыться в своем истрепанном мешке. Достав свернутый в трубку какой-то журнал, он бережно развязал тесемку.

— Что это такое? — спросил Чочой.

— Много я встречал нехороших людей, но, кроме них, встречались мне настоящие люди, — продолжал Гоомо, мед-

ленно листая журнал. — Это были простые люди, они, так же как и я, искали работу и кусок хлеба. Один из них говорил мне о стране, которая называется Советский Союз. Это очень большая земля, много городов на ней, а самый главный город — Москва... Посмотрите сюда. Вот здесь и показан город Москва...

Эскимосы и чукчи склонились над журналом.

Долго в тот вечер Гоомо рассказывал о Москве, о Советском Союзе.

Чочой лежал на мягкой оленьей шкуре, подперев подбородок руками, смотрел немигающими глазами на Гоомо и жадно слушал каждое его слово. Он так и уснул под рассказ Гоомо. А во сне Чочой видел Тома, помогающего ему разыскивать чудесный лук богатыря Ако. Радуюсь, что его друг снова рядом с ним, Чочой увлекал Тома за собой все дальше и дальше, а перед ним где-то далеко в утренней дымке виднелся чудесный город, имя которому Москва.

„КАЖЕТСЯ, КОНЧИЛОСЬ ТВОЕ ДЕТСТВО, ЧОЧОЙ!“

Гоомо опять стал работать пастухом у мистера Кэмби.

Через несколько дней хозяин явился в его ярангу и сердито сказал:

— Хватит Чочою без дела болтаться, пусть идет пасти стадо! Его отец остался в большом долгу передо мной... Так что, если ты, Гоомо, будешь упрямитесь, заставлю мальчишку работать бесплатно.

Ничего не ответил Гоомо мистеру Кэмби, а когда тот ушел, обнял Чочоя и сказал:

— Кажется, кончилось твое детство, Чочой! Отныне ты пастух мистера Кэмби...

Так Чочой стал пастухом.

Огромные стада Кэмби находились в постоянном движении. Не проходило минуты, чтобы какой-нибудь олень не отбился в сторону. С арканом в руках Чочой, как и все остальные пастухи, бегал по речным долинам, по склонам сопков, заворачивал в стадо отбившихся оленей. Он стал молчаливым и не по-детски серьезным.

Посмотрел однажды Гоомо пристально в лицо Чочою и сказал со вздохом:

— Не ходи сегодня в стадо. Вижу я, ты совсем измучился.

Чочой поднял на Гоомо свои печальные глаза и спросил:

— А что скажет Кэмби?

— Пусть говорит, что хочет! Этот человек только тем и похож на человека, что ходит на двух ногах, но я могу его поставить на четыре ноги!..

В стадо Гоомо ушел один. Чочой долго бродил бесцельно вокруг своей яранги, затем подошел к хижине негра Джима, заглянул в оконце. В хижине было сыро и пусто — уже целую зиму в ней никто не жил.

Затаив дыхание Чочой внимательно осматривал каждый угол хижины, словно ожидая, что вот-вот откуда-нибудь появится Том и залется своим звонким смехом. Побродив возле хижины, Чочой пошел на берег моря...

Далеко на горизонте виднелись огромные льдины, напоминавшие вершины горного хребта. Чочой остановился у самой воды, выбрал беленький камешек, вяло повертел его в руках и бросил в воду.

Далеко в море, в мираже, поднялся хрустальный город плавучих льдов. В дрожащем мареве льдины сказочно вытягивались кверху, образуя причудливые купола, шпили, колонны, башни...

Чочою вспомнилась картинка из журнала Гоомо, на которой был изображен город Москва.

— Москва! — шептал Чочой едва слышно. — Хоть бы издали посмотреть, какая она.

Немало дум передумал Чочой, глядя на изображение Москвы в журнале Гоомо. Это были еще совсем детские думы, и это были красивые думы-мечты: они согревали сердце и вселяли надежду на что-то лучшее в жизни.

И вот сейчас, глядя на мираж, Чочой мысленно спрашивал себя: «Но когда же, когда же все это будет?» И вдруг, словно молния, вспыхнула мысль: «Надо бежать! Да-да, надо бежать отсюда! Дядя же говорит, что та земля, на которой стоит Москва, совсем близко, за проливом, вон в той стороне, где виднеются льды. Бежать, обязательно надо бежать!..»

Увлеченный своей мыслью, Чочой весь подался вперед, словно готовясь взлететь.

Неожиданно чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо и рванула так, что Чочой не устоял и упал на спину. Он открыл глаза и увидел над собой Кэмби.

— Природой любишься, щенок? — процедил Кэмби. — А того не знаешь, что тридцать оленей отбились от стада.

Чочой сжался и, как затравленный зверек, смотрел на Кэмби немигающими глазами.

— Встать сейчас же! — уже в полный голос закричал Кэмби и затопал своими короткими, толстыми, как тумбы, ногами.

Чочой вскочил и отбежал в сторону, не зная, что ему делать дальше.

— В тундру, в тундру, щенок, вон к тем сопкам! — Кэмби указал коротким пальцем на далекую гряду сопок. — К перевалу беги! Туда отправился Гоомо с пастухами. Завернуть оленей всех до единого!

Чочой сорвался с места и что было духу побежал от Кэмби. Страх перед хозяином был настолько велик, что он бежал без оглядки до тех пор, пока не потемнело в глазах. Только тут Чочой оглянулся назад и убедился, что Кэмби остался далеко позади. Тогда он выбрал сухую кочку и сел.

Чочой знал, что ему надо торопиться, но подняться уже не было сил. «Сколько суток надо бродить за отбившимися оленями? Может, двое, а может, и больше... Я не могу дальше идти, лучше лечь вот здесь и умереть», — думал Чочой. Он и в самом деле вдруг повалился на спину, раскинув руки.

Над ним голубело высокое небо. Пусто было в небе, так же пусто было и в душе Чочоя. На миг ему показалось, что, кроме него, нет никого под этим пустынным небом. Даже мистер Кэмби на какое-то мгновение показался несуществующим, словно видел его Чочой когда-то очень давно, во сне.

Но вот перед глазами встал любимый дядя Гоомо, единственный родной человек.

— Гоомо, дядя Гоомо, он пошел искать оленей... Трудно ему будет, надо помочь ему, — прошептал Чочой. Собрав силы, он встал и понуро поплелся в сторону горной цепи.

Время клонилось к вечеру, подул холодный ветер. Рваные, из нерпичьих шкур торбаза пропускали холодную воду. Чочой шел, как в забытьи, часто спотыкаясь о кочки. Вдали появился слабый свет костра. «Наверное, пастухи там решили ночевать», — приободрился мальчик.

Однако долго еще шел Чочой, а костер казался все таким же далеким, как в первую минуту, когда был замечен. Силы покидали мальчика. Он все чаще и чаще останавливался, иногда на какое-то мгновение забывался сидя, но пронизывающий до костей мокрый ветер не давал спать. Чочой с трудом поднимался и брел дальше.

К пастухам он подошел уже под утро, когда те поднялись от костра, собираясь отправиться дальше на поиски оленей.

Гоомо увидел Чочоя еще издали и, слегка сутулясь, пошел навстречу. Он присел перед мальчиком на корточки; его смуглое лицо с впалыми щеками, с мелкими добрыми морщинками возле узких глаз осветилось мягкой, печальной улыбкой.

— Что, Кэмби в стадо прогнал? — спросил Гоомо и, тяжело вздохнув, добавил: — Ты, однако, очень голоден?

Чочой судорожно проглотил слюну и ничего не ответил. Гоомо достал из сумочки, привязанной к поясу, кусочек прэрэма¹ — последний свой запас — и отдал Чочою. Тот с жадностью съел прэрэм и только тогда пошел вслед за Гоомо к костру.

Целый день бродили пастухи по тундре, по сопкам, но отбившихся оленей не нашли.

Чочой шел за Гоомо, ни о чем не думая. К вечеру у него разболелась голова, начался кашель.

Гоомо приложил большую шершавую ладонь к его лбу и, покачав головой, сказал хрипловатым, простуженным голосом:

— Плохо дело, Чочой: в тебя вселился огонь. Домой надо...

Еще одну ночь провели пастухи в тундре. А наутро Гоомо попросил их продолжать поиски, а сам усадил больного Чочоя к себе на плечи и понес в поселок Кэймид.

Порой Гоомо останавливался, выбирая сухой холмик, осторожно укладывал Чочоя у себя на коленях. И снова он начинал говорить мягким, задушевным голосом о чудесной земле, где живут свободные люди.

Мальчик жадно слушал каждое слово Гоомо, глядя в его доброе лицо немигающими, с лихорадочным блеском глазами.

Не успел Гоомо принести больного Чочоя домой, как шаман Мэнгылю был уже тут как тут. Ни слова не говоря, не глядя на Гоомо, он направился прямо к постели Чочоя.

— Куда ты? — мрачно спросил Гоомо, преграждая шаману дорогу.

Мэнгылю удивленно глянул на него и спросил:

— Разве ты не видишь, что в тело Чочоя вселился огонь? Нужно выгнать огонь, иначе он сожжет жизнь мальчишки. А кто это может сделать, кроме меня?

— Не тронь Чочоя! — негромко, но с явной угрозой сказал Гоомо.

— Ты что, хочешь его смерти? — еще тише спросил шаман.

— Если ты оставишь его в покое, он будет жить.

Мэнгылю вздрогнул, как от пощечины, отступил шаг

¹ Прэрэм — лепешка из вареного мяса, смешанного с жиром.

назад и, резко выбросив вперед руки, не сказал, а прошипел зловеще:

— Отныне ты враг мой! Да-да, враг мой!

— А ты враг мой с первого дня моего рождения! — сказал Гоомо, наступая на шамана.

Мэнгылю попытался к выходу.

— Вижу я, ты пошел по тропе отца своего — Ако. Но я напому тебе одну весть, уже давно пришедшую с того берега. — Мэнгылю сделал паузу. — Однажды нашли твоего отца с пробитой головой... Побереги свою голову!..

Он хотел еще что-то сказать, но в это время в ярангу вошел мистер Кэмби. Широко расставив ноги, Кэмби пристально посмотрел на Гоомо и спросил, едва сдерживая бешенство.

— Ты почему здесь? Где олени?

— Пойди поброди по тундре сам — может, и найдешь своих оленей, — неожиданно спокойным голосом предложил ему Гоомо.

— Что?! — закричал Кэмби. — Как ты сказал?!

— В голову Гоомо вселилось безумие, — промолвил Мэнгылю, прячась за спину мистера Кэмби.

— Беги сейчас же в стадо! — приказал Кэмби.

Руки Гоомо судорожно обхватили ремешок как раз там, где у него висел чехол с ножом. Он закричал:

— Уходите отсюда!

— Бродяга! — закричал Кэмби уже с улицы. — Я с тобой еще рассчитаюсь! Чтобы больше ноги твоей не было в моем стаде!

Когда мистер Кэмби и Мэнгылю ушли, Чочой поднялся на постели и спросил испуганно:

— Как же мы теперь будем жить, а?

Гоомо неожиданно улыбнулся и ответил как можно веселее:

— Ничего, Чочой! Ничего, надо быть мужчиной. Надо иметь такое же сердце, каким было сердце дедушки Ако. Пусть Кэмби прогнал меня с работы. Он думает, что без него мы умрем, но он ошибается. Мы с тобой займемся охотой на морского зверя: нерпу будем бить, моржа будем бить. Проживем, Чочой! Вот только на ноги поскорей становись...

Чочой глядел на Гоомо влажными любящими глазами:

— Я слышал от мамы, что ты на дедушку Ако похож. Теперь сам вижу, что ты и правда на дедушку Ако похож.

И, немного помолчав, Чочой добавил таким серьезным тоном, словно ему было не девять лет, а уже все двадцать:

— Надо скорее бежать отсюда...

„НЕ ВЫДЕРЖАЛ МАЛЬЧИК“

Дней через десять Чочой поднялся на ноги. Раза два он выходил на байдаре с дядей в море. Гоомо учил его охотничьему ремеслу.

На первых порах им везло: они возвращались с добычей.

— Давно надо было от Кэмби уйти, — сказал Чочой, радуясь тому, что у них наступила наконец вольная и независимая жизнь.

Гоомо улыбнулся, но тут же его лицо помрачнело. «Рано радуешься, мальчик: эти двуногие звери не позволят нам долго жить так», — подумал он, но вслух свои мысли не высказал, боясь встревожить Чочоя.

Гоомо не ошибся. Вскоре кто-то ножом изрезал его кожу на байдару, а через несколько дней, когда Гоомо ходил по ледяному полю в море, выслеживая нерпу, в него стреляли.

Чочой заметил, что его дядя с каждым днем становится все мрачнее и мрачнее. И вот однажды, когда к берегу моря пригнало огромные ледяные поля и Гоомо отправился по льду в море пешком, мальчик пошел проводить его.

— Не ходи, очень тебя прошу, не ходи! А то, быть может, ветер повернется, угонит льды в море, со льдами и тебя унесет, — упрашивал он дядю.

— Не угонит, — успокаивал Чочоя Гоомо. — Настоящий охотник должен быть смелым.

— Тогда и я с тобой пойду.

— Нет, нет! — запротестовал Гоомо. — Ты еще маленький, тебе нельзя со мной. Жди меня дома. К вечеру я вернусь.

Но Гоомо к вечеру не вернулся. Не вернулся он домой и через несколько дней. Подошедшие к берегу льды снова угнало в море.

Отчаяние охватило Чочоя. Все дольше и дольше он задерживался на берегу, высматривая Гоомо. И, когда наконец пришел к выводу, что потерял навсегда последнего родного человека, он, не задумываясь, решил бежать, бежать во что бы то ни стало с проклятой земли.

— Убегу, все равно убегу! Пусть погибну, но уйду в пролив, — твердил он, вынашивая план побега. — Надо Нутэскину сказать, надо Чумкелю сказать. Вместе убежим. Они же там родились, там их дом...

Но ни Чумкель, ни Нутэскин не поддержали Чочоя.

— Разве не знаешь ты, мальчик, каким сердитым бывает покрытое льдами море? — спросил Чочоя Чумкель, подвигая к нему юколу. — Дядя твой недалеко от берега ушел и то не вернулся...

Не притронувшись к юколе, Чочой долго молчал. Вдруг он вскочил на ноги и, давясь слезами, крикнул:

— Ну что ж, тогда я сам убегу!

С этими словами он выбежал на улицу и бросился к озеру. Там на берегу валялась вверх дном легкая байдара Гоомо, на которой он плавал только по озерам. Пуститься в плавание на этой посудине по морю, да еще покрытому льдами, было безумием, но Чочой не видел иного выхода. И он твердо решил: «Пусть погибну, но здесь больше не останусь!»

Из-под ног Чочоя неожиданно вылетела куропатка. Мальчик проследил за ее полетом, тяжело вздохнул и посмотрел в сторону моря.

Далеко на горизонте виднелись призрачные льдины. Они были волшебны красивы и имели самые причудливые формы. И опять Чочою вспомнилась Москва из журнала Гоомо.

— Мираж! — прошептал Чочой. — Это только мираж. Но где-то за ним находится та, Счастливая земля...

Чочой вспомнил, как еще совсем недавно он вот так же стоял на морском берегу и, глядя вдаль, думал о Москве, а сзади к нему подкрался Кэмби, грубо дернул за шиворот, опрокинул на землю.

— У, волк! Вонючий старый волк! — вполголоса обругал мистера Кэмби Чочой и, схватив байдару за нос, поволок ее к морскому берегу. «Убегу! Убегу! Сейчас же убегу!» — повторял он про себя, все ускоряя бег.

Оставив байдару на морском берегу, Чочой побежал в ярангу Гоомо, нашел нерпичий мешок, собрал в него остатки запасов мяса, наполнил небольшой железный бидон водой и снова побежал к берегу. Спустив байдару на воду, Чочой погрузил в нее мешок с едой и воду, а затем внимательно проверил каждый шов байдары — не протекает ли.

Прежде чем решиться сесть в байдару и отчалить, Чочой пристально осмотрел спокойное море с белыми пятнами плавающих льдов. Мысленно представив свой путь, он зябко пожегся, нерешительно потоптался на месте. «Страшно одному, — подумал Чочой. — Вот если бы Том был со мной!..»

Тут Чочой подумал, что он может отправиться в плаванье не один. «Надо взять с собой Очера! Да-да, мы поплывем вдвоем с Очером! Но как похитить Очера у мистера Кэмби? Еше поймают, бить станут или, как Тома, убьют...»

Долго стоял Чочой в нерешительности.

«Нет, нет, Очера нельзя здесь оставить! Ему плохо у Кэмби: его никто там не любит, только заставляют работать...» Эта мысль придала мальчику силы. Больше не раздумывая, он побежал к дому мистера Кэмби. Чувство ненависти и жела-

ние спасти Очера переполняли Чочоя, заглушая все, что напоминало об осторожности, о благоразумии.

«Увезу, все равно увезу Очера!»

Во дворе Кэмби было пусто. Отворив калитку, Чочой решительно подошел к конуре. Очер бросился к нему на грудь, жалобно завизжал. Чочой испуганно пробежал глазами по окнам дома и, отстегнув цепь от ошейника собаки, приглушенным от волнения голосом воскликнул:

— Беги!

Очер бросился прочь со двора. За ним побежал Чочой. Но не успел он выбраться за ворота, как услышал позади себя истошный крик:

— Держите его! Держите вора!..

На какую-то долю секунды Чочой остановился, чувствуя, как у него подкашиваются ноги.

— Держи-и-и!.. — еще раз хлестнуло его сзади.

Подбежав к байдаре, Чочой толкнул ее в воду.

— Очер, сюда! — крикнул Чочой.

Очер прыгнул в байдару. В один миг очутился в байдаре и Чочой.

— Держи!.. — кричал мистер Кэмби, влетая с разбегу в резиновых сапогах в воду.

На берег выбежал Нутэскин.

— Садись, садись в свою байдару, догони щенка! — закричал на него мистер Кэмби.

«Не выдержал мальчик: убежал, один убежал! Погибнет!» — пронеслось в голове Нутэскина.

Он столкнул с помощью Кэмби свою трехместную байдару, бросился догонять Чочоя.

— Догони, догони вора! — кричал мистер Кэмби. — Верни его сюда, я с ним рассчитаюсь!..

...Мираж постепенно исчез. Небо заволакивали тучи. Море из темно-синего становилось свинцовым, неприветливым. С той стороны, где недавно виднелся призрачный город, теперь надвигался туман. Подступал он медленно, постепенно закрывая густой пеленой море. Стаи уток взлетали кверху, стараясь улететь прочь от светонепроницаемой массы тумана.

Чочой торопился уйти как можно дальше от берега, гребя изо всех сил, и скоро устал. Он плыл в тумане наугад, ничего не видя, невесело думая о том, что если поднимется шторм, то гибель неизбежна.

Но вот туман рассеялся, небо посветлело. Лишь на востоке, там, где опускался к морю раскаленный диск солнца, туман еще клубился на багровом фоне заката.



Чочой торопился уйти как можно дальше от берега,
гребя изо всех сил...

Чочой совсем перестал работать веслом. Он наблюдал, как огненный диск солнца погружался в туман. Через море протянулась широкая дорога, усеянная миллионами красных бликов. Стая уток, напоминающая густое черное кружево, вылетела на багровую дорогу и пронеслась над самой водой к захопящему солнцу. В воздухе долго слышалось хлопанье крыльев. Чочой проследил за полетом стаи, пока она не исчезла из виду.

Неожиданно Чочой услышал позади себя слабые всплески. Он повернулся и увидел байдару с человеком, который явно преследовал его. Схватив весло, мальчик что было силы поплыл прочь, изредка оглядываясь назад. Когда на пути попадались льдины, он с силой отталкивался от них своим длинным веслом и плыл дальше. Но байдара преследователя подходила все ближе и ближе.

— Чочой, подожди! Подожди меня! Не уходи дальше, погибнешь!.. — услышал он голос Нутэскина.

Очер насторожил уши и вдруг завыл. И столько тревоги почувдилось Чочою в голосе собаки, что он невольно пугливо осмотрелся вокруг и подумал: «Куда это я? Разве можно переплыть пролив на такой байдаре?»

— Чочой, подожди! Подожди, Чочой! — снова донесся до мальчика голос Нутэскина. — Подожди... Надо вместе...

— Вместе? — вполголоса спросил Чочой. — Убежим вместе! — радостно повторял он. — Очер, ты слышишь, Нутэскин говорит: убежим вместе!

При мысли, что теперь он поплывет не один, а со взрослым человеком и на более прочной байдаре, Чочой почувствовал себя так, словно побег ему уже удался.

— Понимаешь, теперь всё... теперь мы не погибнем, с нами поплывет Нутэскин... — приговаривал Чочой, поглаживая обеими руками Очера.

Наконец байдары Нутэскина и Чочоя сошлись. Сложив свои пищевые запасы в байдару Нутэскина, Чочой вместе с собакой перебрался в нее и сам.

— Надо торопиться, надо сильно торопиться, — приговаривал он, тревожно посматривая в сторону аляскинского берега, — а то они могут нас догнать. Мистер Кэмби убьет меня...

Раскурив свою трубку, Нутэскин с горькой улыбкой смотрел на Чочоя, не зная, с чего начать, чтобы уговорить мальчика вернуться назад.

— Послушай, Чочой, хорошо меня послушай, — наконец сказал он, щуря от едкого дыма свои больные глаза. — В проливе много льдов, раздавит нас льдами... погибнем...

Чочой изумленно посмотрел на Нутэскина:

— Как? Почему погибнем? Ты же теперь с нами!

— Все равно погибнем, не выдержит байдара, — вздохнул Нутэскин. — Назад идти надо...

Чочой несколько секунд молчал, словно не веря своим ушам, а потом торопливо стал отвязывать свою байдару от байдары Нутэскина.

— Ну что ж, я тогда сам... — промолвил он.

«Послушаться мальчишку, что ли? — подумал Нутэскин. — А вдруг удастся пересечь пролив? Может, будет у нас удача?..» Представив себе свою пустую ярангу, в которой он уже давно жил один-одинешенек, Нутэскин закрыл лицо руками. «Да-да, мальчик не выдержал! И я тоже не могу уже терпеть такое... Вот бы еще Чумкеля к нам, тогда бы можно было решиться бежать на родную землю», — думал он, не зная, что предпринять.

— Ну ладно, Чочой, привязывай свою байдару, как было, — промолвил Нутэскин. — Поплывем вместе. Может, прямо в долину наших предков попадем, гибель свою найдем. Прошедшей ночью мне сон приснился страшный...

Время от времени подмытые льдины с грохотом обрушивались в воду. Чочой вздрагивал и плотнее прижимал к своему лицу голову собаки. Натруженные веслом, его руки болезненно ныли. Один раз байдара наехала на спящую стаю уток. Тысячи пар крыльев захлопали по воде. В любое мгновение можно было налететь на острый выступ плавающей льдины, пропороть байдару.

В темноте смутно вырисовывались очертания гигантского айсберга. Верхняя часть его козырьком нависла над байдарой; Чочой почувствовал, как откуда-то сверху ему за шиворот упало несколько холодных капель.

Оттолкнувшись веслом, Нутэскин поспешил уйти в сторону. Но едва байдара отошла метров на пятьдесят от льдины, как раздался грохот. Байдару закачало на волнах. Многократное эхо повторило и унесло далеко в морские просторы грохот опрокинувшегося в воду ледяного козырька. Чочой бросился к веслу и принялся лихорадочно помогать Нутэскину.

— Да, сон мне вчера очень страшный приснился... — снова промолвил Нутэскин, вытирая вспотевшее лицо рукавом кухлянки.

И вдруг Нутэскин вздрогнул: ему почудился выстрел. Напряженно вслушивался в ночную тишину и Чочой. Выстрел повторился, и за ним послышался далекий голос человека:

— Эй! Гэй, гэй! Где вы?..

— Чумкель кричит! — вскочил на ноги Нутэскин.

Байдара сильно закачалась.

— Э-гэ-гэ-гэй, здесь мы!.. — закричал Нутэскин.

Испытывая смешанное чувство радости и тревоги, Чочой тоже поднялся на ноги и закричал вместе с Нутэскином:

— Э-гэ-гэ-гэй, здесь мы-ы-ы!..

Снова завыл Очер.

Голос человека слышался еще несколько раз, потом смолк.

— Ветер в нашу сторону дует. Его мы слышим, а он нас нет! — досадливо сказал Нутэскин. — Это Чумкель, это обязательно Чумкель выехал искать нас в море.

— Давай еще покричим! — сказал Чочой. — Может, он тоже бежать решил. Втроем легче будет...

Долго еще кричали они, но ответного голоса не услышали.

Утром байдара с беглецами вошла в крупные льды. Нутэскин и Чочой, изнемогая от усталости, отталкивали льдины одну за другой. Мальчик уже плохо понимал, что с ним происходит.

Когда слышался треск байдары, он машинально выпрыгнул на лед.

Вставшая ребром вторая льдина совсем расплющила байдару и скрыла ее от глаз Чочоя.

— Нутэскин! Очер!.. — закричал Чочой что было сил.

Большие и маленькие, с тупыми и острыми углами льдины толкались, нагромождались одна на другую, тонули и снова с шумом вырывались из черной морской пучины. Чочой с ужасом смотрел на все это. Ни Нутэскина, ни Очера, ни обломков байдары он не видел.

«Что это? Почему это? Где они?..»

— Нутэскин! — закричал Чочой так, что почувствовал боль в груди и горле.

Льдина, на которой стоял Чочой, раскололась. Тогда он перепрыгнул на следующую.

— Очер!.. — еще громче прокричал мальчик и почувствовал, что горло его перехватило.

А льдины с тупым упорством продолжали свое хаотическое движение, так и скрыв от Чочоя тайну исчезновения его друзей.

СЛУЧАЙ В ЧУКОТСКОМ МОРЕ

Кэукай очень гордился тем, что взрослые взяли его на охоту. «Вот расскажу Пете и Эттаю, как охотился, — завидовать будут, — подумал Кэукай и тут же пожалел своих друзей: — Эх, надо было попросить отца взять их в море!»

Моторный вельбот легко скользил по морской глади.

Отец Кэукая задумчиво курил трубку, пристально осматривая горизонт. Он был недоволен тем, что одна из бригад колхоза вчера вернулась с моря с пустым вельботом.

— Хвастались на собрании, что план в этом квартале перевыполним, а сами зверя не можем найти, — сказал он, обводя сердитым взглядом лица охотников.

— Ничего, сегодня далеко в море уедем, ледяные поля разыщем, нерпы много набьем, — отозвался Тынэт. — А план обязательно в два раза перевыполним.

Таграт выбил трубку, спрятал ее за пазуху, под свою легкую кухлянку.

— Вот разве Кэукай поможет, на остальных я не надеюсь.

Кэукай вспыхнул от радости, но тут же лицо его стало важным: он изо всех сил старался походить на взрослых охотников.

Крепко сжимая руками свой карабин, мальчик, казалось, готов был в любую секунду вскинуть его, чтобы прострелить голову нерпе, если она вздумает высунуть ее из воды.

А мотор все пел свою монотонную песню. В море было тихо. Лишь изредка с громом обрушивалась в воду какая-нибудь подмытая ледяная глыба. Эхом подхваченный грохот долго катился куда-то далеко, в бескрайние голубые просторы моря. И снова лишь слышалась монотонная песня мотора.

К полудню охотники нашли ледяные поля. Отец Кэукая приказал мотористу оставаться с вельботом, а остальным расходиться в разные стороны по ледяному полю.

— А ты, Кэукай, пойдешь со мной, — сказал он и, вскинув карабин на спину, зашагал по ледяному полю.

Чуть кривые ноги Таграта, обутые в легкие нерпичьи торбаза, ступали легко и вкрадчиво. Кэукай, прижимая ложе карабина к бедру и подражая походке отца, шел сзади него.

Вскоре они очутились на противоположной стороне ледяного поля. Где-то слева от них быстро, один за другим, раздались два выстрела. Эхо многократно повторило их.

— Наверное, удача у нас сегодня будет! — весело сказал Кэукай, равняясь с отцом.

— Настоящие охотники не болтают о хорошей удаче до тех пор, пока не набьют полную байдару нерп и лагтаков, — сухо заметил отец, искоса поглядывая узкими умными глазами на сына.

Кэукай конфузливо улыбнулся и ничего не ответил.

Вода у ледяного поля была темно-зеленой, а чуть подальше — голубой. Вот над ее поверхностью показалась круглая,

словно блестящий черный шар, нерпичья голова. Не успел Кэукай опомниться, как отец выстрелил. Вскоре убитая нерпа всплыла на поверхность.

Таграт схватил собранный в кольца акын¹, быстро раскрутил его, ловко бросил в море. Колотушка с острыми крючками упала чуть дальше нерпы. Таграт подвел ее ближе, дернул к себе — крючки впились в живот нерпы. Ловко перебирая руками, он подтащил добычу к ледяному полю и принялся поднимать наверх.

В это время совсем близко вынырнула из воды вторая круглая голова. Но только Кэукай приложился к карабину, нерпа скрылась.

— Ничего, ничего, — вполголоса сказал Таграт, подбадривая сына, — сейчас она снова вынырнет...

Немигающий взгляд Кэукай, казалось, проникал до самого морского дна.

Нерпа вынырнула совсем не там, где ожидал ее Кэукай, но он не растерялся, быстро прицелился, нажал гашетку. Загремел выстрел. Мальчик всем телом подался вперед. И, когда он увидел желтоватое брюхо нерпы, улыбка восторга осветила его напряженное, покрытое частыми росинками пота лицо.

— Хорошо, — скупой похвалил отец. — Быстрей бросай акын.

С акыном Кэукай замешкался. Таграт знал, что нерпа через минуту-другую утонет, и потому быстрее сына метнул свой акын. Добыча была вытащена на лед.

Оттянув убитых нерп метров на двадцать от воды, Таграт направился к узкому, длинному мысу ледяного поля. Зоркие глаза его заметили, что там нерпы довольно часто показывались из воды. Кэукай пошел за отцом. Подойдя к ледяному мысу, Таграт мгновение постоял в нерешительности, а затем смело зашагал вперед, на самый конец мыса. Кэукай не отставал от него.

И вдруг с юга резким порывом налетел ветер. Таграт повернулся, схватил сына за руку. Наклонившись вперед, с трудом преодолевая напор ветра, они побежали назад.

Лед затрещал. Поддерживая руками свой легкий летний малахай, Кэукай перепрыгивал через трещины, стараясь не отстать от отца.

На секунду утихнув, ветер ударил снова, с еще большей силой. И в это мгновение мыс откололся от ледяного поля.

¹ Акын — длинный, тонкий нерпичий ремень, к концу которого прикреплена колотушка с острыми крючками.

Таграт с ходу сделал легкий стремительный прыжок и очутился на ледяном поле. Кэукай замер, не понимая, что произошло. А Таграт тем временем размотал свой акын, метнул его сыну.

— Обвяжись! Вокруг пояса обвяжись! — закричал он Кэукаю.

Кэукай быстро обвязался акыном. Таграт потянул ремень к себе. Ремень натянулся и, казалось, вот-вот лопнет.

— В воду, в воду прыгай! — приказал отец.

Край льдины, на которой стоял Кэукай, откололся и стал крениться то в одну, то в другую сторону. Кэукай едва мог удержаться на ногах.

— Теперь держись, держись на льдине, не надо прыгать! — донесся до его сознания откуда-то издали, словно из-под земли, голос отца.

Послушный отцу, Кэукай все делал точно во сне. Широко расставив ноги, он изо всех сил пытался сохранить равновесие. Но вот Кэукай заметил, что обломок его льдины движется к ледяному полю. Он ухватился за натянутый акын, стал подтягиваться и сам.

— Молодец! Настоящий охотник! — крикнул Таграт.

Кэукай еще сильнее заработал руками и, когда обломок льдины стукнулся о ледяное поле, прыгнул навстречу отцу.

— Молодец! Охотник! Настоящий охотник! — не скупился на похвалы Таграт.

А Кэукай, дрожа всем телом, со страхом смотрел, как уходила все дальше и дальше в море льдина, на которой он только что стоял. Со всех концов ледяного поля к ним спешили охотники с приготовленными для броска акынами.

— Ай молодец, Кэукай! Охотник! Смелый охотник! — кричал Тынэт, размахивая в воздухе колотушкой акына.

Похвалы взрослых постепенно успокоили Кэукаю. И, странное дело, именно сейчас, когда опасность уже была далеко позади, ему вдруг захотелось заплакать.

— На волнах нерпа, стреляй! — приказал сыну Таграт: он хорошо понимал состояние Кэукаю.

Мальчик быстро вытер кулаком глаза, осмотрел морские волны.

— Опоздал: нерпа скрылась, — упрекнул отец и, повернувшись к собравшимся охотникам, властно приказал: — Все к вельботу!

Минут через десять охотники были уже в вельботе.

С каждой минутой вельбот раскачивало на волнах все сильнее. Глядя на спокойное, суровое лицо отца, Кэукай старался не думать о том, что вельбот может опрокинуться. Вол-

ны с большими белыми гребнями напоминали ему стадо чудовищных зверей, которые яростно мчатся по морскому пространству, сшибаются друг с другом, злобно ревут и плюются бешеной пеной.

И вдруг в грохоте морских волн чуткое ухо Кэукая уловило слабый человеческий крик. Охотники тоже насторожились.

— Лыдина, а на ней человек! — закричал Тынэт и протянул вперед руку.

Кэукай пригляделся в указанном направлении и увидел небольшую лыдину и на ней распластанного человека.

Таграт встал на ноги и приказал мотористу вести вельбот так, чтобы лыдина не надвигалась на него, а уходила в сторону. Он приготовил акын, чтобы метнуть его человеку на лыдине. Приготовились к броску и остальные охотники.

Заметив вельбот, человек, казалось, оживился и еще громче что-то крикнул.

Вот наконец Таграт смог метнуть акын. Человек жадно потянулся рукой вперед, но колотушка на конце акына скрылась где-то в волнах. Таграт схватил у одного из охотников другой, приготовленный для броска акын, улучил момент и снова метнул. Человек схватил его обеими руками и соскользнул со своей лыдины в воду.

Кэукай напряженно смотрел, как отец выбирал акын. «Только бы не ударило человека волной о вельбот», — со страхом думал он, глядя на пенистые громады волн. У него кружилась голова, тошнота подступала к горлу, он изо всех сил старался сохранить самообладание. «Разобьется до смерти», — снова пронеслось в его голове.

Но Таграт подтащил человека к вельботу как раз тогда, когда волна отхлынула назад. Тынэт подхватил его под мышки, втянул в вельбот.

К удивлению охотников, это оказался мальчик лет восьми-девяти, в мокрой рваной кухлянке и вытертых от времени нерпичьих штанах. Глаза его были закрыты. Он так и не открыл их, когда Таграт положил его голову на свой походный нерпичий мешок. Худенькие ручонки мертвой хваткой держались за акын.

— Кто ты такой, откуда? — спросил Таграт.

Мальчик не ответил.

— Раздеть его! — приказал Таграт и тут же принялся снимать с себя кухлянку.

Моторист подал председателю свою замасленную ватную куртку.

Когда мальчик был переодет, Таграт приказал мотористу:

— На поселок!

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕЗНАКОМЦА

Степан Иванович хлопотал у постели неизвестного мальчика, спасенного в море охотниками. Мальчик стонал, метался; острый его подбородок поднимался кверху.

Под глазом у мальчика была ссадина, на лбу — вторая, на коленях чернели огромные синяки. Врач щупал пульс своего пациента, прикладывал к его лбу компресс, делал перевязки, изредка поверх очков поглядывая на директора школы.

Виктор Сергеевич, в белом халате, сидел на стуле чуть в стороне. Его лицо было сейчас таким сосредоточенным, будто он решал сложную задачу.

— Откуда же он? — как бы у самого себя спросил Виктор Сергеевич. — Я знаю всех детей соседних стойбищ и поселков, а вот этого не помню.

— Придет в себя — расспросим, — ответил Степан Иванович.

И вдруг незнакомец открыл глаза. С минуту он медленно водил ими по потолку, затем наморщил лоб, как бы силясь понять, где он и что с ним происходит. Вот, приподняв голову, он повернулся на бок, глянул на Виктора Сергеевича, на Степана Ивановича, и в его расширенных глазах отразился ужас.

— Что с тобой? — как можно ласковее спросил Степан Иванович.

— Уходите! Пустите меня! — вдруг по-чукотски вымолвил мальчик и весь съезжился, словно готовясь для прыжка. — Американ!..

— Где, где американ? — спросил по-чукотски Виктор Сергеевич.

Мальчик удивленно смотрел на него, потом спрыгнул с кровати, подбежал к окну и ухватился руками за переплет рамы, как бы желая выломать ее.

Дверь в палату отворилась, показалась голова медицинской сестры.

— Там ребята со всего поселка сбежались, — сказала она, — просят сюда... Никак уговорить не могу...

— Не пускайте, не пускайте их! — строго приказал Степан Иванович.

Но армия детей, предводительствуемая Кэукаем и Петей, хлынула к окнам. Вот уже во всех окнах виднелись плотно прижатые к стеклам носы и любопытные глаза. Мальчик шахрахнулся от окна и в один миг очутился на кровати.

Укрывшись одеялом с головой, он притих и на все вопросы отвечал молчанием.

Степан Иванович озадаченно посмотрел на директора шко-

лы и по давней привычке почесал свою лысину мизинцем. Виктор Сергеевич наклонился к нему, прошептал что-то на ухо и ушел.

Больной несмело сбросил с себя одеяло. Измученное лицо его с запекшимся ртом и лихорадочно блестящими глазами было настолько худым, что казалось прозрачным. С тонкими руками и шеей, с резко выдающимися ключицами, мальчик казался очень беспомощным, словно он впервые встал после долгой, изнурительной болезни. «Да, истощен он сильно, с питанием надо быть осторожнее», — подумал доктор и вышел из палаты.

Вскоре он вернулся с небольшой мисочкой, в которую был налит бульон.

Оставив миску и ложку на табурете возле больного, врач отошел в сторону.

Мальчик схватил ложку и стал есть быстро, пугливо озираясь, словно боясь, что у него вот-вот отберут завтрак. Руки его дрожали.

— Еще! — вдруг промолвил он и показал рукой на пустую миску.

— Пока хватит, милый. Нельзя больше — заболеешь, — улыбнулся Степан Иванович, отрицательно качая головой.

Мальчик с ненавистью посмотрел на него.

...Больной постепенно поправлялся. Есть ему врач разрешил уже гораздо больше. Но, когда он завтракал или обедал, у врача было такое впечатление, что больной голоден, как и прежде: руки его дрожали, пища проливалась; порой он отбрасывал ложку и жадно подносил миску ко рту. Степана Ивановича он уже не боялся. Привык и к тому, что все чаще и чаще заглядывали к нему в окна мальчики и девочки.

В один из теплых дней Степан Иванович и Виктор Сергеевич открыли в палате окна и отошли в сторону. У окна появился Кэукай. Незаметно для мальчика Виктор Сергеевич подмигнул Кэукаю и, пропустив вперед врача, вышел из палаты.

— Так, в непринужденной обстановке, мальчуган скорее разговорится, — сказал он Степану Ивановичу.

Кэукай с выражением крайнего любопытства с минуту смотрел на неизвестного мальчика. Тот тоже не без интереса всматривался в него.

С лица мальчика постепенно сходил страх. Кэукай улыбнулся. Пересохшие губы мальчика тоже дрогнули в робкой улыбке.

— Ты кто? — спросил Кэукай по-чукотски.

— Ты умеешь говорить по-чукотски? — спросил, в свою очередь, незнакомец и сделал робкий шаг к окну.

— Так как же звать тебя?

Мальчик остановился на полпути к окну, боязливо оглянулся назад и тихонько, но горячо, так, как говорят, когда доверяют огромную тайну, сказал:

— Чочой мое имя. Я из поселка Кэймид...

— Кэймид? — переспросил Кэукай. — А где же этот Кэймид?

— А я не знаю, где он сейчас... — Мальчик подошел к Кэукаю совсем близко. — Я ушел из него. На байдаре ушел. И знаешь куда?.. — На лице мальчика снова появилось выражение таинственности. — Ты только никому не говори, а то плохо мне будет. Я на байдаре хотел уйти через пролив на ту землю, где стоит большой-большой город. Ты не знаешь, что есть такая земля, где стоит город Москва?..

— Я не знаю?! — изумился Кэукай. — Да ты что?..

— Только вот не доплыл я до этой земли, — продолжал мальчик, захваченный своими мыслями. — Кто-то на байдаре подобрал меня и назад привез. Теперь, если найдет меня мистер Кэмби...

— Какой мистер Кэмби? — с еще большим изумлением спросил Кэукай, окончательно сбитый с толку рассказом незнакомца.

— Ну вот, так и есть, как я думал, — сказал за дверью Виктор Сергеевич, — этот мальчик бежал с Аляски.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СЧАСТЛИВЫЙ БЕРЕГ

ФАКЕЛЫ ДАЛЕКО

Счастливым берег! Сколько думал о нем Чочой, какой ценой ему удалось добраться до этого берега, а вот сразу понять своего счастья не мог.

«Почему меня держат в этом белом доме, в этих белых одеждах?» — недоумевал Чочой, рассматривая больницу и свое больничное белье.

Все чаще и чаще он подходил к окну. В одно из окон хорошо было видно небольшое озеро. Чочой отметил, что оно очень похоже на озеро, которое находится возле поселка Кэймид: такие же болотистые берега, такая же тундра. В другое окно было хорошо видно море — точно такое же море, у какого он вырос в поселке Кэймид. И опять смотрел Чочой на ледяной мираж, напоминавший чудесный город, о котором рассказывал Гоомо.

— Опять мираж! Опять только мираж! — шептал мальчик.

Чочой был убежден, что он по-прежнему находится на Аляске, на американской земле, а чудесная земля, о которой рассказывал дядя Гоомо, остается где-то далеко, за обманчивыми видениями миража.

После разговора с Кэукаем Чочой ждал, что вот-вот к нему явится какой-нибудь посыльный американца Кэмби и уведет его в поселок Кэймид. «Почему я доверился этому неизвестному мальчику?» — укорял он себя и вздрагивал. Но, когда перед ним проплывали ласковые, полные участия глаза Кэукая, Чочой немного успокаивался, начинал думать о том, что не может мальчик-чукча быть заодно со злыми американцами. Однако эти успокоительные мысли недолго задерживались в голове Чочоя. Чочой вспоминал поселок, в котором родился, и первое, что приходило ему на память, были багровые факелы, пылающие в черной ночи, и гибель его верного друга Тома.

Пылают багровые факелы. Горит черный крест, вокруг которого беснуются белые балахоны. Чочой лежит с широко раскрытыми глазами, и ему чудится, что вот-вот откроется дверь и в белый дом войдут эти страшные люди в балахонах... «Что будет со мной?» — терзался мальчик.

Не знал Чочой, что люди, которых он принял за американцев, думали сейчас о том, как лучше устроить его судьбу, как расспросить у него о побеге, о его родных и близких.

И в другом месте, в недостроенном колхозном складе, шло бурное совещание по этому же поводу. Мальчики и девочки, которые так часто заглядывали в больничные окна, собравшись вместе, тоже говорили о Чочое.

— Сначала, я думаю, надо кое-что узнать об этом мальчике, — предложил Петя, держа наготове карандаш, чтобы записать в блокнот мнения своих друзей.

— Сначала надо хорошо узнать, как он попал к нам, кто он такой. Может, с ним был кто-нибудь еще, может, кто-нибудь за ним гнался, — сказал Кэукай.

— А потом надо подумать, какие мы ему подарки дадим! — громко выкрикнул Эттай и тут же, глубоко засунув руки в карманы, стал извлекать оттуда свои богатства.

Появились кусок моржового клыка, из которого Эттай пытался, по примеру Кэукая, что-то выточить, несколько пуговиц с якорями, наконечники для карандаша, спортивный свисток, перочинный ножик, механизм от испорченных часов.

Разложив все свои вещи на доске, он задумался, как бы решая, что же из всего этого богатства подарить незнакомцу. Ребята с любопытством наблюдали за Эттаем, а некоторые и сами принялись рыться в карманах.

— Э, да вот все, что у меня есть, и подарю ему! — сказал Эттай, широко улыбаясь.

— Ты правильно решил, — одобрил Петя. — Я, например, подарю ему новенькие лыжи.

— Вот это да! — удивился кто-то из ребят: всем было известно, насколько хороши Петины лыжи.

— А я подарю ему общую тетрадь, — заявила Соня. — Переплет клеенчатый и с золотыми буквами.

Ребята шумно заговорили, сообщая, что они намерены подарить неизвестному мальчику.

— Все это я сейчас перепишу в блокнот, чтобы порядок был, — сказал Петя. — Как только Чочой будет здоров, мы и вручим ему подарки...

Обсудив все важные вопросы, ребята решили продолжать свою любимую игру. Сразу же образовалось два привычных лагеря. Один из них возглавлялся Петей, второй — Кэукаем. «Военные действия» начались.

...А Чочой все посматривал в окошко и думал о том, что же ему предпринять для собственного спасения. «Может быть, Нутэскин и Очер тоже здесь где-нибудь? Может, они не утонули?.. — думал он и тут же отрицательно качал головой: — Нет, нет, погибли они. Не зря Нутэскин все говорил: «Сон мне страшный приснился прошедшей ночью».

Взглянув еще раз в окошко, Чочой решил, что ему следует как можно скорее выбраться из этого странного белого дома и посмотреть, нет ли и в самом деле здесь где-нибудь Нутэскина и Очера. Волновала мальчика и другая мысль: не удастся ли снова бежать туда, за трепетную стену миража?

Случай помог Чочою: на поселок надвигался туман. В палате стало темно. Мальчик быстро надел полосатую куртку, которую ему дал человек «с двойными глазами», как он мысленно называл Степана Ивановича, сунул ноги в мягкие меховые туфли и незаметно выскользнул на улицу.

За густым туманом не было видно домов, только вверху, куда туман еще не достиг, виднелись крыши, словно это плавали по морю перевернутые кверху килем лодки.

В одном месте Чочой наткнулся на какой-то забор и недалеко от него заметил человека. Мальчик шарахнулся в сторону и побежал у самой воды по мокрой морской гальке.

И тут до него донесся странный, никогда еще им не слышанный возглас:

— Урра!.. Урра!..

Кто-то быстро пробежал мимо него и спрятался за потонувшим в тумане предметом, который смутно напоминал большую бочку. Чочой прислушался.

— Давай здесь посидим: он, наверное, сюда пойдет, тогда мы из-за этой засады и ударим, — услышал Чочой уже знакомый ему голос Кэукая.

«Кого-то хотят бить», — подумал Чочой и присел на корточки.

— Вон он идет, — снова послышался голос Кэукая.

— Отряд, в атаку, за мной! — закричал быстро пробежавший мимо Чочоя мальчик, которого Чочой тоже узнал: Петя не раз заглядывал к нему в окно.

«Понятно: белолицый лезет к чукотским мальчикам драться, а они защищаются», — окончательно утвердился Чочой в своей мысли.

— Их много, — опять послышался голос Кэукая, — придется нам отступить и уйти с тыла.

— За мной! — грозно кричал Петя.

Кэукай, низко пригнувшись, побежал прочь, за ним последовал еще какой-то мальчик-чукча.

«Бегут, к самой земле пригнулись, — с горечью и обидой подумал Чочой. Он вспомнил своего друга Тома, растерзанного американцами. — Почему, почему так делают белолицые?..»

На глаза Чочою попался осколок кирпича. Чочой схватил кирпич, острые грани его больно врезались в руку. Мальчик присел и уставился немигающим взглядом в ту сторону, где слышался голос Пети.

И вдруг он увидел Петю прямо перед собой. На голове у «командира» была треугольная шапка, сделанная из газетного листа, в руках он держал карабин. Чочой не знал, что этот карабин уже давно не стреляет. Вид у Пети был самый решительный: резко наклонившись вперед, он, казалось, в любое мгновение готов был выстрелить. «Сейчас выстрелит, обязательно выстрелит!..» — с ужасом подумал Чочой, еще сильнее сжимая кирпич в руке.

Петя заметил Чочоя. Думая, что это Кэукай, он приложился к карабину и закричал:

— Сдавайся!

Словно пружина, взвился Чочой и что было силы швырнул кирпич в голову Пети. Послышался гулкий удар в пустую железную бочку: Чочой промахнулся.

В одно мгновение Петя очутился рядом с Чочою. Рассмотрев его перекошенное гневом и страхом лицо, Петя удивился и спросил по-русски, забыв о том, что Чочой не знает русского языка:

— Ты... ты чего это, а? Ты же мне чуть голову не разбил!

Чочой застыл на месте: казалось, что в любое мгновение он

готов был начать схватку. И Петя, вдруг поняв, что с мальчиком творится что-то неладное, почувствовал опасность.

Пока Петя раздумывал, что ему предпринять, около двух десятков ребят окружили его и Чочоя. Словно затравленный зверек, Чочой начал быстро оглядываться, как бы прикидывая, в какую сторону лучше всего броситься бежать. А Петя вытирал своей газетной треуголкой пот со лба и смотрел на Чочоя доверчиво, дружелюбно, но прежнее недоумение не сходило с его взволнованного лица. Петя вспомнил, что мальчика еще не собирались выписывать из больницы. «Как же он очутился на улице?»

С минуту тянулось молчание. Чочой чувствовал, с какой жадностью рассматривают его стоявшие вокруг мальчишки и девочки. И тут он услышал вопрос:

— Верно ли говорят, что ты бежал с Аляски?

Чочой резко повернулся на голос, желая рассмотреть мальчика, который обратился к нему с таким странным вопросом.

— Быть может, ты опять на Аляску решил бежать? Неужели тебе там было лучше?..

Это спрашивал Эттай, стоявший совсем рядом с Чочоем.

— Зачем смеетесь?! — выкрикнул Чочой. — Я хочу бежать с Аляски...

В толпе детей волной пронеслись изумленные возгласы.

— Послушай, ты же убежал с Аляски, ты же на Чукотке! — как можно убедительнее сказал Эттай.

— Да, да! Ты на Чукотке! Ты убежал! — наперебой закричали ребята.

Оглушенный и еще более пораженный тем, что ему сказали, Чочой молчал. На мгновение ему показалось, что все перевернулось вверх дном. Он даже пошатнулся и закрыл лицо рукой. Снова в памяти вспыхнули горящие факелы. И, как ни пытался Чочой представить их где-то далеко-далеко, они полыхали багровым заревом здесь, рядом с ним, перед его глазами. Чочою хотелось посмотреть на все это уже с другого берега, с того Счастливого берега, о котором так много он думал, к которому так стремился, но из этого ничего не вышло...

— Послушай, Чочой, а как зовут твою маму?

Чочой вздрогнул. Его поразил не самый вопрос, а то, как эти слова были произнесены. «Кто это спросил?» — мелькнуло в голове мальчика. Он медленно отвел ладонь от лица и увидел черные, с каким-то странным выражением устремленные на него глаза Кэукая. «Да, да, это он спросил, это был его голос», — подумал Чочой. От напряженного молчания, с которым мальчишки и девочки ждали ответа, Чочою стало не по

себе. А Кэукай между тем смотрел на него все тем же необычным взглядом.

— Мою маму... — Чочой запнулся, чувствуя, что у него пересохло во рту, — мою маму звали Ринтынэ.

Кэукай схватил было Чочоя за плечи, но, вдруг повернувшись, рассек кольцо ребят и закричал:

— Мама! Мама!.. Он говорит — Ринтынэ! Он говорит — Ринтынэ!.. — закричал Кэукай, подбегая к своему дому.

Но у самого дома он, словно что-то вспомнив, остановился и, задыхаясь, помчался обратно.

— Чочой! Чочой!.. — кричал он, и в крике его было столько радости, что шум, поднятый и детьми и сбегающимися взрослыми, снова утих. — Чочой! Знаешь что... знаешь что, Чочой!.. — никак не мог отдышаться Кэукай. — Вот что, Чочой: ты мой брат!

— Я твой брат?

— Да-да, Чочой, ты мой брат, и я твой брат!..

Новый взрыв возгласов заглушил последние слова Кэукай. Мальчики и девочки протягивали свои руки Чочою, Кэукаю, поздравляли их со встречей. Все наперебой уверяли Чочоя, что здесь не произошло никакой ошибки. В разговор вмешались и взрослые.

Запыхавшись, бежала из своего дома Вияль, за ней спешил Таргат. В конце поселка кто-то взволнованно кликал Тынэнта и его дедушку Кэргыля. Возбужденные поднявшейся суматохой, в поселке громко завывали собаки.

А Чочой смотрел на взволнованное лицо Кэукай, все еще не вполне веря в свое счастье. Мысль, что пройдет мгновение и он снова останется один-одинешенек на всем белом свете, пугала его. Чочой ухватился руками за Кэукай и, увлекаемый толпой, куда-то двигался под шумные возгласы людей.

«Значит, это верно, что я на другом берегу, на Счастливом берегу!» — мелькнуло в голове измученного мальчика, и впервые ему представились пылающие факелы не рядом, а где-то далеко-далеко, на той, на проклятой земле...

...Дом председателя колхоза был переполнен. Среди чукчей Чочой заметил и тех двух людей, которые долго держали его в белом доме. Мальчик испугался, как бы его снова не увели в больницу, но те двое ласково улыбнулись ему, и он успокоился.

Вияль не знала, где и как посадить своего племянника, она говорила ему ласковые слова, угощала его какой-то вкусной едой, названия которой Чочой еще не знал.

Чочой сконфуженно улыбался, как мог отвечал на сыпавшиеся с разных сторон вопросы.

Узнав о смерти сестры и об исчезновении брата, Вияль умолкла. Таграт незаметно гладил ее по плечу и все смотрел и смотрел на племянника.

Дверь отворилась, и на пороге показался старик Кэргыль, а за ним Тынэт.

Люди расступились. Кэргыль быстро засеменил к Чочою, постоял перед ним молча, а затем, нежно прижав к себе его голову, в напряженной тишине спросил:

— Скажи, что стало там, на чужой земле, с моим сыном Чумкелем? Скажи, мальчик, правду!

— Да-да, скажи, мальчик, правду! — подхватил Тынэт, опускаясь перед Чочою на колени.

— Когда ночью мы шли с Нутэскином по морю, то слышали голос Чумкеля...

— Так, так, говори! Дальше говори! — попросил Кэргыль.

— Нутэскин сказал, что, возможно, Чумкель хотел вернуть нас назад, боялся, что мы погибнем. А возможно, он тоже бежать с нами решил...

— Возможно, тоже бежать решил, — тихо повторил Кэргыль и вдруг, вскинув голову, громко спросил: — А Нутэскин, Нутэскин где?

— Погиб, наверное, Нутэскин, — еле слышно произнес мальчик и, с трудом справившись со своим голосом, начал рассказывать о побеге через пролив с того проклятого берега, где живет страшный мистер Кэмби.

— Да, погиб, наверное, Нутэскин, — промолвил Кэргыль, словно под тяжестью опускаясь прямо на пол. — Чумкель, быть может, тоже погиб...

Тынэт поднялся и вышел на улицу.

— Куда это он? — спросил кто-то.

— Э, теперь Тынэт день и ночь в море смотреть будет, отца ждать будет, — затряс седой головой Кэргыль.

Долго в тот вечер сидели люди в доме Таграта. Жители поселка Рэн никак не могли насмотреться на второго внука доброго богатыря Ако. Смущенный вниманием, Чочой с любопытством рассматривал незнакомых ему людей, которые обращались к нему со словами приветия. И столько участия он чувствовал в их словах и взглядах, что порой закрывал глаза и переносился к тем счастливым дням, когда отец брал его к себе на руки и говорил, говорил ему что-то ласковое, что может сказать только отец своему маленькому сыну.

Тепло было на душе у Чочоя. И, когда Вияль, обхватив его за плечи, мягко привлекла к себе, он вздохнул глубоко, всей грудью, и замер, думая о том, что хорошо было бы сейчас вот так, среди этих добрых людей, спокойно уснуть и что-

бы они непременно вели свой разговор, необыкновенный разговор, слова которого, казалось мальчику, можно было прекрасно слышать и понимать и в глубоком сне.

Беки Чочоя тяжело лежали. Дремал и Кэукай, склонившись на другое плечо матери.

— Устали мальчики, — негромко сказал Таграт, — надо спать укладывать.

Чочоя положили рядом с Кэукаем на кровати. Кэукай уснул сразу, у Чочоя же сон неожиданно пропал. Сухими воспаленными глазами он осматривал комнату и думал о том, что там, на Аляске, в таких жилищах живут только белолицы. Кровать мальчику казалась хоть и удобной, но спать на ней ему было страшновато. «Повернешься ночью не в ту сторону и упадешь, пожалуй», — думал он.

В комнате было тихо — лишь мерно тикали часы да еще слышались в соседней комнате мягкие шаги Вяль.

Чочой прислушался к ее шагам и вдруг со всей силой почувствовал: в жизни его случилось что-то новое, необычайное. «Неужели все это правда? Неужели это правда, что вот рядом со мной лежит мой брат?.. Брат!..» И чем больше верил Чочой этому счастью, тем явственнее нарастала тревога: «А что, если все это вдруг исчезнет...»

Так Чочой и уснул с этим смешанным чувством огромного счастья и неутраченной тревоги.

ПОДАРКИ

Чочой и Кэукай спали глубоким сном до позднего утра. Первым проснулся Чочой. Повернувшись на бок, мальчик скатился на пол, быстро вскочил на ноги и с минуту стоял на месте, не в силах понять, где он находится.

Но вот Чочою вспомнилось все, что произошло с ним. «А может, все это снилось?» Мальчик испуганно ощупал себя, осмотрелся вокруг и только после того, как увидел улыбающееся во сне лицо Кэукая, облегченно вздохнул и улыбнулся сам.

В доме было тихо. Чочой с любопытством стал рассматривать все, что попадалось ему на глаза. Заглянув в одну, в другую дверь, он подумал, что здесь совсем легко заблудиться. «Большой дом, очень большой, как у мистера Кэмби дом», — думал он, дотрагиваясь руками до столов, стульев, шкафов.

Заметив в зеркале собственное отражение, Чочой шарханулся в сторону, затем потихоньку приблизился к зеркалу и снова осторожно заглянул в него. «Как в чистой воде все равно видно... даже еще лучше, чем в чистой воде», — подумал

Чочой и, осмелев, подошел еще ближе. Он даже попытался заглянуть в зеркало с обратной стороны.

Шкаф с книгами привлек его особое внимание. Чочой долго всматривался в корешки книг, раздумывая, что бы это могло означать. Потрогав рукой одну-другую книгу, но так и не поняв, что означают эти предметы, он вздохнул и стал рассматривать швейную машину, стоявшую на тумбочке.

«Это, кажется, железная швея-женщина. Такую я видел в магазине мистера Кэмби: он показывал, как работает железная швея-женщина, и советовал кому-то купить ее», — вспомнил Чочой и попытался покрутить колесо, но, испугавшись стука машины, оставил ее в покое.

Долго стоял Чочой у кровати Вяль, застланной пушистым в цветах одеялом. «Какая красивая спальная подставка! Какие красивые цветы на ней!» Одеяло напомнило ему нежный, мягкий мох. Чочой дотронулся до одного, до другого цветка, погладил их рукой.

Заметив дверку в голландской печи, Чочой открыл ее, заглянул внутрь. «Что же это за вместилище? — спросил он себя. — Почему там грязно и как будто дымом пахнет?»

Чочой просунул руку в печь, выпачкал пальцы в саже. «Наверное, костер разжигали», — решил он и вытер сажу о подол рубашки.

Переходя из комнаты в комнату, Чочой добрался до кухни. На столе он увидел сковороду, наполненную чищенной сырой картошкой, и ему сразу захотелось есть. Чочой проглотил слюну и воровато осмотрелся вокруг: он еще не мог оставаться равнодушным при виде еды. «Съем один небольшой кусочек, — решил он, — здесь добрые люди, ругать меня не будут».

Съев один кусок сырой картошки, Чочой потянулся за вторым, за третьим. Опомнился он не скоро.

«Ай, как нехорошо получилось!» — покраснел Чочой и от соблазна ушел из кухни, хотя для него там было множество неизвестных вещей. Однако, закрывая дверь, он еще раз обернулся, чтобы хоть издали посмотреть на блестящее пузатое ведро с коротенькими ножками, со странным носом и с маленькой шапочкой наверху, на которой виднелась блестящая пуговица.

Как ни внимательно осматривал Чочой комнату, в которой только что был и уже как будто ко всему пригляделся, а на глаза попадалось все новое и новое.

На высокой подставке с точеными ножками стоял странный ящик с сеточкой, вделанной в переднюю стенку. На этой же стенке находились три черных колесика. Колесики, каза-

лось, сами просили, чтобы их покрутили. Чочой не выдержал — покрутил одно колесико, затем второе, третье...

И вдруг из ящичка послышался громкий человеческий голос. Мальчик отпрянул в сторону, опрокинул стул, споткнулся, упал на пол. А человеческий голос продолжал произносить какие-то непонятные слова. «Что это? Я разбудил человека в ящике! — с ужасом думал Чочой, не решаясь подняться на ноги. — Но как же мог человек влезть в такой маленький ящик?»

Прислушавшись, Чочой понял, что голос этот не так уж сердит, как показалось ему вначале.

Так, распластанным на полу, и застала Чочоя Вияль, вернувшись домой от соседей. Глянув на мальчика, потом на радиоприемник, она все поняла и рассмеялась. Вияль схватила Чочоя своими сильными руками и принялась его целовать, приговаривая что-то несвязное, но необыкновенно нежное, от чего Чочою хотелось и плакать и смеяться в одно и то же время.

За завтраком у Чочоя разбежались глаза. Он удивился тому, что на столе лежит так много хлеба, который до сих пор в его жизни считался лакомством.

Кэукай учил Чочоя пользоваться вилкой, объяснял, что есть сначала, что потом. Но больше всего поразило Чочоя то, что хлеб, такой вкусный хлеб, следует есть вместе со всякой другой пищей, а не потом, уже в самом конце, на закуску. И как ни старался мальчик есть спокойно, это ему не удавалось: он нет-нет да и оглядывался, словно боясь, что сейчас явится кто-то злой, непрошенный и отберет завтрак или уничтожит пищу, как растоптал однажды Адольф Кэмби масляные оладьи. Руки Чочоя дрожали.

Одежда, в которую нарядила Чочоя Вияль, казалась ему очень нарядной и стесняла его. Кэукай подбадривал братишку, поправляя на нем пояс, застегивал пуговицы на рубашке.

— Ничего, Чочой, теперь ты уже совсем другой человек будешь. Послезавтра занятия начинаются, послезавтра в школу с тобой пойдем, — приговаривал Кэукай, критически осматривая костюм брата.

Вдвоем с Кэукаем Чочой оставался недолго. Вскоре явилась целая ватага ребят, и их увлекли на улицу. Оглушенный звонким криком мальчишек, Чочой пытался отвечать на их вопросы, прислушиваться к их разговору, не забывая, однако, осматривать поселок и его окрестности. «Сколько домов здесь! А яранг почти нету!» — изумлялся он, стараясь держаться поближе к братишке.

В полдень Чочоя с Кэукаем отыскала Вияль и, к огорчению

друзей, увела их обедать, а после обеда, по настоянию врача, Вявль заставила Чочоя улечься спать.

Кэукай покружился возле кровати брата и, когда ему показалось, что он уже спит, ушел из дому.

Ушли по своим делам из дому Вявль и Таграт. Оставшись один, Чочой решил снова приняться за осмотр дома, в котором, казалось ему, так много интересного и таинственного. Но не успел он одеться, как дверь в комнату отворилась и на пороге показался Эттай. На его румянном круглом лице было выражение необыкновенной важности и торжественности.

— Послушай меня, Чочой, хорошо послушай! Уши твои сейчас очень важное услышат, — начал он. — Я понимаю, твоя жизнь на Аляске была очень плохой. Вот ты до сих пор не знаешь, наверное, что все дети должны учиться в школе. Но мы тебе объясним, всё объясним: что такое парта, доска, что такое тетрадь; объясним, что такое класс, домашнее задание, пионерский сбор; мы даже объясним тебе, что такое «кол». Но ты лучше получай пятерки. Я знаю, ты обязательно будешь получать пятерки...

Чем дальше говорил Эттай, тем сильнее воодушевлялся. И хоть говорил он по-чукотски, но употреблял столько новых для Чочоя слов, что тот ничего не понял из его бурной речи. «Как все равно шаман при камлании, слова непонятные произносит», — подумал про него Чочой.

А Эттай между тем продолжал говорить что-то уже совершенно непонятное, по-прежнему энергично жестикулируя, порой совсем сбиваясь на русскую речь. Наконец, передохнув, он сделал паузу и сказал уже спокойно:

— Хорошие ли я слова тебе говорил, а? Теперь ты, наверное, все понимаешь?

— Нет... ничего не понимаю, — невольно признался Чочой.

Эттай смутился, сделал шаг вперед, хотел сказать что-то еще, но вдруг, махнув рукой, залез в свои карманы и с поспешностью стал извлекать давно уже приготовленные для Чочоя подарки. Здесь было много разных вещей, от которых могли разбежаться глаза любого мальчишки.

— Вот, бери, бери все это! Будем друзьями, хорошими будем друзьями! — закончил Эттай церемонию передачи подарков. Схватив руку Чочоя, он крепко пожал ее и направился к выходу.

Эттай ушел, а через несколько минут в комнату вошло человек семь ребят, имен которых Чочой еще не знал. Все они без лишних слов стали вручать свои подарки Чочою. Тот смотрел со смущением на растущую гору подарков дружбы, пытался запомнить всех, пришедших с дарами.

В это время в комнату вошли Кэукай с Петей. Они недоуменно переглянулись.

— Мы же подарки решили вручить на пионерском сборе, — сказал Петя по-русски.

Один из мальчиков, уже передавший свои подарки, виновато кашлянул и сказал, оправдываясь:

— Да это Эттай начал, а мы за ним — опоздать боялись.

— Эттай часто так поступает, он совсем неорганизованный, — нахмурился Петя.

Чочой во все глаза смотрел на белолицего мальчика. Он не понимал, о чем говорит Петя, но ему было ясно, что тот чем-то недоволен. Вскоре у него мелькнула мысль: «Однако, белолицый сердится, что мне принесли подарки!» Бросив взгляд на кучу подарков, Чочой заговорил быстро, возбужденно:

— Зачем мне столько подарков? Не надо мне столько подарков! Заберите их! Что я, мистер Кэмби, что ли? Что я, шаман Мэнгылю, что ли? Зачем мне столько вещей иметь? Я понимаю, почему это ему не нравится... — Чочой показал глазами на Петю и отошел от стола, на котором лежали подарки.

Петя с укором глянул на Кэукаю, как бы говоря: вот видишь, как скверно получается!

Кэукай вспыхнул.

— Нет, это куда не годится! — почти закричал он. — У Эттая голова хуже, чем у нерпы. Мысли в голове, как снег, — куда ветер подует, туда и летят.

В комнату ввалился запыхавшийся Эттай. В руках у него был новенький аркан. По своей душевной доброте, он решил, что еще мало сделал подарков Чочою, что он зря не отдал ему свой аркан, тогда как все ребята знают, что это у него самая лучшая вещь.

— Скажи, как это называется? — обратился к нему Кэукай. — Ты почему решил сам Чочою подарки вручать, а?

Эттай часто-часто заморгал глазами, виновато опустил голову.

— Знаешь, Эттай, — не выдержал Петя, — ты своим поступком как бы сказал: «Я самый лучший! Я первый подарки вручил, а все остальные ребята куда хуже меня...»

Эттай низко опустил голову. Он не мог не признать Петины слова справедливыми. Сделав усилие над собой, он сказал, прямо и честно глядя Пете в глаза:

— Ты правду говоришь. Получается действительно так... Но я не хотел этого, совсем не хотел этого...

Всем своим видом Эттай, казалось, говорил: всегда у меня получается как-то наоборот — хочу, чтобы хорошо было, а

получается плохо. Усиленно вращая, по своей привычке, носком растоптанного торбаза, он смущенно сопел, не решаясь поднять глаза на друзей.

Чочой изо всех сил старался понять суть разговора между Эттаем и Петей.

— Ладно, кончим об этом, — наконец примирительно сказал Петя. — Ну, а раз уж так получилось, то нам тоже надо будет сейчас отдать свои подарки. Как ты думаешь, Кэукай?

Все облегченно вздохнули: несмотря на свою обиду, Петя высказал Эттаю все, что думал; он предложил самый хороший выход из затруднительного положения. Теперь дело оставалось за Кэукаем, авторитет которого для ребят был не меньшим, чем авторитет Пети.

Кэукай не торопился. В эту минуту он серьезностью и строгостью напоминал своего отца, Таграта.

— Хорошо, что у тебя душа честная, — наконец сказал он, окидывая Эттая все еще сердитым взглядом. Но вдруг, блеснув озорно глазами, слегка щелкнул Эттая по носу и добавил: — Вот посмотришь, какие мы с Петей дадим Чочою подарки! У тебя от зависти глаза на лоб вылезут...

Сразу всем стало весело. Кто-то из мальчиков, подражая Кэукаю, щелкнул Эттая по макушке. Тот почесал ушибленное место, медленно повернулся и неуловимым движением рук набросил на обидчика аркан. Еще минута — и началась бы увлекательнейшая свалка, но кто-то вспомнил, что они находятся в комнате.

Подарки Кэукаю и Пети были действительно великолепны. Кэукай вручил Чочою, свои новенькие коньки-снегурочки, а Петя — спортивные лыжи. Чочой смотрел на эти подарки и, казалось, не верил своим глазам. «Коньки! Лыжи! Точно такие же, как я видел у Адольфа и Дэвида!» — думал он. Со всем недавно для него было мечтой просто постоять на таких лыжах, а теперь!..

Чочой сделал попытку примерить коньки прямо здесь, в комнате, но в это время дверь отворилась, и на пороге показался еще один мальчик с акыном в руках, собранным для броска.

— Тавыль пришел! — изумленно воскликнул кто-то.

Тавыль подошел к Чочою:

— Возьми от меня подарок, от чистого сердца возьми! Нерпу стрелять будешь — этим акыном на берег ее вытаскивать будешь...

Чочой взял в руки акын и с благодарностью посмотрел на мальчика. Но тот же голос, только уже громче, воскликнул:

— Послушай, Тавыль, так твой же отец...



Подарки были действительно великолепны.

Эттай подбежал к говорившему мальчику и бесцеремонно закрыл рукой его рот. Зачем тот вздумал припоминать Тавылю прошлое его отца?

— Правильно, Эттай, закрой ему рот, пусть проглотит глупые мысли! — насмешливо сказал Кэукай.

Мальчики и девочки засмеялись, соглашаясь с Кэукаем. Но Тавыль вдруг закрыл лицо руками и, споткнувшись, быстро вышел из комнаты.

— Кто обидел его? Почему он ушел? — недоуменно спросил Чочой, оглядывая умолкнувших ребят.

— Потом поймешь, Чочой, потом все поймешь! — сказал по-чукотски Петя и направился к выходу, чтобы найти и успокоить Тавыля.

За Петей вышли гуськом и остальные ребята.

Оставшись один, Чочой принялся осматривать свои подарки. Он не мог не вспомнить в эту минуту негра Тома: «Вот если бы Том был со мной! Если бы он был жив!»

Маятник часов, добросовестно повторяя свое «тик-так», гнал большую стрелку все дальше по кругу, а Чочой все сидел и сидел перед грудой подарков. В его глазах стояли слезы.

— Не надо грустить, Чочой! Пойдем на улицу, нас там ожидают ребята! — слышался голос Кэукай.

Чочой повернулся к брату, встал и пошел вслед за ним к выходу.

ЧТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ?

Кэукай стоял у зеркала, расправляя на груди красный галстук. Чочой незаметно наблюдал за ним. Лицо Кэукай сегодня было по-особенному торжественное, сдержанно-возбужденное. Осматривая себя в зеркало, он напевал что-то бодрое, веселое. Чочой пытался понять слова песни, но не мог: Кэукай пел на русском языке.

«Вот бы мне такой красный шарфик!» — не без зависти подумал Чочой, глядя на пионерский галстук. Подойдя к Кэукаю, он осторожно потрогал галстук и спросил братишку:

— У тебя нет еще одного такого шарфика? Я хотел бы...

Кэукай поспешно, но мягко отстранил от галстука руку Чочоя и, немного подумав, сказал:

— Это не шарфик, это называется пионерский галстук. За него руками братья нельзя, и тебе пока носить его рано.

Чочой удивился: до сих пор здесь угадывалось каждое его желание, все хотели сделать ему что-нибудь приятное. От этого мальчику было очень неловко и в то же время радостно. И вдруг Кэукай говорит такие слова! «Не обидел ли я его

чем-нибудь?» — с тревогой подумал Чочой. Он внимательно посмотрел на Кэукая — тот был весел, как прежде. «Нет, он, кажется, не обиделся», — с облегчением подумал Чочой.

Осмотрев костюм брата, Кэукай поправил его белый воротничок и сказал:

— Ну, пойдём в школу!

Что придется делать в школе, Чочой не представлял себе, хотя мальчики и рассказывали ему об этом. Все его предположения о школьных занятиях сводились к хорошо известным, привычным для него делам. «Однако что-нибудь работать придется: если не рыбу ловить, то оленей пасти или охотиться. А может, как девчонок, заставят шкуры выделывать?»

В школе его оглушили десятки голосов мальчиков и девочек. Детей здесь было так много, что Чочой растерялся. На многих школьников алели такие же шарфики, как и на Кэукае.

Пугливо озираясь, Чочой молча шел за Кэукаем. Тот привел его в небольшую комнату с длинным столом, покрытым красной материей.

— Вот это наша пионерская комната, — объяснил Кэукай, подходя к той стене, где висела блестящая труба. Сняв с гвоздя трубу, Кэукай приложил ее ко рту и затрубил так громко, что Чочой вздрогнул и зажал уши.

— Зачем это? — робко спросил он.

Кэукай, не отвечая, повесил трубу на место, снял с гвоздя какую-то круглую вещь и забарабанил по ней двумя палочками.

— О, понимаю! — с глубокомысленным видом сказал Чочой. — Это место для шаманского камлания.

Кэукай посмотрел на Чочоя и громко рассмеялся:

— Да нет же, это пионерская комната, понимаешь? А это пионерский барабан! А это горн и знамена! — объяснял он.

Но незнакомые слова: «пионерская комната», «барабан», «горн», «знамена», еще ничего не говорили Чочою.

В пионерскую комнату вошла Нина Ивановна, за ней — Петя и Эттай.

— Вот как, и Чочой здесь! — сказала учительница по-чукотски, обращаясь к мальчику так, будто она его знала уже давным-давно.

Чочой удивленно посмотрел на белолицую девушку. Дружелюбный взгляд ее больших глаз и приветливая, открытая улыбка понравились Чочою.

Пока он рассматривал Нину Ивановну, Кэукай, Петя и Эттай уселись за стол и о чем-то заговорили на русском языке, изредка перемежая русские слова чукотскими.

Зазвенел звонок. Чочой вздрогнул. А друзья Чочоя поднялись и тотчас направились к двери.

— Сейчас будем учиться, пойдем в класс! — с какой-то особенной торжественностью сказал Кэукай.

У Чочоя возникло чувство ожидания чего-то необыкновенного и таинственного.

Мальчики вышли в коридор, и тут случилось непредвиденное. Чочой, никогда не учившийся в школе, должен был идти в первый класс, а все остальные его друзья — в пятый. У двери пятого класса они остановились и стали объяснять, в какую дверь следует войти Чочою.

— Как? Вы меня одного оставляете? — удивился Чочой.

— Иди, иди туда, так надо... — торопился все объяснить ему Кэукай до прихода учителя. — Ты посидишь там немного, а на перемене мы снова встретимся.

— На перемене? А где эта перемена? — робко переспросил Чочой, понимая слово «перемена» как место для встречи.

Кэукай смутился. Смутились и его друзья.

— Что же нам делать? — спросил Петя по-русски.

К ним подошел Виктор Сергеевич.

— Пусть пока Чочой идет с вами, — выслушав ребят, сказал он.

Усевшись рядом с Кэукаем за парту, Чочой с подозрительной настороженностью осмотрел ее: как знать, что таит в себе этот странный стол? Чувство, что сейчас вот-вот должно начаться нечто необыкновенное, не покидало Чочоя. «Что такое учиться? — тревожно спрашивал он себя. — Может, это очень больно?»

Но шла минута за минутой, и ничего необыкновенного не начиналось. Отец Пети, сидя за столом, мирно беседовал о чем-то с учениками на незнакомом для Чочоя языке. Иногда он вставал и похаживал взад и вперед перед партами. Мальчики и девочки слушали его внимательно, ни одним словом не перебивая речь учителя. Затем один мальчик поднял верху руку. Учитель что-то сказал ему. Ученик встал и начал говорить сам.

— А когда учиться будут? — не выдержал и спросил вполголоса Чочой у Кэукая.

Но так как в классе было тихо, вопрос Чочоя услышали все. Ученики повернулись в его сторону, некоторые прыснули со смеху.

— Не надо смеяться, — сказал учитель по-чукотски, чтобы его слова были понятны Чочою. — Вот я вам рассказал о том, что сегодня все дети разных народов нашей большой страны сели за парту учиться. Но не так обстоит дело там, в капита-

листических странах, — допустим, в Америке. — Виктор Сергеевич подошел к Чочою. — Вот этот мальчик прибыл к нам с той стороны пролива, с чужой земли. Он никогда не бывал в школе, он совсем не знает, что значит учиться. Когда-нибудь он расскажет вам о своей жизни на Аляске. А сейчас кое-что расскажу вам я.

Учитель сделал паузу, а затем стал по-чукотски рассказывать о маленьком чукче Чочое. Мальчик во все глаза смотрел на учителя. Рассказанная посторонним человеком его жизнь поразила его. Чувствуя на себе участливые взгляды ребят, Чочой порой невольно оглядывался по сторонам и снова замирал, боясь пропустить хоть одно слово учителя.

— ...Вот так живут дети бедных, простых людей там, за проливом, — закончил свой рассказ Виктор Сергеевич.

Дальше он снова стал говорить по-русски. «Ага, понимаю, — подумал Чочой, — учиться — это значит мальчикам и девочкам слушать человека, который учителем называется». Но тут Чочой заметил, что один из учеников встал и, глядя в какую-то книгу, принялся о чем-то говорить. Чочой минуты две смотрел на мальчика и неожиданно вспомнил, как они с Томом подсматривали в шаманском складе, чем развлекаются сыновья Кэмби. «Адольф тогда точно так же, как этот мальчик, в книгу смотрел, а потом они с Дэвидом принялись друг другу стричь головы, — вспомнил Чочой. — Неужели и здесь станут делать то же самое?» Но ученик сел. За ним поднялся другой. Так длилось до звонка.

Едва прозвенел звонок, все ученики встали и вышли из-за парт. Во время перемены Кэукай и Петя отвели Чочою в другой класс и долго наперебой объясняли ему, что он должен сидеть именно здесь.

— Мне страшно одному, я с вами хочу, — робко возразил Чочой.

Но Кэукай и Петя были неумолимы. «Наверное, я надоел им уже, — подумал Чочой, когда Кэукай и Петя ушли. — Но почему я так скоро надоел им?»

Чочою вспомнилась его дружба с Томом. «Почему Том никогда и виду не показывал, что я надоел ему?»

Когда прозвенел звонок, в класс стали входить мальчики и девочки. Рядом с Чочоем села белолицая девочка с толстыми светлыми косичками и голубыми веселыми глазами. Это была Соня. Приветливо улыбнувшись Чочою, она что-то сказала ему по-русски.

В класс вошла Нина Ивановна. Так же, как и Виктор Сергеевич, она начала урок с беседы.

Занятый своими мыслями, Чочой не слушал учительницу.

«Почему они не хотели, чтобы я оставался с ними?» — уже в который раз спрашивал он себя, думая о Кэукае и его друзьях. Осмотрев внимательно учеников в классе, Чочой сделал вывод, что все они гораздо моложе его. Это удивило Чочоя. «Может, Кэукай и его друзья думают, что я маленький? Но я же не меньше их, почему же они так думают?» Эта мысль показалась Чочою настолько значительной, что он решил немедленно пойти и сказать о ней Кэукаю.

Чочой встал и направился к двери. Путь ему преградила учительница.

— Ты, верно, хочешь сходить к Кэукаю? Подожди немножко, — мягко попросила она. — Сначала со мной посиди. Мне очень хочется с тобой побыть. Сядь на свое прежнее место.

В голосе учительницы было столько подкупающей приветливости и дружелюбия, что Чочой успокоился и сел на место.

Нина Ивановна дала каждому ученику по тетради и карандашу, попросила начертить прямую палочку между двумя линиями. Ученики усердно принялись за дело.

Соседка Чочоя, для которой карандаш уже давно был знакомой вещью, начертила линию легко и быстро. Желая проделать то же самое, Чочой покрутил в руках карандаш, приложил его к белоснежному полю бумаги, нажал... Раздался легкий хруст, и небольшой кусочек черного графита покатился с парты на пол.

Чочой побледнел. Ему показалось, что произошло что-то ужасное. Он смотрел на сломанный карандаш и, втянув голову в плечи, ждал возмущенного окрика учительницы. Соседка Чочоя сочувственно вздохнула и предложила ему свой карандаш. Чочой отрицательно покачал головой: он не привык сваливать на другого свою вину.

От всевидящих глаз учительницы не скрылось смятение Чочоя. Она подошла к нему и просто сказала:

— Это ничего, что карандаш сломался. Так часто бывает.

Очивив карандаш, она села рядом с Чочоем, взяла его руку в свою и принялась показывать, как надо писать черточки между двумя линиями. Сначала Чочой смущался, но прошла минута — и он весь ушел в работу.

— Вот так! Видишь, как хорошо получается, — подбадривала его Нина Ивановна.

Исчертив целый лист коротенькими черточками, Чочой передохнул, вытер вспотевшее лицо, словно был занят тяжелой работой, и подумал: «Учиться — это не только о чем-нибудь рассказы слушать, но еще и вот такие черточки делать. Но зачем это?..»

Наконец учебный день окончился. Чочой вышел из школы,

поискал глазами в толпе ребят Кэукая и его друзей, но никого не нашел. «Ладно, пусть так будет, — нахмурился он. — Однако они еще увидят, что со мной дружить можно...»

А в это время председатель совета отряда Петя и члены совета отряда Кэукай с Этгаем в пионерской комнате говорили о Чочое.

— Надо нам понять хорошо одно: жизнь наша для Чочоя совсем непривычная, — говорил Петя, чуть постукивая по столу дневником отряда. — Заметил я, что он немного сегодня на нас обиделся.

— Да ну, не может быть! — удивился Этгай. — Как так обиделся? Почему обиделся?

— Петя правду говорит, — задумчиво сказал Кэукай. — То, что мы отвели Чочоя из пятого класса в первый, удивило его и, наверное, обидело. Он подумал, что мы плохие друзья.

— Вот-вот, как раз об этом я и хотел сказать, — опять заговорил Петя. — Мы должны быть с ним очень чуткими. Сегодня ничего страшного не произошло: Чочой поймет, почему мы его в другой класс отвели. Но может у нас другой какой-нибудь конфуз случиться.

Друзья говорили недолго и сошлись на том, что надо объяснить пионерам, как вести себя с Чочоем, чтобы не обидеть его.

ЭКЭЧО ВОЛНУЕТСЯ

Вечер угасал. Огненные отблески заката смутно освещали плавающие в море льды.

Экэчо отъехал по льду лагуны¹ километров на пять в сторону от поселка, свернул на морской берег, остановил нарту. Сидя на нарте, он курил трубку и долго смотрел на худую, измученную собаку, которую подобрал уже под вечер на морском берегу.

Было это так. Собака, поджав хвост, металась по льдине, которая не доходила до берега всего метров на двадцать. Заметив человека, она громко завyla, несколько раз собиравшись броситься в воду, но не решалась.

«Неужели это та самая собака, о которой рассказывал бежавший с Аляски мальчишка!» — пронеслось в голове Экэчо. Воровато осмотревшись, он вскинул карабин, чтобы застрелить собаку, но раздумал...

Стараясь не попадаться на глаза Чочою, Экэчо чутко прислушивался ко всему, что передавалось из дома в дом, из яранги в ярангу после рассказов этого мальчика, бежавшего

¹ Лагúна — морской залив, отделенный от моря песчаной косой.

с Аляски. Все тревожней становилось на душе Экэчо. Он хорошо знал, что жители аляскинского поселка Кэймид, по крайней мере те из них, кто был когда-то угнан с Чукотки, не могут не знать о его контрабандистских связях с шаманом Мэнгылю. «Ну да, Мэнгылю говорил им о здешней жизни и, как я просил, врал при этом много. Говорил, что встречался со мной, что слышал от меня дурные вести о голоде, о болезнях. Нутэскин, Чумкель все это слышали, конечно», — рассуждал Экэчо, боясь даже подумать о том, что будет, если Нутэскин и Чумкель или хотя бы один из них рано или поздно вместе со льдами будут прибиты к этому берегу. «Они расскажут, они всё здесь расскажут: как я встречался с Мэнгылю, как отдавал ему пушнину», — мрачно думал Экэчо, все чаще и чаще уходя на берег моря с охотничьим биноклем в руках.

Шли дни. Экэчо порой удавалось успокоить себя мыслью о том, что и Нутэскин и Чумкель наверняка погибли во льдах.

Но вот перед его глазами предстала худая мокрая собака...

«По рассказам Чочоя, собаку звали Очером, — вспомнил Экэчо. — Быть может, это вовсе не та собака...»

— Очер! Очер! — позвал он.

Услышав свое имя, собака решительно бросилась в воду и поплыла к берегу. Была она так обессилена, что порой казалось — вот-вот захлебнется и уйдет на дно. Экэчо смотрел на ее худую морду, в ее глаза, в которых так ярко была выражена жажда жизни, и вдруг снова вскинул карабин. Почуввав недоброе, собака из последних сил заработала лапами, стремясь во что бы то ни стало доплыть до берега.

Экэчо снова опустил карабин. «Пусть у меня немного проживет, — решил он. — С ней по берегу похожу, она быстро почует человека в море, тем более, если это будет Нутэскин или Чумкель...»

И вот сейчас, сидя на нарте, Экэчо смотрел на Очера и думал о том, не приплывет ли в один прекрасный день вот так же на льдине Нутэскин или Чумкель.

«Эх, не узнал я, был ли винчестер у Нутэскина! Без винчестера пищи в море не добудешь, а без пищи долго не проживешь, — подумал Экэчо, выбивая о нарту свою трубку. — Зато с винчестером охотники по месяцу плавают в море на льдине... Целый месяц, даже больше я волноваться должен...»

Обхватив голову руками, Экэчо долго вслушивался в тишину наступающей ночи, нарушаемую ритмичными ударами прибоя.

«Ну хорошо, ну пусть увижу я Нутэскина или Чумкеля вот так же, как эту собаку увидел, а дальше что?» — спросил себя Экэчо.

В эту минуту Очер зарычал. За ним зарычали еще несколько собак, уютно свернувшихся калачиком на сухой траве. Экэчо насторожился, быстро осмотрелся вокруг. В темноте, метрах в тридцати от нарты, проходили два человека.

— Зачем так мучаешь себя, Тынэт? — донесся до Экэчо голос учительницы. — Быть может, отец твой назад на Аляску вернулся, быть может, он жив и здоров...

— Не могу, Нина, не могу спокойно спать! Не могу спокойно жить! Голос его мне чудится. Думаю все время: может быть, его к берегу на льдине прибьет, вот-вот на землю ступит, а ветер возьмет да погонит лед в обратную сторону. Как же я тогда смогу простить себе такое?.. А этот человек, Нутэскин! С ним же тоже такое случиться может...

Шаги удалялись в сторону поселка. Экэчо долго еще вслушивался в мягкий, почти умоляющий голос учительницы и в тоскливый голос Тынэта.

— Хэ! Дружба какая! — вполголоса сказал Экэчо и вдруг вспомнил слухи о том, что Тынэт и учительница решили на праздник, в день 7 Ноября, устроить свою свадьбу.

«Совсем как русский стал: в русском жилище живет, по-русски одевается, на русской девушке женится!» — злобно подумал Экэчо.

Немного поразмыслив, он решил разжечь небольшой костер: «Как знать, человек в море увидит костер на берегу, кричать станет!»

Не успел Экэчо разжечь костер, как Очер вдруг вскочил на ноги и завыл. Экэчо выпрямился, весь превращаясь в слух и зрение. «Неужели они не погибли!» — со страхом подумал Экэчо и потянулся к карабину.

...Чочой подошел к самой воде и, зябко ежась от холодного северного ветра, смотрел на огни маяка. Где-то в конце поселка завыли собаки. Чочой насторожился: ему почудилось, что воет Очер.

Собаки умолкли, но через минуту завыли снова.

— Очер! — закричал Чочой и бросился в ту сторону, откуда доносился вой.

Петя и Кэукай, наблюдавшие за Чочоем, удивленно переглянулись. Не желая быть слишком навязчивыми, они держали Чочоя под своим неусыпным наблюдением, но так, чтобы тот не замечал их опеки.

— Очер?.. Почему он назвал это имя? — с недоумением спросил Петя.

— Так ты же знаешь, что это имя собаки, которую потерял Чочой в море! Может, она приплыла!..

Не сговариваясь, Петя с Кэукаем побежали в ту сторону,

где скрылся в темноте Чочой. Из-за лохматой черной тучи выглянула луна, стало светлее.

— Вон смотри, Чочой по берегу бежит! — сказал Кэукай, показывая вдоль берега рукой.

— В чем дело? Куда он бежит? — изумлялся Петя. — Надо его догнать!

— Очер! Очер! — доносился до них голос Чочоя.

Луна снова скрылась за тучу. Но друзья продолжали бежать во тьме. Запыхавшись, они наконец остановились.

— Что же делать дальше? — спросил Кэукай. — Надо все же найти Чочоя!

— Надо найти, — поддержал его Петя. — Мало ли что может случиться...

Мальчики снова тронулись в путь, пристально всматриваясь во тьму. Ветер, дующий с моря, мешал идти, сбивал их в сторону. Часто на пути попадались большие камни. Мальчики спотыкались, падали, но упорно двигались вперед.

— Давай позовем, — предложил Петя.

— Чо-чой!.. — закричали они в два голоса. — Чо-чой!..

— А ну, еще громче, — предложил Кэукай.

— Чо-чой!..

Но в ответ лишь гремели гулкие удары морского прибоя.

Друзья пошли дальше. Они потеряли чувство времени и никак не могли определить, как долго идут в ночной темноте.

Неожиданно впереди блеснул небольшой огонек. Он то потухал, то загорался снова.

— Смотри, костер! — сказал Кэукай.

Мальчики прибавили шаг.

Время шло и шло, а огонек казался все на том же месте. Но вот пламя его замигало и потухло. Мальчикам стало жутковато. Им показалось, что даже ветер сразу стал холоднее, словно до этого огонек согревал их своим теплом.

— Чо-чой!.. — закричали они снова.

Ответа не было. Мальчики помчались, ожидая, что огонек загорится снова. Так оно и случилось: огонек загорелся.

— Смотри, горит! — обрадовался Кэукай. — Побежим!..

...Чочой подошел к тому месту, у которого, как ему показалось, еще совсем недавно горел костер. Мальчик пугливо осмотрелся, прислушался.

— Очер! — кричал он снова.

Чочою было очень страшно оставаться одному темной ночью на пустынном морском берегу. Идти дальше в темноту мальчик не решался.

— Непонятно что-то, — вслух сказал он.

Голос Очера, только что слышавшийся где-то здесь, все



*Радостно повизгивая, Очер, словно человек, заглядывал
ему в глаза.*

еще не умолкал в ушах Чочоя. И вот, глянув под ноги, он действительно заметил тлевшие головешки только что горевшего костра.

— Совсем непонятно что-то, — повторил он вслух, желая отделаться от страха.

Присев на корточки над тлевыми головешками, Чочой раздул их, подбросил несколько сухих головешек. Вспыхнул слабый язычок пламени, облизал сухую головешку, торжественно зашипел, забрызгал искрами.

Теперь Чочою уже не было так страшно. Он даже снял шитые Вяля торбаза, осмотрел разбитые о камни ноги. Пригревшись у костра, Чочой обхватил колени руками, задумался. «Ну да, конечно, льдину с Очером могло прибить к берегу, и его кто-нибудь подобрал», — рассуждал он, с надеждой ожидая, что вот-вот где-нибудь поблизости снова послышится голос Очера.

Чочою почудились человеческие голоса. Вздрыгнув, он вскочил на ноги, прислушался. Сердце его билось часто и гулко. А голоса приближались...

— Чочой, это мы! Я и Петя! — слышался почти рядом голос Кэукай.

Чочой, как был, босиком, бросился к своим друзьям.

— Что это с тобой? Зачем ночью здесь костер жжешь? — спросил Кэукай, глядя с недоумением то на костер, то на Чочоя.

— Я слышал голос Очера! Вы знаете, как я люблю своего Очера!.. Я, наверное, с ума сойду от радости, если Очера увижу... — быстро-быстро, словно боясь, что его не выслушают до конца, заговорил Чочой.

Кэукай и Петя посмотрели в его взволнованное лицо, озабоченное красными бликами костра, и поняли, что Чочой действительно иначе поступить не мог.

— Но, может, это тебе почудилось? — спросил Петя.

— Нет, нет, не почудилось! Зачем почудилось? Почему так говоришь — почудилось! — горячо возразил Чочой. — Я голос Очера всегда узнаю. У него голос словно человеческий...

Не успел Чочой договорить, как из темноты прямо к костру выпрыгнула крупная худая собака. Кэукай и Петя невольно отступили в сторону, а Чочой, закрыв глаза, крепко прижал ее к себе. На собаке был оборванный конец алыка — очевидно, она оторвалась от потяга нарты.

— Очер! Очер!.. — восклицал Чочой, не выпуская собаки из рук.

Петя почувствовал, как что-то запершило у него в горле, а Кэукай все смотрел и смотрел широко раскрытыми глазами

на встречу двух друзей и с трудом удерживался, чтобы самому не обнять собаку.

Радостно повизгивая, Очер терся своей головой о щеку Чочоя, словно человек, заглядывая ему в глаза...

А Экэчо, испугавшись приближения людей со стороны поселка и разбросав костер, теперь незаметно из темноты наблюдал за мальчиком.

Встреча Очера с Чочоем тронула даже его. Нахмурившись, он нервно перекусил сухую травинку и подумал: «Хорошо, что я не убил собаку. Собака ничего, пусть живет — у нее язык не человеческий, она не разболтает. Потом, помнить надо, что собака — лучший хранитель от злых духов... А как она бросилась к нему, даже алык оборвала! Умная собака, очень умная!»

Когда мальчики ушли, уведя с собой Очера, Экэчо снова подошел к костру и крепко задумался. «Уйти с этого берега надо туда, к брату уйти. Здесь все равно когда-нибудь узнают, кто я такой, — размышлял Экэчо, прислушиваясь к ударам морского прибоя. — Пушнину собирать надо, много пушнины в эту зиму собрать надо. На том берегу только бедному человеку плохо живется, а богатому человеку там хорошо живется. Мой брат Мэнгылю на свою жизнь на том берегу никогда не жаловался. Пушнины много с собой увезу! Много богатства с собой увезу!.. Только осторожным быть надо. Как старая, хитрая лиса, осторожным быть надо... С чужих капканов песцов снимать буду, в тайные места шкуры прятать буду. Ничего, Экэчо проживет остаток дней своих так, как ему хочется! Вот только бы не явились на берег эти страшные для меня люди...»

Экэчо вздохнул и снова начал вслушиваться в ночную тишину, нарушаемую мерными ударами прибоя.

КТО ХОЗЯИН?

Осень выдалась на редкость солнечная, безветренная. Тундра покрылась инеем, а снег все еще не выпадал. Только вершины сопок, словно задумчивые седые головы суровых великанов, были строги и холодны в своем снежном наряде.

А на море, хотя и не было ветра, бушевал ледяной шторм. Наверное, разразился где-то ураганный северный шквал, разволновал море и, отдав ему свою силу, докатился до берегов Чукотки лишь в огромных ледяных валах. Медлительные валы, казалось, с трудом поднимали кверху свою невероятно тяжелую ношу — ледяные глыбы — и затем с глубоким вздо-

хом, словно измученный тяжелой работой великан, швыряли их вниз, сшибая друг с другом, раскалывая надвое, натрое. Чем ближе подходили ледяные глыбы к берегу, тем мельче становились они. А валы все шли и шли, подгоняя разбитые льдины к берегу, и здесь уже дробили их в ледяную кашу. Грохот над морем не умолкал, и это так не вязалось со спокойной, солнечной погодой.

К поселку Рэн пастухи подгоняли колхозные олени стада. Живой лес ветвистых рогов вырос вокруг поселка. Дробный перестук копыт и сухой треск касающихся друг друга рогов слышались со всех сторон. Огромные олени-чымнэ становились на дыбы или теснили друг друга, низко опустив головы и тяжело дыша. Их глаза, выходявшие от напряжения из орбит, были налиты кровью. Колхозники-оленоводы, смуглые, жилистые, с накомарниками на головах, ходили по стаду, держа в руках приготовленные для броска арканы.

Кэукай, Петя, Чочой и Эттай вышли навстречу стаду. «Сколько оленей! Сколько оленей!.. — мысленно повторял Чочой. — Чьи же они? Кто их хозяин?» Этот вопрос так занимал его, что он не выдержал и спросил:

— Кто самый главный человек... кто хозяин этого стада?

— Колхоз, — коротко ответил Кэукай.

— Колхоз... — повторил Чочой. — А как это — колхоз?

Кто это — колхоз? Вот уже сколько раз я слышу слово «колхоз», а понять его не могу. Сначала я думал, что колхоз — это второе имя твоего отца, а потом понял, что это совсем не так. Тогда я подумал, что это какой-то очень богатый человек, вроде американца Стивенсона: у того тоже оленей много. Но и это, однако, неверно. Я хорошо знаю, что там говорили о Стивенсоне и его управляющем Кэмби, — то были плохие слова, очень плохие. Здесь мои уши таких слов никогда не слышали.

Ребята, внимательно слушая Чочоя, обдумывали ответ.

— На собрание! На колхозное собрание! — послышался чей-то голос, созывавший пастухов.

— Вот хорошо! — обрадовался Кэукай. — Вот сейчас ты и увидишь хозяина этого оленьего стада.

Собрание состоялось в колхозном клубе. Как обычно, его открыл Таграт. Бригадиры оленеводческих бригад доложили об увеличении оленьего поголовья. После этого собрание стало решать, сколько оленей можно забить, чтобы выполнить государственный план мясopоставок, сколько заготовить мяса на всю зиму и шкур для одежды колхозников, сколько можно продать оленей торговой базе и другим организациям. Один за другим поднимались колхозники, высказывали свои мнения.

Вот к столу вышел высокий оленевод, с крупным лицом и черной редкой бородкой.

«Может, это и есть хозяин», — подумал Чочой, вслушиваясь в спокойную речь оленевода. Но хозяин, каким его представлял себе Чочой, так говорить не мог. Он помнил, как разговаривал со своими пастухами управляющий оленеводческой фермой Стивенсона мистер Кэмби. Тот кричал, грозил, брызгал слюной, топал ногами. А здесь никто не разговаривал так. Здесь словно собрались на семейный совет, где все друг друга уважают. Каждый вносил свое предложение, доказывал, почему надо поступить именно так, а не иначе, предоставляя право другим соглашаться или не соглашаться со своими словами. Точно в таком же тоне выступил и председатель Таграт.

«Ой, как много сказано! Кто же победит в этом споре?» — волновался Чочой.

Председатель собрания огласил несколько предложений и попросил колхозников подумать над ними: пусть каждый скажет, с чем он соглашается. Несколько минут стояла тишина. Покуривая трубки, колхозники сосредоточенно думали, взвешивали каждое предложение. Но вот началось голосование.

— Вот смотри, смотри, ты сейчас поймешь, кто хозяин, — зашептал на ухо Чочою Эттай.

Председатель одно за другим снова огласил все предложения. Подавляющее большинство рук было поднято за третье.

— Так вот как получается! — изумился Чочой. — Как решит большая часть людей, так и будет.

— Верно! Теперь ты понял, кто хозяин? Это и есть колхоз, — просто сказал Кэукай, радуясь тому, что Чочою все стало ясно.

Так разгадал Чочой и еще одну тайну жизни на Счастливом берегу.

Он испытывал такое чувство, словно поднимался все выше и выше на гору, откуда глазам раскрывались еще никогда не виданные им картины. Но чувство радости омрачалось сознанием того, что эту радость не могли ощутить его близкие.

Перед Чочоем снова прошли мрачные картины его жизни на Аляске.

...Мистер Кэмби, брызжа слюной, гонит голодного, в изорванной одежде отца искать пропавших оленей. Отец уходит в пургу. Чочой с матерью ждут не дождутся его возвращения. И вот через пять дней Чочой находит отца замерзшим.

«Нет, там не такой, совсем не такой, как здесь, хозяин! Там злобный мистер Кэмби хозяин, там шаман Мэнгылю хо-

зяин, — думает Чочой. — Они никогда не собирают людей на совет, они кричат, они, как собак, гонят пастухов в стадо. Попробуй их не послушаться! Гоомо не послушался — в него стреляли... А что, если бы Гоомо был сейчас здесь? — вдруг приходит мысль Чочою. — Что, если бы и он мог так же, как эти люди, свои слова говорить? Он бы хорошие слова сказал, он бы хороший совет дал. У него такая умная-умная голова!..»

— Э, да ты приуныл что-то! — неожиданно заметил Эттай, обращаясь к Чочою.

Кэукай и Петя посмотрели на Чочоя и тоже забеспокоились.

— Ничего! — пытался крепиться Чочой. — Просто я что-то вспомнил очень печальное...

— А ты забудь на сегодня, а? — как можно веселее сказал Петя. — Пойдем на улицу, там, наверное, сейчас забой оленей начнется.

Чочой с благодарностью посмотрел на своего нового друга. Теперь-то он хорошо понимал, что Петя — настоящий товарищ Кэукай, Эттай, его — Чочоя — и многих других детей. Эта дружба с чукчами «белолицего» мальчика, как мысленно еще называл Петю Чочой, ему также казалась поразительной.

Мальчики вышли на улицу. Стадо оленей мирно паслось за небольшой цепью уже замерзших мелких озер. Белоснежный олень отделился от общего стада и, гордо запрокинув огромную корону ветвистых рогов, побежал куда-то на запад вдоль берега лагуны. Пастух с приготовленным арканом в руках безуспешно пытался перерезать ему дорогу.

— Завернем в стадо оленя? — спросил Кэукай.

— Завернем! — подхватил Эттай и, как всегда в таких случаях, бросился вперед первым.

Петя с Чочоем побежали за ними.

Мальчики летели, как ветер, наперерез оленю, испытывая истинный восторг от стремительного бега.

— Гок! Гок! Гок! — кричали они, как обычно кричат в таких случаях чукотские пастухи.

Олень остановился. Несколько раз он тревожно хоркнул и, повернувшись, стрелой помчался к стаду. Ребята залюбовались его бегом. Олень, казалось, плыл по воздуху, не касаясь земли своими тонкими, стройными ногами.

— Слово белая чайка летит! — восхищенно сказал Чочой. — Я вырос возле оленей, а никогда не замечал, что они такие красивые!..

Забой оленей продолжался до позднего вечера. А когда

наступила темнота, началось самое интересное — традиционный праздник забоя тонкорунного оленя.

На обширной поляне горело около десятка костров. Над кострами висели огромные котлы со свежим оленьим мясом. Большими огненными мухами высоко-высоко взлетали искры и гасли в темноте. Где-то вдали шумело отогнанное от поселка стадо. Оленеводы и охотники сидели у костров, оживленно разговаривая.

Чочой вместе со своими друзьями переходил от костра к костру, с интересом вслушиваясь в разговоры колхозников. И невольно, как только где-нибудь раздавался заразительный, веселый смех, мальчик думал: «Вот бы Гоомо сюда, хотя бы на один вечер! Пусть бы и он повеселился вместе с нами».

У одного из костров среди оленеводов и охотников Чочой увидел Таграта и Виктора Сергеевича.

— Скажите, кому из нас огни эти не заглядывают в самое сердце? — спрашивал Таграт, широким жестом указывая на ярко освещенные электрическими огнями окна в домах поселка.

Смуглое лицо Таграта с тонкой линией чуть горбатого носа в эту минуту показалось Чочою особенно мужественным, и он подумал: «Вот если бы отец мой жил на этой земле, может, и его сейчас слушали бы так же, как Таграта».

— А когда-то в этом поселке всего четыре яранги стояло, — задумчиво отозвался на слова Таграта Виктор Сергеевич, по-сасывая свою трубку.

— Я вижу, учитель, ты хорошо помнишь те далекие годы, когда в первый раз попал сюда, — заметил один из стариков, обращаясь к Виктору Сергеевичу.

— Да, хорошо помню. Это было еще в пятнадцатом году. Тогда здесь стояло всего четыре яранги, — повторил Виктор Сергеевич. — Три яранги стояло, кажется, вот здесь, где сегодня забивали оленей, а четвертая — вон там, где больница. Но кто постарше, те, наверное, хорошо помнят жителей той, четвертой яранги. В ней были мертвецы. Умерли люди, и жилище их превратилось в могилу...

Виктор Сергеевич вздохнул и несколько минут молчал, погруженный в далекие воспоминания.

— Страшно мне стало, когда я попал сюда в первый раз, — продолжал он, глядя в костер. — Но, еще будучи изгнанником, я нашел у вас приют и настоящую дружбу. Помню, подошел ко мне человек, который потом стал большим, очень большим моим другом, и сказал мне так: «Вижу я в глазах твоих тоску. Нельзя тебе одному быть: холод тоски заморозит сердце. Пойдем ко мне в жилище. Имя мое Ако».

Услыхав имя Ако, Чочой вздрогнул и, стараясь быть незамеченным, чтобы не обратить на себя внимание взрослых, потихоньку приблизился к костру...

А на обширной, ярко освещенной кострами поляне происходили традиционные состязания в ловкости, выносливости, силе.

Голые по пояс борцы упорно и сосредоточенно наступали друг на друга. «Гы-а! Гы-а!» — порой издавали они воинственный клич, громко при этом хлопая в ладоши. Пламя костра багровыми отсветами ложилось на их бронзовые тела.

Чуть подалее стройный, высокий юноша, в котором Чочой сразу узнал Тынэта, прыгал через аркан. Со свистом неся аркан ему под ноги, но Тынэт легко, как мячик, подпрыгивал вверх, иногда при этом даже умудряясь перевернуться в воздухе.

В другом конце поля шли состязания в тройном, в четверном прыжке с места.

Пожилые мужчины и женщины сидели у костров, ели оленье мясо и с живейшим интересом наблюдали за спортивными состязаниями юношей.

Залюбовались состязаниями и люди у того костра, где сидели Таграт и Виктор Сергеевич.

А Чочой, которого жизнь очень рано разлучила с беззаботным детством, по-взрослому хмурился и с горечью думал: «Гоомо никогда не видел такого веселья и теперь уже никогда не увидит...»

Может, мальчик так и остался бы наедине со своими невеселыми мыслями в этот замечательный вечер, если бы зоркие, участливые глаза не следили за ним. Нет, друзья не могли допустить, чтобы Чочой тосковал, когда кругом было столько радости!

— Послушай, Чочой, идем прыгать через аркан! — раздался где-то позади него веселый голос Кэукая.

Чочой повернулся на голос. Раскрасневшееся лицо Кэукая было так заразительно весело, что и Чочою вдруг тоже стало легко и радостно. Он подал руку Кэукаю и побежал рядом с ним, ощущая непреодолимую потребность закричать что-то необыкновенно воинственное, по-мальчишески озорное.

— Гы-а! — налетел на него Эттай, громко хлопая в ладоши.

— Гы-а! — ответил Чочой, чувствуя, что у него захватило дух от восторга.

Мальчишки схватились. Долго пыхтели они, выкрикивая воинственные возгласы. Коварный Эттай все норовил схватить Чочоя за ногу, чтобы резко поднять ее кверху и повалить очу-

тившегося в неустойчивом положении «противника» на землю. Но Чочой вовремя разгадал его тактику.

— Гы-а! — кричали судьи, хлопая в ладоши.

— Гы-а! — отвечали запыхавшиеся борцы.

Наконец Чочой изловчился и воспользовался приемом своего же противника. Резко подняв правую ногу Эттая вверх, он повалил его на спину. Судьи закричали, выражая свой восторг. Посыпались добродушные насмешки по адресу Эттая. А Кэукай, смеясь, упал на спину и закричал:

— Эй, Эттай, хочешь, я тебе похлопаю торбазами? — и принялся хлопать подошвой о подошву, ухватившись руками за носки торбазов.

Эттай не обижался. Он встал и шутливо принялся изображать изрядно помятого человека, со стоном хватаясь то за один, то за другой бок, припадая то на левую, то на правую ногу. Это вызвало новый взрыв смеха.

А костры счастливого праздника разгорались все ярче и ярче.

ТАК МНОГО ЧУДЕСНОГО!

Что значит учиться, об этом Чочой больше не спрашивал. Школьная жизнь полностью захватила его. Он уже не боялся учителей, длинных коридоров школы, ее бесчисленных дверей, классов, комнат, в которых, как ему сначала казалось, очень легко заблудиться. Он уже не стоял на перемене, плотно прижавшись к стене, а бегал, прыгал, кричал вместе со своими товарищами, и ему казалось, что нет на свете человека счастливее его.

Насколько шаловлив был Чочой на перемене, настолько серьезным он становился на уроке. Будучи значительно старше своих одноклассников, он хмуро поглядывал на шалунов, сердился, когда на уроке приставали к нему с посторонними разговорами. Соня в таких случаях защищала его:

— Не трогайте Чочоя! Видите, он никак не поймет, как по слогам читать.

А чтение действительно плохо давалось Чочою. Он уже давно научился разбивать слова на слоги, выделять в слогах тот или иной звук на слух, но, как только доходило до чтения целых слов, он чувствовал себя беспомощным. Часто Нина Ивановна оставляла Чочоя после уроков и терпеливо учила его чтению по разрезной азбуке, по букварю.

И вот вышло так, что на одном из уроков Чочой вдруг совершенно свободно стал читать по слогам. Прочитав без затруднения слово, другое, а затем целое предложение, он выбе-

жал из-за парты на середину класса и, указывая пальцем на букварь, сказал громко, так, как это может сказать человек, проникнувший после долгих трудов в глубокую тайну непонятного ему явления:

— Бумага говорит! Без голоса, а все равно как человек говорит! Вот послушайте!..

И, старательно выговаривая каждый слог, он прочел все, что оказалось у него перед глазами на двух раскрытых страницах букваря.

Нина Ивановна сдержанно улыбнулась и сказала:

— Ты правильно понял: букварь, если его уметь читать, может, как человек, много рассказать интересного.

В этот день Чочой долго не расставался с букварем. Теперь его внимание привлекали не только картинки. Старательно выговаривая каждый слог, он вчитывался в знакомые ему чукотские слова, в целые предложения и досадливо хмурился, если понимал не сразу.

— А я-то думал, что это просто черточки, словно мышь по снегу побегала, — вспоминал он свое первое знакомство с букварем.

Когда вернулся домой Кэукай, у которого в тот день было на два урока больше, Чочой соскочил со своего места с букварем в руках и закричал:

— Послушай, Кэукай, хорошо послушай! Рэ-тэм, ка-ат, ры-тын, рыр-кы! Ко-ро ры-тын...¹

— Ай, как здорово! Ты скоро меня догонишь! — с искренним восхищением сказал Кэукай и заглянул в букварь, как бы желая удостовериться, действительно ли там написаны те слова, какие произнес его брат.

На второй день Чочой с нетерпением ждал, когда же попросят его почитать. Наконец, не выдержав, он сказал вполголоса проходившей мимо него учительнице:

— Я сильно хочу почитать! Много-много раз я прочитал эти слова, даже наоборот, справа налево, научился читать, только что-то совсем непонятное получается.

Ученики прыснули со смеху. Улыбнулась и Нина Ивановна.

— Сейчас, Чочой, ты будешь слова на новой странице читать. Только больше справа налево никогда не читай, так не полагается, — сказала она.

Усвоив на уроке новый звук-букву, класс приступил к чтению следующей страницы в букваре. И тут Нина Ивановна

¹ Слова из чукотского букваря: рэ тэм — покрывка яранги, ка-ат — олени, ры тын — олений рог, рыр кы — морж, ко ро ры тын — дай рог.

попросила Чочоя сначала сложить из разрезной азбуки, а потом прочесть совсем новые слова. Мальчик без затруднения выполнил задание.

Важный и гордый, он прошел за свою парту, многозначительно посмотрев на Сою, как бы спрашивая: «Ну как?»

...Не успев пообедать, Чочой снова погрузился в букварь. Читая страницу за страницей, он испытывал такое ощущение, словно открывал одну дверь за другой в неведомый для него мир. Черные значки, соединяясь в слоги, а затем в слова, превращались в картины, в звуки и даже запахи...

В комнату вошел Кэукай. Он слегка стукнул Чочоя по голове какой-то книгой и сказал, улыбаясь:

— Сегодня ты, однако, и спать с букварем ляжешь.

Чочой оторвался от букваря, бережно закрыл его, собираясь ответить Кэукаю, но в эту минуту через открытую форточку до его слуха донеслись незнакомые звуки. Чочой насторожил ухо и, определив сквозь открытую форточку, с какой стороны доносится музыка, выбежал на улицу. Вскоре он очутился возле дома, в котором жила Соня. Звуки, взволновавшие его, шли именно из этого дома. Чочой долго стоял, как завороченный.

Потихоньку, словно боясь спугнуть птицу невиданной красоты, мальчик подошел к окну, в котором также была открыта форточка, и припал к стеклу, заглядывая в комнату. И вот что увидел он.

Его друг Соня сидела за каким-то черным огромным ящиком и дотрагивалась пальцами до белых и черных пластинок, лежавших ровными рядами на выступе ящика. Когда руки девочки замирали, замирала, словно уходила куда-то вдаль, и музыка. Но как только пальцы Сони прикасались к пластинкам, волны музыки снова переполняли комнату, пробивались на улицу.

Чочой во все глаза смотрел на Сою, как бы не узнавая ее. В этот миг она ему казалась не простой, приветливой девочкой, которая точно так же, как и он, сидя с ним за одной партой, училась разговору по бумаге, — теперь она казалась ему волшебницей, хозяйкой чудесных звуков. Прижав лицо к стеклу, Чочой все слушал и слушал, не в силах оторвать взгляда от Сониных рук.

Неожиданно позади Чочоя послышался чей-то возглас:

— Это кто здесь в окна заглядывает?

Чочой резко повернулся и с испугом уставился на подошедшего человека, в котором узнал отца Сони — врача Степана Ивановича.

— Зря вы так испугались, молодой человек, — ласково

сказал доктор и тут же искренне пожалел: «Как жаль, что я не знаю чукотского языка! Надо изучать язык... да-да, надо изучать чукотский язык».

— Пойдем, пойдем к нам, дорогой, — как можно приветливее приглашал он Чочоя.

«Пойдем, — повторил про себя Чочой, вспоминая, что значит это слово «пойдем». — Так он же говорит, чтобы я вошел с ним в дом!» — догадался мальчик.

Войти в дом, в котором Соня, эта необыкновенная девочка, совершает гайнства у волшебного черного ящика, Чочою казалось просто невероятным. Но Степан Иванович настаивал. Он осторожно взял Чочоя за руку, и тот, словно во сне, зашагал вслед за ним.

Увидев Чочоя, Соня соскочила со стула, захлопала в ладоши:

— Чочой пришел, Чочой пришел! Вот хорошо! Вот молодец!

Но, заметив странный взгляд Чочоя, устремленный на нее, Соня смущенно остановилась посреди комнаты, не зная, что ей делать дальше.

— А ты сыграй, сыграй что-нибудь гостю, — подсказал Степан Иванович, будучи твердо уверен, что мальчика привлечла к дому именно музыка.

— Правильно, сыграй ему что-нибудь, — сказала Соне ее мать, Анна Андреевна, радушно улыбаясь маленькому гостю.

Это была полная женщина со светлыми пышными волосами.

Чочой попятился назад. Он еще не мог с первого мгновения верить улыбке белолицей женщины. Ему вспомнилось, как однажды встретила его миссис Кэмби, когда он вошел к ней в дом. Миссис Кэмби тоже улыбалась, однако Чочой хорошо помнил, как у него по спине побежали мурашки. Но глаза Анны Андреевны были так приветливы, так искренне ласковы, что мальчик невольно вздохнул с облегчением. Это рассмешило Соню.

— Конечно, сыграю! — весело сказала она. — Садись вот сюда, на стул, и слушай.

Чочой подошел к стулу, крепко сжал его спинку руками, разглядывая черный ящик.

— Это пианино. Запомни: пианино, — пояснила Соня, дотрагиваясь пальцами до клавишей.

— Пианино, — еле слышно прошептал Чочой. — Пианино...

Соня заиграла снова. Ее тоненькие пальчики, почти неуловимо касаясь белых и черных пластинок, извлекали еще никогда не слышанные Чочоем звуки. Неудержимая сила влек-

ла его прикоснуться хотя бы к одной из этих пластинок. Но Чочой даже думать боялся об этом.

Кончив играть, Соня поднялась и, указывая на вертящийся на одной ножке стул, с которого только что встала сама, сказала Чочою:

— А ну, теперь ты попробуй, а? Попробуй, Чочой! Ты, наверное, еще никогда не видал пианино?

Чочой не понимал Сониных слов, но он догадывался, чего от него требуют: «Она хочет, чтобы я сел за черный ящик!»

Слегка подталкиваемый Соней, он все же уселся на стул. Не повинувшись разуму, руки его сами потянулись к клавишам. Однако не успел Чочой прикоснуться к ним, как послышались какие-то странные звуки, поразившие ухо Чочоя своей нестройностью, и он отдернул руки, словно от огня. На лице его появилось почти болезненное выражение. «Этот пианино зарычал на меня, как сердитый зверь, — испуганно подумал он. — Рассердился на меня пианино».

Степан Иванович поразился, увидев, с каким болезненным чувством воспринял мальчик этот нестройный звук.

— Да он же музыкант! — заволновался Степан Иванович. — Понимаешь, Соня, он музыкант, хотя, может, и ни разу не держал ни одного музыкального инструмента в руках!

Соня положила руки Чочоя на клавиши, расставила его пальцы в определенном порядке и попросила нажать. Стройный аккорд мягкой волной разлился по комнате. Чочой нажал на клавиши еще раз. Аккорд повторился. «Вот сейчас уже не зверь этот пианино. Добрый голос стал у него!» — с восторгом подумал он, повторяя и повторяя один и тот же аккорд.

Когда Чочой уже лежал дома в постели, он все еще находился во власти удивительных звуков. Они как будто рассказывали Чочою о том, что на свете, оказывается, есть так много интересного, так много чудесного, о чем никогда не мог бы он и подумать, если бы не очутился на этом Счастливом берегу.

ЧОЧОЙ ПОМОГ

Чочой пришел вместе с Кэукаем на заседание совета пионерского отряда. Еще не все было ясно ему, что здесь происходит, но он понимал одно: мальчики и девочки в красных галстуках сообща обсуждают свои важные дела, причем не понарошку, как в играх, а вполне серьезно.

«О Кэргыле все время что-то говорят, — отмечал про себя Чочой, — помочь ему чем-то хотят, как будто в дом переселить собираются».

Чочой не ошибся. Пионеры на совете отряда говорили о том, что вот уже почти в течение года все их попытки уговорить Кэргыля перейти в новый дом к внуку Тынэту так и остались без результатов.

— Ничего не выходит! — с досадой сказал Кэукай. — Сильно упрямый старик! Он не только нас, он и комсомольцев не слушается. Мой отец много раз ходил к Кэргылю, даже Виктор Сергеевич в его ярангу не раз заглядывал, — все равно не соглашается, твердит одно и то же: «Мало мне уже на свете жить осталось. Свыкся с незримыми обитателями очага моего, не могу их оставить. Здесь родился я, здесь и умру».

Наступило молчание. Нина Ивановна невесело посмотрела куда-то в окно и тихо сказала:

— Нелегко, конечно, старику свое старое жилище оставить. Но, если бы он оставил свою ярангу, для его здоровья было бы намного лучше.

— После того как он узнал, что и Чумкель уходил в пролив, совсем невеселым стал старый Кэргыль, — угрюмо промолвил Эттай. — Все говорит о том, что сердце его чувствует гибель сына.

Чочой всматривался в серьезные, сосредоточенные и немного грустные лица мальчиков и девочек, которые искренне хотели помочь Кэргылю, и опять ему в голову приходила мысль, что это не игра, не пустая забава, — вон даже учительница с ними советуется, как с равными.

— Вот что, ребята. — Нина Ивановна помолчала, что-то сосредоточенно обдумывая. — Попробуем еще кое-что сделать... Школьной косторезной мастерской Кэргылю мало, для него нужно личную мастерскую оборудовать, и знаете где?.. В одной из комнат в том доме, где живет Тынэт! Посмотрит Кэргыль на верстаки, на электрическое точило, на станочки специальные — и, как знать, может, забудет свою ярангу и останется жить в доме Тынэта...

Предложение Нины Ивановны ребятам понравилось. Многие из них сходились на том, что не может быть, чтобы Кэргыль не променял свою старую ярангу на такую замечательную, настоящую мастерскую.

— Ну, а теперь поговорим о Тавыле, — сказал Петя. — Говорить здесь долго не придется. Всем нам известно, что Тавыль учится уже в пятом классе, а еще не пионер. Дело, конечно, не в том, что Тавыль плохой ученик. Дело в том, что отец у него — сами знаете кто. Мы Тавыля тащим в нашу сторону, а Экэчо тащит его в свою сторону...

Сразу поднялся спор. Одним казалось, что Тавыль хоть и в пятом классе, но в пионеры ему вступать еще рано, потому

что он слишком обидчив, капризен и даже ехидный и совсем не откровенный; другие говорили, что это все пустяки и Тавыля надо принять в пионеры. Спор помогла разрешить Нина Ивановна.

— Конечно, у Тавыля еще есть не совсем хорошие черточки в характере, — сказала она, — но это значит, что коллектив пионеров должен думать о нем, помогать ему. Мы обязаны помочь Тавылю победить в себе остатки нехорошего. Нам также следует по-настоящему защитить Тавыля от его собственного отца. Я часто бываю в его яранге, вижу, как он живет, и уверена, что отец его обижает. Но Тавыль не любит жаловаться: он очень гордый и, прямо скажем, довольно упрямый. Вот пионеры и должны подумать о том, как создать ему нормальные условия для учебы...

Когда и об этом разговор был закончен, перешли к Эттаю. Петя встал за столом, нахмурился, для солидности откашлялся и, вытащив из стола облитую машинным маслом тетрадь по письму, показал ее пионерам.

— Полюбуйтесь! — промолвил он. — Хорошо полюбуйтесь! Сколько раз Эттай давал обещания, что тетради его будут чистыми? Вот, можете посмотреть, какая чистенькая тетрадка у Эттая после его обещаний!

Эттай, весь красный, боясь взглянуть в глаза товарищам, усиленно вращал носком своего торбаза. И Чочою стало его очень жалко. Он сказал на ухо Кэукаю:

— Не надо ругать Эттая, он очень хороший! Надо попросить чистую тетрадку и помочь ему все переписать. Вот жалко, я еще плохо пишу, а то бы сам за него переписал.

Кэукай терпеливо выслушал Чочоя и, улыбнувшись, ответил:

— Ничего, Чочой, мы по-другому поможем Эттаю. Так, как ты говоришь, нельзя помогать.

— Расскажи, Эттай, как получилось, что тетради у тебя снова стали грязными? — обратилась к нему Нина Ивановна.

Эттай встал и, по-прежнему не поднимая глаз, забормотал:

— Да вот я сидел, писал... Отец руль-мотор принес, разбирать стал. Ну, я тут и забыл про все на свете. Зачем-то тетрадь свою схватил, к мотору полез... Сначала берег тетрадь, в трубочку ее свернул, а на стол положить не догадался. Когда отец попросил смазать мотор маслом, я от радости бросил тетрадь прямо на пол, а потом нечаянно масленку на нее опрокинул... Вот так получилось... Отчистить потом хотел — резинка не берет; утюгом гладил — тоже ничего не вышло.

Эттай еще раз дал твердое слово, что тетради отныне у него будут чистыми.

Пионеры разошлись с заседания совета отряда.

Чочой постоял на крыльце школы, посмотрел в конец поселка, где убого чернела яранга Кэргыля. На белом фоне только что выпавшего снега эта яранга казалась особенно неприглядной. «Холодно стало, зима началась, — грустно подумал Чочой, — а Кэргыль по-прежнему в яранге живет. Почему это он в дом переходить не хочет?»

Мальчик уже успел полюбить старика Кэргыля. Да и старик относился к нему с особой теплотой. Разговор у них большей частью шел о Чумкеле.

— Ну-ну, расскажи, еще что-нибудь расскажи о сыне моем, Чумкеле, — обычно просил Кэргыль, доставая из каких-то своих тайников конфеты или пряники. — О Нутэскине тоже рассказывай. Хороший был человек Нутэскин, любил я его, как сына...

Когда Чочой не сразу мог вспомнить что-нибудь новое о Чумкеле, Кэргыль приходил ему на помощь. Так, однажды он попросил:

— Расскажи, какое лицо у Чумкеля сейчас. В глазах моих он молодой совсем, очень на сына своего Тынэта похож. Вот точно таким он был, как Тынэт, когда увезли его на чужую землю.

— Лицо?.. Лицо у него хорошее, — замялся Чочой, — хотя Чумкель сейчас уже совсем как старик... Бородка черненькая у него. А потом, Чумкель когда-то сильно болел страшной болезнью, оттого лицо у него сейчас немного корявое...

— Так, так, — затряс головой Кэргыль, — оспой, значит, болел. Значит, болезнь эта страшная на лице у него свои следы, как волчица на чистом снегу, оставила.

Комната для Кэргыля была оборудована так, чтобы он наконец покорился и покинул свою ярангу. Старик действительно обрадовался мастерской, которая передавалась в его личное распоряжение. Долго он ощупывал инструменты, крутил точила, пробовал, как действуют тиски, станочки. Тынэт ни живой ни мертвый поглядывал на Нину Ивановну, на пионеров, ждал, что скажет старик. Но Кэргыль молчал. Только глаза его за выпуклыми стеклами очков светились как-то по-особенному мягко.

— А свет здесь какой! — не выдержал Тынэт и включил электричество. — Если спать не захочется, работать будешь ночью. Светло, как днем.

Кэргыль быстро повернулся к внуку, окинул его подозрительным взглядом и вдруг указал на лежанку:

— Вот это надо совсем убрать. За мастерскую спасибо, работать я здесь много буду, а спать мне есть где...

На лице Тынэта появилось такое выражение, словно он съел что-то ужасно кислое. Нина Ивановна, тяжело вздохнув, отвернулась к окну. Кэргыль глянул на Тынэта, на учительницу, потом перевел взгляд на пионеров. Вид у них был подавленный. Это поразило старика.

— Ну что вы все так волнуетесь? — горестно спросил он. — Отчего вам так хочется, чтобы я покинул свою ярангу?

И тут Кэргыль получил сразу десятки ответов:

— Потому что жалеем тебя!

— Потому что любим тебя!

— Хотим, чтобы ты хоть в старости по-человечески пожил!..

Кэргыль попятился к верстаку, а пионеры всё наседали на него. Чочой стоял чуть в стороне. «А все-таки почему Кэргыль в дом переходить не хочет? Там, на Аляске, эскимосам, чукчам, индейцам и во сне не может присниться, что они переходят жить в такой же, как у мистера Кэмби, дом. А тут Кэргыля тащат в такой дом, а он упирается...»

Долго еще говорили пионеры с Кэргылем. И, когда сказано было столько, что, казалось, даже каменное сердце могло бы растаять, Кэргыль вздохнул и с глубокой грустью сказал:

— Хорошие вы дети. Жаль мне вас. Ну, да ничего, печаль ваша быстро пройдет. Много у вас в жизни радости, чтобы забыть печаль, вызванную моим упрямством.

С этими словами старик повернулся к выходу.

— А почему ты забыл о Тынэте? О его печали почему забыл? — спросила Нина Ивановна. — Он хочет жить с тобой вместе, он любит тебя — ты же и дед и отец ему!

Когда Кэргыль медленно повернулся, ища глазами Тынэта, учительница совсем тихо добавила:

— А обо мне почему забыл? Я тоже как дочь или внучка тебе. О моей печали, которая не так быстро, как у детей, проходит, почему помнить не хочешь?

— Откуда только вы такие слова берете, от которых сердцу больно становится? Хорошие слова у вас, а сердцу моему все равно больно. Пожалейте сердце мое...

На этот раз Кэргыль повернулся к выходу решительно, словно боясь, что он может не устоять.

Не успел Кэргыль вернуться домой, как в его ярангу влетел запыхавшийся Чочой.

— Послушай, какие слова тебе сказать хочу! — воскликнул он и упал коленями на шкуру. — Почему в дом перехо-

дить не хочешь? Вот знали бы люди там, на Аляске, что ты так делаешь, наверное, сильно на тебя обиделись бы. Их мистер Кэмби даже к двери своего дома не пускает, а здесь тебя всем поселком в дом тащат, а ты идти не хочешь...

Кэргыль мягко приложил ладони к возбужденному лицу мальчика, заглянул в его жаркие глаза:

— Какие слова ты сказал, мальчик! Какие слова!.. Если бы знал Чумкель все это, он бы, наверное, и вправду на меня сильно обиделся! Сколько слов мне сегодня сказали... и каких слов!..

Закурив трубку, Кэргыль напряженно о чем-то думал. «Я тоже как дочь или внучка тебе», — вспомнились ему слова учительницы. — Хорошая девушка! Ай, хорошая девушка! Счастливым Тынэт, какой счастливый мой внук!..»

— Что я скажу на слова твои? — наконец повернулся старик к мальчику. — Скажу я вот что: иди зови Тынэта и всех товарищей своих зови — пусть помогут мне в новое жилище перебраться! А ярангу мою, скажи, пусть разберут и спрячут как следует, чтобы не видел я ее, чтобы сердце мое не болело...

Не дослушав последних слов Кэргыля, Чочой соскочил со своего места, выбежал на улицу.

— Тынэт!.. Кэукай!.. Петя!.. Эттай!.. — кричал он возбужденно. — Кэргыль согласился! Идите разбирать его ярангу...

Это было таким событием, которое взволновало и старых и малых.

— Чочой помог, Чочой помог уговорить Кэргыля! — повторяли люди и спешили к яранге старика.

СОНЮ НАДО СПАСТИ

Еще минут за десять до первого урока Чочой принялся разыскивать Соню среди шумной толпы школьников. Ему очень хотелось повторить вслух все те русские слова, которым учила его Соня накануне. Такой был у них уговор: Чочой в день учил по пять русских слов, а Соня — по пять чукотских. Но, к удивлению Чочоя, Сони еще не было. Когда прозвенел звонок и ученики уселись по своим местам, Чочой все еще стоял у двери, ожидая Соню. «Как так? Почему опоздала? Соня никогда не опаздывала», — с тревогой думал он. Вот наконец и Нина Ивановна вышла из учительской, идет к двери своего класса, а Сони нет.

— Как так? Почему нет Сони? — спросил Чочой.

Нина Ивановна поправила белый воротничок на рубашке Чочоя и спокойно сказала:

— Не волнуйся, Чочой. Соне немножко нездоровится, она сегодня в школу не придет. Садись на свое место.

«Не придет? Сегодня не придет?» — пронеслось в голове Чочоя. Это казалось ему таким невероятным, что он даже подумал: а не пропустить ли и ему хотя бы один урок, чтобы взглянуть к Соне и узнать, не слишком ли тяжело она заболела? Но, увидев, что Нина Ивановна терпеливо ждет и не начинает урока, он покраснел и, опустив голову, побрел к своей парте.

На уроках Чочой был очень рассеян, и Нине Ивановне пришлось сделать ему замечание.

Едва закончился учебный день, Чочой выбежал на улицу и взобрался на высокий снежный сугроб, с которого хорошо был виден дом Сони.

Как раз было время года, когда уже наступала полярная ночь. Утренняя заря сходилась с вечерней, а солнце так и не показывалось. Было очень морозно. Даже слабый ветерок, словно наждаком, обдирал лицо.

Чочой знал, что ему пора идти обедать, но желание во что бы то ни стало увидеть Соню не давало ему покоя. Он все смотрел и смотрел на светящиеся желтым светом окна ее дома, словно надеясь увидеть на расстоянии нежное лицо девочки, взглянуть ей в глаза. В их глубине так много было чудесного! То мелькнет светлячком озорная искорка, то вспыхнет голубым лучистым пламенем смех, то проглянет что-то серьезное, сосредоточенное, пытлиное...

Повернувшись в сторону ветра, Чочой посмотрел на холодную мерцающую Полярную звезду, словно спрашивая у нее, не будет ли слишком неловко, если он зайдет к Соне. Но звезда, как и прежде, была холодна и бесстрашна. Показав ей язык, Чочой кубарем скатился по склону сугроба вниз, стряхнул с себя снег и, приняв решение, уверенно зашагал к дому Сони.

...Соня металась в жару. Пересохшие губы ее были ярко-пунцовыми. Мать Сони сидела у ее постели и плакала. Чуть подальше стояли две девочки — Кааля и Кэймына.

— У Сони, наверное, воспаление легких, — тихо сказала Кааля Чочою, повторяя чьи-то слова. — А отца ее нет: он уехал утром в поселок Коочмын. Все охотники выехали на свои охотничьи участки, в поселке нет ни одного мужчины-охотника, и послать за доктором некого.

Глянув на закрытое, поблескивающее черным лаком пианино, Чочой перевел взгляд на лицо Сони с приподнятым кверху, словно выточенным, нежным подбородком и, вдруг повернувшись, почти побежал к двери, решив немедленно пойти за отцом Сони.

Минут через десять, по-дорожному одетый в кухлянку и меховые штаны, Чочой на лыжах мчался в поселок Коочмын, до которого было не менее десяти километров.

В самом конце поселка Рэн, где стояла яранга Экэчо, Чочою попался Тавыль.

— Ты куда? — спросил изумленный Тавыль.

Чочой, опасаясь, что его остановят, не ответил. Обидчивому Тавылю сразу в голову пришло такое, от чего на душе у него стало очень скверно: «Ну да, конечно, Чочой не любит меня, потому что Вияль не любит моего отца, и Таграт не любит тоже. Они наговорили ему такого, что он теперь со мной и разговаривать не хочет».

Когда Чочой скрылся за поворотом, Тавыль вошел в свою пустую ярангу, забрался в полог, поправил жирник и принялся читать книгу чукотских сказок, собранных Виктором Сергеевичем. Тавыль очень любил эту книгу. Многие сказки он уже знал наизусть.

«Но все же, куда помчался Чочой? — спрашивал себя Тавыль. — Может, он просто вышел походить на лыжах, может, он уже вернулся?»

Желая проверить свое предположение, Тавыль вышел на улицу, хорошо осмотрел лыжню.

— Нет, назад он не вернулся! — с недоумением промолвил Тавыль. — Что же это такое?

Потушив в пологе жирник, Тавыль побежал к Кэукаю, чтобы узнать, куда, в конце концов, пошел Чочой и почему он был один. Кэукая он нашел около школы. Там был настоящий переполох. Оказывается, Чочоя уже искали по всему поселку, и никто не знал, куда он скрылся. Тавыль быстро рассказал о своей встрече с Чочоем.

— Запрягайте собак! — приказал Виктор Сергеевич.

Вияль с группой женщин где-то раздобыла в поселке старую нарту, собрала всех собак, которых по разным причинам охотники оставили дома.

— Хотя бы один мужчина-охотник приехал! — приговаривала она, связывая на ходу порванные алыки.

Одетый по-чукотски, в меховую одежду, Виктор Сергеевич осмотрел нарту, по-своему перепряг собак. Петя с завистью смотрел на отца и думал: «Вот это настоящий полярник! А я что!.. Попрошу папу, чтобы он меня и Кэукая взял с собой».

Но не успел Петя заикнуться об этом, как Виктор Сергеевич строго отрезал:

— И не думай! Если ты хоть немного полярник, то посмотри на небо. Видишь черные тучи на горизонте? Скоро будет пурга.

От этих слов Пете стало страшно за судьбу Чочоя. Он пошел к Кэукаю, невесело гладившему собак-передовиков, и почему-то тихо, словно боясь кого-то разбудить, сказал:

— Недоглядели мы за Чочоем... И Очера нет. Он быстро нашел бы своего хозяина.

— Очера Тынэт забрал в свою упряжку, — так же тихо ответил Кэукай.

А Чочой тем временем все скользил и скользил по накатанной дороге в сторону поселка Коочмын. «Надо спасти Соню, надо сказать ее отцу, что она больна», — подгонял он себя.

Порой у мальчика появлялась мысль, что он поступил плохо, ничего не сказав друзьям о своем решении.

— А не вернуться ли назад? — вслух спросил он себя и испугался собственного голоса, как-то одиноко прозвучавшего в ночной тишине.

«А что, если я заблужусь? — вдруг пришла в голову Чочоя еще одна тревожная мысль, но он тут же поспешил отогнать ее прочь. — Зачем заблужусь? Как так заблужусь? Я три раза ходил с Петей и Кэукаем по этой дороге. А разве мало я ходил за оленями мистера Кэмби? Ого! Я в таких местах бывал на Аляске, что волк и тот заблудиться мог бы».

Как ни ободрял себя Чочой, а на душе у него становилось все тревожнее. Он пугливо осматривался вокруг, и движения его становились все нерешительнее.

Из-за сопки выкатилась полная, светлая луна. Накатанная нартами дорога мерцала густо рассыпанными зеленоватыми искрами. Гулко потрескивал лед, покрывший тундровые озера, лагуну. Визгливо поскрипывали лыжи, и жалобный звук этот подхлестывал Чочоя. Причудливое нагромождение ледяных торосов, залитых лунным светом, казалось, хранило в себе что-то таинственное и враждебное.

Чочой нет-нет да и поглядывал в море и порой вздрагивал, принимая ледяную глыбу за притаившегося полярного медведя. Ничем не нарушаемая тишина угнетала мальчика. Ему казалось, что вот-вот тишину потрясет страшный рев голодного зверя.

А мороз все крепчал. Опушка малахая и брови Чочоя заиндевели. Навстречу мальчику дохнул легкий порыв ветра. Но Чочой повертел головой, не выдерживая яростного ожога, прижал голую руку к подбородку, будто уколотому тончайшими раскаленными иголками. Томимый недобрым предчувствием, он несколько замедлил свой бег на лыжах. «А что, если пурга начнется?» — пришло ему на ум. И снова перед его

глазами встало лицо Сони. И, точно назло ему, навстречу пронесся сильный порыв ветра. В лицо Чочою безжалостно ударил колючий снег. Снежная долина словно задышала, заколебалась волнами бесконечных лент позёмки.

Чочой растерянно огляделся вокруг. Видимость резко ухудшилась.

— А Соня? Как же Соня?! — в отчаянии закричал Чочой и, наклонившись вперед, упрямо тронулся в путь.

Но, словно взбешенный дерзостью мальчика, ветер ураганной силы ударил ему в грудь и опрокинул навзничь. Прикрывая рукавом иссеченное до крови колючим снегом лицо, Чочой с трудом выровнял неловко подвернутую ногу, встал на колени и, втянув голову в плечи, застыл на месте. «Что же делать? — с испугом подумал он и сам себе ответил: — Надо пробираться в сторону моря. Может, там, в ледяных торосах, найду пещеру».

Пурга усиливалась. Спотыкаясь о выраставшие под ногами сугробы, мальчик наугад пробирался к морю.

...Стукнувшись головой о что-то твердое, Чочой протянул вперед руки и почувствовал перед собой стену. Он сделал шаг влево, неожиданно скользнул куда-то вниз и сразу очутился в относительном затишьи. Чочой прислонился спиной к какой-то опоре и почувствовал, что она подалась вперед, словно открывающаяся дверь. «Землянка! — обрадовался было мальчик. — Да-да, когда еще не было снега, здесь я видел землянку!»

С трудом отворил Чочой дверь землянки. Не сразу решил ся переступить порог. «Труслив, как заяц!» — посмеялся он над собой.

Вытряхнув снег из одежды, Чочой нащупал в углу землянки что-то мягкое, сел и задумался, прислушиваясь к разномулосым звукам пурги. А пурга бесновалась. В неумолкающем, словно идущем откуда-то из-под земли гуле слышались пронзительные высвистывания, таинственные шорохи, тяжелые вздохи.

Исчезнувший было страх появился снова.

Мысли Чочоя сейчас словно подхватил бушующий ветер, разорвал в клочья и теперь бросал, бросал в разные стороны беспорядочно, бестолково.

Наконец внимание его сосредоточилось все на том же, из-за чего он бесстрашно двинулся в путь: «Соня! Там лежит больная Соня, а отец ее не сможет уже сегодня прийти к ней на помощь!..»

Так и сидел Чочой наедине со своим горем, окончательно потеряв ощущение времени.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА

Тавыль по-прежнему был один в своем неудобном пологе. Отец его вместе с охотниками находился где-то на охотничьих участках.

Уснуť мальчик не мог — перед его глазами маячила худенькая фигурка Чочоя.

«Почему я не побежал за ним? Почему не остановил его? Почему людей не позвал?» — укорял себя Тавыль, с тревогой прислушиваясь к жалобному скрипу остова яранги, сотрясаемого ураганным ветром. На миг представив себе, как Чочой лежит сейчас где-нибудь под снегом, он зябко поежился, плотнее закутался в кухлянку, тяжело задумался.

Мучительно долго тянулось время. Жирник догорал. Тавыль, еще и еще раз в задумчивости перелистав книгу сказок, отложил ее в сторону.

И вдруг в яранге послышались шаги.

«Отец приехал! — встрепенулся Тавыль. — Может, и остальные охотники вернулись...»

Через минуту действительно в полог просунулась голова Экэчо.

— Одевайся, распряги собак! — сердито сказал он и снова скрылся.

Послышалось хлопанье снеговывивалки. Тавыль бросился к отцу.

— А другие охотники приехали? Или только ты один? — спросил он, едва скрывая волнение.

— А тебе зачем знать это? — недовольно отозвался Экэчо и, немного помолчав, добавил: — Тынэт там к своей учительнице проехал. Совсем из ума парень выжил: не растается с книжками, с ними и в землянке охотничьей возится, за каким-то заданием прямо в пургу поехал...

Тавыль не стал дальше слушать отца. Одевшись потеплее, он вышел к собакам.

«Пешком до дома Тынэта не пройти, на собаках поеду», — подумал мальчик, с трудом удерживаясь на ногах.

Усталые собаки не хотели идти. Тавыль подошел к передовикам, оттер голой рукой их заснеженные морды. Редко видевшие ласку собаки ободрились, тронули нарту. Тавыль крепко вцепился в баран нарты, больше всего боясь перевернуться,пустить собак.

К великому огорчению Тавыля, Тынэта дома не оказалось. Вспомнив, что отец говорил о каком-то задании, которое комсорг собирался получить у учительницы, Тавыль поспешил к квартире Нины Ивановны.

Тынэт действительно был там. Одетый в кухлянку, он быстро пил чай, явно куда-то торопясь.

И Нина Ивановна и комсорг удивились появлению Тавыля.

— Тынэт, у тебя в упряжке Очер! Поезжай скорее по дороге в сторону поселка Коочмын! Скорее отправляйся искать Чочоя!.. — Не в силах отдышаться, объяснил Тавыль причину своего прихода.

Нина Ивановна быстро подбежала к мальчику, как могла сбила руками с его одежды снег, крепко прижала к себе.

— Сейчас, сейчас, Тавыль, Тынэт поедет искать Чочоя, — сказала она и украдкой вытерла слезы.

— Так вот, ты прямо по дороге в Коочмын поезжай, — снова заговорил Тавыль. — Очер пусть передовиком пойдет, Очера слушайся...

— Хорошо, Тавыль, я так делать буду, как ты советуешь, — вполне серьезно сказал Тынэт и, встав из-за стола, быстро начал собираться в дорогу.

— Завязывай малахай, — обратился он к мальчику, — вместе до твоей яранги доедем.

— Так ты уж постарайся, Тынэт... — умоляюще попросила Нина Ивановна. — Мне так страшно за Чочоя!..

— Не волнуйся! Зачем волноваться, Нина? — ответил Тынэт. — Я все сугробы переверну, все торосы обшарю, а Чочоя найду. Слышишь, найду!

— Ну-ну, иди, иди! — засмеялась сквозь слезы Нина Ивановна.

...Чочой не знал, сколько времени уже просидел в землянке. Его одолевал сон. Но мальчик старался во что бы то ни стало бодрствовать: у него было такое ощущение, что его могут застигнуть врасплох таинственные враждебные силы.

Иногда Чочой вставал и топтался на месте или, расставив в темноте руки, делал несколько шагов по землянке. Временами на него нападал безотчетный страх. Тогда он забивался в угол и все смотрел и смотрел в темноту широко раскрытыми глазами, прислушиваясь к гулкому стуку собственного сердца.

И вдруг до слуха Чочоя донеслось глухое ворчание. Мальчик вздрогнул и, казалось, прирос к стене. Но вот ворчание повторилось, а затем послышался лай собаки. Чочой вскочил с места. Он слишком хорошо, как голос самого близкого человека, знал этот лай.

— Очер! Очер! Очер!.. — закричал Чочой.

Лай усилился, порой переходя в тонкое завывание, тонущее в шуме пурги. Чочой рванул к себе дверь и почувствовал,

как мягкий, рыхлый снег обрушился ему на голову. «Землянку совсем замело снегом», — мелькнуло у него в голове. Прислушавшись, он уже явственнее различил лай собаки и далекий, тонущий в буре свистящих, взвизгивающих звуков человеческого голоса. Чочой ринулся головой в снег, быстро-быстро стал разгребать его руками, не чувствуя, что снег набивается ему в рукава, в рукавицы, под опушку малахая. Вскоре вход в землянку был проложен. Чочой не ошибся, различив среди тысячи разноголосых звуков голос Очера. Это именно он привел комсорга Тынэта к заваленной снегом землянке.

Появление Тынэта Чочой в первую минуту воспринял как счастливое сновидение. И, когда комсорг обхватил мальчика своими крепкими руками, прижал к себе и закачал на коленях, как маленького, Чочой, все еще не веря себе, спросил:

— Так это правда ты, Тынэт, а? Это мне не снится?

— Нет, нет, не снится, Чочой, — тихо ответил Тынэт, крепче прижимая мальчика к своей широкой груди.

С появлением Тынэта землянка словно ожила. Комсорг зажег спичку и вдруг весело воскликнул:

— Смотри, Чочой, фонарь!

Спичка догорела. Подув на обожженные пальцы, Тынэт зажег вторую спичку, снял с гвоздя фонарь «летучая мышь». Чочой принялся помогать комсоргу, и, когда фонарь был зажжен, мальчик наконец как следует осмотрел свое убежище.

— Печка! Смотри, печка! — закричал он, указывая на круглую чугунную печурку в углу землянки, возле которой лежало довольно много дров.

— В январе из тундры в море через эти места пойдут песцы. Вот тогда охотникам землянка эта нужна будет, — сказал Тынэт, выбирая полено посуше, чтобы настругать щепы на растопку печи.

— А вот какой-то ящик! — сообщил Чочой, вытаскивая на середину землянки свою находку.

В ящике оказалось несколько капканов и чайник. В чайнике в нерпичью шкуру было аккуратно что-то завернуто. Чочой развернул и вскрикнул:

— Смотри, смотри, Тынэт, тут спички, чай!

— Таков уж обычай у народа нашего, — спокойно ответил Тынэт, разжигая печурку. — Хороший обычай — заботиться о неизвестном путнике: попадет путник в непогоду, станет искать убежище, а когда найдет, то пусть хорошо осматрится — дар доброго человека его покормит и согреет.

А Чочой между тем продолжал осматривать землянку. В углу, под всякой рухлядью, он нашел объемистый тюк пушнины, тщательно упакованный в непромокаемый нерпичий мешок.

— Ого! Вот кто-то сколько песцов наловил! — весело сказал он.

Тынэт быстро повернулся к Чочою, подошел к тюку с пушницей, озадаченно осмотрел его со всех сторон.

— Странная находка, очень странная! — наконец сказал он. — Кто-то не хочет пушнину в торгбазу сдавать и почему-то прячет ее...

Толкнув тюк ногой, Тынэт отбросил его в угол и сказал:

— Придется забрать с собой, показать Таграту. Видимо, мы с тобой, Чочой, на след какой-то хитрой лисы попали. Нечестный человек эту пушнину спрятал...

Вскоре Чочой и Тынэт, сидя у жарко пылающей печурки, пили горячий чай. Усталые лица их блаженно улыбались. Вытянувшись во всю длину, рядом с Чочою дремал Очер.

— Ну что ж, а теперь поедем в Коочмын, — устало потянулся после чая Тынэт. — Виктор Сергеевич, наверное, сейчас там. Боюсь, что он всех коочмынских охотников на ноги уже поднял тебя искать.

Чочой, продолжавший еще пить чай, не донес кружку до рта:

— Виктор Сергеевич в Коочмын поехал? Зачем он туда поехал?

— Он не просто в Коочмын отправился — он тебя искать отправился. Нехорошо получилось, Чочой! Много тревоги ты наделал, весь поселок встревожил.

— Так я и знал! И всё из-за этой пурги...

— Да, совсем плохо получилось, — вздохнул Тынэт. — Могу под большим секретом тебе сказать, — доверительно добавил он, — сам, своими глазами видел, как Нина Ивановна из-за тебя плакала.

— Плакала?.. — с убитым видом переспросил Чочой.

Комсорг в ответ только развел руками, как бы говоря: «Ничего не могу поделать — что было, то было».

Заметенная сугробами дорога была очень трудной. Тынэт то и дело соскакивал с нарты; задыхаясь, перетаскивал ее вместе с собаками с сугроба на сугроб или, вцепившись в баран, волочился прямо по снегу, когда спускался с сугробов вниз. Чтобы не выронить где-нибудь в дороге Чочоя, Тынэт привязал его к нарте.

Когда они добрались до поселка Коочмын, черная мгла уже сменялась белой мглой: наступало утро.

Виктор Сергеевич действительно находился в одном из домов поселка Коочмын. Увидев Чочоя, он быстро встал, подошел к мальчику, снял с него малахай, посмотрел ему в лицо и только после этого, облегченно вздохнув, сказал:

— Разденьте его, напоите чаем.

— Подожди... — Мальчик отстранил рукой девушку, подошедшую к нему. — Где Степан Иванович? Там сильно болеет Соня.

— Степан Иванович давно уже дома. — Виктор Сергеевич медленно поднес трубку ко рту. — Его отвез коочмынский охотник. Кроме того, пятнадцать коочмынских охотников сейчас ищут тебя в пурге. Подумай теперь, хорошо ли ты сделал, никому не сказав ни слова, что идешь в поселок Коочмын за Степаном Ивановичем?

— Я очень хотел спасти Соню, — тихо промолвил Чочой, машинально отрывая сосульки от воротника куртки.

— У меня пять мальчиков просили разрешения уйти в поселок Коочмын за Степаном Ивановичем, но я решил ехать сам. А вот один только Чочой забыл о друзьях, забыл о родных, забыл о своей учительнице и директоре школы, — укоризненно сказал Виктор Сергеевич и, спрятав свою трубку в карман, сам принялся раздевать смущенного, обескураженного Чочоя.

А Тынэт тем временем рассказывал хозяину дома, старику Таургыну, о своей странной находке, спрашивал у него, что он думает по этому поводу.

— Да, непонятно что-то... — после долгого раздумья ответил старик. — Почему человек в пустой землянке пушнину хранил? Почему не дома ее хранил? Почему в факторию ее не сдавал?

— Вот-вот! — Тынэт стукнул себя ладонями по коленям. — Почему, действительно, он не сдавал пушнину в факторию?..

МАЛЕНЬКИЕ ОХОТНИКИ

После занятий Тынэт получил от Нины Ивановны очередное домашнее задание и собрался домой.

— Да, чуть было не забыл! — остановился он у порога. — Вчера слышал разговор двух охотников. Обижаются, что у них нет возможности зимой учить своих детей охотничьему делу.

— Обида справедливая, — задумчиво сказала Нина Ивановна. — Тут надо что-то придумать.

— А я уже придумал, хорошо придумал! Организуем охотничий школьный кружок! С Тагратам уже договорился. Ближние охотничьи участки правление колхоза отдаст ребятам. Комсомольцы руководить будут кружком. Хорошо ли придумал, а?

— Замечательно придумал!

Предложение организовать кружок юных охотников школьники встретили с большой радостью. Немедленно организовалось пять бригад.

Кэукай, Эттай и Тавыль, считавшие себя уже испытанными охотниками, готовились к выходу на капканы так, как это подобает настоящим зверобоям: в торбаза у них были вложены толстые травяные стельки, чтобы в пути не промерзли подошвы; рукавицы их всю ночь выветривались на улице, чтобы, заряжая капканы, не оставить запаха, который мог бы отпугнуть песцов и лисиц; приготовлены были также копья на случай... встречи с белым медведем.

На первой зарядке капканов присутствовал и Петя. Но он к этому походу подготовился менее тщательно, чем его друзья. Петя допустил большую оплошность — не положил в торбаза стельки. Не в силах устоять против холода, Петя выплясывал у капканов такую замысловатую чечетку, что даже возмутил своих друзей.

— Ты так весь снег истопчешь, песцы побоятся к приманкам подойти, — упрекнул Кэукай.

Виновато улыбнувшись, Петя с минуту постоял спокойно, а затем снова принялся притопывать на месте.

— Послушай, Эттай, у тебя ноги не замерзли? — стараясь придать своему голосу как можно больше веселости, спросил Петя.

— У настоящего охотника не могут ноги мерзнуть, — с независимым видом ответил Эттай и продолжал слушать объяснения Тынэта о том, как правильно заряжать капканы.

А бедному Пете уже было не до капканов. Зажмурив глаза, он отчетливо представил себе теплую комнату, кровать, застланную толстым пушистым одеялом, стол, на котором были разложены его книги, и мирно дремавшего на стуле кота Ваську. Петя поймал себя на том, что он страшно завидует коту Ваське. «Ему хорошо там, — подумал Петя, — поди, опять мясо из буфета стащил, налопался, а теперь сладкие сны видит».

Ноги мерзли так, что Петя, к ужасу своему, должен был признаться самому себе, что пройдет минута-другая — и он заплачет. «Это как же так: великий полярный путешественник — и вдруг начнет реветь?!»

— А стельки-то у тебя в торбазах есть или нет? — вдруг спросил Кэукай.

— Стельки? Какие стельки? — переспросил Петя. — Нет, стелек у меня нету.

— Беги сейчас же домой! — приказал ему Тынэт.

Но от мысли, что ноги у него мерзнут не потому, что он

слабее остальных, а потому, что не сумел как следует обуться, Пете как-то сразу стало теплей.

— Ничего, ничего, я выдержу!

— Домой! — повторил Тынэт.

Петя повиновался и отправился домой. Дома он натолкал в свои торбаза такие толстые стельки, что потом едва сумел обуться: ноги не лезли в торбаза.

И все же охотничий кружок Петя воспринимал совсем по-другому, чем его друзья. У него не было того охотничьего волнения, той охотничьей хватки, какие были у Кэукая, Эттая, Чочоя и Тавыля. Зато все сильнее разгоралась фантазия «великого полярного путешественника». Самым главным Петя считал для себя не отстать от своих товарищей в выносливости.

Заметив, что друзья его ничуть не хуже взрослых умеют запрягать собак, Петя на второй же день пообещал Тынэту встать чуть свет и поучиться у него этому делу. «Как же, это очень важно, это необходимо уметь полярному путешественнику», — думал Петя, присматриваясь, в каком порядке запряжены у Тынэта собаки.

Утро было нестерпимо морозным. Пальцы обжигались о раскаленные морозом пряжки алыков и кольца потяга. Яростно дуя на руки, Петя с огромным трудом запряг десять собак. Осталось запрячь передовиков. И тут вышло самое неприятное: один из передовиков не пожелал подчиниться новому хозяину. Как только Петя подносил алык, чтобы надеть его через голову и застегнуть на животе, пес оскаливал крепкие белые клыки и угрожающе рычал. Петя ласково называл собаку по имени, пробовал погладить по голове, умиленно улыбался, но собака не поддавалась. Не помогло и то, что Петя несколько раз погладил ее по кончику хвоста.

— Вот проклятая! Ты ей улыбаешься, когда тебе плакать хочется, а она свое — рычит, да и только! — возмущался Петя.

Так ничего и не получилось у него с передовиками, пока не подошел сам Тынэт.

Всех остальных собак Петя запряг хорошо. Но он все еще не был удовлетворен: ему казалось, что Кэукай и Эттай куда быстрее и более ловко, чем он, запрягали любую упряжку. И потому почти каждое утро, еще задолго до завтрака, Петя просил кого-нибудь из охотников, чтобы они разрешили ему помочь запрягать собак.

И вот однажды, когда Петя возился с упряжкой охотника Аймына, к нему подошел Экэчо и самым ласковым голосом сказал:

— Ай, какой ты хороший мальчик, Петя! Как ты уже ловко собак запрягаешь! Я очень рад, что у моего сына есть такой друг, как ты.

Петя удивленно посмотрел на Экэчо: «Что это с ним такое сделалось? Уж очень он добрый сегодня...»

Поведение Экэчо вызывало недоумение не у одного Пети. Многие охотники в поселке Рэн говорили о том, что Экэчо уж очень как-то изменился.

— Хвостом, как лиса, следы замечает,— скептически заметил однажды Тынэт. — Не верю я Экэчо. Это он пушнину в землянке прятал, больше некому...

Обнаруженная Тынэтом в землянке пушнина доставила Экэчо много неприятностей. «Беда пришла! Не уберегли меня духи от злого начала», — со страхом думал Экэчо, когда в правлении колхоза пытались дознаться, кто и для какой цели прятал в землянке пушнину.

Долго разговаривали с Экэчо в правлении, но никаких улик против него не нашлось. Он уже было облегченно вздохнул, полагая, что все обошлось благополучно, как из районного центра приехал следователь. После первого же разговора со следователем Экэчо пришел в смятение: только сейчас он по-настоящему понял, что им интересуются люди, о существовании которых он даже не подозревал.

«Они догадываются! Они обо всем догадываются! — с ужасом думал Экэчо. — Им только на след мой наступить надо. Как только на след мой наступят, так сразу, как зайца в капкан, поймают...»

Он не ошибся. Следственные органы уже давно располагали вескими доказательствами; теперь им важно было поймать Экэчо за руку на месте преступления.

«До лета продержаться как-то надо. Только до лета. А там бежать, скорее к брату бежать! — твердил Экэчо, обдумывая план побега. — Пушнины, много пушнины мне надо! Нельзя без пушнины на тот берег уходить. Пропаду там. Как волк с голоду пропаду...»

Будучи уверенным, что за ним следят десятки бдительных глаз, Экэчо уже не позволял себе пренебрегать колхозной дисциплиной, грубо относиться к учителям, подчеркивать свою приверженность к чукотской старине и критиковать все новое. Целые сутки он пропадал на охотничьих участках, выполнял к сроку свой личный план охоты на пушного зверя, стал выступать на собраниях с обличительными словами против лентяев и поговаривал, что к следующей зиме намерен покинуть ярангу и перейти в дом.

И в школу Экэчо стал заглядывать чаще, говоря, что его

очень интересуют успехи сына. Тавыль был рад. Он уже заговаривал с отцом о своей матери и мечтал вслух о том, как все наконец будет хорошо, когда вернется домой мать и он, Тавыль, не будет больше завидовать Кэукаю, Эттаю и всем другим мальчикам и девочкам, которые живут вместе с родителями. Экэчо терпеливо выслушивал сына и изредка даже давал обещание вернуть мать домой.

К школьным охотничьим кружкам взрослые охотники поселка относились с искренним сочувствием: им было приятно, что их дети учатся серьезному делу.

Экэчо и тут старался «не отстать от других».

— Молодец Тынэт! Хорошее дело придумал! — всюду говорил он. — Пусть дети наши охотничьему делу учатся. У Тынэта настоящая голова на плечах, Тынэт — настоящий комсорг...

Если Экэчо видел, что мальчики собираются на свои охотничьи участки, он шумно расхваливал их, желая удачи:

— Идите, идите к капканам, маленькие охотники! Помогите колхозу, растите хорошими колхозниками, чтобы план всегда перевыполнять. А ты, Тавыль, не отставай от других, — обращался он к сыну. — Учись у комсомольцев капканы ставить, учись зверя выслеживать!

Тавыль радостно улыбался и поглядывал на своих друзей, как бы говоря: «Ну, вот и мой отец такой же хороший колхозник, как все. Слышите, какие слова он нам говорит?»

— Идите, идите, маленькие охотники! — доносился радужный голос Экэчо. — Желаю вам большой удачи!..

СЛЕДОПЫТЫ

Однажды бригада Кэукая отправилась на свой охотничий участок вместе с Ниной Ивановной.

Скрипели по твердому снежному насту лыжи. Изморозь окутывала лыжников прозрачным голубоватым облачком.

Впереди всех шел Кэукай — лучший, всеми признанный в школе следопыт. Опушка его малахая густо заиндевели, заиндевели и ресницы и брови — это делало лицо его мужественнее, взрослее.

Заметив нартовый след, Кэукай мгновенно переставил под нужным углом лыжи и пошел по следу, внимательно всматриваясь в него. Затем, остановившись, он присел на корточки, снял рукавицу, потрогал следы собак пальцами. Ребята окружили его.

— В упряжке было восемь собак. Нарта прошла сегодня

утром в сторону капканов комсомольской бригады, — сказал Кэукай, прочитав по следам все, что могло привлечь его внимание.

— У меня тоже так выходит, — согласился Эттай после некоторого раздумья.

— Ну здорово же у вас получается, просто как у Дерсу Узала! — восхищенно заметил Петя. А сам подумал: «Почиться надо мне следы читать...»

— Вы бы поучили нас с Петей следы читать, — попросила Нина Ивановна.

— А чего же, кое-что рассказать можно, — важно заметил Кэукай, ковыряя снеговывивалкой снежный наст. — Только все равно сразу трудно научиться этому...

Помолчав, он немного прошелся вдоль нартового следа, очертил снеговывивалкой несколько не похожих один на другой следов собак, потом обратился к Нине Ивановне и Пете:

— Вот посмотрите сюда... Каждая собака, как и человек, свою походку имеет. Трудно определить это по следу, очень трудно, а все же можно. У каждой собаки своя лапа. Вот посмотрите: у одной на правой передней лапе два когтя надломлены. Видите, какие точки от этих надломленных когтей. А вот на этот след если посмотреть, станет ясно: собака хромала на левую заднюю ногу, и потому след этой ноги все время шел очень близко к следу второй ноги. А вот еще один след, его отличить можно. Видите красные пятнышки? У этой собаки нога поранена — порезала, видно, лапу о твердый снег... И вот так, если хорошо присмотреться, сосчитать можно, сколько было собак.

Петя жадно ловил каждое слово Кэукай: уж очень ему хотелось стать настоящим следопытом.

«Да, это целая наука», — подумала про себя Нина Ивановна и, обратившись к Чочою, спросила:

— А не можешь ли и ты поучить меня читать следы? Я же научила тебя читать букварь... — добавила она улыбувшись.

Чочой посмотрел на учительницу и скромно ответил:

— Попробовать можно. Меня дядя Гоомо научил кое-чему.

Чочой отошел на несколько шагов назад и, склонившись над нартовым следом, сказал:

— Человек на этой нарте был очень сердитый.

— Вот это здорово! — изумилась учительница. — Чочой даже настроение хозяина упряжки угадывает. Откуда это известно тебе?



Чочой склонился над нартовым следом.

— Да-да, хозяин упряжки сердитый человек был, — убежденно повторил Чочой, — иначе он не стал бы тяжелым остолом бросать прямо в собак. Сильно бросал остол: смотрите, какие ямы в снегу повыбивал. А вот здесь он попал одной собаке по ноге, и бедняжке пришлось скакать на трех ногах.

— А вот, вот, смотри, Петя! Смотрите, Нина Ивановна! — вдруг закричал Эттай. На его разругавшемся лице появилось наигранное выражение страха. — Вот здесь умка прошел! По-ляр-р-р-р-ный медведь! — Для большего эффекта Эттай подналег на «р».

Петя бросился к Эттаю.

— Где? Где? — закричали ребята, предполагая, что Эттаю действительно удалось разглядеть следы полярного медведя. Эттай лукаво подмигнул Кэукаю: смотри, мол, сейчас мы посмеемся. Отодвинув в сторону снятые лыжи, он показал себе под ноги.

— Так это же всего-навсего мышь пробежала! — возмутился Петя, разглядывая тоненькую цепочку петляющих следов.

— Да ну! — притворно удивился Эттай. — А я думал, медведь...

Ребята дружно расхохотались. Кэукай бесшумно подошел к Эттаю сзади, схватил его за плечи, посадил в снег и сказал добродушно:

— Завтра хороший следопыт подойдет к этому месту и так подумает: «Здесь был Эттай. Увидел он мышиный след и плюхнулся с перепугу прямо в снег».

Ребята расхохотались еще громче. Смеялась и Нина Ивановна.

Эттай посидел с минуту на снегу и, вдруг встав на четвереньки, побрел куда-то в сторону, стараясь оставить в снегу как можно более глубокие следы. Это вызвало новый взрыв хохота.

— Вот так зверь! Вот так следы! — кричали ребята сквозь смех.

И только Тавыль в эту минуту был мрачнее, чем когда бы то ни было. Он прошелся по нартовому следу взад и вперед и хорошо понял, что здесь проехал его отец, Экэчо. «Зачем он ездил туда? Там же стоят капканы не его бригады. Что ему там нужно было?»

И Тавылю вспомнилось, что утром, когда проходил мимо правления колхоза, он услышал, как Тынэт с возмущением рассказывал Таграту о том, что несколько песцов с капканов его бригады были кем-то ночью сняты.

— Плохой человек это сделал! Вор это сделал! Если поймаю, ребра ломать буду! — кричал Тынэт.

«Неужели мой отец — вор? — нагибаясь над нартовым следом, думал Тавыль. — Конечно, это он здесь ехал. Разве не вижу я, что след от правого полоза чуть-чуть шире, чем след от левого полоза! Это у отца нарта с разными полозьями. А потом, Чочой правильно сказал, что злой человек на нарте ехал. Отец всегда швыряет в собак осто!».

Тяжело было на душе у Тавыля. Читая всё новые и новые приметы того, что здесь проезжала упряжка Экэчо, он с мучительной завистью прислушивался к веселому, беззаботному смеху друзей.

— Тавыль! Ты что еще в следах прочел? — услышал он голос Пети.

Тавыль вздрогнул, поднялся на ноги.

— Скоро темно будет! Становитесь на лыжи! Капканы уже близко! — скомандовал Кэукай.

Лыжники тронулись в путь.

Еще издали школьники заметили, что в капкан самой ближней приманки попался песец. Нина Ивановна ждала, что сейчас поднимется невообразимый гвалт и ребята бросятся со всех ног к приманке. Но, к ее удивлению, юные охотники притихли, лица их стали серьезными, внимательно настороженными.

— Настоящий охотник спокойным быть должен, — вполголоса пояснил Кэукай. — Настоящий охотник выдержку должен иметь.

Заметив приближающихся людей, песец заметался.

— Не оторвал бы себе ногу! — забеспокоился Кэукай. Повернувшись лицом к товарищам, он решительно приказал: — Стойте пока здесь, я сам возьму его. А то он уйдет и будет мучиться с оторванной ногой:

Оставив лыжи, Кэукай захватил с собой только одну палку. Ощетинившись, песец в отчаянии набросился на подошедшего охотника. Кэукай ловким ударом ноги опрокинул его на спину, быстро положил на его грудь палку и на концы палки стал ногами.

— Как настоящий охотник! — со знанием дела заметил Эттай. — Нельзя песца бить, нельзя его ранить: шкура испортится.

Вскоре песец был мертв. Ребята и Нина Ивановна подошли к приманке. Склонившись над пушистым белым зверьком с черным носиком и с черными блестящими глазками, ребята шумно обсуждали, какого сорта песец попался в их капкан. Эттай подул на мех и сказал:

— Хороший песец, очень хороший! Первый сорт называется.

Заряжать капкан Кэукай поручил Тавылю. Мальчик удивленно посмотрел на Кэукаю, как бы не понимая, чего от него хотят. Перед его глазами все еще стоял след упряжки Экэчо.

— Тебе доверяем капкан зарядить, — сказал Кэукай, протягивая ему свой нож.

Тавыль несмело принял нож, выкопал в снегу небольшое углубление, вложил в него заряженный капкан. Остальные ребята выстругивали из плотного снега тонкие пластинки. Осмотрев пластинки, Тавыль выбрал самую тонкую из них и прикрыл ею гнездо с капканом. Чуть присыпав краешки пластинки снегом, он вопросительно посмотрел на Кэукаю: мол, как, хорошо ли сделал?

— Хорошо зарядил капкан, — одобрил Кэукай, привязывая к голове и задним ногам пса ремешок.

Взвалив добычу на спину, Кэукай осмотрелся вокруг и тревожно нахмурился.

— Остальные приманки сегодня проверять не будем, — скрывая тревогу, сказал он. — Надо торопиться домой.

Нина Ивановна обернулась в сторону моря и поняла тревогу Кэукаю: с севера, оттуда, где днем виднелась черная полоса разводья, стремительно надвигалась мглистая стена тумана.

— На лыжи, ребята! — как можно решительнее сказала она.

Быстро осмотрев лыжные крепления у ребят, она приказала Кэукаю идти впереди, а сама пошла сзади, чтобы видеть перед собой всех. Мглистый туман становился все плотнее, видимость резко ухудшилась. Нина Ивановна едва-едва различала спины мальчиков. Она то и дело с тревогой пересчитывала их.

— После такого тумана часто пурга начинается, — тревожно сказал Тавыль, догнав Кэукаю.

— Да, ты правду говоришь, — согласился Кэукай, ускоряя шаг.

— А Нина Ивановна совсем легко одета, — невесело сказал Тавыль и повернулся назад, чтобы убедиться, не отстает ли учительница.

Вскоре стало настолько темно, что уже нельзя было увидеть ни одного ориентира, по которому можно было бы безошибочно определить путь к поселку. Лыжники остановились, сбились в кучу. Ребята тревожно поглядывали на легкий лыжный костюм Нины Ивановны.

— Надо вон туда идти! — сказал Эттай, показывая влево.

— Что ты! — удивился Петя. — Надо туда идти, — и показал в противоположную сторону.

А Кэукай нахмурился, понимая всю ответственность, которая ложилась в эту минуту на него: ведь он самый опытный следопыт.

— Идите за мной! — скомандовал он.

Сделав несколько больших зигзагов, Кэукай внимательно изучал направление снежных застругов. Он знал, что ветры обычно дуют вдоль берега моря. «Ага, — решил он, — нам нужно пересекать заструги, тогда мы попадем прямо к морскому берегу». Но тут его обеспокоила другая мысль: «А что, если, блуждая в тумане, мы повернем не к морскому берегу, на север, а в тундру, на юг? Тогда, пересекая заструги, мы всё дальше будем уходить от поселка в глубину тундры...»

С минуту подумав, Кэукай снова повел лыжников резкими зигзагами, надеясь напасть на выдутое ветром русло какого-нибудь ручья: Кэукай знал, что все ручьи в этом месте бежали на север, к морю.

Долго он метался из стороны в сторону, увлекая за собой своих товарищей. И все же ему удалось найти выдутое ветром русло ручья. Облегченно вздохнув, Кэукай стал разгребать снеговывивалкой снег почти у самого льда: он добирался до кустарника. Поняв его мысль, Тавыль, Чочой и Эттай принялись ему помогать...

— Что вы там ищете? — не сдержал своего любопытства Петя.

— Медвежью берлогу, заночевать думаем, — не упустил случая подтрунить Эттай.

На его шутку никто не отозвался.

— До кустов добираемся, чтобы понять, в какую сторону их пригнуло течением, — пояснил Кэукай.

«Ну да, если течение ручья определить правильно, тогда сразу станет понятно, в какой стороне морской берег», — догадался Петя и поделился с Ниной Ивановной своей догадкой.

— Ничего, Петя, с нашими друзьями мы не пропадем, — сказала Нина Ивановна вполголоса.

Чочой, стоявший рядом с Ниной Ивановной, дотронулся до нее рукой и спросил:

— Вы замерзли, наверное? Почему вы так плохо оделись?

— Ничего, ничего, не беспокойся, Чочой, — отозвалась учительница, — для ходьбы на лыжах моя одежда самая подходящая. А вот если бы пурга началась да пришлось заночевать в пути, тогда...

Она не договорила, поняв в эту минуту всю опасность своего положения.

А Чочой вдруг вспомнил, как просилась пойти с ними на капканы Соня, выздоровевшая всего лишь несколько дней назад. «Возьмите меня! Я здоровая! Я уже совсем не больная!» — уверяла она, обращаясь то к Нине Ивановне, то к Кэукаю, то к Пете. И, когда просьбу ее отклонили, Соня с мольбой подняла глаза на Чочоя. «Ну скажи им что-нибудь, Чочой! Скажи им такое, чтобы они взяли меня!» — казалось, говорили глаза девочки. Смущенный Чочой потоптался на одном месте, не зная, что ответить. Ему очень хотелось, чтобы Соня шла рядом с ним на лыжах, и в то же время боязнь за ее здоровье не позволяла ему поступить иначе, чем поступили его товарищи. «Нельзя, Соня», — смущенно сказал он, стараясь не смотреть на девочку.

Закрыв лицо руками, Соня бросилась прочь, возмущенная и обиженная решением своих друзей. Чочою стало нестерпимо жаль девочку, и он уже открыл было рот, чтобы упросить Нину Ивановну взять с собой Соню, но голос здравого рассудка победил его колебание. И как радовался теперь Чочой за Соню: «Тепло сейчас ей. Наверное, на пианино играет, а может, сказки читает». Представив себе, как Соня сидит за столом и читает сказки, Чочой облегченно вздохнул и принялся помогать раскапывать снег.

Докопавшись до кустов, Кэукай ясно определил ход течения ручья. И то, что он обнаружил, очень взволновало его. «Так и есть, — подумал Кэукай, — мы шли совсем в обратную сторону».

К Кэукаю подошла Нина Ивановна.

— Ну что, как у нас дела? — спросила она.

Кэукай внимательно посмотрел ей в глаза и, вздохнув, сказал:

— Теперь хорошо. Теперь совсем хорошо. Только вот сейчас надо как можно быстрее идти к поселку. А где поселок, нам уже найти нетрудно.

У Кэукай было такое ощущение, будто он неожиданно обнаружил, что занес ногу над пропастью и ему удалось быстро отступить назад.

— Итак, ребята, на лыжи! — громко сказала учительница. — Кэукай говорит, что нужно торопиться. Кто себя чувствует плохо?

— Чувствуем себя хорошо! — немного охрипшим голосом за всех ответил Петя.

— Кэукай, иди впереди, я пойду последней, — приказала Нина Ивановна. — У кого что-нибудь будет неладно, немедленно сообщайте.

Лыжники тронулись в путь. Теперь Кэукай шел уверенно,

не бросаясь из стороны в сторону, следя за тем, чтобы снежные заструги были пересечены поперек. Уверенность его передавалась и другим лыжникам.

Когда они подошли к поселку, туман стал рассеиваться.
— Смотрите, огонь! — закричал кто-то из ребят.

Лыжники остановились. Прямо перед ними действительно, чуть-чуть колеблясь, горел огонь, похожий на костер.

— Это для нас зажгли большой факел, — объяснил Кэукай.

Сразу всем стало так весело, что идти молча уже никто не мог. Ребята громко переговаривались, шутили, смеялись, кто-то даже попытался запеть песню. В морозной тишине голоса их звучали гулко, уходили далеко.

— Поберегите горло! — предупредила Нина Ивановна, хотя ей тоже хотелось и шутить, и смеяться, и даже петь.

Разбуженные шумом приближающихся лыжников, в поселке громко завывали собаки.

— Гок! Гок! — закричал Эттай, воображая себя пастухом, а всех остальных ребят — стадом оленей.

— А ну, кто кого перегонит! — крикнула Нина Ивановна.

Не чувствуя усталости, ребята, как настоящие лыжники, до предела ускорили свой бег, вырываясь к финишу.

В СУДЬБЕ ТАВЫЛЯ — ПЕРЕМЕНА

Тавыль, положив на колени дощечку, которая служила ему столом, выполнял домашнее задание по арифметике. Временами он нет-нет да и поглядывал на отца, тяжело вздыхая.

Экэчо чувствовал, что на душе у Тавыля что-то неладное, но ему было сейчас не до него. Однако, поймав на себе странный взгляд сына, он не выдержал и спросил:

— Чего на меня так смотришь, как будто первый раз в жизни увидел?

Тавыль втянул голову в плечи и, чуть отодвинувшись от отца, спросил, в свою очередь:

— Зачем ты ездил на своих собаках в сторону приманок комсомольской бригады?

Экэчо от изумления открыл рот, хотел что-то сказать, но не нашелся.

— Да, да. Ты туда ездил, — чувствуя, что у него пересохло во рту, еле слышно промолвил Тавыль. — Я же знаю, что у твоей нарты разные полозья — один шире, другой уже...

«Разные полозья! Один шире, другой уже!» — пронеслось в голове Экэчо. Он глянул на сына, замахнулся алыком. Багровое пламя жирника замигало и едва не потухло. Но Экэчо тут же опустил руку, закурил трубку и как можно спокойнее сказал:

— Почему твоя нерпичья голова думает, что только у моей нарты могут быть разные полозья?

От этих слов Тавылю как-то вдруг стало легче, словно с его плеч свалился камень.

«Действительно, почему я решил, что только у отца может быть нарта с разными полозьями?» — мысленно спросил он себя. Мальчику очень не хотелось думать, что отец его может оказаться вором.

Слова Тавыля о нарте перепугали Экэчо:

«Если Тавыль заметил это, значит, и другие могли заметить. Ай-я-яй! Как глупый заяц, следы оставляю, для всех следы оставляю. Следовательно снова придет, о следах спрашивать будет, на нарту посмотрит...»

Выполнив домашнее задание, Тавыль ушел к друзьям. А Экэчо, взяв несколько свечей, вылез из полога в шатер яранги, втащил нарту и поспешно стал разбирать ее. Подогрев полоз на костре, он привычно укрепил его в деревянных тисках и принялся строгать рубанком. За этим занятием и застал его Тавыль. Исчезнувшее подозрение снова вспыхнуло в мальчишке.

«Делает так, чтобы оба полоза одинаковыми были, — подумал он. — Значит, это все-таки он на приманки комсомольской бригады ездил».

— Чего так смотришь? Иди, помогать будешь, — как можно добродушнее сказал Экэчо и прошел мимо сына, чтобы прикрыть вход в ярангу от любопытных глаз.

— Помогать? Не буду помогать! Не буду, не буду помогать человеку, который... — Тавыль не мог выговорить страшного слова.

Экэчо изогнулся и хлестко, раз за разом, ударил сына ладонью по лицу.

Мальчик задохнулся от обиды и возмущения. Опрокидывая закопченные подпорки, он бросился к выходу.

— А ты подумал о том, что твой отец мог просто чинить нарту, а? — донесся до него голос Экэчо.

Тавыль на мгновение остановился. Еще раз маленькая надежда на то, что отец не такой уж подлый человек, снова вспыхнула в нем. Но лицо его горело от пощечин. Глотая слезы, Тавыль вбежал в дом Пети.

...В окружении товарищей Тавыль расплакался еще силь-

нее. Он ни о чем не рассказывал, но всем было ясно, что отец снова обидел его.

Как раз в это время в доме Пети был председатель колхоза Таграт. Наливая в его стакан чай, Виктор Сергеевич спросил:

— Послушай, председатель, как ты думаешь, можно ли дальше оставлять этого мальчика в яранге Экэчо?

Таграт отпил несколько глотков чаю, посмотрел на Тавылю, которого окружили школьники, и сказал:

— Много сделали люди нашего поселка, чтобы Экэчо пошел с нами одной дорогой. Все обиды ему простили. В колхоз приняли. Дом предлагали. Терпеливо в работу втягивали, как собаку плохую в хорошей упряжке ходить приучали. Ничего не выходит. Своей, какой-то чужой тропой идет Экэчо... Тавылю по тропе его идти, конечно, нельзя.

— Ты правильно рассудил, председатель, — согласился с Тагратом Виктор Сергеевич. — Долго я присматривался к Экэчо. Ждал, что наша жизнь рано или поздно изменит его, но этого не случилось. Видно, не всё мы знаем об Экэчо. Наверное, он намного хуже, чем думали мы. Иначе не смог бы он так долго держаться старой своей тропы, иначе обязательно пошел бы вместе с нами общей дорогой. Ясно для меня одно: боится Экэчо людей нашего поселка, нашего колхоза. А почему боится? Вот это надо понять... Не виноват ли он перед народом гораздо больше, чем думаем мы?..

— Да, ты правильно рассуждаешь, — согласился Таграт. — То, что сейчас Экэчо хочет казаться другим человеком, просто хитрость лисы. Но, как лиса ни бывает хитра, рано или поздно человек ее разгадает... А Тавылю с ним, правда, жить больше нельзя.

— Нет, нет, сына у него больше оставлять не следует, — поддержал Таграта Виктор Сергеевич. — Есть у меня план: пусть пока мальчик поживет в моей семье, а ты тем временем пошлешь кого-нибудь в Айгунскую тундру, — кажется, туда ушла мать Тавыля от своего мужа. Так вот, пригласи жену Экэчо сюда, дадим ей если не дом, то комнату, и пусть они с сыном живут тихо и мирно. А от Экэчо мы уж сумеем их защитить.

— Хорошо придумал, очень хорошо! — одобрил Таграт, с осязательным удовольствием затягиваясь из трубки.

А Тавыль тем временем в кругу друзей повеселел и согласился пойти с ними погулять. Вечер был тихий, морозный. Высоко в небе загадочно перемигивались звезды.

И вдруг, словно выброшенная кем-то из-за горизонта, по небу стремительно развернулась разноцветная лента.

Верхний край ленты был ровный, нижний — изорванный, с мерцающими разноцветными нитями. Фиолетовые, синие, розовые, красные, зеленые, желтые огни переливались, потухали, зажигались снова. Порой лента раздваивалась, образуя два, три, а потом и до десятка ярусов. Закрутившись в гигантскую спираль, лента стремительно стала вращаться на одном месте и вскоре превратилась в огнедышащий столб, по которому пробегали светящиеся всеми цветами радуги поперечные лучи.

Так длилось минуту-другую, а затем столб стал выцветать, и вскоре на его месте остался лишь редкий серебристый туман, похожий на длинное прозрачное облачко. Небо стало сразу скучным, будничным. Не верилось, что всего минуту назад на нем был праздник красок.

Но вот в разных частях неба начали то вспыхивать, то гаснуть розовые пятна.

Пятна выростали и наконец вылились в огромное огненное кольцо, опоясавшее небо почти у самого горизонта. Местами кольцо выцветало, совсем обрывалось, но затем снова смыкалось, мерцающая многоцветными лучами.

Затаив дыхание друзья с восхищением наблюдали за причудливой игрой красок и света.

Долго любовались мальчики волшебной красотой северного сияния.

Но вот их позвали спать.

Тавыль ушел ночевать к Пете...

...Через несколько недель в поселок Рэн приехала мать Тавыля, пожилая женщина с худым задумчивым лицом. Ей дали комнату в доме отца Этая и включили в колхозную бригаду женщин-швей, мастериц по пошивке меховой одежды.

А Тавыль избегал встречаться с отцом. Только с возвращением матери он по-настоящему понял, как далек от него отец.

И все же Тавыль не хотел верить, что его отец — вор. Слишком страшным позором считается воровство у его народа.

Не раз Тавыль тщательнейшим образом осматривал полозья нартов других охотников и радовался, если ему казалось, что у какой-нибудь нарты один полоз хоть немножко шире другого.

«Может, у кого-нибудь из комсомольской бригады тоже такая нарта? Может, отец просто в тот вечер копылья перетягивал? — думал Тавыль, стараясь заглушить в себе мучившее его подозрение. — А может, отец побоялся, как бы его зря

не обвинили? Это же очень страшно, если тебе вдруг скажут: «Вор!»

А Экэчо с нетерпением ждал весны, все чаще и чаще поглядывая в сторону ледяной границы, за которой начиналась чужая земля, где жил его брат, шаман Мэнгылю.

„ДРАКОН“ ПРОДАЕТ СВОЮ ДУШУ

Запершись у себя в кабинете, Кэмби долго ходил по огромному ковру из угла в угол. Порой он останавливался и, глядя куда-то через окно, беззвучно шевелил губами: Кэмби мучительно думал. А задуматься ему было над чем. Несколько дней назад господа из Федерального бюро расследований вызвали его в Ном и довольно долго беседовали с ним. Их было двое. Один из них — мистер Скотт, высокий, тучный господин с редкими волосами, причесанными на косой пробор; другой — мистер Маккинг, в противоположность мистеру Скотту, маленький, юркий, с острыми, глубоко сидящими глазами.

Они вежливо пригласили Кэмби сесть и несколько минут участливо расспрашивали его о хозяйственных делах. При этом они проявили такую осведомленность в мельчайших деталях повседневной жизни Кэмби, что тому пришлось только удивляться.

Страх, невольно возникший после того, как Кэмби узнал, с кем ему предстоит вести разговор, постепенно стал пропадать. Но сам маленький господин мистер Маккинг пронзил Кэмби своим пронизательным взглядом и спросил:

— Скажите, мистер Кэмби, сколько лет вы жили на Чукотке и какие у вас остались связи с людьми этой земли?

Кэмби откинулся на спинку кресла и замер. Ему почудилось, что его подозревают в связях с советскими людьми.

Сначала у него родилась мысль все отрицать: никакой, мол, Чукотки не знаю, никогда там не был и бывать не думаю, а о связях и говорить нечего. Но Кэмби не был глупым человеком. Он глянул на безразличную физиономию мистера Скотта, перевел взгляд на мистера Маккинга и хорошо понял: они знают всё, быть может, знают даже то, что уже давно забыл он сам, Кэмби.

— Да, сэр, я жил на Чукотке с тысяча девятьсот тридцатого по тысяча девятьсот двадцать пятый год, — как можно спокойнее ответил Кэмби. — О, это были хорошие времена! Чукотская пушнина — замечательный бизнес, господа!

— А по-русски вы хорошо говорите? — спросил его Маккинг на чистейшем русском языке.

Кэмби втянул голову в плечи, отчего подбородок его стал тройным. В памяти промелькнули многочисленные истории последних дней — истории о том, как чиновники из Федерально-го бюро «разоблачают» страшных заговорщиков, «ставящих своей целью уничтожение американского образа жизни». Правда, Кэмби был не настолько глуп, чтобы верить всему, что писалось в газетах, но сейчас его впервые заинтересовало другое: что делают с теми, на которых падает подозрение в неблагонадежности? Сразу же пришел и второй страшный вопрос: не произошла ли роковая ошибка — не подозревают ли и в самом деле его, мистера Кэмби, в неблагонадежности? Ведь сейчас всё вокруг так тревожно, везде так много говорят о шпионаже, о заговорщиках, о предстоящей атомной войне...

От этой мысли Кэмби стало не по себе. Он поерзал в кресле, словно пытаясь спрятаться в его глубине.

— Быть может, вы... как это говорится... думаете, что я что-нибудь такое?.. — Кэмби сделал неопределенный жест рукой и беспомощно уронил ее на колени.

— Ну, ну, выражайте вашу мысль яснее, — попросил мистер Маккинг; по лицу его пробежала тень недовольства.

— Да вы, может, думаете, что я красный? — вдруг разозлился Кэмби. — Я в нашей организации ку-клукс-клана имею звание «Дракона»! Если я в свое время был на Чукотке, так не затем, чтобы там перекрашиваться в красного, господи! И, если вы хотите знать, я собственными зубами грыз бы большевикам горло за то, что они меня вытолкали оттуда в шею и лишили огромных богатств! От красного цвета я, черт побери, в последнюю степень бешенства прихожу!.. — Кэмби не договорил. Он тяжело дышал. С багрового лица его градом катился пот.

Мистер Скотт посмотрел долгим взглядом на мистера Маккинга. Во взгляде этом Кэмби уловил что-то такое, что немного успокоило его.

— По-русски вы разговариваете? — с прежней настойчивостью повторил свой вопрос мистер Маккинг.

— Да, сэр, говорю по-русски, говорю по-чукотски. Научился этим языкам там, на том берегу. Деловому человеку многое знать не лишне, а на Чукотке это мне было даже необходимо. Что же в этом плохого? Вот вы, мистер Маккинг, говорите же по-русски, однако от этого вы не стали менее порядочным человеком, — уважительно заключил Кэмби, всем своим видом показывая: ведь это же логика, черт побери!

Мистер Маккинг улыбнулся, сложил замком свои худосочные пальцы, хрустнул ими.

— Вот что, мистер Кэмби! Мне одно в вас не нравится, —

сказал он, закладывая ногу на ногу, — вы плохо владеете собой. В вас нет англосакской невозмутимости. А между тем это качество вам будет совершенно необходимо. Кто вы такой, чем вы дышите, на что вы способны, мы прекрасно знаем. Мы хорошо знаем о ваших связях с чукчей Экэчо, который приходится братом кэймидскому шаману Мэнгылю. Так что умалчивать о том, о чем мы вас спрашиваем, не советую. А теперь давайте говорить как деловые люди...

Вот над этой второй частью разговора с господами из Нома и размышлял сейчас Кэмби. Ему предлагали большие деньги, ему обещали разные блага в будущем, но при условии, если он, мистер Кэмби, как только настанет лето, сядет в байдару шамана Мэнгылю и уедет с ним в воды пролива. Не затем, чтобы принять контрабанду у Экэчо, как это делал до сих пор Мэнгылю, будучи агентом Кэмби, — нет, Кэмби предстояло проделать нечто более сложное и во много раз более опасное.

Мистеру Кэмби следовало пересечь в байдару Экэчо и уйти на чужой берег... От одной этой мысли его прошибал холодный пот. Но зато какие деньги, какие большие деньги!.. И, кроме того, если когда-нибудь будут сведены счёты с коммунистами, его ожидает перспектива снова стать на Чукотке королем пушнины — королем «мягкого золота»!..

Кэмби все быстрее шагал по мягкому ковру, но так и не мог принять решение: ему жаль было отказаться от выгодного предложения и страшно было думать о возможных последствиях.

Только под утро Кэмби наконец лег спать, приняв твердое решение направить свою жизнь по тому руслу, которое указали ему господа из Федерального бюро.

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

С приходом весеннего солнца пришел к эскимосам Аляски большой голод. Люди вповалку лежали в своих хижинах, умирали, и порой некому было хоронить мертвых. Похоронный плач стоял над эскимосскими селениями.

И вот однажды в сопровождении мистера Кэмби в поселок Кэймид явились белолицые люди. Они переходили из хижины в хижину, осматривали людей и, отобрав по нескольку человек, вталкивали их в черную машину и куда-то увозили.

Никто из эскимосов не знал, куда увозят их сородичей. По словам мистера Кэмби выходило, что эскимосов увозят лечиться в госпиталь. «Но почему же тогда в черную машину

отбирали тех, кто был здоровее других, и почему никто из них уже домой не возвращался?» — спрашивали эскимосы.

Не знали они, что их сородичей увозят в дом смерти, упрямый между сопками, за колючей проволокой, что над ними в этом доме проводят страшные «научные» опыты не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы их умерщвлять.

Однажды в Кэймид снова явилась группа незнакомых людей. Среди них обращал на себя внимание один маленький человек с лысым черепом и длинными верхними зубами, которые он тщетно пытался прикрыть тонкой бескровной губой. Человек этот не был похож на белолицего, но он также не был похож на эскимоса, чукчу или индейца. Узкие раскосые глаза его за толстыми стеклами очков были холодные, равнодушные.

Кэмби водил незнакомцев по хижинам. Недоверчиво, почти открыто враждебно встречали непрошенных гостей эскимосы.

— Какой страшный образ жизни! — промолвил один из белолицых, зажимая свой тонкий горбатый нос. — Я удивляюсь, как эти... — он запнулся, затрудняясь назвать эскимосов людьми, — как эти существа ходят в вертикальном положении: ходить бы им на четвереньках.

Внимательно посмотрев на голого по поясу юношу, чинившего собачью упряжь, он добавил, обращаясь к Кэмби:

— Попробуйте доказать этому молодому человеку, что он серьезно болен и что ему надо лечиться. Что-то уж очень красными мне кажутся его глаза, — пошутил он и направился вон из хижины.

Следующей была хижина чукчи Таичи.

Когда глаза Кэмби снова привыкли к мраку, он неожиданно заметил в углу накрытого рваными шкурами Гоомо. Лицо его было настолько худым, что Кэмби на минуту усомнился: «Да Гоомо ли это?»

Таичи с беспокойством посмотрел на пришельцев, попытался убавить огонь жирника, чтобы в хижине стало еще темнее.

— Гоомо, это ты, что ли? — изумленно спросил Кэмби.

Гоомо в ответ тихо застонал и повернулся лицом к стене.

— Долго в море носило Гоомо, очень долго, — неохотно пояснил Таичи. — Нерп бил Гоомо, лед колот. Так жил Гоомо. Его далеко от нашего поселка на берег выбросило. Источенным к чужим людям попал Гоомо. Пока домой добрался, совсем больным стал. Ничего не пьет, ничего не ест Гоомо.

— Вот и хорошо. Его как раз мы и станем лечить, — сказал Кэмби.

— Этот пока не годится, — бросил ему горбоносый.

После осмотра эскимосских хижин пришельцы снова погрузили в черную машину пять человек. И опять это были самые здоровые люди поселка.

— Ну, так когда мы еще будем выбирать этих... как их называть... больных? — спросил Кэмби, искоса поглядывая на человека с желтым лицом и раскосыми глазами.

— Мы этот материал называли «бревнами», — неожиданно высоким голосом, смакуя каждое слово, отдельно произнес желтолицый. — Рекомендую этот термин, очень рекомендую... А потом, сообщите мне, пожалуйста: сколько в этом поселке проживает чукчей? Сопrotивляемость их организма нас интересует особо.

Кэмби перечислил имена чукчей. Упомянул он всех, и малых и старых, умышленно не назвал лишь Чумкеля, лучшего пастуха своего стада оленей.

...А Чумкель, оборванный и голодный, бродил в это время далеко в тундре, пася чужих оленей. Нутэскина и Чочоя пастух Чумкель считал погибшими. Не знал он еще и о возвращении Гоомо. Тоскливо было у него на сердце. Перегнав стадо с одного места на другое, он ставил палатку, разжигал костер, закуривал трубку и долго сидел молча, стараясь ни о чем не думать. Иногда ему хотелось заглянуть в поселок, чтобы хоть один раз за несколько месяцев поговорить с людьми, поспать в яранге. Не знал Чумкель, насколько опасно было появляться ему в посёлке Кэймид с тех пор, как туда стала приезжать черная машина.

В числе пятерых, которых увезли в дом за колючей проволокой, оказался и Таичи.

Спустя несколько часов после первого укола старик почувствовал себя очень плохо. Весь в огне, он метался на своем непривычном ложе, выкрикивая что-то несвязное. Порой ему чудилось, что он гонится за отбившимися оленями. «Гок! Гок! Гок!» — кричал Таичи, и ему казалось, что от бесконечного бега у него подкашиваются ноги. Таичи, как рыба, хватал открытым ртом воздух и чувствовал, что задыхается. Наконец он захрипел и схватился за горло. К нему быстро подошел человек в халате, сделал новый укол.

Некоторое время Таичи еще метался. На пересохших губах его выступила пена. Но постепенно он утих, а затем медленно, как надвигающийся хмурый рассвет, к нему пришло сознание.

В один из таких проблесков сознания Таичи увидел у своей

постели странного человека. На мгновение ему показалось, что он бредит, — настолько человек этот не был похож на тех людей, которых доводилось ему до сих пор видеть. И в то же время Таичи почудилось, что он с этим человеком уже где-то встречался и что эта встреча была страшной.

Маленький, со сморщенным желтым лицом, с оттопыренными ушами, человек внимательно наблюдал за Таичи раскосыми узкими глазами из-за огромных толстых очков. Тонкогубый рот его обнажал длинные узкие зубы, и трудно было понять, улыбка это или злобный оскал. «Это, наверное, самый злой дух», — испуганно подумал Таичи о страшном человеке. Желая быть от него как можно дальше, Таичи подвинулся и едва не упал со своего ложа.

Закончив наблюдение над Таичи, человек в очках резко повернулся к белолицему с тонким горбатым носом. И Таичи показалось, что и этого человека он уже видел где-то.

Высоким голосом, в котором слышалось торжество, желтолицый в очках сказал:

— Так вы говорите, это чукча? Хорошо, очень хорошо! Вы должны знать, что там... — он махнул куда-то неопределенно своей сухой, сморщенной рукой, — там основное население — чукчи. Наша задача — поработать над такой пустяковой на первый взгляд инфекцией, как грипп. У чукчей нет естественного иммунитета против инфекционных заболеваний, поэтому даже эпидемия гриппа у них может вызвать такие последствия, которые в другом месте могут вызвать только бациллы чумы или холеры. Но вы представляете себе, что будет, если русские обнаружат очаги чумы и холеры? Они сорвут нам всю нашу репетицию. А грипп, я полагаю, особых подозрений не вызовет. Теперь нет проблемы, как получить в массовом масштабе смертоносные микробы. Невидимая армия у нас уже есть. Молитесь богу за это, благодарите великого микадо Хирохито! Теперь следует научиться безусловно командовать этой армией, для чего очень полезно прислушаться к тому, о чем говорят вам солдаты великого микадо Хирохито! Я, Ямадо Одзуки, имею великую честь быть одним из этих солдат!..

Таичи ничего не понимал из того, что говорил человек в очках, но он видел, сколько высокомерия и жестокости было в его сморщенном лице, когда он произносил свою речь, порой срывающуюся до визга. Таичи также видел, с каким вниманием и даже почтением слушали этого человека белолицые люди в халатах. И он сделал вывод: «Этот злой дух здесь имеет большую власть».

Страшный человек снова наклонился над Таичи и, показывая на него сухим пальцем, сказал:

— Этот будет в моем непосредственном распоряжении.

Постепенно Таичи шел на поправку. Он уже не терял сознания, стал лучше есть. Лежал он в небольшой комнате абсолютно один. Медленно скользил его взгляд от предмета к предмету. Но сильнее всего приковывало его внимание окно за частой решеткой.

Целыми часами смотрел Таичи на небо. И, если пролетала чайка или какая-нибудь другая птица, он радовался, как ребенок.

Когда Таичи почувствовал себя совсем здоровым и уже основательно стал подумывать, как ему выбраться из «госпиталя», к нему неожиданно явился японец Одзуки. «Злой дух!» — мысленно воскликнул Таичи, и недоброе предчувствие взволновало его.

Японец был не один: с ним явились еще два дюжих парня в белых халатах и белых колпаках.

— О, ты уже почти здоров, почти здоров! — обратился японец к Таичи, как всегда обнажая свои длинные зубы. — Вот мы тебя еще сегодня полечим немного, и ты станешь совсем-совсем здоровым. Да-да, немножко полечим...

Японец сделал повелительный знак рукой своим безмолвным спутникам, и Таичи не успел опомниться, как ему сделали укол в руку.

Уже к вечеру состояние Таичи резко ухудшилось. А на второй день он опять метался в бреду.

И однажды, когда Таичи на время пришел в себя, он увидел рядом со своей кроватью новую кровать, на которой сидел его сосед, юноша, эскимос Эйпын.

— ...Вот привезли сюда на черной машине, — ответил Эйпын на немой вопрос Таичи. — Завели сюда, как оленя на аркане, а зачем — не знаю.

— Не позволяй прокалывать кожу на руке! — горячо заговорил Таичи. — У них есть какой-то острый предмет, они им кожу на руке прокалывают, а потом... — Таичи не договорил, схватился руками за голову. Ему почудилось, что он падает куда-то вниз, в темноту.

Эйпыну никто уколов не делал, но уже на второй день он метался в бреду, заразившись от Таичи. Японец Одзуки как раз и хотел проверить, насколько опасен больной Таичи для здоровых людей. И, когда Таичи снова пришел в сознание, он с ужасом увидел, как из комнаты выносили мертвого Эйпына.

Все чаще и чаще к Таичи стал заглядывать японец Одзуки. У постели больного японец необыкновенно оживлялся, потирал сухие, сморщенные руки, явно выражая свое удовлетворение.

— Превосходный материал! Да-да, материал превосходный: необыкновенная жизнестойчивость организма. Это клад для меня, — повторял японец.

Дождавшись полного выздоровления Таичи, Одзуки снова явился к нему, чтобы сделать свой страшный укол. Глядя расширенными глазами на японца, Таичи как-то весь подобрался, словно готовясь к стремительному прыжку.

Японец, почувствовав неладное, остановился в нерешительности.

— Не дам, не дам колоть, ни за что не дам колоть! — твердил Таичи, не спуская глаз с японца. И не успел тот подать знак своим спутникам, как Таичи что было силы ударил японца ногой в живот.

Одзуки отлетел в сторону.

Таичи схватили, грубо заломили ему руки за спину, прижали к кровати.

Японец с трудом поднялся с пола. Руки его тряслись.

— Дать ему такую порцию, чтобы он больше не встал! — выкрикнул он.

Санитары навалились на старика чукчу и сделали ему новый укол.

Таичи уже больше не встал...

Весна разгоралась. Но не было весенней радости у эскимосов и чукчей Аляски. Повальная эпидемия гриппа губила и малых и старых. Не проходило недели, чтобы кто-нибудь не умер в поселке. На помощь белолицых никто не надеялся. Больше того, у всех сложилось твердое убеждение, что именно от белолицых, от их черной машины, и пошла беда: ведь не вернулись домой совершенно здоровые люди, которых увезли в этой машине.

А белолицые всё шныряли и шныряли по хижинам, что-то высматривая, что-то записывая в свои «медицинские журналы».

Больные эскимосы и чукчи встречали их угрюмо и провожали проклятиями.

Кэмби разъезжал по всему побережью, где было эскимосское население, производил точную статистику, посылал в «госпиталь», помещавшийся за колючей проволокой, отчеты о качестве подопытного «материала», сообщал о наличии «бревен».

В одном из эскимосских поселков подкошенная болезнью девушка упала на землю и, протянув дрожащую руку к небу, крикнула:

— Черное солнце!.. Почему на небе черное солнце?!

Девушка умерла в тот же час, а слова умершей о черном солнце скоро стали известны среди эскимосов и чукчей всего аляскинского побережья.

— «Черное солнце»!.. — театрально воскликнул горбоносый, до которого дошли страшные слова девушки. — Я вижу, они не лишены дара поэзии!

Повернувшись к Кэмби, он так же театрально выбросил руки в противоположную сторону пролива и добавил:

— Вы, мистер, будете первым, кто на том берегу из красного солнца сделает черное!

Кэмби зябко поежился. Хотя господа из Федерального бюро уже давно связали его с «госпиталем», но к новой своей роли он привыкнуть не мог. Его не беспокоило то, что он является главным агентом по поставке «подопытного материала» в «госпиталь», что он уже отослал на смерть десятки эскимосов и чукчей, — его пугало другое: Кэмби знал, что рано или поздно ему предстоит уйти на советский берег... И ему было страшно.

«Ну что ж, Дракон продал свою душу. Ничего, придет время, и я снова стану королем «мягкого золота». Вся пушнина Чукотки будет моей», — успокаивал себя мистер Кэмби.

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ

А на противоположном берегу люди тоже смотрели на солнце.

Струится нагретый воздух. Словно сотканное из золотых нитей, дрожит над тундрой марево. А там, чуть подальше, где виднеется на высокой горной террасе около десятка куполов яранг, уже не марево, а мираж околдовывает путника своей игрой.

Пронизанная солнечным светом голубизна сопков расплывается, и тогда чудится, что насквозь прогретый камень не выдержал всепокоряющей силы солнца и расплавился в его жарком золоте. Еще не тронутый на речных долинах снег так ярок в своей белизне, что кажется — солнце довело его до высшей точки накала: пройдет минута, и он потечет ослепительной лавой.

Солнце! Его ждали здесь в полярную ночь с нетерпением, радовались малейшему признаку его скорого появления. И вот оно высоко в небе! Подставляя солнечным лучам свои прокаленные ветрами и морозами лица, бесстрашные охотники-зверобой и неутомимые оленеводы щурили улыбающиеся глаза

и думали о том, что с приходом весеннего солнца непременно придут и новые удачи: оленеводу — хороший олений приплод, охотнику — большая добыча на море.

И невольно, сама собой, складывалась песня, светлая, душевная песня о высоком красном солнце, которое уже навсегда пришло сюда, в этот холодный край, после очень долгой ночи, после той ночи, которая сейчас называется «старой жизнью». Пел сейчас эту песню и Таграт, мчавшийся по речной долине на оленях как раз туда, где причудливо вытянулись верхушки яранг оленеводческого стойбища, раскинувшегося на высокой горной террасе.

Запрокинув на спину ветвистые рога, высунув влажные розовые языки, олени неслись вскачь. Наклонившись чуть вперед, Таграт напевал свою песню, порой ловко отруливая нарты, чтобы не налететь на камень или кочку. Все ближе и ближе высокая горная терраса. В ушах Таграта свистит ветер. Крохотные лужицы в талом снегу мгновенными вспышками молнии ослепляют его.

Выбрав место, где снег поплотнее, Таграт с ходу вылетел по крутизне на террасу, и вот он у стойбища. Двое подростков подхватывают его тяжело дышащих оленей, выпрягают из нарты. А навстречу уже идет бригадир оленеводческой бригады, приветствует Таграта.

Наскоро выпив чаю, Таграт отправляется осматривать стадо отелившихся оленей-важенок.

Стадо паслось между горами, в небольшом распадке, хорошо защищенном от ветра. Сотни телят на тоненьких, еще неустойчивых ножках бродили за своими матерями, издавая громкие звуки, мало похожие на оленье хорканье. Большие фиолетовые глаза малышей смотрели на людей с любопытством, доверчиво.

— О, сколько их здесь! — любовался телятами Таграт, пытаясь погладить одного из них. Теленок, смешно вскинув непомерно длинные задние ноги, отбежал в сторону. — Будущий скакун, — улыбнулся Таграт.

Группа пастухов в легких оленьих кухлянках, сшитых шерстью внутрь и выкрашенных в ярко-красный цвет корой деревца вирувир¹, окружила председателя и бригадира. Смуглые, обветренные лица их были возбуждены, жизнерадостны.

— Так, значит, завтра у нас в поселке Рэн будет праздник Первого мая, весенний праздник? — весело спросил пастух Вальфо, собирая в кольца аркан.

¹ В и р у в и р — название местного кустарника.

— Да, завтра праздник Первого мая, — ответил Таграт и осмотрел пастуха с ног до головы. — Что, не думаешь ли взять первый приз на оленьих гонках?

Пастух смущенно опустил голову, хотя все знали, что он лучший наездник Рэнского сельсовета.

— Как ты думаешь — возьмем мы его с собой на праздник? — Таграт лукаво подмигнул бригадиру. — Работал-то он хорошо или так себе?

— У нас никто не работает так себе! — сказал Вальфо. — У нас ни один теленок не пропал и ни один не пропадет.

Таграт, раскурив трубку, протянул ее пастуху. Вальфо вспыхнул от гордости, взял трубку, глубоко затянулся.

— У нас во всем колхозе никто не работает так себе, — сказал Таграт, принимая от Вальфо трубку, — а значит, много хороших людей прибудет на праздник Первого мая. Веселый будет праздник.

И праздник получился действительно веселым. Украшенный красными флагами, плакатами и лозунгами, поселок Рэн уже с самого утра шумел людскими голосами, звонким смехом, песнями. Группа за группой, лихо скакали к поселку оленеводы. Хлестко стучали их свистящие погоньчи, захлебывались в звоне колокольчики, подвешенные к задкам легких, словно игрушечных, нарт.

Петя, Кэукай, Этгай стояли в пионерском строю прямо перед окнами. Им хорошо было видно, что делается на улице. Огонь возбуждения в их глазах, казалось, разгорался все ярче и ярче.

Чуть дальше стояли в строю и Чочой с Тавылем. На них еще пока не было пионерских галстуков. Взволнованные, они смотрели на развернутые знамена, еще и еще раз мысленно повторяя слова торжественного пионерского обещания. Сейчас они перед лицом своих товарищей должны будут прочесть торжественное обещание юного пионера — дать великую клятву верности партии, народу, Родине.

Призывно зазвучали пионерские горны, ударили барабаны. Пионеры прошли по залу и выстроились.

Чочой закрыл глаза и опять принялся мысленно читать торжественное обещание, где-то в глубине души прислушиваясь к каждому его слову.

А Тавыль, чувствуя, что в жизни его наступает что-то огромное и необычайное, вдруг стал как-то по-особенному спокойным, торжественным.

И вот Чочой и Тавыль перед строем.

— «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, торжественно обещаю...» — звонко и уверенно звучат слова пионерской присяги.

Клятва дана. Старшая пионервожатая Нина Ивановна появляла мальчикам красные галстуки.

Сбылась заветная мечта Чочоя. Ему так хотелось иметь пионерский галстук! Теперь-то он хорошо знал, что значит пионерский галстук!

Как только Чочой и Тавыль стали в строй, послышался звонкий голос старшей пионервожатой:

— Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!

— Всегда готовы! — дружно ответили пионеры.

Сияет на небе яркое солнце. Трепещут на ветру красные флаги. Громко звучит с трибуны голос Виктора Сергеевича Железнова:

— Те из нас, у кого уже седые волосы, хорошо помнят американского купца Кэмби. Разве не у тебя, Аймын, он насильно увел единственную дочь? — обратился директор школы к старику, стоявшему в первых рядах. — Разве не у тебя, Кэргыль, он украл сына? Разве не тебя, Тынэт, он лишил отца еще раньше того, как успел ты появиться на свет? Разве не у тебя, Вияль, он отнял брата и сестру?.. Вот кого хотят американцы опять посадить на землю нашу. Они хотят, чтобы сюда снова вернулся Кэмби, они хотят, чтобы сюда снова вернулся злобный шаман Мэнгылю, они хотят, чтобы сюда снова вернулись голод, болезни, они хотят, чтобы сюда смерть вернулась! Как знать, может, и сам Кэмби, если он еще живой, со звериной злобой смотрит на наш берег и ждет случая, чтобы снова сюда вернуться. Нам хорошо известно: об этом думают многие богачи-американцы. Только никогда не сбудутся их мечты! Пусть они нас пугают — нас невозможно запугать. У нас сердце не трусливого зайца, у нас сердце не пугливого оленя. Смерть найдет враг, если пойдет на нас!

Не успел Виктор Сергеевич кончить, как люди сдвинулись плотней у трибуны, громко выкрикивая отдельные фразы из его речи:

— Не запугают!

— Найдут смерть!

— Пусть захлебнется волк в своей бешеной пене! — грозно несло со всех сторон.

Смуглые лица юношей и мужчин были суровы, решительны.

Следующим за директором школы выступил тот самый старик Аймын, к которому обращался во время своей речи Вик-

тор Сергеевич. Поднялся он на трибуну степенно, с чувством собственного достоинства, снял с головы легкий весенний малахай, украшенный зеленой пушистой кисточкой, внимательно осмотрел притихших людей. Испещренное густой сеткой морщин, его крупное лицо с подслеповатыми глазами, с редкой белой бородкой было сурово.

— Решил и я сказать свое слово на нашем празднике Первого мая, — негромко начал он. — Учитель словами своими зажег во мне великий гнев, который все время горячими угольками где-то здесь, под сердцем, теплился. — Аймын медленным жестом приложил руку к груди. — И хорошо сделал учитель! — вдруг повысил голос Аймын. — Очень хорошо сделал. Кто из нас американца Кэмби помнит, кто из нас шамана Мэнгылю помнит, у того, конечно, как и у меня, эти горячие угли гнева под сердцем не потухают. И вот, пока Кэмби по земле ходит, пока такие люди, как Кэмби, по земле ходят, — нельзя, чтобы эти угли у нас под сердцем, как под золой, потухли! Вот посмотрите туда, на тот скалистый обрыв у моря! — Аймын стремительно выбросил руку, указывая на скалистый берег километрах в двух от поселка. — Когда Кэмби украл мою дочь, убежала она от него и бросилась с того высокого камня прямо в море. Напрасно Кэмби думает, что я забыл об этом. Напрасно Кэмби думает, что Аймын, как это раньше бывало, при встрече с ним лишь втынет голову в плечи. Аймын стар, но, если Кэмби вздумает прийти на нашу землю с оружием в руках, Аймын схватит Кэмби, как паршивую собаку, и сбросит его вон с того обрыва, с которого бросилась в воду моя дочь!

Никто не ожидал такой горячей речи от старика, который никогда не выступал на собраниях.

Пионерский отряд стоял у трибуны строем. Все ребята знали, что перед народом должен выступить Чочой.

— Ты, знаешь, громким голосом говори! — подтолкнул в бок Чочоя Кэукай и, набрав полные легкие воздуха, солидно откашлялся, словно собирался говорить сам.

Чочой нет-нет да и заглядывал в бумажку, стараясь запомнить слова своего выступления.

— Иди! Иди! — подтолкнули его дружные руки товарищей, когда сошел с трибуны Аймын.

На трибуне Чочой растерялся. Одно дело — рассказывать о чем-нибудь школьникам, таким же, как он сам, но заставить слушать себя взрослых на великом первомайском празднике ему вдруг показалось просто невероятным. Чочой в отчаянии уже хотел убежать с трибуны, но в этот момент он услышал спасительный голос Виктора Сергеевича:

— Дедушка Аймын сейчас говорил об американце Кэмби. Я так думаю, что и ты мог бы кое-что рассказать народу об этом человеке и о жизни на Аляске.

Чочой выпрямился. Да, о Кэмби он может рассказать многое. В конце концов, он может высказать перед народом те слова проклятья, которые не однажды бросал шепотом в спину Кэмби.

— Да, этот Кэмби живой еще! — громко сказал Чочой. — Кэмби отца моего убил. Кэмби мою мать убил. Он, кажется, дядю Гоомо убил. Кэмби и его сыновья, которые наряжаются в белые балахоны, разорвали Тома, как звери! Но сам Кэмби еще живой. И шаман Мэнгылю живой. Не пускайте их сюда! Нет, ни за что не пускайте!..

Когда Чочой услышал, как громко и дружно отозвались на его слова люди, он вздрогнул, посмотрел на своих друзей, хлопавших в ладоши, и медленно сошел с трибуны.

Сразу же после митинга начались традиционные призовые олени гонки. Возбужденные ребята бегали среди оленеводов, стараясь услужить участникам гонок.

— Принеси-ка мне кусочек нерпичьего ремня, нужно в одном месте нарту получше перевязать, — попросил Эттая пастух Вальфо.

И сразу около десятка мальчиков бросились к дому Эттая. Впереди всех бежал сам Эттай, с восторгом думая о том, что именно ему, Эттаю, предстоит выполнить важное поручение самого лучшего наездника, который наверняка возьмет первый приз на оленьих гонках.

Выстроилось в ряд около тридцати упряжек. Олени, предчувствуя бешеную гонку, нетерпеливо перебирают ногами, забрасывают на спину рога. Наездники напряженно ждут, когда тронется с места упряжка председателя колхоза Таграта.

Председатель не принимает участия в состязании, он должен выехать на гонки как судья. Белоснежные его олени косятся налитыми кровью глазами то влево, то вправо. И вдруг они срываются с места, как вихрь, — и, увлеченные этим вихрем, несутся вперед десятки других упряжек. Свистят погоньчи. Облако снежной пыли, играя всеми цветами радуги, окутывает несущуюся лавину упряжек.

— Гы! Гы! Гы! — слышится на разные голоса.

Но вот наступившая тишина взрывается восторженными криками: около полусотни школьников бежит вслед за упряжками, скрывшимися где-то далеко, за стеной колеблющегося марева.

Это тоже состязание. В километре от поселка алеет красный флаг. Несколько мальчиков вырываются вперед. Вот уже

достигают красного флага и, обегая его кругом, устремляются назад, к поселку. Старики, женщины напряженно следят за состязанием.

— Кэукай, Кэукай впереди! — слышится в толпе.

Впереди всех действительно, чуть запрокинув голову назад, крепко стиснув зубы, мчится Кэукай.

— Петя догоняет! — опять зашумели зрители.

Кэукай чувствует, что его кто-то настигает. Перед самым финишем он резко прибавляет скорость. Но соперник, видимо, нашел в себе еще больше сил. Вот Петя уже почти рядом с ним... Нет, Кэукай не допустит, чтобы его обогнали!

Мальчики изо всех сил стараются оторваться друг от друга. Но вот уже и финиш. Они пришли вместе!

Победителей громко приветствуют взрослые. А Нина Ивановна, после того как мальчики немного отдышались, вручает им первые призы — толстые, с золотыми буквами альбомы для рисования и набор красок и карандашей.

Последним пришел Эттай. Тесемка на левом торбазе его болталась. Мальчик чуть-чуть прихрамывал и тер шишку на лбу.

«Опять не так, как у всех, получилось, опять смеяться надо мной будет! — досадовал он. — Ну ничего, пусть смеются. Не виноват же я, что тесемки развязались...»

Заметив на себе насмешливые взгляды, Эттай еще издали крикнул:

— Плохо подготовился! Не подвязал как следует тесемки, наступил на одну из них и прямо об землю лбом стукнулся, а там камень был.

— А может, там только заячий помет валялся? — нарочно тоненьким голоском, насмешливо щуря подслеповатые глаза, спросил старик Кэргыль.

— Да нет, камень! — Эттай тяжело вздохнул и, порывшись в своем кармане, вдруг действительно извлек довольно увесистый камень.

Послышался дружный хохот.

— Ты бы еще скалу с собой захватил, тогда, быть может, взял бы самый первый приз! — выкрикнула мать Эттая, вытирая выступившие от смеха слезы.

— Едут! — послышался зычный голос старика Кэргыля.

Наступила тишина. Несколько круглых облачков, пронизанных солнечными лучами, стремительно двинулись к поселку. Женщины бросились разжигать костры.

— Вальфо! Вальфо! — закричали ребята.

Старики козырьком прикладывают к глазам руки и смотрят на стремительно приближающихся наездников.

Горит на солнце огромный медный чайник, наполненный плитками дорогого чая. Это первый приз. Блеск красной меди слепит глаза. Шумит лавина упряжек. Хлестко стучат свистящие погоньчи. «Гы! Гы! Га!» — несутся возгласы наездников. Храпят взмыленные олени. Резкие взмахи погоньчей похожи на взмахи сабель конников.

Вальфо, весь подавшись вперед, подскакивает на прыгающей нарте. Он слышит позади себя шум мчащейся лавины и знает, что сейчас, перед финишем, может вырваться кто-нибудь вперед. Вальфо бдителен. Из своих обезумевших от бешеной гонки оленей он выжимает самую предельную скорость. Горит на солнце красная медь. Вот она блеснула прямо в глаза и осталась где-то позади. Вальфо остановил упряжку. С помутневшими глазами, с высунутыми языками олени дышат тяжело, со свистом. То вздымаются, то опадают их влажные, покрытые пеной бока. Женщины быстро освобождают оленей от упряжки. Олени дико шарахаются в сторону и затем, освобожденные от груза, встряхиваясь, уходят в сторону поселка.

Одна за другой мчатся упряжки прямо на костры.

Женщины и старики, подбежав к оленям, ловко и быстро выпрягают их. Разгоряченные наездники радостно щурятся на солнце, с достоинством отвозят в сторону свои нарты. На многих из нарт лежат вторые, третьи, четвертые призы: у одних — шкура лисицы, у других — столярные инструменты, у третьих — набор капканов.

Шумно, весело в поселке. Остыв после гонок, молодежь затевает борьбу, состязание в беге, в прыжках.

А солнце, словно радуясь людскому веселью, поднимается все выше и выше, становится все жарче и жарче.

Уже поздно вечером, после того как была просмотрена художественная самодеятельность школьников и комсомольцев поселка, оленеводы выехали в тундру. Там их ждала горячая работа — ждали богатые колхозные олени стада с тысячами маленьких телят.

Мерно постукивают копыта оленей, бегут и бегут упряжки бесконечной цепью, одна за другой. Солнце спускается к горизонту. Вот оно уже совсем скрылось. Талые снега зажигаются багрово-сумрачными искрами от полыхающей вечерней зари. Серый мрак выползает из ущелий. Но заря полыхает, как огромное красное знамя, развернутое над миром в день великого праздника Первого мая. В какой-то неуловимый момент происходит встреча зари вечерней с зарей утренней.

Постепенно темно-красный сумрак переливается в свежие и чистые, огненные тона. Вечер сменяется утром. Дует легкий ветерок, доносится запах талых снегов...

— Сейчас солнце всходить будет, — говорит едущий впереди всех Вальфо, останавливая своих оленей.

Оленеводы сходят с нарт. Молча они смотрят в ту сторону, где должно показаться солнце.

И вот из-за острого пика горы блеснул край раскаленного огненного диска. Брызнули по снегу каскады светлых мерцающих искр.

Запорхали со свистом стаи пуночек, защебетали куропатки.

— Чисто вокруг красного солнца. Хорошим, очень хорошим будет день! — говорит Вальфо, наблюдая, как постепенно выкатывается из-за острой запламеневшей вершины горы раскаленный диск. — Красный цвет — цвет жизни и радости, — продолжает Вальфо. — Но красный цвет — это еще и цвет большого гнева!.. Так я скажу свое последнее слово в праздник Первого мая, — задумчиво добавляет он после недолгого молчания.

Оленеводы снова тронулись в путь. Оторвавшись от вершины сопки, плывет в свой счастливый, благодатный путь и весенне солнце.

В О Р

Наступило лето. Растаяли наконец огромные сугробы, но на складках гор, в глубоких оврагах снег остался. Это был вечный снег, твердый, как мрамор.

Сильным южным ветром оторвало от берега льды. Бесконечные стаи перелетных птиц с радостными криками всё летели и летели над тундрой и морем. Морские утки самых различных пород иногда усаживались на волны, совсем близко возле берега. Гуси, лебеди, речные утки облюбовывали тундровые реки, озера. У обрывистых скал неумолчно шумели огромные птичьи базары.

Петя, Кэукай, Эттай и Чочой ушли из поселка на поиски птичьих гнезд. Они обшарили возле лагуны все косы, умудрились побывать на островках многих озер и уже набрали добрую полсотню яиц.

На одной из кос они встретили посеревшего песка, который успел обшарить здесь все гнезда. Мальчики набрали полные пригоршни камней и с громкими криками бросились за песцом. Когда перепуганный зверек кинулся в воду, ребята утихли.

— Не надо его бить камнями, — сказал Кэукай. — Какой толк, если уьем его! Может, он к кому-нибудь в капкан зимой попадетсЯ.

Песец благополучно добрался до острова, отряхнулся от воды и скрылся за холмиком.

В одном из узких мест ребята перебрались по перекату на противоположный берег лагуны.

— Ложись! — неожиданно скомандовал Петя.

Ребята плюхнулись на землю. Прямо перед ними плескалось длинное голубое озеро с мелкими зарослями багульника по берегам. На озере мирно плавала лебединая стая. Белоснежные, с длинными, гордо выгнутыми шеями, лебеди двигались по воде медленно, величественно.

— Двенадцать штук! — прошептал Эттай. — Подползем ближе...

— Подползем, — поддержал его Петя.

Ребята поползли к озеру, прижимаясь к самой земле. Но, когда они уже были от лебедей метрах в тридцати, птицы вдруг разом взмахнули крыльями и полетели, набирая высоту. Огромные крылья их взмахивали плавно, ритмично.

Мальчики затаив дыхание долго лежали на земле, провожая восхищенными глазами улетающую лебединую стаю. И только они хотели встать, прямо над ними пронесся косяк журавлей. С опущенными длинными ногами журавли покружили над озером и сели на берегу, совсем почти рядом с мальчиками.

— Апчи!.. — вдруг чихнул Эттай.

Друзья возмущенно зашипели на него, но Эттаю, как назло, нестерпимо хотелось чихать. Закрыв рот и нос обеими руками, он посинел, глаза его выпучились. Он даже ногами засеменял, но удержаться не смог и снова чихнул. Услышав подозрительный звук, журавли быстро-быстро пошли между кочками в сторону.

— Не выйдет из тебя охотника, — с пренебрежением сказал Эттаю Кэукай.

— А я себе чихательницу сделаю, — не смутился Эттай. — Сошью такую сумку из толстой шкуры оленя. Захочу чихать, голову туда засуну, отчихаюсь как следует и опять поползу к зверю...

Мимо мальчиков пролетали со свистом чирки, шилохвости, сауки, крохали.

— А знаете что: пойдете к берегу моря, к птичьему базару. Там на скалах много яиц набрать можно, — предложил Петя.

Ребята встали и, забыв усталость, пошли по тундре к берегу моря.

Перед тем как начать спускаться по скалам вниз, мальчики сели передохнуть.

— Интересно все же, куда сегодня ночью мог деваться моторный вельбот? — невесело спросил Эттай. — Отец мой волнуется сильно. Некоторые говорят, что отец плохо закрепил вельбот и его унесло в море...

История с пропажей вельбота уже была известна во всем поселке.

— Мне очень жалко твоего отца, — сказал Кэукай. — Если вельбот не найдется, сильно ругать его будут...

Отдохнув, друзья начали спуск. Оглушенные птичьим гомоном, они с затаенным страхом осматривали мрачные выступы скал.

«Я предложил им идти сюда, значит, должен идти впереди», — подумал Петя.

Осторожно нащупывая ногой выступы на скалах и выбирая наиболее безопасный путь, он стал спускаться.

— Только старайтесь вниз не смотреть, — нетвердым от волнения голосом предупреждал он товарищей.

На его носу, на котором к лету резче обозначились точки веснушек, сейчас выступили капельки пота.

А вниз действительно смотреть было страшно. Хаотическое нагромождение скал с красными, желтыми, золотистыми прожилками круто уходило туда, где пенились волны прибоя. Встревожненные птицы с яростными криками налетали на мальчишек, порой чуть не задевая их крыльями.

— Куда? Куда вы лезете? Вот схвачу сейчас какую-нибудь за ногу и прямо живьем проглочу! — храбрился Петя.

— А у меня на голове чайка собирается гнездо свить, — отозвался где-то, еще довольно высоко, Эттай; неуклюжий, как медвежонок, он часто оступался, шумно сопел.

— Если ты так медленно будешь двигаться, то чайки на твоей голове успеют высидеть птенцов! — крикнул ему Кэукай, словно горный баран ловко перепрыгивая с камня на камень.

Чочой, цепко хватаясь за скользкие камни, с улыбкой слушал своих друзей. С удовлетворением он отмечал и то, что вот уже давно на их пути попадаются хорошие ступеньки. «Словно кто-то нарочно сделал», — подумал он и неожиданно заметил кем-то оброненный охотничий нож с роговой ручкой.

— Смотрите, нож! — крикнул Чочой. И, внимательно осмотревшись вокруг, он сделал открытие: — Это чья-то тропа! Тут не один раз человек ходил!

— А Чочой правду говорит, — после недолгого раздумья ответил Кэукай; его зоркий глаз действительно уловил затерянную в обломках скал, едва обозначенную ниточку тропы. — Ступеньки кто-то делал, чтобы постоянно ходить.

Недоуменно переглянувшись, друзья, не сговариваясь, направились вниз по тропе.

Все ниже и ниже спускались мальчики. Уже вершина обрыва оставалась так далеко, что друзьям просто не верилось: неужели они были там? И ребятам захотелось узнать, куда же приведет эта тропа. А тропа привела мальчиков к пещере, вход в которую был метрах в десяти от воды. Вход был узкий и хорошо замаскированный.

— Я слышал об этой пещере нехорошее, — тихо промолвил Кэукай. — Говорят, давно-давно когда-то, еще до советской власти, вон там, за обрывом, было небольшое стойбище. И вот однажды в том стойбище один за другим стали умирать люди от какой-то страшной болезни. Тогда шаман Мэнгылю приказал хоронить мертвых, кажется, вот в этой пещере, и с тех пор никто не ходит сюда...

Слева и справа от того места, где стояли ребята, виднелась извилистая линия морского берега.

— А мы пойдем? — тихо, словно боясь привлечь внимание кого-нибудь постороннего, спросил Петя, указывая на вход в пещеру.

— А может, там медведь спит, — опасно осмотревшись вокруг, зашептал Эттай.

— А что, если камень в пещеру бросить? — спросил Чочой и, выбрав поувесистее камень, взял его в руки.

— Дай-ка мне! — попросил Петя.

Взяв у Чочоя камень, Петя с силой швырнул его в пещеру. Где-то глухо отдались три удара падающего камня, и снова водворилась тишина.

— А ну, пойдем! — решительно сказал Кэукай.

Отбросив прилипшую к вспотевшему лбу челку, он смело двинулся вперед. Петя взял Кэукаю за пояс рубахи и, плечом к плечу, пошел с ним рядом. Чочой и Эттай двинулись следом. Когда глаза мальчиков привыкли к мраку, они пошли смелее.

— Яранга! — вдруг вполголоса воскликнул Кэукай.

Ребята замерли. Перед их глазами действительно стояла яранга с тщательно закрытым входом. Друзья остановились в нерешительности, не зная, уходить ли им отсюда или все же осмелиться подойти к яранге.

— По-моему, в ней сейчас никого нет, — тихо сказал Петя и сделал робкий шаг вперед.

Захватив с собой на всякий случай обломок камня, ступил вперед и Кэукай. Осторожно, боясь дохнуть, мальчики наконец бесшумно добрались до самой яранги, чутко прислушались.

— А чего еще там бояться! — громко сказал Эттай.

Рванув край рэтэма, закрывавшего вход в ярангу, Эттай присел на корточки, всмотрелся.

— Полог! Место для костра! Можно чайку попить, выспаться, — сообщил он. — Идите за мной!

Не прошло и десяти минут, как мальчики тщательно осмотрели всю ярангу. Ничего примечательного они в ней не нашли и уже собрались уходить, как вдруг послышался ликующий голос Чочоя:

— Лук! Лук! Это лук дедушки Ако! Вот смотрите, кольца!.. Я нашел лук дедушки Ако!..

Просунув руку между задней стенкой полога и покрывшей яранги, Чочой вытащил оттуда огромный лук, украшенный расписными кольцами, выточенными из моржового клыка.

Пораженные, друзья молча ощупывали найденный Чочоем лук. А Чочой, пугливо озираясь, словно боясь, что кто-нибудь может у него отобрать дорогую находку, не выпускал лука из рук и все приговаривал:

— Нашел!.. Я нашел его наконец!..

— Теперь надо узнать, чья это яранга, — взволнованный не меньше Чочоя, сказал Кэукай. — Нужно узнать, кто спрятал здесь лук дедушки Ако!..

Чочой наконец оторвал руки от лука и снова принялся шарить между пологом и покрывшей яранги.

— Стрелы! — сообщил он, вытаскивая колчан из моржовой шкуры, туго набитый стрелами.

Захватив лук и стрелы, мальчики выбрались из пещеры. И вдруг Петя махнул рукой вниз, приказывая друзьям ложиться:

— Вон там, слева, стоит вельбот, и в нем что-то делает Экэчо.

Эттай рванулся было вперед, но его вовремя схватили за ноги.

— Лежи! — приказал Петя. — Посмотрим, что будет дальше.

Экэчо торопливо что-то укладывал в вельбот. К мальчишкам он стоял спиной и не замечал их, зато мальчики его видели отлично.

— Отползем немножко вниз, вон за ту скалу, — шепотом предложил Кэукай. — Может, Экэчо в пещеру пойдет. Надо, чтобы он нас не заметил.

Мальчики, насколько могли бесшумно, спрятались за широкой скалой. Чочой не выпускал из рук лука. Колчан со стрелами был у Кэукай.

— Так вот почему исчез вельбот. Его украл Экэчо, — тихо

сказал Петя, пытаясь заглянуть вниз, где виднелась корма вельбота.

Быстро отпрянув назад, он шепотом сообщил:

— Экэчо идет в пещеру!

Взволнованные, крепко вцепившись пальцами в выступы скал, мальчики следили за тем, как Экэчо, торопливо карабкаясь вверх, вошел в пещеру.

— Слушайте меня, пожалуйста, — почему-то умоляющим тоном попросил Эттай, — побежим к вельботу, сядем в него! Что-то недоброе чует сердце... Мотор я заведу... честное слово, заведу!.. Если вы не согласитесь, тогда я один... — В лице мальчика появилась отчаянная решимость. — Это ж моторный вельбот! Понимаете?..

Петя и Кэукай переглянулись и, не сговариваясь, встали. Через две-три минуты мальчики были уже в вельботе.

— Отталкивайтесь, отталкивайтесь! — умолял Эттай. — От берега отталкивайтесь, а мотор я заведу...

...Экэчо лихорадочно торопился. Ему лишь сегодня на рассвете удалось увести моторный вельбот, который находился у причала в устье небольшой речонки. «Ночи ждать нельзя, надо убегать сейчас», — решил Экэчо. Перед его глазами стояло спокойное, холодное лицо следователя, прибывшего в поселок для очередного допроса. Мысль о следователе приводила Экэчо в смятение. Он предчувствовал, что сегодняшний допрос будет последним: шаг за шагом следователь заводил его своими беспощадными вопросами в тупик. Экэчо вынужден был дать целый ряд показаний о своих преступлениях. «Увезет он меня сегодня, обязательно увезет, если я не убегу туда, за пролив, к брату!» — торопился Экэчо, вытаскивая тюки пушнины из тайника пещеры.

И вдруг Экэчо бросил на землю свою ношу и побежал вниз, прыгая с выступа на выступ. У самой линии прибоя он остановился, хотел что-то крикнуть, но звук застрял в его горле. «Карабин! Карабин не взял с собой, в вельботе оставил!» — ужаснулся Экэчо, глядя, как течение относит вельбот с мальчиками все дальше и дальше от берега. Схватив камень, Экэчо замахнулся, но, поняв, что мальчики уже слишком далеко, в бессильной ярости швырнул его в воду у самых ног и закричал что-то громко, бессвязно, потрясая в воздухе кулаками.

Услыхав крик, мальчики вздрогнули и оторвали свои взгляды от мотора, который, как назло, Эттай не мог завести.

— Скорей заводи мотор, медведь неуклюжий! — торопил друга Кэукай и на всякий случай потянулся к карабину, который оставил в вельботе Экэчо.



Экэчо побежал вниз, прыгая с выступа на выступ.

— Сейчас, сейчас заведу... Зажигание, понимаешь, никак не получается, свечи отсырели...

Он хватался то за одну деталь, то за другую, пытался отвинтить гайки, чтобы заглянуть внутрь мотора.

А Чочой, крепко прижимая лук к груди, вцепился в него так, что, казалось, не выпустил бы его и мертвым.

И вдруг мотор заработал.

— Ур-р-ра!.. — закричал Эттай, победно поднимая кверху перепачканные руки.

— Ур-р-ра!.. — подхватили его друзья.

Люди начали выбегать из домов на берег моря, когда вельбот был еще достаточно далеко.

— Нашли! Вельбот нашли!.. — повторялось на разные голоса.

Когда мальчики причалили к берегу, там уже собрался почти весь поселок.

— Что это? Откуда вы привели вельбот? — изумленно крикнул Таграт.

Но тут поднялся Чочой, опираясь на огромный лук, украшенный кольцами.

— Лук! Лук! Лук богатыря Ако!.. — громко выкрикнул Кэргыль и вошел в своих нерпичьих непромокаемых торбазах прямо в воду.

Легкой волной прокатились по толпе возгласы изумления, и снова наступила напряженная тишина. Бережно, на вытянутых руках, Кэргыль вынес на берег лук.

— Лук нашего Ако! Да, да, это лук богатыря Ако! Смотрите, костяные кольца! Это действительно лук нашего Ако! — слышались восклицания.

Кто-то наконец вспомнил о мальчиках, терпеливо ожидавших, когда же обратятся к ним.

— Откуда лук? — наконец спросил Кэргыль у Чочоя.

Объяснения мальчиков были недолгими.

Услышав, что Экэчо оставался у пещеры, когда мальчики завели мотор, Таграт приказал Тынэту:

— Немедленно со своими комсомольцами поймай этого волка и живым приведи сюда!

— Сейчас, сейчас мы его сюда притащим! На Аляску убежать хотел, мерзавец! — крикнул Тынэт, стремительно отделившись от толпы.

Экэчо привели в поселок под вечер. Низко опустив голову, он лишь изредка бросал угрюмые взгляды на окружающих его людей.

Три комсомольца несли тюки тщательно упакованной пушнины.

Бросив тюки к ногам Экэчо, комсомольцы отошли в сторону.

— Тавыль с матерью идет! — воскликнул Кэукай.

Все повернули голову в сторону медленно идущей женщины, рядом с которой так же медленно шел мальчик в красном пионерском галстуке. Немолодое, чуть скуластое лицо матери Тавыля было сурово, бесстрашно. А мальчик волновался.

Когда мать с сыном были уже совсем близко, толпа раступилась.

Чувствуя на себе суровые взгляды жены и сына, Экэчо еще ниже опустил голову.

— Так вот кто снимал с чужих капканов песцов и лисиц! — чуть надтреснутым голосом произнесла мать Тавыля.

А Тавыль вдруг не выдержал и, весь задрожав, крикнул отцу:

— Вор!

Слезы жгучей обиды выступили на его глазах.

Экэчо медленно поднял на сына глаза, и мальчик прочел в них откровенную ненависть.

— Вор и убийца! — негромко, но так, что все вздрогнули, сказал Виктор Сергеевич и вышел на середину круга с луком своего друга Аю.

Экэчо отшатнулся. Лицо его стало мертвенно-бледным. Он было протянул дрожащие руки к луку, но затем дотронулся ими до шеи, с большим трудом проглотил что-то застрявшее в горле и снова опустил голову. На мгновение у него мелькнула мысль все отрицать, врать, изворачиваться. Но, чувствуя на себе ненавидящие взгляды многих десятков людей, которых он предавал, много раз обманывал и обкрадывал, Экэчо понял, что все это уже бесполезно.

— Комсомольцы, приготовьте вельбот! — распорядился Таграт. — Следователь приказал отвезти в район этого волка, который попался наконец в капкан! Там разберутся, что с ним делать.

— А мы поможем! Да-да, мы поможем разобраться! — громко воскликнул Кэргыль и потряс почти у самого носа Экэчо своим посохом.

— Да-да, поможем! — зашумели в толпе.

НАДО МСТИТЬ!

Шеррид был верен своему долгу дружбы. Узнав о том, что в поселок Кэймид вернулся Гоомо и что он очень болен, индеец увез его на байдаре в свою одинокую хижину, по-

дальше от тех страшных мест, куда заходила черная машина, и заботливо ухаживал за ним вместе со своей маленькой дочерью.

Поправившись, Гоомо решил побывать в поселке Кэймид.

— Зачем тебе туда? — спросил Шеррид. — Разве не знаешь о том, что оттуда увозят людей на страшной машине? Разве тебе хочется попасть в эту машину?

— Я не могу больше жить на этой земле, Шеррид, — угрюмо сказал Гоомо. — Я хочу на родную землю, туда, за пролив. Мне надо увидеть Чумкеля. Ты знаешь, его родная земля тоже там... Только мы с Чумкелем и остались здесь родичами с одной земли...

— Лишь безумный может на хрупкой байдаре уйти в пролив, — сказал Шеррид. — Переплыть на байдаре пролив, покрытый льдами, — это все равно что выстрелить себе в голову в надежде на осечку.

— Лучше надеяться на эту осечку, чем каждый день ждать, что тебя схватят и посадят в ту черную машину, — возразил Гоомо.

Индеец промолчал. Суровое лицо его с полузакрытыми, как у дремлющего орла, глазами было мрачно.

— Ну хорошо. Я согласен с тобой, что ты должен или умереть, или попасть на родную землю, — наконец сказал он, вынимая изо рта трубку. — Только в поселок Кэймид ты не ходи. Я сам приведу к тебе Чумкеля, если его еще не увезли белолицы.

Через несколько дней Шеррид действительно привел в свою хижину Чумкеля. Выслушав Гоомо, Чумкель долго молчал и наконец сказал:

— Как знать, что случилось с Нутэскином и мальчиком Чочоем? Скорей всего, они погибли. Но все равно я согласен идти по их тропе. Быть может, нам будет удача...

Получив согласие Чумкеля, Гоомо вдруг загрустил. Приняв от заботливой дочери Шеррида кружку с чаем, он отпил несколько глотков и сказал задумчиво:

— Не могу уйти с этого берега так просто. Надо хоть немножко чем-то помочь людям, которых в любой день могут схватить в эту черную машину. А вот как помочь, не знаю...

— Надо им тайно уходить из поселка Кэймид, семья за семьей, — предложил Шеррид. — Да-да, надо им уходить оттуда хотя бы пока сюда, ко мне, на этот дикий, скалистый берег. Сюда черная машина не доберется. А потом придумаем еще что-нибудь.

Мысль Шеррида понравилась Гоомо.

— Им надо уходить оттуда! — согласился он. — А если их будут искать люди, которые ездят с этой страшной машиной, тогда в руки надо брать винчестеры и стрелять, тайно стрелять, чтобы не знали, кто это делает.

— Верно: тайно стрелять! — согласился Чумкель. — А потом говорить надо, что это делают Гоомо и Чумкель, которые прячутся в горах. Пусть ищут!

— Хорошо! — первый раз за долгие месяцы улыбнулся Гоомо. — Хорошо Чумкель придумал.

На следующий день Гоомо и Шеррид, стараясь быть незамеченными, направились в Кэймид.

Войдя в одну из эскимосских хижин, они подробно расспросили о новостях поселка, а затем, не теряя времени, приступили к делу.

Из хижины в хижину пошла весть о том, что Гоомо и Шеррид зовут людей тайно покидать поселок Кэймид. Доведенные до отчаяния люди готовы были немедленно бежать куда угодно, только бы уйти как можно дальше от черной машины.

Гоомо и Шеррид обдумали с мужчинами план побега.

Ночью несколько семей незаметно со всем своим нищим скарбом, с большими домочадцами поплыли на двух байдарках вдоль скалистого, угрюмого берега к хижине Шеррида. На следующую ночь еще большее количество семей покинуло поселок Кэймид. Когда Кэмби понял, что происходит, в поселке уже почти никого не осталось. Стояли пустые, наполовину разобранные хижины.

И как раз в тот день мистера Кэмби вместе с шаманом Мэнгылю вызвали в Ном. Сумрачно было на душе у мистера Кэмби. На этот раз, прощаясь с женой, он даже прослезился, предчувствуя, что настало время рассчитываться за деньги, полученные им из Федерального бюро.

— Передай мальчикам, когда они вернутся из колледжа, что я... — мистер Кэмби запнулся, расстегнул на своей толстой красной шее ворот, — что я могу не вернуться с того берега. Тогда завещание мое там, в моем кабинете, в сейфе... Только это потом, если вам скажут, что я уже никогда сюда не вернусь...

Мистер Кэмби наконец покинул свой дом. А миссис Кэмби наскоро вытерла огромным клетчатым платком заплаканное лицо и с непривычной для ее тучной фигуры поспешностью направилась в кабинет мужа, чтобы тут же открыть его сейф.

...Эскимосы выбрали для Гоомо и Чумкеля самую прочную байдару, тщательно отремонтировали ее, оснастили всем необходимым, что могло пригодиться в дороге. Женщины зала-

тали парус. Гоомо и Чумкель упаковывали свои походные перпичы мешки. Шеррид закалял на огне наконечники багров, которыми беглецы должны были отталкиваться в море от льдин.

— Эх, можно было бы всем стойбищем попробовать уйти туда, на тот берег! — махнул рукой за пролив один из эскимосов. — Да нельзя. С женщинами, с детишками сразу погибнешь...

Отложив свой мешок в сторону, Гоомо, не выпуская трубки изо рта, долго о чем-то думал.

— Люди, вот что я вам сказать хотел, — наконец промолвил он. — Если к вам придут посланцы из Кэймида, чтобы забрать вас в черную машину, убивайте их и всем говорите, что это Гоомо и Чумкель сделали. А в горах, подальше от этого места, поставьте несколько шалашей, положите в них кое-какие наши вещи, чтобы американцы, когда шалашаи эти найдут, верили, что мы еще здесь, что это мы с Чумкелем мстим им за госпиталь. Об этом и в другие селения эскимосов и индейцев передайте. Пусть американцы ищут нас...

— Хорошо, Гоомо, — отозвался Шеррид. — Мы станем жестоко мстить тем, кто смерть нам посылает. Да-да, им надо беспощадно мстить!

ВСТРЕЧА В ПРОЛИВЕ

В Номе Кэмби задержался недолго. Проинструментированный в последний раз, он сел на шхуну, на борту которой стоял небольшой вельбот с мотором, и ушел вместе с шаманом в море.

На душе у него было скверно. Кэмби смотрел на уходящие вдаль дома Номы и нервно курил трубку за трубкой. «Вы один вместе с вашими бациллами гриппа-испанки будете представлять на вражеском берегу целую армию», — мысленно передразнил он мистера Маккинга. «Тебя послать бы с этой армией!» — подумал Кэмби и злобно сплюнул за борт.

Но вот Кэмби представилось, как он через год или два снова выстроит торговую факторию на Чукотском берегу, и ему стало легче.

Это были радужные мечты, и Кэмби даже замурлыкал себе что-то под нос, искоса поглядывая на Мэнгылю, угрюмо попыхивающего медной трубкой.

В советские воды шхуна войти не решилась. Матросы спустили на воду вельбот, и Кэмби вместе с Мэнгылю оставили шхуну.

Льды были сравнительно редкими. Кэмби показалось, что ему начинает везти уже с самого начала. По крайней мере, в этом он пытался уверить себя, чтобы как-то заглушить неутихающий страх перед неизвестностью.

— А как ты думаешь, Экэчо не пройдет мимо? Разве возможно встретиться вельботу и байдаре в этих бесконечных льдах, не разминувшись? — спросил Кэмби, дергая Мэнгылю за рукав кухлянки.

Шаман несколько минут всматривался в даль своим единственным глазом, затем равнодушно ответил:

— Встречались раньше, может, и сейчас встретимся...

— А может, и не встретимся? — забеспокоился Кэмби.

— Может, и не встретимся, — все так же равнодушно отозвался Мэнгылю. — Тогда прямо туда поедем. Я уже говорил, что там в потайном месте стоит яранга Экэчо... В пещере. Туда увезу тебя. Я не один раз из той пещеры забирал пушнину, приготовленную Экэчо. В прежние времена легко это было. А сейчас трудно, очень трудно — пограничники следят.

Мысль о пограничниках не давала покоя и Кэмби. «Хорошо, если я в байдару Экэчо пересяду: охотник возвращается с промысла домой. Кто станет среди убитых нерп искать меня! — подумал было он, но тут же отбросил эту успокоительную мысль. — Да-да, черт побери, могут поискать! Говорят, советские пограничники очень глазастые...»

Настроение у Кэмби ухудшилось. А когда подул ветер, гоня откуда-то с запада, как раз на вельбот, огромную массу плавучих льдов, на Кэмби напал страх.

Льды становились все гуще и гуще. Мотор пришлось выключить.

— Толкай, толкай льды багром! — закричал Мэнгылю. — Толкай сильнее, если не хочешь, чтобы вельбот раздавило!

Обливаясь потом, изнемогая от усталости и страха, Кэмби работал багром.

Выбрав развилок в огромной льдине, Мэнгылю направил в него вельбот. Вход в развилок закрыло другой льдиной. Вельбот оказался в относительной безопасности.

Целые сутки несло куда-то вместе с льдиной вельбот Кэмби и Мэнгылю.

Но вот ветер постепенно начал утихать. Значительно замедлился дрейф льда.

Мэнгылю, попыхивая своей трубкой, начал что-то высматривать во льдах.

...Путь Гоомо и Чумкеля, пльвших к Счастливому бе-

регу, был необычайно труден. У хрупкой кожаной байдары, попавшей в полосу плавучих льдов, уже во многих местах были сломаны ребра остова. Гоомо и Чумкель порой выскакивали из байдары, затаскивали ее на плавучую льдину и начинали отталкиваться баграми, упорно двигаясь на льдине все вперед и вперед.

Целые сутки шла эта неравная схватка между людьми и стихией Ледовитого океана. На вторые сутки льды наконец поределели, выбирать разводья стало легче. Все чаще и чаще всматривались беглецы в сторону Чукотского берега: не попадутся ли вельботы или байдары с чукотскими охотниками?

— Смотри, вельбот! — резко выбросил руку вперед Гоомо.

Чумкель вскопился на ноги, всмотрелся в указанном направлении и увидел во льдах вельбот.

— О-го! Го! Го!.. — закричал Гоомо, складывая ладони рупором.

Сидевший на руле Чумкель направил байдару к вельботу. По лицу его пробежала тень недоумения.

— Всмотрись хорошо. В этом вельботе, как кажется, сидят Кэмби и шаман Мэнгылю! — вполголоса воскликнул он. — Может, мне чудится это?..

Гоомо мгновение всматривался и вдруг схватил винчестер:

— Да-да, Чумкель, ты правду сказал: это Кэмби! Это тот самый Кэмби, который сажал людей в черную машину.

— Не понимаю, — недоумевал Чумкель, — зачем ему и этому сумасшедшему Мэнгылю вздумалось отправиться по нашему пути?

— У них, кажется, мотор не работает: видишь, они там возятся, — сказал Гоомо, вытирая рукавом кухлянки ствол винчестера. Немного помолчав, он добавил: — Они тоже идут к Чукотскому берегу. Разве не ясно, что они не могут прийти туда как друзья? Они идут как враги! Их надо поймать, обязательно поймать!..

Расстояние между байдарой и вельботом быстро сокращалось. Уже отчетливо была видна коренастая, приземистая фигура Кэмби, вставшего во весь рост на носу вельбота с винчестером в руках.

— Я не хочу, чтобы этот волк кого-нибудь из нас убил! — промолвил Чумкель. — Обидно умирать сейчас, когда уже так близко родная земля!

Крепко сжимая в руках винчестер, Гоомо промолчал. Он не сводил глаз с Кэмби. Не успел тот вскинуть винчестер, как Гоомо выстрелил. Кэмби взмахнул руками и выронил свой винчестер в воду.

— Хорошо, Гоомо! Хорошо! — обрадовался Чумкель.

Где-то сзади послышался гул мотора. Гоомо резко обернулся и вскрикнул:

— Катер!.. Смотри, там катер!..

Гоомо не ошибся. Это был действительно советский пограничный катер. Оставив в стороне байдару, он быстро направился прямо к вельботу, смело лавируя по разводьям между льдинами...

Офицер-пограничник чукча Айванго беседовал с Гоомо и Чумкелем. Взволнованные, они спешили наперебой высказать все, что накопилось у них за долгие годы жизни на чужбине.

А в одном из отсеков кубрика шел предварительный допрос Кэмби и Мэнгылю.

— Так, значит, вы решили бежать от прелестей американской свободы к нам, в Советский Союз? — спросил высокий, сухощавый офицер, обращаясь к Кэмби.

— Да-да, сэр офицер, я уже больше не мог жить там. Возможно, эти люди, которых вы выбрали вместе с нами, и плохое обо мне скажут, но вы не верьте им. Вы спросите вот у этого, — Кэмби показал на Мэнгылю, — он тоже чукча, сэр офицер; он скажет, что я неплохой человек, сэр офицер...

Офицер поморщился и, прямо глядя в глаза Кэмби, сурово сказал:

— Вот что, мистер Кэмби, а по новой кличке Семен Гаранин... — Заметив, что брови Кэмби изумленно поползли на лоб, офицер подчеркнул: — Да-да, по новой кличке Семен Сергеевич Гаранин. Укажите, в каком именно из ваших отделений саквояжа находятся ампулы с бактериями гриппа-испанки. Нам нужно особенно осторожно обращаться с этим пакетом.

Кэмби молчал.

— Как видите, нам уже все известно, — спокойно продолжал офицер. — Вы думали, что вас на советском берегу встретит Экэчо, а вышло, что встретили вас мы.

— Но как, как все это вам стало известно?! — Кэмби приподнялся было и тут же безвольно опустился снова.

— Как стало известно, это вас не касается, — сухо отрезал офицер. — А вот что нам неизвестно, поторопитесь сообщить сами. Сейчас это в ваших интересах.

Шаман Мэнгылю, сгорбившись, смотрел своим единственным глазом на растерянное, потное лицо Кэмби и чувствовал, как у него самого все сильнее и сильнее дрожали колени.

— А скажите, — почему-то повеселев, спросил офицер, — когда в вас выстрелили, винчестер вы обронили в воду с перепугу? Так, что ли?

— И с перепугу и оттого, что пуля этого Гоомо раздробила приклад, — неохотно ответил Кэмби, стараясь не смотреть в лицо офицеру.

— Да, меткость поразительная, — с довольной улыбкой протянул офицер. — Ну, ну, так я вас слушаю...

НА СЧАСТЛИВОМ БЕРЕГУ

Кэргыль сидел в своей комнате. Вдоль ее стен тянулись верстаки, на которых лежали инструменты, моржовые клыки, куски дерева для моделей. Целая система точил с шестереночной передачей была укреплена на верстаках, стены были увешаны связками расписанных клыков, полки заставлены готовыми изделиями. Там были фигурки оленей, полярных медведей, собачьи и олени упряжки, курительные трубки, чернильные приборы, замысловатые шкатулки...

Перед Кэргылем была разложена шахматная доска с расставленными на ней фигурами — это выточил Кэукай из моржового клыка. По лицу старика бродила добрая улыбка. Порой он брал какую-нибудь из фигур, тщательно рассматривал ее, одобрительно причмокивая губами. «Ай, какой косторез будет, хороший косторез будет! — думал он о Кэукае. — Лучшее меня научится кость резать. Он же совсем еще мальчик, а уже такое сделал...»

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел его внук Тынэт. Кэргыль хотел было взять посох и огреть как следует внука за то, что тот помешал ему думать, но Тынэт схватил старика за руки и поднял.

— Ты... ты чего это, полоумный? — возмутился Кэргыль. Тынэт бережно усадил деда, схватился рукой за сердце:

— Сиди... не волнуйся только... Послушай радостную весть!.. Боюсь, что у меня самого выскочит сердце!..

Ничего не понимая, Кэргыль напряженно уставился в возбужденное лицо внука.

— Так вот... меня просили, чтобы я не сразу... чтобы ты не сильно волновался...

— Да скажешь ты наконец или нет?! — Кэргыль пошарил руками, разыскивая посох.

— Не могу больше!.. — Тынэт рывком расстегнул пуговицы на гимнастерке. — Пограничный катер с моря привез Гоомо... и моего отца! Скоро они здесь будут...

Кэргыль часто-часто замигал глазами, привстал было, хотел сказать что-то, но почувствовал, что во рту у него совсем пересохло.

— Дай, дай мне... — Старик сделал неопределенный жест рукой, совсем забыв простое житейское слово «вода».

Тынэт бросился исполнять желание деда — схватил посох. — Пить, пить дай! — расвирепел Кэргыль.

Тынэт побежал в свою комнату, хотя графин с водой стоял здесь же, на тумбочке.

Когда он вернулся в комнату деда, расплескивая из стакана воду, то увидел, что Кэргыль, закрыв лицо руками, плачет.

Тынэт тихонечко вышел...

Перед глазами Кэргыля в несколько минут пробежала вся его трудная, долгая жизнь. В памяти мелькало молодое лицо Чумкеля, и рядом тут же вставал Тынэт, а затем их лица как-то сливались, потом раздваивались снова.

— Так где они? Скоро ли сюда придут?.. — Кэргыль встал, удивляясь тому, что не видит в комнате Тынэта. — Уж не заснул ли я на стуле и не приснилось ли мне все это?..

Старику стало страшно. Он поспешно шагнул к двери, но в это время на пороге показался Эттай.

Шумно передохнув, Эттай закричал:

— Едут! Едут!..

Кэргыль хотел побежать, но почувствовал, что ноги его не слушаются. Он беспомощно осмотрелся вокруг, нагнулся за посохом и заковылял к выходу.

Первое, что увидел старик на улице, — это скопление людей у правления колхоза. «Опоздал!» — пронеслось в голове Кэргыля.

Схватившись рукой за сердце, он почти побежал туда, где шумели люди.

Навстречу старику спешила Вияль. В праздничном наряде, взволнованная, со слезами на смеющихся глазах, она выглядела сейчас как-то по-особенному молодо.

— По телефону сказали... Едут, скоро будут... — задыхаясь, промолвила она, протягивая к Кэргылю руки.

А у правления колхоза уже побывавшие на заставе Таграт и Виктор Сергеевич рассказывали собравшимся людям подробности встречи с Гоомо и Чумкелем.

— Почему они с вами вместе не прибыли? — крикнул кто-то из толпы.

— Нельзя так сразу, — объяснял Виктор Сергеевич. — Сначала они должны пограничникам все рассказать, почему бежали к нам, как бежали. Потом, известно же вам, что с того берега злые люди к нам пришли, враги наши пришли, — так надо, чтобы Гоомо и Чумкель помогли пограничникам дознаться, с какой целью они сюда пробирались.

Чочой, напряженный и нетерпеливый, жадно слушал каж-

дое слово Виктора Сергеевича и Таграта, не забывая, однако, поглядывать на дорогу, по которой должен был приехать в поселок Гоомо. Ему казалось, что время тянется мучительно медленно. Мальчику нестерпимо хотелось, чтобы встреча с Гоомо произошла сейчас же.

И вдруг Чочой услышал слова о том, что злые люди, о которых говорил Виктор Сергеевич, — это мистер Кэмби и шаман Мэнгылю.

Чочой отшатнулся, словно от удара. «Кэмби здесь! Мэнгылю здесь! Что же это такое? Почему они здесь?» — вихрем взметнулись тревожные мысли.

— Вы не пускайте их! Ни за что не пускайте в поселок! — закричал Чочой, пробиваясь руками, головой, плечами к Виктору Сергеевичу и Таграту.

— Успокойся, Чочой, — услышал он голос Таграта. — Они шли к нам как враги, их и встретили как врагов!

Гоомо и Чумкель выехали с заставы в поселок Рэн на попутном автомобиле. Крепко вцепившись руками в борта машины, Гоомо жадно вглядывался в не забытые еще с детства родные места. Десятки картин далекого детства всплывали в памяти одна за другой. «Вот там я поймал в капкан первого в жизни песца... А вот у того каменного столба я однажды потерял свой нож...»

Машина мчалась по извилистой дороге. Ветер бил в разгряченное лицо Гоомо. Порой ему казалось, что он стоит на одном месте, а на него со стремительной быстротой надвигается что-то огромное, до каждой песчинки, до каждого кустика знакомое и родное.

Навстречу Гоомо двигалась его родная земля.

Чумкель сидел в кабине. Напряженно наклонившись вперед, он, казалось, всем своим существом рвался туда, где ждал его отец, где должен был встретить его сын. Сын, которого он ни разу в жизни не видел!

Машина с ходу сделала крутой поворот, и сразу, как на ладони, показался поселок. Гоомо резко наклонился. Он непременно хотел схватить своими глазами все, все сразу, что только можно было увидеть.

Автомобиль остановился. Гоомо прыгнул на землю, схватил рванувшегося к нему Чочойа за руки и, словно боясь, что кто-нибудь отнимет у него мальчика, которого он любил больше всех на свете, понес его куда-то в сторону, все сильнее и сильнее прижимая его к своей груди.

— Живой!.. Живой!.. Живой!.. — повторял он, словно

только этим словом мог выразить все, что было у него на душе.

Опустив Чочоя на землю, Гоомо присел перед ним на корточки и неуклюже вытер своими огрубевшими руками слезы радости на щеках мальчика. И Чочою было дороже всего на свете в эту минуту прикосновение грубых рук Гоомо к его лицу.

— Вон Вияль бежит! — встрепнулся Чочой.

Гоомо вскочил на ноги и действительно сразу узнал сестру, которую помнил еще девочкой.

Рот у Вияль был открыт в беззвучном крике. Она обхватила голову Гоомо руками и мгновение смотрела в его глаза, как бы спрашивая: «Это ты, мой брат Гоомо, тот самый Гоомо, которого я помню совсем мальчиком?..»

Гоомо шумно втянул в себя воздух, в котором ему почудились запахи далекого детства, и крепко прижался своей обветренной горячей щекой к влажному лицу сестры.

А Чумкель остановился перед застывшей толпой, преодолевая головокружение; окинул взглядом все лица и вдруг увидел перед собой словно выросшего из-под земли родного отца, протянувшего к нему руки...

Крики радости оглушили Чумкеля. Он увидел, что на него надвинулась взволнованная толпа, попытался рассмотреть среди молодых смеющихся лиц то единственное лицо, по которому он должен был узнать своего сына. Не знал Чумкель, что сын его стоял совсем рядом с ним, жадно вглядываясь в него.

Схватив протянутые руки Кэргыля, Чумкель крепко, по-мужски, обнял его и спросил:

— Отец, а где он? Где?

Кэргыль повернул голову в сторону Тынэта. Губы Чумкеля дрогнули. Он что-то хотел сказать, но слов не нашлось. Тогда он быстро-быстро ощупал руки и плечи Тынэта, ощупал цепко, словно этим жестом хотел сразу, в первое же мгновение приблизить к самому сердцу пока еще далекого и совсем неизвестного ему человека.

— Какой ты большой, какой сильный! Какой ты ловкий, быстрый, меткий, наверное! — наконец промолвил Чумкель в наступившей тишине.

Лицо Тынэта вспыхнуло ослепительной белозубой улыбкой. И в этой улыбке для Чумкеля вдруг ожило до последней мельчайшей черточки лицо жены, с которой его навсегда разлучили в тот давний проклятый день. И только в это мгновение он всем существом своим по-настоящему почувствовал, что у него действительно есть сын.

— Сын! — тихо промолвил Чумкель.

— Люди! — послышался громкий голос Таграта. — Идемте в наш клуб на большой праздник встречи!


Толпа всколыхнулась и направилась к клубу.

Гоомо поднял на руки своих племянников, Чочоя и Кэукая, и, увлекаемый толпой, пошел к большому дому, который назывался непонятным словом «клуб».

— Что это у вас за красные шарфики на груди? — спросил он, поглядывая то на Чочоя, то на Кэукая.

— Это не шарфики, это пионерские галстуки, — с какой-то особенной гордостью, озадачившей Гоомо, ответил Чочой. — Мы тебе расскажем. Мы тебе много-много расскажем и много покажем!



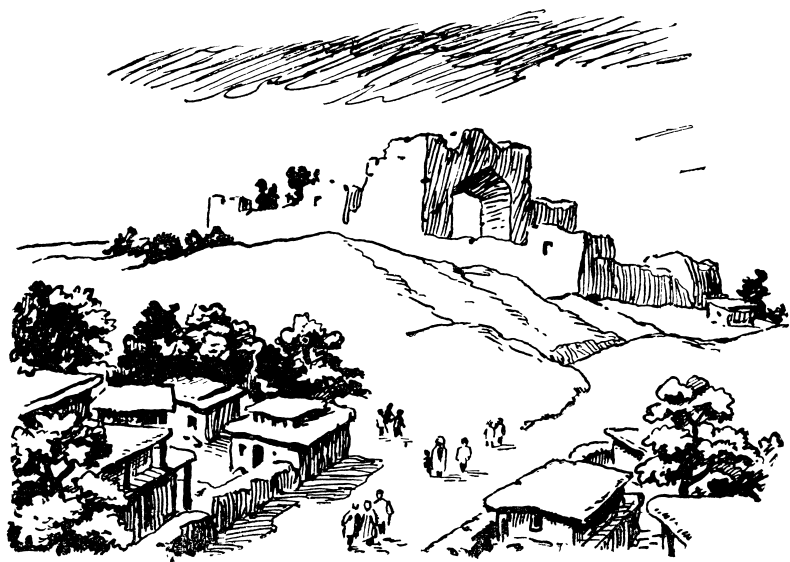


С. УЛУГ-ЗОДА

УТРО
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Повесть

*Перевод с таджикского
Веры Смирновой и Клавдии Улуг-Зода*



*Моим детям
Норе и Азизу
посвящаю*
Автор

НАШ КИШЛАК

Среди кишлаков, разбросанных вокруг городка Туса, наш кишлак самый большой. Он окружен зеленым кольцом густых садов и виноградников, а посередине его, на горе, высоко поднимаясь над кишлаком, стоит старая крепость Сари-Кала, обнесенная неровной глинобитной стеной со множеством бойниц.

С высоты Сари-Калы видна широкая дорога, словно петлей накинута на гору, видны улицы и улочки, идущие во все стороны. Они извиваются между бесчисленными квадратиками крыш, серое однообразие которых нарушается лишь торчащими тут и там карагачами, тузовыми деревьями и развесистыми чинарами с неизменным гнездом аиста на верхушке. Местами на крышах можно различить кукурузу, хлопок, урюк,

разложенные для просушки. В ближайших дворах виден дым над очагами, извилистой струйкой лениво ползущий вверх; фигурки людей деловито снуют между постройками; по дворам разгуливают телята, собаки и козы; привязанные к кольям лошади и ослы жуют брошенную им траву.

За этими дворами тянется весь кишлак, сливаясь с садами и пашнями, от которых разбегаются светлые ленты дорог, ведущих в соседние кишлаки и еще дальше — в городок Тус.

Если глядеть из бойниц в стенах Сари-Калы, наш кишлак кажется огромным, а соседние — совсем маленькими.

За этими кишлаками, за городком Тусом, где-то далеко-далеко протекала Сыр-Дарья. Самое название «Сыр-Дарья» — «Река Тайн» — звучало заманчиво и возбуждало желание увидеть ее.

По словам отца, Сыр-Дарья — самая большая река в нашем краю и такая широкая, что, если крикнуть с одного берега, на другом не услышат.

Крепость Сари-Кала с годами, наверно, стала бы совсем заброшенной, подобно древним развалинам в других кишлаках, если бы не поразительное явление природы: там, наверху, внутри крепости, из-под камней бьет ключ чистой, как стекло, и приятной на вкус воды. Летом вода в роднике холодная и удивительно освежает, зимой же становится теплой, как парное молоко. Когда в нашем кишлаке бывают заезжие, они всегда поражаются: как это на такой высоте мог появиться родник?

По деревянному желобу вода из родника течет в небольшой хауз — водоем — и, наполнив его, канавками растекается по всему двору крепости, а потом извилистыми ручейками сбегает вниз, в кишлак.

Вдоль стен Сари-Калы растут стройные тополя, густолиственные карагачи и огромные плакучие ивы, ветви которых склоняются до самой земли. Виноградная лоза, посаженная когда-то посреди крепости, широко простирает свои побеги в разные стороны и поддерживается целым лесом жердей. Летом тень от виноградника покрывает почти половину большой площади Сари-Калы.

Внутри крепости, против входных ворот, находится высокое здание мечети. Деревянные колонны ее террасы покрыты ажурной резьбой, стены украшены кружевом гипсовой лепки. По обе стороны мечети тянутся ряды худжр — келий.

Старые люди в кишлаке говорят, что мечеть и худжры в Сари-Кале построены знаменитым мастером Хаджи-Лейли, жившим когда-то в нашем кишлаке. Этот мастер, по преданию, умел делать из дерева удивительные вещи. Говорили, что

однажды он задумал сделать летающий чигрык¹ с крыльями и облететь на нем всю Фергану. Задумал — сделал, сел верхом на чигрык и полетел с обрыва Сари-Калы. Чтобы чигрык летел, надо было непрерывно крутить его ручку. Хаджи-Лейли скоро устал крутить свой чигрык и, долетев лишь до речки Шапарчи, что течет за нашим кишлаком, должен был приземлиться. Долго потом ломал он голову над тем, как устроить такой чигрык, чтобы ручка его сама крутилась при полете, но ничего не мог придумать и отказался навсегда от намерения облететь Фергану.

Я слышал от отца, что в давноминувшие времена на наш кишлак часто нападали кочевники-кипчаки, и тогда старики, женщины и дети укрывались в Сари-Кале, пока мужчины отгоняли врагов. Старая крепость была излюбленным местом наших мальчишеских игр. Мы любили играть в тени виноградника, смотреть сквозь бойницы глинобитных стен крепости на наш кишлак и на дороги, убегающие вдаль.

За стеной, позади мечети Сари-Калы, на площадке у обрыва ютилось несколько ветхих домиков. В одном из них жил Усман-полвон, человек замкнутый, необщительный, какой-то таинственный. Про этого богатыря ходили легенды: говорили, что он в один присест может съесть пятнадцать лепешек или целого барашка, а переправляясь через реку, берет своего ишака под мышку и переходит реку вброд. Когда губернатор задумал построить в степи большой канал и созвал людей на работу, Усман тоже пошел на канал и там работал так, что никто не мог за ним угнаться, и «князь губернатор» собственноручно надел на него халат... Прибегая в Сари-Калу играть, мы всегда заглядывали во двор Усмана-полвона. Высокий и широкоплечий, с нависшими на глаза густыми черными бровями, он обычно сидел на завалинке своего дома и точил серп с мотыгой, или плел веревку, или чинил разорванный мешок. Мы подходили к нему, с любопытством рассматривали его и спрашивали — правда ли то, что о нем говорят? Полвон никогда не отрицал ходивших о нем слухов.

У подножия крепости Сари-Кала и вблизи от нее построили себе дома некоторые богачи, но больше торговцы и ремесленники — бакалейщики, мясники, медники, ткачи, столяры. Дома выстроены по склону горы, один над другим, и к каждому двору ведут каменные ступеньки. Дальше начинаются кварталы с дворами дехкан, за которыми тянутся сады, виноградники и поля, засеянные пшеницей, просом, кукурузой и хлопком.

¹ Чигрык — станок, на котором отделяют хлопковые семена от ваты.

Такие же родники, как в Сари-Кале, бьют из-под земли в разных местах кишлака — в каждом квартале свой родник. Около родника устроены крытые купальни, в которые вода направляется по деревянным желобам, а потом сильными струями падает за перегородки каждой отдельной купальни, как душ. Перед купальнями, у самого родника, находятся обложенные камнями высокие и широкие глинобитные возвышения; они все четыре времени года покрыты, как ковром, густой зеленой травой. На этих возвышениях собираются жители кишлака отдохнуть и побеседовать, а дети — поиграть и покувыркаться на зеленой мягкой траве.

Кроме родников, достопримечательность нашего кишлака — тутовые деревья. Тутовник растет на улицах и во дворах. И когда летом входит в наш кишлак, сразу бросается в глаза пышная зелень тутовника, на него наталкиваешься на каждом повороте дороги, и часто за его густыми ветвями не видно домов. По стволу и веткам тутовника, растущего на улице, можно забраться на крышу дома, а с нее на верхушку этого многолетнего дерева и, сидя верхом на какой-нибудь высокой ветке, наслаждаться вволю белым, сладким, как халва, тутом.

Тутовые деревья на улицах не имеют хозяев, плодами их лакомятся птицы и дети.

Наш кишлак славится еще своим базаром. Во всей округе только у нас да в Тусе такой большой базар.

Среда — базарный день в нашем кишлаке. С раннего утра большая базарная площадь и прилегающие к ней улицы наполняются народом. Сюда стекаются торговцы и покупатели из окрестных кишлаков, из аулов горного Киргизстана, из Туса.

Киргизы пригоняют скот, везут на верблюдах и лошадях шерсть, уголь, хлеб. Из Туса привозят мануфактуру, обувь, женские украшения, сладости. Ремесленники нашего кишлака сбывают на базаре свои холсты, шелковые ткани, пряжу и разноцветные шелковые нитки. Вышивальщицы предлагают тюбетейки, сюзане¹, поясные платки. Дехкане торгуют зерном, свежими и сушеными фруктами. Шумно, назойливо зазывают к себе галантерейщики, с ними соперничают торговцы обувью — ичигами, кожаными калошами без задников, сапогами из сыромятной и хромовой кожи. Дехкане, привезшие на базар дыни и арбузы, выпрягают лошадей и располагаются под своими арбами с поднятыми вверх оглоблями — таким навесом они защищены от знойных лучей солнца. Гончары со

¹ Сюзане — вышитое покрывало.

своим громоздким и хрупким товаром — хумами¹, кувшинами, чашами — стараются привлечь покупателей, ударяя палочкой по расписным изделиям.

Тут стучат деревянными ложками, там продают сыпучий зеленый табак, разложенный пирамидками на разостланных платках...

Толпа ребятишек окружает продавцов ореховой жесткой или рассыпающейся волокнистой халвы; продавцы нишалло² раскладывают пышно взбитое белоснежное лакомство в пиалы или прямо на подставленную покупателем лепешку. С утра до позднего вечера из двух наших кузниц, находящихся вблизи базара, непрерывно раздается стук молотков. В чайханах бренчат дутары³, танбуры⁴, бубны; во весь голос распевают свои песни хафизы. А где-нибудь на окраине базара столпились зеваки — посмотреть петушиный или перепелиный бой. Азартные зрители громкими криками поощряют птиц-бойцов, которые клюют друг друга до крови, а хозяин победившей птицы получает заклад. Немного в стороне, на холме, находится скотный базар — здесь торгуют лошадьми, коровами, баранами и козами.

С одной стороны базарной площади на возвышенности красуется единственное каменное здание волостного управления — махкама, — крытое белым железом. Это особый мир — мир власти, непонятный, устрашающий человека, и бедный люд старается держаться как можно дальше от него.

Самая большая улица, берущая свое начало у кольца вокруг горы с крепостью Сари-Кала, через несколько минут пути выводит вас на холм, куда каждое утро дети пригоняют коров, телят и коз. Когда собирается стадо, пастухи гонят его вниз, на пастбище, и над кишлаком поднимается густое облако пыли, как завесой закрывающее дома, заборы, сады.

Начиная отсюда, широкая дорога идет на спуск, проходит между холмом и двумя кладбищами, огороженными невысокой, но очень толстой, в пол-аршина, глинобитной стеной. По этой стене мы даже бегали, как по дорожке. За стеной унылого и пустынного кладбища бесчисленные голые кочки и холмики заросли верблюжьей колючкой, и только кое-где видны торчащие шесты на могилах ишанов⁵ и «святых». Каждую пятницу кладбище наполняется женщинами, которые приходят оплакивать похороненных здесь родных и близких. Гром-

¹ Хум — большая глиняная корчага.

² Нишалло — взбитый белок с сахаром и соком сладкого корня.

³ Дутар — двухструнный музыкальный инструмент.

⁴ Танбур — трех-четырёхструнный музыкальный инструмент.

⁵ Ишан — высшее духовное лицо.

кие причитания и плач женщин, сидящих у могильных холмиков, сливаются в нестройный, печальный хор. А по дороге, мимо кладбища, в этот час мужчины в белых чалмах спешат на молитву в нашу соборную мечеть, находящуюся у подножия горы Сари-Кала.

Кладбищенские стены тянутся с двух сторон большой дороги и обрываются внизу, где вновь начинаются дома, деревья, улочки. Это наш квартал. Стена кладбища упирается как раз в первый дом нашего квартала. В этом доме живет Рахим-петух. Так звали его потому, что никто раньше его не вставал поутру. Еще затемно Рахим направлялся в свой сад и, проходя по улице с сынишкой на плечах, кричал петухом и будил соседей.

Посередине квартала находится мастерская плотника Додобоя. Створчатые ворота его просторной мастерской складываются втрое на железных петлях и открываются прямо на улицу. Сухощавый, крепкий старикашка с сильными руками и седой бородой, дядя Додобой не имеет семьи и живет при своей мастерской. С утра до вечера он пилит, точит, строгают, делая по заказу двери, помосты для сидения, деревянные замки с огромными ключами и запоры для дверей, гахворы — колыбельки для младенцев, сундуки, лари, шкатулки, крышки для котлов, жерди для развешивания одежды. Ни одна, даже самая маленькая постройка в нашем квартале не обходится без Додобоя.

Мы, дети, любим ходить к нему в мастерскую и смотреть на его работу. Мы знаем, что и Додобой нравится, когда у него собирается детвора. За работой он всегда нам рассказывает что-нибудь интересное. Особенно мы любим его за то, что он делает для нас разные деревянные игрушки: человечков, лошадок, верблюдов, «чижа» и палку для него с обточенной рукояткой. Девочкам он делает маленькие игрушечные колыбельки, обтачивает палочки, из которых они мастерят себе кукол: сложив палочки крест-накрест, обматывают их нитками и надевают на них платья-лоскутки. Как только Додобой сделает какую-нибудь игрушку, мы все бросаемся к нему и кричим:

— Дайте мне!.. Дайте мне!..

Он отдает кому-нибудь игрушку и говорит:

— Играйте все!

Мы приносим Додобой из дому кто горячую лепешку, кто чай в чайнике, кто кислого молока. Ни одна мать в квартале не отказывается угостить Додобоя.

Он не остается в долгу и делает все, что требуется для каждого дома.

Наш дом находится напротив мечети, недалеко от мастерской Додобоя. Под навес наших ворот выходит дверь мехмонхоны — комнаты для гостей-мужчин. Внутри она полутемная от копоти очага, находящегося посередине. С конца осени, когда вечерами в мехмонхоне собираются на дружескую беседу и трапезу приятели отца и соседи, в очаге ярко пылает огонь. Иногда к гостям-мужчинам в мехмонхону приглашались певцы и музыканты. Женщины, притулившись во внутреннем дворе у глухой стены, слушали музыку и пение — конечно, тайком, потому что им запрещено не только входить в мехмонхону, но даже слушать беседу мужчин. Чуть слышав шаги, женщины мгновенно и бесшумно удалялись.

Войдя в ворота, вы не сразу увидите наш двор и дом. Сначала надо пройти по узенькому проходу немного влево, а потом уже входить во двор. Это сделано для того, чтобы вошедший в ворота чужой человек нечаянно не увидел женщин во внутреннем дворе. За проходом перед вами открывается наш широкий, неровный, покаты́й к воротам двор с постройками, с большим карагачом и двумя суфами¹ под ним. В нижней части двора, ближе к выходу, в двух смежных комнатах живет дядя Обидходжа с семьей и престарелой матерью, моей бабушкой. В верхней части двора находится наш дом.

Под куполообразным, с толстым стволом карагачом неизменно летом и в теплые дни весны и осени на суфе сидит на пятнистой козьей шкурке наша слепая седая бабушка и прядет нескончаемую нить из ваты. Эту часть двора я никогда не представляю себе без бабушки. Унылое, монотонное чириканье бабушкиной прялки слышно уже от ворот. Глаза бабушки открыты и неподвижно устремлены вверх прялки в одну точку. Она ничего не видит, но всех обитателей двора безошибочно узнает по шагам.

В нашем домике только одна комната. К ней примыкает длинный айван², на который открывается узкая двустворчатая дверца; она заменяет и окно. Входная дверь с круглой дырой для деревянного замка — низенькая, отец входит в нее нагибаясь.

Глиняный пол в нашей комнате неровный: у дверей — ниже, там устроен очаг и ниша для дров; бо́льшая же часть пола приподнята и застлана циновками, старой кошмой и тоже очень старым красным ковром.

В этой верхней части комнаты в передней стене находятся две большие ниши. В одной из них стоит сундук, обитый кра-

¹ Су ф á — глинобитное возвышение.

² Ай в á н — открытая терраса.

шеной жестью. На сундуке лежат стопкой ватные стеганые одеяла и подушки. Каждый раз, когда мать отпирает сундук, замок издает мелодичный звон. Этот звон очень нравится мне, и я обижаюсь, если мать открывает сундук без меня. Во второй большой нише помещается деревянный ларь, в котором мы держим зерно и всякие продукты. За ларем в уголке стоит дедушкин посох. Его когда-то вырезал в горах из крепкого горного дерева илгай мой отец и привез в подарок деду. После смерти деда мы бережем этот посох как память о нем. Я люблю потихоньку брать посох и играть с ним во дворе, хотя отец и мать не разрешают мне этого.

В другой нише красуются большой фарфоровый чайник, в котором мать заваривает чай только для гостей; кувшин из красной меди, подаренный маме ее родителями; тут же стоят фарфоровая и глиняная посуда, почерневший от копоти светильник, лежат десять—двенадцать маминых старинных, истрепанных книг, стоит шкатулка-сундучок, в котором она хранит свои нитки и бумаги.

Под потолком в одном углу вде́та в виса́чие, плетенные из соломы петли гладко оструганная палка; на ней висит отцовский новый халат и поясной платок, а также мамины наряды — шелковый полосатый халат на подкладке и большой цветастый платок, которые были у нее еще до моего рождения и которые она надевает только в гости или на свадьбу.

В мехмонхоне мой отец часто играет для своих приятелей на дутаре. Я люблю не столько слушать музыку, сколько смотреть на играющего отца — как бегают по грифу дутара его быстрые пальцы, как другой рукой он ударяет по струнам. Мне хочется научиться играть на дутаре, как отец, но он не разрешает мне даже притрагиваться к инструменту — боится, что я сломаю его, оборву струны, потеряю чурочку из-под них, и мне приходится довольствоваться игрой на дедушкином посохе или на маминых щипцах для углей. Обычно я устраиваюсь на каменной приступочке айвана перед дверью и, с увлечением ударяя пальцами по воображаемым струнам, как настоящий дутарист, подпеваю сам себе какую-нибудь песню.

ОТЕЦ

Мой отец лет до сорока был полвоном — борцом. Это высокий человек со смуглым продолговатым лицом, с небольшой черной бородой, с быстрым, немного сердитым взглядом.

У него большие, очень сильные руки. Ходит он не спеша, тяжело ступая по земле огромными ногами.

После женитьбы, когда родился мой старший брат, Азизхон, отец уже не боролся, но всегда любил рассказывать нам о своих победах, одержанных им в разных состязаниях.

«Спина вашего отца никогда не касалась земли!» — с гордостью говорил он каждый раз.

Особенно жадно слушали мы рассказ отца про его победу над прославленным полвоном Амоном из кишлака Шоён. Хотя за отцом тогда уже числилось несколько блестящих побед и кличка полвона прочно пристала к его имени, однако сам он стал считать себя настоящим полвоном только после встречи с Амоном.

Они встретились на тое¹ в родном кишлаке шоёнского полвона. Амон боролся уже лет пятнадцать и никем еще не был побежден. Отец был лет на десять моложе его.

На той и состязание борцов собралось много народу из окрестных кишлаков. Даже крыши домов, заборы и высокие деревья главной площади Шоёна, где происходила борьба, были усеяны зрителями. Амон легко свалил двух приезжих борцов. Тогда на арену, полный веры в свои силы, вышел мой отец. Высокомерный Амон встретил его подчеркнуто любезно и с нарочитой почтительностью приветствовал молодого дерзкого полвона. Зрители посмеивались. Амон терпеливо ждал, пока отец накручивал на руку свободно болтавшийся поясной платок прославленного полвона.

Борьба началась.

Шоёнцы подбадривали своего земляка веселыми криками, добрыми пожеланиями.

— Долго мы ходили с ним по арене, крепко обхватив друг друга за пояс, — вспоминал отец. — Бычья, твердая шея Амона терлась о мою шею, могучая его грудь давила на меня, как каменная глыба. Три раза он поднимал меня к себе на грудь, желая бросить на землю, но я каждый раз успевал встать на ноги, крепко упереться в землю и не падал. Мне тоже удалось два раза поднять Амона, но он был выше меня ростом, и длинные ноги его с трудом отрывались от земли. Чувствую — в третий раз мне трудно будет поднять его. А шоёнцы все на его стороне, гикают, кричат, ободряя своего полвона. Меня же никто не хотел подбодрить, никто не бросил мне теплого слова...

Тут, рассказывал отец, он обхватил Амона за талию, чтобы испытать ее крепость, и почувствовал, что соперник поддается, что поясница у него не такая уж крепкая. Но вдруг Амон прижал отца к себе, понатужившись, приподнял его и

¹ То й — празднество.

тут же опустил на землю, словно сила его иссякла и он не мог не только опрокинуть соперника, но даже удержать в воздухе. Отец без труда устоял на ногах и подумал: «Хорош полвон — уже ослабел!» Но, оказывается, Амон хитрил, нарочно притворился ослабевшим: он хотел побереечь свои силы и измотать противника.

— Так мы боролись с полчаса, — продолжал отец. — Но вот Амон сильно сдавил мне поясницу своей железной рукой. Я подумал: «Вот только теперь начнется настоящая борьба». Раз, другой, третий он легко поднимал меня то на грудь, то на бедро и со страшной силой опрокидывал вниз, и понадобилась вся моя ловкость и изворотливость, чтобы удержаться и не падать. Наконец я почувствовал, что, если он теперь еще раз поднимет меня и бросит, я, пожалуй, не устою. Но он больше не пытался поднимать меня. Мы снова, держа друг друга за пояс, стали ходить по кругу. Тут я раза два попробовал поднять его, но он крепко уперся в землю своими длинными ногами. Тогда я ловко подставил ему под живот свое бедро и хотел опрокинуть его, но он опять удержался. Шоёнцы продолжали бурно ободрять своего полвона сочувственными криками. А я прислушиваюсь — никто не произносит моего имени, не ободряет меня, победы желают только Амону. Я почувствовал себя таким одиноким, что сам стал терять веру в победу, и боролся все хуже и хуже. Я чуть не плакал от обиды. «Хоть бы одна душа посочувствовала мне!» — думал я.

И вдруг из толпы раздался знакомый голос: «Сын мой, я здесь! Не бойся — ты сильнее Амона! Опрокинь его!» И отец увидел: впереди толпы, чуть сторбленный, с посохом в руке стоял мой дед. Длинная седая борода спадала ему на грудь. Пробив себе дорогу через толпу, величаво и гордо стоял он, ободряя отца словами и взглядом. «Крепись, сын мой! Нет полвона, который бы повалил тебя!» — говорил дед отцу.

И отец воспрянул духом, ожил, сил у него словно прибавилось. Амон не мог не почувствовать это и предложил: «Давай разойдемся, Умархон! Ни ты меня, ни я тебя». — «Нет, или я тебя, или ты меня!» — ответил отец и, собрав все силы, поднял Амона к себе на правое бедро.

От тяжести грузного полвона все жилы у отца напряглись. Он сделал вид, что хочет повалить своего противника на левую сторону, и Амон уже приготовился к этому, но отец мгновенным взмахом сбросил его к себе за спину. Амон не ожидал этого и навзничь грохнулся на землю.

— Тут я вскочил на него и придавил к земле так, что он не мог даже шевельнуться. Вот так я одержал победу над

прославленным полвоном Амоном из Шоёна! — торжественно заключал свой рассказ отец. — Народ что-то кричал, неистовствовал, но я ничего не слышал. Я бросился к вашему дедушке, обнял его и не удержался — заплакал. А он, поглаживая меня по спине, говорил: «Сила в теле еще не все — будь силен сердцем!»

В награду за победу отец получил шелковый халат и шелковый поясной платок. На голову ему надели новую тубетейку.

Мстительный полвон из Шоёна не мог простить отцу своего поражения и затаил злобу против него. Он стал искать случая отомстить своему победителю.

Между нашим кишлаком и Шоёном находится безводный пустырь Дашт. Дехкане обоих кишлаков, у кого нет земли или ее мало, каждый год, созывая народ на помощь, подводят воду к Дашту и сеют там хлеб. Работал на Даште и мой отец. И вот летом, во время жатвы, пришел на поле Амон и затеял ссору с отцом. Внезапно он напал на него и ударил кулаком по голове. Серп выпал из рук отца, в глазах потемнело, голова закружилась, но все же он удержался на ногах. Оправившись, отец дал сдачи Амону — тоже изо всех сил ударил его по голове. Амон не выдержал удара и упал.

Не знаю, что стало потом с полвоном из Шоёна, но мой отец всю жизнь страдал от удара его железного кулака: в летнюю жару у отца часто кружилась голова.

МОЯ МАТЬ

Мать была моложе отца лет на пятнадцать. Маленькая ростом, она едва доходила ему до плеча. Крепкая на вид, белолицая, с ярким румянцем, с гладким открытым лбом, большими карими глазами, мать легко двигалась и все делала быстро и бесшумно. Она очень любила, чтобы к ней приходили гости, и была готова созвать к себе всех женщин нашего квартала.

Как-то раз из Кургана, родного кишлака моей матери, приехала в наш кишлак молодая женщина навестить своего старого дядю. Мать сейчас же захотела пригласить землячку к нам в дом. Оказалось, что приезжая была дочерью той самой биби-отун¹, у которой мама училась грамоте в детстве.

¹ Биби-отун — женщина с духовным образованием, содержательница школы для девочек.

Отец почему-то не советовал матери приглашать приезжую, но как раз, когда они говорили об этом, внизу у ворот показались три женщины в паранджах.

— Это Нисохон! Сама пришла! — радостно воскликнула мама и побежала встречать гостью.

Мама нам рассказывала, что у Нисохон злой муж, он бьет ее, никуда не пускает из дому, а она — веселая, любит петь и плясать, ходить в гости к подругам и родственницам. И однажды муж в ярости отрубил ей топором пальцы на ногах...

Мне захотелось поскорее увидеть несчастную женщину, которой муж отрубил пальцы на ногах, и я побежал вслед за мамой. А отец быстро повернулся и, чтобы не смущать женщин, ушел в комнату дяди.

Гостыи открыли лица. С Нисохон были две ее двоюродные сестры, но я смотрел только на нее. Молодая, красивая, тонкая и стройная, с черными влажными глазами, в платье из зеленого атласа с белыми разводами, с длинными серьгами в ушах и коралловым ожерельем, она так шумно и весело здоровалась с мамой, что совсем не казалась несчастной. Я хотел увидеть ее ноги с отрубленными пальцами, но они были обуты в новенькие кауши¹.

Волей-неволей пришлось отцу раскошелиться, достать рис, баранье мясо, сало на плов и керосин для лампы. Мама сейчас же созвала соседок, и веселье началось.

Нисохон, сняв кауши, уселась на курпаче², и тут я увидел, что у нее на одной ноге не хватало двух, а на другой — трех пальцев.

Родственницы Нисохон, одна — уже взрослая девушка, другая — молодая женщина, обе приятные на вид и разговорчивые, развеселившись, попросили ее спеть. Нисохон охотно согласилась, но ей нужен был дутар. Отцовский дутар был в мехмонхоне, куда к вечеру собрались, как обычно, соседи и товарищи отца, и мама, боясь привлечь любопытство чужих мужчин, послала брата Азизхона за дутаром в соседний дом.

Аккомпанируя себе на дутаре, Нисохон запела громким и приятным голосом. Она пела печальную, надрывающую сердце песню, и в голосе ее слышались рыдания.

Зачарованный песней и чудесной игрой на дутаре, я сидел, прижавшись к матери, как вдруг со двора раздался сердитый голос отца, зовущий ее. Она бесшумно выскользнула из комнаты. Почуяв недоброе, вышел за ней на айван и я.

¹ Кау́ши — туфли без задников.

² Курпа́ча — узкое одеяло для подстилки.

— Скажи гостье, чтоб сейчас же замолчала! — гневно приказал отец. — Ее голос слышен в мехмонхоне. Она вводит в грех мужчин. Люди думают, что это поешь ты, моя жена. Мулла Зайниддин сказал: «Человек здесь отрешается от веры. Мне не место в мехмонхоне, хозяин которой позволяет своей жене распевать во всеуслышание!» Он покинул мою мехмонхону. Со стыда я готов был провалиться сквозь землю!

Мать растерянно и робко сказала:

— Но она гостья. Как я скажу этой несчастной женщине «не пойте»?

— Скажешь! С каких это пор ты стала противоречить мужу! — Отец размахнулся и ударил маму по лицу.

Я в страхе крепко вцепился в нее. Бедная мама схватилась за щеку и, не издав ни звука, вернулась в комнату. Она жалко, через силу улыбалась гостям.

— Извините, хозяин прислал за дутаром, — нашлась она и, беря лежавший возле певицы дутар, ласково добавила: — Как жаль, что нам помешали слушать вашу игру и пение... — И она унесла дутар.

Мама хотела таким образом прекратить пение, но гостья, видимо, не понимала этого.

— Ничего, я спою вам и без дутара, — сказала она, когда мама вернулась в комнату.

Певица взяла с дастархона¹ тарелку и, держа ее двумя руками и постукивая по ней пальцами, как по бубну, приготовилась снова запеть.

Женщины были рады слушать ее, но мама... Я посмотрел на нее — она была бледна, как белый платок на ее голове. Еще бы! За удовольствие прослушать новую песню сладкоголосой гостьи ее ждала жестокая расплата. Поспешно она налила в пиалу чаю и протянула певице:

— Выпейте чаю. Ешьте, пожалуйста, катламу². Вы совсем ничего не едите, — бормотала она, судорожно разламывая катламу и раскладывая куски перед гостьей.

— Спасибо, я уже ела, сыта, — отвечала та.

И вот красавица из Кургана, сузив темные блестящие глаза и сделав страдальческое лицо, снова запела с рыданиями в голосе печальную песню. Но теперь я уже не в состоянии был понимать, хорошо ли она поет: с жалостью смотрел я на маму. Бледная, она мученически улыбалась, губы ее дрожали, глаза тревожно перебежали с гостьи на дверь. Машинально она встала, пошла к двери, притворила ее плотнее, взяла чайник, на-

¹ Д а с т а р х о н — скатерть с угощением.

² К а т л а м а — слоеная, жаренная в масле лепешка.

клонила над пиалой, не замечая, что он пуст; при этом крышка чайника предательски зазвенела, выдав дрожь маминей руки. А певица заливалась звонкой надрывной песней, и женщины, как зачарованные, качали головами в такт. Мама же застыла на месте, ни жива ни мертва, прислушиваясь ко всякому шороху на дворе.

Вот и в самом деле послышались тяжелые отцовские шаги. Я не выдержал и быстро выскочил во двор навстречу отцу. В темноте он подходил к двери.

— Мама не просила петь тетю Нисохон, это она сама! — выпалил я скороговоркой.

— Позови мать! — грозно приказал отец.

— Папа, это сама тетя Нисохон...

— Зови, говорю! — прервал он меня.

Не помня себя от страха, я открыл дверь в комнату и помянул маму рукой. Она смотрела на меня огромными, испуганными глазами и не двигалась с места. Наконец она поднялась и медленно пошла к двери. А певица, ничего не замечая, пела еще громче, и голос ее, конечно, был слышен не только в мехмонхоне, но и на улице.

Крепко ухватившись за мамину руку, я подошел с ней к отцу.

— Делайте со мной что хотите, только потом... Дайте похорошему разойтись гостям, а потом хоть убейте меня! — умоляюще зашептала мама, не дав отцу ничего сказать.

Тяжело дыша, отец шагнул в сторону.

— Осрамила ты меня! — проговорил он и крикнул сердито — так, чтобы услышала певица в комнате. — Зачем так громко поют? На весь кишлак слышно. Люди могут подумать невесть что... Позор!..

Певица сразу умолкла, оборвав песню на полуслове.

Вернувшись в комнату, мама, заикаясь от смущения, стала извиняться:

— Ох, эти мужчины! Его отец, — она указала на меня, — сердитый человек... иногда в гневе забывает даже о приличии... Вы не принимайте это близко к сердцу, дорогая.

— Почему же вы раньше не сказали мне? — покраснев от обиды, сказала певица с укором. И печально добавила: — Ну что ж... Верно, и в самом деле мне не надо было петь...

Наступила неловкая тишина. Гости вдруг сразу поднялись и стали прощаться. Мама проводила их до ворот.

Я подумал с облегчением: «Вот хорошо! Теперь мама успокоится!»

Но мать вернулась в комнату грустная и молча стала складывать дастархон. И вдруг, упав на ковер, заплакала.

„ВЫПРОШЕННОЕ ДИТЯ“

С тех пор как я помню себя, у меня на голове болталась косичка. Я думал, что родился с нею. Заплетенная на самой макушке, эта злосчастная косичка, свисая из-под тубетейки, делала меня уязвимым в столкновениях с другими мальчиками и была причиной моих первых огорчений.

Она была мне помехой в наших мальчишеских схватках, когда мы изображали борцов. Рассказы отца о его победах и состязаниях разжигали в нас, его сыновьях, желание тоже быть полводнами.

Брат Азизхон — ему было уже тринадцать лет — из всех игр больше всего любил борьбу. Часто его можно было видеть на площадке во дворе мечети — напротив нашего дома — ухватившим за пояс кого-нибудь из своих сверстников. Он уже считал себя полводном, хотя далеко не всегда бывал победителем в этих схватках.

Весь в пыли, босой и оборванный, забегал он домой, только чтобы взять у матери кусок лепешки или горсточку урюка, и опять убегал на улицу бороться.

Мне шесть лет, и у меня свои товарищи. Подражая старшим мальчикам, мы тоже боролись, но у нас часто борьба кончалась дракой и слезами. Мальчики, с которыми я боролся, если не могли свалить меня, хватались за мою косичку, больно дергали ее, и я вынужден был сдаваться даже тому, кто гораздо слабее меня. Это огорчало меня до слез.

Плача, я пристаю к матери:

— Не хочу быть с косичкой! Срежьте ее! Почему у Махмуда и Солеха нет косичек?

Мать обнимает меня, прижимает к груди и, глядя по голове, говорит:

— Сыночек мой, те мальчики сами пришли в мир, а ты у нас — выпрошенное дитя.

Что значит прийти в мир самому и что такое выпрошенное дитя — я не понимал и очень жалел в душе, что не сам пришел в мир.

Позже я узнал, что у моих родителей после Азизхона было четверо детей, которые умерли совсем маленькими. Когда я родился, отец и мать, боясь, что я тоже умру, «посвятили» меня мазару¹ пророка Идриса, чтобы он был моим покровителем и заступился за меня перед богом, если богу захочется взять меня. Родители обещали «пожертвовать» пророку барана. Косичка была признаком моего «посвящения», и я мог избавиться

¹ М а з а р — могила святого.

ся от нее только после того, как отец сдержит свое обещание — зарежет барана на могиле святого.

Я ненавидел свою косичку и, может быть, сам срезал бы ее, но мать внушила мне, что этого ни под каким видом делать нельзя: если я срежу косичку до того, как отец зарежет барана в честь пророка, то тут же умру. Боясь умереть, я не трогал косичку. А у отца все не было денег, чтобы купить барана, принести его в жертву и избавить меня от ненавистной косички.

Однажды летом — мы жили тогда в нашем садике, на далекой окраине кишлака — я пошел домой навестить бабушку и отнести ей дыню.

Дома никого не было — дядя с женой, дочкой и племянницей Зеби работали на огороде. Только на дворе в тени карагача, на суфе, как всегда, сидела бабушка и пряла.

Колесо прялки, крутясь, издавало унылый, однообразный звук, такой же старчески хрипловатый, как голос бабушки. Открытые, невидящие глаза ее, как всегда, неподвижно уставились в одну точку поверх прялки.

Бабушка сейчас же узнала меня по шагам.

— Собир, ты? — перестав крутить прялку, оборачивается она ко мне.

— Вот, мама послала вам дыню.

— Подойди ко мне, внучек мой, обними меня. Наверно, ты совсем не соскучился обо мне, мой козленочек, а я вот соскучилась.

Я обнимаю ее. Она прижимает меня к себе худыми, слабыми руками, целует в голову, гладит по спине.

— Ну, пойдти, козленочек мой, принеси нож, нарежь дыню.

Я принес из ее комнатки нож и тарелку и стал угощать бабушку дыней.

— Рости большой, будь богатым, мой дорогой, — приговаривала она, разжевывая мягкую дыню беззубым ртом. — Я каждый день молюсь за вас, моих милых внучат, чтобы бог вас хранил и отвратил от вас все беды. Если б твой дедушка был жив, уж вот бы он порадовался на тебя! Твоего отца он любил больше всех сыновей, потому что твой отец уважал его и слушался. Приходит с улицы домой — первым делом зайдет к дедушке, спросит: «Отец, не нужно ли вам чего? Не сказать ли вашей невестке, чтобы приготовила молочную кашу?» В дальний путь соберется — придет к дедушке: «Отец, благословите на дорогу». Даже будучи в далеком краю, он не забывал о своем родителе: он привез из Чаткала дедушке посох из иглая — крепкий, точеный, тот самый, что стоит у вас в доме за сундуком. Вот за все это дедушка любил твоего отца больше всех остальных сыновей. Один раз в мехмонхоне дедушка

сказал ему: «Сын мой, когда ты заходишь ко мне, солнце греет мне спину».

Шесть старших братьев отца были от первой жены бабушки. Теперь они были уже пожилые. Самый старший, Исохон, после женитьбы переехал в Ташкент, там обзавелся домом; второй брат с семьей жил в соседнем кишлаке; один брат умер, а трое остальных находились в нашем кишлаке.

Хотя бабушка их вырастила и поженила, они относились к ней без уважения, и бабушка часто говорила:

— Хуже чужих — не зайдут никогда, не проведают. За то, что бабушка больше любил твоего отца, они, когда были молодые, отцу твоему завидовали, не раз даже хотели побить его. Твой отец хоть был моложе, но сильнее их, проворнее и не поддавался им. Однажды, когда еще бабушка был жив, они, шестеро, сговорились избить твоего отца, затеяли с ним ссору, напали на него, а твой отец поднял вот тот камень двумя руками... — Бабушка указывала пальцем, словно видела, на большой камень у порога своей комнаты, в несколько пудов весом. — Его поднять мог только он. И закричал: «Кто подойдет — убью!» Они испугались и не посмели подойти близко к твоему отцу...

Раскрасневшаяся на солнце, запыхавшись, прибежала с огорода бабушкина внучка Зеби, дочь моей тети по отцу, красивая девочка с болтающимися за спиной мелкими косичками, которые закрывали ее тоненькую шею и плечи, хохотушка и первая затейница в играх.

Приближалось время полуденной молитвы, и Зеби должна была принести бабушке воду для омовения, расстелить коврик для молитвы, отвести и посадить на него старушку. Зеби пять раз в день выполняла эту обязанность и, где бы ни находилась, никогда не забывала о ней.

Зеби трех лет лишилась матери, жила с бабушкой и росла у нас. Говорили, что отец ее жив, но она никогда его не видела — он жил со своей новой женой в каком-то другом кишлаке и не интересовался судьбой дочери.

Отведя бабушку в дом на молитву, Зеби стала показывать мне своих тряпочных кукол.

— Это оя. — Зеби называла мою мать «оя». — Этот мальчик — ты, а эта девочка — я сама. Оя учит меня читать.

Зеби сагает большую куклу на одеяльце, а перед ней на тряпочке — паласе — «себя» и «меня».

Услышав наши голоса, с улицы к нам во двор тотчас же являются Махмуд и Солех, мои закадычные приятели. Длинноногий Солех мастер вырывать волосы из лошадиных хвостов и делать из них силки для ловли воробьев. Махмуд же лучше

всех лазил по деревьям и заборам и ставил эти силки у воробьиных гнезд. И сейчас под его заплатанной рубашкой, подпоясанной платком неопределенного цвета, трепыхается пойманный воробей. Солех принес пять-шесть длинных волос, вырванных из хвоста пробежавшей по улице лошади. Мы натаскали из уличной канавки мокрой глины, слепили из нее воронкообразную форму, оплели ее конским волосом, так что получилась сетка, затем глину выбросили — и силок был готов.

В это время воробей Махмуда выпорхнул у него из-под рубашки и прыгнул в бабушкину корзину с ватой. Воробей был с подрезанными крыльями и не мог летать. Бабушкина кошка тотчас схватила воробья в зубы и убежала с ним в дом. Махмуд бросился за кошкой, хотел ворваться в комнату, где молилась бабушка. Зеби не пустила его. Он набросился на нее и стал бить. Я заступился за сестру. Махмуд ударил меня и пустился наутек. Я погнался за ним. Он вскочил на дувал¹, спрыгнул на улицу, через дувал схватил меня за косичку, дернул ее и не выпускал, пока я не заплакал от боли.

Так кончилась наша игра, и я ушел опять с горькой обидой, что из-за косички не мог нагнать драчуна и отплатить ему как следует. Злой на обидчика и на косичку, я вернулся в сад и с плачем сказал маме:

— Не хочу больше носить косичку! Срежьте ее!

Мама, как всегда, успокаивает меня:

— Подожди еще немного, сынок. Вот вернется отец от киргизов, купит барана — и тогда...

— Не хочу ждать, сейчас же срежьте!

— Что ты, сынок! А пророк Идрис? Ведь тогда он не будет заступаться за тебя — ты заболеешь и умрешь! — пугает меня мама.

Я не хочу умирать, и косичка опять остается у меня на голове.

Но вскоре я тяжело заболел. Смутно помню: лежу я в жару и чувствую — кто-то неприятно дует мне в лицо. С трудом открываю глаза и вижу над собой человека в чалме — козлиная борода, маленькие слезящиеся глазки, тонкая шея с выпирающим, как полено в мешке, кадыком. Это мулла Зайниддин.

Тут же сидит мой дядя Обидходжа.

— Скорее зарежьте какое-нибудь животное и помолитесь, иначе умрет ваш мальчик, — говорит мулла Зайниддин.

— Сейчас мы не можем этого сделать, таксыр², ведь отец

¹ Д у в а л — глинобитный забор.

² Т а к с ы р — господин.

его еще не вернулся, — раздается за дверью голос плачущей матери.

— Не ждите отца, сестра, если хотите видеть живым сына, — пугает маму мулла.

Тут вмешивается дядя:

— Мазар пророка Идриса далеко в горах, — почтительно говорит он, — дня два надо идти. Брата нет. Кто же пойдет туда?

— Не обязательно приносить жертву на мазаре, — живо отвечает мулла, — можно и у себя дома. Дух пророка везде. Не ждите брата, теперь же зарежьте барана. Позовите меня, я сам отрежу мальчику косичку.

Барана у нас не было, зарезали козленка, нашего единственного козленка, черно-белого, которого я очень любил и сам пас. Пришел мулла Зайниддин, с ним еще три человека в чалмах, и съели моего козленка.

На угощение ушла и вся пшеничная мука, которую намолотили из зерен, собранных братом Азизхоном на чужих полях после жатвы.

Мулла Зайниддин прочитал какую-то молитву и срезал мне ножницами косичку. Он ушел, унося под мышкой лепешки и куски мяса, заботливо увязанные мамой в платок.

Но мать не переставала опасаться за мою жизнь. Я уже поправился и встал с постели, но она не разрешила мне, как прежде, играть с товарищами, бегать, купаться.

Я избавился от косички, но меня ждала еще худшая беда — как говорится, спасался от дождя, а попал под желоб...

В один прекрасный день мать была как-то особенно ласкова со мной. Она даже позволила поиграть дедушкиным посохом.

И вот брат зовет меня с зеленой полянки около мечети, где я играл с товарищами. Прихожу домой, вижу — на айване сидят три чужие женщины, четвертая — моя мать. Она нараспев читает какую-то книгу.

— Подойди сюда, сынок, вот тети принесли тебе гостинцев, — говорит мама, как только я подхожу к айвану.

Женщины наполняют мою тубетейку орехами и фисташками. Одна из них сажает меня к себе на колени, говорит мне ласковые слова, прижимает к груди мою голову. Удивляюсь — чем понравился я этой чужой женщине? Вдруг чувствую острую боль в правом ухе... Дико кричу. Хватаюсь за ухо — пальцы мои в крови.

Мочка моего правого уха проткнута толстой иглой. К кровоточащей ране приложили кусок опаленной кошмы, потом присыпали пеплом.

Несколько дней спустя в ухе у меня появилась маленькая подвеска из нанизанных на нитку бусинок.

Как только я в первый раз вышел на улицу с подвеской, меня окружили мальчишки и стали кричать:

— Глядите, у него серьга! Девчонка! Девчонка!

Что могло быть хуже? Со слезами побежал я домой; говорю, что меня дразнят девчонкой, что я не желаю носить серьгу. Глядя меня по стриженной, уже без косички, голове, мама убеждает меня ласково:

— Подразнят раз-другой и перестанут. Серьгу надо носить, чтоб не умереть. Придет архангел Азраил вынимать из тебя душу, посмотрит, а у тебя серьга. Он скажет: «Я пришел вынуть душу мальчика, а тут — девочка». И уйдет Азраил — оставит тебя в живых.

Похоронив до меня четверых детей, мать старалась, как могла, уберечь меня от смерти.

А я не хотел умирать и волей-неволей должен был носить серьгу и терпеть насмешки мальчишек.

Товарищи не только дразнили меня «девчонкой», они дергали меня теперь за подвеску — и это было большее, чем за косичку. Один раз Махмуд так дернул за подвеску, что чуть не до конца разодрал мне мочку.

Но я все терпел. Ведь для того чтобы жить, нужно было претерпеть все муки — так думали мои родители и так думал тогда я сам.

НА ДУЛЮНЕ

Летом мы жили в садике, на канале Дулюна, версты за четыре от кишлака. Крошечный наш виноградник, вокруг которого росли молодые тополи, ивы, урюк, был огорожен низким дувалом. Жилищем для нас служит навес, сооруженный на краю виноградника. В сухую погоду мы спим на плоской крыше навеса, в дождливую спускаемся под навес. За виноградником лежит пять танапов¹ пашни. Этой землей, так же как и садом, мы владеем вместе с дядей Обидходжой и живем в саду поочередно: одно лето — наша семья, другое — семья дяди.

Прошлой осенью скупщики из Туса давали за хлопок высокую цену, поэтому отец и дядя посеяли на нашей земле гузу — местный сорт хлопка.

Сколько волнений и забот принес нам этот хлопок!

Уже весной прошел слух, что в нынешнем году цена на хлопок сильно упадет. В России восстали рабочие и солдаты,

¹ Танап — около четверти гектара.

свергли царя, воюют с царскими начальниками, в городах разруха, фабрики и заводы останавливаются. Огромные сараи хлопкоочистительного завода в Тусе завалены хлопком, но завод почему-то не работает. Поговаривали, что хозяин не хочет пускать завод и чего-то ждет.

Эти слухи сильно тревожили дехкан, посеявших хлопок.

Вечером, выпроводив нас с мамой на крышу, отец с дядей сами до полуночи просиживают под навесом, разговаривая о своих делах. До нас доносятся их голоса — разговор идет о хлопке, о скупщике Мавляходже, о войне в России, о какой-то новой власти.

Но первая и самая большая забота была о воде. Хлопок надо поливать раз десять за лето, а воды не хватает. Даже в незасушливые годы, когда канал Дулюна бывал полным водой, мы с трудом получали ее. Наша земля лежит на краю киш-лачных пашен, у нижнего течения канала. Жди, пока «напьются» верхние соседи и мираб¹ соизволит пустить немного воды в нашу отводную канавку! А лето стоит сухое, и наше поле погибает от жажды.

Низенький, жалкий, наш хлопчатник начал желтеть раньше, чем на нем появились коробочки. Если не полить его в ближайшие дни, то он совсем сгорит.

Жители нашего кишлака резали на каналах баранов, коз и быков, совершали общие молитвы, прося у бога туч и дождя. Но дождя все не было.

Наконец где-то в горах соседнего Киргизстана прошли грозы с сильными ливнями — и у нас в Дулюне прибыла вода.

Мираб обещал моему отцу пустить воду на наше поле через три дня.

Целой вечностью показались нам эти три дня, но они прошли, а воды мы не получили: хлопковые и кукурузные поля зобатого бая Мирабдуллы еще не напились досыта, и мираб все отдалял нашу очередь.

Отец вернулся с канала мрачный. Отбросив в сторону мотыгу, он сидит на циновке под тополем, обхватив колени руками. Рядом на паласе, задрав кверху босые, загорелые, покрытые коростой ноги, лежит брат. Он то и дело вскакивает от боли: мать толстой иглой вытаскивает занозы, которыми он поранил себе ступни, собирая колосья на чужих пшеничных полях.

Посидев молча, отец вдруг встает, поднимает на плечи свою мотыгу и, ничего не говоря, исчезает за калиткой. Мать тре-

¹ М и р а б («начальник воды») — человек, распределяющий воду для полива посевов.

можно переглядывается с братом и посылает меня посмотреть, куда отец отправился.

Он идет по краю хлопкового поля прямо к Дулюне. Я сле-
дую за ним на некотором расстоянии. До канала надо идти с
полверсты.

На берегу с мотыгами на плечах расхаживают два знако-
мых дехканина: один высокий, крепкий на вид — Шариф, по
прозвищу Навча¹, другой низенький, плотный, с кривыми но-
гами — Хаит. Это чоряккору² бая Мирабдуллы. Оба босы,
штаны закатаны до колен. Они караулят воду.

Отец молча проходит мимо них к запруде большого канала
Дулюна, от которого идет канавка в сторону нашего сада.

— Эй, куда ты? — кричит Навча.

Отец словно не слышит окрика. Сильными взмахами мо-
тыги он открывает запруду, пускает воду в сторону нашего
поля.

Чоряккору, подняв свои мотыги, с руганью набрасываются
на отца. Я закричал от страха: они сейчас убьют его. Но отец
ловко ударяет ногой подскочившего к нему Хаита и сваливает
его в воду, а у Навчи выхватывает мотыгу и кидает ее через
канаву далеко в траву. Началась драка. Все трое стоят по ко-
лено в воде. Хаит и Шариф, вцепившись в отца, бьют его кула-
ками, отец отвечает им тем же. Получив еще удар ногой в
поясницу, Хаит опять падает, теперь уже на камни, с трудом
поднимается и отходит хромяя. У Навчи из носа течет кровь,
но он все дерется. Наконец и он отступил. Подняв свою моты-
гу, он уходит, погрозив отцу:

— Сейчас приведу хозяина и мираба! Вот пожалуюсь минг-
боши!³ Он тебе покажет, как своевольничать!

— Иди хоть к самому белому падишаху! — отвечает ему
отец, хотя царя уже больше нет.

Хаит, прихрамывая, плетется за Шарифом.

Вода с шумом течет по нашей пересохшей отводной канав-
ке. Скоро она дойдет до нашего поля, и надо будет направлять
ее по бороздкам к кустам хлопка. Дядя был далеко в кишлаке,
и отец говорит мне:

— Беги скажи матери: пусть выйдут с Азизом на полив.
Я здесь буду караулить воду.

Стремглав побежал я домой, передал маме и брату приказ
отца и вернулся: скоро явятся Мирабдулла с мирабом, не хо-
телось оставлять отца одного. Мне и любопытно и страшно.

¹ Навча — длинный.

² Чоряккору — издольщик, получающий четвертую часть урожая.

³ Мингбоши — тысяцкий; здесь: волостной управитель.



— Как ты смеешь красть чужую воду? — заорал мираб, грозно потрясая нагайкой.

Вода уже дошла до нашего хлопчатника, и мы с отцом видим издали, как мать и брат орудуют там мотыгами.

Но вот из-за зеленого кукурузника показались два всадника. За ними шел длинный Шариф.

Отец, в разодранной рубаше, с распухшей щекой, мрачный и решительный, при появлении всадников еще сильнее заработал мотыгой, заваливая камнями и дерном канал, чтобы вся вода текла на наше поле.

— Стой! Что ты делаешь? Как ты смеешь красть чужую воду? — заорал мираб, направляя прямо на отца своего красивого широкогрудого мерина и грозно потрясая нагайкой.

У мираба злое, заплывшее жиром лицо, с реденькой бородкой, с красным носом и красными скулами. Рядом с ним на высокой буланой лошади сидит толстый человек с острой, длинной, как кинжал, рыжей бородой и раздутым зобом. Это Мирабдулла. Он прохрипел своему чоряккору, указав плеткой на канал:

— Открой!

Длинный Шариф, войдя в воду, стал откапывать мотыгой запруду и забрасывать глиной наш отводный канал. Отец не мешал ему.

— Вы обещали дать мне воду сегодня. Надо же справедливость соблюдать. Моя гуза совсем погибнет, — пытается усювестить мираба отец.

— Я сказал — жди своей очереди! Ты самовольничал, украл чужую воду, избил людей! Завтра ты ответишь за это в махкаме! — зло кричит мираб.

Тронув лошадей, Мирабдулла презрительно бросил в сторону отца:

— Вор, голодранец! Я еще поговорю с тобой!

— Кто сам вор, тот и другого зовет вором! — кричит ему вслед отец.

В махкаму к грозному мингбоши отца не вызвали. Но вряд ли и сам мингбоши мог придумать для отца более жестокое наказание, чем то, что сделал мираб: он совсем лишил нас очереди на воду.

Добытая же отцом самовольно вода была для нашего хлопчатника словно капля росы для умирающего от жажды. А кто мог поручиться, что и без этого отцовского «самовольства» очередь на воду когда-нибудь дошла бы до нас?..

Отец ходил день-два сам не свой, мрачный, злой. На третий день он взял серп, перекинул через плечо мешок и пошел к киргизам наниматься на уборку хлеба.

Вернувшись из Киргизстана в конце лета, после жатвы, отец отправился в Ташкент — опять на заработки.

ПРОПАВШАЯ МУКА

Уже неделя, как отец уехал в Ташкент. Мы остались с матерью. Она ждет еще одного ребенка и почему-то часто плачет.

Бывало, прибежишь к ней с улицы и скажешь:

— Мама, я хочу есть!

Она подойдет к ларю, достанет горсточку урюка, джиды¹ или жареной муки, даст мне, а сама плачет. Плачет тихо, беззвучно.

— Мама, почему вы плачете? — спрашиваю я.

Она вытирает глаза широким рукавом платья, молчит.

Раз я с Солехом играл на айване в косточки, а в комнате сидела мама с женой дяди. Слышу — мама говорит:

— Он оставил нам всего полтора пуда муки. И, может быть, это на два месяца. Как жить? Как прокормить мне моих детей? Бедные мои дети! Только раз в день могут они есть горячую похлебку, и то не всегда. Видишь, как мой Собир с каждым днем худеет? Ой, как я боюсь, как я боюсь: зачахнет мой сынок и помрет! Не выживу тогда. — Мама опять плачет. — Ох, как трудно, как трудно! Я хотела собрать девочек, учить их грамоте, чтобы какая-нибудь была помощь семье, но он запретил мне это. Говорит: «Не пристало нам, простым дехканам, заниматься таким делом. Люди будут говорить, что жена Умархона стала учить девочек ради приношений». Ты ведь знаешь, какой он гордый.

— Да возьмет бог эту нашу бедность! — Жена дяди к каждому слову прибавляла: «Да возьмет бог». — Ты не горюй, ведь сказано же: «Если будет сорок лет мор, то и тогда умрет только тот, кому срок пришел», — успокаивает она маму.

Я очень жалел мать. Но чем помочь ей — не знал. Однако я подумал, что смогу ее успокоить, чтобы она хоть за меня не тревожилась. Перед отъездом в Ташкент отец разрешил мне снять серьгу. Сейчас я вытащил ее из маминой шкатулки, вдел ее в ухо и подошел к матери.

— Это что? Зачем ты опять надел серьгу? — удивляется мать.

— Вы все плачете, боитесь, что я умру. Так вот я и надел ее — теперь не умру... Вы больше не будете плакать, мама?

Смахнув рукавом с глаз слезы, мама целует меня в голову и говорит:

— Ладно, сынок, я не буду больше плакать. Сними серьгу, а то мальчики опять будут дразнить тебя.

И сама вынимает из моего уха подвеску, кладет ее обратно в шкатулку.

¹ Джидá — съедобные сладкие мучнистые плоды.

Моя мать — грамотная, единственный грамотный человек в нашем дворе. Мама умела писать стихи и говорила, что выводит их из своего сердца. Бывало, сидит она на полу, на коврик, прислонившись к стене, держит на согнутом колене книгу, а на книге — узкую длинную полосу бумаги и, обмакивая тростниковое перо в глиняную чернильницу, медленно пишет на бумаге какие-то знаки.

— Мама, это вы выводите стихи из сердца?

— Да... Вот сейчас кончу и прочту...

Мы — Азизхон, Зеби и я — восторженно слушаем маму и удивляемся: как это она умеет подбирать слова, которые проникают в душу? А потом наперебой друг перед другом повторяем запомнившиеся строки.

Немало стихов «вывела из сердца» наша мать на длинных, приклеенных один к другому листах. Она складывала листы в свою шкатулку и бережно хранила.

Я любил дни, когда мама усаживала около себя нас троих — Азизхона, Зеби и меня — и начинала учить грамоте. Азиз и Зеби, закончив «алифбо» — азбуку, перешли уже к «Хафтияку» — книге для чтения, а я еще заучивал наизусть непонятные слова молитв. Я с нетерпением ожидал, когда мама и мне покажет буквы, которые она, когда учила брата и Зеби, чертила на гладкой дощечке.

Мама очень любила Зеби.

— Бог не дал мне девочки, ты будешь моей дочкой, — говорила она ей.

Бывало, мама сидит на курпаче, а перед ней — Зеби с мокрыми после мытья волосами. Она держит одной рукой перед глазами книгу «Хафтияк» с арабскими текстами, из которых не понимает ни одного слова. Станным, смешным голосом, нараспев, отвечает она заданный урок своей учительнице. Другой рукой она гладит тощую серую кошку. Мать гребешком разделяет длинные волосы Зеби на пряди и заплетает ей множество мелких косичек. Потом Зеби кладет «Хафтияк» на подушечку, берет кошку на колени и задает маме вопрос, который задавала уже много раз:

— Оя, вы видели мою маму, да? Расскажите, какая она была.

И мать повторяет Зеби уже много раз сказанное, но говорит так, будто впервые приходится рассказывать девочке о ее матери:

— Ох, милая, если бы ты знала, какая хорошая у тебя была мама! Она была добрая, сердечная женщина: не только на людей, даже вот на кошку никогда не повышала голоса. Даже маленьким детям, вот как Собир, и тем говорила «вы». А ка-

кая она была красивая! Кто ее видел хоть раз — хотел видеть еще. Очень грамотная была твоя мама. Любую книгу она могла хорошо прочитать и не запиналась совсем... Много стихов наизусть знала: Бедиля, Хафиза, Навои...

— А я смогу быть как моя мама, оя? — мечтательно спрашивала Зеби, блестя влажными глазами.

— А как же, милая! — отвечала мать, вплетая ватные закруточки в концы косичек Зеби. — Она для того и оставила тебя на этом свете после себя, чтобы ты потом была как она, — серьезно уверяла мама девочку.

Зеби бóльшую часть дня проводила у нас. Она была выдумщица на игры, с ней было весело. Нравилась мне и ее преданность маме. Она всегда, без всяких просьб со стороны мамы, сама помогала ей. Видит, мама хочет мести пол, — Зеби подбегает и берет у нее из рук веник; соберется мама варить обед — Зеби уже несет дрова и разводит огонь в очаге.

Но однажды мама нечаянно обидела девочку, и Зеби так переживала обиду, словно это было настоящее, большое горе.

Вот как это случилось.

Мы с Зеби сидели на моем любимом месте, на приступочке у нашей двери, выходящей на айван. Зеби одевала свою куклу и пела песенку, а я, держа в руках дедушкин посох, воображал себя играющим на дутаре.

Мать возилась в комнате у очага.

— Собир! — слышится вдруг ее испуганный голос.

Вскакиваю, подхожу к ней. Мать стоит у корчаги, держась за голову обеими руками, лицо ее бледно, в глазах отчаяние.

— Нет муки! Пропала мука!

Я поднимаюсь на цыпочки, заглядываю в корчагу. В самом деле, муки осталось чуть-чуть, на самом дне, не больше четырех-пяти фунтов.

— Кто мог взять? — спрашивает мать.

— Я не знаю, — в полной растерянности говорю я.

Появляется встревоженная Зеби. Мать с надеждой смотрит на нее:

— Может, ты взяла, Зебихон? Ты говорила — у вас с бабушкой мука кончается.

Зеби словно остолбенела. Выронив куклу, обеими руками схватилась она за воротник платья.

— Что вы, оя? Разве могла я... без спросу?

— Но кто же тогда мог взять ее? Ну, может быть, ты взяла просто так... нечаянно? Скажи, я не стану бранить тебя.

Зеби смотрела на маму широко открытыми глазами и не могла вымолвить ни слова. Потом губы и щеки ее затряслись, задержались, и она, бросившись на пол, завопила:

— Чтобы я... взяла... украла... Пускай мои руки отнимутся!.. Пусть я умру!..

— Ну, не плачь, я верю тебе, ты не брала, я знаю... Это я просто так спросила, — пыталась успокоить ее мать, но бесполезно.

Зеби рыдала и причитала. Потом она встала и, еще громче рыдая, ушла к бабушке. В ту минуту мне больше было жаль Зеби, чем пропавшую муку, и я был недоволен мамой. Как она могла подумать на сестру.

Вор обнаружился на другой день. Но оскорбленная пусть даже минутным подозрением, Зеби два дня не выходила из бабушкиной комнаты, не хотела видаться ни с кем из нас, пока мать сама не пришла к ней, и они помирились при бабушке.

Когда обнаружилась пропажа муки, брата не было дома, он еще накануне ушел в соседний кишлак Қзыл-Тепа к тетке. Назавтра, когда он вернулся, мама была на кладбище. В этот день, в пятницу, она оплакивала своих умерших детей.

Смотрю — у брата из-под рубашки висят кончики узких ремешков, какими обычно украшают кожаные футляры поясных ножей.

— Ака¹, ты достал нож? — радостно бросился я к нему и поднял край его рубахи, чтобы полюбоваться его приобретением.

Азизхон давно мечтал о ноже. Нож на поясе — гордость мужчины, особенно молодого. Он уже украшал пояса многих сверстников брата. Не раз Азиз приставал к отцу с просьбами купить и ему нож, но отец все откладывал покупку — ножи были дороги. Отец говорил Азизу: «Тебе еще рано носить его».

И вот теперь вдруг у брата появился нож, исполнилась его заветная мечта. Я был рад этому не меньше, чем он сам, потому что Азиз обещал мне, когда у него будет свой нож, вырезать из дерева вистульки, разных зверей и птиц и сделать дудочку из тростника.

Но сейчас брат почему-то оттолкнул мою руку и не дал рассмотреть свой нож.

— Никому не говори дома, что у меня есть нож. Ладно? Тогда я сделаю тебе лошадку, чижа, все, что захочешь.

— А где же ты его достал? — поинтересовался я.

— Нашел... По дороге из Қзыл-Тепы.

— Ну что ты, ака? Такие ножи на дороге не валяются. Кто-нибудь дал тебе поносить?

— Может, и дали... Только ты не говори маме, что у меня есть нож.

— А почему не говорить? Разве от мамы можно скрывать?

¹ Ака — обращение к старшему брату.

— Не говори, — растерянно повторил Азизхон и добавил: — Если не скажешь, потом этот нож отдам тебе, а отец мне купит другой. А скажешь — я на тебя так рассержусь... по-бью тебя... ухо отрежу!..

У меня возникло смутное подозрение, хотя мне трудно было подумать, что брат мог украсть муку в собственном доме.

— А ты знаешь, что у нас пропала мука?

Брат резко отвернулся, но я заметил, что он покраснел.

Подозрение мое усилилось.

— На кого же мама подумала? — запинаясь, спросил он.

— Она не знает, на кого и подумать... А не ты взял муку, ака?

— Что ты! — испуганно отступил на шаг от меня Азизхон.

— Это ты взял муку и обменял ее на нож! Ой, ой, что ты наделал? — Я заплакал и побежал к кладбищу.

Издали я заметил маму среди женщин, плакавших у могильных холмиков; она, как всегда, сидела у могилки моего старшего брата, умершего перед тем, как она «выпросила» меня.

Я подождал ее у пролома в кладбищенской стене, через который обычно выходили плакальщицы.

Вот мама спустилась с кладбищенского пригорка. Мы пошли домой. Глаза у мамы были красные, распухшие от слез, и я не решился сказать ей о своих догадках.

Мы уже не застали брата дома, он опять куда-то исчез.

— Азизхон оставил здесь какой-то нож, — сообщила нам бабушка, — сказал: «Пусть мама отнесет его к Султан-Мергану и возьмет у него муку».

— Что? Муку? Какой нож?.. — заволновалась мама, не понимая, в чем дело.

Я передал ей мой разговор с братом. Слушая меня, мама в первую минуту как будто обрадовалась — ведь пропавшая мука нашлась! Но потом, поняв истинный смысл случившегося, она испугалась, запричитала:

— Горе мне! Мой сын... мой сын стал вором! О боже, какую еще беду пошлешь ты на мою несчастную голову?! Ведь он знал, что это у нас последняя мука, мы должны ею кормиться до возвращения отца... Жестокий мальчик! Избить, прогнать тебя из дому — мало... Как я пойду в чужой дом и скажу: «Мой сын украл у меня муку, верните мне ее»? Мою голову ты пригнул к земле, каменносердый!..

— Ты сама виновата, — корила ее бабушка. — Ты никогда его не наказываешь, все ему прощаешь. Вот недавно он утащил лепешку у меня из корзинки. Я тебе пожаловалась, а ты даже не поругала его. Все поешь ему: «Мой сыночек! Мой кра-

савчик! Мама все для тебя сделает!» Вот он каким становится, твой красавчик! Ему не жалко ни матери, ни отца, ни братишки, он только себя любит.

Бабушка говорила правду — мама очень баловала Азиза. Я был уверен, что, появившись сейчас брат, мама не наказала бы его, а стала успокаивать: мол, не огорчайся, сыночек, не расстраивайся, ничего особенного не случилось, — словно не он, а она была виновата.

Нож отнесли к Султан-Мергану, мука была возвращена. Прошло два дня — брат не появлялся. Мама, однако, не беспокоилась — мы знали, что он у тетки в Қзыл-Тепе. Прошло еще несколько дней — он не возвращался: видно, ему все же было стыдно. Мама почти уже забыла о проступке брата и только приговаривала:

— Бедный мой мальчик, наверно, мучается, терзается теперь! Да проглотит земля бедность нашу! Если бы не бедность, разве я пожалела бы для него какой-то пуд муки?..

Она раздобыла кусочек черного атласа и начала вышивать тюбетейку — спешила, работала днем и ночью. Я думал: наверно, хочет продать тюбетейку и купить нам какие-нибудь продукты. Но мои догадки не оправдались. Когда тюбетейка была готова, мама отдала ее дяде — продать в среду на базаре и на вырученные деньги купить... нож. Мама вручила дяде еще и те несколько монет, которые с давних пор берегла в своей шкатулке.

Купленный нож был с рукояткой из бычьего рога, в кожаном футляре.

Накинув на ишака войлочную попону, мы сели на него — мама впереди, я за ее спиной — и отправились в Қзыл-Тепу.

На пыльной улице кишлака дети играли в чижа. Среди них мы увидели брата: нагнувшись, он собирался подхватить из лунки чижа и ударить по нему палкой.

Я спрыгнул с осла и закричал:

— Ака! Эй, ака!

Брат обернулся, узнал меня и оставил чижа. Палка не то выпала у него из рук, не то он бросил ее, и он, босой, тоненький, медленно, с виноватым видом зашагал в нашу сторону. Подошел и остановился в нескольких шагах от нас, шмыгая носом и не смея поднять глаз от земли.

Мама сошла с ишака, бросилась к брату, обняла его, прижала к груди.

— Не огорчайся, сынок, я тебе купила красивый нож. Повесишь себе на пояс и будешь с ним ходить.

Брат молча смотрел в землю и принимал ласки и утешения матери как должное.

А я думал: увидела бы это бабушка! «Вот, вместо того чтобы пристыдить, ты ласкаешь его!» — сказала бы она...

Мне не понравилось, что мама так легко простила брата. Но я не мог упрекать маму ни в чем.

Под вечер мы возвращались из Кзыл-Тепы домой. Азизхон и я ехали на ишаке, а мама следовала за нами пешком.

МИРЗОДИКАК

Отец обещал вернуться из Ташкента через сорок дней. Сорок дней прошло, а его все не было. Мы с братом каждый день выходили на дорогу встречать отца. Усевшись на самом высоком месте холма, где по утрам пастух собирал стадо, мы глядели на дорогу — не покажется ли отец? А он все не появлялся.

На сорок третий день, устав смотреть на дорогу, расстроенные, мы уже собрались идти домой, когда из-за поворота дороги, у подножия холма, показался отец. С хурджином через плечо, он шел быстро — видно, спешил: ведь дома уже давно ждут его!

Мы стремглав побежали ему навстречу. Опустив мешок на землю, отец обнял меня и Азизхона. Мы забросали его вопросами: почему не приехал на сороковой день? Много ли в Ташкенте заработал денег? Каких привез гостинцев?

— Тебе, сынок, я привез одну диковинку, — таинственно сказал мне отец. — А ну-ка, догадайся! Не догадаешься. Дома покажу.

Дома на суфе под карагачом собрались все обитатели нашего двора. Отец вынимал из хурджина куски материи, жесткие бублики, пиленый сахар... Я с нетерпением ждал, когда он вынет диковинку. Однако отец, словно забыв о своем обещании, отложил в сторону хурджин.

— Папа, а диковинка?

— А вот... — Отец, смеясь, указывал на бублики и сахар — Разве это плохие гостинцы?

Я был разочарован. Все это вовсе не диковинки — сахар и бублики он привозил и раньше.

Отец стал угощать нас. Я, Азизхон, Зеби и дядины дети набросились на гостинцы. Мама и жена дяди тоже попробовали их. Только бабушка сидела в стороне — она даже не захотела до них дотронуться.

— Они нечистые — их касались руки кофиров¹, — говорила она, хотя не видела, что это за гостинцы.

¹ К о ф и р — неверный, немусульманин.

Вдруг я замечаю рядом с собой странную штучку, невесть откуда появившуюся: сидит на суфе, поджав ножки, вытаращив синие глаза, розовый гладкий человечек, ростом с морковку, и тихонько покачивается. Невольно я шарахнулся в сторону. Отец весело смеется.

Я догадываюсь, что это и есть «диковинка». Незаметно отец поставил ее рядом со мной.

— Познакомься! Это хороший мальчик, только немного упрямый — не любит лежать, а только сидит. Никто не может положить его. — И отец несколько раз пригибает голову игрушки к земле, но, как только он отпускает руку, «диковинка» моментально поднимается и опять сидит.

— А как его зовут? — спрашиваю я, взяв игрушку в руки.

— Как зовут? — Отец на мгновение задумывается. — Он не сказал мне своего имени... Мы назовем его... знаешь как? Мирзодикак¹.

Все засмеялись. Это имя и в самом деле очень подходило к игрушке.

Мирзодикак с этого дня стал моим первым другом. С ним я совсем позабыл о силках и ловле воробьев. Сколько веселья, радости и смеха было нам, детям, от забавного Мирзодикака!

Мы пугали им людей, которые не знали, что это такое. Приходит к нам кто-нибудь из родственников или соседей, а я незаметно ставлю перед ним Мирзодикака. Гость от неожиданности вздрагивает, откидывается в сторону, а я хохочу, мне весело.

Однажды зашел к нам Алиходжа, странный человек, всегда сонный, апатичный, очень трусливый, боявшийся всяких джиннов и дэвов². За дастархоном, когда Алиходжа был занят разговором, я незаметно поставил ему на колено Мирзодикака. Увидев его, Алиходжа сильно испугался и даже вскочил на ноги, а Мирзодикак, быстро приняв свое любимое положение, сидел на полу и покачивался из стороны в сторону. Я, захлебываясь от смеха, поднес игрушку близко к Алиходже; он попытался, стал отмахиваться от нее длинными рукавами своего халата, как от скорпиона.

А как-то раз Мирзодикак попал в мечеть и вызвал там целый переполох. Мечеть, отгороженная от двора деревянной решеткой, всегда оставалась открытой, и мы, дети, нередко заходили в нее и даже играли на молитвенных ковриках, разостланных поверх мягкой кошмы.

¹ Мирзодикак — ванька-встанька.

² Джинн, дэв — нечистый дух, чудовище.

Я и Солех задумали погугать Мирзодикаком муэдзина¹. Незадолго перед началом полуденной молитвы мы посадили Мирзодикака в мехраб — нишу, куда имам во время молитвы склонял голову, касаясь лбом пола, а сами спрятались за решетчатой перегородкой, в высокой траве. Смотрим и ждем... В молельню вошел с метлой в руке муэдзин — худой старикашка, раз в день подметавший мечеть. Начал мести. Подойдя к мехрабу, он вдруг остановился и замер. Мирзодикак преспокойно сидел в непочтительной позе, поджав под себя ножки и вытаращив на муэдзина свои синие глаза.

— Это... что такое? Ты откуда тут появился? Не джинн ли, а? — проговорил тот и кончиком метлы потрогал «джинна».

Мирзодикак повалился на бок и тут же выпрямился, словно давая понять помощнику имама, что он совсем не боится его.

— Ишь ты! Ему охота сидеть! — доносится до нас голос старика.

Мы с Солехом, поджимая животы, беззвучно смеемся.

С улицы во двор мечети вошли три человека, один из них — мулла Зайниддин. Мы с Солехом спрятались в сухой траве. Мулла прошел в мечеть и увидел согнувшегося над Мирзодикаком муэдзина.

— Таксыр, какой-то джинн забрался в мехраб!

— Какой джинн? — Мулла тоже склонился над Мирзодикаком и воскликнул: — Ах, это? Игрушка неверных! Ее Умархон привез из Ташкента своему сыну. Уберите эту нечисть прочь отсюда, она оскверняет божий дом!

— Таксыр, я только что мыл руки для молитвы, не хочу их осквернять, — говорит муэдзин с опаской.

Тогда сам мулла Зайниддин, обернув руку длинным рукавом своего халата, осторожно взял Мирзодикака и понес его из мечети с таким видом, словно это была змея или ящерица.

В это время снизу, со стороны родника, показались, вытирая после омовения руки и лицо своими поясными платками, мой отец и дядя.

— Умархон! Не стыдно вам, мусульманину, привозить своему ребенку такую нечисть? — сказал мулла моему отцу. — Ваш сын забросил ее в мехраб? Мечеть осквернена!

Отец и дядя, не удержавшись, засмеялись. Уж очень смешон был почтенный мулла, брезгливо державший бедного нашего Мирзодикака концом рукава своего халата.

¹ Муэдзин — помощник имама (священника), который созывал людей на молитву.

— Это простая детская игрушка, — говорит отец, улыбаясь, — она никак не может осквернить мечеть.

— Как — не может? Всякая вещь, сделанная кофирами или побывавшая у них в руках, есть нечисть, — авторитетно заявляет мулла и брезгливо кидает Мирзодикака далеко к дувалу.

Муэдзин стал созывать молящихся. Еще не умолк его крик, а пришедшие на молитву уже сидели с опущенными головами. Улучив момент, я вылез из канавки, не видимый за высокой травой, схватил сиротливо сидевшего под дувалом Мирзодикака и стремглав побежал прочь.

Только уже на улице, когда Солех догнал меня, мы, не стесняясь, дали себе волю и долго хохотали.

В другой раз Мирзодикак попал в хурджин разносчика, поехал с ним на базар, и разносчик чуть было не продал его одному приезжему. Хорошо, что мы с братом вовремя спасли нашего любимца, а то он попал бы в чужие руки.

Было это так. Один знакомый разносчик из соседнего кишлака торговал деревянными гребешками, нитками, иголками, сурьмой, черным варом для зубов, медным купоросом, жевательной смолой и всяким мелким товаром. По средам он приходил пешком в наш кишлак, отдыхал у нас, а потом отправлялся на базар.

В один из таких базарных дней, утром, когда торговец вместе с моим отцом пил чай в нашей комнате, а его хурджин с товаром лежал в нише на айване, брат Азизхон, указывая на хурджин, сказал мне:

— Давай подсунем Мирзодикака к нему в хурджин и попугаем разносчика. Придет он на базар, начнет вынимать свой товар, наткнется на Мирзодикака и испугается.

Я не соглашался:

— А вдруг он забросит нашу игрушку куда-нибудь или продаст?

— Да нет же, я тоже пойду на базар. Если хочешь, и тебя могу взять с собой. Мы будем около лоточника и не дадим пропасть Мирзодикаку.

Мы всунули игрушку в хурджин и незаметно последовали за разносчиком на базар. У разносчика было свое постоянное место — под деревом, напротив лавки, где продавались ичиги и кауши. Он уселся, разостлав перед собой большой платок, и стал раскладывать на нем свой товар. Мы с Азизхоном, спрятавшись за дерево, наблюдали за ним.

Не торопясь он засовывает руку в хурджин, вынимает одну за другой разные вещицы. Вдруг рука его замирает над платком — в ней наш Мирзодикак. Торговец изумленно смотрит на

него, моргает глазами, недоуменно пожимает плечами. Он сбит с толку, озадачен: такого товара у него не было. Потом, улыбаясь, он кладет нашу игрушку на край платка. По своей привычке, Мирзодикак сейчас же вскакивает и, качаясь из стороны в сторону, точно дразнит лоточника. Тот снова кладет его на бок, он снова поднимается. Видно, упрямство Мирзодикака нравится торговцу. Он опять и опять валит его на бок, на спину, но Мирзодикак ни за что не хочет лежать, он желает только сидеть.

Нам с братом это зрелище очень нравится. Проходит несколько минут, и вот один из покупателей подходит и замечает Мирзодикака. Присев на корточки, он берет его в руки, разглядывает.

— Что это? — спрашивает он удивленно.

Тут разносчик, к крайнему нашему изумлению, начинает объяснять покупателю, что это за штука. Мы слушаем — и не верим своим ушам, ничего подобного за Мирзодикаком мы не знали.

— Это замечательная штучка! — с живостью говорит торговец покупателю. И продолжает скороговоркой: — Называется она Каравулак-Хесташинак. Все сидит — не лежит, караулит; не говорит — слушает; смотрит — не моргает; спать не любит — сидит и все замечает. Он может делать то, чего ни одно создание, имеющее душу, сделать не в силах. Где есть Хесташинак, скорпион и змея не появляются: боятся его. Если вы спите и около вас сидит Хесташинак, вы никогда не проспите время молитвы — обязательно проснетесь когда надо. И еще: вы в гневе можете избить невинных ваших детей или жену, но если в это время ваш взгляд упадет на Хесташинака, то гнев тут же покинет вас. Вот какие чудесные свойства у этого Каравулака-Хесташинака! Купите! Дорого за него не прошу. Он попал ко мне от одного паломника — я отдал за него целого барана. Паломник принес его из Истамбула! Купите! А ну, поторгуемся!

Разносчик вообще был мастер на выдумки, умел говорить складно, а тут он превзошел самого себя.

И наш Мирзодикак наверняка был бы продан, если бы в это время мой брат не подбежал и не вырвал его у лоточника. Так Мирзодикак снова вернулся ко мне.

И все же через несколько дней после этого Мирзодикак погиб: брат Азизхон нечаянно наступил на него сапогом и раздавил его.

Голова Мирзодикака была расплющена, туловище расколосось. Тут он в первый раз сам лег на спину и больше уже не поднялся.

ПОКИДАЕМ КИШЛАК

Я сижу на черном ишаке поверх нагруженных на него вещей и жду не дождусь, когда мы выйдем на дорогу. Рядом, под карагачом, стоит серый ишак; на него тоже нагружены вещи, его держит за узду Азизхон.

Из бабушкиной комнаты доносятся голоса — там наши родственники, пришедшие проводить нас в дальний путь, прощаются с моим отцом и матерью. Слышен плачущий голос бабушки.

— Доведется ли еще увидеться? — говорит она. — Я надеялась, что ты меня и похоронишь сам, мне недолго осталось жить... Какие недобрые времена настали! Люди должны покидать родные места, идти на чужбину... Храни, создатель, моего сына, моих внуков и мать их от горя и невзгод в чужом краю!..

Как долго прощаются отец и мать! У меня уже нет терпения ждать их. Скорее бы выехать! Ведь не сегодня-завтра я увижу поезд, потом Сыр-Дарью, а потом и Ташкент, о котором так много интересного рассказывал мой отец. А пока доберемся до поезда, я все время буду ехать на ишаке — накатаюсь вдоволь.

Черного ишака мы взяли у соседа. Он сильный, быстроногий, громкоголосый, не такой, как наш серый ишак. Наш — старый, понурый, безразличный ко всему, и на дороге, когда его останавливают, он тут же начинает обнюхивать землю, норовя лечь.

Из бабушкиной комнаты выходят наконец мать с трехмесячным моим братиком Мухтаром на руках, отец, за ними вся родня.

Зеби, идя за матерью, горько плачет.

— Возьмите и меня, оя! — умоляет она. — Я не хочу оставаться без вас, я буду тосковать!

Она бросается к моему отцу, обеими руками хватая его руку:

— Дядя, вам совсем не жалко меня? Возьмите меня с собой!

Отец гладит ее по голове, говорит ласково:

— Я и сам хотел бы взять тебя, но как быть с бабушкой? Ведь она и дня не проживет без тебя. Подожди, вот мы устроимся в Ташкенте, потом я приеду и заберу вас.

Но Зеби не успокаивается, плачет навзрыд. Мама обнимает, целует девочку, стараясь успокоить ее. Мне тоже очень жаль расставаться с сестренкой, но сейчас я больше думаю о том, что увижу поезд и Реку Тайн.

Мать с помощью отца влезает на серого ишака, поудобнее



Прощание наконец закончилось, и мы трогаемся в путь.

устраивается поверх вещей, берет на руки под паранджу бра-тишку Мухтара.

Прощание наконец закончилось, и мы трогаемся в путь.

Мой черный ишак бойко идет впереди. За ним плетется серый, его погоняет палкой Азизхон. Позади шагают отец с дядей. Идут молча.

Дядя время от времени громко вздыхает: он не хочет, чтобы мы уезжали, наш отъезд кажется ему ненужным, рискованным. Еще сегодня утром он уговаривал отца отказаться от переезда в Ташкент, но отец никогда не отказывался от задуманного.

Когда мы выезжали из кишлака, дядя еще раз сказал отцу:

— Слушай, пока не поздно, может, передумаешь, а? Лучше быть всем вместе. Уж как-нибудь проживем.

— Что ты, с ума сошел? — рассердился отец. — Играем мы, что ли? Раз я решил — все. Возвращаться не буду!

Отец увозил нас в Ташкент под страхом надвигающегося голода. Засуха уничтожила посевы дехкан. Мешок сушеного урюка из нашего сада на Дулюне отец оставил дяде, пообещав ему позже прислать денег из Ташкента.

Ташкент — большой город. Там у отца есть знакомые, там живет со своей семьей старший брат отца Исохон. На первое время мы можем остановиться у них. Ташкентским баям нужны работники — там отец сможет прокормить семью. Это лучше, чем остаться в разоренном страшной засухой, голодном кишлаке, где в некоторых семьях уже начали есть жмых вместо хлеба.

Мы двигаемся по каменистой степной дороге. Кишлак остался позади. Стоит хмурая погода. За сплошным серым, подобным пыли, туманом не видно ни неба, ни солнца. В воздухе чувствуется дыхание надвигающейся зимы, и дующий порывами холодный ветер гнет к земле желтые травы на берегу высохшего канала. Вокруг нас, по краям огромного пустынного поля, там и сям темнеют кишлаки с торчащими над ними оголенными, сучковатыми карагачами и чинарами. Кишлаки кажутся издали покинутыми развалинами.

Мне уже надоело ехать на беспокойном и упрямом ишаке. Он то и дело беспричинно орет; увидит где-нибудь на поле другого ишака, вытягивает вперед морду и с криком бежит к нему, а когда отец или дядя палками стараются повернуть его на дорогу, он брыкается и чуть не сбрасывает меня. Вцепившись обеими руками в гриву ишака, я с трудом удерживаюсь. На ишаке нагружен почти весь наш скарб, вдобавок он везет и меня, но это ему нипочем. Когда он не отвлекается, то идет быстро, так что шило, которым я вооружился для понукания

его, мне совсем не понадобилось. Я даже с трудом сдерживаю ретивого ишака уздой.

Наконец мне надоела эта тряска, и я заявил, что хочу слезть на землю и идти пешком. Вместо меня на черного ишака сел брат Азизхон.

Немало хлопот доставлял нам и серый старый ишак. Как нарочно, он выискивал самую плохую дорогу — то шел по буграм, то по камням, обязательно лез в грязь или в канавки, и отец с дядей все время ударами палки поворачивали его на середину дороги. Как только мы останавливались где-нибудь на минутку, серый ишак нюхал землю и норовил лечь. Мама пугалась, звала нас. Кто-нибудь подбегал и палкой заставлял ишака отказаться от его намерения.

В одном кишлаке мы сделали небольшую остановку для отдыха, сняли с ишаков поклажу и пустили их пастись. Черный ишак тотчас же набросился на серого, стараясь укусить его за шею, бил его грудью, а сам орал, как будто били его. Но тут, к нашему удивлению, ленивый серый ишак показал драчуну и задире свой характер. Он вдруг повернулся к черному задом и давай лягать его ногами в морду, в живот, куда попало. Задира сначала сделал было вид, что ему нипочем эти удары, однако потом не выдержал и с визгом отбежал в сторону. С этого часа он присмирел и даже не приближался больше к серому.

Солнце зашло за гору, когда мы прибыли на железнодорожную станцию. Она находилась на пустынном месте. У самого полотна стояло маленькое кирпичное здание с красной крышей, а поодаль от него, с краю дороги, низенький, глинобитный домик — чайхана.

Отец и дядя стали сгружать вещи и вносить их в чайхану, а мы с братом, забыв об усталости, тут же побежали к рельсам.

Я стоял меж двух блестящих рельсов. Они тянулись в одну и в другую сторону от станции и терялись в бесконечной дали. До темноты мы бегали по ним, пока наконец не показались очень далеко два огонька. Подошедший к нам отец сказал, что идет поезд и что огоньки — это глаза поезда. Огненные глаза все увеличивались и неслись прямо на нас.

Мы пошли с отцом к станции. Вдруг с гулом и грохотом возникло из темноты черное, гладкое, пышущее жаром чудовище фантастической величины. По рассказам отца, я считал поезд живым, но сказочным существом. Первым чувством, вызванным у меня поездом, был страх. Ведь в сказках всякое чудовище нападает на человека и пожирает его. А тут этот черный «дэв» фыркал, шипел и грозно мчался прямо

на нас. Раздался невероятной силы рев. Я крепко вцепился в отца. Весь задрожав, я спрятал голову под полу отцовского халата.

— Не бойся, он ничего тебе не сделает — паровоз добрый, послушный! Он сейчас остановится, и шум затихнет, — успокаивал меня отец.

Поезд остановился. Грохот утих, и страх у меня прошел. Я с интересом стал разглядывать паровоз и длинный ряд домиков, которые он притащил.

Отец раньше говорил мне, что паровоз ест уголь и пьет воду, и теперь я всерьез искал глазами, где у него пасть, живот и ноги.

— Папа, а как же он ест уголь? Где у него рот?

— Он же не живой, его сделали люди из железа.

— Нет, он живой! — возразил я отцу, не желая расстаться со своим сказочным представлением о паровозе.

Но, всматриваясь внимательно, я и сам убедился, что чудовище действительно «сделано».

Я стал думать: «Если паровоз делают люди, то почему его до сих пор не сделали в нашем кишлаке? Ведь как удобно было бы нам тогда возить на нем все, что надо, из нашего дома до сада на Дулюне и из сада в зимний дом, а также ездить на нем и самим!»

Когда мы сели в поезд, я спросил об этом отца.

— Поезд сделан русскими, — разъяснил он мне, — они знают тайную мудрость этого дела, а мы не знаем. Если мы откроем эту тайну, тогда и мы сможем сделать поезд.

Тайная мудрость эта рисовалась в моем воображении талисманом, как в сказках, которые рассказывали мне бабушка и мать. Я воображал, что талисман тайной мудрости был спрятан где-то в горах, в глубоких, никому не известных пещерах.

«Значит, русские нашли этот талисман?» — думал я.

Хотелось и мне найти его.

Сев на черного и погоняя серого ишака, дядя поехал обратно в кишлак, а нас поезд повез в далекий Ташкент.

Все, что я видел в поезде: мужчины в шапках, белолицые женщины без паранджи, и этот странный музыкальный инструмент, немного похожий на мех в кузнице, который издавал приятные звуки, когда молодой человек с длинными вьющимися волосами то сжимал, то растягивал его в руках, и эти возникающие иногда за окном и быстро убегающие назад столбы с огоньками — все было ново, неожиданно, интересно.

Мне даже казалось странным, что братишка Мухтар кричит и плачет в поезде, как в нашем кишлачном доме. Только

его плач и напоминал мне, что я нахожусь на земле, среди настоящих людей, а не в сказочном мире.

Но вот гул и треск от колес вагонов стал затихать, за окном медленно поползли назад частые огоньки на столбах. Отец сказал взволнованно:

— Мост через Сыр-Дарью!

Мы с Азизхоном прилипли к окну. Там, внизу, под нами, протекала река, которую не видно было в темноте. Только в одном месте свет от фонаря тускло осветил полосу текущей воды — это и была Река Тайн, которую я так мечтал увидеть. Как я жалел, что мы проезжали реку ночью! Мы долго ехали по мосту, и река показалась мне невообразимо широкой. А молодой человек с вьющимися длинными волосами, очевидно поняв, что мы говорим с братом о Сыр-Дарье, сказал нам на ломаном узбекском языке, что есть реки в несколько раз больше Сыр-Дарьи и что таких рек немало на свете, — он назвал нам эти большие реки. Я слушал его, и мир представлялся мне огромным и бесконечным.

В Ташкент мы приехали поздно вечером.

На вокзале отец нанял арбу, мы погрузили на нее наши пожитки, сели сами и поехали. Было опять темно, как в ту ночь, когда мы проезжали мост на Реке Тайн, и я жалел, что не мог увидеть Ташкент с его «бегущими и звенящими домиками», желтоволосыми женщинами, прогуливающимися по улице без паранджи. Но скоро я убедился, что жалеть было нечего. Арбакеш¹ вез нас по темным, кривым, безлюдным улицам, по обеим сторонам которых тянулись дувалы, за ними темнели сады, серели низенькие домики, ничем не отличавшиеся от дувалов, садов и домиков нашего кишлака. Неужели это и есть Ташкент, сказочный Ташкент, каким он, по рассказам отца, рисовался в моем воображении?

— Нет, это не Ташкент, это кишлаки вокруг него, — сказал отец.

Мы направлялись в Шивли — пригород Ташкента. Арбакеш вез нас по окраинам.

В полночь мы въехали в совсем узкую улочку, остановились у калитки. Отец постучал и крикнул, зовя кого-то. Из калитки вышли несколько мужчин, кто-то взял меня на руки и понес в дом.

Нас ввели в холодную комнату, которую тускло освещала подвешенная к потолку керосиновая лампа. Комната была похожа на нашу кишлачную и ничем не лучше ее. Человек, внесший меня на руках сюда, седобородый старик, звал меня

¹ Арбакеш — возчик.

«племяш», из чего я заключил, что это и есть мой дядя Исохон. Вошли мать с Мухтаром, отец и Азизхон и те незнакомые мужчины, которые встретили нас у калитки. За ними появились три женщины; одна из них — высокая, худая и чуть сутулая старуха. Мужчин было, кроме дяди, четверо, из них двое — смуглые, чернородые, как мой отец, другие — помоложе, с усами, все рослые и крепкие на вид. Это были сыновья дяди Исохона.

Все уселись вокруг дастархона, который разостлала одна из женщин. Она принесла и положила на дастархон какую-то странную дыню. Когда дядя стал ножом резать ее на ломти, я узнал, что это не дыня, а русский хлеб. Такого хлеба я раньше никогда не видел.

Больше ничего не запомнилось мне из той ночи — видно, я быстро заснул там же, где сидел.

ШИВЛИ

Утром я проснулся уже в другой комнате, такой же невзрачной, как и первая.

Рядом со мной под одеялом спал Азизхон. Надев свои сапожки и халат, я выскочил во двор — мне хотелось скорее посмотреть, куда же мы приехали.

Один из моих двоюродных братьев, сидя на корточках, колот топориком дрова. В углу двора прямо под открытым небом у дымящего очага возилась женщина. Мимо камышовой изгороди, по берегу канавки, в которой журчала вода, шла дорожка. Я побежал по ней. Она привела меня во внешний двор. Там находился большой фруктовый сад. Погода была пасмурная, деревья в саду голые, к ногам липла глина, в канаве под дувалом желтела стоячая вода.

Все вокруг казалось неприветливым, скучным.

«Неужели мы здесь будем жить? В кишлаке у нас было куда лучше», — мелькнула у меня мысль.

Дядя и его женатые сыновья жили в одном большом доме. Каждая семья занимала в нем одну комнату с отдельным входом. Наша семья на первое время разместилась по разным комнатам дяди. Азизхон спал у одного из дядиных сыновей, я — у другого.

Дядя Исохон переехал в Ташкент лет двадцать пять — тридцать назад, обзавелся домом, садом, пашней. Его четыре сына и дочь выросли в Ташкенте. Два старших сына уже имели детей. Старшая дочь была замужем и жила со своим мужем и детьми в другом квартале. Все они, за исключением

самого дяди, его жены и двух старших сыновей, давно забыли таджикский язык и говорили по-узбекски. В нашей семье все тоже свободно владела узбекским, а мама в первые годы своего замужества лучше говорила по-узбекски, нежели по-таджикски. В ее родном кишлаке Кургане, окруженном узбекскими селениями, разговорным языком был узбекский.

Обитатели дядино дома страдали от тесноты и неудобства еще до нашего вселения к ним. Два младших, неженатых, сына дяди, Исмат и Юнус, жили в одной комнате со своими родителями. У женатых сыновей дяди были дети, малолетние и грудные. С нашим приездом теснота стала просто невыносимой. Исмат и Юнус сначала уходили на ночь к своим знакомым, а потом сменили дом на шивлинские чайханы.

Жены дядиных сыновей несколько дней оказывали родне полагающееся гостеприимство и терпеливо сносили наше пребывание, но постепенно они все больше стали хмуриться и наконец даже открыто ворчать. Мама, с грудным ребенком на руках, страдала в чужом доме; она похудела, румянец на щеках поблек, под глазами появились синие тени.

Отец уходил на рассвете и возвращался только к ночи: он искал по всему Ташкенту работы и места, куда можно было бы переехать на житье. Но каждый раз возвращался ни с чем.

— Со всего края катятся в Ташкент, словно камешки с гор во время бури, бедные люди, такие, как мы, — говорил он. — За кусок хлеба они делают все, что им прикажут. Повар варит бараньи головы, выбросит мосол — за ним кидаются десятки голодных.

В эти свои «походы» отец часто брал и Азизхона. Когда они возвращались к ночи домой, я первым долгом просил брата:

— Ака, расскажи, что видел в городе.

Брат сердито отвечал мне:

— Отстань, не до рассказов мне!

Или, сказав:

— Видел то, чего ты не видел, — замолкал.

Он возвращался усталый, злой, часто голодный и не хотел ни с кем разговаривать. Однако иногда он все же кое-чем делился со мной. Но слушать его было неинтересно: он говорил все о базарах, о больших котлах с пловом, белых лепешках и вкусно пахнувшем шашлыке; иногда о каких-то людях, не желавших взять отца на работу, о злых собаках, выбегавших из каких-то ворот и калиток и бросавшихся на них с отцом. А я хотел слышать от него про чудесный город со всякими диковинками, вроде «бегущих и звенящих домиков».

Еще тяжелее для нас было то, что наши родственники вынуждены были делить с нами хлеб, который они получали по карточкам. Это нас стесняло больше всего. Самолюбие отца жестоко страдало. Если удавалось ему во время своих мытарств по городу случайно заработать немного денег, то он покупал лепешки или муку и отдавал все дядиной семье.

Однажды, когда мы были одни в комнате дяди, мать горько заплакала и начала жаловаться отцу:

— Я больше не могу здесь жить. Зачем ты привез нас сюда? Если на погибель, то лучше бы погибнуть в своем кишлаке, и там хватило бы нам земли для могилы. Увези нас куда-нибудь! Пусть мы будем жить в хлеву, в курятнике, но чтобы никто не корил, не попрекал меня.

— Куда же я повезу вас зимой? — нерешительно сказал отец. После долгого молчания он добавил: — Потерпи еще дня два, я что-нибудь сделаю.

Он сказал дяде, что хочет построить себе временное жилище в его саду.

— Как же строить зимой? — удивился старик.

— Ты только разреши мне, а я уж что-нибудь придумаю.

Дядя разрешил. Отец раздобыл шесть-семь жердей, прислонил их с промежутками в два аршина к высокому дувалу, отделявшему сад от улицы. Переплетя жерди ветвями, он набросал на эту покатую крышу камыш, солому, куски циновки, а сверху замазал все толстым слоем глины. Посередине крыши, спускавшейся от стены к земле, отец прорубил четырехугольное отверстие для света и вставил в него стекло. Выровненный земляной пол был забросан сеном.

С помощью своих племянников, Азизхона и меня отец сделал все это в течение одного короткого зимнего дня.

Мама пришла посмотреть на наше новое жилье, пощупала рукой единственную в нем глинобитную стену — сырую, холодную — и тяжело вздохнула.

— Потерпим до весны, а потом куда-нибудь уедем, — утешал ее отец.

Посередине нашего нового жилья вырыли и выложили камнями углубление. Над ним поставили низенький сандал, сверху его накрыли ватным одеялом, а в углубление бросили раскаленные угли. Вокруг сандала постелили старые кошмы и ковер. Внесли и поставили в одном углу наш сундук, положили на него одеяла, подушки. У входа, занавешенного паласом, на открытом воздухе, был устроен очаг. Так мы начали здесь жить.

Через два-три дня выпал снег, потом полил дождь, и тогда оказалось, что наше новое помещение непригодно для жилья.

Свежая глина на крыше размокла, и у нас потекло с потолка. Дождь ли идет или мокрый снег, ночью и днем с потолка падают тяжелые капли. Они падают на все — на одеяла, на сандал, на кошму и ковер, на головы наши и лица, на колыбельку Мухтара. Негде укрыться. Не успеешь забыться, заснуть, как холодная капля ударяет в лицо... Мы с братом жалуемся родителям — нам здесь мучительно, маленький братишка все время плачет. Но выхода у нас нет.

Мама все больше мрачнеет, мало говорит. С раннего утра до поздней ночи она работает: возится с маленьким братишкой, готовит еду, стирает. Она позже всех засыпает, а ночью встает кормить Мухтара и качает его. Мне страшно за маму. Она теперь очень часто заговаривает о смерти.

— Видно, нас с детьми сюда притянула земля, — говорит она печально. Это значит: «Видно, нам суждено здесь всем умереть».

Отца по целым дням нет дома. В постоянных поисках работы он выполняет любую, какая попадется. На заработанные деньги он покупает кукурузной муки или немного ячменя, проса, иногда только свеклу или морковь, иногда же приносит пару пшеничных лепешек. Он приходит вечером домой сердитый, хмурый. Мама наскоро что-то готовит ему поесть и старается не докучать распросами.

Я забыл, что такое игры и веселье. Я был первым помощником матери. На мне лежала тяжелая обязанность — добывать топливо.

В одном свободном углу сада, на небольшой поляне, прошлым летом дядя сеял кукурузу. Сейчас, зимой, из-под снега торчали на четверть ее сухие стебли. Было очень трудно выкапывать их с корнями из мерзлой земли. Земля была твердая, топорик не слушался меня. Много требовалось времени, чтобы набрать охапку таких дров, а других негде было достать. Я приносил их домой, мечтая скорее присесть к сандалу и отогреть оковеневшие руки под одеялом. Но кукурузные стебли долго не разгорались, целый час тлели, застилая наш «дом» таким едким дымом, что у всех нас слезились глаза.

— Как плохо в Ташкенте! — говорил я маме. — Куда лучше у нас в кишлаке. Зачем папа привез нас сюда?

Отец как-то несколько дней работал у одного бая в Шайхантаурском квартале Ташкента и в оплату за труд получил два пуда рисовой сечки. Большую часть ее сам же отец смолот на ручной дядиной мельнице и велел маме печь из нее лепешки, а брату Азизхону продавать их на шивлинском базаре, на вырученные же деньги купить какие-нибудь продукты.

Но это были ужасные лепешки. Пока они горячи, их еще можно есть, а холодные они были просто противны.

Как-то отец принес домой мешок каменного угля. Мы стали понемногу сыпать его в углубление под сандалом. Стояли сильные холода. Время от времени дул резкий, пронизывающий ветер. Он срывал палас, висевший вместо двери и прижатый к земле тяжелыми камнями. Наш «дом» был словно ледник. Сандал грел нам ноги, но уши мерзли до боли.

Однажды, почувствовав приятное тепло от раскаленного каменного угля, я залез под одеяло, которым был накрыт сандал, и стал забираться под него все глубже; наконец я укрылся с головой и уснул. Сколько я проспал, не знаю. Но вот я почувствовал, что меня до костей пробирает мороз, по всему телу пробегает дрожь. Стиснув зубы, я с трудом открыл глаза и вижу, что лежу на снегу... Отец, склонившись надо мной, силится протолкнуть мне в рот деревянную ложку с холодным кислым молоком. Ему не удается разжать мои стиснутые зубы. Видно, я угорел, потерял сознание, и отец вынес меня на снег, чтобы привести в чувство.

До меня доносятся рыдания матери, ее причитания:

— Умер мой сыночек!

Мне хочется успокоить мать, показать, что я не умер: силюсь разжать зубы и проглотить кислое молоко, стараюсь шире открыть глаза, посмотреть на маму, чтобы она видела — я жив.

За всю эту злосчастную зиму, кажется, единственный раз я согрелся, но это чуть не стоило мне жизни.

Теперь нам всем наш далекий родной кишлак казался прекрасным и счастливым краем. Я не хотел верить, что в Ташкенте люди когда-нибудь жили лучше. Мне казалось странным, как это наш отец, такой умный и серьезный, мог завести нас в это ужасное место, где всем так невыносимо тяжело.

Мама совсем забыла о книгах и уже не писала стихов. Обучение грамоте казалось мне теперь далекой, несбыточной мечтой. Мама не плакала, но и не улыбалась, ходила с застывшим, хмурым лицом. Она прислушивалась ко всяким рассказням женщин, стала верить в дурные приметы, всего боялась; ей постоянно снились страшные сны.

В одну из ночей мать проснулась с криком. Со страхом оглядев нас и убедившись, что мы все с ней, мама стала рассказывать приснившийся ей сон. Отец встал и зажег лампу.

— Мне приснилось сильное наводнение, — рассказывала

мама. — Река вышла из берегов, темная вода уносила людей, испуганных лошадей, овец... Я тоже была в воде. Она меня несла быстро-быстро, и я подумала: это наводнение всех унесет, от него нет никому спасения. Тут я стала вас всех звать. Никого не нашла, никто не откликнулся. Что есть силы я закричала от страха и проснулась.

Отец помрачнел и, опустив голову, сидел молча. Нам стало жутко. Мы с братом боялись проронить слово. Наши родители верили снам.

Мама всегда говорила, что, если кто во сне попадал в беду и не вырывался из нее, тот должен умереть. Поэтому сон мамы навел на всех ужас.

— Видно, я скоро умру, — после долгого молчания сказала мама.

Мы с братом заплакали, уткнувшись в подушки.

— Раньше времени себя не расстраивай. Ты же не тонула в воде, а плыла поверх нее. Даст бог — ничего не случится, — успокаивал маму отец. Он пытался по-хорошему истолковать ее сон.

— От судьбы не уйдешь. Я не о себе беспокоюсь, а о том, что дети мои останутся сиротами.

С тех пор я стал бояться, что мать здесь действительно может умереть. Что мы без нее будем делать?

Я старался, как мог, оберегать маму, помогать ей во всем, быть с ней ласковее, чем прежде. О чем бы она ни попросила меня, я тут же выполнял ее просьбу.

— Мама, повесьте себе на шею тумор¹. Сходите к мазару Занги-ата, зажгите там свечу, — заботливо давал я ей советы.

Не раз я слышал от старших, будто тумор помогает от глаза, а святой Занги-ата отгоняет всякие беды от тех, кто ему поклоняется.

Старухи соседки говорили маме, что эти слова «внушили ребенку ангелы», и уговаривали ее послушаться моего «совета».

Мать взяла у какого-то муллы тумор и повесила его себе на шею под платье. Она даже сходила на могилу Занги-ата и поставила там свечку.

Несмотря на все это, я не переставал беспокоиться за маму. Иногда в страхе просыпался ночью, в темноте подползал к ней и прислушивался, дышит ли она еще? И, только когда убеждался, что дышит, успокоенный, возвращался на свое место и засыпал.

¹ Тумор — амулет.

РАЗБОЙНИК ИСМАТ

Голодный люд стекался из разных мест в Ташкент. Многочисленные наши земляки покидали, как и мы, свои кишлаки и приходили в Шивли, надеясь, что близким людям легче продержаться вместе в тяжелые времена.

Жилья не хватало, ютились в сараях, хлевах, маслобойнях, в заброшенных кибитках.

О кишлаках рассказывали страшные вещи: там люди едят жмых и корни растений, пухнут и умирают от голода; другие продают свои земли и сады кишлачным богачам за полмеры зерна; бывает, что даже некому хоронить умерших.

К нам часто заходила племянница отца Шарофат, перекочевавшая с мужем и детьми из кишлака в Ташкент в начале зимы. Ее семья ютилась в сарайчике для дров. Шарофат была простодушна, наивна, любила похвастаться. Она всегда хвалила себя, мужа, своих детей и все, что было у нее. И в Шивли она держалась так, словно жила не в сарайчике, а в роскошном доме: была весела, шумна, всем довольна. Печаль не приставала к ней. На что уж мрачен был ее тесный, холодный сарайчик, сырой, с неоштукатуренными, в каких-то черных пятнах стенами, с прогнившей дверью, с огромными щелями, — но Шарофат хвалилась и этим своим жильем.

— Ваш зять, — Шарофат так называла своего мужа, — достал три мешка самана¹. Я насыпала саман на пол, сверху покрыла кошмой... вы видели нашу кошму? Она такая толстая, еще нигде не порвана, ее купил у одного киргиза ваш зять. На кошму я постелила одеяло — так приятно сидеть на нем! Я повесила на стену сюзане. Сама его вышивала, когда была невестой. Щели в стенах и двери я заткнула сеном. У нас теперь хорошо, тепло, чисто. Увидите — залюбуетесь...

Сготовит дома какую-нибудь кашицу из пшена или сечки — обязательно похвалится перед всеми:

— Какой я сегодня сварила плов! Знаете, масло на дне блюда прямо так и течет ручейком!..

Однажды ее муж где-то достал для своей старшей девочки старые туфельки из коричневого брезента. Шарофат водила дочку по всем родным и знакомым, показывала ее брезентовые туфельки, зашнурованные белыми тесемками, и нараспев говорила:

— Ваш зять говорит, что эти туфельки привезли из Москвы, даже русские дети их носят с удовольствием!

¹ С а м а н — мелкорубленная солома.

Семье Шарофат скоро повезло с жильем: хозяин, у которого они снимали сарайчик, переехал в Ташкент, где получил в наследство дом, а свой шивлинский оставил квартирантам.

Как хвалилась Шарофат домом, куда она теперь вселилась, какими красками расписывала его! Кто не видел этот обыкновенный низенький глинобитный домик, тот, слушая Шарофат, мог подумать, что она живет в царских чертогах.

Вскоре воры обокрали соседей Шарофат, а ее не тронули, вероятно решив, что «богатство» этой семьи не стоит риска.

А для Шарофат даже это было поводом похвалиться.

— Воры и те уважают хороших людей, не трогают их, — говорила она.

Но ее двоюродный брат Исмаат, третий сын дяди Исохона, заметил, смеясь:

— Воры меня боятся. Пока я здесь, они не смеют обижать моих родственников.

— А ты что, знаешь этих воров? — насмешливо спросил мой отец.

— Я их не знаю, но они знают меня, — сказал Исмаат хвастливо.

Исмаат был высокий, здоровый и сильный человек, с толстыми закрученными усами, первый забияка в своем квартале. Добродушный, даже немного меланхолический по натуре, он, однако, быстро вспыхивал по малейшему поводу и лез в драку. Дрался он и с братьями, и они втроем не могли с ним справиться.

Как-то раз, когда он слишком разошелся и полез с кулаками даже на моего отца, отец был вынужден связать его веревкой.

Простодушная Шарофат поверила словам Исмаата о том, что воры боятся его, и стала болтать об этом всюду: мол могу жить спокойно, воры боятся моего брата...

Но вдруг как-то под вечер Шарофат прибежала к нам и, колотя себя по голове руками, стала причитать:

— Ой, ой, конец миру, светопреставление близко! Нет ни братьев, ни сестер! Родня губит родню! — И, обращаясь к моему отцу: — Ой, дорогой дядя, надежда только на вас! Спасите меня, несчастную!

— Да не кричи ты! Говори, что случилось? — старался унять ее отец.

Но она продолжала вопить и бить себя по голове, предсказывая конец свету и человечеству. Прошло немало времени, пока мы узнали наконец о постигшем ее несчастье. Оказывается, муж Шарофат последние два дня не ночевал дома, он ходил неизвестно где в поисках работы, а сегодня утром

некий «обманщик, не знающий бога», подъехал к дому на арбе и сказал ей:

— Собирай свои вещи, я приехал от твоего мужа — он велел мне привезти вас к нему. Твой муж устроился на работу, ему предоставили жилье, и он ждет тебя с детьми.

Обрадованная Шарофат быстро собрала вещи. «Обманщик, не знающий бога», погрузил их на арбу и говорит ей:

— Лошадка слабая, не может везти сразу вещи и тебя с детьми. Ты пока останься, я сначала отвезу вещи, а потом приеду за вами.

Шарофат согласилась. «Обманщик, не знающий бога», уехал с ее вещами, и вот до сих пор о нем ни слуху ни духу.

— Он обманул, обокрал меня среди белого дня!

— Кто «он»? Кто? — посыпались нетерпеливые вопросы.

— Он, он, этот верзила! — говорит Шарофат.

— Исмат, что ли?

— Да, он! Сто проклятий его имени и ему самому! Оголил, обчистил он нас. Осталась я с детьми в чем была. О я несчастная! Что мне теперь делать? Кому мне сказать о своем горе?.. О мои дети! Умрем теперь все от голода и холода! — Шарофат бросилась к ногам моего отца: — Помогите, спасите, дядя! Вы один можете справиться с этим проклятым обманщиком-вором, все боится его!

Отец обещал разыскать разбойника... Мать дала Шарофат немного сечки, свеклы, лепешек и, кое-как успокоив, отправила ее домой.

— О боже!.. Сын Исохона стал вором? Обкрадывает своих же! Как поверить?.. — в ужасе говорила мама после ухода Шарофат.

Отец молча уставился в землю. Видно, это неслыханное в нашем роду событие ошеломило и его.

На другой день утром отец, уходя, сказал:

— Я, может, не вернусь к ночи, не беспокойтесь обо мне.

Вернулся он через два дня в полночь. Мать зажгла светильник, хотела приготовить ему еду, но он сказал:

— Не беспокойся, ложись и спи, — и только попросил дать ему какое-нибудь старое одеяло.

— Зачем? — удивилась мама.

— Не спрашивай, потом узнаешь.

Отец вышел. Спустя несколько минут он вернулся без одеяла и молча лег спать.

Рано утром отец встал, торопливо вышел во двор, позвал дядю Исохона с сыновьями и повел всех в угол сада, к сараю, где хранился саман. Я с братом и другие дети — внучата дяди — с любопытством побежали за взрослыми. У сарая отец

развязал веревку, обматывавшую запор, отбросил подпорку и открыл дверь. Мы увидели лежащего на соломе связанного человека. Он был прикрыт нашим одеялом. В углу сарая стояла привязанная лошадь.

В связанном человеке мы узнали Исмата. Поверженный великан лежал на спине и ни на кого из нас не смотрел, отводил взгляд в сторону; белки его глаз страшно блстели.

Отец рассказал родным Исмата, как все случилось. Оказывается, он искал-искал вора, напал на его след и вчера нашел его в Каунчи, под Ташкентом. Исмат сидел в чайхане и пил чай. Заметив отца, он хотел бежать, но отец подмигнул ему многозначительно и сказал:

— Не беги, я не собираюсь тебя ловить, сам оказался в твоём положении. В это смутное время каждый живет как может. Давай будем действовать сообща. Я тоже ограбил одного человека, а вещи спрятал в углу вашего сада. Не умирать же мне! Но у меня нет лошади, чтобы вывезти все добро отсюда. Помоги мне. Давай поедем ночью, все погрузим на твою лошадь, вывезем, продадим, а деньги поделим пополам.

Исмат с радостью согласился. В ту же ночь они вместе приехали в Шивли. Подъехав к дому дяди, отец оставил Исмата у садовой калитки и велел ждать. Калитка была заперта, отец перелез через высокий забор и спрыгнул в сад. Потом он отпер калитку и позвал Исмата:

— Идем перетащим добро.

Исмат привязал лошадь к дереву, а сам вошел в калитку.

Тут отец схватил его, повалил на землю, скрутил и связал за спиной руки, в рот ему воткнул тюбетейку, чтобы он не кричал и не разбудил соседей. Связав Исмата по рукам и ногам, отец отнес его в сарай. Потом завел туда и лошадь. И уже после этого он пошел домой за одеялом и накрыл им Исмата, чтобы он не замерз ночью. Крепко замотав запор двери веревкой, отец отправился спать и, чтобы не испугать нас, ничего нам не рассказал.

Дядя Исохон и его сыновья, выслушав рассказ отца, страшно рассвирепели и, крича: «Опозорил ты нас!» — накинулись на Исмата с кулаками. Может быть, они убили бы его, но отец заслонил собой Исмата, оттолкнул всех и не дал его на растерзание.

Меня удивило, почему отец не дает побить вора.

Исмата оставили лежать связанным, дверь в сарайчик снова крепко заперли.

Дома я спросил отца:

— Почему вы не дали его побить?

Отец ответил:

— А какая польза от битья? Этим украденное не вернешь, сообщников вора не поймаешь, других воров не напугаешь. Мы отдадим Исмата милиции, она найдет украденные вещи. Если у вора были сообщники, милиция изловит и их. Потом воров будут судить и накажут, чтобы они раскаялись в своем поступке. Глупо в гневе и ярости бить и увечить человека.

Отец в тот же день ходил куда-то, сообщил властям о воре. Ему сказали, что пошлют милиционеров арестовать Исмата. Однако до вечера за ним никто не приходил. Вечером пришли два милиционера. Мы повели их в сарай, чтобы показать и передать им вора, но вора там не оказалось.

— Куда он делся? Кто его выпустил? — спрашивал отец.

Он сначала заподозрил дядю Исохона и его сыновей — братьев Исмата, но те сами были удивлены исчезновением пленника не меньше, чем мой отец.

Милиционеры поворчали и ушли.

Но у мамы было другое предположение.

— Наверно, выпустила его Шарофат, — сказала она отцу. — Шарофат ходила к нему спросить про вещи, и, видно, она ее опять обманул.

Отец послал меня за Шарофат.

Он с дядей и племянниками ждали ее во дворе. Едва войдя в калитку, Шарофат стала благодарить моего отца за поимку вора.

— Дай бог дожить вам до ста лет, дядя! Если бы не вы...

— А зачем ты выпустила вора? — строго перебил ее отец.

Шарофат остановилась на полуслове и побледнела. Затем заплакала, закрыв лицо краем платка.

— Он мне сказал: «Если выпустишь меня, то получишь обратно все свои вещи»... Клялся... аллахом и пророком...

Отец рассердился и стал ее ругать:

— Глупая ты! Он не только не вернет тебе вещи, но утащит и остальные, вот увидишь. Поверила клятве разбойника! Если бы он боялся бога и пророка, то не обокрал бы тебя.

— Он плакал, умолял... жалко мне стало его, — причитала Шарофат.

Исмата больше не искали. Он исчез из Шивли. С тех пор вору меньше стали беспокоить окрестных жителей.

НА ЗАВОД

Никогда мы не ждали весны с таким нетерпением, как в эту мучительную, голодную зиму в Шивли. Всего три месяца, как мы поселились здесь, а нам казалось — прошли годы.

Бесконечно тянулась зима; думалось, что не будет конца холоду, сырости, ветру и дождям, не будет конца полумраку в нашем шалаше, плачу маленького Мухтара, корчевке кукурузных стеблей, едкому дыму от них, противным лепешкам из сечки, страшным сновидениям матери; не будет конца ежедневным мытарствам отца в поисках случайной работы ради куска хлеба. Сильные, истосковавшие по работе руки отца брались за все, лишь бы что-нибудь делать. В редкие дни, когда он не уходил из дому, он брал мотыгу и начинал чистить канавы в саду дяди или месил глину и чинил обвалившиеся дувалы.

Дядя Исохон, видя, как он ловко орудует мотыгой или ударом голой ноги опрокидывает полуразвалившийся дувал, восхищенно говорил ему:

— Большую дал тебе бог силу, Умархон!

— Да, но он забыл дать мне место, где я мог бы приложить эту силу, — отвечал ему отец.

«Место» — у него значило: земля, сад, дом.

Однажды — это было ранней весной — отец впервые вернулся домой веселый, оживленный.

— Завтра мы переедем на завод, — сообщил он маме.

Мать не проявила особенной радости — она уже не верила, что где-то в другом месте нам будет лучше, — но покорно стала собираться. Мы же с Азизхоном сияли — так нам хотелось чего-то нового, интересного.

Наутро наняли арбу, погрузили на нее все наши вещи. Отец сел на лошадь и погнал ее. Мать в парандже устроилась с нами на арбе на одеялах и подушках.

Погода была пасмурная, шел мелкий дождь. Мы долго ехали по узким улочкам, где глинобитные дувалы сменялись глухими стенами домов. Затем пошли широкие улицы с двумя рядами деревьев по обеим сторонам, с большими белыми домами. Когда мы выехали на главную улицу, мои глаза разбежались — я никогда не видел таких красивых домов, столько народу на улицах.

На высокой башне с крестом раздался звон колоколов. Отец пояснил, что это бутхона — русская церковь. На площади среди голых деревьев на возвышении неподвижно стояли какие-то громадные, страшные, черные люди в шапках. Позже я узнал, что это был памятник каким-то военачальникам.

— Папа, кто эти люди? Зачем они так высоко стоят?

— Эти люди сделаны из железа. Белый царь приказал поставить их тут высоко, чтобы они день и ночь смотрели за городом и за людьми.

— Они живые?

— Наверно, живые, раз стоят и не падают, — смеясь, ответил отец.

— А зачем им смотреть за людьми?

— Чтобы люди правильно ходили по улицам и не сворачивали куда не следует.

Наконец я увидел «бегущие и звенящие домики» — трамвай. Потом мне не раз приходилось ездить в нем, но первая встреча с трамваем осталась у меня в памяти: бегут по двум железным полоскам домики сами собой, без лошади, без паровоза, непрерывно позванивают, чтобы люди не ходили по их дороге. Отец приостановил лошадь, и я увидел, что там внутри сидят на скамеечках люди и смотрят в окна. Из одной двери люди выходят, в другую входят, и потом домики опять кажутся сами собой. Отец объяснил нам, что трамвай движется с помощью огня, который находится не в нем, а в тоненьких веревочках, протянутых поверх трамвая. Этот огонь называется «иликтр». Мимо нас все время катились новые домики. Иногда поверх трамвая я видел вспышки огня — «иликтр» и разлетающиеся в стороны синие искры. Не успел я еще наглядеться на трамвай, как с другой стороны мимо нас промчалась черная, очень красивая тележка. Она пролетела так быстро, что показалась мне каким-то юрким зверем. В ней сидело только два или три человека. Отец объяснил нам, что эта тележка называется «автомобиль», она движется огнем, это тоже одна из русских «тайных мудростей».

Хорошо одетые люди, женщины и мужчины, идут по обеим сторонам улицы. Женщины без паранджи, даже с открытыми головами, все белолицые и большинство светловолосые. Я с удивлением смотрю, как они, не стесняясь мужчин, свободно проходят по улицам. Особенно привлекают мое внимание мальчики и девочки в пальто и шапках, с коробками за плечами.

— Это школьники, — говорит отец. — В коробках у них лежат книги и тетради. Они идут учиться или уже возвращаются из школы.

Школьники мне очень нравятся. Мне захотелось вот так же весело по улице большого, красивого города ходить в школу. Правда, школа мне представляется такой, как при большой мечети в нашем кишлаке: полутемная комната с разбросанным на полу сеном и рванными циновками, на которых расположились ученики, вслух громко заучивающие уроки; в углу сидит учитель с длинной палкой в руках, чтобы бить ею по головам и спинам своих учеников...

Но вот наша арба поравнялась с большим белым двух-

этажным зданием со множеством окон и полукруглым невысоким крыльцом у входа. Перед зданием шумно и весело играли дети. Я с трудом поверил отцу, что это и есть школа.

В этот день я впервые увидел настоящий город — необычный, нарядный, полный чудес. Теперь я понял, что вот именно о таком городе нам раньше много рассказывал отец. Наш большой кишлак, с его шумным базаром, мечетями, родниками, старой крепостью, чинарами, показался мне ничтожным, серым, некрасивым по сравнению с этим огромным городом, по которому мы ехали целый день, а ему все не было конца.

Вот на фоне неба обрисовались необычайно высокие «минареты», из-за вершук которых медленно выплывал густой дым. Я узнаю, что это трубы кирпичного завода. Мы выехали утром, а показавшееся теперь из-за серых туч солнце уже клонилось к закату. Время прошло для меня незаметно, как будто едем мы совсем недолго — ну, столько, сколько нужно, чтобы выпить чайник чаю.

Наконец арба наша въезжает в какие-то большие открытые ворота. За воротами виден обширный двор со множеством деревьев, белые здания.

Из деревянного домика рядом с воротами выскочил кривой дед с длинными густыми бровями, в шапке и что-то спросил отца.

— Ярашев!.. Ярашев! — говорит ему отец, указывая на белое здание в глубине двора.

Кривой дед вопросительно повторяет это имя и машет руками. Можно было догадаться, что Ярашева он не знает и не хочет пропустить нашу арбу во двор.

— Мастеровой Ярашев! — уже сердится отец.

Дед качает головой, всячески показывая, что он такого не знает и не может нас впустить. Вокруг нас собираются незнакомые люди. Отец спорит со стариком, продолжает говорить ему об Ярашеве. Но все бесполезно — дед не пропускает нас, требует, чтобы мы повернули обратно.

Идет мелкий дождь, мы промокли, Мухтар плачет... Собравшиеся глядят с любопытством и смеются над затянувшимся спором отца с дедом, которые никак не могут понять друг друга. Мать в отчаянии.

Вдруг из-за белого домика, далеко от ворот, появляется худощавый человек со светлыми вьющимися волосами. Его длинная серая рубаха без пояса надувается от ветра, он в широких синих шароварах, в калошах на босу ногу. Он быстро идет к воротам.

Отец радостно бежит ему навстречу и кричит:

— Ярашев! Салам алейкум, Ярашев!

Светловолосый человек, улыбаясь, здоровается с отцом. Затем обращается к деду и говорит ему что-то. Дед упрямо качает головой, машет руками. Он говорит отцу укоризненно:

— Не Ярашев, а Ершов! Ершов!

— Хоп, да, да, Ершов! — весело соглашается отец.

Ясно, что отец перепутал фамилию своего знакомого или просто произносит ее на таджикский лад.

Теперь уже Ершов машет рукой на деда — мол, не хочу больше разговаривать с тобой — и говорит отцу, чтобы он подождал здесь, а сам пошел и скрылся за белыми домами.

Проходит с полчаса, а Ершова все нет. Положение наше скверное — нас мочит дождь. Братишка, не переставая, плачет. Усталая лошаденка поникла головой и дрожит мелкой дрожью. Хоть поворачивай арбу и поезжай обратно в Шивли.

Азизхон спрашивает отца, откуда он знает Ершова.

Оказывается, вчера, бродя по городу в поисках работы, отец остановился у двух подвод, с которых сгружали тяжелые бочки. Один человек таскал эти бочки в склад, а возчики, опершись на телегу, крутили махорку. Отец подошел к рабочему, таскавшему бочки, — это как раз был Ершов, — и спросил, не нужно ли помочь.

— С охотой принял бы твою помощь, но, видишь ли, заплатить тебе за это нечем. Нет у меня денег, — ответил Ершов, улыбаясь.

Его улыбка, дружеский тон понравились отцу, он почувствовал симпатию к этому рабочему.

— Ладно, не надо платить, — сказал он и стал вместе с Ершовым перетаскивать бочки во двор, на склад и в подвал.

Когда все было сделано, Ершов в раздумье сказал отцу:

— Платить, брат, мне за твою помощь нечем... Давай садись на подводу. Поедем к нам на завод, там я тебя чем-нибудь отблагодарю.

Отец сел с ним на подводу, и они поехали на завод. Там Ершов пригласил его к себе домой, угостил борщом и кашей. За обедом они разговорились. Оказалось, что Ершов — красноармеец-кавалерист, из российских рабочих и служит в Ташкенте, а сейчас, получив отпуск, приехал к семье, которая живет на этом винокуренном заводе.

У него жена и двое малолетних детей — девочка и мальчик. Жена и дети только недавно приехали из России. В доме у них было бедно: кроме одного тулупа, стола, скамейки, двух-трех тарелок — ничего больше не было.

Рассказ отца о том, как он вынужден был покинуть свой кишлак и как теперь очутился в тяжелом положении, растрогал Ершова. Подумав, он предложил отцу:

— Знаешь что, друг, переезжай ко мне! Будешь работать на заводе. Раньше был хозяином завода буржуй Иванов, а теперь хозяева мы сами... Переезжай — и все. Можешь даже на первое время жить у меня, вот в этом доме, тут рядом есть свободная комната.

Ершов показал дом из трех комнат, расположенных в ряд и соединенных длинной террасой с навесом. В первой комнате жил сам Ершов, в другой — одинокий инвалид. Третья комната, с земляным полом, была свободна. Отец усомнился, разрешат ли ему поселиться в этой комнате, но Ершов решительно заявил:

— Это я беру на себя! Переезжай!

Вот почему мы поехали на завод.

Наконец из-за белых домов показался Ершов, на этот раз в сапогах, шапке и наброшенной на плечи старой шинели. С ним рядом шел высокий симпатичный смуглый человек в черной кожаной куртке; одна рука его была заложена за пазуху. Они подошли к нам.

Ершов, указывая на моего отца и обращаясь к человеку в кожаной куртке, которого он называл то «товарищ Николаев», то «товарищ винодел», стал горячо убеждать его в чем-то — очевидно, в том, что следует нас пропустить на заводской двор. При этом он раза два похлопал отца по плечу, говоря: «работник».

— Сыз ким? Нима керак? — обратился вдруг к отцу на узбекском языке Николаев. — Вы кто? Что хотите?

Услышав узбекский язык, отец осмелел.

— Я дехканин, — ответил он тоже по-узбекски, — из Ферганы. Голод вынудил меня приехать в Ташкент. Ищу работу. Я вчера в городе помогал вот ему выгружать бочки, потом он привез меня к себе домой. Я ему сказал: «У меня нет дома, нет работы, я бедствую». Он сказал: «Переезжай на завод, будешь работать». Еще сказал: «Прежнего хозяина с завода выгнали, и ты будешь хозяином». Вот я и приехал.

Николаев, глядя на Ершова, весело засмеялся.

— «Ты будешь хозяином!» — повторил он и опять засмеялся. Затем снова обратился к отцу: — А где ты жить будешь? У нас свободных помещений нет.

— Ершов мне показал одну комнату, сказал: «Здесь жить будешь».

Николаев, коротко поговорив с Ершовым на русском языке, сказал отцу:

— Та комната отдана другому человеку. Ершов, не зная об этом, пообещал ее тебе.

Отец растерянно посмотрел на Ершова; тот смущенно

всей пятерней чесал себе затылок и морщил лоб, как человек, который хочет что-то вспомнить. Затем, повернувшись к Николаеву, горячо с ним заговорил; из его разговора я понял только одно часто повторявшееся слово: «сарай». Подойдя к моему отцу, Ершов снова похлопал его по плечу и сказал Николаеву:

— Работник, работник.

Николаев, широко расставив ноги, засунув руку за пазуху, а другой взявшись за подбородок, немного подумал, затем, повернувшись к отцу, сказал:

— Пусть твоя жена и дети пока погрееются здесь. — Он указал на деревянный домик, что-то сказал кривому деду и, снова оборачиваясь к отцу, добавил: — А ты пойдешь с нами.

Отец помог матери слезть с арбы. Кривой дед повел ее с ребенком в деревянный домик. Николаев с Ершовым увели отца. Я побежал за ними. Азизхон остался караулить арбу.

Мы прошли мимо каких-то подвалов, в которые вели глубокие каменные лестницы, и вышли на заводской двор, большой, пыльный, грязный, с тянувшимися вдоль забора навесами, амбарами и конюшнями. Всюду валялись груды бочек, баков, железного лома, ведер и разного другого хлама. Двор производил впечатление давно не убиравшегося, заброшенного места. Вслед за Николаевым и Ершовым мы вошли в большой крытый сарай рядом с конюшнями. Там лежали мотыги, кирки, лопаты, садовые ножницы, связки толстых и тонких веревок, какие-то колеса и ободья от них. Налево от входа была комната — отгороженный угол сарая. Мы увидели здесь те же предметы, что и в сарае, но комната не так была ими набита. Единственное окно, выходившее на задворки, было заколочено досками.

— Будешь жить здесь? — спросил Николаев отца. — Комнату эту можно освободить, все вещи вынести в сарай.

Отец был в нерешительности. За него ответил Ершов:

— Это можно.

И тут же приступил к делу. Вместе с отцом он стал выносить все из комнаты в сарай. Меня он послал с ведрком за водой к находившемуся возле конюшни бассейну, в который шла вода из протекавшего за дувалом арыка. Когда я вернулся с водой, комнатка уже была освобождена от хлама, и Ершов отколачивал доски от окна, а отец длинной щеткой чистил стены. Покончив с окном, Ершов полил водой пол, дал мне веник и приказал мести, что я выполнил с особым рвением.

Когда комната была прибрана, отец хотел пойти за мамой, братьями и вещами, но Ершов остановил его:



*Рассказ отца о том, как он очутился в тяжелом положении,
растрогал Ершова.*

— Подожди еще, здесь холодно!

— А мы сейчас быстро устроим сандал, — сказал ему отец.

Усомнившись, что в этой комнате, рядом с сараем-кладовой, разрешат устроить сандал, Ершов минут через десять внес в комнату охапку дров и стал растапливать находившуюся в комнате кирпичную плиту.

Едва плита немного согрелась, Ершов сказал отцу:

— Теперь иди за женой.

Когда мама, Мухтар и Азизхон пришли и вещи были выгружены у сарая, отец распряг уставшую, изголодавшуюся лошадь, отвел ее в конюшню и, разыскав с помощью Ершова два снопа клевера, бросил их ей.

Ершов, не дождавшись, пока мы окончательно устроимся, ушел домой. Видно, ему хотелось посмотреть, как мы расположимся на новом месте, но он посчитал неудобным оставаться дольше, так как мама прятала от него свое лицо. Перед уходом он заверил отца, что нам здесь будет неплохо, только ему явно не нравилось, что мать закрывает лицо, и он что-то сказал отцу по этому поводу. Отец потом передал матери его слова:

— Он говорит: «Твоей жене под паранджой придется здесь туго — целый день около твоего дома и в сарае будут работать мужчины».

— Пусть работают, я буду ходить, накинув на голову халат, — отвечала мама с какой-то несвойственной ей беспечностью, удивившей меня.

Очевидно, она радовалась, что наконец избавилась от проклятого Шивли и что у нее есть свой угол, и ни о чем другом не хотела думать.

Через какой-нибудь час-другой новая комната приобрела жилой вид. В ней стало тепло и даже уютно.

На поставленный у передней стены комнаты сундук мама сложила наши одеяла и подушки. Единственное шелковое, полученное ею в приданое одеяло она положила сверху. На стену мы повесили старое золотистое сюзане, тоже хранившееся у нее со свадьбы. На вбитые в стены большие гвозди повесили мамин выходной халат и чакман¹ отца. На пол постлали кошму и ковер. Отец положил на них свернутое одеяло и сел отдохнуть.

Весь этот вечер наш разговор все возвращался к Ершову: вот, мол, какой он хороший человек, хотя и неверующий.

¹ Ч а к м а н — халат из катаной шерсти.

— Мастеровые — самые хорошие люди, — говорил отец. — Они могут попасть в рай, хотя и не мусульмане. А вот таких мусульман, как Исмаи, еще неизвестно, захочет ли бог пустить в рай.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Отец стал работать на заводе. Не знаю, кем он числился там, но он делал все: таскал грузы, ездил на подводах и разгружал их, наводил порядок на заводском дворе, иногда уходил ночью сторожить склад.

Это был винокуренный завод, но он не работал уже год или два. Отец рассказывал нам, что завод не работает с тех пор, как его отняли у старого владельца — заводчика Иванова; хозяин, узнав, что собираются отнять у него завод, уволил мастеров, распустил рабочих, припрятал или попортил машины, и урожай винограда на двухстах пятидесяти танапах виноградника, что был при заводе, погиб. Теперь на завод назначен советской властью новый директор, которого называли «большевой». Директор вместе с главным виноделом Николаевым был занят налаживанием работы на заводе: они собирали рабочих, ремонтировали оборудование, намереваясь с весны восстановить виноградники.

На заводском дворе мы жили одни. Домá служащих и некоторых рабочих завода находились от нас далеко, за виноградником. Там всегда было много детей заводских служащих.

Мой брат еще на шивлинском базаре и за время «походов» вместе с отцом по Ташкенту в поисках работы выучил несколько русских слов и теперь быстро заводил знакомство с русскими мальчиками. Первым его приятелем был Вася, сын заводского счетовода. Вася сделал брату рогатку, и они целыми днями охотились на воробьев. Вообще Азизхон не любил оставаться дома больше того времени, какое было нужно, чтобы поесть, сидя с нами за дастархоном, и после еды немедленно исчезал. Он не брал меня с собой играть. Я же должен был помогать матери по хозяйству, качать колыбельку с маленьким Мухтаром и почти не отлучался из дому.

Но все же вскоре после нашего переезда на завод я воспользовался тем, что отец послал брата на базар за покупками, и завладел его рогаткой. Я выбежал из дому и отправился стрелять птиц.

Прямая дорога от заводского двора вела «в низ». Так называли видневшуюся на другом краю виноградника группу

домов, в которых жили заводские служащие и рабочие. С двух сторон дороги тянулся виноградник, а по краям ее были посажены яблони. День был солнечный. Я шел по этой дороге, увлекся стрельбой по воробьям, чирикавшим на ветках яблонь, и не заметил, как мой камешек из рогатки попал в чью-то курицу, бродившую меж деревьев. Курица побежала, громко клохча и прихрамывая.

Вдруг откуда-то, словно из-под земли, выскочила с визгливым криком низенькая пожилая женщина. Она погналась за мной, продолжая визгливо кудахтать, как подбитая мной курица. Разница была в том, что курица убегала от меня, а старуха гналась за мной. Она подняла с земли палку, намереваясь побить меня. Не понимая, в чем дело, я пустился бежать. Добежав до площадки перед домиками, я увидел играющих детей и направился к ним. Но дети с криком: «Немка!» — разбежались по домам. Я не знал, что такое «немка», но понял, что так зовут злую женщину и дети боятся ее.

Худенькая длинноногая девочка, с волосами как охалка соломы, побежала к одному из домов и стала кричать:

— Мама! Мама!

На крыльце появилась, вытирая руки о фартук, худощавая смуглолицая женщина. Девочка, указывая в мою сторону, стала говорить ей что-то. А в это время моя преследовательница уже догнала меня, повалила на землю и давай нещадно бить по спине, голове, по чему попало. Смуглолицая женщина бросилась ко мне и, освобождая меня, оттолкнула обидчицу.

Девочка с соломенными волосами участливо смотрела на меня. Вытирая рукавом слезы на глазах, я сделал вид, что не придаю значения случившемуся и что мне даже совсем не больно.

«Немка» удалилась, сердито ворча. А женщина в фартуке, сказав: «Пойдем», взяла меня за руку и повела к себе домой. Идя за ней, я смотрел на девочку, но она молчала — видно, догадалась, что я не умею говорить по-русски.

Я очутился в чисто убранной комнате с кирпичным полом. В углу была разостлана шуба и разбросаны подушки, посередине стояли некрашенные стол и скамейка, а на скамейке сидел бледный голубоглазый мальчик и деревянной ложкой ел суп из миски. Это была семья Ершова, о чем я узнал после.

Женщина, указывая на скамейку, сказала мне:

— Садись.

Я понял, сел и с радостью подумал, что вот узнал второе слово, — первое слово, запомнившееся мне, было «мама».

Я без труда догадался о его значении, когда девочка позвала так из дома свою мать. А радовался я потому, что думал: «Вот когда приду домой, брат увидит, что я тоже знаю русские слова, а то он каждый день хвастается передо мной русскими словами, которым научил его Вася».

Мать девочки спросила меня:

— Как тебя звать?

Я не понял ее. Она показала на дочь и сказала:

— Ее зовут Паша, Па-ша. А как тебя?

Я понял и сказал свое имя, повторяя про себя: «Как тебя звать? — Паша. Как тебя звать? — Собир».

— Пойдем, — сказала мне Паша, указывая на дверь.

Мы вышли. На улице я, показывая на дерево, спросил Пашу:

— Как тебя звать?

Она засмеялась и поправила меня:

— Надо сказать: «Как называется это?» или «Что это?»

Я несколько раз повторял каждое новое слово, стараясь запомнить.

Вскоре мать позвала Пашу домой. Перед уходом Паша сказала мне:

— Приходи завтра играть.

Я понимающе кивнул ей, а сам всю дорогу до дому повторял слова «завтра», «играть», чтобы дома спросить у отца, что это значит.

Опережая отца, мне перевел эти слова брат.

— И это ты знаешь? — с завистью говорю я ему.

— Я уже много слов знаю, умею разговаривать! — с гордостью ответил он.

Теперь самым сильным моим желанием было скорее научиться говорить по-русски и подружиться с русскими ребятами.

Мне очень нравился сын второго винодела — Сережа. Стройный, подвижной, чистенький мальчик, он всегда был ласков и приятен в обращении; черные волосы его были коротко подстрижены на затылке, и только на лоб спадала длинная прядь. Он ходил в школу, всегда носил с собой книги и постоянно читал.

Несмотря на то что Сережа был года на два старше, он дружил и играл со мной. Он говорил мне названия разных вещей и был моим учителем русского языка. Иногда он показывал мне свои школьные книги с картинками и русские буквы.

Эти буквы я чертил на земле, на заборах, на стволах деревьев.

Другим моим близким товарищем была Паша, дочь Ершова.

Очень шустрая и бойкая, она считалась лучшей затейницей в играх, знала все закоулки заводского двора и все окрестности, могла повести куда угодно в дальние, интересные места, и с ней я не боялся заблудиться. Она была такая бедовая, что даже мальчишки старше ее не могли с ней справиться. Меня она сразу взяла под свое покровительство, и я старался поддерживать с ней дружбу. Ее мама ласково относилась ко мне. Подражая другим детям, я звал ее «тетя Маша». Она работала уборщицей на заводе и целыми днями не бывала дома. За хозяйку у них оставалась Паша. Она не училась в школе, приглядывала за младшим братом Леней. Он был слабым, болезненным мальчиком. Куда бы Паша не шла, Леня всегда следовал за ней.

Однажды Паша спросила меня:

— Хочешь посмотреть русское кладбище?

Отпросившись у мамы, я пошел с Пашей и Леней.

По тропе, вьющейся меж виноградных кустов, девочка направилась в сторону захода солнца, к темневшей вдали массе деревьев, отгороженной от виноградника серым длинным-предлинным дувалом, конец которого терялся в гуще деревьев.

Мы перелезли через обвалившийся забор и вошли в рощу.

Долго мы бродили между бесчисленными оградами с деревянными и железными крестами по красивому, как сад, русскому кладбищу, пока не увидели из-за тополей купол церкви. Паша потянула меня в ту сторону.

У входа в церковь, на ступенях крыльца, стояло много мужчин и женщин. Изнутри доносилось какое-то странное пение.

— Хочешь войти туда? — спросила Паша.

— Нет, боюсь. Там меня... — Я жестом показал Паше, как меня будут бить и прогонять из церкви.

Паша засмеялась:

— Не бойся, не прогонят!

И, взяв нас с Леней за руки, потащила в церковь. Я знал— если маме станет известно, что я ходил в церковь, мне попадет. Мама считала, что пойти в молельню кофиров и прикоснуться к идолам — значит осквернить душу мусульманина. Но любопытство взяло верх, я начал подниматься с Пашей и ее братишкой на каменную папёрть церкви.

К удивлению моему, никто не пытался меня остановить. У самого входа старушка, показав мне на голову, сказала что-то; я не понял ее и хотел бежать назад, но Паша удержала меня и, сняв с моей головы тубетейку, сунула ее мне в руки.

В церкви было много народу. Никто не обращал на нас внимания. В глубине горели свечи, золотом блистали стены; с них смотрели на меня какие-то бородатые люди в красных и синих одеждах. Все было непонятно, таинственно, но интересно, очень интересно. Длиннобородый поп махал на людей дымящимся кадилом и пел: «Аллилуйя, аллилуйя!..» А люди, подняв головы вверх, все время прикладывали руки ко лбу, к плечам и кланялись.

Поп казался мне страшноватым на вид; при его приближении мне хотелось удрать. И вдруг вижу — он свое дымящееся кадило направил на меня и кланяется в мою сторону.

Я в страхе побежал к выходу, протискиваясь между мужчинами и женщинами.

За мной поспешно вышли Паша с Леней. Паша сердилась и ругала меня непонятными словами, а я смеялся, сам не зная чему.

Дома я рассказал брату о посещении мной русской церкви, а брат передал это родителям.

Отец отнесся к этому равнодушно, как к забавному случаю, но мать нахмурилась.

— Не ходи больше туда, а то станешь кофиром, — строго сказала мне.

Кофир — это тот, кто не признает аллаха, не боится его; русские — кофиры. Так всегда говорили отец и мать. Я же видел в церкви, что русские молятся — правда, по-своему, не как мусульмане. Паша сказала мне, что они «поминают бога, поклоняются ему».

— Вы говорите: «русские — это кофиры», а я сам видел — они свой намаз¹ совершают, бога поминают, — высказал я отцу и матери свое недоумение.

Они переглянулись. Потом отец сказал мне:

— Они молятся своему богу.

— А разве есть еще другой бог? — удивился я. — Ведь вы говорили, что он один-единственный на всем свете.

Отец нахмурился, мать побледнела. Они снова переглянулись.

— Вот видишь, «дом идолов» уже помутил твой разум. Ты согрешил. Скорее читай молитву-калиму, — сказала мать.

Когда кто-нибудь раньше говорил мне: «Ты согрешил, читай калиму!» — я пугался и торопливо повторял про себя эту молитву, которой давно научила меня мать. На этот раз, помню, я не очень испугался и не торопился читать калиму, потому что, не получив удовлетворительного ответа на свои во-

¹ Нама́з — молитвенный обряд.

просы, я впервые стал думать: если есть еще другой бог, то, значит, он не один-единственный, а если он один, то люди в «доме идолов» молились тому же богу, которому молятся мусульмане. Но тогда почему об одних людях говорят, что они мусульмане — правоверные, а о других, что они кофиры — неверные?

РОКОЧУЩИЙ АИСТ

В сухой солнечный день мы всей семьей сидели за обедом на паласе во дворе перед сараем. Вдруг где-то за крышами домов раздался странный рокот. Все нарастая, он приближался к нашему дому. Я вскочил и стал смотреть вверх. Сначала я ничего не видел, потом показалась огромная, диковинная птица, похожая на аиста. Громко рокоча, она летела прямо в нашу сторону.

— Аист! Большой! — крикнул я отцу, матери и брату.

Отец засмеялся:

— Это не аист. Эта птица зовется аэроплан.

С криком: «Аэроплан! Аэроплан!» — я стал бросать вверх свою тютетейку.

— Смотри, птица рассердится, спустится и клюнет тебя! — сказал отец.

Мне казалось, что он шутит, но все-таки я перестал кидать тютетейку вверх.

Аэроплан пролетел, но его рокот еще долго доносился из-за деревьев.

Мои мысли неслись за ним. Какая это птица — аэроплан? Посмотреть бы поближе... Отец еще в кишлаке рассказывал нам, что она водится у русских; и они, приручив ее, садятся на ее крылья и летают. Хорошо бы полететь когда-нибудь на крыле такой птицы!..

Я рассказал Паше, что видел аэроплан.

— А я их уже сто раз видела, — сказала Паша, — на небе и на земле. Они тут недалеко стоят.

— Правда? Покажи мне их! — попросил я.

— Ладно, — согласилась Паша. — Пойдем.

Она повела меня к каналу, протекавшему за домами заводских служащих. Перескочив через него, мы оказались на высокой насыпи, с которой были видны пашни, сады и огороды. Мы побежали через грядки с неубранными сухими стеблями прошлогодних дынь, арбузов, помидоров, кукурузы. В одном месте я увидел груды обугленных обломков.

— Это здесь упал аэроплан и сгорел, — пояснила Паша.

— Сгорел аэроплан? Птица? — удивился я, потому что представлял аэроплан живой птицей. — Разве птица может упасть и сгореть?

— Как ты не понимаешь! — досадовала Паша. — Аэроплан — это машина!

Вдруг такой же аэроплан, как вчера, пролетел низко над нами. Я даже заметил сидящего там человека. Аэроплан сделал круг и стал спускаться на широкое гладкое поле, огороженное невысоким забором с какими-то белыми домиками по краям. На поле этом стояли в ряд три аэроплана, казавшиеся большими птицами. Пролетавший над нами аэроплан спустился на землю, а другой зашевелился, побежал по полю, потом подскочил и, как птица, стал подниматься все выше и выше в небо.

— Далеко, не видно! — вздохнул я с сожалением. — Были бы поближе, рассмотрели бы получше.

— Мы можем пойти туда, к самым аэропланам.

— А пустят? — недоверчиво спросил я.

— Я проведу, — уверенно сказала Паша.

Перепрыгнув через сухие канавки и грядки, мы добежали до ворот, которые вели на поле, где стояли аэропланы.

Я не решался войти.

— Идем быстрее, — тянула меня Паша за руку.

— Боюсь... А вдруг аэроплан нас... — Я изобразил рукой и ртом, как клонит птица, не зная, как сказать это по-русски.

Паша хохочет.

— Эй, куда вы? Назад! — раздается голос сторожа, появившегося из-за будки у ворот.

— Дедушка, я хочу показать ему аэроплан! Можно? Он еще никогда не видел близко аэроплана! — умоляюще говорит старику Паша, указывая на меня.

— Ишь ты, цапля! «Хочу показать!»! — ворчит сторож. — Тоже нашлась показчица. Ну ладно, покажи.

Паша помчалась, как вихрь, длинноногая, в коротеньком платьице и куцей кофточке, придерживая руками светлые, как солома, волосы, развевающиеся по ветру. Я ни на шаг не отставал от нее.

Нам навстречу шли люди. Они удивленно оглядывались на нас. Вот Паша уже у ближней машины.

— Куда ты? Нельзя! — пытается остановить ее один из встречных людей.

— Дедушка-сторож нас знает, он позволил! — не смущаясь, отвечает она.

Паша подошла к аэроплану, погладила его по крылу. То же самое сделал и я. Теперь я видел, что это была не живая

птица, а «сделанная», и на ней было место для человека, который заставлял ее летать.

— Эй, уходите! — издали доносится до нас окрик сторожа. — Насмотрелись, теперь уходите!

— Ладно, сейчас! — отвечает Паша, а сама тянет меня за руку к высокой траве и командует: — Ложись и не высовывайся! Если хочешь посмотреть, как он полетит, надо побыть здесь.

Я ложусь в сухую траву. Не отрываясь смотрю на серебристо-белые, блестящие на солнце крылья аэроплана. С нетерпением жду, когда он полетит.

— А недавно один упал и разбился, — сказала Паша задумчиво.

— Как же он упал? — с ужасом спросил я.

— А вот на огороде только что мы видели его обгоревшие обломки. Туда упал и сгорел. Он еще в небе загорелся. Я сама видела.

Слушая ее, я не понимал, откуда в аэроплане мог взяться огонь. А Паша продолжала рассказывать, как произошла катастрофа:

— Летел он над нами, летел, потом вдруг перестал тарыхтеть... Смотрим, он как нырнет вниз. Дым из него повалил. Мы все — я, мама и наши заводские ребята — бросились посмотреть. Но пока добежали до него, он уже сгорел...

— Аэроплан? — спросил я с трепетом. — А тот человек?

— Летчик тоже разбился. Его подобрали еще живого, но, пока везли в больницу, он умер.

Паша рассказывала все это спокойно, а я весь замирал от волнения. Я вспомнил сказку про деревянного крылатого коня, которую рассказывала бабушка еще в кишлаке. Если покрутить его правое ухо — он взлетит в небо; если покрутить левое ухо — он спустится на землю. На этом коне летал царевич Боборахим. Он взял с собой раскаленные угли в совке. От этих углей вспыхнул деревянный конь и сгорел.

— А у этого тоже был огонь? — спрашиваю я.

— Какой огонь? У кого? — удивляется Паша.

— Ну, у того, кто летит. У него в аэроплане был огонь?

— О чем ты говоришь? Аэроплан же машина, в ней всегда есть огонь, оттого она и летит, — объясняла Паша.

В это время близко зарокотал аэроплан. Оглянувшись, мы увидели летевшую к аэродрому машину. Я весь затрепетал от страха: а вдруг он загорится и упадет на землю? Какой бесстрашный «аэропланщик»! Летает и не боится!

Сделав круг, аэроплан плавно опустился на гладкое поле и, прокатившись на колесах по земле, неподалеку от нас уве-

ренно остановился. Несколько человек поспешили к нему. Перешагнув через борт машины, спрыгнул на землю летчик и, снимая большие темные очки, весело поздоровался с подошедшими к нему людьми. А в это время к другому аэроплану приблизилась кучка людей. Один из них, легко перекинув ногу через борт, влез в машину, сел и спокойно стал застегивать на руках длинные кожаные перчатки, а потом опустил очки со лба на глаза. Несколько человек стали держать аэроплан за крылья, а двое начали что-то с трудом крутить впереди. И вот аэроплан громко затарахтел; люди отскочили от него в сторону, впереди него что-то быстро завертелось. Нас обдал пыльный ветер, у одного человека слетела фуражка, и он побежал догонять ее. Аэроплан сначала побежал вприпрыжку, потом оторвался от земли, стал подниматься высоко в небо и полетел, рокоча.

Трудно описать изумление и восторг, охвативший меня.

— Летчику совсем не страшно! — ликовал я. — Вон как высоко взвился и летит, летит!

Долго после этого я ходил, очарованный аэропланом. Несколько раз я рассказывал о нем маме, отцу, брату. Бесстрашие летчиков восхищало меня.

«Человек смело взлетает в небо! Летает выше птицы — и летит куда хочет! Какие же бесстрашные летчики! Один упал и разбился — другие все равно летят, не боятся!» — думал я.

И каждый раз при виде аэроплана в небе я бросал вверх свою тютютейку, чтобы приветствовать его.

ОТЦОВСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

За заводом на двухстах пятидесяти танапах лежал заброшенный виноградник. Виноградные лозы, густо перевитые высохшей сорной травой, беспомощно распластались по земле.

Отец, проходя мимо виноградников, глядел на них с жалостью, качая головой: тяжело смотреть дехканину на гибнущий или, может быть, уже погибший виноградник. Он наклонялся, осторожно высвобождая одну лозу из сухой травы, обламывал ее кончик, чтобы убедиться, не померз ли виноградник зимой. И искренне радовался, когда находил, что виноградник «еще жив».

— Трава на пользу пошла! — кричал он. — Она укутала лозы и спасла от холода.

Когда же ранней весной завод начал восстанавливать ви-

ноградник, отец всей душой отдался этой работе. Стояли теплые весенние дни, и отец вместе с другими рабочими вспахивал на быках сухую землю между рядами виноградника, окапывал его мотыгой или лопатой, ставил жерди, натягивал меж ними проволоку и поднимал на них виноградные лозы. Уходил он на работу чуть начинало светать и возвращался после захода солнца. Брат и я носили ему обед в поле.

Но сегодня он неожиданно вернулся домой во время полдника. Поставив в сенях свою тяжелую, специально для него подобранную мотыгу, он вошел в комнату молча, с улыбкой.

— Ты что смеешься? Почему вернулся так рано? — спрашивает мать.

— Садись сюда, — таинственно говорит отец, указывая место рядом с собой.

Мать садится.

— Удивительные дела! — продолжает он. — Сейчас был в конторе у Николаева. Он сам вызвал меня.

— Сам? Зачем?

Оказывается, отца решили назначить старшим по винограднику, вроде десятника или бригадира. И, кроме того, ему поручили вербовку новых рабочих. Ему даже повысили заработную плату. И еще сказал Николаев, что завод выдаст отцу ссуду на покупку коровы.

Отец рассказывал обо всем этом, как о знаменательном и радостном событии своей жизни.

— Видела бы ты, как он со мной просто и дружески разговаривал, как будто я тоже какой-нибудь начальник. Сначала он встал и подал мне руку, потом посадил рядом с собой и начал разговор. «Ты, говорит, Умархон, хороший работник, мы, говорит, ценим таких работников, как ты. Кого, говорит, ты приведешь на завод или укажешь, того и будем мы принимать на работу». И о тебе, об Азизе, Собире и Мухтаре вспомнил. «У тебя, говорит, Умархон, семья, маленькие дети, ты должен иметь корову».

Мама не верила своим ушам.

— О боже, это во сне или наяву? Неужели у нас будет своя корова?

И вдруг она забеспокоилась, выказал ли отец достаточно уважения и признательности такому хорошему человеку, как Николаев:

— Неужели ты зашел к нему с мотыгой, в этом грязном халате? Как нехорошо...

— В конторе на это не смотрят, на работу смотрят, — сказал отец.

— И ты, конечно, сразу на все согласился? Не надо было

сразу соглашаться. Сначала надо было сказать: «Спасибо, много-много признательны вам».

— Говорил я! — успокаивал ее отец. — «Спасибо, говорю, я не могу старшим быть. Я простой дехканин и никогда высокой должности не имел». А он сказал: «Сможешь, мы тебе доверяем».

Отец умывается и садится за дастархон. Мать ставит перед ним чашку супа с лапшой, приготовленного ему на обед.

— «Потерпишь — и из зеленого урюка созреет халва», — вспоминает отец узбекскую поговорку, отставляя в сторону пустую чашку.

Пословица была признаком того, что он сейчас начнет философствовать.

Азизхон незаметно вытаскивает свою рогатку из-под сундука, сует ее за пазуху и собирается уходить. Он не любил слушать рассуждения отца и всегда в таких случаях старался удрать.

— Ты куда? — останавливает его отец. — Посиди здесь, послушай и поучись, как жить на свете.

Азизхон садится со скучающим видом. Помолчав немного, отец обращается к матери:

— Ты все меня упрекаешь: зачем приехали сюда, зачем бросили свой кишлак? Теперь видишь, что стало? А я знал, что так будет. Радость идет через горе... Пятьдесят лет живу на свете, побывал во многих городах и краях — и вижу: по миру разгуливают добро и зло, они на каждом шагу присматриваются, к кому бы пристать. Добро — робкое существо, застенчивое, как невеста: оно не лезет ко всякому, ищет человека правильного, с чистой душой и честными помыслами. А зло — оно нахальное, беззастенчивое, ищет подобного себе. Человек с чистым сердцем и чистыми помыслами где только увидит зло, убегает от него... На правом плече человека сидит ангел Рахман, на левом плече сидит дьявол Шайтан. Шайтан шепчет человеку: «Ищи зло, иди ко злу!» Рахман говорит: «Ищи добро, иди к добру!» Кто сердцем и помыслами чист, тот поступает так, как учит Рахман, а человек с кривой душой слушается Шайтана. Вот ты, Азизхон, больше слушаешься Шайтана, потому что Шайтан очень сладко говорит...

— Да никого я не слушаюсь! Плевал я на могилу отца этого Шайтана!..

Разозлясь и выругав Шайтана самым неприличным словом, Азизхон убегает из комнаты. Он знает, что отец обязательно упомянет о краже муки или еще о какой-нибудь другой его поделке.

— Глупый мальчишка! Один бог знает, каким он вырастет! — говорит отец вслед брату.

Родители очень любят своего первенца, нестроги к нему, даже за проказы не наказывают его.

Продолжая свою речь, отец говорит:

— Да-а... Есть три самых худых зла: первое — воровство, второе — обижать сирот и третье — зависть. Бог пуще всего не любит вора. Почему? Потому что вор на самого бога восстал. Как это понимать? А так: бог дал человеку силу, чтобы он работал, добывал себе пропитание, — стало быть, человеческая сила свята, от нее и жизнь вся устраивается и все благие дела на свете. А вор эту святую силу тратит на злодейство. Вор есть бездельник, а бездельник нетерпим и людям и богу... Я, как вошел в разум, всегда старался от этих трех зол ходить как можно дальше. Покойный мой отец говорил мне: «Сын! Если тебе суждено счастье, то оно придет от силы твоих же рук; если суждено богатство, то оно также придет к тебе от силы твоих рук». Я всегда храню в памяти эти слова отца. Если бы я жалел силу своих рук или тратил ее не на то, на что она предназначена самим богом, разве Николаев захотел бы сделать мне добро? Нет... А ведь Шайтан не раз пытался меня совратить, но я не поддавался. В ту ночь, когда я поймал вора Исмата, он говорил мне: «В моем кармане лежат две с половиной тысячи рублей, возьми их и отпусти меня». Он, негодяй, хотел купить меня, сделать меня таким же, как он сам! Мне хотелось задушить его тут же за эти его слова, но я сдержал себя... Кто присваивает долю вдов и сирот, у того в теле открываются дыры, и вдовье-сиротская доля через те дыры выходит наружу. Вот как у Бадалбека. Съел он сиротскую долю — все лицо и шея у него покрылись гнойными болячками...

Бадалбек был нашим соседом в кишлаке. Его несколько лет мучили какие-то болячки на лице и шее. Люди считали эту болезнь наказанием за то, что он промотал наследство своих маленьких племянников-сирот, которые жили у него.

— Ты все сокрушалась — зачем поехали в чужие края, зачем бросили свой кишлак, — продолжает отец. — А теперь видишь, что стало? Я всегда мечтал иметь двадцать танапов земли и пять танапов сада, а сегодня Николаев мне говорит: «Умархон! Вот эти двести пятьдесят танапов виноградника и пятьдесят с чем-то танапов пахотной земли вручаем тебе. Ты хозяин всему. Работай, вырасти хороший урожай». Теперь я буду работать, подпоясавшись семь раз. Весь виноградник подниму, столько винограда дам, что завод два года будет делать из него вино. Еще разведу бахчу, посажу овощи — кла-

довые всех наших рабочих завалю дынями, картошкой, луком, морковью... А сейчас мне надо скорее собирать сто человек работников. Месяца полтора-два назад я мог бы найти в один день двести, триста человек, но сейчас это трудно: всюду начались весенние работы, мардикоры¹ теперь нарахват... Ты возьми-ка свою бумагу и чернила и пиши — отдельно имена тех, кто сейчас работает на винограднике, и отдельно тех, кто приехал из кишлаков и еще бродит по Ташкенту.

Мать принесла бумагу, чернильницу и тростниковое перо. Отец стал по одному называть на память, а мама — записывать имена тех, кто работал на винограднике. Потом на другой бумаге — знакомых отца, кто приехал из кишлака, но еще ходил по Ташкенту в поисках работы и куска хлеба. Их оказалось всего человек пятнадцать. Этого было мало.

— Каждый из них приведет еще одного-двух работников, — успокаивал себя отец. — Так наберется тридцать—сорок человек. А недостающих мы будем вербовать из пленных немцев и австрийцев, это велел мне сам Николаев. Лагерь пленных недалеко отсюда.

Так отец с первого же дня своего назначения приступил к исполнению своих обязанностей «начальника виноградника».

За неделю отец собрал человек пятьдесят рабочих. Среди них были и русские, но большинство — разоренные, гонимые голодом бедняки из ферганских кишлаков.

Рабочие были поделены на группы по шести человек, и каждая группа со своим старшим, назначенным из самих рабочих, работала на отведенном участке. В заводской конторе, разумеется, имелись списки и велась отчетность, но отец завел свой особый учет, доставлявший матери немало хлопот: она исполняла у него обязанности секретаря и счетовода. Под диктовку отца, который знал все на память, она должна была вносить в отдельные списки по группам каждого вновь принятого на работу, записывать все изменения в составе группы, все перестановки и передвижения, ежедневно отмечать не вышедших почему-либо на работу.

Приходит отец вечером домой, усаживается после ужина с матерью у лампы, начинается работа «домашней канцелярии». Медленно чиркает по узким, длинным, приклеенным друг к другу листам бумаги тростниковое перо. Отец, бывало, долго вспоминает что-то, считая по пальцам и шепча непонятное, а мама ждет, приготовившись писать.

Иногда ей надоедала эта нудная, непривычная работа, она жаловалась:

¹ Мардикор — работник по найму, поденщик.

— Зачем тебе эти записи! Пусть это делают конторские мирзы¹.

— Ты не знаешь, — поучительным тоном отвечает отец. — Казенное дело — не шутка. А вдруг Николаев или директор спросят меня о чем-нибудь — например, захотят узнать: сколько времени такой-то человек работает в такой-то группе? А я забыл и ответить не смогу, и тогда мне будет стыдно. А Николаев скажет или подумает про себя: «Эх ты, старший! Мужик несообразительный!»

И он вел с матерью всю отчетность так тщательно, будто без этого завод неминуемо погиб бы.

Только закончив всю необходимую запись и проставив все нужные отметки в списке, он спокойно ложится спать.

ЗЕМЛЯКИ

Это было недели через две после назначения отца старшим над рабочими на винограднике. Принеся ему, как всегда, обед на поле, я возвращался домой с пустой посудой, завернутой в дастархон. У дороги я заметил двух мужчин, по виду похожих на нищих; они сидели в тени под холмиком, на краю виноградника. Оба босые, оборванные, изможденные и обросшие бородой. Из их рваных халатов во многих местах вылезла старая вата. Один из них позвал меня по-узбекски:

— Эй, иди-ка сюда!

Я испугался, потому что принял их за воров или бродяг, и ускакал шаг.

— Иди, не бойся, мы ведь земляки! — крикнул второй уже по-таджикски.

По характерному говору, которым отличались люди нашего кишлака, я убедился, что это наши односельчане. Подошел и вижу: это длинный Шариф и приземистый Хаит — те самые чоряккоры бая Мирабдуллы, с которыми отец подрался из-за воды на канале Дулюна.

— Здравствуйте... Вы откуда?

— Мы оттуда, откуда и ты, — ответил Шариф, который от худобы стал еще длиннее.

— Как это вы попали сюда?

— Так же, как и вы... Что там у тебя в дастархоне? Лепешки? — спросил он.

— Нет, пустой дастархон.

— А-а, пустой... Тогда можешь идти.

— Я сейчас позову отца.

¹ Мирз á — писец, писарь.

— Зови, если он тебе нужен. Нам он не нужен, — сказал Хаит.

Я взбежал на холмик и стал махать рукой отцу, работавшему на винограднике.

Он подошел к нам и сразу же узнал земляков. Они встретили его равнодушно, Шариф даже недружелюбно — он, верно, думал, что отец до сих пор продолжает питать к нему враждебные чувства.

— Вы что-то сильно исхудали, — сказал отец, усаживаясь около них. — Видно, в кишлаке трудно живется.

— Пожил бы ты хотя бы два-три дня на жмыхе да на траве, тогда не говорил бы так, — ответил Хаит.

Лицо отца сделалось серьезным.

— Я знаю, народ там голодает... Давно приехали?

— Вот уже две недели... Да, Шариф? — обратился Хаит к своему товарищу.

— Не знаю, не считал, — отозвался молчавший все время Шариф и отвернулся. То ли он был сильно голоден, то ли все еще по старой памяти питал злобу к отцу, но он явно не хотел разговаривать.

— Еще нигде не работаете? — спросил отец.

— Нет, — ответил Хаит. — На мардикорском базаре, где нанимают работников, ташкентские бай взглянут на нас и отходят в сторону.

Отец еще что-то хотел спросить, но Шариф вдруг со злостью остановил его:

— Хватит! Иди по своим делам и оставь нас в покое.

— Да ты что, Шариф? — воскликнул Хаит и недовольно посмотрел на своего товарища. — Может, человек хочет помочь нам.

— Не хочу знать никаких помощников! — сердито крикнул Шариф и поднялся, длинный и тощий. — Вставай, идем!

— Папа, дядя Шариф просил у меня лепешку, а у меня не осталось лепешек, — сказал я отцу, подумав, что, наверно, Шарифа мучает голод и потому он такой злой.

— Что ты врешь? Я спросил просто так! — заорал на меня Шариф, но в голосе его чувствовалось смущение.

— Постой, Шариф! — обратился к нему отец. — Что ты злишься?.. В это трудное время люди не должны помнить обиды, должны помогать друг другу. Я на самом деле могу помочь вам. Заводу нужны работники — если хотите, я хлопочу за вас. Пойдемте ко мне. А так совсем нехорошо — прийти к земляку и уйти, не выпив в его доме пиалу чаю.

Шариф стоял с опущенной головой, ковыряя землю большим пальцем ноги. Он был заметно смущен.

— Вот видишь! Умархон не такой человек, как ты думал. Извинись за свое плохое обхождение, дурень, и идем, — сказал ему Хаит.

Но Шариф молчал и не двигался с места. Вдруг из его глаз закапали на землю крупные слезы. Он отвернулся и вытер глаза рваным рукавом халата. Мне стало жалко его. Я досадовал, что мой дастархон был пуст и я не мог угостить несчастного нашего односельчанина лепешками.

— Не горюй, Шариф, все как-нибудь устроится, — проговорил отец и повел их к нам.

На заводском дворе возле нашего дома Шариф и Хаит рассказали о своей тяжелой участи и многих наших земляков. Зобатый бай Мирабдулла прогнал Шарифа и Хаита со своей земли. Они с семьями в самом начале зимы остались без куска хлеба. Сначала стали есть жмых, но потом и его трудно стало доставать; кипятили в котле и ели кору деревьев; жены, дети и они сами начали пухнуть от голода.

Жена Шарифа скоро умерла. Он остался с четырьмя маленькими детьми и был вынужден продать свой домик за три фунта сушеного тута. В начале весны он похоронил одного за другим всех четверых своих детей. С горя хотел он повеситься, но Хаит вовремя подоспел и спас его. Потом они оба решили уйти из кишлака в Ташкент искать работы и хлеба.

Родители Хаита тоже умерла, а его жена с двумя детьми осталась в кишлаке, и он не знает, что с ними. Кишлачные бай за пуд или два кукурузной муки «покупают» земли у голодающих дехкан. Хаит вынужден был продать баю Мирабдулле три танапа земли за пуд кукурузной муки. Четыре самых больших бая — Камол, Рахимбай, Мирабдулла и Абуль-Азам — таким образом захватили половину всех земель кишлака. Народ умирает с голоду, а у этих баев в ямах гниет хлеб.

— Недолго осталось им пить кровь дехкан, — сказал отец. — Вот бывшего хозяина нашего завода прогнали... Завод теперь наш... рабочих. Белого падишаха тоже согнали с трона. Новая власть стоит за бедняков. Она скоро доберется до кровопийц и в нашем кишлаке! — подбадривал отец своих гостей.

Поговорив с Николаевым, отец поселил Шарифа и Хаита на заводском дворе, в комнатухе для сторожа, рядом с дровяным складом, неподалеку от нашего дома. Шарифу отец отдал свой шарф, а Хаиту — поношенный, но еще целый халат; мы с братом отнесли им из нашего дома палас и одеяло. Каждый раз, когда мама варила еду, я относил чашку нашим односельчанам.

Прожив несколько дней в своей комнатухе, Шариф и Ха-

ит немного пришли в себя и начали работать на виноградниках.

Шариф был сильный, неутомимый работник; он иногда дразнил своего товарища, который был слабее его:

— Моя левая рука выполняет твою работу, а правая — вдвое больше того.

Он стал старшим в группе из шести рабочих, и его группа работала лучше других. Шариф повеселел, иногда, возвращаясь с работы, громко пел песни; но временами, обычно по пятницам, в нерабочие дни, он впадал в уныние, вспоминал умерших от голода жену и детей, плакал...

ПАРАНДЖА

Мамин котел кипел теперь каждый день, а иногда и два раза в день: отцу выдали на заводе деньги за работу, он купил муки, рису, масла. Жить стало веселее. И мы уже начали замечать неудобства нашего жилища на заводском дворе. Жили мы там одни. Ближайшими нашими соседями были семья той «немки», которая побила меня из-за курицы, да кривой старик сторож со своей старухой. А жить без соседей плохо: не с кем перекинуться словом, посоветоваться, не у кого одолжить, когда надо, спички, соль, корыто, керосин и всякую житейскую мелочь.

И все же, раз нет другого выхода, это неудобство можно было терпеть. Но вот как быть, если на заводском дворе, прямо у твоего дома, с утра до вечера возятся грузчики, конюхи, столяры, кузнецы, жестянщики, сторожа? Они постоянно заходят в сарай, а моей матери надо закрывать лицо от чужих мужчин. Попробуй тут соблюсти древний строгий обычай! Или ходи дома в парандже, или совсем не выходи из комнаты. Бывало, заходит рабочий в сарай за инструментами, мама не успеет вовремя закрыться, и тот — посторонний мужчина — видит ее лицо, лицо женщины-мусульманки! И мама долго это переживает.

Мать страдала. Нам тогда и в голову не приходило, что мама могла просто не закрывать своего лица.

Однажды вечером к нам зашел Ершов. Его отпуск давно кончился, он вернулся в свою воинскую часть, находившуюся в Ташкенте, а теперь пришел на один день навестить семью. Мы все сидели на полу за дастархоном. Ершов без стука вошел к нам, как к своим старым друзьям. Мама испуганно отвернулась и закрыла лицо краем платка.

— Уже увидел! Грех уже совершился, теперь можешь не

прятаться. Такая хорошая женщина — и прячет лицо! Ай-яй-яй! — весело сказал Ершов, снимая с головы свой матерчатый шлем с красной звездой.

Отец поздоровался с ним по-таджикски — в обнимку, как с другом, и, забыв о присутствии жены, которой нельзя ни одной минуты находиться в одной комнате с чужим мужчиной, усадил его на почетном месте. Ершов с непривычки неловко уселся на курпаче, протянув в сторону ноги в сапогах. Мама вскочила и, закрывая лицо, бросилась к выходу. И тут отец на радостях приказал ей:

— Оставайся. От Ершова можешь не закрываться — он вроде как брат мне.

Я и Азизхон даже испугались и недоумевающе посмотрели на отца: как он решился на это? А отец улыбнулся и повторил свой приказ. Мать, остановившаяся у двери, после слов отца, конечно, не повернулась, не показала свое лицо, но и не закрывала его платком и уже не спеша вышла из комнаты. Спустя несколько минут она вошла с чайником и пиалами. Лицо ее было открыто, она еле слышно произнесла «салям», но ни на кого не смотрела, избегая встретиться с гостем глазами.

Так впервые в жизни мать открыла свое лицо перед чужим мужчиной.

Ершов расспрашивал, как нам живется на заводе, довольны ли мы переездом сюда.

— Хорошо, — ответил отец. — Ты нас на завод притащил — спасибо, давай руку! — Он обеими руками взял руку Ершова и сжал ее. — Завод хороший, работы много, контора деньги дает, я на базар хожу, что надо покупаю. Одно нехорошо: рабочие около дома туда-сюда ходят, днем ходят, вечером ходят, в сарай идут, а матери моих детей лицо открыт нельзя, даже не может свободно пойти подмести у дверей.

— Женщине совсем не надо закрывать лицо, тогда сразу легче станет! — горячо посоветовал Ершов. — Ты и она теперь — пролетариат, а пролетариату паранджа не нужна. Ее придумали буржуи да муллы, пусть их жены и носят. Делай, как я говорю, хозяйюшка, — обратился Ершов к маме, — сбрось паранджу! Я тебе плохого совета не дам.

Мать, совершенно не понимавшая по-русски, но, очевидно, догадавшаяся, о чем говорит гость, смущенно опустила голову, машинально полузакрыв лицо краем платка.

Отец сказал в раздумье:

— Придет какой-нибудь родственник, а она без паранджи. Родственник плохое слово скажет... Стыдно будет... Нельзя...

— Если дело только в этом, то ничего, можно ходить без

паранджи, — сказал Ершов, подогнув, по примеру отца, обе ноги под себя и дую на чай в пиале, которую он держал за край, а не снизу, как принято у нас. — Пусть она сбросит паранджу, а придет родственник — может надеть ее для вида, если захочет. Не каждый же день приходят родственники!

Отец, усмехнувшись, отрицательно покачал головой:

— Так нехорошо будет.

Ершов посидел у нас недолго; проводив его до ворот, отец вернулся задумчивый. И вдруг говорит маме:

— Слушай, может, в коране где-нибудь сказано: если нет возможности, дозволяется мусульманской женщине не закрывать лицо. А?.. Ты грамотная, ты должна знать это.

Мама воскликнула:

— Нет, нет! Такого нигде не сказано. Нельзя.

Отец больше ничего не сказал и снова погрузился в раздумье.

Мама продолжала закрываться, как могла. Но это с каждым днем становилось все труднее и мучительнее для нее.

Одна узбечка приносила иногда еду мужу на завод. Мать познакомилась с ней и спросила у нее, не знает ли она близости какого-нибудь муллу или биби-отун. Женщина сообщила маме, что недалеко от завода, за кладбищем Чилдухтарон («Сорок девушек»), живет самаркандский мулла и что его жена, биби-отун, содержит школу для девочек.

На другой день мать напекла лепешек, положила их на поднос, завернула поднос в дастархон и дала его мне. Она надела свою выходную, еще новую паранджу и говорит:

— Идем в Чилдухтарон.

Я обрадовался возможности прогуляться с мамой «в город» и подумал, что она, наверно, хочет взять у муллы или у его жены какой-нибудь амулет от дурного глаза.

Мама взяла братишку Мухтара на руки, я поднял поднос с лепешками на голову, и мы пошли. Наш путь лежал по тропе через хорошо знакомое мне русское кладбище.

Тропа, выходящая меж деревьев и могильных оград, скоро выводит к церкви, а от нее ровная, прямая дорога ведет к кладбищенским железным воротам, за которыми начинается широкая, мощенная булыжником улица. По обеим сторонам улицы — дома местного населения, сады, чайханы, какие-то кустарные мастерские. Мусульманское кладбище Чилдухтарон мы нашли легко — это небольшой холм, отгороженный от улицы высоким дувалом. Первый же прохожий указал нам дом самаркандского муллы.

Во внутреннем дворе нас приняли две молодые, приветливые, чрезвычайно любезные девушки — очевидно, служанки.

Они взяли у меня поднос, мамину паранджу и провели нас к своей хозяйке.

В просторной комнате, богато убранной коврами, бронзовой и фарфоровой посудой в нишах, на шелковом одеяле в переднем углу важно восседала пожилая полная женщина с четками в руках, в широчайшем белом платье и кисейном платке. Переступив через порог, мать почтительно поклонилась ей.

Биби-отун, слегка поведя рукой, предложила нам сесть. Мать села на край ковра; подняв руки, прошептала молитву, обвела ими лицо.

Но едва начала она рассказ о причине посещения, как маленький Мухтар — ему было тогда семь или восемь месяцев — без всякого почтения к важному дому и еще более важной хозяйке намочил мамино платье и ковер. Мать совсем растерялась под недовольным взглядом биби-отун. Служанка принесла кувшин с водой и тряпку, протерла ковер. Мать, выйдя из комнаты, помыла во дворе ребенка, выполоскала мокрый подол своего платья. Мухтар громко плакал, мама была в отчаянии.

Я смотрел на хозяйку в надежде, что она каким-нибудь словом, вроде «не огорчайтесь, бывает», успокоит маму, прикажет служанке взять ребенка из ее рук и походить с ним, пока он успокоится. Но хозяйка, не проронив ни звука, сидела неподвижно, с опущенными глазами, неторопливо перебирая четки.

Когда матери наконец удалось немного успокоить ребенка, она поторопилась перейти к делу.

— Я пришла узнать у вас: если женщина-мусульманка живет среди русских, кругом одни мужчины и нет возможности прятать лицо, можно ли ей открыться?.. Я читала коран и другие книги, но нигде не нашла ответа на этот вопрос.

Бедная мама! Вот о чем она думала, идя к этой чужой, напыщенной, неприветливой женщине!

Биби-отун перестала считать четки, подняла на маму удивленные глаза:

— Вы грамотная? Умеете читать?

Она спросила это по-узбекски, но в ее выговоре слышался таджикский акцент (она, верно, была из Самарканда), поэтому мама ответила ей по-таджикски:

— Да... Я грамотная... Мои покойные родители, божье благословение им, учили меня у биби-отун. Я из рода ходжей.

Длинные, тонкие, некрасивые губы биби-отун искривились в подобие улыбки.

— Круговорот судьбы забросил нас в этот чужой город,

в среду чужих людей, не нашей веры... — снова заговорила мама.

Биби-отун позвала служанку и приказала ей постелить одеяло для мамы и принести угощение. Видно, грамотность мамы и то, что она из рода ходжей, произвело впечатление на биби-отун — она сразу переменяла к нам отношение.

Перейдя на таджикский язык, она стала расспрашивать маму. Мама рассказала о нашей жизни на заводе. Биби-отун, выслушав ее, сделала серьезное лицо, поджала тонкие губы, потом сказала:

— Нет, дорогая, женщина-мусульманка везде и во всех случаях должна закрывать лицо от чужих мужчин. Святой Фатиме не раз приходилось путешествовать со своим супругом, святым Али, и со своим отцом, пророком нашим Мухаммедом, быть в кругу чужих мужчин разной веры, и она никогда и ни перед кем из них не открывала свое лицо. Нет большего греха для женщины-мусульманки, чем быть увиденной чужими мужчинами, особенно мужчинами-кофирами!

Мать побледнела, заморгала глазами. Вероятно, она, так же как и я, вспомнила о Ершове.

— А если муж разрешает ей не закрываться перед кофиром? — спросила она.

— Жена не должна соглашаться, — был ответ.

— А если он принуждает ее?

— Это другое дело. Тогда женщина не виновата — грех падает на мужа.

Мать ушла от биби-отун удрученная и всю дорогу молчала.

Дома она продолжала закрываться от рабочих, хотя это ей плохо удавалось, да и было теперь бесполезно: ведь каждый рабочий все равно уже не раз видел ее лицо! Зная это и чувствуя свое бессилие, так как работа на заводском дворе все увеличивалась и рабочих становилось все больше и больше, мама жаловалась отцу:

— Я больше не могу здесь жить, увези меня куда-нибудь!

Однажды утром, когда она со слезами повторяла свою обычную жалобу, отец вдруг сказал ей:

— Брось закрываться, я возьму грех на себя.

Мама обомлела. Удивленно и испуганно глядя на отца, она не нашла, что ответить ему.

— Если уж открыла лицо перед одним, — отец имел в виду Ершова, — можешь открывать и перед остальными. Раз человек потонул, то все равно, поднялась ли над его головой вода на одну пядь или на сто. — Помолчав, отец подкрепил свою мысль пословицей: — Завели на середину реки, а гово-

рят: не подмочи подол! Пусть спросит бог на том свете, я ему отвечу: если ты не хотел, чтобы чужие мужчины видели лицо моей жены, то ты не должен был посылать на нас голод, гнать меня из моего кишлака и приводить на заводской двор... Не закрывайся больше! — решительно приказал он.

С этого дня мама перестала закрывать лицо.

СВЕТ НОВОЙ ЖИЗНИ

Весной и летом вся местность вокруг завода стала необыкновенно красивой. Прямые бесконечные ряды поднятого виноградника тянулись темно-зелеными полосами с конца в конец огромного поля. Вокруг виноградника, по краям дорог и арыков, около домов — всюду зеленели сады. Густая тень деревьев ложилась на дорогу. Вдоль дороги по арыкам бежала быстрая холодная вода, и приятная прохлада смягчала летний зной.

На пустовавшей среди виноградника земле отец вскопал огород.

Но прежде всего он построил на огороде навес, как бывало у нас в кишлаке в летнем садике, и переселил туда всю нашу семью. Рядом протекал арык. Перед навесом мы разбили цветник. Вокруг посадили овощи, арбузы, дыни и кукурузу.

Слева зеленел виноградник, справа земля была покрыта густым сплетением длинных стеблей дынь и арбузов. Золотистые или белесо-зеленые дыни и полосатые арбузы казались разбросанными по полю среди стеблей и листьев.

Хорошо обработанная и унавоженная земля, отдохавшая несколько лет, дала невиданный урожай. Иной арбуз или дыню мы с братом не могли поднять и катили по земле с огорода к нашему навесу. Тыквы уродились в пуд весом. С каждого выдернутого куста картофеля мы набирали много крупной, как кабачки, картошки, среди которой были картофелины до двух фунтов весом. Для супа на всю семью нам достаточно было двух-трех картофелин. Баклажанные стебли ломались под тяжестью огромных темно-лиловых плодов — приходилось ставить подпорки. Каждая выдернутая луковица была почти с маленький чайник. Особенно нам нравились зеленоватые дыни, словно покрытые частой сеткой. В такую дыню достаточно было воткнуть кончик ножа, как она растрескивалась надвое.

Отец говорил, что никогда в своей жизни не видел такого урожая овощей и бахчи.

За цветником стоял желтый лес кукурузника. Длинные

плоды его, усыпанные янтарными зернышками, с мохнатой кисточкой на конце, были нашим лакомством еще до того, как созревали: мы пекли их в золе и ели. В чаще кукурузника хорошо было играть в прятки.

У нас была теперь корова с теленком. Мы хорошо зажили. У мамы прибавилось работы, но она все успевала и была всем довольна. Она окрепла, поздоровела, к ней вернулась былая веселость.

Она радовалась, когда приходили к ней в гости тетя Люба, жена Николаева, и тетя Маша, жена Ершова, с которыми мать подружилась. Они нередко заходили к нам со своими детьми, мама угощала их сдобными лепешками, дынями, арбузами.

Еще до переезда на огород братишка Мухтар доставлял маме много хлопот и огорчений. Он часто болел, рос хилым и постоянно плакал. Мама укладывала его в колыбельку — гахвору — и туго привязывала к ней, а поверх гахворы набрасывала покрывало. Я почти непрерывно качал Мухтара, он с плачем засыпал и с плачем просыпался. Бывало, мама возится по хозяйству, а я устану качать плачущего Мухтара, возьму да размотаю его и выну из гахворы. Его потное тельце всегда было покрыто красной мелкой сыпью.

Через несколько дней после нашего переезда на огород к нам зашла тетя Люба, красивая светловолосая и голубоглазая, со своей трехлетней дочкой Леночкой, чистенькой, нарядной, в кружевах и голубых лентах. Девочка нам казалась живой куклой.

Мама встречала гостью, а я усиленно качал плачущего Мухтара в наглухо закрытой покрывалом гахворе.

Тетя Люба подошла ко мне, сняла покрывало и увидела туго прибинтованного к деревянной колыбельке Мухтара. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Вспотевший от крика и духоты, он лежал с красным лицом, с мокрыми волосами.

Тетя Люба всплеснула руками и воскликнула:

— Бедный ребенок!.. Развяжите скорее его!

Мама развязала и вынула Мухтара из гахворы. Когда тетя увидела его тельце, покрытое красными пятнами, то, покачав головой, сказала с упреком:

— В такую жару нельзя лежать ребенку в гахворе. Ты погубишь его! Не клади больше в нее! Видишь, онемело у него все тельце.

Тетя Люба говорила маме, что детей нужно укладывать спать в кроватку, ребенок должен двигаться, лежать свободно. Она долго убеждала маму, что гахвора вредит здоровью, но мама никак не соглашалась с ней.

Под вечер тетя Люба зашла к нам снова. В руках у нее был таз, а за ней Азизхон тащил маленькую железную кроватку. Она вынула из сумки душистое мыло и сказала:

— Купай каждый день ребенка теплой водой с мылом и укладывай спать в этой кроватке.

До этого мы только раз в день слегка обмывали Мухтара холодной водой.

Первое купание с мылом произошло тут же, при тете Любе. Едва намылили Мухтару голову, он отчаянно заплакал; но как только голову вымыли, он быстро успокоился, зашлепал ручонками по воде и даже заулыбался. Видно, ему понравилось купаться.

Потом уложили его спать в мягкой и чистой постельке. Он крепко и долго спал, а когда проснулся, лежал спокойно и, к нашему удивлению, не плакал.

С этого дня мама оставила гахвору. Она стала каждый день купать Мухтара с мылом и укладывать в кроватку.

Недели через две Мухтар заметно поправился, стал чистеньким, беленьким. Он меньше плакал, больше смеялся и гукал. Скоро он начал ходить, и мама с удивлением рассказывала, что другие ее дети пошли гораздо позднее.

Немалой радостью для мамы была покупка швейной машины. Теперь она с увлечением нас обшивала: шила белье, рубашки и штанишки всем трем сыновьям.

Мне мама сшила красивый шелковый халат, вышила поясной платок и тюбетейку — белыми узорами на черном фоне. Мне казалось, что я сразу вырос в этом новом наряде. И все женщины, встречая меня на заводском дворе, говорили:

— Вот какая хорошая у тебя мама! Какой красивый халат сшила!

Первое лето на заводе нам казалось лучшим временем нашей жизни. Никогда еще мы не жили так хорошо. Никогда — ни раньше, ни после — я не видел моего отца таким довольным и счастливым. Он уходил на работу с восходом солнца, возвращался поздним вечером. Забегая днем домой поесть, он говорил:

— Вот это работа! О такой работе я всегда мечтал! Спать никогда!

Начался сбор урожая. На винограднике закипела работа.

Раньше отец был очень религиозен: как правоверный мусульманин, где бы он ни находился, он должен был совершать молитву пять раз в день. Теперь же, при его работе, ему никогда было столько времени тратить на молитву, и он говорил сокрушавшейся по этому поводу маме:

— Молитва считается богоугодным делом, да? А разве

моя работа — не богоугодное дело? Поднять почти погибший виноградник, дать ему жизнь и потом собирать урожай — разве это не угодно богу? Он меня простит.

Завод был пущен в назначенный срок.

На собрании по случаю пуска завода директор и Николаев хвалили отца.

Однажды в начале осени директор вызвал к себе отца и, как он потом рассказывал дома, предложил ему освободившуюся трехкомнатную квартиру, в которую мы могли тут же переехать. Но отец ответил директору:

— Спасибо вам за внимание, но разрешите посоветоваться с женой.

Дома, рассказывая об этом, отец говорил:

— Мне, простому дехканину, директор предлагает такую хорошую квартиру! Где это видано?! Пришло время и для простого люда! Теперь власть рабочих и дехкан!

Мы с отцом отправились посмотреть новую квартиру. Она находилась «в низу» и действительно состояла из трех комнат, с большими окнами, с деревянным полом. В ней раньше жил с семьей бухгалтер. Он уволился с завода и переехал в город.

Однако новая квартира отцу не понравилась, и он, вернувшись домой, сказал маме:

— Хорош дом... очень хорош... Но я думаю... мы не привыкли жить в таких русских домах.

— Ты прав, — согласилась мама. — Там и сандала не поставишь: пол деревянный.

Отец отказался от этой отдельной, вместительной и красивой квартиры и выбрал себе одну большую комнату по соседству с Ершовыми. Комната была светлая, просторная, с кирпичной плитой для отопления и варки пищи, но пол в ней был земляной.

Мама была довольна новым жилищем — теперь она поселилась близко от своих подруг.

Всего около года мы жили на заводе, но как изменилась наша жизнь! Все у нас уже по-другому, по-новому, наполовину уже по-городскому. Нам засиял свет новой, счастливой жизни.

ГОРЕ

Но этот свет новой жизни, так ярко загоревшийся для нас, вдруг померк — мы лишились матери.

Простудившись в конце осени, мама долго не обращала внимания на болезнь. Отец, по совету соседей, хотел показать

ее врачу, но она не соглашалась и, перемогаясь, продолжала ходить и работать по дому. В начале зимы она слегла совсем.

Николаев, узнав о болезни мамы, послал за врачом и велел принести к нам в комнату железную кровать для больной, чтобы она не лежала на полу.

За мамой ухаживала жена дяди, которую отец пригласил из Шивли на время маминой болезни. Это была длинная старуха с крючковатым носом и острым подбородком. Когда она ела, старательно разжевывая пищу беззубым ртом, подбородок поднимался у нее почти до самого носа. Она теперь всем у нас распоряжалась. Когда принесли кровать, старуха долго не позволяла ставить ее в нашу комнату, говоря, что на ней матери будет хуже, что все предки наши спали на полу. Эта женщина уговаривала отца пригласить табиба¹ или муллу, чтобы он почитал над больной коран и подул на нее. Но отец отказался.

— Николаев послал за дохтуром, дохтур поможет, — говорил он.

Мама дышала все тяжелее, в груди у нее хрипело.

Приехала врач-женщина. Осмотрев и выслушав маму, она сказала, что у больной сильно простужены легкие, насморк и краснота в горле. Она прописала лекарства, велела поддерживать в комнате тепло, а маму обязательно положить на кровать.

Но после ухода врача старуха опять постелила маме постель на полу. Отец весь день был на работе и уход за больной доверил старухе.

Привезенные из городской больницы лекарства мама приняла только один раз, при отце, — он сам накапал ей в нос капли и заставил другим лекарством полоскать горло, как было предписано врачом. А когда отец ушел на работу, старуха вылила в снег лекарства и разбила о камни пузырьки.

Вечером, вернувшись с работы, отец спросил:

— Ну как, лекарство помогает?

— Чтоб пропало ваше лекарство! От его противного запаха ваша жена чуть не потеряла сознание. От лекарства ей стало хуже.

Наша комната с земляным полом слабо нагревалась от небольшой плиты. В комнате было холодно, а мама продолжала лежать на полу, у сандала, на настильных одно на другое одеялах. Жар у нее становился все сильнее. Под влиянием старухи она жаловалась на дурной запах лекарства.

К ночи мама стала метаться в жару и бредить:

¹ Та б и б — знахарь, лекарь.

— Запах в носу! Нехороший запах в носу! Дайте воды, я прополощу нос и горло!..

Старуха принесла таз и ведро холодной воды и поставила около больной. Мама все время полоскала из пиалы нос и горло ледяной водой. Вода текла ей на платье, на подушку, и мама лежала в мокрой постели, а старуха не обращала на это внимания. Отца в эту ночь не было дома, он дежурил у склада.

Братья мои спали. Старуха дремала у сандала. Я один сидел около мамы и со страхом, со слезами на глазах смотрел, как она с пылающими от жара щеками всю ночь полоскала холодной водой нос и горло.

— Не споласкивается запах лекарства — видно, он будет преследовать меня и в могиле, — жаловалась мама.

Отец вернулся домой на рассвете. Видя состояние мамы, он тут же пошел, взял подводку на заводе и поехал в город за врачом.

Под утро жар у мамы спал, но теперь она, сильно побледневшая, лежала тихо, без движения. Слабым, еле слышным голосом она попросила поднести к ней Мухтара. Я поднял спящего братишку с кровати и поднес к ней. Мама с трудом подняла руку, положила ему на голову и поцеловала его.

Рассветало. Старуха разбудила старшего брата и послала за водой. Вдруг мама подозвала меня к себе и обняла. Она окликнула и брата Азизхона, но его не было в комнате. Потом, показывая на фарфоровый чайник, стоявший на полочке, мама сказала:

— В том чайнике есть молоко... я сама надоила его... подайте...

Старуха подала чайник, мама выпила молоко. Тем же слабым голосом она спросила меня:

— Не приехал еще папа? Иди, сынок, играй на улице... оставьте меня одну...

Не желая волновать маму, я отошел от нее, но не вышел на улицу, а сел в углу комнаты так, чтобы она меня не видела; сам же не отрываясь смотрел на нее. Мама стала метаться, ее широко открытые глаза блуждали, а потом медленно закрылись. Затаив дыхание я смотрел на маму — она перестала шевелиться. Я понял, что она умерла, и громко закричал.

Приехавший с врачом отец бросился к маме, схватил ее за руку, потрогал голову. Мама лежала без движения. Не обращая внимания на слова врача о том, что если бы маму лечили, то она выздоровела бы, что организм у нее был крепкий, отец с воплями упал на пол.

Я впервые слышал отчаянные рыдания отца, такого боль-

шого и сильного человека, и от его воплей мне было еще невыносимее думать, что у нас нет больше мамы, что она ушла от нас и мы остались сиротами.

Маму похоронили на кладбище Чилдухтарон.

Была зима. Маму везли на бричке. За бричкой шли родные, приехавшие из Шивли, Ершов с женой и жена Николаева. Я сидел на бричке около мамы. Лицо ее было открыто, она казалась мне живой, только заснувшей. Сидя с ней рядом, я все смотрел на нее и ждал, что вот-вот она откроет глаза и встанет. Тогда весь народ с бричкой повернет назад, домой, и все будет по-прежнему.

Но мама не открывала глаз.

Мы приехали на кладбище, маму сняли с брички. Мне не верилось, что ее будут хоронить. Все это казалось страшной ошибкой.

В боковой стенке ямы зияла дыра величиной в обхват рук. Она вела в длинную могилу. В яму спустился отец, ему подали завернутую в саван маму. У могилы стояли Ершов — почему-то со своей винтовкой, его жена тетя Маша, тетя Люба, четыре-пять наших родственников и много незнакомых людей, присоединившихся на кладбище Чилдухтарон.

— Кто эти русские? Никогда на похоронах в Чилдухтароне не бывали русские, — удивленно говорили родственники.

Отец, протиснувшись в круглое отверстие, положил маму в могилу и долго не вылезал обратно. И вдруг мы услышали его громкие рыдания:

— Как я ее оставлю здесь?.. Хороните и меня вместе с ней!

Ершов с дядей вытащили отца насильно. Отверстие в могиле заложили кирпичами, засыпали сухой глиной. Я словно онемел и не верил, что все это делается всерьез. Я не плакал, но у меня в горле что-то стояло, и я не мог выговорить ни слова.

В тот же день я заболел и слег в постель.

По ночам отец не гасил света, подсаживался ко мне и, чтобы отвлечь меня от постоянных дум о матери, начинал нескончаемый сказ о Гуруглы. Он очень интересно рассказывал. Удивительные приключения и подвиги витязей, побеждавших полчища злых и коварных врагов, захватывали меня. Я слушал отца с замиранием сердца, и горе, казалось, уходило далеко.

Успокоенный, я засыпал; отец замолкал, а в следующую ночь он продолжал свое повествование. Рассказы о Гуруглы оказались для меня целительными. Я проболел две недели и потом стал оправляться от нервного потрясения.

После смерти матери отец поседел. Убитый горем, он стал

рассеян на работе, мнителен и суеверен. Вспоминая сны, виденные матерью, он говорил нам, что мама была у нас особенная, что она заранее все знала. Отец рассказывал: когда он вносил ее в могилу, ему почудилось, что она взяла его за пальцы и пожалала их.

Каждую пятницу он ходил на кладбище Чилдухтарон и часами просиживал на могиле мамы; иногда брал и меня. Заботливо собирали мы около могилы все камешки и кирпичики, которые за это время рассыпались, и снова клали их на место. Отец окапывал на могиле и вокруг нее посаженные им раньше цветы и красивую траву, чтобы они хорошо росли; вырывал колючки. В одно из таких посещений маминой могилы отец издали еще увидел в изголовье круглое отверстие. Подойдя к могиле, он нагнулся, чтобы засыпать отверстие, но вдруг из него стремительно вылетела горлянка и взвилась в небо. Отец серьезно был уверен, что это поднялась на небо душа мамы.

Долгое время после смерти мамы отец был просто невменяем. Он работал на заводе как будто вынужденно — у него не осталось и следа от прежнего рвения. Ничто не могло отвлечь его от тяжелой утраты. Все соседи советовали ему взять себя в руки, говорили: «Этим горю не поможешь», — но отец не мог утешиться.

Моему младшему брату шел второй год, когда умерла мама. Все заботы о нем теперь легли на меня. Первое время нам помогала жена дяди. Отец был занят на заводе, а старший брат целыми днями играл с товарищами и по три-четыре дня не появлялся дома. Азизхон, избалованный отцом и матерью, совершенно не заботился о доме.

Остро переживая постигшее нас горе, отец был с Азизом резок, наказывал и бранил его за беспечность. Но как отец ни ругал брата, тот вел себя все хуже.

Когда снова появился на заводе Ершов и увидел, как отец мучается с нами, он сказал ему:

— У тебя маленькие дети, ты так долго не выдержишь. Женись!

— Не хочу. Какие дети видели от мачехи хорошее?

После работы отец приходил с завода усталый, но ему некогда было отдыхать: начиналась забота о воде, дровах, приготовлении пищи. Он был вынужден возиться по хозяйству, потому что я был мал и у меня все время отнимал маленький Мухтар: я его одевал, кормил, таскал на руках, укладывал спать.

Я мечтал урвать свободный часочек и поиграть с ребятами, но это мне редко удавалось.

Зарботка отца нам хватало вполне: мы могли хорошо питаться, хорошо одеваться, но после смерти мамы все изменилось — не было хозяйки дома. Деньги тратились на случайные, бесполезные покупки. Плохо одетые, в небранной комнате, с рваными одеялами, грязным паласом, с постоянными нехватками в хозяйстве, мы поняли, что значит жить без матери.

Друг отца Ершов все еще служил в армии. Его жена, Маша-солдатка, как ее звали соседи, много работала, чтобы прокормить без мужа своих детей. Помимо работы на заводе, она ходила поденно стирать или работать на огородах. Ее дети, Паша и Леня, как и я с Мухтаром, по целым дням были одни. Я не видел, чтобы когда-нибудь улыбалась Маша-солдатка. Все она делала молча, отвечала на вопросы односложно. Но каждую свободную минуту тетя Маша забегала к нам, чем-нибудь помогала.

Прибежит тетя Маша к нам, разожжет печку, нагреет воды, поставит вариться еду, а сама быстро-быстро прибирает в комнате или стирает наше белье. Когда отец дежурил на заводе ночью, я боялся оставаться с Мухтаром дома один, и тетя Маша забирала нас к себе и укладывала вместе со своими детьми. Если она купала своего Леню, то разыскивала меня с Мухтаром, приводила к себе и купала в ванне Мухтара. Братишка всегда беспрекословно шел за ней.

Отца и нас поражала эта молчаливая, суровая доброта. Без мужа тете Маше самой было очень трудно, и эта непоказная отзывчивость глубоко трогала нас, мы были очень благодарны этой простой женщине.

В одну из зимних ночей, когда отец ушел сторожить на завод, тетя Маша где-то задержалась. Мы с Мухтаром одни уснули около сандала. Мухтар все жаловался, что ему холодно. Я палочкой пошевелил угольки под сандалом и снова прикорнул около брата. Сквозь сон чувствую, что мне трудно дышать, а рядом со мной заливаются-плачет Мухтар. Силуюсь открыть глаза, открыл — а кругом непроглядная мгла от дыма. Вдруг вижу край тлеющего одеяла. Я вскочил, хотел снять одеяло с сандала, а оно вмиг запылало, под ним загорелись кошма и циновка.

От страха не зная, что делать, я стоял и кричал:

— Тетя Маша-а! Тетя Маша!

Тетя Маша вбежала в незапертую дверь и, увидев огонь, воскликнула только: «Ох ты, господи!» И потом, не проронив ни слова, молча, с остервенением бросилась гасить огонь. Она топтала его ногами, заливала водой из ведра и кувшина, выбрасывала горящие вещи на улицу. Когда пожар был по-

тушен, она взяла плачущего Мухтара, схватила меня, растерянного, за руку и пошла к выходу.

Она увела нас к себе домой и уложила спать вместе со своими детьми.

Если бы не тетя Маша, наша комната и весь дом сгорели бы.

Жизнь на заводе без мамы стала для нас невыносимой. Весной отец не засеял огорода, поэтому летом у нас не было овощей, мы не видели ни дынь, ни арбузов.

Радость и веселье покинули наш дом.

МОЙ БРАТ АЗИЗХОН

Со смертью мамы Азизхон лишился особого внимания и никак не хотел понять трудности нашего положения. Он привык делить с нами только радости. Мне казалось, он даже не жалел отца. С первых дней нашего сиротства он стал убежать из дому. Все равно куда, лишь бы уйти из дому. Отец выбивался из сил, работа на заводе и забота о детях отнимали у него все время. Он не знал отдыха, ему некогда было спокойно поесть, и где уж там уследить за Азизом!

Однажды в праздничный день брат явился домой после недельной отлучки. Почему-то он был одет во все новое и вдобавок принес подарок — кусок розовой материи. Он рассказал мне, что живет у русских, которые его кормят, одевают и учат в школе, и ему так нравится там, что он не хочет жить дома.

Тетя Маша тут же взяла принесенную материю, быстро раскроила ее и в один день сшила Азизу новую рубашку. Потом начала шить рубашку мне, но материи не хватило.

— Пойдем со мной, Собир. Моя тетя даст еще этой материи, и у тебя тоже будет новая рубашка, — сказал мне брат.

Услышав это, отец не разрешил мне идти с братом:

— Почему это чужие тебе должны дарить рубашки? Ты хочешь, чтобы твоему отцу было стыдно? Сиди дома. В базарный день я сам куплю тебе рубашку.

Но я поддался уговорам брата. Когда отец ушел на работу, я оставил Мухтара у тети Маши и пошел с братом к приютившим его старикам — так хотелось мне посмотреть на них, узнать, как живет Азиз.

На улице Карла Маркса брат ввел меня в ворота, и мы очутились в чистенькой квартирке. Нас встретили хозяева. Я уже знал от брата, что у них не было детей, что Азиз им очень понравился и они хотят усыновить его.

Оказывается, когда Азиз подолгу отлучался от дому, он бывал с товарищами у их родственников. Случайно они посетили и этих бездетных стариков, рассказали им, что у нас умерла мама, что нам теперь плохо живется. Старикам стало жаль брата. Им понравился смысленый и красивый мальчик, они приласкали его и в конце концов предложили воспитывать его, как сына. Ласка и забота настолько расположили брата к этим людям, что он решил оставить отцовский дом.

Брату была отведена отдельная комнатка с чистенькой кроваткой, двумя стульями и столиком для занятий.

— Азиз, почему же твой брат не в новой рубашке? — поздоровавшись со мной, спросила хозяйка дома.

— На его рубашку не хватило материи, — ответил он.

И эта женщина действительно, как говорил Азиз, тут же принесла еще кусок материи и, отдавая брату, наказала сшить рубашку и мне.

Когда обо всем этом я рассказал отцу, он так огорчился, что переменялся в лице и сказал:

— Вот еще какие горести свалились на мою голову! Мой сын покидает отцовский дом, живет у чужих людей!

Отец очень любил Азиза, всегда его баловал, многое прощал, и теперь ему было тяжело получить удар именно от старшего сына.

Ночью, когда мы легли спать, отец тихо стал говорить брату:

— Нехорошо уходить жить к чужим. Я сам тебе куплю что хочешь... Если тебе не нравится здесь, переедем в другое место или вернемся в кишлак... Я могу хорошо тебя одевать, кормить, все сделаю для тебя — не меньше, чем те люди.

Отец умолял и упрашивал пятнадцатилетнего сына. Но сын не проявил чуткости. В эту ночь я второй раз видел, как плакал мой отец.

Брат не захотел отказаться от легкой жизни, которая ему нравилась. Отговариваясь тем, что на заводе еще нет школы, а у стариков он начал учиться, Азиз опять ушел к ним.

Зная, что я ходил к старикам, отец велел мне проводить его туда.

Когда мы пришли, все трое были дома, обедали. Азиз сидел рядом с пожилой женщиной. Она подкладывала ему на тарелку еду. Напротив них сидел человек в пенсне и читал газету. Отец помрачнел, увидев эту семейную картину.

— Кто это? — спросил у брата человек в пенсне, отрываясь от чтения.

— Мой отец, — спокойно, без всякой радости при виде нас, сказал брат.

— А, пожалуйста, садитесь к столу, — поднялся хозяин дома.

Отец сел, но не за стол, а в стороне, я — рядом с ним. Брат избегал смотреть на отца и на меня. Все долго молчали. Хозяин снял и положил в футляр пенсне, повторил несколько раз «м-да». Женщина предлагала нам угощение, но я видел, что отцу не до еды — он сидел мрачный, потом сказал резко:

— Я пришел за сыном. У него есть свой дом, я забираю его. Как это можно — при жизни отца отнимать у него сына!

Женщина все время глядела то на брата, то на меня. Азиз сидел чистенький, опрятный, в хорошем костюме; весь его вид говорил о том, что он окружен заботой и любовью. Женщина воскликнула умоляюще:

— Зачем вам его брать! У него нет матери, я ему заменила ее. Ему здесь хорошо! — Она гладила брата по плечу, а потом вдруг заплакала: — У меня нет детей, я буду о нем заботиться, как о своем сыне!.. Азиз, скажи: ведь тебе у нас нравится?

Потом заговорил ее муж:

— У нас нет никаких прав на вашего сына, мы не хотим его у вас отнимать. Если он захочет, в любой час может вернуться в дом отца. Но только вы сами должны рассудить: может, для мальчика здесь лучше? Он очень тянется к учению. Я сам учитель. Мы обязательно будем его учить. У вас дома нет женщины. Как бы мы, мужчины, ни любили детей, мы не можем им заменить мать.

Отец был озадачен. Обратившись к брату, он сказал по-таджикски:

— Я о тебе буду заботиться лучше, чем они. Ты будешь доволен.

Потеряв подругу жизни, убитый горем, отец теперь сильно переживал разлуку с сыном. Он был готов на все, чтобы вернуть его в свой дом. Но брат сидел потупившись. Женщина с беспокойством смотрела на него. Потом она опять заплакала. Отец порывисто встал и, обращаясь к Азизу, воскликнул:

— Подумай о матери! Не заставляй ее мучиться в могиле!

С удовольствием оглядывая уютную обстановку нового дома брата, я думал, что, может быть, ничего нет плохого, если он останется здесь. Я буду к нему приходить. Ведь все равно он останется сыном отца и моим братом и будет навещать нас в любое время.

Брат продолжал молчать, ничего не отвечая на слова отца. Молчали и хозяева дома.

— Если так, берите у меня и этого сына, — отец указал

на меня, — и самого маленького! А я уйду... туда, куда ушла их мать! Нет у меня детей! — Голос его дрожал, на глазах появились слезы.

Женщина перестала плакать, а ее муж сказал:

— Не волнуйтесь, сядьте!.. Ну что ж, Азиз, раз так — вернись к отцу. Хотя мы и полюбили тебя и не хочется нам с тобой расставаться, но мы не можем огорчать твоего отца. Раз он хочет быть с тобой, ты должен жить с ним. А к нам ты можешь приходить всегда, как к себе домой.

Его жена начала было опять говорить о том, что Азизу надо учиться, но муж остановил ее и велел собрать вещи брата. Скоро она вынесла корзинку с вещами. Сдержанно, уже без слез, она обняла и поцеловала Азиза.

Мы вернулись домой...

Эта история заставила отца всерьез задуматься о возвращении в кишлак.

Вернув домой старшего сына, отец из скопленных денег купил ему новую одежду, часто стал водить его с собой в город и там что-нибудь покупал ему. Азиз был рослым, стройным подростком. Белолицый, с волнистыми черными волосами, брат был похож на городского мальчика из интеллигентной семьи. Отец гордился им.

Мы с братишкой Мухтаром ходили в старой одежде, совершенно заброшенные. Спали мы все на полу, а брат спал на кровати. Он с товарищем Сережей ходил в школу. Отец попросил тетю Машу сшить брату красивую сумку для книг.

Жизнь старшего брата казалась нам с Мухтаром завидной: все ему было легко, все доступно. Я был моложе его, но уже понимал, что он не ценит отцовскую заботу, и досадовал на него. Мне было жаль отца: бедный, он готов был на все для сына, а тот принимал это как должное и не только не благодарил отца, но даже часто высказывал недовольство и грозился уйти из дому. Этим он мучил отца, заставлял его постоянно беспокоиться и волноваться.

Наконец измученный отец попросил Азиза исполнить хотя бы только одно его желание — не ходить больше к тем людям, у которых тот жил. Но и этого брат не выполнил: тайком посещал своих нареченных родителей. Я об этом знал, но брат, чтобы я не рассказывал отцу, задабривал меня разными сладостями.

Так прожил брат с нами около месяца. Но вот однажды он приходит из города и заявляет отцу:

— Меня приняли в школу. Теперь я буду и жить там.

Отец пошел с ним в училище, узнал, что это закрытая школа, что-то вроде интерната, где дети учатся и живут. Брату

хотелось учиться в этой школе, и отец, видя, что там никто не покушается на его сына, разрешил ему остаться в ней.

А мне брат рассказал по секрету, как он поступил в ту школу. Оказалось, что «человек в пенсне», у которого он жил, работает там учителем и что это он помог ему устроиться.

По воскресеньям Азиз приходил к нам веселый и довольный. Должно быть, под влиянием школы брат сделался серьезнее, разумнее. Приходил он к нам обязательно с каким-нибудь русским товарищем, свободно говорил с ним по-русски и гордился этим. Он всегда приносил с собой книги и читал отцу вслух, показывая ему, что он обучился грамоте. Отец был доволен успехами старшего сына.

Я тоже преисполнялся уважением к грамотному брату и мечтал стать таким же, как он, ученым и читать книги.

ПЕРВАЯ КНИГА

Как-то Сережа позвал меня к себе. Они жили «в низу» — отец, мать и младшая сестра. Мать его, пожилая женщина в пенсне, держалась важно; она выделялась среди женщин всего «низа», которые были проще ее; а отец Сережи, винодел, всегда спешил, имел озабоченный, деловой вид и тоже носил очки; я стеснялся Сережиных родителей и не решался к нему заходить.

Но сегодня Сережа мне сказал:

— Пойдем к нам.

— А можно мне? — спросил я его недоверчиво.

— Раз я зову, значит, можно, — ответил он, и мы пошли.

Я робко вошел за Сергеем и остановился на пороге.

В комнате было светло и нарядно. На окнах висели белоснежные, воздушные занавески, на крашеном полу — ни пылинки, из комнаты в комнату вели узкие узорчатые дорожки. Бросались в глаза полированная мебель, шкаф и этажерка, полные книг. От всего веяло такой необыкновенной чистотой, что мне в пыльных ботинках страшно было ступить. Если бы Сережа не потянул меня за руку и не сказал: «Входи, входи», я ни за что не переступил бы порога этой квартиры.

Тщательно вытерев ноги у двери о сырую тряпку, я вошел в комнату и сел на стул. Мать Сережи была дома. Она сняла пенсне, с любопытством оглядела меня с ног до головы, как будто в первый раз видела. Я смутился. «Она удивлена, что я пришел, и недовольна», — думал я. Но она вдруг встала, подошла ко мне и спросила:

— Мальчик, дать тебе сдобной булки?

Не ожидая моего ответа, она пошла и принесла мне белую мягкую булку:

— Бери, ешь.

Я взял булку. Она сильно пахла — мне показалось, духами. Я откусил раз, но не мог есть.

А мать Сережи ходила по комнате, как бы не зная, что делать, и опять обратилась ко мне:

— Хочешь послушать граммофон?

И опять, не дожидаясь ответа, она подошла к маленькому столику, где стояла какая-то шкатулка с блестящей, изогнутой внизу, как утиная шея, трубой, и повернула ее к нам. Такой трубы я еще никогда не видел и не знал, что это. Она покрутила ручку, что-то сделала со шкатулкой, и вдруг из трубы полилась громкая песня.

Я был совершенно ошеломлен, смотрел расширенными глазами на трубу и едва выговорил:

— Откуда голос? Там человек?

Сергей смотрел на меня и посмеивался. Я вспомнил слова отца о «тайной мудрости» русских и подумал, что это, наверно, опять какая-нибудь их штучка. Мое изумление было настолько явным, что мать Сережи подошла ко мне и спросила:

— Разве ты никогда не слыхал граммофона?

— Нет, никогда.

— Ну, тогда тебе должно быть интересно.

Когда песня кончилась, мать Сережи остановилась на минуту озадаченная, словно придумывая, что еще показать мне. И, очевидно, ничего не придумав, сказала сыну:

— Сережа, ну, займи его чем-нибудь, чтобы он не скучал!

Сережа засмеялся — видно, суетливость и озабоченность матери показали ему смешными. Она ушла в другую комнату и больше не появлялась.

Сергей снял с этажерки книгу в черной жесткой обложке, положил ее на стол, посадил меня рядом с собой и сказал:

— Давай я покажу тебе картинки.

И мы стали перелистывать книгу.

На каждой странице были большие картинки, изображавшие диких животных и птиц, каких я никогда не видел. Сережа рассказывал, где эти животные и птицы водятся, как они называются. Некоторые картинки были ярко раскрашены.

— Это я сам раскрашивал, — пояснил мне Сережа.

Он читал подписи под картинками и еще сам прибавлял, что знал. Как я жалел, что не могу читать, как Сережа, и что у меня нет такой книги!

Мы долго рассматривали картинки, потом он спросил:

— Ну, хватит?

Но я не мог оторваться от книги, и мне не хотелось с ней расставаться.

— Посмотрим еще, — попросил я.

Так просмотрели мы почти треть книги. Пришел Серезин отец, и мы прервали это интересное занятие.

Я заторопился уходить. Провожая меня, Сережа сказал:

— Приходи еще как-нибудь. Самое интересное впереди.

Я полюбил Серезу, мне нравилось бывать у него.

Я заходил к нему еще несколько раз, и мы досмотрели книгу до конца. Он показывал мне и другие книги, но ни одна не была такой интересной, как первая. Эта книга в черной обложке мне открыла неведомый мир, полный чудес.

Часто я приходил к Серезе даже с Мухтаром на руках. Рассматривание картинок в книгах стало для меня любимым развлечением, и часы, проведенные у Серези, были самыми радостными.

Я воображал живыми этих диких зверей и птиц. Мне представлялось, как они бегали, дрались, летали, издавали каждый свои звуки. Шум окружавших их лесов доносился до меня, как наяву, и мое воображение рисовало целые картины незнакомой мне жизни природы.

С тех пор я полюбил книгу.

ПРОЩАЙ, ГОРОД!

Шел сильный дождь. Я бежал из Серезино дома и на повороте к заводу вдруг увидел похожего на дервиша¹ человека. Он шел торопливо, не разбирая дороги; босые ноги его тонули в грязи и лужах; с промокшей одежды текла вода.

Увидев меня, он помахал рукой и прибавил шагу. Я испугался и побежал к дому. Этот человек тоже направился к нашему дому. Я быстро вбежал в комнату и растерянно сказал:

— Папа, выйдите на улицу, кто-то пришел!

Но в дверях уже показался мой «дервиш»... Это был дядя Обидходжа...

Он принес нам печальные вести: умерла его жена, умерла наша слепая бабушка. Не стало многих наших родных и соседей. А Зеби выдали замуж.

В кишлак дошли вести о смерти нашей мамы, о том, что отец остался один с малолетними детьми. Дядя принялся уговаривать отца вернуться в кишлак и жениться. Там он нашел

¹ Д е р в и ш — странствующий нищий.

для отца женщину из «хорошей семьи». Она разошлась с мужем и согласна стать женой моего отца.

— Много раз и здесь мне советовали друзья жениться, но я не соглашался, боялся, что мачеха будет обижать моих детей... Я согласен был сам все для них делать, но только не вводить в дом мачеху... А теперь вижу, что одному мужчине трудно воспитывать детей. Плохо им... А если нашлась такая хорошая женщина и хочет выйти за меня замуж... надо подумать.

Дядя рассказывал отцу, что говорили в кишлаке о новой власти. Как только новая власть уничтожит басмаческие банды, то начнет давать землю беднякам. Это сообщение очень заинтересовало моего отца. Хотя дядя ссылался только на слухи, которым он не очень верил, отец считал это вполне осуществимым.

— Наверняка так будет, — говорил он дяде. — Вот наш завод и виноградники отняли у прежнего хозяина, и теперь хозяева — сами рабочие... Я слышал, что в кишлаке у нас несколько баев-кровопийц захватили дехканские земли, пользуясь тем, что народ голодал и люди вынуждены были отказываться от своей земли ради куска хлеба. Думаешь, новая власть закроет глаза на эту несправедливость? Никогда! Вот увидишь, какие дела пойдут теперь в кишлаке.

После этого разговора все сомнения отца — ехать или не ехать в кишлак — отпали, и он окончательно решил вернуться на родину.

Мы стали готовиться к отъезду.

Был конец зимы. К весне, до начала полевых работ, отец с дядей надеялись добраться домой и там вместе приняться за дело.

Целыми днями они куда-то ходили, что-то узнавали, а вечером дома обсуждали, каким путем возвращаться в кишлак. По словам дяди и по разговорам, которые отец слышал в городе, поездом ехать было опасно: во многих местах железная дорога перерезана басмачами.

Слово «басмачи» я уже не раз слышал в последнее время. Приехавшие из кишлака люди говорили, что в разных местах появились вооруженные шайки, большие и малые, которыми командуют бай, муллы, бывшие чиновники — слуги «белого царя», враги советской власти. Красноармейские отряды ведут с ними борьбу. Басмачи уверяют народ, будто бы они воюют за коран и религию, а сами устраивают ночные набеги на кишлаки, грабят людей, опустошают их дома, ловят и увозят женщин и девушек, убивают всех, кто им не нравится. Поэтому народ и назвал их басмачами — разбойниками.

В кишлаках, как только дехкане слышат о приближении басмачей, все прячут скот, имущество и стараются скрыться сами. Дядя рассказал, что басмачи ограбили и его, бедного, унесли у него самое ценное в доме — два новых одеяла.

Мы решили пробираться в кишлак пешком — обходными дорогами.

Отец купил осла. В ташкентском Особом отделе он взял удостоверение для проезда. Путь наш лежал через Той-Тюбе, реку Ангрэн, через Кураминские горы.

Накануне отъезда отец взял на руки Мухтара, и все мы отправились к Николаевым прощаться. Войдя к ним, мы увидели посреди комнаты стройное зеленое деревце, с веток которого свисали яблочки, золотые орехи, разноцветные красивые игрушки, большие блестящие бусы. Так я впервые увидел елку и узнал, что русские устраивают ее для детей зимой, в свой праздник «рождество».

Тетя Люба усадила всех нас за стол, стала угощать вкусными пирогами, печеньем и на прощание насовала нам с Мухтаром в карманы и за пазуху много гостинцев. А Николаев сказал отцу:

— Зачем тебе ехать в кишлак? Разве тебе плохо здесь?

— Родня зовет. Женить меня хотят, говорят — детям нужна мать, — объяснил отец. — Здесь мне не плохо, но дети еще маленькие, нуждаются в уходе и воспитании. — Помолчав, он добавил: — Говорят, советская власть, как только уничтожит басмачей, будет давать беднякам землю. И в кишлаке жизнь станет хорошей.

— Как хочешь, удерживать тебя не могу, но все же я не советовал бы тебе уезжать из Ташкента.

Проститься к Ершовым мы с отцом зашли утром в день отъезда. Ершов все еще не вернулся с войны. Тетя Маша посадила нас на скамейку около стола и стала угощать чаем из блестящего самовара, который она каждый день с любовью чистила и который был ее гордостью, потому что она купила его на свой заработок. Она поставила на стол тарелку кислой капусты, отрезала от большого каравая толстые ломти хлеба, мелко наколола сахар и разложила его кучками перед каждым из нас. Все это она проделала, по своему обыкновению, молча. Отец стал благодарить ее за все хорошее, что видела наша семья от Ершовых.

— Спасибо! — говорил он, прикладывая руку к груди. — Я и мои дети не забудем вас. Много мы видели от вас добра. Ты хороший человек. Как только отвоюется Ершов, приезжайте ко мне в кишлак. Как в свой дом приезжайте.

Тетя Маша односложно отвечала:

— Ладно уж... За что благодарить-то?.. — Потом добавила: — И чего тебя тянет туда, в твой кишлак? Жену себе и здесь можешь найти.

— Нет, надо ехать. Раз решил, надо ехать, — ответил отец.

Мы поднялись. На прощание, проводив нас до порога, тетя Маша прижала меня к себе, а Мухтара потрепала по щеке и сказала:

— Эх, детки, детки... Мачеха, значит, будет у вас... Дай бог, чтобы добрая была... — Глаза у нее наполнились слезами, и она вытерла их углом фартука.

Я никогда раньше не видел ее плачущей.

Мы уезжали. Провожающие ребята с самого утра толпились около нашего дома. Пришли мои товарищи: Сережа, Паша с братишкой Леней. Они помогли таскать из комнаты наши вещи. Худенькая, длинноногая Паша старалась изо всех сил помочь нам.

Отец, ласково глядя на нее, сказал:

— Вот кончит учење Азизхон — обязательно женю его на тебе. Будешь нашей невесткой.

Паша смутилась и покраснела до ушей.

Все наши вещи были погружены на ишака. Поверх их отец посадил Мухтара. И мы двинулись в путь. На земле лежал толстый слой снега, но погода была не холодная, тихая, небо чистое, ясное, ярко светило утреннее солнце. Соседи и ребята провожали нас до самых ворот.

Я шел рядом с Сережей и сказал ему:

— Вот увидишь, я тоже выучусь грамоте и куплю себе такую книгу, как у тебя.

Сережа вдруг остановился и побежал обратно к своему дому.

— Сережа, куда ты? — крикнул я, удивленный.

— Я вас догоню, — ответил он на бегу.

Он догнал нас уже у ворот. В руках у него была книга.

— На, Собир, возьми на память! — сказал он, протягивая ее мне.

Я не верил своим глазам: это была та самая книга с картинками, над которой я провел столько чудесных часов, которую полюбил, — книга с изображениями животных и птиц.

Я растерялся от радости и не мог поверить, что он всерьез дарит мне такую книгу, думал — он просто шутит. Но Сережа не шутил и говорил, ласково улыбаясь:

— Будешь рассматривать книгу — вспомнишь обо мне.

— Ладно, — согласился я. — Спасибо.

Я попросил отца остановить осла и спрятать драгоценный подарок в хурджин...

Вот из широких ворот мы вышли на улицу. Ворота закрылись. Провожающие уже не следовали за нами.

И опять, как два с половиной года назад, когда мы уезжали из своего кишлака, за ишаком шли отец с дядей. Только на этот раз не было с нами матери. Она навсегда осталась в Ташкенте. Не было с нами и Азизхона: он продолжал учиться в школе и не захотел возвращаться в кишлак. Страстно желая видеть своего старшего сына грамотным и ученым, отец не стал ему возражать.

Снова пустились мы в дальнюю, неизвестную дорогу.

Скоро Ташкент остался позади.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ АНГРЕН

Наш путь проходил по полям, по голым холмам, по глухим ущельям, по бесконечным каменистым тропам. Серые глинобитные кишлаки, в которых мы останавливались на ночлег, казались одинаковыми. Надоедали тяжелые подъемы и спуски в горах. Мне казалось, что мы едем целую вечность и конца нашей дороге не будет никогда.

Я ни разу не садился на ишака и не говорил, что устал. Отец был доволен мной и говорил дяде:

— Не напрасно я кормил его пловом — кости его полны мозгом, крепкие.

Вот и река Ангрэн, быстрая и многоводная. Переправляться через нее вброд было опасно. На осла нечего было и надеяться: с него было бы достаточно, если бы он сам, без поклажи, мог переправиться на другой берег.

Приближался вечер. Мы сидели на берегу и думали, как быть.

На пригорке появился всадник на гнедой рослой лошади, в богатой одежде, по виду торговец. Он едва кивнул на наше приветствие и собирался уже въехать в реку, когда отец окликнул его:

— Не поможете ли нам переправиться? Хотя бы перевезти детей и вещи.

Отец долго упрашивал его. Наконец всадник согласился перевезти одного из детей. Меня посадили к нему за спину. Едва лошадь вошла в реку, ледяная вода сразу подступила к ногам, проникла в сапоги; ноги стали мерзнуть, и меня потрясло от холода. Чтобы не замочить свои шевровые сапоги, всадник поднял ноги на шею лошади. Вода с силой била ей

в грудь. Как только мы переправились, всадник спустил меня на землю и ускакал.

Оглядываюсь кругом. Никого нет поблизости. Пустая, каменная, голая степь, только холмы да горы виднеются вдали. Вдруг я замечаю почти на середине реки человека с ребенком на плечах. Это отец с Мухтаром. Вода ударяет отцу в грудь, чуть не сбивает его с ног, а он, поворачиваясь боком, осторожно нащупывает дно и только тогда переступает. Иногда он останавливается, с трудом удерживается, чтобы не упасть от напора воды, потом снова нащупывает дно реки, снова осторожно переступает то одной, то другой ногой и так медленно двигается вперед.

Я на этом берегу не спускаю с него глаз и, замирая, с ужасом слежу за каждым его движением. Мне кажется — если я шевельнусь или крикну, то поврежу отцу. Выдержит ли он этот путь?

Но отец все ближе и ближе подходит к берегу. Вот я уже ясно вижу, как он прикусил зубами нижнюю губу. Бледное от напряжения лицо его, расширенные, сосредоточенные глаза говорят о том, что он сильно устал и выбивается из последних сил. И меня поражает выражение лица братишки — тот спокойно и беспечно сидит на плечах у отца и не подозревает об опасности, которая им грозила.

Отец выходит из воды. Я кидаюсь к нему. Он босой, мокрая одежда прилипла к его телу. Заходящее солнце уже не дает тепла. Видно, что холод пронизывает отца до костей. Он дрожит, зуб на зуб не попадает. Но, спустив Мухтара на землю, он вновь собирается переходить через реку.

— Побудь с братишкой здесь, а мы с дядей переправим вещи, — говорит он мне, а сам дрожит, из его босых, израненных ног сочится кровь.

Я с плачем бросаюсь к отцу, хватаюсь за него и кричу:

— Не ходите больше, вы не пройдете, вода унесет вас!

Видно, я говорил это с таким ужасом на лице, что отец заколебался. Глубоко дыша, он кивком головы указал на тот берег, где в ожидании его сидел у вещей дядя, а рядом с ним стоял понурый осел. Отец грузно опустился на землю. Я понял, что он ослаб и устал от этого единоборства с бурной рекой, у него уже нет сил даже стоять. Он дрожал все сильнее и сильнее. Я снял с себя халат и накинул на отца, но мой халат еле прикрывал ему плечи. Мне стало ясно, что, если сейчас не обогреть отца, с ним может быть плохо. В это путешествие он взял с собой кремни с ватным фитильком. К счастью, кремни были с ним, и я быстро набрал охапку сухой травы, чтобы разжечь костер. Отец полез за пазуху, достал оттуда

кремни, но они были мокрые. Я стал тереть их о свой халат, в дырочку вытянул из него вату и скрутил фитиль. Отец высек искру, и фитиль затлел. Я дул на него изо всех сил, поднося сухую траву.

Костер разожжен. Бегу еще и еще за травой и хворостом. Отец греется у пламени костра, отжимает и сушит свою одежду, с беспокойством поглядывая на тот берег. Солнце уже клонится к закату.

— Как переправить дядю с вещами и ишаком? — с тревогой говорит он.

Чуть согревшись и придя в себя, он опять хочет идти через реку, но я снова цепляюсь за него и не пускаю. А дядя с того берега делает нам отчаянные знаки. Как назло, ни на том, ни на этом берегу никто не появляется, и нам не у кого просить помощи.

Отец поднялся на бугор и стал оглядывать все кругом: нет ли поблизости кишлака, где можно было бы достать лошадь. Но ничего не было видно.

Вдруг шагах в трехстах от реки показались ехавшие берегом вверх по течению всадники. Мы смотрели на них с надеждой. Остроконечные серые шлемы с красной звездой сразу сказали нам, кто они такие. Отец говорит:

— Беги, сынок, попроси у них лошадей!

Но я сам уже во весь дух мчался к всадникам и делал знаки, чтобы они остановились. Мне не было страшно: для меня тот, кто носил шлем с пятиконечной звездой, — это Ершов. Красноармейцев было пятнадцать. Увидев меня, они остановились. Еле переводя дыхание от быстрого бега, я как мог объяснил им наше положение. Я был горд, что мое знание русского языка теперь пригодилось.

Молодой командир с тремя красными полосками на груди велел одному бойцу, ведшему на поводу вторую лошадь, помочь нам переправиться. Красноармеец повернул к реке, а остальные остались ждать его на дороге.

И вот уже красноармеец с лошадью на том берегу. Дядя привязал узду ишака к седлу лошади. Вдруг на середине реки, на самой быстрине, ишака перевернуло, уздечка его оборвалась, и бурный поток понес нашего ишака вниз по течению.

— Как мы теперь без ишака поедem дальше? — сокрушался дядя.

Отец показал красноармейцу бумагу, которую он получил в Особом отделе в Ташкенте, и сказал:

— Я рабочий, прошу помочь мне доехать до какого-нибудь кишлака.

Красноармеец повел отца к командиру, показал ему доку-

менты отца. Командир приказал довести нас до ближайшего кишлака. На двух свободных лошадях положили наши вещи и посадили нас самих. Мы поехали быстро, не отставая от сопровождавших нас двух красноармейцев.

У чайханы в кишлаке Теляв бойцы спустили нас на землю и поскакали догонять свой отряд.

Ночь мы провели в чайхане. Утром отец оставил нас с дядей, а сам пошел искать ишака. На улицах Телява можно было видеть проходивших по одному, по два красноармейцев и командиров. В чайхане мы узнали, что в этом кишлаке находится красноармейский отряд. Новый человек, да еще такой заметный, каким был мой отец, сразу обратил на себя внимание. Когда отец вернулся к нам в чайхану, его подозвал к себе какой-то человек в кожаной куртке и черной кепке. Поговорив с отцом, этот человек куда-то его повел.

Вернувшись, отец рассказал, что его сейчас расспрашивал командир, как мы доехали, и поражался, что мы не встретились с басмачами. Отцу сообщили, что здесь вокруг везде басмачи и нам несколько дней нельзя отсюда выезжать: с такой бумагой, которую получил отец в Ташкенте, басмачи никого из нас не оставят в живых.

Нам не разрешили ехать дальше. А положение у нас, после того как отец купил другого ишака, было скверное — денег осталось мало. Мы должны были торопиться к себе в кишлак.

Отец понимал, почему нам не разрешали ехать дальше: опасались, что мы можем попасть в руки басмачей и те выведут у нас сведения о красноармейском отряде.

Но, поговорив с дядей, отец решил, что задерживаться здесь нельзя: вдали от своего кишлака мы пропадем. Перед рассветом отец тихонько вывел нас всех с нагруженным ишаком на окраину кишлака. Там, спустившись в какой-то овраг, мы по его дну отправились прочь из Телява. Отец еще вечером говорил с местными жителями и узнал у них, что в той стороне, куда мы сейчас направляемся, еще не слышно басмачей и эта окраинная проселочная дорога считается безопасной.

Понукая осла, нигде не останавливаясь, мы продолжали свой путь.

НА КУРАМИНСКОМ ПЕРЕВАЛЕ

В утренний час солнечного восхода, когда мы выезжали из кишлака, где ночевали, перед нами встала освещенная золотыми лучами высокая гора, вершина которой, покрытая снегом, уходила в небо. Гора преграждала нам дорогу.

— Это Кураминский перевал. Мы должны перейти через него, — сказал отец.

Раньше я видел горы только издали. Зимой они казались прозрачными и сливались с серым небом, а белые снежные вершины блестили на солнце, как серебро. Теперь меня охватило волнение: неужели мы взойдем на эту высокую гору, покрытую снегом? Но каково же было мое разочарование — мы ехали, ехали, прозрачная пелена под цвет неба спадала с горы, а вокруг были только одни голые серые камни да уступы скал, за которыми не видно даже вершины. Мы медленно поднимались вверх. Узкая каменистая тропа шла зигзагами.

По дороге к нам все время присоединялись попутчики на ишаках и лошадях. И только почти у самой вершины мы попали в белую полосу снега, который хрустел под ногами, как сахарный песок. На чистом, немного холодноватом воздухе дышалось легко, и, несмотря на усталость, всем было весело.

Вдруг на самой вершине горы показались силуэты двух всадников. Наши спутники заволновались. Шепотом они передавали друг другу: «Басмачи!» Все остановились и посмотрели наверх. Всадники на вершине горы тоже не двигались и казались нарисованными на фоне яркого синего неба. За плечами у них можно было различить винтовки.

— Басмачи! — уже уверенно говорили наши спутники.

— Ну, даст бог, пронесет! Все равно выхода нет, надо ехать. Они нас увидели, — сказал один из спутников на коне и первым двинулся вперед.

Медленно взбираемся выше. Подъезжаем ближе к загадочным всадникам и видим, что их уже не двое, а человек десять. Все с винтовками — видно, поджидают нас.

— Уж лошадей-то обязательно заберут. Самим бы остаться живыми! — сказал кто-то.

— Слезайте с лошадей! — приказал один из басмачей, рябой, с красными глазами, в мохнатой шапке.

Человек пять из наших спутников слезли с лошадей.

И тут же басмачи, как стая голодных собак, которым брошены кости, набросились на мешки и хурджины. Они стали делить добычу, вырывая друг у друга отрезки материи, сапоги, ичиги с калошами, продукты.

Вот они подошли к нашему ишаку; сначала ощупали руками вещи, потом все вытряхнули на землю. Я с ужасом увидел, как они вынули наше шелковое одеяло — самую дорогую вещь, которую мы берегли как память о маме. От горьких слез, заставших глаза, белый свет потемнел для меня. В хурджинах были подарки, которые мы везли из города нашим родственникам; все они тоже были взяты басмачами.

Куски материи, несколько пар обуви, женские платки — все перешло в руки разбойников.

Но басмачи все еще продолжали рыться в наших вещах. И вдруг я вижу — из тюка выпала моя книга, подаренная Сережей. Один из басмачей схватил ее, перелистал и закрычал:

— Кофиры, шпионы, большевики!

Я заплакал уже громко, испугавшись за судьбу Сережиного подарка.

Отец стал объяснять басмачам:

— Это безобидная вещь... детская книга...

Басмач со всего размаха ударил книгой о камень. Рассыпавшиеся листы моей книги с картинками полетели в обрыв, оставшиеся страницы басмач втоптал сапогом в снег. Каждый его пинок отдавался у меня в сердце. Ничего мне не было так больно потерять, как эту книгу. Даже все отнятые у нас вещи мне казались не такими ценными, как моя книга. Мне хотелось громко кричать, но я, прячась за отца, старался сдерживать слезы.

Наконец басмачи оставили нас.

Погрузив на осла остатки нашей легкой теперь поклажи, а самую большую тяжесть — горе — затаив в сердце, мы двинулись в путь.

Но едва мы проехали шагов тридцать, нас снова остановил грозный голос:

— Стой!

Двое басмачей — один обросший бородой, с лицом обезьяны, другой безбородый, похожий на старуху, оба с грязными платками на головах, в рваных халатах и дырявых сапогах из сыромятной кожи — подъехали к отцу. Безбородый басмач, указывая на ноги отца кнутом, сказал:

— Снимай сапоги!

Он стал напяливать на себя большие, крепкие сапоги отца, купленные им на дорогу, а собственные старые бросил «обезьяне». Тот быстро переобулся и свои рваные сапоги швырнул отцу. Расстроенный отец с грехом пополам натянул на свои огромные ноги рваные сапоги басмача, поднялся с камня и, вынув табакерку-тыквочку, насыпал себе на ладонь жевательного табаку больше обыкновенного и бросил его под язык. Он делал так всегда, когда был очень сердит. Безбородый басмач, крикнув: «Дай мне табак!» — выхватил у отца табакерку и, поднеся ко рту, высыпал себе под язык большую часть ее содержимого. Жадными и завистливыми глазами он некоторое время рассматривал гладкую, блестящую табакерку-тыквочку, длинную кожаную кисточку на пробке,



Ничего мне не было так больно потерять, как эту книгу.

отделанное серебром горлышко, а потом вдруг, не говоря ни слова, сунул ее к себе в карман.

— Отдай обратно, бессовестный! — крикнул раздосадованный отец.

Басмач выругался и умчался, увозя последний табак отца. Уже начало темнеть, когда мы спустились с перевала.

Под горой, среди каменистых бугров и засыпанной снегом арчи, стоял одинокий домик. Дым валил из раскрытой настежь двери, из-под крыши. Казалось, внутри домика был пожар.

Все мы страшно устали и сильно хотели есть, не было больше сил двигаться дальше. Мы направились к домику в надежде на ночевку. Посреди комнаты в земляном очаге горела арча, а около жаркого огня сидели старик и мальчик. Мы попросились переночевать, и они нас приютили.

В одном углу нам настелили арчовых веток. Нам — усталым, голодным, замерзшим — эта прокопченная, низкая, наполненная едким дымом хибарка показалась настоящим раем. Мы наелись лепешек, напились чаю.

Когда мы с Мухтаром легли между отцом и дядей и накрылись старым одеялом, мне показалось, что я никогда не спал в такой приятной постели. Сквозь сон я слышал, как по крыше бегали какие-то зверьки, сильно пахло кизяком, а терпкий запах арчи, смешанный с дымом, затруднял дыхание, но все равно по телу у меня разливалось блаженство.

Здесь жил пастух. Утром с его помощью отец зашил сапоги, и мы снова двинулись в свой далекий путь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В свой двор мы входили в сумерки. Теперь в нашем домике жила семья дяди. Для свидания с нами собрались родственники, особенно много было женщин. Мне казалось — вот-вот среди собравшихся я увижу маму, но ее не было. Не было среди женщин и бабушки. Я знал, что она умерла без нас, но сейчас казалось странным не видеть ее в этом доме, на том месте, где она всегда сидела. Нашу семью принимала новая жена дяди, тетя Каромат.

Женщины встретили нас плачем — надрывными рыданиями, горестными воплями. У нас умерла мама; у каждой из них тоже кто-то умер за это тяжелое, голодное время. Слезы застилали мне глаза. Я крепился, чтобы не разрыдаться вместе с женщинами. Тоска моя еще больше усилилась при виде полуразвалившейся бабушкиной кибитки, в которой теперь лежали дрова.

В Ташкенте и по дороге мы так рвались в свой кишлак, а по приезде, в первый же вечер, на меня напала какая-то тоска. Дом теперь стал чужим, не нашим. На каждом шагу меня окружали воспоминания о маме и бабушке. Отсутствие Зеби еще больше подчеркивало пустоту нашего дома. Я узнал, что Зеби выдана замуж за глухонемого...

Мучительную жалость вызвал у меня наш карагач. Огромный ствол его когда-то с трудом могли обхватить два человека, под его пышной зеленой шапкой мы любили сидеть всей семьей на суфе. А теперь этот карагач был обрублен, только несколько коротких голых веток сиротливо торчали у ствола и казались руками, с мольбой поднятыми к небу.

Мне не понравилось в кишлаке. Я заскучал по Ташкенту. Передо мной всплывали воспоминания о товарищах, о красивом городе, о заводе, об аэропланах, и я не испытывал никакой радости от возвращения в кишлак.

В нашей комнате стояла зажженная коптилка, из нее текла черная нефть и грязной полоской стекала по стене вниз. Отец сидел хмурый, и мне казалось, что у него такое же настроение, как и у меня.

Дядя на присланные отцом из Ташкента деньги уже купил для нас дом в нашем же квартале. И вот дня через три мы переехали в новый дом...

Перед женитьбой отца к нам стала съезжаться вся родня. Гости останавливались у дяди, у нас и у других родственников.

Однажды дядя с семьей и все мы сидели у нас на террасе за дастархоном. Вдруг около наших ворот раздался громкий женский плач. Я вскочил и побежал посмотреть. Вижу — по проходу от ворот идет женщина в парандже. На руках у нее грудной ребенок. Женщина эта громко рыдает. За ней с мрачным видом плетется сильно загорелый мужчина с редкой бородкой, желтоватыми глазами, с большим ртом.

Сначала я не узнал женщину. А она, как только увидела меня, передала своего ребенка мужчине, кинулась ко мне и еще громче зарыдала. Тут только я узнал Зеби. Любимая мамой и отцом Зеби, которую они считали своей дочерью! Как она изменилась! Мы не видели ее каких-нибудь два с половиной года. Ровесник ее, мой брат, был еще мальчиком, а она показалась мне уже взрослой женщиной. Лицо сестры осунулось, пожелтело. И у Зеби был ребенок.

— Апа! — крикнул я.

Не переставая рыдать и причитать, она стала целовать меня в голову, в лицо, в лоб. Человек с редкой бородой стоял позади и ждал.

Подошла тетя Каромат и повела ее в дом. Как только Зеби увидела отца, она кинулась к нему и несколько минут плакала у него на груди. Отец стоял, кусая губы и не поднимая глаз. Мы все понимали, что Зеби плачет о нашей умершей маме, которую она так любила.

Стоявший за спиной Зеби человек передал ребенка тете и протянул отцу обе руки. При этом он издал какие-то странные звуки, а его виноватый и страдальческий взгляд беспомощно блуждал по всем лицам. Нетрудно было догадаться, что этот глухонемой — муж Зеби. Он казался лет сорока пяти, а Зеби не было еще и семнадцати. Вот какая ей досталась доля!

Когда мы уехали в Ташкент, Зеби очень тосковала. Невыносимо тяжело жилось им без нас: слепая бабушка и еще неопытная четырнадцатилетняя девочка голодали, мерзли от холода. Дядя выбивался из сил со своей голодающей семьей и не обращал внимания на бабушку с внучкой.

И вот какие-то родственники стали говорить бабушке, что ее внучку сватает один человек из соседнего кишлака. Хотя он не молод, говорили они, но даст за нее большой калым, которого бабушке хватит до конца ее жизни. Зеби никто ничего не говорил о сватовстве. У нее даже и не спрашивали, хочет ли она замуж, — она должна была подчиниться воле бабушки. А бабушке приносили подарки, ее уговаривали. И она согласилась выдать внучку за обеспеченного, как ей говорили, человека и избавить ее и себя от голода.

Зеби, как это бывало и с другими невестами, до свадьбы не видела жениха ни разу. Она увидела его только в день свадьбы, когда мулла соединил их браком, и она навеки была отдана в жены неизвестному до сих пор человеку, которому отныне и до конца своей жизни она должна повиноваться и служить. Зеби поразил его вид. Муж годился ей в отцы. А когда девушка услышала нечленораздельные звуки, вылетавшие из его рта, ее охватил такой ужас, что она закричала и убежала от него и всю свадебную ночь, до зари, не переставала плакать. Но уже ничего нельзя было поделать. Скрепленный молитвой муллы брак лишил ее свободы и отдавал во власть мужа. Зеби должна была покориться.

Все время, пока Зеби у нас гостила, она жаловалась на свою сиротскую судьбу.

— Если бы я поехала с вами, — с горечью говорила Зеби, — не была бы так несчастна, не знала бы ни черного дьявола, ни ведьмы, ни дэва.

Черным дьяволом она называла мужа, ведьмой — его мать, а дэвом — его отца, которые ее безжалостно мучили. Потом

с плачем она часто повторяла: «Я долго не вытерплю такой жизни, долго не проживу — умру раньше времени». И, намекая на тех, кто ее выдал за такого мужа, добавляла: «Те, кто сделал мои дни черными, ответят перед богом!»

Мой отец однажды сказал дяде с досадой и огорчением:

— Вы поступили с Зеби жестоко. Ты каждый день пять раз ходишь в мечеть молиться, замаливать свои грехи. Лучше бы ты семь лет не ходил молиться, а воспитал сиротку, не допустил бы такого несчастья! За доброе дело тебе простились бы твои семилетние грехи! — Отец волновался и негодовал. — Если бы она была богата, все родственники летали бы вокруг нее, как пчелы, а вот бедную, беззащитную никто из вас не пожалел!

Дядя оправдывался:

— У меня тогда умерла жена, остались малые дети, мне было не до нее.

А отец, качая головой, говорил:

— Ах, зачем мы тогда послушались бабушку и не взяли девочку с собой в Ташкент!.. У нас не было дочери. Мы с женой всегда мечтали о девочке. Зеби росла бы у нас как дочь.

Когда Зеби собралась домой, отец велел мне проводить ее. Кишлак Гова, в котором жила Зеби, находится в десяти верстах от нашего.

Мы вошли в маленький дворик, посреди которого росла старая чинара. Тень этого огромного густолиственного дерева закрывала весь двор, и в нем было мрачно. Мне стало даже боязно. Под этой большой чинарой дом их казался низким и жалким.

Во дворе сидел и что-то тесал топориком худой, невзрачный старик. Он сердито посмотрел на нас с Зеби и продолжал обтесывать палку, даже не ответив на приветствие. В дверях дома показалась босая старуха в грязном платье, с выбившимися из-под платка жесткими седыми волосами.

— А, пришла? — ворчливо сказала она Зеби.

Старик и старуха были родителями мужа Зеби. Старуха хотя и улыбалась, но в ее ворчливом голосе слышались недовольство, злость и ядовитая насмешка. Она словно говорила: «От меня никуда не убежишь! Куда бы ни пошла, все равно вернешься в мой дом!»

Злой взгляд старика, ядовитая улыбка старухи подтверждали все, что о них говорила Зеби.

Комната Зеби напоминала нищенскую лачугу: на полу лежали старая кошма, одно-два рваных одеяла, в нише стояли чайник со сломанным носиком и две склеенные пиалы.

Большее убожество трудно было себе представить. Старик все вещи держали в своей комнате.

Мы проехали десять верст пути, и нас не угостили даже лепешкой с чаем. Ничего из еды не было в комнате у Зеби, все находилось у стариков. Она положила ребенка в гахвору, а сама, не отдохнув, пошла приготовить что-нибудь поесть.

Муж Зеби был занят каким-то делом в садике за домом. Появившись, он молча съел чашку похлебки и опять пошел работать.

Когда мы с Зеби остались одни в комнате, она вытащила откуда-то дощечку и, показывая мне, сказала:

— Это память от твоей мамы... — и заплакала. — Видишь? Эти буквы писала оя.

Она прижала к сердцу дощечку с написанными еще мамой для нее и Азизхона арабскими буквами, и я понял, как дорога ей была эта единственная память о детстве.

— Была бы жива твоя мама, я знаю — она сделала бы меня грамотной, как она сама. А помнишь, как было хорошо?..

И Зеби с восторгом стала вспоминать то время, когда мы жили в одном дворе. Те дни она считала счастливейшими для себя. И я понял, насколько невыносимо тяжела была жизнь Зеби сейчас, если она с радостью вспоминает те годы, когда мы жили впроголодь, в ожидании отца то из Киргизии, то из Ташкента.

Сердце разрывалось от жалости к Зеби. С тяжелым чувством уезжал я от нее.

Но через два дня я приехал к ней опять.

Дома я рассказал отцу о жизни Зеби, и он, возмущенный, сказал:

— Если так, поезжай и вези ее сюда! Пусть живет у нас. Приедет ее муж — я с ним поговорю.

Утром, накинув халат, я пустился в путь. «Глухонемой не поедет за женой, — радостно думал я. — Наша сестра вырвется из рук черного дьявола и дэва с ведьмой, и мы опять, как в те времена, когда была жива мама, заживем вместе».

Зеби я застал на берегу арыка, она стирала белье. Вскоре появилась и ее свекровь.

Я сказал Зеби:

— Апа, собирайтесь, отец просит приехать к нам.

Свекровь злобно взглянула на Зеби и велела сначала закончить стирку.

В тот же день после захода солнца мы с Зеби приехали к нам домой. Зеби обняла отца и сказала:

— Вы мой отец, вы моя мать! Избавьте меня от мужа! Я больше не вернусь к ним!

Отец, сидевший с опущенной головой, словно в тяжелом раздумье, помолчав немного, сказал:

— Это нелегко сделать... Ты поживи здесь. Посмотрим, что будет.

Прошло дня два — приехал муж Зеби.

Мы с отцом не могли с ним говорить: ни он нас не понимал, ни мы его. Переводчиком была Зеби. Только она понимала своего мужа, и очень хорошо понимала: если глухонемой помашет руками, покачает головой и раза два произнесет «ха-ху», Зеби несколькими фразами объясняет нам, что он хочет сказать. Я был поражен, что два-три одинаковых звука могут выражать самые разные вещи. Когда Зеби начинала разговор с мужем, она, так же как и он, качала головой, махала руками, делала разные знаки и громко произносила несколько отрывочных слов. Он тоже сразу понимал ее.

Отец сидел в одном углу комнаты, глухонемой гость — в другом. Зеби, отвернувшись от мужа, сидела у входа. Их ребенок, не начавший еще говорить, ползал по ковру, издавая, как и отец, неясные звуки.

— Я больше не вернусь в твой дом, дай мне развод! — говорила Зеби мужу сердито.

Он сморщился от досады и, произнося «ха-ху», махал руками, качал головой. Зеби передавала отцу, что он хотел сказать.

— «Что ты видела от меня плохого? Разве я обидел тебя хоть раз? — переводила она. — Я несчастный человек, но это от бога. В чем же моя вина? — продолжала она. — Я не дам развода, единственное свое дитя не сделаю сиротой!»

Отец медленно поднял глаза на глухонемого и несколько секунд молча рассматривал его, словно видел впервые. Взгляд его не был жестким и холодным, как до этого, наоборот, он скорее выражал сочувствие, жалость и даже симпатию к этому человеку. «Да, я понимаю, — говорил этот взгляд, — твоей вины здесь нет. И видно, сам ты человек добрый, не злой». Я хорошо знал своего отца и мог без труда прочесть на его лице эти мысли. Любовь к семье, к детям так была понятна ему!..

В этот момент ребенок Зеби ползком подобрался к своему отцу и, смеясь, намеревался забраться к нему на колени. Отец обнял его, поцеловал и вдруг заплакал. Потом он торопливо закачал головой, замахал руками и опять замычал «ха-ху».

— Что он говорит? — тихо, с грустью спросил мой отец у Зеби.

Она, уставившись в землю, молчала. Отец повторил свой вопрос.

— Говорит: «Если от меня уйдешь, убью ребенка и сам повешусь», — все так же не поднимая головы, перевела Зеби. И, помолчав, добавила от себя: — Раньше он тоже говорил это и клялся...

Отец сидел насупившись.

— Если вам отделиться от родителей... согласишься? — спросил он у Зеби после долгого молчания.

Зеби немного подумала и со стоном ответила:

— Что мне делать?.. Ладно уж, пусть отделяется. — Глаза ее наполнились слезами, она продолжала с плачем: — Что мне, несчастной головушке, делать?.. Уж, видно, суждено всю жизнь маяться!

Зеби плакала и убивалась. Отец видел — на этот раз она не может помочь в разговоре с глухонемым, и сам обратился к нему. Он поднял руку к бороде и, склонив голову, изобразил из себя старика; движением руки отвел этого старика в одну сторону, потом, указывая на самого глухонемого, на Зеби и всю комнату, отвел их в другую сторону; между ними рукой провел «межу». Своими движениями он говорил: «Отделись от отца и матери. Согласен ли и можешь ли отделиться?» Глухонемой понял его требование, немного подумал, затем кивнул в знак согласия.

— Зеби, ты ему объясни: если он так не сделает, я вмешаюсь и разведу вас. Потом пусть жалуется богу! — сказал отец. — Не печалься... Пока сам он не даст развода, ничего сделать нельзя. Казий не расторгнет брак... У тебя ребенок... Согласись на это. Если не сможешь, потом еще что-нибудь придумаем.

На другой день муж Зеби увез ее с ребенком.

Оказалось, радоваться и надеяться, что Зеби перейдет к нам жить, было преждевременно. Я не предвидел всех трудностей...

Наш отец женился.

После скромной свадьбы гости разошлись, женщина осталась у нас.

Был вечер; отец позвал меня в комнату. Я вошел. За даштархоном, напротив отца, с полузакрытым лицом сидела женщина. Когда она взглянула на меня, я увидел ее бледное лицо и серые глаза. Ей можно было дать лет тридцать пять — столько же, сколько было бы маме. От прежнего мужа у нее был сын, мой ровесник, который остался с отцом.

Я был даже доволен, что у нас в доме теперь будет женщина. Лицо ее показалось мне добрым. Она посадила меня рядом с собой и погладила по голове. Братишка Мухтар сидел на коленях у отца и ласкался к нему. Я успокоился и по-

думал, что, может быть, жизнь наша теперь наладится и нам всем, особенно младшему братишке, который нуждался в при­смотре и ласке, будет лучше. Мне вспомнилось, как мы мучи­лись с ним в Ташкенте, как он там часто болел. Мы даже не надеялись, что он без мамы будет жить. Теперь у новой матери он должен поправиться...

Так началась наша новая жизнь в кишлаке.

МОИ РАССКАЗЫ

В нашем квартале были заброшенные дворы, хозяева ко­торых или умерли или уехали куда-то.

Один такой двор находился посередине нашего квартала. Мы, дети, иногда — больше в дождливую или снежную пого­ду — собирались на террасе пустого дома или внутри его, играли в косточки, бабки, боролись. Во дворе мы разжигали костер, подолгу сидели вокруг него и разговаривали.

Я рассказывал товарищам о нашей жизни в Ташкенте, о том, что я там видел. Солах и Махмуд были моими постоян­ными слушателями. Их изумляло все в том далеком, сказоч­ном городе.

Особенно их поражало, что в Ташкенте мы с братом дру­жили с русскими детьми и от них научились говорить по-рус­ски. Приятели постоянно спрашивали меня, как будет по-русски то или иное слово. Если даже я не знал этого слова, то тут же придумывал, как ответить, и наконец сумел уверить товарищей, что в самом деле знаю русский язык.

— А если бы вдруг здесь появился русский, ты не испу­гался бы? Не убежал бы от него? — допытывался Солах.

— Нет! — уверенно отвечал я. — Не побегу, подойду к не­му и буду говорить с ним.

— Хвастаешься!

— Нет, правда. Вот появится русский, и вы увидите, как я буду с ним разговаривать.

Моим товарищам очень хотелось проверить, не хвас­таюсь ли я.

Они больше всего любили слушать мои рассказы о Сере­же и Паше — видно, я хорошо о них рассказывал. Солах и Махмуд всегда интересовались, кто из нас кого бил — я Се­режу и Пашу или они меня. Когда я сказал, что мы там ни­когда не дрались и не ссорились, Махмуд поража­лся:

— А говорят, русские ребята всегда дерутся!

Мои кишлачные товарищи еще не видели города, нигде не бывали, не учились в школе, поэтому самые простые рассказы

мои казались им необыкновенными и удивительными. Каждый день они тащили меня в развалины и просили:

— Ну, еще расскажи!

И я рассказывал с не меньшим удовольствием, чем они слушали, старался как можно подробнее описать поезд, трамвай, аэроплан. Я уверял их, что аэроплан я не только видел, но и трогал руками. Видел даже, как в эту огромную металлическую птицу, которая больше нашего дома с террасой, садились люди и птица поднималась в небо и летала выше, чем летает журавль.

Оказалось, что самыми интересными для моих товарищей были рассказы о диких животных и птицах, которых я видел в Сережиной книге с черной обложкой. Названия животных и птиц, места, где они водятся, я все еще помнил и рисовал на земле этих зверей и птиц, как мог. До слез мне было жалко книги, подаренной Сережей. Я проклинал басмачей за то, что они отняли у меня книгу и лишили возможности наглядно доказать правду моих слов.

Иногда я видел книгу во сне — то находил ее, то опять терял.

В рваных халатах, босые, в пыли, с закопченными лицами, мы сидели прямо на земле, подбрасывая в костер ветки, и мои товарищи слушали, как в Ташкенте русский мальчик Сережа учился в школе, как он уже на второй год обучения сам писал письма в Россию и бойко читал полученные оттуда ответы. Я с гордостью сообщал, что научился от Сережи писать свое имя по-русски, чертил палочкой по земле «Собир», а ребята жадно впивались глазами в буквы.

Я рассказывал также о брате Азизхоне, которого они знали, о том, что он уже грамотный и всегда носит при себе карандаш с записной книжкой. В те времена, по рассказам односельчан, чтобы овладеть грамотой, нужно было учиться десять — пятнадцать лет. Поэтому моих товарищей поражало, что мой брат так скоро научился читать и писать.

— Значит, и мы могли бы быстро обучиться? — спрашивал Солах.

— Конечно, и мы можем обучиться грамоте. Вот я подрасту немного и поеду в город, поступлю в новую школу и быстро научусь писать и читать, как мой брат, — посвящал я товарищей в свои тайные мечты.

— А как же Ахмед? Вот уже десять лет он ходит в школу муллы Абдунаби, а еще не умеет писать. Он и читать не все умеет! Читает только ту книгу, которую у муллы заучил, — говорил Махмуд, сомневаясь, что можно быстро овладеть грамотой.

— Так он же учится по-старому, а в новых школах учат по-новому. В новой школе обучаются быстро, — объяснял я.

— Будет ли у нас когда-нибудь новая школа? — с тоской спрашивал Солах.

— У нас новую школу сразу сожгут басмачи, — сказал кто-то из ребят. — Слушай, Собир! Без тебя тут басмачи узнали, что у Худойберды сын учится в Ташкенте, так они затащили его к себе, мучили его и всё говорили: «Сейчас же вызывай сына из новой школы, а то уьем тебя!» Но он сумел ночью убежать от басмачей.

Я показывал товарищам разные новые игры, которым научился в Ташкенте. Они считали, что наши кишлачные игры лучше. Только маршировать по-военному им очень понравилась. Маршируя, я громко считал по-русски: «Раз-два, раз-два...» Они уговорили меня маршировать с ними по улице. Но взрослые нас разгнали и говорили:

— Вот увидят басмачи, как вы делаете «раз-два», и схватят вас всех.

Скрываясь в развалинах, мы все равно продолжали играть в «раз-два».

Иногда в нашем кишлаке появлялись басмачи, чаще всего в базарные дни. Об их приближении нас предупреждали пастухи или дехкане, работавшие на поле. Тогда начиналась паника: люди прятали вещи, скот, своих жен и дочерей.

Однажды, когда мы играли на улице, разнесся слух, что едут басмачи. Взрослые быстро бросились к домам. Улица опустела. Мы спрятались за дувалом одного развалившегося дома и, притаившись, решили наблюдать.

Но вдруг послышался стук лошадиных копыт, и мы увидели, что к нашему роднику подъехали не басмачи, а конные красноармейцы.

— Красноармейцы! — радостно закричал я и, перескочив через забор, бросился бежать к роднику.

Ребята со страхом и недоумением смотрели на меня и не двинулись с места. Но когда, обернувшись, я крикнул: «Ребята, это русские, красноармейцы, не бойтесь!» — они тоже побежали за мной.

— Здравсти! — сказал я, подбегая к красноармейцам. Наконец я мог доказать своим товарищам, что умею говорить по-русски.

— Здравствуй, — смеясь, ответили красноармейцы, удивляясь, что с ними заговорили по-русски.

— Откуда едете? — продолжал я показывать свои знания.

— Однако ты очень любопытный, — сказал один из красноармейцев.

А другой, с веселыми быстрыми глазами и румяными щеками, попросил:

— Принеси-ка мне чем воды зачерпнуть.

Я подскочил к одному мальчику, стоявшему с кувшином у родника, быстро наполнил кувшин водой и поднес его красноармейцу. Он стал пить прямо из кувшина. Отряд уже проехал, а красноармеец стоял и разговаривал со мной. Он спрашивал, откуда я знаю русский язык. Я сообщил, что недавно приехал из Ташкента и там научился говорить по-русски. Потом мы с ним дружески распрощались.

С этого момента авторитет мой перед товарищами еще больше вырос. Они окончательно поверили, что я действительно говорю по-русски.

Красноармейцы стали часто появляться в нашем кишлаке, и теперь все дети, не боясь, бежали со мной к ним и кричали: «Здрасти!»

МАЧЕХА

В первый месяц после женитьбы отца мы жили хорошо и мирно. Но скоро неприязнь мачехи к нам стала явной. Дочь богатого духовного лица, избалованная с детства, привыкшая думать только о себе, безразличная к другим, она и не собиралась взять на себя хлопоты о бедных сиротах. Меня она еще терпела, не обижала, так как я был единственный ее помощник по дому и беспрекословно выполнял все приказания — таскал дрова, носил воду, подметал комнату и двор, ходил с поручениями к ее родне. Но маленький Мухтар нуждался в уходе и ласке, а мачеха относилась к нему плохо. Мальчик ходил оборванный, грязный, часто голодный.

И чего можно было ожидать от женщины, которая даже к своему собственному сыну относилась безразлично? Я часто встречал ее сына, который остался у своего отца, — это был хороший мальчик. Я всегда удивлялся, что его мать, живя с нами, редко вспоминала о нем и никогда не выражала желания видеть его. И ее сын ни разу не зашел к нам, к своей матери.

Случилось то, чего так боялся отец: он дал нам недобрую мачеху. Все то нехорошее, что связывают люди со словом «мачеха», полностью проявилось, когда к нам из Ташкента приехал брат Азизхон.

Он приехал весной. Был он в темном пиджаке, в рубашке с отложным воротником, в брюках, заправленных в сапоги. Мне он казался высоким и возмужалым. Но в таком виде брату было небезопасно показываться на улице: басмачи, всегда

неожиданно появлявшиеся в кишлаке, могли его увидеть, и тогда ему не поздоровилось бы.

Отец с еще большей любовью и лаской относился к своему первенцу. Но мачеха не выносила этого. Как только отец подсаживался к брату поговорить, она со злым видом входила в комнату и начинала чем-нибудь попрекать мужа. Брат весь сжимался, опускал голову. Он и мачеха невзлюбили друг друга.

Азизхон особенно остро переживал присутствие мачехи, избегал ее и никак не хотел ей покоряться. И вот в один из вечеров мачеха не захотела стелить брату постель на террасе, а просто швырнула ему старое одеяло и подушку с рваной наволочкой. Увидев это, отец сказал:

— У нас ведь есть одеяла и подушки получше. Почему даешь ему старое?

— Сойдет и так! — ответила она.

Брат слышал ее ответ. Он обиделся и со слезами в голосе сказал:

— Я ехал в родной дом, но ошибся. Вижу, я здесь чужой. Придется мне уехать!

Мачеха не скрыла радости при этих словах.

После ссоры с мачехой брат исчез. Он появился через день и сказал:

— Я был на станции и узнал, что поезда до Ташкента ходят. Поеду продолжать учение.

В кишлак брат вернулся поневоле. В интернате его уже не могли держать — он был переростком, а в какое-нибудь закрытое учебное заведение ему не удалось устроиться. Но теперь мачеха заставляла его, гордого и непокорного, уйти из родного дома, от отца и братьев.

Отец не мог согласиться на отъезд брата. Он страдал, в нем проснулись прежние обиды и ревность.

Помню разговор между ними на огороде, за нашим кишлаком. Мы с братом помогали отцу — очищали от травы и корней вспаханную землю. Не имея возможности дома, при мачехе, поговорить и спросить у отца разрешения уехать обратно в Ташкент, Азиз выбрал для объяснения это место, подальше от дома.

— Отец, я не хотел вас огорчать, но вы сами видите, что я не могу здесь больше оставаться, — сказал брат, глядя в землю.

Отец с горечью стал упрекать его:

— Я всю жизнь баловал тебя, ничего не жалел, а у тебя нет никакой привязанности ко мне. Вижу: тебе ни отец, ни братья не нужны, ты все время бежишь от нас.

— Нет, отец, это не так! — ответил брат. — Где бы я ни находился, я ваш сын, я еще вернусь к вам. Но сейчас я не могу дольше оставаться здесь. Меня басмачи не так пугают: я могу надеть рваный халат — и тревога кончится. Но вот она... мачеха... Скажу вам правду, отец: мне хочется бежать от такой... матери. Ведь вы сами видите, как она ко мне относится...

— Если все дело в мачехе, я разведусь с ней. Мне хотелось дать мать твоим маленьким братьям.

— Знаю, вы заботились о своих детях, вы поступили правильно. Я вас не осуждаю. Но мачеха обращается со мной так, будто я убил ее отца... Родной дом она превратила для меня в тюрьму. Если вы любите меня, то не держите — я уеду. Я не хочу, чтобы вы из-за меня разводились, но у меня нет надежды, что мачеха переменится ко мне.

Азиз стал собираться в дорогу. Однажды утром, сразу после завтрака, никому не говоря ни слова, он собрал свои вещи, сложил в мешок белье, пиджак и сапоги, взял несколько лепешек...

Мачеха с трудом скрывала свою радость. А отец, чтобы не видеть, как сын уходит, исчез куда-то.

— Прощайте, счастливо оставаться! — вскидывая свой мешок на плечо, громко крикнул брат с крыльца террасы мачехе, находившейся в комнате.

Мачеха вышла на террасу. Брат, прикладывая руку к груди, поклонился ей и сказал:

— Простите, если я иногда огорчал вас... Я... я... уезжаю... — Голос его сорвался при последних словах, и он заплакал. Помолчав и вытирая глаза снятым с пояса платком, он добавил: — Не знаю, что ждет меня вдали от отцовского дома, но будь что будет. Видно, бог не жалеет меня и моих братьев; если бы жалел, то не взял бы у нас нашу мать... Я был глуп, не ценил ее, часто обижал... Теперь раскаиваюсь, да поздно...

Брат говорил складно, как грамотные городские люди, не так, как говорили в нашем кишлаке, и слова у него были какие-то свои, особенные; видно было, что учение в большом городе сделало его разумным и серьезным.

Как только он упомянул о матери, я бросился на палас айвана и громко зарыдал.

— Ну, вот видишь, ты заставил и братишку плакать. Зачем говорить такие слова при расставании?.. Прощай, будь здоров, пусть аллах пошлет тебе белую дорогу!

Это все, что сказала мачеха, провожая брата. Она стояла у двери, ожидая, когда он уйдет. Азизхон поцеловал Мухтара,

который сидел тут же на паласе и глядел то на мачеху, то на брата, не понимая, что происходит. Потом, взяв меня за руку, Азиз сказал:

— Пойдем, проводи меня до холма.

Когда мы дошли с ним до холма, куда по утрам сгоняли стадо, он сказал мне на прощание:

— Как только я там устроюсь, вернусь, возьму тебя с собой и определю в какую-нибудь школу. Будешь учиться...

Брат ушел.

Он уходил в полную неизвестность, не знал, где остановится в Ташкенте, у кого будет жить, в какую школу поступит. Его приемная русская мать умерла. Муж ее переехал в какой-то другой город. Азизхон знал только то, что никогда не пойдет к нашим шивлинским родственникам, — он ненавидел Шивли.

БАСМАЧИ

Наш садик с виноградником на канале Дулюна оказался совсем заброшенным. В голодные годы дяде одному трудно было справляться со своим хозяйством, и он не мог ухаживать еще и за нашим садиком. Мы с отцом пошли на него посмотреть. Забор во многих местах обвалился. Виноградник, упавший на землю, зарос травой. Фруктовые деревья срублены. Сад имел жалкий вид. Видно было, что когда-то тут жили люди и обрабатывали свою землю, а теперь она заброшена, осиротела.

Много надо было потратить труда, чтобы оживить наш сад, а у нас не было ни быка, ни лошади, ни арбы. Голыми руками тут трудно было что-нибудь сделать.

Недалеко от нашего кишлачного дома находилось полгектара огородной земли с фруктовыми деревьями по краям — эта земля принадлежала одному из моих дядей. Дядя и жена его умерли, а их дети никак не могли поделить между собой участок, и он третий год оставался необработанным. Поэтому, когда мой отец изъявил желание обработать этот участок, наследники с радостью согласились.

Участок находился близко от нашего дома — его можно было удобрять, таская навоз в мешках. Мы быстро подготовили его к посеву. Отец работал всю весну. Ему помогали брат Азизхон до своего отъезда и я. На участке мы посадили овощи, дыни и арбузы.

На краю участка была полуразвалившаяся кибиточка с террасой. Мы ее восстановили, заново обмазали глиной и стали в ней жить.

Отец был еще силен, несмотря на свои пятьдесят три года, — весь участок он обработал мотыгой, без плуга и быков. Я пропалывал и поливал наш огород. Около домика у нас зацвели цветы, и нам казалось, что на нашей новой даче стало очень хорошо. Мы жили здесь все лето.

И мы были бы совсем довольны этой жизнью, если бы не басмачи. Они причиняли нам много беспокойства, тем более что наша дача находилась у большой дороги, по которой обычно басмачи врывались в кишлак.

Однажды утром к нам в калитку постучал квартальный Кабил и крикнул:

— Идите в кишлак ломать махкаму!

Махкама, бывшее волостное управление, — два здания европейского типа, стоявшие на большой базарной площади. Сказать эти здания приказал главарь басмаческой шайки Арзумат. Басмачи узнали, что в наш кишлак должна прийти на постой красноармейская часть. Красноармейцы всегда размещались в зданиях махкамы, они не жили в частных домах. И вот теперь, чтобы не дать красноармейской части жить в этих зданиях, Арзумат велел их разрушить.

Отец вышел к квартальному и сказал ему:

— Не стыдно тебе? На какое дело зовешь людей? Чего доброго, ты скоро позовешь нас поджечь свой кишлак!

Высокий флегматичный Кабил обиженно ответил:

— А что мне делать? Я сам не рад такой жизни. У меня семья. Не выполню приказа — басмачи разорвут меня, как козла на козлодрании¹.

— Зачем же ты пришел звать меня? Неужели думаешь — я пойду на такое дело?

— Иди хотя бы только покажись там, а то, боюсь, басмачи тебя потом обидят.

— И не покажусь там! Я не овца, чтобы меня можно было погнать куда угодно! — рассердился отец.

Назавтра нагрянули басмачи. Из осторожности отец ушел из кишлака за ближние холмы — собирать там растения, золу которых мы употребляли при стирке вместо мыла. Меня он послал в кишлак посмотреть, что там делается.

Сначала у махкамы собралось немного народу — человек пятнадцать. Тогда басмач со шрамом на лбу, с кошачьими, зелеными глазами стал избивать камчой² квартальных, которые не могли собрать людей. Через некоторое время сами

¹ Козлодрание — конные состязания, скачки, участники которых вырывают друг у друга козла.

² Камча — плетка.

басмачи согнали на площадь человек шестьдесят—семьдесят. Приехал главарь басмачей Арзумат, с тупым мясистым лицом, маленькими заплывшими глазами, с редкими пучками бороды, торчащими на подбородке. Из-под распахнутого халата у него видна была кривая сабля на левом боку, а на правом — на широком поясе с металлическими бляхами кобура револьвера. Он указал кнутом на здания и сказал:

— Всё снести, чтобы камня на камне не осталось! А потом сровнять землю, как будто здесь ничего не было!

Под страхом смерти люди пошли с мотыгами, кирками и топорами разрушать здания. Полетели листы железа, рамы, стекла, повалились стены. Вся базарная площадь окуталась густой пылью.

Я с болью в сердце смотрел на это разрушение. Никогда еще басмачи не вызвали у меня такой ненависти. Я повторял про себя: «Все равно красноармейцы придут и найдут, где остановиться».

Домой я пришел после полудня. Вхожу в калитку, смотрю: дверь дома открыта, никого не видно; все вещи разбросаны, посуда побита, крышка от котла валяется на полу, сундук открыт, мачехи нет. Она убежала к соседям. Это уже второй раз грабили нас басмачи.

Вернувшийся отец, увидев следы такого разбоя, побледнел.

— Собаки!.. — проговорил он сквозь зубы. — Зачем притащил меня сюда? — накинулся он потом на дядю. — Здесь ни одного дня не живем спокойно. Все у меня отобрали, сын не мог жить в отцовском доме. Мне остается теперь пойти по миру.

В одну из базарных сред в наш кишлак опять нахлынули басмачи. Их съехалось несколько шаек. Они собрались на какое-то свое совещание. По кишлаку разнесся слух, что басмачи хватают людей, без суда расстреливают их, рубят саблями. Страх обуял жителей. Все попрятались кто куда мог.

В этот день отец не выходил со двора. Мы тоже все никуда не ходили; заперли калитку, сидели тихо на айване, даже пройти по двору боялись. Отец был погружен в мрачные думы, его настроение передавалось и нам — мы все присмирели. Вдруг послышался сильный стук в калитку и крик:

— Отоприте!.. Открывайте же!

Отец велел мне пойти открыть калитку. Только я отодвинул задвижку, как четыре басмача с ружьями и камчами ввалились к нам во двор. Я испугался и побежал в дом. Навстречу разбойникам вышел отец. Басмачи тут же накинулись на него.

— У-у ты, кофир, большевой! — закричали они. — Не по-

шел разрушать махкаму! Сына обучаешь в кофирской школе! Сейчас ответишь за все!

Отцу скрутили руки и повели на базарную площадь. Отец не сопротивлялся насильникам.

Впервые я испугался за него и подумал: «Отец полвон — и не может справиться с басмачами!» С плачем я побежал за ним.

— Иди домой, я скоро приду, — обернувшись ко мне, сказал он.

Я остановился. Отца ударили камчой, прикладом толкнули в спину, а он совсем не обратил на это внимания и гордо шел вперед. Тогда я стремглав побежал к дяде и рассказал ему, что отца увели басмачи. Дядя пошел по кишлаку, собрал человек десять почтенных стариков. В чалмах, некоторые с посохами, они направились в Сари-Калу, которую заняли басмачи.

Часа через два на улице нашего квартала я увидел шествие: окруженный почтенными старцами в белых чалмах, медленно двигался отец. Я побежал к нему навстречу. Под глазом у него был синяк. Сам он, мрачный и злой, подойдя к воротам нашего дома, почтительно, но поспешно распрощался с окружающими его людьми и вошел во двор.

— Отец вернулся! — ликовал я, вбегая в дом.

Отец рассказал, что басмачи намеревались расправиться с ним за то, что он будто бы под влиянием кофиров изменил мусульманской вере. Но почтенные старцы, приведенные дядей, вступились за отца и, поручившись за него, уговорили главаря басмачей отпустить его домой.

Басмачи бесчинствовали в нашем кишлаке целый день: хватали людей, грабили дома. По всему кишлаку раздавались вопли и стоны — отовсюду басмачи тащили награбленное имущество жителей.

Неподалеку от нашего дома жил Кахор — лучший охотник в нашем кишлаке. Он был старым другом моего отца. Свое охотничье ружье дядя Кахор давно спрятал, боясь, что басмачи отнимут его, и стал охотиться с беркутом. Птенца этой могучей хищной птицы он привез из горной Киргизии и долго обучал охоте на зайцев, лисиц и даже волков.

Отец, зная о спрятанном ружье, пошел в дом Кахора.

— Удружи, Кахор, — сказал он охотнику, позвав его на улицу. — Дай мне сегодня твое ружье. Не могу я больше терпеть издевательства басмачей. Меня они уже дважды ограбили, сделали совсем нищим. Я должен отплатить им!

Испугавшись за отца, я ухватился за его руку и закричал:

— Отец, не надо! Не надо!

Но отец, не обращая на меня внимания, стал говорить дяде Кахору о том, как он думает отплатить басмачам:

— Скоро они поедут обратно по нашей улице. Я засяду за каким-нибудь забором и уложу из ружья несколько этих собак. А потом — будь что будет!

— Что ты, с ума сошел! — испугался Кахор. — В злобе на них ты не подумал, что за это они спалят кишлак и вырежут весь твой род!

— Что же делать? Я не могу больше терпеть! — в полном отчаянии говорил отец.

— Надо потерпеть, Умархон. Одни мы бессильны против них, — уговаривал отца дядя Кахор.

Вздохнув, отец опустил на большой камень.

— Ох, если бы не семья, если бы не дети, — сказал он, — я бы не задумываясь пошел к красноармейцам, сделался бы красным аскером. Не поздоровилось бы тогда этим собакам-басмачам — ведь я здесь каждый камень знаю! Попробовали бы они от меня спрятаться!

Несмотря на горечь унижения, перенесенного полвоном, «спина которого не касалась земли» в честной борьбе, несмотря на все негодование и ненависть к басмачам, разумные слова Кахора остановили отца. Когда я почувствовал, что он раздумал идти на это страшное дело, то перестал плакать. Я только умолял его скорее вернуться домой.

К вечеру басмачи покинули наш кишлак, и мы наконец вздохнули свободно.

ЗЛОЕ ВРЕМЯ

Настала осень. Мы с отцом собрали урожай со своего огорода, постепенно все перетаскали домой, засыпали овощей на зиму, засушили урюка. Теперь я у отца был первым помощником; не отказывался ни от какой работы. Отец был доволен мной и даже иногда хвалился сыном перед соседями.

Но и летом, во время работы на огороде, и теперь, после уборки урожая, отец сильно тосковал по Азизхону, своему любимому первенцу. Постоянно он вспоминал о нем, высказывал различные предположения, почему тот не давал о себе знать вот уже несколько месяцев.

— Мог бы передать что-нибудь о себе с проезжающими, — говорил отец, — ну хотя бы только, где он находится и как себя чувствует. — Он вздыхал и добавлял: — Почему я не проводил его тогда, не поговорил с ним на прощание?..

Как-то под вечер зашел к нам один из наших молодых односельчан и сообщил тревожную весть:

— Ака, а ведь ваш сын Азизхон болеет. Я только что из Туса. Там видел одного человека из Ташкента. Он мне рассказал, что Азизхон добрался туда с большим трудом. Видно, уже дорогой заболел и приехал туда больным. В Ташкенте он пошел к вдове Шарофат, сразу же слег у нее и до сих пор не вставал. Он просил сообщить вам о его болезни и умолял, чтобы вы скорее к нему приехали.

Отец был настолько ошеломлен этим известием, что не мог произнести ни одного слова, будто онемел. Меня охватила тревога не только за брата, но и за отца.

Ночи были теплые — мы спали на айване. В эту ночь отец остался в комнате. Оттуда доносились до меня сдавленные рыдания: отец сидел в темной комнате и плакал. Я не мог уснуть и только перед рассветом немного вздремнул. Меня разбудило прикосновение отцовской бороды к щеке. Он поцеловал меня и спящего Мухтара и тихо сказал:

— Сынок, я поеду за твоим братом. Как только он поправится, я привезу его сюда. Слушайся мать.

Мы оба посмотрели на нее. Она лежала, закутавшись в одеяло, и спала, не чувствуя нашего горя.

— Присматривай за братишкой, — добавил отец.

У него была уже готова дорожная котомка. Он не стал прощаться с женой — видно, ему хотелось уйти от нее тайком, потому что она устроила бы скандал, не отпустила бы его.

И он ушел...

Прошло около месяца после его ухода. Я стоял с ведром у родника и набирал воду. Подошел односельчанин, живший в другом квартале, и сказал, запинаясь:

— Собир, ты уже большой мальчик... Получилось нехорошо...

Он замолчал, и я догадался: случилось что-то ужасное, непоправимое.

— Брат умер! — воскликнул я.

— Брат умер, отец его похоронил и... сам тоже... Я приехал неделю назад, но все не мог сказать...

Ведро выпало у меня из рук, вода разлилась. Я бросился на землю и стал кричать.

Кто-то поднял меня, подобрал мое ведро и повел домой. Маленький Мухтар, глядя на меня, тоже заплакал.

В этот день мачеха собиралась поехать в кишлак Гова к своей сестре. Когда меня подвели к дому, она уже садилась на арбу. Узнав о случившемся, она только произнесла:

— Что ж, божья воля, — и уехала.

Взяв на руки Мухтара, я сказал себе и ему:

— Теперь мы совсем, совсем сироты...

Бывали у меня тяжелые минуты в жизни, но никогда еще не было такого ужасающего чувства одиночества, как в ту ночь.

Боясь разбудить уснувшего братишку, я с головой укрылся одеялом и горько плакал. Я вспомнил всю свою короткую жизнь. Первые годы в кишлаке, переезд в Ташкент, наш дом на заводе, с таким трудом налаженную жизнь, моих маленьких русских друзей, брата Азизхона, большой город и первую страшную утрату — смерть матери... Чудом мы, дети, остались живы после ее смерти. Потом опять дорога, тяжкий путь пешком, засыпанные снегом горы, басмачи... И вот мы здесь. Благодаря необыкновенному трудолюбию и богатырской силе отца мы снова обзавелись домом. А теперь все рухнуло, все пропало... У нас нет больше ни отца, ни брата! Теперь я — старший, я должен сам кормить себя, и, кроме меня, некому растить Мухтара. Я не сомневался, что мачеха нас бросит...

Так и вышло — мачеха не замедлила нас покинуть. Дядя продал наш дом. За него дали восемь пудов гороховой муки, тощего быка, пуда четыре пшеницы, два пуда сушеного урюка да козла с козленком, которых забрала мачеха. Она получила восьмую часть наследства, собрала свои вещи и уехала к родным.

С этого дня для нас с братишкой началась трудная жизнь сирот.

Нас забрал к себе дядя Обидходжа. Он был женат вторично — свою жену, Каромат, он взял с пятилетней девочкой Халимой. От первой жены у дяди было двое детей: Раушан, моя ровесница, и трехлетний Хасан. Теперь, со мной и Мухтаром, у него стала большая семья.

Дядя надеялся поправить свои дела продажей нашего дома. Но, получив сразу и быка, и муку, и пшеницу, он решил устроить поминки по моему отцу и своему недавно умершему сыну. На поминки пригласили многочисленных родственников и муллу. Когда гости разошлись, оказалось, что продукты, полученные от продажи дома, почти полностью пошли на угощение и даже заготовленный на зиму хворост был сожжен.

Потом всю зиму нам с дядей пришлось ходить за топливом далеко в горы. С большим трудом мы вырывали с корнем кустарник, росший на горных склонах, связывали его в огромные вязанки и тащили домой. Часто я падал под тяжестью ноши, не мог встать, и дяде приходилось меня поднимать. Уходили мы в горы ранним утром, до завтрака, и возвращались только часам к двенадцати, голодные и обессиленные. Придя домой с дровами, я ложился на палас и не мог пошевелиться.

Дядя экономил на еде. Он считал, что если завтракать

позже, то в день достаточно есть только два раза. Каждый день тетя Каромат на завтрак готовила мучную похлебку и каждому из нас давала половину кукурузной лепешки. Кукурузная лепешка с луком мне казалась необыкновенно вкусной, и я всегда мечтал съесть целую лепешку один. Только единственному сыну дяди, маленькому Хасану, давали есть больше, иногда даже наравне со взрослыми, но все равно он всегда был недоволен.

Маленького Хасана все звали «дамдузд» — недышащий. Он мог целый день просидеть у сандала и не проронить ни звука. Если же он хотел дать о себе знать, то вдруг издавал громкий, пронзительный, протестующий крик. Это значило, что он хочет есть, пить или еще что-нибудь. Все дети в семье шалили, играли, а маленький Хасан не хотел ни играть, ни смеяться, целый день сидел и молчал. Поэтому при внезапном его крике тетя и дядя бросались к нему и давали все, что у них было, и ему выпадало больше, чем нам.

Несмотря на молчаливость, Хасан всем распоряжался и требовал, чтобы его слушались. Он, например, никого не пускал за сандал рядом с собой. С каждой стороны сандала должны были сидеть по два человека, так как нас было много. Но Хасан протестовал, если кто-то садился рядом с ним. Его капризы всегда удовлетворялись.

Раушан, дочь дяди, тоже иногда проявляла свой характер. У нее были бабушка и дедушка по матери. Дядя был с ними в ссоре и не разрешал Раушан туда ходить. Так вот, если Раушан была чем-то обижена или не хотела что-нибудь делать по хозяйству, то сейчас же заявляла, что уйдет к бабушке с дедушкой. Боясь, что она к ним уйдет, дядя во всем ей уступал. Она этим пользовалась и ничего не делала по дому. Воду приносить она не хотела, двор не подметала. Мне одному приходилось помогать тетке в домашней работе.

Каждый день тетя будила меня на рассвете и посылала за водой к роднику. Очень не хотелось вставать, спросонок казалось особенно холодно. Мои сапоги, те самые, которые отец купил мне в Ташкенте на дорогу, порвались, и за водой я ходил босиком — сапоги все равно тут же промокали. Кутаясь в рваный халат, я бежал к роднику, а потом колол дрова для очага.

Чтобы тетя не будила меня так рано, я стал приносить воду с вечера. Но неугомонная тетя встанет рано утром, начнет мыть котел и посуду, быстро издержит принесенную мной вечером воду и все равно будит меня, чтобы опять послать за водой. А все остальные дети еще спят, спит и моя однолетка Раушан. Но я не обижался на тетю. Она одинаково ко всем

относилась — мы все были ей неродные, кроме ее дочки Халимы. Я даже чувствовал, что она меня жалела. Каши она варила всегда недостаточно, мы не наедались. Но много варить она не могла — крупы было всегда в обрез. Иногда она мне говорила:

— Иди, Собир, почисти котел.

А в котле оставлено немного каши.

Тетя начнет всех занимать разговором, чтобы не слышно было, как ложка моя соскребает со дна котла кашу.

Тетя Каромат была среднего роста, румяная и большеглазая, похожая на мою маму. На одном глазу у нее было маленькое пятнышко. Она рассказывала, что, когда была еще девочкой и колола дрова, щепка отскочила и попала ей в глаз, и от этого потом у нее появилось это пятно. Тетя была необыкновенно трудолюбива — с рассвета до полуночи беспрестанно двигалась, убирала в доме и во дворе, готовила еду, стирала и постоянно что-нибудь шила и штопала. А ночью, склоняясь к маленькой копилке, она вышивала очень красивые тубетейки и, видно, любила их вышивать. Я спал вместе с Мухтаром под одним одеялом. Я видел, как тетю Каромат, уставшую за день, уже с вечера клонило ко сну. И она часто говорила мне, когда я ложился спать:

— Собир, иди сюда, посиди со мной.

Хотя мне очень хотелось спать и от этого дрожь пробегала по телу, я вставал и садился напротив. Я знал, что тетя сейчас начнет рассказывать сказки. Очень интересные она рассказывала сказки. Я так любил их, что готов был совсем не спать, только бы слушать. Никто так интересно мне не рассказывал и никто не знал так много сказок. Особенно мне нравилась сказка об отцовском наставлении:

«...Вот опять пошел младший сын на могилу отца, помянул его добром и горько заплакал, сожалея о его смерти. Вдруг слышит он конское ржание. Обернулся он и видит: стоит перед ним гнедой конь с пышной гривой, с длинным хвостом. Седло на нем золотое, сбруя серебряная, а по бокам — крылья. «Садись в седло, полетим куда хочешь», — сказал конь. «Нельзя мне лететь, я должен пасти стада моих братьев», — отказался младший сын...» Я повторял эти слова, и они казались мне наполненными особым смыслом.

Родная дочь тети, Халима, маленькая большеглазая девочка, никогда не капризничала и всегда чем-нибудь старалась помогать матери. В минуты прилива любви к дочке тетя всегда говорила одно и то же:

— Когда был жив твой отец, он как-то поехал в Ташкент и привез маленькое изображение румского царя. Я прикалы-

вала это изображение к твоей тубетейке, и все девочки тебе завидовали.

И это было самым светлым воспоминанием в жизни тети Каромат.

Я спрашивал у тети, кто это такой — румский царь. Тетя говорила:

— Если идти сорок дней и сорок ночей в сторону захода солнца, то там будет страна Рум. Царь этой страны сидит в высоком чертоге, куда нужно подниматься по золотой лестнице в сорок ступеней. Из своего чертога румский царь видит все свое царство, и потому ему легко им управлять.

Дядя считал себя набожным мусульманином. Как только со двора нашей мечети раздавался над кварталом протяжный, то затихающий, то вновь возникающий крик муэдзина, дядя, не задерживаясь, спешил в мечеть. Я часто видел, как он, в белой чалме, стоя на коленях, набожно складывал перед собой руки и опускал голову для поклона раньше других молящихся. Он двигался медленно и после молитвы степенно, не спеша выходил из мечети. Где бы он ни был, в час молитвы оставлял все и совершал положенный намаз. Дядя был ярким противником новых школ и всяких новшеств, появившихся в нашей жизни после революции. Он был доволен, что получил в моем лице помощника, и ни за что не соглашался отдать меня в школу, хотя видел, какое страстное было у меня желание учиться.

— Где уж нам, мужчинам, учиться! Мы должны работать и семью кормить, учение только для женщин, — говорил он.

Дядя решил, что его дочка Раушан должна учиться грамоте. Она стала ходить к одной биби-отун, жившей около крепости Сари-Кала. Я каждый день с великой завистью смотрел, как Раушан шла к учительнице. Мне было обидно, что дядя не понимает, как мне хочется учиться.

Часто я спрашивал Раушан, начала ли она читать и писать, и удивлялся, когда она отвечала, что их этому еще не учат. Ее заставляли заучивать наизусть стихи из корана.

Вот приходит Раушан домой, а дядя ее спрашивает:

— Ну, чему ты сегодня научилась?

И Раушан начинает быстро-быстро выговаривать арабские слова, которые она заучила, но смысла их не понимала. А на неграмотных эти слова оттого и производили впечатление, что были непонятны. Девочка, как попугай, повторяла заученные наизусть слова, а дядя с восторгом и гордостью слушал и был доволен, что дочь овладевает грамотой.

Я же знал, как мой старший брат и Сережа занимались в школе, как они уже с первых дней учились читать и писать

буквы и очень скоро стали из них составлять разные слова. И мне было странно, как это дядя мог восхищаться обучением дочери, когда она после нескольких месяцев учения все еще не умела ни читать, ни писать.

— Читать нужно обучаться семь лет, — говорил дядя. — Семь лет человек должен испытывать мýку учения — тогда только научится читать. Писать же надо учиться еще семь лет.

— А мой брат и Сережа учились в школе всего несколько месяцев и уже умели читать и писать, — возражал я.

Но дядя говорил:

— Та школа была школой кофиров, та грамота не считается грамотой.

Я не мог понять, почему там для обучения чтению и письму нужно всего несколько месяцев, а здесь семь лет. Сам я решил так: если бы мне предоставили выбор, в какой школе учиться, я выбрал бы ту, в которой скорее станешь грамотным. Но увы! Разве мне вообще доступно было учение!

КРАСНОАРМЕЙЦЫ

Между моим дядей и баем Юсуфходжой из соседнего кишлака шла тяжба двухлетней давности. Дядя вместе с одним дехканином, по имени Сохиб, согласились взять у бая пару быков и семян для посева. Бай поставил условие: «Быки и семена мои, работа ваша, урожай — пополам».

Дядя с Сохибом обработали землю на пустыре Дашт, лежавшем между двумя кишлаками. С трудом подвели к пашне воду, посеяли пшеницу, растили ее, поливали, охраняли от птиц. Когда пшеница созрела, сжали ее, обмолотили. И тогда Юсуфходжа верхом на коне примчался на Дашт делить урожай: половина — ему, половина — дяде с Сохибом. Но дядя в это время заболел и не мог присутствовать при дележе. Бай отказался дать Сохибу долю дяди, сказав, что, когда тот выздоровеет, сам получит свою долю. Кроме того, бай говорил еще, что Сохиб должен тащить зерно на себе пять верст, а, мол, дядину пшеницу он отвезет на своей лошади. Но бай не отвез ее дяде.

Выздоровев, дядя пошел к баю за своей пшеницей. А бай говорит:

— У меня нет твоей пшеницы. Ее забрал Сохиб.

Дядя пошел к Сохибу. Сохиб сказал, что всей пшеницы было тридцать решет. Только семь решет взял Сохиб, а все остальные забрал бай.

— Как же так? Я работал всю весну и лето, обрабатывал

землю, поливал пшеницу, отгонял воробьев, охранял ее как зеницу ока. А потом сжал ее, обмолотил — и вот теперь остался без зерна! — говорил дядя баю.

— Ты уже свою долю получил! Я докажу это, у меня есть свидетели, — вдруг сказал Юсуфходжа. — Ты еще до жатвы срезал колосья на поле, жарил их и ел, это видели люди. Так что ты свою долю съел до того, как созрела пшеница! — со злорадством закончил бай.

Дядя вспомнил, что в конце весны, когда колосья только стали наливаться, семья у него голодала. Когда дядя стерег поле от воробьев, раза два к нему приходили дети. Он срезал несколько колосьев, поджарил их и дал детям. Кто-то видел это и донес Юсуфходже.

— Неужели из-за двух горстей я должен потерять свою долю?! — воскликнул дядя и пошел жаловаться на бая казию — судье.

Казий вызвал дядю и Юсуфходжу. Бай заранее дал взятку казию, и тот, не вынося никакого решения, стал говорить:

— Вы, кажется, приходите друг другу дальними родственниками. Нехорошо родственникам судиться! Юсуфходжа — благодетель, он давал тебе быков, семена. Подойди к нему по-хорошему, и он тебя не оставит в беде.

Так из этого суда ничего не вышло, а больше жаловаться было некому...

В нашем кишлаке остановился отряд красноармейцев, которые вели борьбу с басмачами и охраняли население от их варварских набегов. Вокруг кишлака шли бои, положение было тревожное.

Красноармейцы разместились на базарной площади. Дня через два после их приезда дядя говорит мне:

— Пойдем к красноармейцам. Я им пожалуюсь на бая Юсуфа. Я уверен: они помогут мне получить мою долю пшеницы. — И он повторил поговорку, родившуюся на Ангрене во время нашей зимней переправы: — Один красноармеец лучше десяти наших единоверцев-богачей.

Меня он повел вместе с собой, для того чтобы я перевел его слова красноармейцам на русский язык. Я сомневался, смогу ли по-русски рассказать всю историю. А дядя мне говорит:

— Ничего, ты несколько слов скажешь, а дальше они сами поймут, что бай обидел бедного человека... Пойдем, пойдем, — тащил он меня.

Подшли к базарной площади. Смотрим, около дома несколько красноармейцев играют в городки. У первого попавшегося бойца я спросил, как найти командира. Он рассказал,

как к нему пройти. Неожиданно среди игроков замечаю знакомое лицо красноармейца, который помог нам переправиться через Ангрэн. Но я не решаюсь к нему подойти, думаю: вдруг это не тот, а просто похожий на него? Говорю дяде:

— Посмотрите. Не узнаете?

Но дядя был поглощен тем, как будет сейчас рассказывать командиру о своем деле.

Мы подошли к командиру, на которого нам указали. У командира была кожаная сумка через плечо, на воротнике гимнастерки и на рукаве — особые знаки, кобура револьвера на поясном ремне. Боец, стоявший около него, был с винтовкой и одет попроще.

Дядя велел мне подойти и сказать, что у нас к ним арз — жалоба. Но я не знал, как перевести «арз», и, подойдя к командиру, просто сказал магическое «здраси», которое всегда мне помогало при начале разговора с русскими.

И сейчас, услышав «здраси», командир протянул мне руку. Я поспешно стал объяснять, что у дяди есть к нему дело. Вдруг командир заговорил на узбекском языке, который у нас в кишлаке все знали. Я был избавлен от трудной обязанности переводчика. Дядя сам, присев на корточки и хлопая ладонью по земле, стал жаловаться на бая, на казия, которые обманули его, и просил командира заступиться за него.

А я тем временем все поглядывал на красноармейца, играющего в городки, и гадал — тот ли это, который тогда, можно сказать, спас нас всех от гибели. Выслушав дядю, командир подумал, потом встал с камня, на котором сидел, и сказал:

— Идемте к казию.

В кибитке, рядом с мечетью, сидел казий и разбирал жалобы населения. Когда мы вошли в кибитку, он разбирал какую-то распрю между мужчиной и женщиной, приехавшими из другого кишлака.

Командир, увидев, что казий занят, отошел и сел с нами на камнях во дворе мечети.

— Вот кончит это дело, тогда поговорим, — сказал командир. Но казий заметил заглянувшего в кибитку командира и сам вышел к нему. Сложив на животе руки, кланяясь и подобострастно улыбаясь, он подошел и, здороваясь, протянул ему обе руки. С моим дядей он не поздоровался.

— Какой счастливый случай привел храброго красного командира к скромному казию? Пожалуйста, заходите в комнату, — чрезвычайно любезно обратился он к командиру.

Тот сдержанно поздоровался с казием, но в комнату идти отказался — не хотел ему мешать. А казий не хотел заставлять командира ждать.

— Вы знаете его жалобу? — спросил командир, указывая на дядю.

Казий метнул в сторону дяди злой взгляд и процедил:

— Да, знаю.

Командир сказал:

— Я человек военный, мое дело — бороться с басмачами, но каждый честный человек должен стоять за справедливость. Прошу вас разобрать жалобу этого дехканина, — он указал на моего дядю, — выслушать его внимательно, вызвать свидетелей и установить истину. Если подтвердится, что правда на его стороне, надо взыскать с бая то, что полагается этому человеку.

Казий опять подобострастно склонился перед командиром и проговорил:

— Хорошо, хорошо.

Командир повернулся к дяде:

— Казий все разберет. Если твою пшеницу незаконно присвоили, то тебе ее отдадут.

Он пожал руку казию и дяде, затем, улыбаясь, протянул руку и мне и, переходя на русский язык, сказал:

— До свидания, будь здоров. Приходи, если что будет нужно.

Как только командир ушел, казий набросился на дядю:

— Зачем ходил жаловаться командиру? Темный ты человек, смотри...

А дядя ему в ответ:

— Что же оставалось мне делать, господин казий? Вы мою жалобу не разобрали. Если и теперь не возьмете мою пшеницу у Юсуфходжи, я опять пойду к командиру.

Когда мы шли домой, дядя сказал:

— Вот видишь, что я тебе говорил? Еще тогда, на Ангрене, я понял: они за правду, за справедливость.

Через два дня казий вызвал моего дядю.

— Поезжай и получи от Юсуфходжи пшеницу, — небрежно бросил он. — Но больше, смотри, не жалуйся!

— А вы сразу правильно решайте, тогда и не надо будет жаловаться, — ответил дядя.

Он взял у соседа ишака и привез от бая свои четыре пуда пшеницы.

После этого я стал часто ходить на базарную площадь — меня тянуло к красноармейцам.

Я вглядывался в каждого из них — искал своего знакомого. Как-то мы с Солехом подошли к их казарме и стали наблюдать. И вот я снова увидел его.

— Солех, это он! — воскликнул я.

Красноармеец заметил, что на него смотрят, направился к нам и спросил:

— Что вам, ребята?

Я быстро вымолвил свое магическое «здрости». Получив ответное приветствие, сразу начал разговор:

— Вы были когда-нибудь на реке Ангрен?

Красноармеец внимательно на меня посмотрел:

— Да, был. А что?

— Это не вы переправили нас на лошади?

Он еще пристальнее на меня посмотрел и воскликнул:

— А-а, вот где мы встретились, дружок! Ну, идем, поговорим.

Он повел нас с Солехом к себе в казарму. Солех боялся входить, но я его потянул за собой. Красноармеец усадил нас на скамейку и стал весело рассказывать товарищам о нашей переправе.

Тут в казарму вошел командир и, узнав меня, спросил:

— Ну как, пшеничную лепешку кушаешь?

Я сказал, что дядя получил пшеницу, и поблагодарил командира за помощь. Он ушел, а бойцы усадили нас на свои койки и стали расспрашивать о нашем житье-бытье. Я все смелее говорил по-русски, быстро догадывался, о чем идет речь, если даже слова были незнакомые. Красноармеец с особым интересом расспрашивал о моем отце и огорчился, узнав, что он умер.

Принесли в казарму кашу. Бойцы угостили нас кашей и чаем с сахаром. Каким это все нам казалось вкусным! Мы досыта наелись и напились сладкого чаю. Красноармеец, мой старый знакомый, подарил мне на память перочинный ножичек, а Солеху — карандаш. Радостные пришли мы домой.

Трудное это было время для нас, бедняков. Басмачи еще не все были перебиты. Вокруг шли бои. Местная власть менялась. Как только приближались басмачи, баи, муллы и казий обретали свою прежнюю силу и жестоко обращались с народом. А когда красноармейцы заходили в кишлак, дехкане чувствовали себя под защитой, могли жить спокойней.

Весь бедный люд с нетерпением ждал, когда совсем разобьют и рассеют басмачей и установится твердая, справедливая советская власть.

МЫ — РАЗВЕДЧИКИ

Была середина лета. На полях жали хлеб. На заре дядя будил меня и посылал в поле — собирать оставшиеся после жатвы колосья. Их я собирал на чужих пшеничных полях

Дашта, в пяти верстах от кишлака. Шагая босиком по колким, низко срезанным стеблям, наклоняясь за каждым колоском, надо было за день набрать двенадцать — пятнадцать снопиков. Ноги мои были исколоты, поцарапаны. Нестерпимо пекло жаркое летнее солнце. Но я страдал не столько от жары и колких стеблей, сколько от жажды. На Даште не было воды, жнецы питьевую воду приносили в кувшинах издалека; мне не выпадало из нее или выпадало очень мало. Взяв на плечи вязанку, я после полудня отправлялся в кишлак. С большим трудом добирался я до единственного тенистого места под большим карагачом, что находился на полпути, напивался воды из протекавшего здесь арыка, съедал оставшуюся половину лепешки и, немного придя в себя, снова двинулся в путь.

Однажды я засиделся под карагачом дольше обычного. Вдали показался человек, который торопливо, почти бегом, шел со стороны Дашта. Когда он подошел ближе, я узнал в нем Солеха. По лицу его катился пот, вид у него был взволнованный и какой-то таинственный. Увидев меня, он обрадовался, подошел и грохнулся на землю рядом со мной.

— О Собир, тебя-то я ишу! — заговорил он торопливо, с трудом переводя дыхание. — Слушай, я был в Кызыл-Тепе на свадьбе у родственников. Только начался той, вдруг прискакали басмачи. Народ разбежался, женщины заперлись. Шум, крик. Басмачи стали грабить. Я перелез через дувал к соседям, притаился там. Вижу, басмачи с награбленными вещами собрались в углу двора и о чем-то шепчутся. Я, конечно, наострил уши. Слышу, говорят про курбаши¹ Арзумата. Это, оказывается, были его джигиты, с ними был и сын Арзумата. Они договаривались добраться ночью до кишлака Шокафтар через Баймак и Дам. Их человек тридцать. Лошади у них хорошие. Я, как услышал это, тут же пролез по канаве под дувалом, выбрался на улицу — и бегом сюда искать тебя. Как думаешь, надо сообщить красноармейцам?

— Надо, и как можно скорее, — ответил я. — Бежим!

Отнести мои колосья домой, на дачку за кишлаком, где мы жили в это лето, было уже некогда. Мы пошли к Солеху, и я оставил у него собранные мной снопики. Он забежал в дом, вынес мне половину кукурузной лепешки, и мы помчались к базарной площади.

Первому попавшемуся нам навстречу красноармейцу мы сказали, что есть сведения о басмачах. Он направил нас к командиру. Командир привел нас в отдельную комнату, вынул

¹ Курбаши — предводитель, главарь басмаческой шайки.



Мы рассказали командиру, что басмачи собираются ночью ехать через Баймак и Дам в Шокафгар.

из своей кожаной сумки большой лист бумаги с начерченными вдоль и поперек линиями, весь исписанный, и стал на нем что-то искать. Когда мы рассказали, что басмачи собираются ночью ехать через Баймак и Дам в Шокафтар, командир нарисовал кружок на большом листе бумаги и вызвал бойцов. Он велел накормить нас. Мы опять попали в казарму, снова нас угощали и приветливо с нами разговаривали.

Мне с красноармейцами всегда было как-то особенно хорошо и интересно. Я все смелее говорил по-русски и все больше понимал, что спрашивали у меня. Теперь и Солах перестал бояться их, и ему тоже было весело.

От красноармейцев мы пошли к Солаху. Я взял свои колосья и отправился домой.

Наступил вечер. Мы с дядей сидели среди двора и толстыми палками молотили снопики пшеничных колосьев, как вдруг в дверях показался Солах. Он сделал мне знак выйти во двор. Я выбежал. Он утащил меня за калитку и сказал тихо:

— Красноармейцы поехали в Шокафтар. Они проехали мимо нашего дома, я их видел!

— Значит, мы успели сообщить им важные сведения? — с замиранием сердца и надеждой, что это может быть так, говорил я Солаху.

— Собир, пойдем к нам, заночуешь у нас, а утром мы с тобой отправимся в Калу и там узнаем все-все!

Утром, как обычно, мне нужно было идти за колосьями, но предложение Солеха было так заманчиво — мне самому не терпелось узнать, что же будет дальше и принесет ли какую-нибудь пользу наше сообщение. Я сказал дяде, что хочу пойти ночевать к Солаху, а утром прямо от него отправлюсь за колосьями. Дядя отпустил меня, и мы с Солахом в темноте побежали к нему домой.

Мать Солеха постелила нам во дворе, на глинобитной суфе. Лежа под одним одеялом, мы шептались всю ночь: высказывали разные предположения о действиях красноармейцев, гадали, сумеют ли они захватить басмачей. Нас охватывал ужас при одной мысли, что вдруг они сами попадут в западню. Особенно нам было приятно, что это была наша тайна и никто в кишлаке о ней не знал. Мы никому не могли о ней сказать, даже братьям Солеха, которые побранили бы его за такое страшное дело.

Наутро мать Солеха поставила перед нами чашку молока и положила кукурузную лепешку с луком. Мы поделили с Солахом лепешку пополам, запили ее молоком и побежали в крепость.

Смотрим, у красноармейской казармы ходят только два

бойца, а больше никого нет. наших знакомых тоже не видеть. В ожидании красноармейцев мы просидели за казармами до полудня. Я все боялся, что не успею собрать достаточно колосьев и дядя меня побьет. И все же мне хотелось узнать, с чем вернуться красноармейцы. Когда я порывался уходить, Солех отговаривал меня, предлагал мне свою помощь и утешал тем, что сегодня мне не придется идти за колосьями далеко на Дашт, можно их собрать на соседском поле, которое только вчера сжали. Это меня успокоило, и я остался с ним ждать.

В полдень, когда солнце стояло уже над головой, мы решили залезть на развесистое тутовое дерево. Сидя в самой гуще его пышных веток, мы рвали тут и с наслаждением набивали рты кисло-сладкими сочными ягодами, которые утоляли не только жажду, но и голод.

— Собираешь, слышишь? — вдруг насторожился Солех.

Мы услышали стук лошадиных копыт, оглянулись и видим: из-за ближайшего поворота улицы показались запыленные бойцы на лошадях. За ними человек десять в дехканской одежде, тоже на лошадях, а за ними опять бойцы, которые вели в поводу оседланных басмаческих лошадей с висевшими на седлах ружьями. Мы с Солехом многозначительно переглянулись, поняли друг друга и замерли... Красноармейцы с пленными басмачами проехали прямо под нами.

— Вернулись! — радостно шепнул мне Солех.

Мы ликовали. Быстро спустились с тутовника и пошли крадучись к казармам — посмотреть, что же будут делать бойцы с басмачами.

Приехавшие красноармейцы расседлывали лошадей, чистились, мылись. Повара подавали им еду.

Басмачей посадили на циновки и тоже стали кормить. Мы недоумевали: кормить басмачей? Нам была непонятна такая доброта.

— Ну, ты оставайся и смотри, что будет дальше, а я пойду за колосьями. Хорошенько смотри, потом мне расскажешь, — сказал я Солеху и пошел на поле.

Под вечер, когда я со своей обычной ношей шел домой, меня догнал хмурый и подавленный Солех. Он сказал:

— Бойцы оставили только двоих, а всех остальных отпустили. Я слышал, как командир спрашивал у них: «Больше с басмачами не пойдете?» Те отвечали: «Нет, больше не пойдём. Мы бедные дехкане, басмачи обманули нас, пугали. Они нас затащили к себе насильно». И командир всех их отпустил. Зачем он это сделал? Вдруг они опять уйдут к басмачам? — с огорчением говорил Солех, явно недовольный мягкосердечием красноармейцев.

КУРБОН-САМООХРАНА

В нашем квартале жил один человек, по имени Курбон. Это был весельчак и рубаха-парень. Люди у нас его любили и всегда с удовольствием слушали его шутки и забавные рассказы. О нем самом передавали целые истории. Он ходил, как и мой отец, на заработки в другие города, несколько раз бывал в Ташкенте, Коканде и в других местах. Говорили, будто бы в Ташкенте ему удалось однажды заработать много денег и он открыл там чайхану. Чтобы привлечь в чайхану людей, он купил «поющую машину» — граммофон, но сам так увлекся им, что стал по целым дням просиживать около него и приобретать всё новые и новые пластинки. Вскоре он совсем прогорел со своей чайханой и опять вернулся в кишлак, женился на бедной вдове и зажил себе потихоньку. Односельчане подшучивали над ним, вспоминая его похождения; он и сам всегда подсмеивался над собой и не обижался на шутки.

Курбона несколько раз грабили басмачи. Ходил слух, будто он привез из Ташкента ружье и прятал его. Басмачи каждый раз искали в его доме это ружье и не находили.

Когда заводили речь о басмачах, Курбон крутил свои рыжие усы и говорил:

— Дали бы мне сто бойцов — я бы за один месяц выгнал из Ферганы всех басмачей. Но кто скажет советской власти, что есть в нашем кишлаке такой Курбон, который может Фергану очистить от басмачей?

— Иди и сам скажи об этом, — говорили ему.

— Самому неудобно — не поверят и еще посмеются, как вы.

Однажды стало известно, что Курбона вызвал к себе командир красноармейцев. Мы, ребята, видели, как он ушел с квартальным в крепость. Там он задержался до вечера, а мы всё ждали, с чем он вернется.

— Может быть, решили наконец дать ему сто бойцов? — шутили соседи.

Когда к вечеру Курбон возвращался домой, все высыпали на улицу. Он шел веселый, покручивая свои рыжие усы. За плечами у него висела на ремне пятазарядная винтовка, а на поясе — патронташ. Все кинулись к нему, обступили, стали спрашивать:

— Боец ты, что ли?

— Нет, я не боец. Я — самоохрана, — отвечал он важно.

Придя в свой квартал, он сел с ружьем в руках на суфу под тутовым деревом и стал рассказывать.

Оказывается, когда красноармейцам вышел приказ поки-

нуть наш кишлак и перебраться в какой-то другой район, ходки из нашего кишлака поехали в ревком, находящийся в Намангане, и попросили оружие для самоохрaны. Мы ничего об этом не знали. Ревком удовлетворил просьбу жителей, послал в наш кишлак инструктора, который вместе с командиром стал вызывать рекомендованных людей и спрашивать, не хотят ли они вступить в отряд самоохрaны.

Так Курбон попал в отряд самоохрaны.

— А ты не просил сто бойцов, чтобы очистить Фергану от басмачей? — пошутил кто-то.

— Просил, — не смущаясь, ответил Курбон. — Сказали: «Вот покажи себя в отряде самоохрaны, потом можешь сделаться и командиром».

Довольные ответом, все весело смеялись.

— Красноармейцы скоро уйдут, — сообщил Курбон, — но вы не бойтесь, живите спокойно, ничего не прячьте. Мы не дадим больше басмачам здесь бесчинствовать!

С этого дня в нашем кишлаке появился отряд самоохрaны. Было в нем человек сорок. Свой штаб они устроили в крепости Сари-Кала. Красноармейцы ушли из кишлака. Командиром отряда самоохрaны стал наш односельчанин Закир. Каждый день отряд проводил учение. Закир был грамотным, до этого он служил в тусской милиции, где, как говорили, был начальником над десятью милиционерами. Его и раньше все звали Закир-командир. Он-то и водил ходоков в ревком просить оружие.

Однажды ночью нас разбудили сильная стрельба и громкие крики. Не только взрослые, но и дети проснулись. От страха никто не мог спать. На улицу выходить боялись, сидели за запертыми воротами и дверями. Наконец стрельба затихла. Но еще слышались далекие крики, похожие на возгласы охотников, травящих волков или лисиц: «Хо-хо-хо-хо-хо-о-о! Хе-хе-е-е!..»

Дядя не вытерпел, вышел на улицу и пропал на долгое время. Мы уже стали о нем беспокоиться. Он вернулся возбужденный, с толстой палкой в руках. На наши вопросы, где он был и что случилось, он ответил:

— Гнали басмачей!

Оказывается, ночью басмачи напали на наш кишлак сразу с нескольких сторон. Они пытались накрыть отряд самоохрaны, отобрать ружья и ограбить жителей. Но отряд был начеку. Он тут же разбил на небольшие группы, и эти группы начали отстреливаться из разных мест, стараясь не допустить басмачей в кишлак.

Басмачей было человек триста, и они стали уже теснить

самоохранников. Тогда Закир, командир отряда, послал во все кварталы кишлака нарочных звать жителей на помощь.

Все взрослые мужчины и парни вышли из домов кто с чем мог: с вилами, мотыгами, дубинами. Встретив такой отпор, басмачи стали удирать. Их преследовали несколько километров, выгоняя из садов и виноградников.

Утром, у родника, куда я пришел за водой, к нам подбежал Махмуд и пугливо показал найденный им настоящий патрон. Мы все бросились искать патроны и нашли их еще штук пять; у меня у самого в руках было два патрона. И тут мы увидели Солеха. Его рубашка вокруг пояса оттопырилась. Я спросил, что это у него, а он оттянул ворот рубашки и показал мне: там у него лежало патронов шесть.

— Надо пойти к командиру отряда, отнести ему все патроны, — сказал я ребятам.

Но некоторые мальчики не хотели идти к командиру, боялись.

— Зачем идти? Лучше закопать их в землю, — говорили они.

К нам подошел дядя, увидел у меня патроны и сказал:

— Пошли в крепость.

У Сари-Калы, под тутовым деревом, сидели несколько человек с винтовками. Тут же был Закир-командир.

Дядя пропустил нас с Солехом вперед. Мы протянули Закиру найденные патроны.

— Откуда? — удивился он.

— Мы подобрали.

Командир нахмурил брови и позвал людей из своего отряда.

— Кто из вас потерял патроны? — спросил он строго.

— Мы не теряли, — ответили ему. — Никто из нас не мог потерять патроны.

Тогда командир поверил, что это патроны басмачей, принял их от нас, сказал «спасибо». Он протянул нам с Солехом деньги и сказал:

— Идите купите себе сладостей.

Со всех сторон сбегались дети. Они видели, как командир похвалил нас за патроны и дал нам деньги. Первыми подбежали три мальчика. У каждого было по два-три патрона. Оказалось, они насобирали их раньше, но боялись кому-нибудь показать. Теперь командир окончательно успокоился — у него не осталось сомнения, что патроны растеряли не его самоохранники, а басмачи, когда в панике удирали из кишлака.

Закир-командир сел на суфу, подозвал к себе ребят и стал

угощать их сладостями. Он был доволен, что не только взрослые, но и дети помогают отряду.

Мы потом еще долго искали патроны по всему кишлаку и опять нашли несколько штук. Относя патроны командиру, мы гордились, что помогаем в борьбе против басмачей.

КИРГИЗЫ

Верст за двенадцать к северо-востоку от нашего кишлака начинается горная страна Киргизстан. По средам киргизы приезжали к нам на базар. Почти у каждой семьи нашего кишлака были среди них свои друзья. Приехав на базар, каждый заезжал к своему другу. Некоторые киргизы приезжали с вечера, ночевали в кишлаке, а утром отправлялись на базар, оставляя у друзей свои вещи, лошадей и верблюдов.

Такая дружба жителей нашего кишлака с киргизами существовала исстари и переходила из поколения в поколение. У нашей семьи был друг Сайдали. Он уже был стар, с ним дружил когда-то мой дед, а потом дружбу с ним и с его сыновьями продолжали мой отец и дядя. Мы знали всю семью Сайдали, его сыновей и внуков, которые часто приезжали к нам.

Когда отец и дядя ездили на заработки в Киргизстан, они все время, пока там работали, жили у Сайдали. Эта семья всегда оказывала нам помощь.

В тот тревожный год дядя собрался в Киргизстан на целый месяц — поработать на уборке хлеба. Он взял и меня для сбора колосьев.

Ранним утром мы вышли из нашего кишлака и пешком направились в горы.

Долго шли мы меж каменистых холмов и скал, переходили через какие-то узкие ущелья и речушки. Солнце стояло уже над головой, когда мы вошли в широкое горное ущелье, посередине которого протекала быстрая река. Несмотря на жаркое лето, в ущелье было почти прохладно: чувствовалось дыхание ледяной воды в реке. Здесь, в предгорьях, было очень красиво. Горы по обе стороны от ущелья были густо покрыты вечнозеленой арчой; вдоль реки росли камыши; местами серебром блестели под ярким солнцем заросли джиды; тут и там торчали многолетние тенистые ивы. По склонам гор, словно золотистые узоры на зеленом ковре, лежали пшеничные поля; меж ними пестрели круглые жилища киргизов — юрты.

Под вечер мы пришли в Сумсар — местность, где проживал старый Сайдали. За исключением старшего его сына, жившего в полуглинобитной, полукаменной кибитке, все осталь-

ные его сыновья и дочери размещались со своими семьями в юртах, которые одна за другой тянулись по ущелью. Нас поместил у себя Сайдали.

Это был благообразный, седобородый человек. Мой отец и дядя очень уважали его за мудрость, строгую честность и доброту.

К киргизам я пришел впервые. Мне было интересно видеть, как они живут. Крепкие, веселые, они любили шутки и песни. Мне казалось, что киргизы и киргизки, особенно молодые, все время поют. Киргизки, как и русские женщины в Ташкенте, не закрывали своих лиц от мужчин. Когда мы пришли к Сайдали, женщины не прятались от нас и потом сидели вместе с нами за едой. Они носили на головах высокие белые тюрбаны.

Дядя ходил вместе с сыновьями Сайдали жать пшеницу. Они работали в поле то у одного киргиза, то у другого, а я на сжатых полях собирал оставшиеся колосья. Дядя наказал мне в течение месяца собрать столько колосьев, чтобы получить из них три пуда зерна.

Мы выходили в поле, едва лишь начинало светать. Часам к одиннадцати хозяин приносил жнецам еду. Обычно она состояла из толстых лепешек, печенных в котле, и кислого молока в больших деревянных чашах. Дядя отламывал мне кусок своей лепешки и давал запить оставшимся в чаше кислым молоком. Я должен был довольствоваться этим целый день. Вечером, после работы, дяде давали вкусную кашу из толченой пшеницы; немного перепало и мне.

Так мы с дядей работали летом у киргизов.

В то время в горах Киргизии скрывалось много басмаческих шаек. Были там и те, которые раньше часто врывались к нам в кишлак. Теперь они, боясь красноармейцев и отряда самообороны, оставили наш кишлак в покое. Вооруженные отряды самообороны были далеко не во всех кишлаках — только в самом Тусе и у нас. За это жителей нашего кишлака басмачи считали сторонниками большевиков и, где бы ни встречали их, ловили, увозили в плен, убивали.

Однажды во время жатвы на поле, где работало человек двадцать жнецов, из-за ближайшего холма показались двое пеших с камчами в руках и ружьями за плечами. По их виду сразу можно было догадаться, что это басмачи.

Дядя очень испугался, я — тоже. А старший сын Сайдали, завязывая сноп, сказал:

— Не оглядывайтесь, спокойно жните.

Басмачи подошли к нам совсем близко и закричали:

— Кто здесь из Туса или Варзика?

Большинство жнецов были киргизы. Одни из них молчали, а некоторые ответили:

— Таких нет.

Тогда один басмач подходит к дяде, непохожему на киргиза, и спрашивает:

— Ты откуда?

Дядя что-то ответил. Таджика из нашего кишлака сразу можно узнать по выговору. Басмач закричал:

— Ты из Варзика? Отвечай!

Дядя вдруг вспыхнул:

— Ну, из Варзика! Ну и что?

Я побледнел от страха, ноги у меня затряслись. Басмач грубо толкнул дядю рукояткой камчи, приказал ему:

— Ну так иди!

— Куда вы его? Он бедный человек, приехал заработать кусок хлеба! Он ничего не знает!.. У него пять человек детей! — с жаром заступились за дядю жнецы-киргизы.

Второй басмач прикладом винтовки толкнул дядю в плечо и крикнул:

— Иди, иди!

— Куда? — спросил дядя.

— Потом узнаешь куда! — последовал грубый ответ.

Я заплакал, стал хвататься за полы дядиного халата.

Басмач оттащил меня и ударил камчой по руке. Я выпустил дядю, и его повели. Киргизы провожали басмачей руганью, а сын Сайдали крикнул вдогонку дяде:

— Не бойся, я побегу за отцом, мы тебя выручим!

Я в отдалении последовал за дядей. Его повели через ущелье, стали подниматься с ним на гору. Потом спустились под гору и вышли к реке. Там, под развесистыми ивами, стояла юрта, а возле юрты на разостланных шкурах и паласах сидели басмачи. У меня колотилось сердце, ноги подкашивались от страха, но я все-таки шел за дядей. Приблизившись, я заметил главаря шайки: он был кривой на один глаз, борода у него на подбородке торчала в разные стороны, серый, с монгольским разрезом глаз глядел свирепо. Басмач был в полосатом халате, в шароварах из дубленой кожи, в сыромятных сапогах с загнутыми вверх носками, с патронташем и револьвером за поясом, в киргизском белом войлочном колпаке с кисточкой наверху.

Один из сопровождавших дядю басмачей подбежал к нему и сказал, указывая на пленника:

— Вот он из Варзика!

Главарь шайки оглядел дядю с ног до головы:

— Как тебя зовут? Кто из твоих родственников в отря-

де самоохраны? Может быть, и сам ты состоишь в самоохране?

— Нет, я не состою в отряде, и родственники мои не состоят, — отвечал дядя.

— Сколько в твоём кишлаке самоохранников?

— Я не знаю... Я с ними не вожусь...

— А, скрываешь? Ну, погоди, ты мне все расскажешь!

— Я ничего не знаю.

— Называй, кого знаешь в отряде Закира. Как их зовут?

— Я никого не знаю по имени... В крепость не хожу. Я все время на поле...

Один из сидящих рядом с главарем басмачей вскочил на ноги, закричал:

— Врешь! Ты нам сейчас же скажешь! — и стал бить дядю камчой по спине, по голове.

— Убейте, если вам легко проливать кровь мусульман! — вдруг неистово закричал дядя. — У меня пятеро детей. Пусть проклятье сирот навлечет на вас гнев бога!

Это еще больше разожгло басмачей; они били дядю ногами, грозили повесить его или отрубить ему голову.

Мне стало очень страшно. Я все оглядывался на тропу и наконец увидел вдалеке едущего на осле старика. Я сразу узнал Сайдали и бросился ему навстречу.

— Ата, скорее помогите, а то дядю убьют!

Сайдали быстро подъехал к басмачам, слез с ишака и с длинным посохом в руке побежал к моему дяде. Он был так разгневан, что толстые жилы надулись у него на шее и готовы были лопнуть от напряжения. Он кричал басмачам:

— Совесть вы потеряли, пророка позабыли! Побойтесь бога! Как мусульманину жить на свете! Бедному человеку нельзя приехать за куском хлеба!.. Встань, сын мой!

Старик помог дяде подняться и сам наклонился за упавшей с его головы на землю тубетейкой. А потом, опять обращаясь к басмачам, закричал:

— Это мой гость! Как же смотреть людям в глаза, если гостящего у тебя человека избивают! Тогда бейте и меня, старика! — И Сайдали гневно стукнул посохом по земле.

Он был почтенный, мудрый старик и в ауле пользовался большим уважением. Тронь его басмачи — и весь Сумсар стал бы на его защиту. Басмачи это знали.

Они перестали бить дядю, глядели на Сайдали и смеялись над гневными выкриками старика, над его срывающимся от возмущения голосом.

Потом главарь басмачей сделал знак рукой, и смех прекратился.

— Ладно, отпустите его, — сказал атаман разбойников, указывая на дядю. — Твое счастье, большевой, — сказал он дяде, — что ты гость Сайдали, а то мы бы тебе показали!.. А ты, старик, не кричи, иди! — махнул он рукой, желая отделаться от рассерженного Сайдали.

И мы ушли.

ШКОЛА МУЛЛЫ ЗАЙНИДИНА

В один из теплых солнечных дней осени, когда мы с Солехом и Махмудом играли во дворе мечети, появился мулла Зайнидин, тот, который когда-то съел моего козленка и срезал мою косичку.

— Эй, дети, идите-ка сюда! — позвал он нас. — Вот здесь, при мечети, я хочу открыть школу и буду вас всех обучать.

Мы подбежали к мулле. Собралось еще с десяток ребят. Мы все пошли смотреть нашу будущую школу. Это была маленькая сторожка при мечети.

— Я с вас за учение ничего брать не буду, — говорил мулла. — Вы только приносите из дома солому, циновки, дрова. Мы завтра же начнем учение.

Радостные, побежали мы домой сказать о том, что мулла будет обучать нас грамоте. Дядя не возражал, потому что мусульманин не должен запрещать детям ходить в старую школу, это почиталось бы грехом. Дядя мог только отговаривать меня, так как ему не хотелось терять работника, но, кроме этого, особых причин для отговоров не было.

Я выпросил у тети Каромат старую циновку и охапку дров и в тот же день отнес их в школу. Другие дети тоже принесли что могли. По приказанию Зайнидина мы прибрали сторожку — обмели паутину, расстелили циновки, почистили очаг, вырытый посреди комнаты. Зайнидин сказал:

— Приходите завтра — начнем учиться.

И я поверил, что с завтрашнего дня начну обучаться грамоте, что все для этого приготовлено и препятствий нет.

Я не мог дождаться утра; мне все не верилось, что я пойду в школу — в долгожданную школу! В это утро меня не нужно было будить — я сам встал чуть свет, принес побольше воды из родника, тщательно умылся.

Дядя, вопреки обычаю, не отвел меня в школу, не благословил меня на учение, но я не огорчился. Я сам побежал в школу, выпросив у тети две лепешки, чтобы отнести их учителю.

Пришел я первым. В сторожке было холодно. Я сбежал домой, принес в совочке угляй и развел в очаге огонь.

Стали собираться дети.

Все родители, приводившие детей, говорили учителю:

— Мясо сына моего — ваше, а кости — наши.

Это значило, что учитель может делать с учеником все, что хочет, только бы научил грамоте.

Все приходили с дастархонами — подношениями, а учитель наш явился с длинным хлыстом, которым можно было достать от одной стены комнаты до другой. Он сел в углу, подогнув под себя ноги. Мулла Зайниддин был тощий и длинный; на тонкой его шее сидела неподвижная, чуть склоненная набок голова в чалме. Ученики разместились с трех сторон комнаты на соломе и циновках, и, когда родители разошлись, наше учение началось.

— Повторяйте за мной, — сказал учитель. И затянул: — Ау-зу-бил-лях...

Хором мы повторяли за учителем то, что он произносил. На мертвенно-бледном, как бы окаменелом лице под усами не видно было движения его губ, а только было слышно монотонное, дребезжащее, как козлиное бляение: «Ау-зу-бил-лях...»

Много раз повторили мы это хором, а когда дошли до конца молитвы «Альхамд» — восхваление богу, наш первый урок кончился.

Учитель сказал:

— Каждый день вы будете немного заниматься, а потом пойдете заготавливать дрова. Дни становятся холодными, зима близка, школе нужны дрова...

Все мы побежали собирать дрова. Уже в первый день мы много насобирали, наломали и накололи дров, сложили их в хлеве муллы Зайниддина, как он велел нам.

Каждый день мы понемногу учились, но больше времени тратили на заготовку дров и очень медленно шли вперед. Я легко запоминал молитвы и стихи. Учитель один-два раза скажет — и я уже знаю все наизусть. Мне было скучно сидеть и слушать, как одно и то же повторялось много раз. И я с нетерпением ожидал, когда же мы начнем обучаться грамоте.

Наконец учитель написал на деревянной дощечке все арабские буквы и велел вслух заучивать: алиф-бе-те-се-джим-хе. Эта тарабарщина была нам не более понятна, чем арабские стихи из корана. Через два месяца такого учения мне, как, может быть, и многим другим, было невыносимо скучно на уроках. Мы даже с большей охотой шли заготавливать дрова, чем сидели на уроке. Все томились и с нетерпением ждали, когда кончится урок. Если кто невпопад называл какую-нибудь букву, ему тут же попадало хлыстом, и многие норовили уйти с

урока, то и дело просились на двор. Учитель выпускал из сто­рожки ученика только с дощечкой, которую он давал каждо­му из нас на уроке, и сила этой дощечки была так велика, что, не вернув ее учителю, никто не решался уйти домой.

Дров мы учителю натаскали столько, что за всю зиму не сжечь их.

Солеху трудно давались непонятные арабские слова, он не мог сразу запомнить странное сочетание звуков и часто про­сился выйти. Однажды он ушел с дощечкой и не вернулся. Он и до этого уже был на плохом счету у учителя.

На другой день, только Солех вошел в школу, на него сра­зу обрушился хлыст учителя. Весь избитый, с багровыми по­лосами на лице, Солех выскочил из школы и бросился бе­жать.

Учитель приказал догнать его. Но у Солеха были длинные ноги, и его не могли догнать. Солех перестал ходить в школу.

Другой мой товарищ, Махмуд, учился старательно, выучи­вал все, что задавал учитель, приходил в школу раньше всех. Ему было поручено убирать класс, разжигать до прихода уче­ников и учителя огонь в очаге.

Он все добросовестно выполнял.

— Вот обучусь грамоте и буду кори-чтецом — буду читать молитвы на свадьбах и похоронах, — говорил он нам.

Это была его мечта. Он считал, что у кори самая легкая жизнь и самая доходная работа.

Но вот приходим мы однажды в школу — учителя нет. Приходим на другой день — его опять нет. Без объяснений и предупреждений мулла Зайниддин перестал приходить в шко­лу. Учение наше закончилось.

Хотя мне и не нравились уроки, но, когда и эта школа за­крылась, я очень огорчился. Досадно было до слез. Всем было ясно, что наш учитель просто хотел обеспечить себя дровами на зиму да получать от учеников приношения, а когда дрова были заготовлены, он перестал думать о нас.

Дядя же, узнав о закрытии школы, обрадовался. Он был все время недоволен моей учебой — школа отвлекала меня от работы по дому. Видя, как я огорчаюсь, он сказал:

— В нашем роду мулл не было, тебе незачем учиться. Ведь чтобы стать муллой, надо заниматься семь-восемь лет, а потом поехать в Коканд или Наманган и там еще доучиваться несколько лет. Тебе это недоступно!

Я стал подумывать: «Не уйти ли мне из кишлака учиться куда-нибудь в город? До Ташкента далеко, но Коканд, На­манган ближе. Там, наверно, есть такие же школы, как в Таш­кенте, где детей кормят, одевают и учат». Как туда добраться

и там устроиться, я не знал. Спросить об этом было не у кого, посоветоваться не с кем, да и нельзя. Кто мог понять мое желание учиться? Все на это смотрели, как мой дядя, и помощи ждать было не от кого.

Я был еще мал. Все эти вопросы казались мне совершенно неразрешимыми.

ХЛЕБ — СИРОТАМ!

Летом и осенью двадцать третьего года у нас в кишлаке стало весело. Отряды самоохраны нашего и других кишлаков, помогавшие частям Красной Армии громить шайки басмачей, все чаще возвращались с победой. Столпившись на улицах, народ шумно приветствовал победителей, которые, бывало, везли с собой захваченных в плен басмачей. А некоторые басмаческие главари, боясь быть уничтоженными, сами приезжали в наш кишлак сдаваться.

Вид поверженных басмачей говорил о силе красных войск и народных отрядов самоохраны.

По случаю каждой новой победы в кишлаке устраивались торжества, которые кончались козлодранием. Весь кишлак выходил смотреть на отважных джигитов. В степи за кишлаком собирались сотни людей. Лучшие наездники, победившие в состязании, получали подарки.

Наконец с басмачами было покончено. Прекратились их набеги. По слухам, их не стало и в других районах. Жизнь потекла спокойно. Теперь люди, заслышав топот лошадей на улице, не разбегались поспешно, не прятали своих жен и дочерей, свой хлеб и скот, не вскакивали в ужасе с постели, если это было ночью. Самоохрана — трудящиеся дехкане сменили ружья на кетмени.

Новая власть, власть рабочих и дехкан, окрепла и стала ощущаться во всем.

В нашу семью она пришла по-своему.

Однажды в ворота нашего двора сильно постучали. Послышался громкий голос квартального Кабила:

— Эй, Обидходжа!

Дядя пошел к воротам и скоро вернулся в дом сияющий:

— Собирай, бери мешок и иди в Калу. Там получишь пшеницу. Советская власть дает сиротам хлеб.

Мы обрадовались, хотя и не верилось, что кто-то на самом деле может дать нам хлеб.

— Кабил говорит, что теперь ежемесячно будут давать вам пшеницу, — добавил дядя.

У меня от волнения заколотилось сердце. Я взял мешок и,



— А, сын полвона? Ну, теперь твое время пришло. Теперь каждый месяц будете с братом получать полтора пуда пшеницы.

не чуя под собой ног, помчался в Калу. Мне сказали, что надо идти к Садыку-кладовщику. Я быстро разыскал его.

Недалеко от базарной площади стоял красивый двухэтажный домик, украшенный лепным орнаментом, — он принадлежал одному из баев нашего кишлака, сбежавшему вместе с басмачами. В нижнем этаже бай держал продукты, а верхний был мехмонхоной. Теперь внизу разместилась кладовая, а наверху канцелярия. Около кладовой стояли уже несколько человек с мешками. Среди них были взрослые и мальчики. Я встал возле них. Дядя Садык отвешивал белую-белую пшеницу. Но мне все еще не верилось, что я получу такую. Когда подошла моя очередь, Садык, не глядя на меня, спросил мое имя. Услышав его, он повернулся ко мне:

— А, сын полводна? Ну, теперь твое время пришло. Теперь каждый месяц будете с братом получать полтора пуда пшеницы.

Неужели это правда? Полтора пуда ежемесячно! Белой пшеницы! Я даже мечтать не смел об этом раньше.

— Ты же сам не унесешь все! — сказал Садык. — Почему не пришел твой дядя?

— Раз мне полагается пшеница, я сам ее понесу, — сказал я.

— Ну, тогда сейчас возьми полпуда и неси, а за остальной пусть придет дядя.

— Хорошо, дядя Садык, — быстро согласился я. Мне не терпелось скорее принести домой пшеницу, которая полагалась лично мне и Мухтару.

Садык отыскал в списке мое имя. Отвешивая полпуда пшеницы, он говорил:

— Теперь вас, сирот, и кормить и учить в школе будут. Теперь твое время пришло, Собир.

Моей радости не было предела. И все же я всерьез опасался, как бы все это не оказалось сном.

Но вот мешок с пшеницей у меня на плече. Домой я не шел, а почти бежал, не ощущая на себе тяжелой ноши.

Когда я поднялся на нашу террасу и открыл свой мешок, дядя и его жена в изумлении брали в горсть зерно, словно хотели убедиться, на самом ли деле они видят пшеницу. Дядя сознался, что сам потому не пошел вместе со мной, что не верил такому счастью, думал — какая-нибудь шутка. Слыханное ли дело, чтобы власть давала сиротам хлеб! Пересыпая с руки на руку пшеницу, он говорил:

— Значит, правда. Подумать только — пшеница!.. А денег у тебя не спрашивали? — спросил он.

— Нет, о деньгах разговора не было.

— Полпуда нам хватит на целую неделю! — сказала довольная тетя Каромат.

— Не полпуда, тетя, а полтора пуда! Мы с Мухтаром каждый месяц будем получать полтора пуда! — поправил я ее и заторопил дядю скорее идти за остальной пшеницей.

Это был праздник для всей нашей семьи. От радости мы все суетились. Весело кричали и прыгали младшие дети. Дядя с мешком вышел за ворота. Я взял из комнаты палас, хорошенько выбил его, расстелил на дворе, высыпал пшеницу на край паласа и, зачерпывая ее ситом, стал трясти и провеивать. Пыль и мелкий сор из сита сыпались вниз, а шелуха от пшеницы собиралась посередине сита. Я сгребал ее рукой и выбрасывал, но, если замечал хотя бы одно выброшенное с шелухой зернышко, тут же бережно подбирал его. Очищенную пшеницу я ссыпал на другой конец паласа. Когда я очистил ее всю, то снова высыпал в мешок и отправился на мельницу.

У нас в кишлаке были три водяных мельницы. Они стояли на спуске большого арыка, протекающего за базарной площадью. Я пошел на ближайшую. С трех-четырёхметровой высоты вода падала вниз по деревянному желобу и ударялась в лопасти мельничного колеса. Этим приводился в движение толстый каменный жернов. Перед жерновом стоял дощатый крепкий ящик, вделанный в землю, в который сыпалась готовая мука.

Мельник взял у меня мешок с пшеницей и стал засыпать ее в ящик над жерновом. Все время, пока молотась моя пшеница, мы говорили о ней. Я рассказал все — о том, что сиротам ежемесячно будут давать пшеницу, и о том, что нас будут одевать и учить грамоте.

— Теперь пришло наше время, — повторил я слова Садыка-кладовщика.

За помол мельник должен был взять часть муки. Но он помог мне ссыпать всю пшеничную муку в мой мешок, завязал его крепче и заявил, что с меня он ничего не возьмет. А я вспомнил поверье: если мельнику не заплатить за помол, то от этой муки не будет прока, она быстро иссякнет. Мне очень хотелось, чтобы мельник взял себе нашей муки.

— Возьмите, — упрашивал я его.

Но мельник уже насыпал в деревянный ящик зерно очередного помольщика. Так он и не взял у меня муки. Помогая мне поднять на спину мешок, он сказал, чтобы успокоить меня:

— Испечете лепешки — принесешь мне одну.

Я принес мою муку домой. На паласе во дворе дядя очи-

щал остальную, уже полученную им пшеницу. Тетя взяла у меня муку и тут же стала месить тесто.

Она внесла дастархон в комнату и стала разрезать хорошо вымешенное тесто на одинаковые кусочки. Быстро она раскатывала каждую булочку скалкой, выдавливая середину и, проколов пучком птичьих перьев всю лепешку, откладывала ее в сторону. Когда все тесто превратилось в лепешки, она прикрыла их и пошла посмотреть, раскалилась ли печка — танур, в которую Раушан все время подкидывала хворост.

Вот наконец сгребли все угли в кучку, и тетя, взяв длинный ватный рукав, всунула в него правую руку. Побрызгав водой приготовленные лепешки, она стала прилеплять их к раскаленным стенкам танура. Когда лепешки в тануре подрумянились, тетя снова смочила их водой. Быстро румянились в печке лепешки, и тетя, отрывая их одну за другой, кидала в плетеную круглую корзину.

Две корзины горячих румяных лепешек были внесены в комнату; запах от них разошелся по всему двору. Каждый из нас получил по целой лепешке. Белая, поджаристая, она мне показалась слаще меда. Мне думалось, что я не наелся бы и десятью такими лепешками.

Отламывая от своей лепешки маленькие кусочки, чтобы продлить удовольствие, я попросил у тети еще две, чтобы отнести их мельнику.

На мельнице сидело человек пять, ожидающих очереди на помол. Мельник разломил принесенные мной лепешки на несколько частей и дал всем по кусочку.

— Хлеб сирот свят! Будь богатым! — сказал он мне, прежде чем положить кусок себе в рот.

И я поистине чувствовал себя богатым. Ведь обо мне, сироте, теперь заботилась советская власть!

НАША ТАЙНА

Несмотря на то что мулла Зайниддин со своей школой так жестоко обманул мои надежды, мечта об учении не покидала меня. Даже наоборот — после этой неудачи желание учиться стало еще сильнее. Я вспоминал Ташкент, Сережу с его книгами, своего брата Азизхона, так быстро выучившегося грамоте в новой школе, и мне казалось, что не стоит даже жить, если не учиться и не стать грамотным человеком. Но где учиться? После закрытия школы Зайниддина идти в какую-нибудь из старых школ — а их было в нашем кишлаке две, и там обучали детей такие же муллы, как Зайниддин, — мне не

хотелось, если бы даже дядя и пустил меня туда. Я видел, как ребята, посещавшие эти школы, годами не выучивались ни читать, ни писать. Нет, ходить в эти школы — напрасная потеря времени.

А новая школа, о которой говорили красноармеец и Садык-кладовщик, все не открывалась. Впереди осень, затем зима с ее холодами и грязью, с хождением за хворостом на холмы и ущелья, полуголодное, как всегда, существование. И — опять никакого учения.

Иногда я всерьез подумывал о том, чтобы сбежать в Ташкент. Ведь там у меня есть хорошие знакомые, друзья нашей семьи на заводе. Только доберись я до Ташкента, и любой из них (я в этом не сомневался) усыновит меня и станет учить. Но как добраться туда одному, без средств? А кроме того, если я убегу, дядя, несомненно, тут же пустится на розыски, и ему нетрудно будет найти меня и вернуть домой.

И все же, несмотря на это, я, может быть, рискнул бы бежать, если бы не мой братишка Мухтар. Он никому, кроме меня, не был нужен, и я был единственный человек, кто любил и жалел его; расстаться с ним мне было трудно, а ему — еще труднее.

Только один человек в то время знал о моих тайных мыслях. Это был Солах, мой неразлучный товарищ. Он был посвящен во все события моей жизни в Ташкенте; учился со мной в школе муллы Зайниддина, из которой ему пришлось бежать; он ходил со мной к красноармейцам и дружил с ними так же, как и я. Сколько раз мы вспоминали слова, слышанные нами в красноармейской казарме в Кале: «Вот выгоним басмачей, здесь откроется школа, вы будете в ней учиться».

Дружба с красноармейцами, мои рассказы о Ташкенте, о том, как хорошо учиться в новой школе, рождали у Солеха представление об иной, лучшей жизни, пробуждали желание учиться.

Тайна наша родилась осенью, когда я ходил в чужие сады заготавливать листья на зиму для нашей козочки. Дядя купил ее недавно. Очень веселая, попрыгунья, она была забавой для всех малышей в нашем доме. Но заботы о ней лежали на мне — я должен был сторожить ее, добывать ей корм.

Однажды мы с Солахом забрели далеко от нашего дома, в тополевою рощу. Опавшие с деревьев желтые листья лежали на земле толстым одеялом. Мы сгребли их в кучу, легли на нее и завели нескончаемый разговор о красноармейцах, о новой школе и о том, можно ли и хорошо ли убежать в Ташкент. Осенний пейзаж, увядание природы располагали к мечтательности.

— Если Ташкент далеко, давай убежим в Коканд или Наманган! — предложил Солех.

Эти города я не знал, и никаких знакомых у меня там не было.

— А может, в Тусе? — сказал я, тут же подумав про себя, что в Тусе дядя легко найдет меня и вернет домой. Но, может быть, когда я поступлю там в интернат, дядя не сможет взять меня обратно?

Я знал, что в Тусе находится школа, в которой учатся дети из интерната. И я пошел ее посмотреть. Уже издали я заметил длинное одноэтажное здание окнами на улицу. Ворота были открыты, и мне был виден весь большой двор. Дети бегали, догоняя друг друга, шалили и веселились: очевидно, была перемена. Ученики мне показались очень нарядными; по сравнению с ними я выглядел оборванцем. Пока я жил у дяди, мне ни разу не сшили новой одежды, а в таком виде у меня не хватило духу подойти и заговорить с кем-нибудь, сказать о своей мечте учиться. Так я и не решился тогда войти в школу. А может быть, в тот день я мог повернуть течение своей жизни...

Но оказалось, Солех еще больше меня опасался, что в Тусе братья его быстро найдут.

— Нет, в Тусе нельзя, — решил он.

Мы долго разговаривали, подробно обсуждая план бегства. Увлеченный этой идеей, я отбросил все сомнения и остановился на Ташкенте.

— Ну, а что мы будем есть в пути? — спросил меня практичный Солех.

— Добрых людей везде много! — с надеждой ответил я.

— Нет, все-таки опасно — вдруг не встретим добрых людей и умрем с голоду...

— Нужно бы найти денег. Но где их достать?!

— У матери спрятан мешочек с танга¹, — вспомнил Солех. — Я возьму несколько монет на дорогу.

У меня не было никакой возможности достать деньги, и я стал искать другой выход.

— У Раушан есть две нитки кораллов, она их не носит, — сообщил я своему другу. — Если взять кораллы, может быть, в городе за них дадут деньги?

— Раз у тебя нет ничего другого, уж ладно, возьми хотя бы кораллы, — согласился Солех.

Мы договорились не терять времени и готовиться к побегу.

Дома, когда в комнате никого не было, я решил еще раз

¹ Та н г á — серебряные монеты.

взглянуть на кораллы, а потом попросить их у Раушан. Открыв шкатулку, в которой они лежали, я увидел, что их там нет. Растерянный и огорченный, я не знал, как быть. Ведь как только я принес бы кораллы, Солах взял бы у матери деньги, и мы тотчас должны были бежать. «Неужели Раушан отнесла их к бабушке? — думал я. — Попрошу Раушан взять свои кораллы у бабушки и отдать мне, ведь ей они не нужны. Я потом привезу ей другие, еще лучше этих. Только бы нам попасть в школу, выучиться, а потом я заработаю и куплю ей хорошие кораллы. Но если Раушан узнает, зачем мне ее кораллы, она обязательно скажет дяде и выдаст меня. Нет, лучше ничего не говорить ей», — решил я про себя. Выйдя во двор, я подошел к Раушан и спросил:

— Почему ты не носишь свои кораллы? Другие девочки носят.

— Мачеха спрятала их в сундук, — ответила она.

Я сообщил Солаху, что с кораллами ничего не вышло, добыть их невозможно. Мы перебрали все, что могли продать из своих вещей, но у нас ничего не было лишнего, даже многого не доставало — одеты мы были плохо.

— Сам меня разохотил учиться, а теперь ничего не можешь придумать! — ругал меня Солах.

— Как только наступит весна, установится теплая погода, тогда уйдем. Весной легче, а то зимой не только с голоду можно умереть, но еще и замерзнуть, — уговаривал я товарища.

Так мы были вынуждены отложить наш побег до весны, но решили все же готовиться уже теперь, делать запасы на дорогу. «Если каждый из нас будет ежедневно приносить по куску хлеба и складывать его в потайном месте, то вскоре образуются большие запасы — и нам не будет грозить голод на дороге», — думали мы.

И наши мечты летели далеко. Мы мечтали, как вкусно будет в дороге есть сухой хлеб, размоченный в холодной воде, как легко и беззаботно дойдем до Ташкента.

— Ну, а где мы будем копить куски? — спросил Солах.

Действительно, где можно прятать наши запасы, чтобы их никто не нашел?

Я вспомнил заброшенный садик, который находился недалеко от дома Солах.

— Давай выкопаем там яму, постелем на дно сена, а на сено положим мешок, в который будем складывать куски хлеба.

Солех моментально согласился, тем более что он мог в любое время пойти и посмотреть, все ли в сохранности. Ведь

нужно было все время наблюдать за нашим тайником и охранять его.

План этот нам очень понравился.

В тот же вечер мы пришли в заброшенный садик, принадлежавший одной старой вдове, и стали копать яму под большим деревом. В этой яме мы вырыли сбоку глубокую нору. В нору мы положили охапку сухой травы, а сверху — мешок. Мы торжественно вынули из-за пазухи по куску хлеба, положили в мешок и завязали его веревочкой.

Отверстие в тайник мы завалили большим камнем, яму прикрыли сверху ветками, а ветки закидали сухими листьями. Отойдя в сторону, мы убедились, что наш «склад» трудно обнаружить.

Каждый день мы относили в тайник и складывали в мешок по куску хлеба. Нам удавалось прибавлять туда еще сушеного урюка и жареной кукурузы.

В КИШЛАКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА!

Прошло пять дней. Наши припасы на дорогу все увеличивались.

Рано утром, когда мы еще спали, в ворота постучали. Послышался знакомый голос квартального Кабила, который только недавно принес нам приятную весть о пшенице. Неизвестно почему, я вдруг заволновался, вскочил и, не дожидаясь пока на зов Кабила выйдет дядя, бросился бежать к воротам.

— Посылайте своих детей в школу! Открывается школа! — услышал я голос квартального.

— Дядя Кабил, что? Здесь, у нас, школа? — спросил я, распахнув ворота.

— Да, открывается школа. Ты тоже можешь идти учиться.

В это время подошел мой дядя.

— Открывается новая школа для мальчиков. У тебя только он один? Остальные еще малы? — спросил Кабил, обращаясь к дяде.

Дядя нахмурился и очень холодно ответил:

— Ладно, я еще подумаю.

Меня охватило недоброе предчувствие. Но я решил крепко бороться за свои права и тут же метнулся бежать.

— Никуда не пойдешь! — грозно крикнул мне дядя.

— Почему не пойду? Дядя Кабил говорит, что я тоже буду учиться!

— Если ты пойдешь без моего разрешения, я тебя избью!

и выгону из дому. Иди неси веревку и серп — пойдем за хворостом на холмы. Нужно заготавливать топливо на зиму.

«Сейчас все дети пойдут в школу, а я должен идти на далекие холмы за хворостом!» — думал я. Сердце у меня разрывалось от горя, мне хотелось плакать.

— Ну, скорей пошли! — крикнул мне дядя.

Волей-неволей мне пришлось идти с ним.

А на улице собралось уже человек десять ребят. Они поджидали других товарищей, чтобы идти записываться в школу. Я искал глазами Солеха и не находил его среди ребят.

Мне было так горько, я отдал бы все на свете, чтобы присоединиться к этим ребятам. Столько я ждал, так рвался учиться, даже согласился недоедать, откладывать куски хлеба, хотел бежать в город, а тут школа открывается у нас в кишлаке, и я не буду в ней учиться!

— Эй, Собир, разве ты не пойдешь в школу? Говорят, из Туса домулло¹ приехал, всех мальчиков собирает в Кале! — кричали мне товарищи.

От сдерживаемых рыданий у меня сдавило грудь. Я не мог двинуться с места и остановился. Из глаз брызнули слезы.

— Шагай скорее, уже поздно! — окликнул меня дядя.

Я еле плелся за ним.

Мы вышли из кишлака, начались виноградники с обвалившимися дувалами. Проходя по узкой улочке между садами, я почувствовал, что от горя у меня останавливаются и каменеют ноги. А мозг мой работал быстро, я думал о несправедливости судьбы, возмущался... и вдруг сделал то, чего и сам не ожидал от себя.

Полный отчаяния и решимости, я вдруг перескочил через заборчик ближайшего сада и помчался насколько хватало силы. По пути перелез еще через три забора, торопясь убежать подальше, пока меня не увидел дядя и не вернул насильно. Я летел как стрела, перескакивая через арыки, и наконец добежал до дома Солеха.

— Где Солех? — спрашиваю у его матери.

— Он ушел за водой на родник.

Бегу к роднику. Солех уже возвращался с кувшином воды.

— Открывается школа! Ты разве не знаешь?

Солех хмурит брови и почти со слезами говорит:

— Меня старший брат и мама не пускают.

— Солех! Иди поставь во двор кувшин, и пойдем с тобой в школу сами!

У него загорелись глаза, но он испуганно сказал:

¹ Домулло — учитель духовной школы.

— А если меня побьют?

— Они побоятся советской власти! Ведь это она открывает школу... Если дядя Кабил узнает, что нас избили за школу, он сообщит властям... За нас заступятся!

Добежав до своего двора, Солех поставил у ворот кувшин с водой и бросился за мной. Мы помчались к базарной площади. По дороге мы увидели, что по заброшенному саду, где у нас хранился мешок с запасами, ходят люди. Мы невольно остановились, но тут же подмигнули друг другу: все равно никто не найдет наш мешок — он очень хорошо спрятан, — и без оглядки понеслись в школу.

Еще издали мы увидели, что у длинного амбара на базарной площади настежь открыты двери, множество детей с букварями и карандашами собрались около него.

Мы с Солехом подошли и стали слушать, что они говорят.

Один из мальчиков, обратившись к нам, спросил:

— Вы что, в школу пришли? Поздно. Вас уже не примут. Ни мест, ни книг, ни карандашей больше нет!

Его авторитетное заявление сразу привело нас в уныние. Неужели напрасно мы преодолели столько препятствий?

Мне хотелось плакать, но я взял себя в руки и, набравшись храбрости, спросил:

— А где домулло?

— Сейчас он выйдет.

В этот момент из помещения волостного ревкома вышел незнакомый нам молодой человек, худощавый и высокий, в длинном чистом халате. Это был домулло, учитель Сулейманов. Он заметил нас и сам подошел к нам.

— Вот эти двое тоже хотят учиться, — сказал один мальчик.

Учитель посмотрел на нас с сожалением:

— Школа уже переполнена. Оказалось очень много желающих учиться. Я один не справлюсь. Подождите немного, придет еще один учитель из Туса или Намангана. Тогда мы снова соберем детей, и вы будете учиться у него.

Не знаю, какой вид был у нас, когда мы это услышали, но только я не выдержал и горько заплакал. Глядя на меня, заплакал и Солех.

Очевидно, учителю стало жаль нас. Вряд ли ему пришлось много встречать мальчиков, которые так рвались бы в школу. Он озабоченно повернулся ко мне и спросил:

— Ты очень хочешь учиться?

Я весь трясся от рыданий и не мог говорить.

«О, если б учитель знал, как долго я жду эту школу, он не колеблясь принял бы меня, посадил на первую парту и за-

ступился бы за меня перед дядей!» — так я думал в эти минуты, но стоял молча и только плакал.

— Ну ладно! Не плачь, что-нибудь предпримем... Пойдемте со мной! — вдруг сказал учитель к великой нашей радости. Он направился к одной из дверей распахнутого амбара. Дети побежали за ним.

Все, кроме нас, с букварями и карандашами смело вбегали в просторную комнату, где рядами стояли некрашенные покатые столики. За каждый столик садились только по два ученика. Для нас с Солехом не осталось места.

— Сядьте втроем с кем-нибудь, — предложил учитель.

Сам он сел за свой стол, стоявший перед партами, открыл букварь и велел то же самое сделать всем ученикам.

Потом он подошел ко мне и положил передо мной книгу с разными рисунками. Это был букварь с картинками. Кроме букваря, учитель дал мне тетрадку и карандаш.

В первый день учитель показал нам три первые буквы. Мы прочли слова, образующиеся из этих букв.

Я был в неопишемом восторге от первого урока.

«Если, — думал я, — учитель уже в первый день научил трем буквам, то очень быстро можно узнать все буквы и научиться читать».

Мне вспомнился Сережа, у которого тоже был букварь, но с другими картинками. В его букваре на первой картинке был разрезанный надвое красный арбуз, а у нас — лошадь — асп. Но в обоих букварях были картинки на каждую букву — значит, и по нашему букварю мы научимся читать.

И я ликовал, что наконец-то попал в новую школу, где так быстро обучают грамоте.

Но мое ликование оказалось преждевременным. Меня ждали новые трудности и огорчения.

После уроков я вышел из школы, неся, как драгоценность, букварь и тетрадь с карандашом. Они и в самом деле сейчас были мне дороже всего на свете.

Не решаясь идти прямо домой, я зашел к соседскому мальчику, который вместе со мной возвращался из школы. Я боялся дяди, знал, что он меня побьет. Но страшнее было для меня то, что дядя в порыве гнева мог уничтожить мое богатство — изорвать и бросить в очаг мой букварь и первую тетрадь.

Долго я сидел у соседей, заглядывая через дувал к нам во двор. Дядя был дома. От голода у меня кружилась голова — с утра я ничего не ел. И вот я вижу, что дядя идет к калитке. Мне показалось, что он куда-то уходит и я могу пойти домой. Но от калитки дядя вернулся, и не один — с ним шел

мулла Зайниддин. Появление муллы в доме дяди не предвещало ничего хорошего, я знал это по опыту. Зачем он пришел?

Дядя провел муллу на террасу, усадил на разостланное заранее одеяло, а Раушан вынесла дастархон с лепешками из моей пшеницы и чайник чая с пиалой.

— Сегодня на полуденной молитве я просил вас зайти ко мне по одному важному делу... — говорил между тем дядя.

Мне, спрятавшемуся за забором, был слышен весь разговор.

— Я не пускал племянника в школу — он сам сбежал. Что посоветуете с ним делать?

— Вы поступили как благочестивый мусульманин. Мусульманин боится аллаха и не хочет грешить. Вы не должны пускать племянника в школу неверных! Там не учат молитвам. Запретите ему ходить в новую школу. Вы теперь его отец, жизнь и смерть его в ваших руках.

Я стоял за дувалом и думал: «Сам нас не стал учить, а теперь отговаривает дядю пускать меня в школу!»

— Я тоже так думал, — отвечал дядя. — Я уже и раньше говорил ему, что изобью и выгоню из дому, если он пойдет в эту школу. Потому, видно, он до сих пор не возвращается домой. Боится.

Дядя пошел провожать муллу и скрылся за воротами. Я перепрыгнул через заборчик и вошел в дом. Тетя Каромат, наспуленная, поджала губы и не стала разговаривать со мной. «Ну, — думаю, — значит, она тоже слышала разговор дяди с муллой». Тетя знала, что я не ел с утра, но она даже и не подумала покормить меня.

Букварь и тетрадь были у меня за пазухой, и я, оберегая их, машинально держал руки на груди.

— Что это у тебя там? — сердито спросила тетя.

— «Хафтияк».

Она подошла ко мне, выдернула у меня из-за пазухи книгу и открыла ее. Она сразу увидела в ней рисунки и с криком бросила книгу на пол.

— Какой это «Хафтияк»? Ты издеваешься над священной книгой! Вот уже что сделала новая школа с мусульманскими детьми! Картинки, картинки... Я не позволю держать поганую книгу у нас в доме! Ангелы покинут наш дом, черти к нам заберутся!

Этого обстоятельства я не предвидел. По мусульманскому поверью в доме мусульман не должно быть никаких изображений — ни картин, ни фотографий. Убеждать тетю было бесполезно.

Подняв букварь с пола, я снова запрятал его за пазуху, вышел из комнаты и сел на террасе. Меня охватило отчаяние. Я даже перестал чувствовать голод.

В это время вернулся дядя и, увидев меня на крыльце террасы, закричал:

— Ах ты выродок, проклятый отцом!

Он сразу бросился на меня и ударил по лицу.

Лицо у меня запылало, но я крепился и не плакал. Тут из дому вышла тетя и подлила масла в огонь.

— Он принес книгу с картинками, — сказала она.

Заметив у меня за пазухой книгу, дядя хотел ее вырвать, но я бросился на землю и, закрыв книгу своим телом, закричал:

— Не дам книгу!.. Я пойду жаловаться!

Я словно прилип к своей драгоценности и, катаясь по земле, не давал дяде вырвать ее.

Дядя никогда раньше меня не бил и сейчас больше не тронул. Видя, что я так защищаю книгу и ее у меня не вырвать, он отошел от меня и сказал:

— Все равно в школу неверных я тебя не пушу! Не возьму на себя такой грех. Я должен отвечать за тебя перед богом!

— А я все равно пойду! — крикнул я.

— Нет, не пойдешь! Это школа кофиров, и тебе там не место!

— Это вас мулла Зайниддин научил! Он сам не боится бога! Обманом нас собрал, а когда мы натаскали ему дров на зиму, он бросил нас. Разве не грех так обманывать?

Раньше я никогда не вступал с дядей в спор. Сироты считались неугодными богу, оставленными им, поэтому каждый мог ими помыкать, а они должны были беспрекословно все делать и, несмотря на то, что сироты целый день работали, все равно считалось, что они в долгу у тех, кто их кормит.

Но сейчас я почувствовал такую обиду за себя, так был возмущен несправедливостью, что решил бороться и отвоевать свое право на учение.

— А вы забыли, как вас мусульманин хотел обмануть, а кофир-командир помог выручить вашу пшеницу! — вдруг крикнул я.

Это сразу охладило дядин пыл. Я стал кричать, припоминая ему все:

— Вы сами говорили, что один красноармеец лучше десяти богатых мусульман! Вы забыли, как богатый мусульманин проехал на лошади мимо нас и не согласился помочь нам

переправиться через реку, а русский красноармеец нас переправил! А лепешки из пшеницы? Кто дает нам белую пшеницу? Кофиры дают! — И уже со слезами в голосе продолжал: — Басмачи-мусульмане били моего отца! Они отняли у нас все по дороге!.. Они отняли у меня книгу с картинками! Басмачи-мусульмане грабили нас и чуть не убили!.. Они били и вас... Вы всё забыли! Вы хотите поступить со мной так, как те злые мусульмане!

Дядя, видимо пристыженный моими словами, направился в комнату, а я еще кричал ему вдогонку:

— Если вы не пустите меня в школу, я уйду из вашего дома! А учиться все равно буду. Добрых людей много, кто-нибудь мне поможет!..

Теперь я уже говорил, рыдая, и засовывал за пазуху книгу и тетрадь. Дядя перестал ворчать и не выходил из комнаты. Тетя тоже не показывалась. Я чувствовал, что одержал победу.

На другое утро я встал раньше всех, достал свои драгоценные букварь, тетрадь и карандаш из-под одеял, которые лежали на сундуке в нише и не вынимались для ежедневного употребления. Наскоро съел мучную похлебку с накрошенными в нее кусочками лепешки и помчался в школу.

С этого дня я каждый день ходил в школу, и дядя с тетей меня не трогали.

Мой товарищ Махмуд тоже потянулся за мной в школу. Но уже на третий день его не было на уроках. Учитель велел нам пойти и узнать, почему Махмуд перестал ходить в школу.

После уроков мы с Солехом пошли к Махмуду. У отца Махмуда была одна голая кибитка, без всяких пристроек и даже без террасы. Прямо во двор открывались две двустворчатые двери — одна побольше и более ветхая, другая поменьше.

Во дворе никого не было видно, из дома — ничего не слышно. Мы обнаружили, что дом заперт. Большая дверь была на задвижке, а у другой двери цепочка, запиравшая ее снаружи, была закинута на створку.

Махмуд жил с отцом и мачехой. Сейчас родители были в ссоре, и мачеха куда-то уехала.

Отец у Махмуда был жестокий — наказывал сына за малейший проступок.

Мы подошли к самому дому и вдруг услышали доносившийся из дома плач.

Я спросил:

— Кто это плачет?

— Я, Махмуд, — слышался голос нашего товарища.

— Что с тобой? Почему ты не ходишь в школу?

— Отец бросил в очаг мой букварь и тетрадь, а карандаш сломал.

Карандаш был для нас драгоценностью, как букварь и тетрадь. Карандашей не хватало. Учитель был вынужден делить один карандаш на несколько частей. То, что сделал отец Махмуда, было для мальчика катастрофой.

— Отец меня избил, запер одного в доме и сказал, что целую неделю не выпустит, — добавил Махмуд.

У нас не было ключа от большой двери, а до цепочки маленькой двери мы не могли дотянуться: она была высоко. Но мы нашли палку и с ее помощью скинули цепь.

Махмуд вдруг закричал:

— Не открывайте — отец меня избьет за это!

И как раз в это время появился сердитый старик Шокир, отец Махмуда. Он выхватил у нас палку и погнался за нами. Мы перепрыгнули через развалившийся забор и убежали домой.

На другой день мы все рассказали учителю. После занятий он пошел с нами к Махмуду.

На наш стук вышел Шокир. Мы стояли поодаль и с интересом ждали, что будет. Учитель сразу задал ему вопрос:

— Почему не пускаете сына в школу?

— Это мой сын! Что хочу, то и делаю с ним, — сердито ответил отец Махмуда.

— Теперь все дети должны учиться в школе, — опять сказал учитель.

— А вы что? Домулло?

— Да, я учитель.

— А почему вы без чалмы, если вы учитель? Таких, как вы, я много вижу в чайханах! Какой вы домулло, чему вы можете научить? Я не пущу сына учиться в вашу школу! — Сказав это, старик пошел в дом, не удостоив учителя взглядом.

— Я подам на вас жалобу в ревком, — сказал учитель.

— Подавайте, вы этим не напугаете меня! — крикнул Шокир. — Я еще не сошел с ума, чтобы сына растить кофиром!

Продолжать разговор со злым стариком было бесполезно.

— Какой темный человек! — воскликнул учитель с негодованием. — Трудно ему что-нибудь объяснить!

На обратном пути учитель говорил нам, как вредны такие темные люди для общества и что таким поведением отец принесет своему сыну только несчастье.

СОВСЕМ ОДНИ

Был конец осени. Похолодало; особенно холодными стали ночи. Вся семья ночевала уже в комнате, только дядя еще спал на террасе. И вот он простудился и заболел.

Тетя Каромат за ночь несколько раз варила больному похлебку, и каждый раз она будила меня и посылала к роднику за водой. Взяв длинное ведро, я выходил из комнаты в ночную темь. Меня охватывал страх. Каждая кочка или камень, встречавшиеся на пути, казались мне притаившимся чудовищем, и в кромешной тьме мне чудились большие горящие глаза... Вот они на меня наплывают, наплывают... И я скорее бегу домой.

Я шел за водой для тети уже в третий раз. Время перевалило далеко за полночь. Все было окутано непроглядной темнотой. Вдруг на дорогу, по которой я шел, прыгнула кошка и остановилась. Из темноты на меня уставился ее горящий взгляд, и мне показалось, что глаза ее все расширяются, расширяются и, огромные, приближаются ко мне... Я закричал что было силы и выронил ведро с водой. Вода пролилась, но я не мог возвращаться к роднику... Я только схватил пустое ведро и не переводя дыхания помчался домой.

Дрожь меня пронизывала с головы до ног, и зуб не попадал на зуб. Я едва стоял на ногах и сказал тете, что сейчас джинн преградил мне дорогу и чуть меня не схватил, что он смотрел на меня большими огненными глазами.

— Читай молитву «кулфалло», и страх у тебя пройдет, — сказала тетя и снова послала меня за водой.

Я взял ведро и вышел на улицу. Мне было жутко, от страха у меня немели ноги. Я стал читать молитву «кулфалло», но страх не проходил и мне не становилось легче. Не помня себя, я добежал до родника. Хочу повесить на желоб ведро, а оно с грохотом падает на землю... Мне показалось, что джинн вырвал у меня ведро и не дает мне набрать воды. В шуме падающей из желоба воды мне слышались шорохи собравшихся у родника джиннов. Казалось, они смеются и издеваются надо мной. Я быстро-быстро читал молитвы и убеждался, что они не помогают...

Кое-как я нащупал ведро и, не вешая его на желоб, стал держать руками под струей воды. Но дрожащие руки не донесли его до воды, и оно не наполнялось...

В это время с дороги до меня донеслась песня запоздалого путника, и этот человеческий голос отогнал от меня страх. Я даже улыбнулся своему малодушию. Наполнив ведро водой, я пошел домой, и джинны уже не смущали меня...

Дядя умер. И вот однажды, вернувшись из школы, я вошел в комнату, где мы жили, и нашел в ней только моего маленького брата.

Прошел час, другой, никто не заходил к нам. Тут только я заметил, что в комнате ничего нет. Оставлено лишь одеяло, под которым мы с Мухтаром спали. Оказалось, что тетя со своей семьей переехала в другой дом из нашего двора, бросив нас с братишкой на произвол судьбы.

— Я ничего не могу теперь для вас сделать, — печально сказала она, зайдя к нам через некоторое время. — У меня свои дети... Ты должен подумать, как вам с Мухтаром жить теперь... А я больше не могу вас кормить.

В опустевшей комнате я облокотился на сандал и стал думать, как нам быть, что делать дальше.

А Мухтар тихо сидит рядом и таращит на меня свои жалобные, как всегда, глаза и ничего не просит... Даже не плачет, хотя я знаю, что он, как и я, хочет есть.

Я тоже не плакал: у меня окаменело сердце. То же самое я испытал уже после смерти отца, когда нас с братом бросила мачеха. Но теперь я сознавал, что должен действовать самостоятельно, что никто мне ни в чем не поможет. Знал, что мне надо добыть себе что-то поесть и накормить Мухтара.

«Я могу пойти работать, — думал я. — За это меня будут кормить. Ну, а Мухтар? Разве кто-нибудь согласится кормить нас двоих? Никто не согласится. Маленький Мухтар никому не нужен».

Наконец я надумал отвести Мухтара в Кзыл-Тепу, к нашей тетке по отцу, а самому пойти к кому-нибудь работать.

Недалеко от нас жила моя двоюродная сестра Хайри. Она была гораздо старше меня — ее первый сын был мне ровесником. У нее было четверо детей. Заботливая и трудолюбивая женщина, она всех детей растила сама, а муж ее пропал месяцами неизвестно где. Она безропотно ждала мужа и как-то ухитрялась кормить и растить детей.

Сейчас я решил пойти к ней и попросить лепешку.

— Я поведу Мухтара сегодня же в Кзыл-Тепу, — сказал я ей, — но он ничего не ел с утра.

— Веди его скорее сюда. Я сварила суп. Поешьте с нами, а потом пойдете, — предложила добрая Хайри.

Я привел Мухтара. Она нас накормила. Я рассказал ей о том, что у нас с Мухтаром ничего нет — ни вещей, ни провизии, поэтому я вынужден отвести его к тете. Хайри на это сказала:

— И верно, отведи Мухтара к тете, а сам живи у меня. Будешь вместе с моим Сайфулло ходить в школу.

Самое главное для меня было учиться, и я очень обрадовался предложению Хайри, которая разрешила мне жить у нее и учиться в школе.

Хайри дала мне на дорогу половину кукурузной лепешки. Я посадил Мухтара за спину и двинулся с ним в путь. До Кзыл-Тепы было верст семь.

Была уже зима, погода стояла холодная. На мне были сапоги, которые когда-то, еще в Ташкенте, купил мне отец. Они так порвались, что подошвы совсем отваливались, и я пятками ступал прямо по снегу. Мухтар же ходил просто босиком. Завернув ему ноги в полы своего халата, я нес его на спине.

Хилый и слабый от постоянного недоедания, он обхватил мою шею тоненькими ручонками. Когда я выбивался из сил и вынужден был опускать его на землю, туда, где не было снега, он еле переступал замерзшими ножками, но все же плелся, держась за мою руку. Как только кончался клочок бесснежной земли, я, немного отдохнув, опять поднимал Мухтара на спину, завертывал ножки в полы халата и продолжал наш путь.

Шли мы долго. Наконец, измученные оба, добрались до тетиного дома.

Эта тетя была грамотная, она даже обучала девочек из кишлака. У тети было три сына, младший — мой ровесник. Муж ее, высокий старик, чуть сутулый, с длинной белой бородой, был ходжа, совершивший в молодости паломничество в Мекку.

Дом их состоял из двух комнат, соединенных навесом. В одной комнате помещались тетя с дядей, в другой — их дети.

Летом все спали на крыше и под навесом. С одной стороны их домика была пристроена мехмонхона, но вход в нее был прямо с улицы.

Жили они бедно, но тетя встретила меня ласково и согласилась взять к себе Мухтара.

Маленький Мухтар ничего не понимал. После еды он занялся игрой и, только заметив, что я собираюсь уходить, вцепился в меня и заплакал. Он лишь от меня видел ласку, только ко мне был привязан. Когда я сказал, что он останется здесь, а я буду жить в другом месте, он никак не хотел отпустить меня. Мне самому было тяжело с ним разлучаться. Ведь он не помнил ни матери, ни отца, рос сиротой. Но, перенося голод, холод, болезни и глядя на всех с виноватой улыбкой, как бы прося извинения за свое существование, он все же продолжал жить.

ПИСЬМО

Я остался у Хайри. С ее сыном Сайфулло мы ходили в школу, а после уроков помогали по дому. Сайфулло сначала обижал меня, но, учась неважно, он нуждался в моей помощи, и потому наши отношения наладились.

В школе мы заучивали каждый день по одной букве. Но как-то получилось так, что я за несколько дней узнал все буквы и стал читать букварь без помощи учителя. После этого мне стало даже скучно сидеть на уроках, когда ученики заучивали уже давно известные мне буквы. Когда же ребята узнали, что я умею читать весь букварь с начала до конца, то стали говорить, что я еще в Ташкенте обучился грамоте.

Это было на втором месяце учения. Выучив весь букварь, я задумал написать самостоятельно письмо тете, у которой сейчас жил братишка Мухтар. Хотелось написать его по-настоящему — чернилами. Я видел, что в канцеляриях пишут чернилами и перьями и письмо получается красивым. Но где же взять чернила?

В базарный день я не стал есть свою лепешку дома, а спрятав ее за пазуху, пошел на базар. Знакомый лавочник продавал в своей лавчонке разные мелкие вещи. Я признался ему, что хотел бы за лепешку купить чернила, но не знаю, где они продаются. Лавочник взял у меня лепешку, а взамен дал мне завернутый в бумажку порошок и сказал, что порошок надо развести в воде.

— А нет ли у вас пера? — спросил я.

— Нет, перьев у меня нет.

— Когда вы будете в Тусе, купите там перья. Здесь ученики у вас все раскупят, — посоветовал я лавочнику.

— Ишь ты, только начал учиться, а уже захотел писать пером! — сказал лавочник.

В следующий базарный день я опять понес на базар лепешку. Только стал приближаться к знакомой лавчонке, а хозяин ее уже замахал рукой, подзывая меня к себе. Оказалось, он побывал в Тусе и привез перьев.

— Сообщи о перьях товарищам, — сказал он, взяв у меня лепешку и выдав мне перо.

— Хорошо! — пообещал я, а сам скорее побежал искать укромное местечко, где можно было бы развести чернила и начать писать пером.

Я решил, что лучшим местом для моего тайного дела будет тот садик, в котором мы с Солехом прятали наши запасы, готовясь к побегу.

Крадучись я зашел в этот пустой сад. Прятался я потому,

что боялся насмешек. Ведь мы только недавно начали учиться, а я уже собирался писать чернилами.

Были такие ребята, которые в любом, даже в самом серьезном деле находили повод для насмешек.

Я вынул из-за пазухи чернильный порошок, перо и черепок от разбитой глиняной чашки, зачерпнул в него воды из арюка и высыпал в нее часть порошка. Синюю жидкость я размешал палочкой — и чернила были готовы. Правда, они получились очень жидкие, бледные, но писать было можно.

Лежа на траве и подложив под тетрадь букварь, я написал тете письмо:

«Дорогая тетя как вы поживаете ваш племянник шлет вам много-много приветов я вас очень уважаю и люблю тетя у меня нет сапог старые износились халат тоже весь порвался если бы вы прислали мне какие-нибудь старые сапоги и халат я всю жизнь помнил бы о вашей доброте...»

Письмо я закончил пожеланиями здоровья ей и всей ее семье и отдельно просил передать привет моему брату Мухтару.

Сложив письмо, я спрятал его в букварь. Я выходил из сада с чувством гордости и приятного сознания, что я уже грамотный, могу даже письма писать.

Но первое мое письмо не попало по адресу.

На другой день кто-то из учеников в классе заметил, что оно лежит у меня в букваре, вытащил его и отдал учителю.

— Смотрите, учитель, Собир тут что-то написал!

Учитель прочел мое письмо и вернул мне его со словами:

— Ты сам написал?.. Молодец!

На перемене ребята выхватили у меня это письмо. Оно пошло по рукам. Некоторые ученики стали насмехаться:

— Сам был уже грамотный, а теперь хочет похвастаться, что раньше всех научился читать и писать!

Я уже раскаивался, что написал это письмо, которое теперь вызвало насмешки... Мне было стыдно, что я просил у тети сапоги и халат и обещал отплатить в будущем за ее доброту.

И я не отослал письма тете.

Хотя я уже выучил весь букварь и мне было скучно сидеть на уроках, но я продолжал ходить в школу, не пропуская ни одного дня. Школа была для меня всем в жизни. При одной только мысли, что вдруг я опять не буду учиться, меня охватывал страх. Я боялся расстаться с букварем и тетрадью, боялся их потерять, носил их постоянно с собой. И если где-нибудь мне можно было присесть, я сейчас же доставал букварь и читал, хотя уже знал его наизусть.

Так мы учились до лета и закончили первый класс. Муллы и баи были против школы. Они запугивали многих родителей-бедняков, и те не пускали своих детей учиться.

Байские дети смеялись над нами, дразнили нас, издевались над новой школой. Нередко они даже нападали на нас, намереваясь избить. Потому из школы мы никогда не ходили поодиночке.

Нелегко было и нашему учителю. Ему часто грозили даже при нас. Муллы требовали, чтобы он покинул наш кишлак, иначе ему несдобровать. Но наш учитель спокойно отстаивал свое дело, и это поддерживало в нас любовь к нашей школе — ни один из нас не согласился бы ее покинуть или променять на старую.

К концу первого учебного года ученики умели уже немного читать, писать небольшие фразы под диктовку учителя, а иные могли сами составлять их.

В последний день занятий учитель сообщил нам, что экзамен мы будем сдавать при народе. Мы все заволновались: было боязно.

— Весь кишлак должен знать, чему вы научились за семь месяцев, — сказал учитель. — Вы покажете, что новая школа на самом деле может за год обучить учеников грамоте. Тогда люди не станут слушаться злобных наветов мулл и баев о новой школе и все пошлют в нее своих детей.

НАРОДНЫЙ ЭКЗАМЕН

Во дворе самой большой мечети кишлака на ровной площадке были поставлены наши парты. За учительским столом сидели три человека: наш учитель Сулейманов и двое других, приехавших из Туса. Один из приехавших был молодой учитель Азиз Карим, из отдела народного образования. Он велел созвать народ со всего кишлака. Собрались несколько сот человек. Мужчины заходили во двор мечети и рассаживались вокруг наших парт. На крышах и поодаль, в стороне от мужчин, стояли женщины в паранджах. Отдельно от всех, щеголя белоснежными чалмами, сидели муллы.

Ученики сели за парты.

Зная, что на нас устремлено внимание всего кишлака, мы сильно волновались: сумеем ли выдержать экзамен и поддержать честь нашей школы?

Азиз Карим обратился к народу с речью:

— Сегодня мы покажем, чему обучила ваших детей новая школа за семь месяцев. Мы хотим убедить вас, что новая шко-

ла быстро делает людей грамотными. Наша рабоче-крестьянская власть заботится о том, чтобы забитый прежде трудовой народ вышел из темноты и невежества. Новая школа — это народная школа. Она должна нести и несет знания всему народу. Я надеюсь, что ваши дети, — тут Азиз Карим, улыбаясь, посмотрел на нас, учеников, — сумеют доказать вам сегодня, что учились не напрасно, они сумеют доказать, что те злостные клеветники, которые чернили и продолжают чернить новую школу, говорили вам неправду, а те несознательные дехкане, которые верили клеветникам, ошибались. Вы сейчас увидите, как за семь месяцев учения ваши дети уже овладели начатками грамоты. А на будущий год они будут совсем грамотными.

После этого Азиз Карим предложил нашему учителю вызвать к доске ученика. Учитель вызвал одного мальчика, который хорошо учился. На экзамене присутствовало немало хорошо грамотных мулл, поэтому нам было страшно выходить к доске.

— Пиши: «Я — ученик новой школы», — продиктовал учитель.

Вызванный мальчик немного растерялся, но все же быстро начал выводить на доске буквы.

— Ты не стесняйся, здесь чужих нет, все свои — отцы ваши, деды, — подбадривал его Азиз Карим.

Хотя и дрожащей рукой, мальчик написал фразу правильно. Но иногда, сбиваясь, он поспешно стирал написанное. Тогда я сердился и думал: «Почему не вызвали меня? Я бы, не задумываясь, быстро справился с этим. Но едва ли меня вызовут — уж очень плохо я одет».

— Ну вот, грамотные люди среди вас могут подтвердить, что мальчик написал правильно, — сказал Азиз Карим. — Пожалуйста, если кто из вас пожелает, сам может проверить учеников. Но прошу при проверке не забывать — дети учились всего семь месяцев.

Один мулла вызвал Солеха, который — он знал — учился не очень хорошо. Мы заметили, что наш учитель побледнел. Солех, идя к доске, выглядел растерянным, его губы немного дрожали.

— Не стесняйся, отвечай спокойно, — сказал ему Азиз Карим.

— Напиши-ка: «Я — мусульманский мальчик», — продиктовал мулла.

Азиз Карим и наш учитель переглянулись; мы, ученики, тоже были немного смущены предложенной фразой. Солех с большим трудом стал писать.



— Я скажу! Мое пиши: «Советская власть дает сиротам хлеб!»

Наконец написал все. Только у него получилось не «мусульманский мальчик», а «мусульман мальчик».

Все мы, ученики, наблюдали за муллами, когда Солех мучился над заданной ему фразой, — они переглядывались между собой со злорадными усмешками. А потом заявили, что все-таки он написал с ошибкой.

— При таком стечении народа даже вы сами и то растерялись бы, таксыр, — сказал Азиз Карим мулле, продиктовавшему фразу. — Однако же мальчик написал, и вы убедились, что он уже умеет писать. Кто будет это отрицать?

Он так горячо говорил, что многие из присутствующих кивали в знак согласия с ним и даже восклицали: «Молодцы!»

Вызвали еще нескольких учеников. Ребята писали с ошибками, но муллы и прочие грамотные люди уже не придирались к ним: смешно было бы требовать от мальчиков, прочувшихся всего семь месяцев, полной грамотности. Цель экзамена — показать, что ребята быстро выучиваются читать и писать, — была вполне достигнута.

Среди присутствующих на экзамене находился и мулла Зайниддин, у которого мы начинали учиться по старому методу и который нас обманул. Он заметил меня и вызвал к доске.

Я быстро встал и с радостью пошел, потому что все фразы, написанные ребятами до меня, казались мне пустяком.

Зайниддин подался вперед и с нескрываемым ехидством сказал:

— Пиши: «Бог восемнадцати тысяч миров милостив к своим рабам, которые постоянно помнят о нем».

Наш учитель спросил меня:

— Ты можешь это написать?

— Могу, — уверенно ответил я.

Я чувствовал, что эта длинная фраза является каким-то подвохом со стороны Зайниддина.

И вдруг Садык-кладовщик, который выдавал мне пшеницу, крикнул:

— Я скажу! Мое пиши: «Советская власть дает сиротам хлеб!»

Я моментально это написал и в душе восхищался Садыком, так ловко обошедшим муллу Зайниддина.

Экзамен кончился, люди стали расходиться, шумно обсуждая результаты.

— Мой сын учится в школе муллы Наджмиддина четыре года, а до сих пор писать не умеет! — возмущался один из дехкан.

— А наш домулло говорил, что нужно учиться много лет,

чтобы научиться писать свое имя! А вот в новой школе, оказывается, за семь месяцев выучиваются писать, и не только свое имя! — говорил другой.

— Спасибо учителям! Я отдал в новую школу старшего сына, а теперь и младшего отдам, — сказал третий.

— А я возьму своего сына из старой школы и отдам теперь в новую! — решил четвертый.

Эти возгласы наполняли наши сердца радостью и гордостью. Мы видели, что народ доволен нашими успехами. Новая школа показала свое превосходство над старой!

Каждому из нас подарили по тетради и карандашу. Буквари, которые мы получили в начале учения, тоже оставили за нами. Наш учитель сказал:

— Летом занимайтесь сами. Почаще читайте и пишите, чтобы не забыть пройденного.

Нас распустили на каникулы на все лето.

ТОЛЬКО НЕ ШОЁН!

Настало лето. Поспевал уже тутовник. Солех, Махмуд, Сайфулло вовлекали меня в свои забавы — мы заманивали воробьев в волосяные силки, бегали к родникам купаться, ловили ежей, терпеливо выслеживали черепах.

Но все эти развлечения и наша мальчишеская дружба не могли рассеять моего гнетущего настроения. Пока я учился, мое житье у Хайри было оправдано. И, поглощенный всецело учебой, я не задумывался над своим положением. Теперь же меня все время мучила мысль: а что же дальше? У Хайри свои дети, муж ее еще не вернулся, и ей самой было тяжело. С окончанием учения жить у нее мне было неудобно. Снова, как прошлой осенью, до открытия школы в нашем кишлаке, я подумывал добраться до Ташкента — эта мысль не выходила у меня из головы. Ташкент представлялся мне обетованной землей. Я был уверен, что там не пропаду и обязательно буду учиться. Но все мои мечты обрывались, как только я вспоминал о Мухтаре. Что делать с ним? Взять его с собой? Но как с ним туда добраться?

У Хайри не было ни сада, ни поля, ни скота — мне нечего было делать, и отсутствие работы наводило тоску. Иногда целыми днями я слонялся без дела, голодный, оборванный... Я обдумывал разные планы: как мне скорее устроить жизнь так, чтобы никому не быть в тягость и в то же время не разлучаться с Мухтаром.

Я знал, что в Тусе есть интернат. Но у кого и как узнать о

нем подробнее? Все жили так, что никому не было до меня дела.

Забитый и униженный своей бедностью и сиротством, я считал неудобным подойти к кому-нибудь с вопросом: как мне быть, как мне жить дальше? Никто бы серьезно не стал разговаривать с маленьким грязным оборвышем.

На базарной площади я нашел папиросную коробку с красивой картинкой. Она напоминала мне город.

У Хайри я увидел записную книжку, невесть откуда попавшую в ее сундучок. Заметив, что я все поглядываю на нее, Хайри подарила ее мне, и я очень скупно в нее что-нибудь записывал, экономя бумагу. Букварь, тетрадь с карандашом, выданные мне после экзамена, папиросная коробка и записная книжка составляли все мое имущество. Оно было завернуто в карбосовый¹ платок, и я носил его с собой на поясе, никогда не расставаясь со своим сокровищем.

Хайри с утра до ночи была поглощена заботами о том, как прокормить детей, но это не мешало ей думать и о моем будущем. Однажды она с радостью сообщила мне:

— Ну вот, Собир, скоро возвращается мой муж. Мы поедем в кишлак Шоён, там он арендует землю. Ты будешь жить у нас, работать. А подрастешь — ладно, уж так и быть, я тебя поженю. Сирота ты, надо о тебе позаботиться.

Со страхом я слушал эти слова. Чистосердечная Хайри посвоему желала мне добра, не ведая о том, что это обернется для меня злом — сорвет мое учение. В Шоёне, я знал, нет новой школы. Я подумал, что там мне придется всю жизнь быть батраком. «Нет, нет! Ни за что!» — твердил я себе.

— Хайри-апа, я пойду схожу к братишке: надо мне его навестить, — сказал я и, потуже завязав на поясе платок со своим имуществом, пошел, даже побежал прочь из своего кишлака. Куда угодно, только не в Шоён!

Оглянувшись на наш кишлак, я залобовался пышной шапкой зелени, покрывающей холм. Крепость на вершине горы издали казалась чудесным, таинственным замком.

Кзыл-Тепа — небольшое и бедное селение. Середина его приподнята, как насыпь железнодорожного полотна, и по ней протекает заросший с двух сторон густым ивняком арык, который разделяет кишлак на две части. В арыке не всегда бывает вода, поэтому полям и садам кишлака летом постоянно не хватает влаги. Возле арыка возникают частые ссоры и драки из-за воды.

На берегу арыка дети шумно играли в чижа, среди них

¹ Карбос — род холста.

был и младший сын моей тети. Я поиграл с ними в мою любимую игру, а потом мы искупались в украшавшем единственную мечеть кишлака бассейне, наловили ужей. Кувыркаясь в теплой, приятной воде, я думал: «Вот если б на земле все время было лето и чтоб человек мог жить без еды — какой счастливой была бы тогда моя жизнь!» Наконец мы с стетинным сыном пошли в их дом. Как только я увидел во дворе болезненно-худого, бледного, грязного мальчика, своего братишку, во мне сразу до боли ожила позабытая на время в играх печаль, которая сопровождала меня всю дорогу до Кызыл-Тепы. Мухтар побежал мне навстречу со своей виноватой улыбкой.

Я сообщил тете об окончании занятий в школе, но не поделился с ней своими мыслями о невыносимом моем положении, о желании учиться дальше, потому что это было бесполезно. Что она, бедная, могла мне сказать и посоветовать!

После обеда я пошел с Мухтаром в пустую мехмонхону, где он зимой спал один, зарывшись ножками в теплую золу, укрывшись халатиком. Тут, обняв его, я дал волю слезам. Обнимая брата, я говорил ему, что мне надо учиться. Надо пробивать дорогу к самостоятельной жизни. А как только я устроюсь, возьму его к себе и буду сам его воспитывать. Маленький, он тарачил на меня глаза, ничего не понимая из моих слов. Я только чувствовал, что ему очень приятно со мной: он крепко прижался ко мне, обхватив худыми ручонками мою шею. Так, в сетованиях на нашу тяжелую и несправедливую судьбу, строя планы на будущее, я провел с братом весь вечер и ночь.

Рано утром, чуть начало светать, я укрыл Мухтара по-лучше его рваным халатиком, поцеловал в щеку и ушел. Я не стал дожидаться даже утренней еды, взял только у тети лепешку и сказал, что ухожу. Куда ухожу, я не сказал, и меня об этом не спрашивали.

А я шел и говорил себе:

— Все что угодно, только не Шоён!

В ИНТЕРНАТЕ

Я отправился в Тус. Несколько дней слонялся там по улицам и базарам. Мне приходилось заниматься различной работой: то приносил чайханщику воды, то колол дрова. За это меня кормили, давали кусок лепешки и пиалу чаю. Я ночевал под навесами и на крышах домов. Мне не хотелось искать родственников или знакомых. Унизительное отношение к си-

ротам оскорбляло меня, и я решил ни к кому не ходить, никого не просить. А заходить в учреждения таким оборванным я считал невозможным: боялся, что меня прогонят, подумают, что я какой-нибудь уличный воришка, нищий.

Брожу я так по Тусу и вот вижу: сидят под забором трое мальчишек и прикуривают от уголька скрученные из бумаги козы ножки с махоркой. Я подошел к ним, присел и стал смотреть, как они курят.

Вдруг над нами раздался голос милиционера.

Ребята разбежались, я остался один. Милиционер стал ругать меня. Я уверял его, что не курю и только что подошел к мальчишкам. Потом, сам не зная зачем, стал говорить милиционеру, что я круглый сирота, пришел из кишлака, не знаю, куда деваться.

Не слушая меня, милиционер развязал мой поясной платок, и сразу ему попала на глаза папиросная коробка.

— Обманываешь? Папиросы прячешь, а говоришь — не куришь! — с негодованием закричал милиционер.

— Она пустая... честное слово, я не курю, у меня нет папирос... — уверял я милиционера, который в это время рассматривал мою тетрадь с букварем и записную книжку.

Просматривая эти мои вещи, милиционер смягчился.

— Учишься, значит, — проговорил он.

— Учусь, — подтвердил я.

— Ну, тогда пойдём, — сказал милиционер и повел меня с собой.

Скоро мы вошли в ворота большого двора, а потом в какое-то помещение. В одной из комнат, куда мы вошли, сидел средних лет человек, и милиционер начал ему говорить про меня: вот, мол, сирота, хочет учиться...

В это время в комнату вошел хорошо одетый человек с чисто выбритым лицом, и я узнал в нем Азиза Карима, который вел экзамен у нас в кишлаке. Я ему поклонился. Отвечая на приветствие, он пристально посмотрел на меня, но не узнал.

— Это сирота... Говорит, грамотный. Вы не могли бы направить его в ваш интернат? — обратился к нему милиционер.

— Ты откуда? — спросил Азиз Карим.

Я назвал свой кишлак.

— Вы у нас проводили экзамен. Помните, мулла велел писать на доске про восемнадцать тысяч миров?..

— А-а, вспомнил... Значит, ты сирота?.. Хочешь в интернат?

— Я как раз и хотел найти интернат, только не знал, где его искать, — поспешно ответил я.

— Это можно. Сейчас ты со мной пойдешь туда.

Интернат находился в новой, «европейской» части городка Туса, который, как многие города Средней Азии, делился на старый и новый.

Интернат помещался в пятикомнатном особняке с длинной открытой террасой. Дом стоял в большом саду с бассейном. Прямо под деревьями стояли кровати, в стороне — длинный деревянный стол со скамейками вокруг него. Около дома был устроен турник, на котором по очереди кувыркались ребята.

Заведующего интернатом не было, не нашли мы и воспитателя. Азиз Карим сдал меня старосте, одноглазому юноше Джабару, и простился со мной. Я горячо благодарил его: исполнилось мое желание, и вот я в интернате.

Самое для меня важное — я узнал, что с осени интернатские дети обязательно будут учиться.

Тут вдруг кто-то стал бить в кусок рельса, висевший на дереве, и ребята со всех сторон побежали к столу со скамейками.

Среди ребят я нашел одного знакомого — это был Рахимджан из Кзыл-Тепе. Мы сели вместе за стол. Двое мальчиков стали разносить и ставить перед каждым из детей по чашке машевой¹ каши. Поставили чашку и передо мной.

Каша показалась мне необыкновенно вкусной.

После еды опять все разбегались по саду. Многие ребята, и мы с Рахимджаном в том числе, стали купаться в бассейне. Шалили, плескались, некоторые уже успели поссориться, другие дрались и плакали. Все бегали, играли в свое удовольствие кто сколько хотел; никто не заставлял нас что-нибудь делать, никто ничего нам не запрещал.

Во двор вбежала с улицы шумная ватага детей. Оказалось, они поймали чужого мальчика, притащили его в интернат и стали над ним потешаться. Он кричал и плакал.

Подосел кривой староста Джабар, неприлично выбранил сорванцов, ударами кулака разогнал их, освободил пленника и сам стукнул его по голове. Меня это удивило.

— Почему староста ударил того мальчика? Ведь он же не виноват, — сказал я Рахимджану.

— Джабар злой, всех бьет, — отвечал Рахимджан. — Будь с ним осторожен.

Среди оборванных, грязных и грубоватых ребят я заметил несколько чисто одетых и державшихся чинно. У этих детей были родители, но почему-то они жили в интернате.

Под вечер нас всех выстроили на дворе в шеренгу: перед

¹ М а ш — бобовое растение.

сном проводилась поверка. Все встали по росту. Я очутился в самом конце. Заморенный, худой, я был меньше своих ровесников.

За весь день я ни к кому, кроме Рахимджана, не обращался, никого ни о чем не спрашивал. Объявили, что пора идти спать. Мне никто не указал, где мое место. Рахимджан ввел меня в одну из пустых комнат и сказал:

— Пока придет заведующий, устраивайся спать здесь на полу или на столе. Кроватей не хватает.

Утром после умывания мы пошли получать лепешки. Нам выдавали сразу по две лепешки на целый день, а потом в течение дня два раза мы получали горячую пищу, но уже без хлеба. Питание мне показалось роскошным, а недостаток кроватей — пустяком, о котором не стоило и говорить.

Так я стал жить в интернате беззаботно и весело. У меня было достаточно времени и повторять свой букварь, и разглядывать другие имевшиеся у ребят книги, и принимать горячее участие во всех играх, которые устраивались в интернате.

Единственной нашей обязанностью было дежурство на кухне. Дежурных назначали по два человека. Они ходили за три версты на склад и приносили продукты на день: рис, маш, картошку и разные овощи. Они помогали повару чистить овощи, разносить готовую еду по столам, потом собирать и мыть посуду. В обязанность дежурных входило также колоть дрова для кухни и растапливать плиту.

Мне очень нравилось в интернате. Целый день мы бегали, играли в разные игры, кувыркались на турнике. Полная свобода, и никто не попрекает куском хлеба.

Занятия наши сводились к слушанию газеты «Фергана», которую нам громко читали вслух, и беседам студента Рахматулло. Газету доставал где-то и приносил в интернат мальчик Хусейн, родом из города Намангана, самый грамотный среди нас. Собравшись в одной из комнат, мы усаживались на полу вокруг Хусейна и слушали чтение газеты. Он хорошо читал. А Рахматулло, ташкентский студент, добрый, мягкий, веселый юноша лет двадцати, рассказывал нам о революции, о Ленине, о Красной Армии. Он носил красноармейскую гимнастерку с тремя полосками на груди: год назад, еще до поступления на ташкентский рабфак, он с отрядом красноармейцев воевал где-то в горах против басмачей.

Рахматулло взялся проводить военные игры в интернате. Чуть ли не каждый день Рахматулло выстраивал нас во дворе. Мы шли километра за два в поле. Рахматулло делил нас на две команды. Одна команда уходила куда-нибудь и пря-

талась, другая шла разыскивать ее и, обнаружив, вступала с ней в «бой». Но чаще всего было так: мы не успевали еще разыскать «врага», как он сам выскакивал из засады и нападал на нас. Начиналась свалка. Кого удавалось повалить на землю, тот считался убитым, а кого ловили, тот считался взятым в плен. «Убитые» и «пленные» выходили из игры. В какой команде оставалось меньше людей, та считалась побежденной.

Поиграв так часа два, мы возвращались в интернат.

Военные игры очень нравились ребятам, и Рахматулло все мы любили. Сам он тоже с увлечением занимался с нами.

Обычно после обеда, ближе к вечеру, мы с Рахматулло маршировали по шоссе и по окрестностям Туса и пели песни, воображая себя настоящими красноармейцами.

Нас, ребят, трогало то, что этот студент добровольно приходил заниматься с нами. Он был образованный городской молодой человек, хорошо говорил по-русски и для нас был абсолютным авторитетом. И так как мы его любили, ему удавалось поддерживать строгую дисциплину.

Некоторые ребята показывали мне какие-то бумажки и говорили: «Я пионер! Видишь, вот мое удостоверение». Сначала эти «удостоверения» поражали меня своей таинственностью, а потом они разожгли во мне желание во что бы то ни стало тоже стать пионером и получить «удостоверение».

Рахматулло хорошо ко мне относился, и я решил спросить у него таинственное «удостоверение»:

— Не скажете ли, где мне взять бумагу о том, что я пионер? Мне очень хочется иметь такую бумагу.

— Раз очень хочешь, можешь получить, — неожиданно сказал он и, вынув из своей походной сумки клочок бумаги, написал на нем, что я, Собир Умаров, — пионер, и дал мне.

Я долго хранил этот «документ».

Однажды Рахматулло повел нас маршем километра за три-четыре от Туса, к кишлаку Хисорак. Там мы нашли большую поляну и занялись игрой. За поляной, на которой мы играли, начинались дехканские сады и огороды. Ребятам хотелось забраться туда, но Рахматулло запретил нам это.

Один из мальчиков не послушался, побежал и сорвал в огороде дыню. Хозяин огорода заметил это и погнался за вором. Но мальчик успел убежать. Рахматулло волновался и негодовал. Он извинился перед дехканином, а нам сказал:

— Я занимаюсь с вами добровольно. Мне хочется вас развлечь, повеселить, научить кое-чему. Но если вы будете заставлять меня краснеть перед людьми, то я перестану с вами заниматься... Пусть я буду проклят, если этот вориш-

ка не будет наказан и исключен из интерната! — воскликнул он.

Виновнику было лет пятнадцать, родом он был из Кургана, звали его Хидыр. Отец Хидыра был первый богач в своем кишлаке. Хидыр говорил, что его отец умер, а он приехал в Тус поучиться, познакомиться с «большими начальниками», среди которых, по его словам, были и друзья его отца, и потом получить какую-нибудь хорошую должность.

Вернувшись с нами в интернат, Рахматулло рассказал о случившемся старосте Джабару, просил наказать Хидыра и потребовать исключения его из интерната, чтобы другим было неповадно.

Наш всемогущий повелитель Джабар велел ребятам построиться, а виновнику выйти вперед и перед всем интернатом стегнул его раз-другой плеткой. На этом дело и кончилось. Хидыр остался в интернате.

Ребята видели, что воровство ему сошло с рук, и ждали, что сделает Рахматулло: ведь он поклялся, что добьется исключения вора из интерната!

Однако Хидыра не исключили. Авторитет Рахматулло был подорван. То, что он не мог бороться с Джабаром и добиться исключения вора, вызвало у ребят возмущение.

— Неужели и он испугался Джабара и потому не сдержал слова? — говорили ребята и как-то охладели к Рахматулло.

Скоро он перестал заниматься с нами, не показывался в интернате. Потом мы узнали, что он уехал в Ташкент.

Джабар считал себя в интернате хозяином — управлял этой вольницей, как хотел. У него всегда было злое выражение лица; единственный глаз смотрел недоверчиво и презрительно. Он ни за что бил ребят, ругал их самыми неприличными словами. Провинившегося в чем-нибудь воспитанника он жестоко хлестал плеткой. Я не мог понять, почему ребята терпят такого старосту, не жалуются на него заведующему, который жил в старой части города и появлялся в интернате раза два-три в неделю. Но Рахимджан, которому я высказал свое недоумение, объяснил мне.

— Дядя Джабара — большой начальник в исполкоме, — сказал Рахимджан. — Заведующий сам боится Джабара. В прошлом месяце один из ребят, которого Джабар ни за что избил плетью, пожаловался на него заведующему, а тот говорит ему: «Если тебя Джабар побил, значит, так надо было. Джабар без причины ничего не делает. Иди и больше не приходи с жалобами».

Я старался не попадаться Джабару на глаза, чтобы он не придрался к чему-нибудь и не побил меня.

Но как-то утром Джабар подозвал меня, сунул мне в руки мешок и сказал:

— Отнеси это ко мне домой, в Хисорак.

— Что это? — спросил я.

— Мама заказывала мне купить кое-что.

По дороге в Хисорак я пощупал мешок: в нем было что-то твердое, вроде мыла, спичечных коробок, и что-то сыпучее, мне показалось — рис. Я забеспокоился: мыло и спички тогда трудно было достать на базаре, а для интерната все выдавалось из государственных складов. Я развязал мешок и посмотрел: в нем были чай, рис, мыло, спички. Было ясно, что Джабар взял это в интернате. Я не хотел нести в дом Джабара краденые продукты и повернул обратно.

Придя в интернат, я показал мешок завхозу:

— По-моему, все это из интерната. Я не хочу быть помощником в хищении нашего добра, не хочу идти к Джабару домой.

Завхоз в интернате был тоже из ребят, но постарше.

— Советую тебе все же отнести этот мешок к нему домой, — сказал завхоз. — Зачем дразнить зверя? Ну, взял немного из интерната продуктов, черт с ним. От этого мы не погибнем.

Из слов завхоза я понял, что он знал про воровство, а может быть, и сам помогал Джабару в этом деле, покрывал его.

Надо было сейчас же пойти и рассказать ребятам и заведующему о преступлениях старосты и завхоза, добиться их наказания, но я этого не сделал — побоялся мести Джабара. Потом я очень жалел об этом. Все равно Джабар стал мстить мне за то, что я отказался помогать ему: он по два-три раза в неделю назначал меня дежурным по кухне, не выдавал мне после стирки чистой одежды, постоянно придирался и искал случая избить меня.

Хороший почерк считался тогда чуть ли не самым большим достоинством школьника. К ученику, умеющему красиво выводить арабские буквы, относились с уважением и учителя и товарищи.

У меня почерк был неважный, и я завидовал ребятам, которые красиво писали. Желая овладеть этим искусством, я постоянно упражнялся в письме: переписывал в тетрадку стишки из учебника по родному языку. Но карандашом трудно было писать красиво: буквы выходили бледные и неуклюжие; хотелось писать чернилами, а чернил в интернате не было.

Я решил опять, как недавно в кишлаке, добиться своего — съедал в день по одной лепешке, а другую сберегал; по-

том обменивал их на базаре у лавочника на чернила и перо и был счастлив.

Но тут-то и ждала меня беда.

В то утро, когда я ходил на базар обменивать лепешки на чернила, одному мальчику не хватило лепешки, и Джабар стал уверять всех, что это я смошенничал и получил утром две лишние лепешки.

Он схватил меня за воротник рубашки и взял палку, чтобы избить. Но за меня вступились Хусейн и Рахимджан — они знали, как я «накопил» две лепешки для приобретения чернил.

— Отпусти его, Джабар! Он не виноват! — кричали они старосте.

Несправедливое обвинение в воровстве так возмутило меня, что, не помня себя от обиды, я крикнул Джабару:

— Сам ты вор! Не я, а ты вор! Ты украл продукты из интерната!

Джабар рассвирепел:

— Врешь! Докажи! Если не докажешь, что я воровал, то я пушу кровь из твоего носа, переломаю тебе все кости!

Он погнался за мной, но я убежал от него в сад.

— погоди, я доберусь до тебя! — погрозили он, возвращаясь в дом.

И «добрался».

У меня пропала моя заветная бутылочка с чернилами. Я искал ее целый день. Оказалось, что бутылочку взял Хидыр и спрятал для потехи, чтобы помучить меня. Разозлившись, я закричал на него:

— Ты байский сын! Ты обманом пробрался в интернат! Тебя давно надо прогнать отсюда!

Вечером, во время переключки, Джабар вызвал меня и перед всем интернатом стал больно бить плетью, приговаривая:

— Смутьян! Где ты нашел байского сына? Зачем чернишь Хидыра?

Я, плача, убежал в комнату и с головой забрался под одеяло.

Джабар отомстил мне и за себя и за своего дружка. Хидыр всегда делился с Джабаром богатыми посылками, которые он получал из своего дома.

Утром я ушел из интерната. Хотя мне некуда было пойти, но я не хотел больше оставаться там, где меня били. Даже отец меня никогда не бил, а тут какой-то негодяй позорит меня перед всеми, и нет на него управы.

Я вспомнил про Азиза Карима, к которому относился с большим уважением, — ведь он, такой большой человек, сам привел меня в интернат и устроил там.

Я не мог уйти из Туса, не повидавшись с ним.

Незадолго перед тем Азиз Карим был назначен заведующим отделом народного образования. Я долго стоял у двери ОНО, не смея войти.

Вдруг на деревянной лестнице, ведшей на второй этаж, показался сам Азиз Карим. Он сразу узнал меня:

— А-а, ты? Здравствуй! — Он посмотрел на меня внимательно. — Что с тобой? Тебя кто-нибудь обидел?

— Я не хочу больше жить в интернате, — сказал я и, не сдержавшись, заплакал.

Азиз Карим взял меня за руку и ввел в свой кабинет.

— Садись. — Он усадил меня на скамейку. — Что случилось?

Немного успокоившись, я рассказал Азизу Кариму обо всем, что творилось в интернате. Он молча выслушал меня, а потом проговорил с упреком:

— Почему же ты раньше ничего не сказал мне о Джабаре и об этом Хидыре?.. Ну вот что. Тебе незачем уходить из интерната. Вернись туда. Я приму меры.

Дня через два Азиз Карим пришел в интернат вместе с нашим заведующим. Раздался звон подвешенного к дереву рельса. Сбежались все воспитанники и выстроились во дворе интерната.

Азиз Карим долго глядел на лица, на одежду, на босые ноги ребят.

Я ждал — он посмотрит на меня (я стоял третьим или четвертым от конца), но он не задержал на мне взгляда, как будто даже не заметил меня.

— Кто здесь Хидыр, сын Атабая? — тихо спросил он.

— Я! — Хидыр вышел вперед.

Азиз Карим подошел к нему ближе:

— Ты из Кургана?

— Да.

— Кто твой отец?

— Бедный человек, угнетенный, бесправный человек был.

По губам Азиза Карима пробежала усмешка.

— Сколько танаров земли у вас?

— Не знаю, учитель. Брат говорит, что всего сорок танаров.

Помолчав, Азиз Карим сказал Хидыру:

— Ты иди к себе домой, в Курган. Зачем тебе интернат? Здесь живут дети бедняков, сироты, которым больше негде жить... Иди домой сейчас же.

Хидыр, опустив голову, повернулся и медленно пошел к калитке. Азиз Карим таким же образом отослал из интерната

еще троих ребят, у которых были родители. Затем обратился с вопросом к оставшимся:

— У кого-нибудь есть жалобы ко мне?

Все молчали.

— А старостой своим вы довольны?

Опять в ответ молчание. Но его нарушил Хусейн:

— Мы недовольны, учитель! Он бьет нас палкой и плетью, ругается нехорошими словами!

Джабар вырвался вперед из строя и громко закричал:

— Врет он! Я наказываю за дело. Он самый плохой мальчик!.. Пусть скажет наш заведующий...

Наш заведующий, до сих пор молчавший, подал наконец голос.

— Ты помалкивай! — оборвал он Джабара. — Стой в строю!

Бледный от злости, Джабар вернулся на свое место.

Тут Азиз Карим прямо посмотрел на меня, как будто взглядом своим приглашал говорить. Я крикнул:

— Джабар побил меня из-за Хидыра, потому что Хидыр дает ему подарки! Джабар ворует продукты из интерната! Завхоз знает об этом!..

И пошли жалобы обиженных. Перебивая друг друга, ребята вспоминали преступления и злоупотребления старосты. Я смотрел на Джабара — он был бледен и дико, злобно озирался своим единственным глазом на детей, выкрикивающих свои обвинения.

Когда снова стало тихо, Азиз Карим, с трудом сдерживая свой гнев, сказал Джабару:

— Уходи сейчас же! Чтоб я больше тебя здесь не видел. Джабар был изгнан из интерната.

МЕНЯ ПОСЫЛАЮТ УЧИТЬСЯ

Наступила осень. В интернат назначили другого, более энергичного заведующего, который приехал из Намангана. Он навел новые порядки, подтянул дисциплину. Теперь уже каждый из нас имел свою кровать с матрацем, простыней, мягким новым одеялом и подушкой. Всем выдали сапоги, рубашки, штаны и новые ситцевые халаты.

Первого сентября утром, после завтрака, нас построили во дворе интерната, и заведующий сказал нам:

— Сейчас строим вы пойдете в школу.

Он просил нас вести себя хорошо на улице и в школе, слушаться учителей и прилежно учиться.

Четырехклассная образцовая школа находилась в старой части города, за три километра от интерната. Настроение у всех нас было праздничное, на душе радостно и светло, как бывает в хорошее сентябрьское утро. Всю дорогу, не переставая, мы пели песни. А у меня замирало сердце перед встречей с новой школой.

Вот мы вошли в обширный двор школы. Нас встретили заведующий школой и учителя. Все школьники были построены во дворе. Азиз Карим сказал нам приветственную речь, поздравил нас с наступающим новым учебным годом и пожелал хороших успехов.

Мне не терпелось поскорее войти в класс, занять парту и начать учиться. Но Азиз Карим и учителя собрали в зале ребят, вновь прибывших из других школ, таких, как я, и стали экзаменовать. Выясняя знания каждого нового ученика, они определяли его в соответствующий класс.

За семь месяцев обучения в своей кишлачной школе я прошел по арифметике всего два действия, и только в пределах десяти. Например, «одиннадцать» я уже не знал, как писать.

Чтение и письмо я сдал на «хорошо». Для второго класса, где ученики знали все четыре действия по арифметике и умели писать любые числа, я не годился, а первый класс я уже перерос. Учителя были озадачены. Но Азиз Карим сказал им:

— Запишите его во второй класс. Собир — способный мальчик, он догонит своих товарищей.

Я стал учиться во втором классе.

Наша школа помещалась в просторном белом здании. В классах было чисто и светло, полы покрашены; в два ряда стояли новенькие черные парты. Кишлачная школа — бывший амбар, наскоро приспособленный под класс, — не могла идти ни в какое сравнение с тусской образцовой школой. Просторный двор школы был подметен; маленький арык отделял его от большого школьного сада. Во дворе мы занимались гимнастикой, в саду отдыхали и играли на переменах.

Мы очень полюбили свою школу, нежно называли ее «намуна» («образцовая»). На улицах и в интернате мы обычно шумели, кричали, кое-кто даже ругался, случались драки, но, войдя в ворота «намуны», ребята сразу становились, как мне казалось, мягче в обращении друг с другом, не кричали, а ругаться или драться никому даже и в голову не приходило. Прежде чем войти в классы, мы вытирали ноги, а в слякоть мыли обувь в арыке.

В начале учебного года во втором классе арифметика поставила мне много хлопот: я не знал ни сложения, ни умножения выше десяти; все задачи казались мне сложными и непо-

нятными. Боясь быть переведенным в первый класс и стараясь оправдать доверие Азиза Карима, я усердно занимался арифметикой, таблицу умножения выучил в два дня. Чтение и письмо шли у меня довольно гладко, поэтому я мог дополнительно заниматься арифметикой, решая задачи и упражняясь в писании чисел. Месяца через два я уже не только не отставал от своих товарищей, но даже опередил кое-кого из них.

Тепло одетый, сытый, с учебниками, тетрадями и карандашами, я чувствовал себя счастливым и ничего не желал лучшего. Но мне очень хотелось читать. Однако книг, кроме наших учебников, на узбекском или таджикском языке не было, а если и были, я не видел их, никто мне их не давал. Книга для чтения для второго класса начиналась большим предисловием, напечатанным мелким шрифтом. Не меньше двадцати раз я прочел это предисловие — читал его, даже идя по улице, когда возвращался из школы в интернат.

Когда я стал читать предисловие быстро, гладко, без запинок и даже с пониманием смысла прочитанного, я сам себе казался хорошо грамотным человеком, и это мне чрезвычайно нравилось. Однажды Азиз Карим, преподававший родной язык в старших классах, застал меня в нашем классе за чтением вслух этого предисловия.

— Молодец, читаешь хорошо, — похвалил он, а затем спросил: — Смысл понимаешь?

— Да! — ответил я гордо.

— О чем тут говорится?

— Человек, который написал эту книгу, дает советы учителям, как надо учить детей чтению и письму. Он говорит, чтобы учили детей читать с выражением, смотреть, где точка, где приводятся чьи-нибудь слова. А еще писавший эту книгу просит учителей — если заметят, что в книге чего-нибудь не хватает, пусть сообщат ему, и тогда он в следующий раз напишет лучше...

Азиз Карим улыбнулся:

— Хорошо отвечаешь. Вижу, ты понял и усвоил прочитанное.

Так шло мое учение.

Я был всем доволен, но порой воспоминание о братишке заставляло сердце мое сжиматься от жалости. Бедный Мухтар! Мне хорошо. А ему?..

И вот в декабре, когда учение шло у меня уже гладко, я задумал пойти навестить братишку. Заведующий интернатом разрешил мне это.

В один из сухих, теплых декабрьских дней сразу после завтрака я направился в кишлак Қзыл-Тепа. Мне так хотелось

скорее увидеть моего маленького Мухтара, что я все ускорял и ускорял шаг и очень быстро дошел до тетиного дома.

Мухтар мне очень обрадовался. Худенький и хилый, он был легок, как перышко, и я без труда поднял его на руки. Он крепко обвил мою шею ручонками и, торопясь, рассказывал о своем житье.

Тетя все-таки о нем заботилась, не обижала его и даже позволяла присутствовать на ее занятиях с девочками. Мухтар похвастался, что знает несколько стихов.

Мне странно было и в то же время радостно наблюдать, что мой маленький братишка умел уже рассуждать, стал очень любознательным. Он засыпал меня вопросами, просил рассказать о матери и об отце, которых он не помнил. Он сидел и плакал, когда я рассказывал ему, какая у нас была красивая мама, что косы у нее были ниже колен, что наш отец-богатырь был первым силачом в кишлаке и его все звали полвоном. А какой он был работяга, как любил труд — ни минуты не сидел без дела! С восторгом я вспоминал, как отец поднял виноградник при заводе. Мухтар ни на минуту не отпускал меня от себя и, держась за мою руку, всюду ходил за мной.

Из интерната меня отпустили только на два дня — вечером на другой день я должен был уйти обратно. Братишка вцепился в меня: «Я не хочу жить здесь без тебя». Я стал ему объяснять, что пока нужно здесь оставаться, потерпеть еще немного, а как только он подрастет и его можно будет устроить в интернат, я приеду и заберу его. Тогда он будет учиться и жить со мной в интернате.

Прощавшись с тетей и ее семьей, я вышел за ворота. Братишка с плачем побежал за мной. Большого труда мне стоило его вернуть.

На прощание тетя дала мне полмешка сушеного урюка, фунтов десять. Я очень обрадовался подарку. В интернате почти у всех ребят было это лакомство — одни получали его из дому, другие еще летом ухитрились засушить для себя урюк из интернатского сада. Но у меня его не было. А теперь тетя так неожиданно обеспечила меня урюком чуть ли не на всю зиму. Крепко держа мешок за угол, я тащил его на спине.

На проселочной дороге меня догнала арба, нагруженная хлопком.

— Куда идешь? — окликнул меня арбакеш.

— В Тус.

— Садись, подвезу, — предложил он.

Я сел поверх хлопка и под мерный скрип колес стал думать о братишке, о себе, вспомнил отца и мать, нашу жизнь в Ташкенте... Меня с новой силой потянуло в Ташкент, и я по-

думал: «Попасть бы мне туда! Пошел бы я к Сереже, Паше, к тете Маше, к Николаевым. Если они узнают, что и отец у нас умер и мы с Мухтаром остались одни, обязательно усыновят нас и будут учить и воспитывать!»

В таких думах я и не заметил, как мы въехали в Тус. Я попросил остановить арбу напротив школы и, спрыгнув, быстро вбежал в здание. В школе уже никого не было, но мне захотелось войти в класс, сесть за парту, что я и сделал, не выпуская из рук мешка с урюком. Вдруг заглянул в дверь сторож и сказал мне:

— Где ты был? Иди сейчас же в отдел народного образования, к Азизу Кариму. Тебя искали и не нашли. Скорее иди! Тебя хотят отправить учиться в Ташкент.

Я вскочил, мешок выпал у меня из рук, и урюк рассыпался по всему классу. Я не стал его собирать — сейчас было не до урюка — и побежал в ОНО разыскивать Азиза Карима.

Вот что он мне сказал:

— Хорошо, что ты появился. Мы решили тебя направить в Ташкент. Приезжал к нам товарищ из Ташкента: вербовал учащихся в таджикское учебное заведение, которое там открылось. Мы отобрали троих учеников из «намуны», четвертым поедешь ты. Все они из старших классов, один ты из второго, но я знаю — ты хорошо учишься. Надеюсь, тебя примут в училище. Если бы ты сегодня не приехал, послали бы другого. Беги в интернат, собирайся. Вы завтра же отправитесь в Ташкент.

Бежал я и не чувствовал под собой ног. Я боялся, как бы мне не остаться, как бы меня не заменили. Я был как во сне. Только сегодня утром я ехал на арбе и мечтал о Ташкенте. Ташкент казался мне несбыточной мечтой. И вот уже завтра я могу поехать в желанный город!

День тянулся бесконечно. Ночью я не мог спать: у меня перед глазами вставал знакомый город — улицы, завод, где мы жили... Я представлял себе, как встречаюсь со своими старыми друзьями.

В интернате моей собственностью были только бутылка с чернилами да перо, прикрепленное к концу обструганной палочки. Я отдал их на память Рахимджану. Мой урюк, рассыпанный на полу, остался в «намуне», им завтра полакомятся мои товарищи по классу.

Наконец наступило утро, я простился с ребятами и побежал в отдел народного образования. Было еще рано, мне пришлось ждать полчаса, пока пришли Азиз Карим и учитель Сулейманов с тремя старшими учениками из «намуны». Двое из них, Калон и Акрам, были из четвертого класса, а Одил — из

третьего. Сулейманов, мой первый учитель в кишлаке, должен был сопровождать нас до Ташкента.

Наняв двухколесную крытую арбу, мы сели в нее и отправились в путь.

СНОВА В ТАШКЕНТЕ

Шел мокрый снег. Неба не было видно за серым туманом. На улицах — слякоть. И, несмотря на это, город, который я покинул четыре года назад и куда я вернулся теперь полный надежд, показался мне прекрасным.

За это время даже во внешнем облике Ташкента произошли перемены. Черные чугунные люди на высоком каменном постаменте в сквере, пугавшие меня когда-то, исчезли, на их месте красовались огромные серп и молот. Мы шли от сквера вверх по красивой улице, которая называлась раньше Соборной, а теперь улицей Карла Маркса. Часто встречались красноармейцы-узбеки. Раньше я никогда их не видел. Но особенно поражали меня юные узбечки, свободно ходившие по улицам с открытыми лицами. Группами и в одиночку в ту и другую сторону потоком текла молодежь всех национальностей, и по книжкам, которые они держали в руках, можно было определить, что это были учащиеся многих вновь открытых учебных заведений. Город был наполнен учащейся молодежью и сам словно стал молодым, оживленным, радостным.

Мы ходили по Ташкенту и искали наш Таджикский институт просвещения, но никто не мог показать, где он находится.

Учитель, сопровождавший нас, решил, что надо справиться в гороно. По дороге туда мы проходили мимо чугунной ограды с железными воротами, за которыми ясно было видно сквозь оголенные ветви деревьев красивое здание с колоннами и львами у входа.

Вывеска, написанная на узбекском языке, гласила, что теперь здесь музей искусства и доступ в него свободен для всех. Учитель Сулейманов сказал нам, что раньше, до революции, здесь жил русский князь и что простого человека сюда даже близко не подпускали.

Пока мы ходили по городу, меня меньше всего интересовало местонахождение нашего института. Искать институт — дело учителя. А я с волнением смотрел вокруг, на улицы и дома, вглядываясь в лица людей: не встречу ли Николаева, тетю Машу, моих друзей — Сергея, Пашу... Я впивался глазами во всех встречавшихся красноармейцев: не Ершов ли?

Мне казалось, я непременно должен был сейчас же встретить кого-нибудь из них. Я был в этом так уверен, словно мои

знакомые должны сегодня непременно выйти из дому для встречи со мной и ходить по тем же улицам.

Вот впереди меня идет худенькая девочка со светлыми, как солома, волосами. Я быстро догоняю ее.

— Паша? — радостно спрашиваю я.

Девочка удивленно смотрит и отрицательно качает головой. Я обознался. Мои спутники смеются надо мной.

Мне хочется рассказать товарищам, что я знаю Ташкент, что у меня здесь знакомые и друзья, что не впервые хожу по этим улицам — я жил в этом городе раньше. Но я боюсь насмешек Акрама.

Из трех моих спутников я пытался сблизиться с Одилом. Калон был старше меня и в товарищи не годился. Акрам же отталкивал меня своим хвастовством и насмешками над всем и всеми. Одил, тихий, с нежным румянцем, застенчивый, красневший до ушей даже от самой невинной шутки, сам страдал от насмешек Акрама и всегда вызывал мое сочувствие. Но застенчивость заставляла его держаться в стороне и от меня. Он был так неразговорчив, что мне не удавалось с ним поделиться переполнявшими меня мыслями и чувствами.

Когда после трехчасовых поисков мы наконец нашли наш институт, мы уже не удивлялись, что его никто не знал в городе. Маленькое одноэтажное здание из жженого кирпича, расположенное на улице Энгельса, напротив знаменитого ташкентского Куриного базара, не имело даже вывески.

Мы вошли. В коридоре, куда выходили двери нескольких комнат с той и с другой стороны, были слышны голоса, непривычный для нас говор.

— Матчинцы! — презрительно сказал Акрам.

Всех горных таджиков ферганские таджики называли матчинцами, хотя, как мы узнали позже, Матча — лишь маленький район огромной территории горного Таджикистана и состоит всего из двух десятков кишлаков. Матчинцы — самые бедные из горных таджиков — ходили в ферганские города и кишлаки наниматься на любую работу, и по ним судили о всех горных таджиках.

Встреченный нами в коридоре юноша, одетый по-кишлачному, повел нас к директору. Мы подошли к одной из дверей, но не успели ее открыть, как оттуда стремительно вышел высокий, красивый, сероглазый человек с орлиным профилем, с черными усами, с чисто выбритым белым лицом — директор Нисар-Мухамедов. Он был в больших, грубых, подкованных сапогах, в гимнастерке и галифе, с толстым портфелем в руках.

Учитель Сулейманов вытащил из кармана бумажку — письмо из Тусского гороно о направлении нас на учебу — и протянул директору. Тот открыл свой портфель и сунул туда бумажку, даже не взглянув на нее.

— Привезли всего четырех? — спросил он Сулейманова. — Надо было побольше. Ведь в нашем районе таджиков много. Я был в Тусе, просил отобрать не менее десяти человек.

— Пока нашли только этих, — ответил Сулейманов, указывая на нас. — Позже, может быть, еще подошлем.

Внимательно посмотрев на каждого из нас, директор остановил взгляд на мне.

— Сколько ему лет? — спросил он у Сулейманова.

— Мне четырнадцать, — ответил я, опередив учителя.

Директор, улыбаясь, положил свою огромную руку мне на плечо.

— Что же ты плохо растешь? Ты кажешься маленьким для своих четырнадцати лет.

Слова эти были сказаны дружески и ласково, но вызвали во мне смутное опасение: а вдруг меня не примут в институт? Поэтому я поторопился уверить его:

— Я еще подрасту.

Директор весело засмеялся:

— Ну-ну! Посмотрим.

Он повел нас в комнату, откуда слышались голоса. Это была большая комната с тремя высокими окнами, выходившими на улицу. Тесно, касаясь друг друга, стояли в два ряда койки, между рядами был узкий проход — единственное свободное пространство на крашеном полу. На койках сидели в различных позах человек десять парней, большинство не по-городскому одетые — в цветных ватных халатах. Комната была жарко натоплена, было душно, пахло потом, сапогами.

— Будете жить здесь, пока соберутся все учащиеся и начнутся занятия, — сказал наш директор. — Богшо, — обратился он к одному из находившихся в комнате ребят, который выделялся среди других своим серым, похожим на шинель пальто, — внеси их в список и скажи повару, чтобы готовил обед и на них.

Директор ушел. Сулейманов тоже отправился по своим делам в город. Богшо, стройный сероглазый юноша из горных таджиков, лицом похожий на русского, записал наши имена в тетрадь.

Директор сказал нам: «Будете жить здесь», но не указал койки. Богшо, поставленный за старшего, тоже не указал наши места. Только когда наступила ночь, он бросил:

— Устраивайтесь там, где вам по душе.

Оказалось, что коек меньше, чем людей, и потому прибывшие спали вповалку где попало, тесно прижавшись друг к другу. Мы устроились на полу, разостлав на нем одеяло, которое Богу дал нам на четверых, и накрылись каждый своим халатом.

Итак, отныне мы — Калон, Акрам, Одил и я — учащиеся Таджикского института просвещения.

ДОМ УЧИТЕЛЕЙ

Каждый день в институт прибывали всё новые и новые учащиеся из Ходжента, Канибадама, Риштана, Чуста, Исфара, Самарканда, Бухары, Ура-Тюбе, Пенджикента, Гиссара и многих других не известных мне районов и кишлаков.

Небольшое помещение гудело, как улей. Разные по возрасту и уровню знаний, мы сильно отличались друг от друга и разными говорами, присущими тому или иному уголку таджикской земли.

Конечно, представитель каждой местности считал самым лучшим свой говор и насмешливо относился к остальным говорам. Ходжентцам не нравился говор бухарцев; бухарцы дразнили канибадамцев; памирцы и гиссарцы насмехались над всеми остальными. Но больше всего насмешек выпадало на долю тусских. Я хотя и был не из самого Туса, а из кишлака, где говорили чуть-чуть «правильнее», чем в Тусе, тем не менее мне приходилось делить с моими тусскими товарищами насмешки.

С приближением начала занятий стали проводить отбор учащихся, водить к врачу на медосмотр, проверять знания.

Некоторые учащиеся были признаны непригодными либо по состоянию здоровья, либо по недостаточной грамотности.

Нам говорили, что наш институт — это учебное заведение особого типа, но никто из нас ясно не представлял себе, что это значит.

Предстояла проверка знаний. У меня не было уверенности, что я буду принят в институт. Мне не давали покоя слова директора, который при первой же встрече сказал, что я мал и что мне надо еще подрасти. Кроме того, читать и писать по-русски я еще не умел. «Наверно, меня отошлют обратно», — думал я. Большинство прибывших в институт были подготовлены гораздо лучше, чем я: они уже проучились несколько лет.

Иногда в нашей комнате собирались десять—двенадцать человек, и между ними разгорался спор. Они рассуждали о

вращении Земли вокруг Солнца, о том, как появились горы и моря; они шли к висевшим на стене картам, называли ни разу не слышанными мной словами части света, страны и города, знали даже расстояние между городами. Или начинали решать задачи на простые и десятичные дроби, или по алгебре. Даже названия «простые дроби», «десятичные дроби», «алгебра», «пропорция» были совершенно непонятны мне.

Чем больше я слушал такие разговоры ребят, тем мне становилось грустнее.

«Наверно, меня не примут! Что тогда делать?» — думал я.

Мои земляки больше меня учились и были лучше подготовлены. Акрам, например, нисколько не сомневался, что его примут в институт. Калону же это было безразлично. Он ходил по чайханам Ташкента, заводил каких-то друзей, увлекался игрой на дутаре; иногда по два-три дня пропадал где-то. Одил никогда не волновался, и трудно было понять, о чем он думает. Но мне казалось, что он тоже тревожится. Я заметил — он плохо знал дроби и не умел находить на карте горы, моря и реки.

Почему-то я особенно переживал, что не умел читать и писать по-русски. Я попросил одного из ребят, Махкама, показать мне русские буквы. Он стал показывать, но как-то неуверенно. Буквы он как будто знал и мог читать по слогам, но языка совсем не знал, даже я лучше его мог говорить по-русски. Я стал присматриваться, к кому бы мне еще обратиться за помощью.

У нас работал истопником армянин Арзуманов, высокий, сильный молодой человек. Он говорил, что учится в университете, а у нас работает, чтобы заработать на жизнь.

Однажды Арзуманов растапливал печку в коридоре, а мы с моим новым товарищем Махкамом, прогуливаясь, произносили какие-то русские слова. Потом Махкам вошел в комнату, а я остался в коридоре. Арзуманов сказал мне:

— Ты чисто выговариваешь русские слова, у тебя нет акцента. Где ты научился этому?

Я не знал, что такое акцент, и ответил, что еще нигде не учился, читать и писать по-русски не умею, и откровенно высказал ему свои опасения, что меня, наверно, не примут в институт.

— Научиться читать нетрудно. Хочешь, я тебе помогу?

Конечно, я обрадовался.

— Очень хочу! Говорят, кто по-русски не умеет читать и писать, того не примут в институт. А если меня не примут, мне некуда идти. Родителей у меня нет, дома нет, я совсем пропаду, — объяснял я ему.

— Ладно, я завтра принесу тебе книжку, ты по ней быстро научишься читать, — сказал он.

Действительно, на другой день он принес мне старый русский букварь. Растопив печь, он стал мне показывать буквы.

— Вот, читай, переписывай в тетрадку отдельные слова и фразы и каждый день показывай мне.

Я стал читать и переписывать в тетрадь все прочитанное, подражая прописям, которые были в букваре. Каждый день я показывал переписанное Арзуманову. Он проверял и объяснял значение отдельных слов и фраз. Покажет два-три новых урока, а я приношу ему шесть-семь, переписанных за день. Арзуманов хвалит меня:

— Ты, браток, делаешь быстрые успехи. Тебя обязательно примут в институт.

Два месяца до начала занятий не пропали для меня даром: я впитывал в себя, как губка, все, что слышал от других учащихся, одолевал русскую грамоту, а по родному языку чувствовал себя совсем сильным.

Наступили экзамены. По диктанту и чтению я получил «хорошо». По арифметике же совершенно озадачил учителя: все умели решать задачи на дроби и пропорции, а я знал только четыре действия, и то не крепко.

Дня два или три после экзаменов прошли в напряженном ожидании.

Наконец нас собрали и объявили, кто принят в институт. Все мы четверо тусских были зачислены в первый подготовительный класс.

В институте должны были быть четыре основных курса, но пока открыли только первый курс и первый и второй подготовительные классы.

Накануне занятий директор собрал нас в большой комнате, которая служила и столовой, и читальней, и местом для собраний. Комната не вмещала всех собравшихся; сидели по два человека на стуле, подоконники и проходы были заполнены. Стол для президиума некуда было внести, и Нисар-Мухамедов стоял просто у стены.

Директор начал с вопроса:

— Вы приехали учиться в Дор-уль муаллимин. А что это такое? Кто скажет? — Он обвел глазами всех нас.

Мы молчали, поглядывая друг на друга, перешептываясь, но никто не отвечал на вопрос Нисара-Мухамедова. Никто не знал, что значит Дор-уль-муаллимин.

— Это арабское слово, — сказал директор, — оно означает «Дом учителей». Значит, вы прибыли в Дом учителей. Это ваш дом.

— Мы-то учителя? — смеясь, спросил кто-то.

Раздался дружный взрыв смеха.

— Да, да, учителя, только будущие, — спокойно сказал директор. — Я знаю, вы тут каждый день спорите друг с другом, чей говор лучше. Но вы все — дети одного народа. Наш народ сотни лет был разобщен, угнетен, неграмотен, жил в темноте. Эмиры, баи, муллы, царские чиновники довели его до этого состояния. Товарищ Ленин, Коммунистическая партия, советская власть решили поднять таджиков, просветить их, они создали Таджикскую республику — Советское государство таджиков. Кто нужен сейчас нашей республике, нашему народу? Учитель. Вы будете первыми, кто, выучившись сам, понесет в свой народ свет знания... Раньше тот, кто чуть умел читать и писать, считался уже ученым человеком, муллой. Но умение читать и писать — это самое начало. Надо изучать науки о природе, математику, географию, физику, химию, надо уметь читать и писать по-русски. Вы получите хорошее образование. Старайтесь же заниматься прилежно, помните, что народ ждет вас, своих будущих учителей! Завтра вы начнете учиться.

Меня охватило волнение, слова директора запали мне в душу. Все сказанное им казалось необыкновенно значительным. Услышав, что завтра начнутся занятия, я, обрадованный, встал и поднял руку.

— Что ты хочешь сказать? — улыбнулся мне Нисар-Мухамедов.

— А как будем учиться? Нам никаких книг не выдали.

Директор нахмурил брови, мне показалось — даже вздохнул.

— Я от вас не буду таить правды, — сказал он твердо, — перед вами большие трудности. На нашем языке совсем нет учебников. Вот это всё. — Он вынул из портфеля и показал два тощих учебника — книгу для чтения, написанную арабским алфавитом, и арифметику в серой обложке, напечатанную на очень плохой бумаге.

Оказалось, что автором обеих книг был наш директор.

— О других науках преподаватели будут вам рассказывать, — продолжал директор, — а вы должны постараться все запомнить. Если они будут коротко записывать свою мысль на доске, вы должны все переписать и потом выучить. Когда вы научитесь читать и понимать по-русски, вам будет легче: вы получите учебники на русском языке. А к тому времени появятся учебники и на родном языке.

Обратившись к нам, младшим воспитанникам, директор сказал в заключение:

— Старайтесь хорошо учиться! Закончите два подготовительных класса — будете зачислены на первый курс, тогда станете настоящими студентами.

После собрания ребята оживленно обсуждали все, что услышали от директора. Для многих, как и для меня, впервые открылся новый мир. До сих пор мы знали только свои кишлаки да ближайший город, а теперь узнали, что существует целая страна таджиков, существует родной таджикский народ. То, что мы должны были стать учителями своего народа, вызвало в нас чувство гордости и неожиданные размышления.

Были, правда, и недовольные — им совсем не хотелось быть учителями, они мечтали работать в каких-нибудь учреждениях, сделаться большими начальниками.

Что касается меня, то мне очень хотелось стать учителем. В мыслях я уже видел себя учителем в нашем кишлаке: я экзаменовал детей перед народом, как Азиз Карим, и даже готовил уничтожающий ответ мулле Зайниддину, если он попытается порочить новую школу.

Меня особенно волновали слова директора: «Вы будете первыми, кто понесет своему народу свет знания». Я никогда раньше не слышал таких удивительных слов. «Свет знания» — это было прекрасно! И я силился представить, как я «понесу своему народу свет знания».

Незадолго перед тем в Ташкенте по случаю образования национальных советских республик Средней Азии было устроено ночью шествие с факелами. Я вспомнил виденные мной тогда факелы, и мне представилось, что я держу большущий, выше тополей, ярко горящий факел и что это и есть «свет знания». А впереди, куда я иду, в темноте ночи толпятся тысячи-тысячи людей, их освещает факел, лица всех светлеют, и все вокруг становится ясно видно. Люди глядят на огонь и радостно улыбаются.

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО НАРОДА!

Однажды к нам в институт пришел пожилой, седой человек, с чуть косящим глазом, крупный, большеголовый. Мы были заранее предупреждены о его приходе: нам говорили, что с нами будет беседовать русский профессор Андреев. Мы ждали его, собравшись в столовой.

Войдя к нам, профессор сказал по-таджикски:

— Салам алейкум, бачахо! Здравствуйте, ребята!

Мы даже не сразу ответили. Нам казалось удивительным, что русский человек может так чисто говорить по-таджикски.

Усевшись за стол, профессор стал задавать нам вопросы.

Он спрашивал, откуда кто родом, и разговаривал с каждым из нас, как земляк, притом так чисто, что невозможно было поверить, что профессор не таджик. Если бы он просто говорил по-таджикски, то это, может быть, было бы не так удивительно, но он владел чуть ли не всеми говорами таджикского языка!

И к нам он пришел записать особенности некоторых говоров. Беседа наша оживилась. Михаил Степанович, оставив записи, стал говорить с нами о вещах, никогда нами не слышанных.

— Мальчик, ты откуда? — обратился он к одному из нас. Тот ответил, что он из Бухары.

Ученый стал нам рассказывать о Бухаре, о ее истории, потом спросил бухарца:

— А ты слышал про Рудаки?

Мальчик ответил, что слышал — был в древности такой святой, сочинял стихи. Профессор улыбнулся:

— Нет, он не был святым. Это твой великий земляк, чудеснейший из людей. Когда ты поучишься здесь и узнаешь, кто был Рудаки, ты его полюбишь.

И ученый рассказал о первом и величайшем поэте нашего народа. Он наизусть читал его стихи. Особенно нам понравилось стихотворение Рудаки «Канал Мульяна».

В этом стихотворении поэт воспевал красу родной Бухары. По словам ученого, тогдашний князь Бухары, находившийся в это время в Герате, прослушав стихи поэта, был так взволнован и такая тоска по Бухаре охватила его, что он, надев только на одну ногу сапог, вскочил на коня и помчался обратно в Бухару.

Профессор Андреев рассказывал нам и о других великих людях прошлого, вышедших из нашего народа, и с сожалением говорил о том, что таджики, пребывавшие столетия в угнетении, темноте, невежестве, плохо знают и даже совсем не знают своих великих поэтов и ученых, которых они дали миру.

— Но вы теперь должны постараться скорее познакомиться с ними, воскресить их славу в своем народе. Они помогут таджикам полюбить просвещение, науку, искусство.

Потом ученый спросил у юноши-памирца, слышал ли он о Носире Хисраве. Юноша живо стал говорить, что Носир Хисрав был пророком — его чтят памирцы. Мы же, не памирцы, слышали о нем впервые.

Постукивая нетерпеливо по столу карандашом, Андреев сказал:

— Все великие люди прошлого для вас либо святые, либо падишахи. А ведь Хисрав вовсе не был ни святым, ни падишахом, а бродягой, поэтом и философом. Многие годы он жил в пещере, скрывался от падишахов и «святых», которые хотели убить его за свободолюбивый ум и знания... Вот послушайте, какие замечательные стихи он написал.

И профессор наизусть прочел нам стихотворение поэта об орле:

Вот взмыл орел с высоких скал. Он, по обычаю орла,
Добычу свежую искал, раскрыв два царственных крыла.

Он хвастал крыльев прямизной, их необъятной шириной:
«Весь мир под крыльями держу! Кто потягается со мной?»

Ну, кто в полете так высок? Пускай поднимется сюда!
Кто: ястреб, или голубок, или стервятник? Никогда!

Поднявшись, вижу волосок на дне морском: так взгляд остер.
Дрожь крыльев мухи над кустом мой зоркий различает взор».

Так хвастал, рока не боясь, — и что же вышло из того?
Стрелок, в засаде притаясь, из лука целился в него.

Прошла под крыльями стрела — так было роком суждено —
И мигом сбросила орла с высоких облаков на дно.

Упав, орел затрепетал, как рыба на сухом песке.
Он участь рыбы испытал, и огляделся он в тоске.

И удивился: до чего железка с палочкой просты,
Однако сбросили его с недостижимой высоты.

И понял, почему стрела, догнав, унизила орла:
Его же собственным пером она оперена была.

Стихотворение взволновало нас всех. Юноша-памирец, оказывается, тоже знал его. Я потом записал это стихотворение и выучил наизусть.

Профессор Андреев еще не раз приходил к нам в институт, иногда со своими учениками и ученицами из университета, которые обучались у него таджикскому языку. Мы, учащиеся, часто говорили о нем между собой. Кто он такой? Как изучил язык и историю нашего народа?

И мы узнали: еще в молодые годы Андреев объездил и обошел пешком множество кишлаков, где жили таджики, забирался даже в такие горные места, где до него не ступала нога городского человека. Он беседовал со стариками и старухами, расспрашивал женщин об их жизни, о всех обычаях и особенностях их быта и все записывал.

Многим из нас, и мне в том числе, казалось странным, за-

чем ему, такому ученому человеку, понадобилось разъезжать по далеким кишлакам и расспрашивать, как таджики устраивают свадьбы, что делают, когда рождается ребенок, как одеваются, как принимают гостей, какие поют песни...

В одну из встреч с профессором мы спросили его об этом.

— Я потому это делал и делаю, что никто из таджиков этим пока не занимался, а изучать историю, культуру, обычаи народа необходимо. Можно ли сказать, что вы знаете свой народ? В лучшем случае вы хорошо знаете свой кишлак. Но ведь таджикский народ живет не в одном кишлаке, а в большой стране. Много таджиков живут за пределами нашей страны, к югу от Аму-Дарьи. Как жил народ раньше? Живет ли он сейчас так же, как жили его предки? Какие у него ремесла и искусство? Какие у него сказки, песни, о чем говорит в них народ? Все это вам надо постичь. Если не знаешь свой народ, то и служить ему трудно...

В последующие годы я познакомился с творчеством и Рудаки, и Носира Хисрава и многих других деятелей культуры прошлого, изучил историю своего народа. Но русский ученый, первый сказавший мне: «Знай свой народ» — и сам показавший пример любви и уважения к моему народу, остался у меня в памяти на всю жизнь.

УСТРАИВАЕМСЯ...

Был у нас в институте один парень из Риштана, звали его Нишон. Маленького роста, плотный, с лицом морковного цвета, очень сильный, он был немного заносчив и, чувствуя свое превосходство над нами, не снисходил даже до разговора с младшими учениками, а уж о первом подготовительном классе нечего и говорить. Мне казалось, что он даже не замечает нас.

Он часто поражал нас неожиданными выходками. Вот проходит по улице русский человек важного вида. Нишон говорит товарищам:

— Сейчас я остановлю его и заговорю с ним.

Нам это казалось невозможным: ни у кого из нас не хватило бы ни смелости, ни знания русского языка, чтобы заговорить с таким важным русским человеком. А Нишон в самом деле подходит к нему, спрашивает что-то, заводит разговор на несколько минут. Мы стоим и удивляемся, глядя на него.

Однажды он принес в общежитие большой кусок колбасы. Никто из нас колбасу не ел и не мог есть, считая ее, по заветам старины, запрещенной для мусульман, так как она из свиного мяса и сала. Мы были уверены, что если бы кто-ни-

будь съел колбасу, то его непременно стошнило бы и он бы заболел. Поэтому мы ужасались: неужели Нишон может съесть кусок колбасы величиной с баклажан?

— Что ты, Нишон, выбрось ее! — уговаривали мы его.

— Зачем выбрасывать? Я ее сейчас съем!

— Неужели ты будешь есть колбасу? Это же свинья!

— Да, я сейчас ее всю съем! — заявил он.

— Он просто хвастается! — сказал кто-то.

Нишон спокойно достал свой нож, стал отрезать от колбасы по кусочку и есть. Мы смотрели на него со страхом и ждали с любопытством, что будет. Однако с ним ничего не произошло. Конечно, он не заболел и ничего не случилось с ним ни к вечеру, ни на следующий день...

Но больше всего он поразил нас, проявив настоящую смелость и находчивость в одном деле, очень важном для учащихся института.

Было это так.

В саду института на веревке висело наше выстиранное белье. И вдруг оно исчезло. Это было бедствием для студентов: белья было у нас по одной смене, не во что переодеться. Думали-гадали, кто мог взять белье; наконец кто-то сказал:

— «Самарские» украли!

Так назывались беспризорные дети, которые в годы гражданской войны толпами устремлялись с берегов Волги в Ташкент — город хлебный и теплый.

Между нашим институтом и летним кинотеатром была крытая деревянная площадка для оркестра и танцев. Под полом этого заброшенного сооружения жили «самарские». Вот на них-то сейчас и пало подозрение. Нашлись среди учащихся «смельчаки», потребовавшие избиения воров. Возбужденные ими, учащиеся толпой кинулись было через садовый забор к пристанищу беспризорников. Но тут появился Нишон и крикнул:

— Стойте! Так вы белье не найдете. Явится милиция, будет скандал — и все. А нам надо вернуть наше белье. Подождите! Я пойду к ним и достану украденное.

Если бы это говорил кто-нибудь другой, ребята, верно, не остановились бы, но Нишона послушались.

Нишон один перелез через дувал и пошел к беспризорным. Все с любопытством прильнули к забору. Ни на площадке, ни вокруг нее никого не было. Нишон постоял немного перед площадкой, потом нагнулся и решительно полез в дыру под пол. Мы все испугались за него: думаем — задушат его там беспризорные, убьют. Хотели бежать к нему на помощь, но кто-то сказал:

— Нишон знает, что делать. Если ему нужна будет помощь, он позовет нас.

Но Нишон исчез, как сквозь землю провалился, и не показывался долго. Несколько человек не вытерпели все-таки, побежали к площадке, остановились перед темной дырой и стали кричать:

— Нишон! Нишон!

Он отозвался:

— Не мешайте! Я тут веду переговоры. Сейчас же все уходите!

Мы побежали обратно.

Прошло с полчаса, и Нишон вылез из-под пола, неся под мышкой сверток. С торжественным видом он подошел к нам и показал кучу белья:

— Вот видите? Полезли бы в драку — ничего бы не вышло! Надо знать, где кулаком работать, где языком.

После этого случая Нишон стал нашим героем.

Он вообще был замечен в институте: хорошо учился, лучше других разбирался в политических вопросах и смело выступал на собраниях. Я смотрел на него с восхищением.

У меня были нелады с арифметикой. Я никак не мог дognать класс: плохо зная простые дроби, я не мог решать задачи на десятичные, которые мы проходили в то время.

Однажды я, как очередной дежурный по общежитию, не пошел на занятия, остался один в комнате и пытался решать задачи. Ничего у меня не выходило. Я так отчаялся, что заплакал.

Вошел Нишон.

— Почему плачешь? Что случилось? — Он присел ко мне на койку.

Я чистосердечно рассказал ему о своих затруднениях.

— Вот дурачок, это же пустяки! Покажи-ка мне твои задачи!.. — И он стал разбираться в моих тетрадках и объяснять мне. — Вижу, ты действительно не знаешь дробей. Теперь я буду тебя учить дробям!

С этого дня он стал заниматься со мной арифметикой. Мы быстро прошли простые дроби: он хорошо объяснял — я легко все понимал. В одну неделю я усвоил то, что мне нужно было знать.

Мы учились в трудных условиях. Больше всего нас мучила теснота. В институт приехали учиться четыре девушки: три — из Туса, одна — из Ходжента. Не было свободной комнаты, чтобы их поместить. В нашем общежитии была отдельная комнатка, в ней жили шестеро учащихся основного курса. Пришлось освободить эту комнатку для девочек, а мальчиков

перевести в наше уже переполненное помещение, после чего у нас стало так тесно, что многим приходилось пролезать на свои койки через койки товарищей. Девушкам же в свою комнату надо было пробираться через все мужское общежитие.

В это время наш директор был отозван в Душанбе на какую-то большую работу, а к нам в институт был назначен новый. Он оказался весьма жизнерадостным и общительным молодым человеком лет двадцати пяти. Кажется, больше всего он любил петь песни и бороться. Боролся он и с нашим поваром, весельчаком и шутником Рахматом, и с некоторыми из старших учащихся. Он все бегал по каким-то учреждениям, добываясь дополнительного помещения для института, но из этого ничего не выходило.

А между тем жить в тесноте, при отсутствии элементарных удобств, становилось все труднее. Многие учащиеся стали болеть. Ко всему этому еще прошел слух, что из-за нехватки помещения уменьшат число студентов в институте. Говорили, что более ста человек будет отослано обратно туда, откуда они приехали. Этот слух сильно встревожил всех нас. А я был просто в отчаянии, так как был уверен, что меня отошлют в первую очередь. Неужели так и не суждено мне получить образование? Перед нами вставал вопрос — как быть дальше? Ждать больше не было сил.

В ясный, теплый, солнечный день, какие нередко бывают зимой в Средней Азии, наш новый директор сидел на краю длинного стола во дворе института вместе с несколькими своими земляками, старшими учащимися института.

Подошел взволнованный чем-то Нишон.

— А, Нишон! Хочешь бороться?

Директор лениво слез со стола и направился к Нишону.

— Не хочу! — ответил тот резко. — Вы и я должны бы показывать свою силу там, где нужно. Вот, например, сейчас учреждение, что по соседству с нами, грузит на телеги свои столы, шкафы и бумаги — видно, переезжает на новое место. Вот, если вы сильны отвоюйте это помещение для института!

Учреждение, о котором говорил Нишон, непосредственно примыкало к институту. Оно занимало помещение из трех больших комнат с просторным залом.

Директор улыбнулся, блестя передним золотым зубом, — он хотел показать, что не обижается на колкости Нишона.

— На место одного учреждения переедет другое. Разве нам уступят это помещение? Тут наша с тобой сила не поможет. Мне обещали в Совнаркоме предоставить институту особняк.

— Эти обещания надоели нам! — закричал Нишон. — Най-

дите нам помещение! Мы приехали учиться. Вы не имеете права так мучить нас, не имеете права отсылать нас назад!

Директор помрачнел и начал было снова что-то говорить о данном ему обещании, но Нишон, махнув рукой, резко повернулся и пошел решительным шагом в глубину сада — в сторону нашего общежития.

Зная его характер, я побежал за ним: наверно, он что-нибудь задумал.

В общежитии в это время находилось человек тридцать учащихся. Нишон крикнул им:

— Ребята! Кто хочет учиться здесь и не хочет быть отсланным обратно, идем за мной! По соседству с нами освобождается помещение. Если не дают нам его, мы сами возьмем, мы имеем на это право!

Все повскакали с коек и, обгоняя друг друга, бросились за Нишоном. По дороге к нам стали присоединяться ребята из других общежитий — всего набралось человек пятьдесят. Выбегаем через калитку на улицу. Видим: действительно, из соседнего помещения уже погрузили на телеги шкафы, столы, стулья, архив и собираются запереть освободившиеся комнаты.

— Подождите! — кричит им Нишон.

И твердыми, решительными шагами подходит к худощавому мужчине в черной фуражке, распорядившемуся погрузкой.

Человек этот удивленно смотрит на Нишона.

— В чем дело? — спрашивает он.

— Это помещение дали нам! — отвечает Нишон и, махнув рукой своей армии, приказывает: — Давай занимай!

Десятка три учащихся тут же вломились в здание. Остальным Нишон кричит:

— Бегите за койками, мы тут будем караулить!

Мы стремглав бросились в общежитие. Не прошло и пяти минут, как на улице появились десятки коек. Несмотря на протесты, крики и ругань «конторщиков», которые не подпускали наших учеников к входным дверям, мы стали через окна вталкивать внутрь свои койки, за ними влезали в комнаты сами, ставили куда попало кровати и выскакивали обратно, чтобы помочь другим.

В каких-нибудь полчаса мы заняли все три комнаты с залом. Мою койку кто-то поставил в углу у окна, и я радовался, что мне досталось хорошее место.

«Конторщики», ругаясь и грозя нам кулаками, ушли, оставив подводы на месте, и через час появились с несколькими милиционерами. Завидя их, Нишон скомандовал:

— Быстро! Каждый садись на свою койку и занимайся!

Он сам первый сел на свою кровать, вытащил тетради и книги и самым серьезным образом углубился в чтение. Все мы последовали его примеру.

Входят «конторщики» с милиционерами. Один из милиционеров, очевидно начальник, говорит:

— Сейчас же освободите помещение! Вы заняли его самовольно!

— Товарищи, не мешайте, видите — мы занимаемся, — заявил Нишон и снова углубился в книги.

Но вошедшие не перестали шуметь. Нишон поднял голову и сказал спокойно:

— Идите к нашему директору и с ним все выясняйте, а нам не мешайте заниматься.

Видя, что здесь ничего выяснить нельзя, милиционеры пошли к директору, где-то разыскали его и снова явились к нам. Директор стал объяснять, что у студентов не было другого выхода, что им негде жить и заниматься.

— Ведь люди же они! — воскликнул он и предложил всем пойти в горсовет, чтобы уладить дело.

— Никуда мы не пойдем! У меня распоряжение освободить помещение. Вытаскивай! — крикнул начальник милиционерам, которых стало уже гораздо больше.

Те кинулись к дверям, но мы, повскакав с коек, решительно преградили им путь. Милиционеры были озадачены и не знали, как поступить.

— Выполняй приказание! — опять крикнул начальник.

Милиционеры решили войти в помещение силой, но мы опять встретили их стеной. Вся улица около института заполнилась любопытными.

Директор крикнул начальнику:

— Говорю вам — идемте в горсовет!

Милиционеры вместе с «конторщиками» вынуждены были отправиться с нашим директором.

Директор вернулся возбужденный, довольный.

— Помещение наше! В горсовете поругали нас за самовольное вселение, но в конце концов решили оставить помещение за нами, — объявил он.

Так новое помещение осталось за нашим институтом.

Вскоре мы освободили зал от коек, устроили в нем сцену, красный уголок и читальню. Мы стали проводить здесь собрания и устраивать спектакли.

Еще три года мы прожили тут, пока не было выстроено новое здание для института — большой учебный корпус и двухэтажное общежитие.

Преодолевая все трудности, юноши и девушки, собравшиеся со всех концов Средней Азии, упорно учились, чтобы вернуться в свои кишлаки и районы образованными людьми и служить своему народу.

ПИОНЕРСКИЙ СБОР

В теплый весенний день нас, учащихся подготовительных классов, приняли в пионеры.

Вновь рожденный отряд собрался на физкультурной площадке в саду. В новеньких белых рубашках с красными галстуками и в трусах темно-серого цвета, в брезентовых туфлях, в носках, мы выстроились в одну шеренгу. На длинном столе, покрытом красной материей, лежали медный горн с кисточкой, два барабана — один большой, другой поменьше, — две медные плоские тарелки и несколько флейт.

Секретарь комсомольской ячейки, учащийся основного курса, смуглый, чернобровый юноша, сказал нам, указывая на русскую девушку:

— Это ваша вожатая Таня. Она послана к вам горкомом комсомола.

Высокая девушка лет восемнадцати, в белой кофточке, в ярко-красном пионерском галстуке, встала перед нашим строем и серьезно, громко и дружески сказала:

— Пионеры, к борьбе за дело Ленина будьте готовы!

— Всегда готовы! — подняв руки для салюта, дружным хором ответили мы.

Познакомив нас с вожатой, секретарь ушел. Таня объявила, что сейчас мы проведем наш первый пионерский сбор. Мы уселись в кружок.

— Ребята, знаете, какой сегодня день? — начала Таня. — Ровно пятьдесят пять лет назад в этот день родился наш великий вождь и учитель Владимир Ильич Ленин. Я сейчас расскажу вам о жизни Ильича, о том, как он учился и как потом боролся за освобождение трудящихся.

И она стала рассказывать. Перед нами возникал бесконечно дорогой образ юного Ленина.

Особенно интересно нам было узнать о школьных годах Ильича, о том, как он хорошо учился, как любил читать книги, как с детских лет развивал в себе волю, смелость и стойкость борца.

С каким трепетным вниманием слушали мы эту первую беседу на пионерском сборе!

В тот день мы в первый раз встретились с поэтом, замечательные стихи которого полюбились нам с недавних пор,

волновали наши умы и сердца, — с Абулкосымом Лахути. Каждое новое стихотворение прославившегося уже к этому времени поэта мы выучивали наизусть; почти все новые революционные песни, которые мы пели тогда, были написаны им. Лахути приехал из Душанбе и пришел в институт. Директор привел его к нам на пионерский сбор. Поэт сердечно поздравил нас со вступлением в пионеры, мы спели ему новые песни, продекламировали его стихи.

В конце сбора вожатая сказала, что у нас должен быть свой оркестр, и стала раздавать нам инструменты, лежавшие на столе. Мне досталась флейта. Махкам получил горн. На большой барабан было несколько претендентов. Особенно горячо и настойчиво требовал себе барабан Халим. Он готов был броситься в драку за него. Длинный, сутулый, с темным лицом, на котором, как угли, сверкали глаза, Халим был первый драчун и забияка в нашем классе; он всегда ругался, обижал тех, кто был слабее; ребята его не любили.

Лахути сказал ему:

— А ты знаешь, что барабанщик идет всегда впереди отряда? Это право надо заслужить. Обещай больше не драться, не ругаться, хорошо относиться к товарищам — тогда ты будешь барабанщиком.

Халим насупился, сверкнул на нас черными глазами, потом опустил голову и тихо произнес:

— Даю слово.

Ему вручили большой барабан. Лахути предупредил его:

— Смотри, Халим, с этого часа отряд будет следить за тобой. Если ты нарушишь свое слово, то лишишься не только барабана, но и пионерского галстука.

И с этого часа Халима нельзя было узнать. Он стал удивительно сдержан, вежлив, не ругался больше. Бывало, вот-вот полезет в драку, вот-вот с языка готово сорваться бранное слово, но тотчас он спохватывается, бормочет про себя что-то невнятное и отходит в сторону. Он стал даже говорить «вы» мне и Махкаму, хотя мы давно уже называли друга друга на «ты».

Халим так любил свой барабан, что, когда бил по нему палочками, лицо его выражало блаженство. Он научился хорошо играть на барабане.

В том, что, став пионером, Халим действительно переродился, я убедился вскоре сам.

Примерно за месяц до вступления в пионеры он затеял со мной такую игру: мы разломали прутик на две половинки,

держа его за оба конца; потом он дал мне огрызок карандаша и сказал:

— В любое время, когда бы я ни попросил у тебя этот карандаш, ты должен предъявить его, хоть ночью. А если карандаш у тебя не окажется, когда я его у тебя попрошу, то будет считаться, что ты проиграл, и тогда ты должен будешь исполнить любое мое желание. Но если, когда я попрошу карандаш, он у тебя окажется, то будет считаться, что проиграл я, и тогда ты можешь требовать от меня что захочешь.

Немало хлопот причинила мне эта игра: постоянно надо было носить карандаш с собой, беспокоиться, как бы не потерять его. Я даже привязал его на нитку, повесил на шею и носил под рубашкой — ведь неизвестно было, когда и где Халим попросит у меня карандаш. Когда мы ходили в баню, я искал глазами Халима; и если он был вместе со мной, то я не снимал нитку с карандашом даже в бане. «Кто знает, может быть, ему вздумается попросить у меня карандаш здесь», — думал я.

Когда же мы стали пионерами, мне показалось неудобным носить карандаш на шее — на зарядке во время игр мы снимали рубашки. Я стал прятать заветный огрызок в карман и по нескольку раз в день проверял, лежит ли он там у меня.

Но вот подожди ты! В тот момент, когда Халим попросил предъявить его, карандаша у меня не оказалось.

Это случилось во время игры в лапту. Халим вдруг подходит ко мне с двумя мальчиками и требует предъявить карандаш. Я уверенно, предвкушая свое торжество, сую руку в карман, но там ничего нет; торопливо сую в другой — карандаша нет и здесь. Должно быть, я выронил его в разгаре игры. Делать было нечего, пришлось сдаться и признать себя побежденным.

Халим постоял около меня некоторое время, подумал, что бы такое ему у меня потребовать, и вдруг сказал:

— Пойдем сейчас в чайхану, и ты угостишь меня и вот этих свидетелей — Махкама, Файзуллу и Муртазу — пловом и шашлыком.

Товарищи горячо поддержали Халима.

Я был сильно озадачен и даже испуган, услышав такое требование: у меня не было денег. Но не выполнить его, не расплатиться за свой проигрыш я не мог, это было бы бесчестием, по нашим ребячьим понятиям.

— Хорошо, только не сейчас, — ответил я Халиму.

И, бросив игру, стал думать, где мне найти денег на угощение. Просить у школьных товарищей я не мог, потому что

не знал, когда смогу вернуть им деньги. Тут я вспомнил о Шивли, о ненавистном Шивли, с которым у меня было связано столько горьких воспоминаний. Там живут сыновья дяди Исохона (самого дяди к этому времени уже не было в живых). «Они не откажут мне, если я попрошу у них немного денег, — подумал я. — Другого выхода нет».

В субботу вечером, после занятий, я отправился в Шивли и заночевал у родственников. Конечно, я сделал вид, что просто пришел навестить их. Как я мог просить у них денег, когда я был их гостем? Они сразу поняли бы, что я пришел не проведать их, а просить денег. Я чувствовал себя очень неловко.

На другой день, после завтрака, я собрался уйти и так и ушел бы, не попросив денег, если бы старший сын дяди, Эминходжа, в свое время друживший с моим отцом, не спросил меня совершенно неожиданно:

— Может быть, ты нуждаешься в деньгах? Когда нужно, не стыдись, проси. Хотя мы не богаты, но можем дать тебе на тетради и карандаши.

Я замаялся, покраснел. Он, видно, понял меня и протянул мне три рубля.

И вот мы сидим, пятеро мальчиков, на широком помосте, покрытом паласом, в тени карагачей, у чайханы; нам подают по порции плова и несколько палочек шашлыка.

Цену плова я знал, но меня сильно беспокоил шашлык: вдруг мне не хватит моих трех рублей расплатиться за угощение?

И действительно, при расчете трех рублей не хватило — чайханщик запросил три рубля шестьдесят копеек.

Я вынул три рубля, Махкам быстро сунул руку в карман и достал мелочь. Хотя и с маленькой заминкой, честь моя была спасена.

Случилось так, что об этой истории узнала вожатая: наверно, кто-нибудь из наших товарищей ей передал. Таня вызвала нас пятерых и велела подробно рассказать, как все было. Пришлось во всем признаться.

— А где ты взял деньги? — спросила меня вожатая.

Я объяснил, как были мной добыты деньги. Она сделала всем нам выговор за нехорошую игру и стала стыдить Халима: зная, что у меня нет денег, он не должен был требовать угощение.

— Это я сам захотел угостить, Халим не виноват, — попытался я защитить друга.

Но мои слова не убедили строгую вожатую, она продолжала выговаривать Халиму. Он потом долго переживал этот

выговор, держался со мной виновато и раскаивался в том, что заставил меня искать денег на угощение.

Однажды после игры на физкультурной площадке, когда мы стали расходиться по общежитиям, Халим отозвал меня в сторону и, не глядя мне в лицо, протянул трешницу:

— На, возьми!

Я наотрез отказался взять деньги. Он постоял молча и говорит:

— Если ты не хочешь взять деньги, то обещай мне забыть и никогда не вспоминать о той нашей игре.

— Обещаю. Ты никогда не услышишь от меня об этом.

Прошло несколько месяцев. Мы вернулись с летних каникул. Начались занятия в Доме учителей и наша работа в отряде. И вот как-то приходит Халим в класс и преподносит мне большую книгу в красной обложке — это было собрание сочинений Пушкина.

— Дарю тебе. Знаешь, за что? За то самое.

— За какое «то самое»? — притворяюсь я непонимающим, хотя сразу догадался, что он имеет в виду.

— Разве ты забыл? — смеется Халим.

— А я ведь обещал тебе никогда не вспоминать, — отвечал я. Но книгу принял с радостью.

Книга начиналась с «Руслана и Людмилы», и эта чудесная поэма была первым произведением на русском языке, прочитанным мной самостоятельно.

И часто потом, когда я открывал Пушкина, невольно вспоминал Халима, моего товарища по пионерскому отряду.

У СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Мне давно хотелось пойти на завод, с которым было связано столько радостных и грустных воспоминаний. Хотелось повидать моих товарищей и знакомых, если они еще проживали там. Возможность поехать туда была, но я стеснялся своего вида. Мне хотелось появиться на заводе в пионерском костюме, с галстуком и приятно удивить Сережу, Пашу, тетю Машу, семью Николаева. Теперь, мол, я не тот Соби́р. Теперь я — пионер и грамотный человек!

И когда нам выдали пионерские костюмы — белую рубашку, трусы, галстук, — я не замедлил осуществить давнишнее мое желание.

В солнечный весенний день, в воскресенье, я отправился на завод. Дорога была мне хорошо знакома, хотя я не был здесь пять лет.

По улице Карла Маркса я дошел до реки Салара. Вот угловой дом, где мы когда-то по карточкам получали хлеб. Сколько раз в холодные зимние дни я стоял здесь с братом в очереди за хлебом! Вот и знакомый мост. С него виден не достроенный еще польский костел на берегу реки. Тогда отец мне сказал, что это большая школа и что колесо на крыше ее сыплет сахар учащимся. Теперь я смеялся, вспоминая шутку отца. Несколько минут хода — и я у ворот больницы имени Полторацкого, которая раньше была кадетским корпусом. Ее крепкий забор из красного кирпича тянется на целый квартал, до самого железнодорожного полотна, по которому идут поезда в Россию. Здесь, стоя у ворот, я удивлял прохожих чтением газет, наклеенных на стену. Тогда я делал вид, что читаю; теперь же я на самом деле умею читать, и мне захотелось опять постоять и почитать газету, но газет здесь больше не расклеивали.

На завод я пошел через знакомое кладбище. Я вошел в кладбищенские ворота, бак с водой и кружка на цепочке были по-прежнему у домика, справа от ворот. На широкой, посыпанной песком дорожке, в конце которой видна была церковь, играли дети. Все осталось таким же, как пять лет назад. А мне казалось, что я был здесь давным-давно.

Но я судил о времени по перемене, происшедшей во мне самом. Эти пять лет почти не изменили знакомые места. И тропинка на завод, пролегающая через кладбище, была та же, и тот же пролом в заборе, через который мы всегда проходили.

«Неужели ничего не изменилось? — думал я. — А ведь так много пережито мной с того времени, как я последний раз был в этих местах».

Во дворе завода под громадным ореховым деревом играли детишки. Я подошел к одной девочке, белокурой, синеглазой, с большим бантом на голове, как у куклы. Лицо ее мне показалось знакомым:

— Тебя зовут Леночка?

— Да. А вы кто?

Я поднял ее на руки:

— Папа и мама дома?

— Да. А вы кто?

— А ведь я часто носил тебя на руках! Ты была тогда совсем маленькая.

— Нет, я вас не помню...

В это время в дверях показалась мать Лены. Такая же красивая, светловолосая, с большими синими глазами, только чуть пополневшая.

Прищурившись, она пристально посмотрела на меня.

— Здравствуйте, тетя Люба!

— Неужели это ты? — всплеснув руками, воскликнула она. — Смотрите, пионером стал, милый ты мой мальчик! — говорила она, обнимая меня и целуя в щеку. — Ну, идем же к нам! — Взяв у меня Лену, она обхватила меня за плечи и повела в дом.

— Миша, знаешь, кто к нам пришел? Ты бы никогда не угадал!

Николаев, в парусиновом светлом костюме, в домашних туфлях, встретил меня так же радушно, как и его жена.

— Ну молодец! Молодец! Никак не ждал. Большой стал! Ну садись, садись, рассказывай. Как это ты снова попал в Ташкент? Отец жив-здоров? — забросал он меня вопросами.

— Отца давно нет... Разве вам никто не говорил?

Когда я рассказал о смерти отца, Николаев долго качал головой и искренне сокрушался:

— Ай-яй-яй! И брат тоже! Что же отец тогда не зашел ко мне?

— Наверно, не успел. Он был в Ташкенте дня три-четыре и умер скоростижно.

Тетя Люба погладила меня по голове, сказала:

— Бедный мальчик, как же ты живешь один?.. Хорошо, что ты учишься! А у кого остался Мухтар?

Я рассказал им обо всем: о нашей жизни в кишлаке после смерти отца, о всех наших мытарствах.

— Говорил я тогда отцу — не уезжай! — с сожалением сказал Николаев. — Если бы он остался здесь, может быть, все было бы иначе...

— Да, конечно, не надо было ему уезжать! — добавила тетя Люба.

Потом наш разговор перешел на старых моих знакомых. Я узнал, что Ершовых на заводе нет — они уехали в Россию. Товарища моего Сережи тоже нет — его отец перевелся в другой город.

Николаевы расспрашивали о моем учении, были рады, что я уже грамотный и что мне нравится учиться в институте.

— Смотри-ка! Молодец! Вижу, ты и по-русски говоришь неплохо... Старайся, старайся, может, из тебя выйдет специалист какой! — говорил Николаев.

Так поговорив, выпив чаю с вкусными пирожками, я собрался уходить.

— Приходи к нам. Каждое воскресенье приходи, — говорила тетя Люба, прощаясь со мной.

— Постой, а не нужно ли тебе помочь в чем? Как ты жи-

вешь-то? — И Николаев оглядел меня с ног до головы, как будто только что увидел.

— Спасибо, я живу хорошо, — ответил я.

От Николаевых я прямо пошел к нашему старому дому. Комната, где мы жили и где умерла мама, пустовала. Она была такой, как в тот день, когда мы ее покинули. Никто в ней не жил, и она словно ждала нас. Я поглядел на пол — туда, где когда-то лежала больная мама... Боясь, что заплачу, я убежал...

На обратном пути, не доходя квартала два до железнодорожного полотна, где в низине, справа от дороги, находились чайхана и какие-то мастерские, я услышал голос:

— Эй, Собир!

Оглянувшись, я увидел у входа в маленькую глинобитную кибитку, прилепленную к высокому забору, человека, хорошо знакомого мне с малых лет. Это был старый плотник Додобой, мой земляк. Он переехал в Ташкент за год до нашего отъезда. Я подбежал к нему.

— Благодарение аллаху, что я увидел тебя! — воскликнул он и ввел меня в свою каморку.

Она была без окна, низкая — голова моя задевала за сухие прутья, торчавшие с потолка. Половину каморки занимал дощатый настил, на котором лежало старое, слежавшееся одеяло. На земляном полу стояли круглый котелок, чугунный чайник и глиняная посуда.

Додобой хотя и постарел, но еще казался крепким.

Узнав, что я уже почти полгода нахожусь в Ташкенте, он обиделся:

— Как же ты забыл дядю Додобоя, своего земляка? Да будь я не земляком, а просто другом или знакомым человеком, все равно ты обязан был навестить.

— Я не знал, что вы здесь, а то зашел бы, — пытался я оправдаться.

Но старик, не слушая, стал меня поучать:

— Ты еще маленький, но уже должен привыкать быть внимательным к людям. Всегда будь общительным и отзывчивым.

К каморке старика прилетели воробьи и горлинки, они стали клевать разбросанное им просо.

— Подружились со мной, — указывая на птиц, сказал Додобой смеясь. — Нескольким раз в день навешают меня. — Помолчав, он продолжил свое наставление: — Где бы ты ни был, никогда не удаляйся от своих. Вот птица — и та не удаляется от своей стаи. А удалилась — ей же плохо; стае ничего не будет, а одиночка скорей может погибнуть.

Он говорил все это, а сам ставил передо мной поднос с лепешками и чашку с холодным вареным мясом.

— Спасибо, дядя, я сыт, не надо меня угощать.

Додобой опустил глаза, выразительно помолчал, нарезая мясо, а потом с упреком сказал:

— Что ж это ты, стал ученым, пионером, а брезгаешь поест у земляка? Не хочешь куска лепешки съесть, пиалу чаю выпить?

Я пожалел, что отказался от угощения, — ведь он воспринял это по-своему. Я почувствовал, что Додобой теперь смотрит на меня по-другому, что мой пионерский костюм и галстук делают для него мою особу значительной, и мой отказ от угощения может быть расценен им как признак гордости и пренебрежения к простому плотнику. Я поспешил отвести упреки:

— Что вы, дядя, я совсем не потому! Я просто не хотел вас беспокоить... Чего же мне брезгать? Кто я такой? Я всегда помню своих земляков и друзей. Просто не знал, что вы здесь.

И хотя я был сыт, но стал есть все, чем он меня угощал, потому что это доставляло Додобой удовольствие. Видно, не так часто случалось старику принимать гостей в своей лачуге.

— Как хорошо, что я тебя встретил! — говорил он, довольный. — Теперь мне не придется унести в могилу мой долг. Когда твой отец приехал сюда к больному сыну, я занял у него три рубля и не успел вернуть их, как он уже простился с этим миром. — Рассказывая это, Додобой подпорол рукой подкладку халата и вынул оттуда смятую трехрублевку. — Я давно отложил эти деньги и все берег, все ждал: вот встречу кого-нибудь из ваших родственников и передам для вас с Мухтаром. Этот невозвращенный долг жег мне грудь. Теперь я буду спокоен. На, возьми!

Я был тронут чистотой его сердца.

— Не надо, дядя, пусть они останутся у вас. Считайте, что вы расплатились.

— Нет, сынок, если хочешь облегчить мою душу, возьми их. От этого я не стану беднее. — И он насильно засунул деньги в карман моей рубашки.

Мне захотелось сделать Додобой что-нибудь хорошее, но я ничего не мог придумать.

— Дядя, может, вам надо кому-нибудь письмо послать? Ведь я умею писать, — предложил я ему единственное, на что был способен.

— Спасибо, сынок, некому мне писать, — грустно сказал он, наливая в пиалу чай из давно не мытого чайника с отби-

тым носиком. Помолчав, он добавил: — Вот разве заявление написать...

И, снова оживившись, он рассказал мне о своей тягбе с артелью шорников. Года два назад Додобой купил в соседнем квартале крошечный участок за семьдесят пять рублей, хотел построить на нем домик и посадить деревья. Старик считал, что каждый человек в своей жизни должен благоустроить «пядь земли», вырастить на ней деревья — оставить что-то после себя. Не успел он приступить к осуществлению своего заветного желания, как артель шорников присоединила его неогороженный участок к своей территории и стала на нем хозяйничать. Много раз пытался он восстановить свои права на эту землю, но у него не было документов, подтверждающих принадлежность участка ему. Были только два или три свидетеля, присутствовавшие при покупке земли.

Я был озадачен. Мне не приходилось еще сталкиваться с подобными делами, и я не знал, куда и как об этом написать. Я стал думать, кто из знакомых мне людей мог бы помочь делу. И вспомнил Рахматулло Шамсуллаева, нашего военрука в тусском интернате. Совсем недавно я встретил его случайно на улице, он дал мне свой адрес и приглашал заходить.

— Я завтра же приду к вам и скажу, что нужно сделать для вашего дела. Я обязательно приду, — уверил я Додобоя при прощании.

Расставшись с Додобоем, я тут же отправился искать Шамсуллаева. Он учился на рабфаке, а жил у своих родственников, где-то у Салара, недалеко от хлопкоочистительного завода.

Низенький, чистенький, побеленный домик с плоской крышей, с огороженным плетнем двориком, в углу которого возвышался стройный зеленый тополь, одиноко стоял на отшибе. На лай собаки вышла высокая, стройная, как росший во дворе молодой тополь, женщина и сказала мне, что ее брата сейчас нет дома, но он скоро должен прийти; что если он очень нужен мне, то я могу подождать его.

Я сел на край суфы у арычка, протекавшего посередине двора, и стал ждать. Просидел я долго, успел несколько раз переменить место, так как солнце медленно и упорно вытесняло тень с суфы. Шамсуллаев все не приходил.

Тогда я спросил сестру Шамсуллаева, где находится рабфак. Оказалось, что за два квартала от нашего института. Наутро я отправился туда. Когда я пришел, Шамсуллаев был на лекции. В перерыве я встретился с ним, торопливо рассказал ему о деле Додобоя. Из моего рассказа выходило, что

старик пропадет, если сегодня же, сейчас же не прийти ему на помощь.

— Вы, ака, единственный человек, кто может ему помочь, — сказал я.

Шамсуллаев был отзывчивый человек. Он сказал мне извиняющимся тоном, что просит меня подождать, пока кончится очередная лекция, и тогда он свободен часа на два.

Я согласился его ждать.

Часа через полтора мы уже сидели в лачуге Додобоя.

Я был очень доволен, что выполнил данное старику обещание, хотя и не был уверен, сумеем ли мы добиться успеха в его деле.

Подробно расспросив его обо всем, Шамсуллаев тут же вырвал из какой-то тетради лист бумаги, написал заявление и взялся сам отнести его в народный суд. И мы расстались с сияющим Додобоем. Он все повторял, провожая нас:

— Если получу обратно землю или свои деньги, зарезу для вас барана.

Шамсуллаев посмотрел на часы; оказалось, что он уже опоздал на последнюю лекцию.

— Идем к нам, мы давно не виделись, — сказал он мне. — Посидим, поговорим.

Я согласился — все равно занятия были уже пропущены.

Придя домой, Шамсуллаев скинул ботинки и, засучив рукава, быстро полил двор и суфу, подмел все — и на дворе, раскаленном солнцем, стало прохладно. Его сестра угостила нас вкусными лепешками — катламой, а потом приготовила плов, и мы просидели на суфе у арычка до вечера, разговаривая об институте, о Ташкенте, весело вспоминая тусский интернат.

Я напомнил Шамсуллаеву про выданное им мне «удостоверение» в том, что я пионер, и уверял, что долго берег его, как настоящий документ. Шамсуллаев весело смеялся.

— Я знал, что ты будешь пионером, да фактически ты был им уже тогда, хотя и не носил галстука, — сказал он.

У Шамсуллаева было особенно радостное настроение: я узнал, что его приняли в члены партии. Он с гордостью показал мне свой новенький партийный билет.

— Как я мечтал об этом часе! И вот теперь я стал коммунистом. А ты знаешь, что это такое — быть коммунистом?

И Шамсуллаев стал вслух мечтать, как после окончания рабфака он поступит в Коммунистический университет.

Хотя он лет на шесть был старше меня, мы дали слово быть друзьями и во всех случаях жизни советоваться друг с другом.

Совместное наше выступление в защиту старого плотника, случай сам по себе незначительный, сблизило и сдружило нас.

— Клянусь, — горячо говорил Шамсуллаев, — я добьюсь решения суда в пользу Додобоя!

Я возразил ему, намекая на случай в интернате:

— Вы осторожнее будьте с клятвой!

Он улыбнулся и сказал:

— Я до сих пор не могу себе простить, что тогда не сумел разоблачить этого байского прихвостня Джабара! Попался бы он теперь мне в руки!

Прошло недели две.

Однажды к нам в институт приходит Шамсуллаев, ловит меня во время перерыва.

— Давай руку! — Сияющий, он жмет мне руку и сообщает: — Только что я был на суде. И Додобой был. В его пользу присудили с артели шорников семьдесят пять рублей!

Мы невольно обнялись с ним, будто не Додобой выиграл дело, а мы сами выиграли большую тяжбу.

Хороший был человек Шамсуллаев!

— Додобой хочет резать барана, но мы, конечно, ему не позволим. Ты сходи к нему — поздравь.

Так удачно окончилось дело Додобоя.

А для меня оно имело еще другой конец.

Оказалось, что в тот день, когда мы с Шамсуллаевым навестили плотника, в институте искали меня и не нашли.

На другой день во время большой перемены меня вызвали к директору.

Прихожу. У директора сидит наша вожатая Таня. По их сердитым лицам вижу, что меня ожидает неприятность.

— Где ты пропадал вчера? Почему пропустил занятия? — строго спросил директор.

Я рассказал все как было.

— Но почему ты ушел без спросу? — сказал еще строже директор, очевидно не придав значения тому, о чем я рассказал, или, может быть, даже сомневаясь в правдивости моего рассказа.

Тут встала наша вожатая Таня, подошла ко мне и говорит:

— Он ушел без спросу — это плохо. Но я уверена — больше так делать он не будет. А что он отлучался по такому делу, сдержал слово, которое дал старику, выполнил то, что задумал, и боролся за справедливость, — за это его надо похвалить. Как пионер он поступил хорошо!

Тогда директор улыбнулся и отпустил меня.

АЙНИ

Что нам было нужно, как воздух, и отсутствие чего мы ощущали даже сильнее, чем тесноту помещения и бедность одежды, — это книги для чтения. Выучившись грамоте, мы искали книжки на родном языке. Учителя говорили, что новых книг на нашем языке еще очень мало. Есть старые, древние книги, которые мы не умели читать.

И вот в газете «Овози тоджик», первой советской газете на нашем родном языке, вышедшей в Самарканде, стала печататься повесть Садриддина Айни, под заглавием «Одина». Мы с увлечением набросились на эту повесть и с нетерпением ожидали очередного номера газеты. Хорошо знакомая нам трудная жизнь таджикских бедняков в предреволюционные годы, картины родной природы, изображенные в повести, захватывали нас, а страдания молодого Одины, его мытарства, его песни, мечты так были понятны и близки нам! Как сейчас помню, сидят на своих койках наши студенты в цветных ватных халатах, а некоторые даже в чалмах, и, пригнувшись друг к другу, читают «Одину».

Позже появилась и книга под тем же названием. На обложке была картинка: сидит на большом камне молодой горец в чалме, с длинной палкой в руке, а вокруг него пасутся овцы и козы. Когда я стал читать эту книгу, она сразу же меня увлекла, язык книги просто очаровывал. Я никогда не слышал и не читал таких чудесных слов. Как все хорошо, красиво, плавно, будто слышишь приятную музыку! Мне казалось, что нет ничего красивее и приятнее таджикского языка. Я переписывал в свою тетрадку многие куски из «Одины», заучивал наизусть целые страницы.

Когда книга нравится, мысль невольно обращается к тому, кто ее создал. Вряд ли был среди нас хоть один, читавший «Одину», кто не мечтал бы увидеть человека, создавшего эту книгу, написавший ее представлялся нам особенным человеком.

Наш интерес к личности Айни еще больше возрос, когда спустя некоторое время появился новый его труд: «Намунаи адабиёти тоджик» — «Образцы таджикской литературы». Составитель собрал в книге образцы поэзии, создававшейся многими поколениями поэтов нашего народа в течение тысячи лет. В начале книги был портрет писателя и два снимка: с одного глядел на нас пожилой человек с мученическим видом, сидевший на больничной койке; на другом снимке мы увидели разодранную спину этого человека, сплошную рану. Это были следы палочных ударов, которые Айни получил от эмирских

палачей. Перед нами предстал мученик за свой народ, за дело просвещения народа — то дело, которое в будущем должны выполнять мы, молодежь из Дома учителей.

Я впервые увидел Айни через три года на проходившей в здании нашего института научной конференции, где обсуждался проект нового алфавита и вопросы таджикского литературного языка.

К этому времени был уже выстроен прекрасный учебный корпус института.

Конференция происходила в зале с огромными окнами, выходившими в сад. Я учился тогда на предпоследнем курсе и попал в число участников конференции.

Говорили, что придет Айни.

На конференцию съехались ученые, литераторы, работники издательств, преподаватели из Душанбе, Ходжента, Самарканда, Бухары и других городов. Все собрались в зале, а мы, учащиеся, стояли толпой в коридоре и с нетерпением ждали появления Айни. Наконец он вошел с группой делегатов, оживленно разговаривая. Он был невысокого роста, с небольшой бородкой, в которой белых волос было больше, чем черных, в темно-зеленой бархатной тубетейке, в наглухо застегнутом камзоле. Мы сразу узнали его по портрету, помещенному в «Образцах таджикской литературы», и громко зааплодировали. Он, видно, не ожидал этого и сначала как будто даже не понял, кому и за что аплодируют. Но, когда он увидел, что учащиеся приветствуют его, он взволновался и, приложив руку к груди, стал кивать в ответ на приветствия.

Конференция началась. Айни сидел в президиуме. Мы не отрывали от него глаз. По всему своему виду, по тому, как он обращался с другими, он казался простым, живые глаза его замечали все. А мы, прочитавшие его книгу от корки до корки, теперь удивлялись, что представляли его себе важным, недоступным.

Наконец слово было предоставлено ему.

Когда утихли аплодисменты, он заговорил тихо, но речь его скоро стала взволнованной и быстрой, он сопровождал ее резкими жестами. Айни начал с того, что он человек беспокойный, издерганный, и потому, как бы ни старался говорить спокойно, это у него не выходит, и каждый раз он выступает так, будто с кем-то ссорится. И на самом деле, он все больше возбуждался, говорил очень громко, с выкриками, нервно жестикулируя.

На конференции было представлено два проекта нового, латинизированного таджикского алфавита. Авторы первого

проекта предлагали ряд букв, каждая из которых состояла из двух-трех знаков, как, например, в некоторых западноевропейских алфавитах. Это вызвало недоумение, хотя авторы проекта говорили, что такие двойные-тройные буквы якобы более полно выражают звуки таджикского языка и, кроме того, так получается «солидно», «красиво», «культурно».

Айни нещадно высмеял эти «доводы». Слов Айни я в точности не помню, но смысл был такой:

— Если вы предлагаете такой алфавит для того, чтобы любоваться им, то, пожалуйста, любуйтесь теми алфавитами, которые послужили для вас образцами. А нам нужен алфавит простой, удобный, чтобы скорее можно было научить наш народ грамоте. Настоящая красота, культурность алфавита, в нашем понимании, заключается в том, чтобы народ его легко усвоил, чтобы таджикский народ мог скорее обучиться грамоте. От старого арабского алфавита мы отказались, между прочим, потому, что он был сложен, труден для обучения, а вы как будто стараетесь навязать трудности и новому нашему алфавиту.

Он говорил обо всем с таким юмором, с таким сарказмом, что большинство участников конференции аплодисментами выражали свое согласие с оратором.

Айни говорил на этой конференции еще один раз — об основах литературного языка таджиков.

Группа старых интеллигентов-литераторов яростно доказывала, что единым литературным языком таджиков должен стать язык старой, тысячелетней литературы. Выходило, что наши газеты, журналы, книги, издаваемые теперь не для избранных, а для всего народа, мы должны писать языком древних книг. Айни выступил против этого.

— Язык старой литературы я, кажется, знаю не хуже, чем любой из вас, — говорил он, обращаясь к поборникам старого литературного языка, — он давно оторвался от народного языка, и навязывать его теперь народу как новый литературный язык было бы безнадежной и вредной затеей. Наш новый литературный язык должен строиться на основе живого языка народа, обогащаемого всем лучшим и полезным, что есть в старой литературе, и тем, что революция непрерывно вносит в наш язык. Вы говорите: «старый литературный язык»! Если вы подразумеваете под этим сочинения всевозможных богословов, придворных авторов последних семи-восьми столетий, авторов, для которых арабизмы и вычурность являлись признаком образованности, а простота и ясность считались дурным вкусом, то ведь этот язык —

мертвечина! Другое дело язык Рудаки, Фирдоуси, Саади, действительно великих поэтов тысячелетней литературы на языке фарси. Их произведения отличаются ясностью, простотой, народностью. Вот языковые богатства их наследия должны быть использованы и будут использованы при создании нового единого литературного языка таджикского народа.

В перерыве мы, группа учащихся института, подошли к Айни, чтобы выразить писателю нашу благодарность за его произведения, которые мы с увлечением читали и которые нам очень нравятся.

Айни тепло поздоровался с каждым из нас, усадил на стулья вокруг себя и сел сам.

— Мы, учащиеся, согласны с вами, домулло, насчет литературного языка, — сказал один из студентов. — Вот, к примеру, язык «Одины», кажется нам, и есть тот язык, о котором вы говорили.

— Мне лестно это слышать от вас, молодежи, — улыбнулся Айни. — Я трачу немало сил, чтобы мои книги были понятны народу. Я всегда прислушиваюсь к живой речи людей, улавливаю и запоминаю меткие слова, выражения, обороты. Когда я писал «Одину», у меня жил один молодой таджик-горец. Я ему читал каждую написанную главу, проверял на нем доходчивость языка повести. Но я хотел бы, чтобы вы поняли: живой язык людей, взятый так, как он есть, еще не есть язык литературы, язык, на котором пишут книги; надо делать отбор, брать все яркое из всех говорюв таджикского языка, хорошее и полезное из старой литературы и все это пропускать через сито мысли, обстрогать рубанком правила и отшлифовать напильником содержания...

Так он говорил тогда с нами.

Не только книги Айни, но и он сам, его жизнь действовали на наше воображение, будили в нас новые мысли. Чуть ли не каждый год появлялись новые его произведения, из которых мы узнавали жизнь своего народа, по которым учились своему литературному языку. Именно по трудам Айни мы впервые знакомимся с памятниками нашей тысячелетней литературы.

Спустя два или три месяца после встречи на конференции мне посчастливилось прочесть в одном из писем Айни несколько строк о себе, которые, можно сказать, помогли мне в выборе жизненной профессии. Было это так. Я перевел на таджикский язык рассказ писателя М. А. Алексева «Сам и Дик». Это рассказ о выдержавшей самые трудные испытания дружбе двух ветеранов гражданской войны в тысяча во-

семьсот шестьдесят первом — тысяча восемьсот шестьдесят пятом годах в США, белого Дика и негра Сама. Закончив перевод, я отдал рукопись на отзыв своему другу, молодому сотруднику ташкентского отделения Таджикского государственного издательства. Потом, при встрече, он сказал мне, что отдал ее своему заведующему. Вскоре этого заведующего сменили, он куда-то уехал, новый же ничего не знал о рукописи, и она исчезла. Меня это очень огорчило. Прошел месяц, другой, я уже почти забыл о случившемся, как вдруг меня приглашают в отделение Таджгиза и показывают мою рукопись, испещренную чьей-то тщательной и многочисленной правкой красными чернилами.

Я смущенно и недоумевающе смотрю на заведующего, а он улыбается и говорит:

— Знаешь, кто редактировал твой перевод? Айни! На вот, прочти, — и протягивает мне довольно большое письмо, написанное неразборчивым почерком.

Письмо было от Айни, который в то время работал главным редактором самаркандского отделения Таджгиза, и адресовано заведующему ташкентским отделением. Не знаю, как я выглядел, когда читал касавшиеся меня строки, но я один раз даже уронил письмо на пол, а нагнувшись, чтобы поднять его, смахнул со стола заведующего какие-то бумаги. Находившиеся в комнате посетители смеялись, а заведующий говорил: «Совсем растерялся парень! Да ты сядь вот сюда и читай себе спокойно». Айни упрекал в письме сотрудников издательства за безответственное, пренебрежительное отношение к рукописи, в результате чего перевод рассказа «Сам и Дик» был случайно обнаружен среди каких-то архивных материалов, переданных Таджгизу ташкентским отделением. А перевод, говорилось в письме, заслуживает внимания. Правда, сделан он в общем плохо, переводчик, видимо, молодой и совсем неопытный, однако он хорошо почувствовал и по своему взволнованно передал дух произведения, да и таджикский язык у него местами неплохой, поэтому он, Айни, исправил, отредактировал рукопись и советует как можно быстрее издать ее для детей, а переводчика и впредь привлекать к делу, поощрять, терпеливо работать с ним.

Нечего и говорить, что я был глубоко тронут вниманием, оказанным Айни моей первой, скромной, ученической работе. Все поправки Айни в моей рукописи были тщательно изучены мной.

Так я получил от большого писателя, человека замечательной души и редкой проницательности, и первую критику и первую похвалу, которые и учат и окрыляют.

КАНИКУЛЫ

Начались летние каникулы. Дирекция старалась удержать нас в институте, опасаясь, что учащиеся, разъехавшись по домам, могут не вернуться. В кишлаках нужны были рабочие люди, и родные могли не отпустить своих детей учиться дальше. Нас уговаривали остаться на все лето в Ташкенте, обещали, что нам будет обеспечено питание, организован отдых за городом и интересные экскурсии.

Денег на проезд домой ученикам не выдали. Тем не менее у большинства учащихся тоска по родителям и родным местам взяла верх, и они уезжали на свои деньги. Я колебался. Обещанные дирекцией экскурсии и отдых очень меня соблазнили, тем более что мне некуда, не к кому, да и не на что было ехать. Но мне очень хотелось повидать братишку. Как только кончились занятия и товарищи стали разъезжаться, меня все больше стала одолевать тоска, и я ни о чем другом не мог думать. Я был уверен, что Мухтар меня ждет не дождется. Я писал, что приеду в начале лета, и вот мне казалось — он каждый день выходит на дорогу и смотрит, не иду ли я, и возвращается в слезах. Я решил поехать к нему.

В те дни, когда я думал, как найти денег на дорогу, мне встретился Хидыр, которого в прошлом году исключили из тусского интерната.

Здесь, в городе, Хидыр показался мне совсем другим, лучшим. Он сильно изменился, рассказывал, что учится и уже вступил в комсомол. Я даже подумал, что, наверно, мы напрасно исключили тогда из интерната такого хорошего парня. Узнав, что у меня нет денег на дорогу, Хидыр предложил мне взять у него взаймы.

— Отдашь когда-нибудь, когда у тебя будет возможность, — сказал он.

Я занял у него семь рублей пятьдесят копеек — как раз на билет.

Засунув свои книжки и тетрадки в старый парусиновый мешок, я положил туда же буханку хлеба, которую дал мне повар, и пошел на вокзал. Там купил я билет, сел в общий вагон и покатил в Тус.

Ночь в дороге — и назавтра в полдень я уже схожу с поезда на знакомой станции.

Жара, пыль, земля накалена. От станции до Туса пятнадцать километров. Пассажиры добирались туда в крытых арбах и фаэтонах. У меня в кармане была только мелочь, которой хватило на то, чтобы выпить чаю в привокзальной чайхане. Взял я мешок на плечо и отправился пешком. Раскален-

ная пыль на дороге поднималась клубами от проезжающих арб, фаэтонов, верховых лошадей. Прошел я километров пять и остановился у края дороги передохнуть. Меня догоняет крытая арба, и хозяин ее, совершенно седой от пыли, с головой, обвязанной платком, спрашивает:

— Ты в Тус? Садись, довезу.

— А сколько возьмете?

— Рубль дашь — и хватит.

— У меня нет рубля.

— Ну, сколько есть. Садись, подвезу.

— У меня совсем нет денег.

Два или три пассажира выглянули из арбы, посмотрели на меня, говорят арбакешу:

— Возьми его. Не дойдет он до Туса. Видишь, как заморился.

Но арбакеш возражает:

— Бесплатный пассажир для лошади тяжелее вдвое.

Один из пассажиров говорит:

— Ладно, я уплачу тебе за него сорок копеек.

Так я доехал до Туса и в тот же день отправился в кишлак Кзыл-Тепу.

— Мухтар! Твой ака приехал! — крикнул тетин сын, когда я вошел во двор.

Откуда-то выскочил Мухтар, стремглав подбежал ко мне и крепко обхватил меня руками. При виде братишки я забыл всю усталость и все трудности пути.

Я нашел его подростком и повеселевшим. Он роется в моем мешке и говорит:

— Что ты мне привез из Ташкента?

Чувствую острую боль в сердце — я ничего ему не мог привезти. С деланной веселостью говорю:

— Такую вещь привез, какой у тебя никогда не было. Вот, на! — и даю ему целый карандаш.

Малыш неподдельно радуется и такому подарку, хотя он ему совсем не нужен.

Мне очень хотелось развлечь, порадовать брата. Я решил повезти Мухтара в Тус — там в это время гастролировали акробаты-канатоходцы и бродячий цирк. В Тусском гороно мне выдали пять рублей, как говорили — из фонда нуждающимся студентам. Целых три дня мы с Мухтаром днем смотрели акробатов, а по вечерам ходили в цирк.

Мухтар жил в эти дни как во сне, считал себя счастливейшим мальчиком на свете. Он говорил без умолку, вспоминая особенно понравившиеся ему фокусы акробатов-канатоходцев; захлебываясь, рассказывал он мне все цирковые пред-

ставления, хотя я видел их вместе с ним. Слушая его и радуясь его радостью, я думал о том, как хорошо было бы, если бы братишка жил в Ташкенте, где-нибудь недалеко от меня. Он был еще слишком мал, чтобы определить его в интернат. Мне казалось, что он растет очень медленно. Может быть, были какие-нибудь дома, куда принимали и таких маленьких детей, как Мухтар, но я ничего о них тогда не знал.

У меня у самого лежала на сердце забота: надо было как-то просуществовать летние месяцы, найти денег на обратный путь до Ташкента, надо было во что бы то ни стало подновить износившуюся одежду. Но все, что касалось меня самого, не так тревожило меня, как судьба Мухтара. Бедняжке было весело со мной, и он жил надеждой, что вот скоро я заберу его к себе и ему будет совсем хорошо.

В Тусе я встретил дехканина из нашего кишлака и узнал от него, что в нашем отцовском доме сейчас проживает бабушка Мастура — мать тети Каромат — со своей внучкой. Я подумал, что, может быть, пригожусь ей, одинокой старухе, помогу по хозяйству и проживу лето дома. И меня потянуло увидеть еще раз наш кишлак и дом, где я родился, где жил с отцом и матерью.

Оставив брата в Қзыл-Тепе, я взял на плечи свой мешок и отправился в родные места.

Я вошел в кишлак не по большой дороге, а окольными тропинками, чтобы меня никто не заметил, потому что вид у меня был совсем не «мусульманский»: узкие штаны, пионерская рубашка, ботинки, а главное — длинные волосы! Я знал, что многим нашим правоверным односельчанам не понравлюсь в таком виде, даже вызову неприязнь. В те годы длинные волосы на голове у мужчины казались многим кишлачным жителям кощунственным отступлением от веры, нарушением дедовских обычаев.

Отцовский дом я нашел пустым. Соседский мальчик сказал мне, что бабушка Мастура в садике. Этот садик находился недалеко — в десяти минутах ходьбы от нашего дома.

Спускаясь по дорожке вниз, меж огородов и рассаженных вдоль оросительной канавы фруктовых деревьев, я еще издали слышу горький плач и причитания. «Не умер ли кто, не случилось ли несчастья?» — с испугом думаю я и прибавляю шаг.

Бабушку Мастуру я застал в горьких слезах; плакала и ее восьмилетняя внучка. Войдя в шалаш, где они жили, я сбросил с плеч мешок и кинулся к бабушке.

— Что случилось? Почему плачете?

Она обняла меня, прижала к груди, продолжая громко плакать и причитать:

— О боже, вырви язык у клеветников, вычерни им лица! Меня, одинокую старуху, оклеветали, воровкой обозвали... Дожила до седых волос — никогда ни от кого не слыхала такого, щепку без спросу не поднимала в чужом дворе...

Из ее причитаний я понял, что у богатого соседа пропал хурджин и подозрение пало на бабушку Мастуру.

Ничего не говоря, я вышел из шалаша. Смотрю — на дальнем краю участка, у калитки, ведущей в соседский сад, стоит приземистый мужчина с черной бородой, громко бранится и грозит бабушке Мастуре.

Направляюсь к нему.

В мужчине я узнал Мадамина — первого богача нашего квартала.

— В чем дело, дядя Мадамин? — спрашиваю я.

Он удивленно и насмешливо осмотрел меня с ног до головы своими мышинными глазами.

— Сначала хоть поздоровайся! Или ты уже разучился здороваться с земляками?

Действительно, я, возмущенный поклепом на бабушку Мастуру, забыл поздороваться.

— Я только что пришел и... вижу... такое дело... Здравствуйте... Почему обижаете старуху?

— А пусть она не ворует на старости лет. Она украла у меня хурджин.

— Бабушка говорит, что она не брала ваш хурджин. Вы что, поймали ее или кто видел, как она брала ваш хурджин?

— Видеть не видели, а вот я только что приглашал муллу Зайниддина. Мулла Зайниддин не ошибается! Он закрывал глаза, читал молитву и крутил кувшин на тарелке, а когда кончил читать и перестал крутить кувшин, то носик кувшина как раз указал на старуху.

— Это всё выдумки! — возмущился я. — Вы взрослый человек и верите, что кувшин может что-то знать!

Мадамин снова оглядел меня и остановил взгляд на моих волосах. Он как будто никогда не видел человека с длинными волосами и, глядя на меня, как на шайтана, процедил сквозь зубы:

— Ты, цыпленок, поучился в школе кофиров и теперь не веришь святым молитвам! Ты не можешь, а вот Зайниддин может прочесть молитву, дунуть на чашку — и чашка лопнет!

Я слишком хорошо знал с малых лет, на что способен му-

ла Зайниддин, но что он может своими молитвами заставить лопнуть чашку, об этом я слышал впервые. Видно, он далеко пошел. И я сказал так этому темному человеку:

— Советский закон не примет показания кувшина. Вот я завтра пойду и заявлю в кишлачный Совет о том, что вы понапрасну обвиняете бедную старуху. И вы, пожалуйста, найдите другие доказательства или выставьте свидетелей.

Как только я упомянул о кишлачном Совете, Мадамин сразу утих, стал мяться, потом улыбнулся и забормотал:

— Нет, зачем идти в кишлачный Совет из-за какого-то хурджина?.. Ладно уж... А ты заходи к нам. — И он закрыл калитку.

— Не плачьте, бабушка, Мадамин вас больше не потревожит, — сказал я, вернувшись в шалаш.

Низенький шалаш из сухих кукурузных стеблей был пристроен к четырехугольной глинобитной мазанке, похожей на хлев; три стены у нее глухие, в четвертой зияет большая дыра, в полметра шириной и метра в полтора высотой, — это дверь. В дождливую погоду бабушка с внучкой и козой залезают в это помещение.

Бабушкин сад называется так только по старой привычке. Когда-то здесь действительно был фруктовый сад с несколькими лозами винограда. Сейчас здесь пусто; от старого сада остались лишь одно урюковое дерево и два тополя, растущие на краю участка. Бабушкино жилье — под этими тополями. Клочок земли, на котором когда-то зеленел садик, не обработан, зарос травой, верблюжьей колючкой, местами белеет выступившая на поверхность почвы соль. По краям участка кое-где торчат из земли кочки — следы бывшего здесь раньше дувала. Теперь участок со всех сторон открыт ветрам, соседским коровам и козам. Бабушка с внучкой переселились сюда ради прохлады и тени, которую дают два высоких тополя, и чтобы легче было пасти козу.

У бабушки не все волосы седые, она еще крепка и подвижна. По ее рассказам, в молодости она была первой красавицей своего кишлака Шоён и ее первый муж, бай из кишлака Гова, дал за нее большой калым. Бай был старше ее лет на тридцать, она не могла полюбить его и была рада, когда он умер. Вторым, любимым ее мужем был силач и борец Амон, тот самый, которого победил мой отец. Амон умер уже двадцать лет назад, но бабушка Мастура по-прежнему часто вспоминала его. По ее словам, солнце счастья засияло ей только однажды и ненадолго, и этим солнцем был Амон.

— Откуда ты явился, мой дорогой мальчик? Как давно я тебя не видала! Ты стал большим, белым, красивым... Что это

ты отрастил себе волосы, как девушка? Ты, наверно, голодный, я сейчас угощу тебя. — Бабушка Мастура только теперь, успокоившись, вспомнила, что я пришел издалека и что меня надо расспросить о здоровье и угостить.

Она угостила меня чаем из сушеной травы, подала половину черствой лепешки. Маленькая Халима обрадовалась мне, как родному брату. Она помнила, как мы все жили у дяди, вместе с ее мамой Каромат. Босая, но чистенькая, с аккуратно заплетенными косичками, с круглыми иссиня-черными глазами, Халима хлопотала, заваривая чай, угощая меня твердым, как камень, кусочком курута¹ величиной с грецкий орех.

— Я очень соскучилась по вас, по Мухтару, — говорила она.

Халима росла как сиротка, хотя у нее были мать и отчим. Тетя Каромат, мать Халимы, после смерти дяди вышла замуж за очень бедного человека и не могла взять к себе девочку.

Разговаривая, мы просидели в шалаше до сумерек, когда бабушка с внучкой собрались спать; а ложились они очень рано, потому что у них не было ни лампы, ни керосина. Тут пришла к ним молодая соседка, жена пастуха, и подала бабушке глиняную чашку:

— Попробуйте, бабушка, нашей «честной пищи».

«Честная пища» — это смесь различных блюд: плова, супа, каши, ежедневно собираемая пастухом у жителей. Пригнав с пастбища скот, пастух обходит свой квартал, стучится в каждую калитку: «Оши халол! Честная пища!» И хозяева выносят, накладывают ему в большой тыквенный сосуд немного еды, которую они варили себе в этот вечер.

Бабушка поставила чашку на середину дастархона, и мы быстро опустошили ее.

— Добрая Гульсум каждый вечер приносит нам поесть, и муж у нее хороший, при встрече обязательно спросит: «Не нужно ли вам чего, тетя? Может, стену починить, помазать или дров принести?»

Невольно мне пришло в голову сравнение двух соседей бабушки Мастуры: богача Мадамина и бедного пастуха Хола. Мадамин не постыдился обвинить одинокую, бедную старуху в воровстве. А пастух и его жена не забывают каждый вечер поделиться с бедной старухой своей «честной пищей». Разные бывают люди!

Мы легли спать. Я положил под голову свой мешок с кни-

¹ Курút — шарики высушенного кислого молока.

гами и лег с краю на паласе, прикрывшись бабушкиным халатом

Ночь была темная. Меж кукурузных стеблей шалаша сверкали звезды. Бабушка, пожаловавшись на свое одиночество, на бедность зятя и дочери, начала рассказывать сказку, без чего внучка не могла заснуть. Бабушка мне потом сказала, что девочке страшно ночью в шалаше и она хочет слышать голос бабушки, пока не заснет.

Халима давно заснула, а бабушка продолжала тихим голосом рассказывать сказку о мальчике Хайдаре Кокуле, скрывающемся в темном лесу от преследований дэва. Он не пожалел своей последней лепешки для двух маленьких щенят, мать которых погибла. Щенята быстро выросли в больших собак, стали верными друзьями Хайдара Кокуля и помогли ему избавиться от дэва и спасти несчастную девушку — его пленницу.

Бабушка Мастура так хорошо рассказывала, что сказка захватила меня и добрый, храбрый мальчик Хайдар Кокуль запомнился мне на многие годы.

Я стал думать о нем и о себе, о трудной жизни бабушки, о том, что и бабушке Мастуре я буду обузой. Я не мог уснуть всю ночь.

Перед рассветом, когда бабушка с внучкой еще спали, я поднялся, взял висевшую на сучке веревку и пошел в тополевою рощу, находящуюся неподалеку. Я набрал там большую вязанку хвороста и принес в шалаш.

Потом я направился к Калу, где находились волостные и сельские учреждения.

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Пробираясь к Кале знакомой дорогой, я с любопытством смотрел по сторонам и замечал некоторые перемены в нашем кишлаке. Разрушенное басмачами четыре года назад здание волостного управления было восстановлено. В нем помещался теперь волостной исполком. Одна из прежних больших лавок была перестроена для кишлачного Совета. Наискосок от нее, тоже в помещении бывшей частной лавки, находилось правление союза батраков. Появился магазин — кооператив; около него толпились дехкане-покупатели. А дальше, за базарной площадью, достраивалось большое школьное здание из жженого кирпича.

Большой амбар на краю базарной площади, в котором начинала занятия первая советская школа нашего кишлака, был превращен теперь в красную чайхану.

На широченной суфе перед красной чайханой, в тени громадных тутовых деревьев, отдыхали дехкане и пили зеленый чай.

Тут и там стояли привязанные к стволам деревьев оседланные лошади. На них приехали люди из соседних кишлаков в волостной исполком.

Стояло знойное лето, нещадно палило солнце, но здесь, в центре кишлака, обилие зелени, тени, родниковой воды делало жару не очень заметной.

Я бродил по Кале с мрачными мыслями. Многие дехкане поглядывали на меня неодобрительно. Видно, я казался им странным в своем костюме, пионерском галстуке и с длинными волосами.

Чувствуя, что любопытный взгляд людей обращен главным образом на мои волосы, я в тот же день сбрил их у кишлачного парикмахера — благо, по сохранившемуся старому обычаю, в кишлаке брили бесплатно: парикмахер, так же как и кузнец, имам и муэдзин, брал плату с дехкан за свою работу осенью на гумне, после жатвы.

Я пришел в Калу с намерением попросить в кишлачном Совете денег на обратный проезд в Ташкент, но у меня не хватило смелости войти — я боялся отказа.

В помещении союза батраков я увидел сидящего за столом молодого человека в городской одежде, очень похожего на студента. Я отважился и вошел к нему.

Молодой человек принял меня радушно. Я узнал, что он родом из соседнего кишлака Каркидан, учится в кокандском техникуме, приехал недавно на летние каникулы и служит писарем в союзе батраков, а также выбран секретарем кишлачной комсомольской ячейки.

Худощавый, со скуластым лицом, он немного походил на казаха и казался старше меня лет на пять. Фамилия его была Эрматов.

Я рассказал новому знакомому о себе, о трудном моем положении.

— Ничего, что-нибудь придумаем, — сказал он мне просто и уверенно. — Зайди ко мне завтра.

Я приободрился. Лицо Эрматова, его голос, обращение внушили мне доверие. Он, наверно, поможет мне. Но каким образом он это сделает?

От него я пошел к моему товарищу детства — Солеху. Я застал его лежащим на паласе под деревом. Он списывал что-то из учебника в тетрадь. Его старшие братья работали в саду, а мать трепала хлопок. Мы поздоровались, обнялись. Солех за это время еще больше вытянулся и стал выше меня

почти на голову. Он сразу же стал расспрашивать меня о Ташкенте, о том, как и чему я учился. Не дожидаясь моих ответов, он сообщил мне, что может читать любую книгу, может «сам писать», а по арифметике знает все четыре действия и может написать миллион.

Давно ли это было, когда мы собирали и прятали в яме в заброшенном саду куски лепешек, чтобы весной бежать в город учиться! А теперь мы уже грамотные люди. Я пожалел, что мы не переписывались. Мне представилось, с какой гордостью и радостью мы читали бы письма друг друга. Но мой Солех скоро впал в уныние, узнав, что я оставил далеко позади четыре действия арифметики, что начал изучать алгебру, геометрию и умею читать и писать по-русски.

— Когда же и я поеду учиться в город? — вздыхал Солех.

Я спросил его о Махмуде. Оказывается, этот драчун, мастер лазить по деревьям и ставить силки у воробьиных гнезд, остался неграмотным. Отец так и не пустил его в новую школу.

— Я с ним теперь не вожусь. У меня свои товарищи, у него — свои, — говорил Солех.

Остаток дня я провел с Солехом — мы гуляли, играли и наговорились всласть.

В доме Солеха я получил неожиданный подарок: его братья посеяли на нашей земле у канала Дулюна хлеб, сняли хороший урожай и теперь уделили мне из него три пуда пшеницы. Для меня это было целым состоянием. Я мог прожить без всякого стеснения месяц-другой у бабушки Мастуры.

Полученная мной пшеница была очень грязная, в ней было много сора, и после очистки вес ее уменьшился больше чем на полпуда, но это нисколько не умалило моей радости. Половину муки я отнес в Қзыл-Тепу для Мухтара, остальную отдал бабушке Мастуре.

Когда я пришел на другой день к Эрматову, он повел меня с собой в волостной исполком.

В одной из комнат исполкома висел на стене телефонный аппарат с пятью отводами для включения соседних кишлаков на переговоры. Некоторые ближайшие кишлаки связывались друг с другом и с городом Тусом через наш кишлак. Эрматов договорился в волостном исполкоме, чтобы меня назначили на должность телефониста с окладом пять рублей в месяц.

Эта работа мне показалась несложной, и я немедленно приступил к исполнению своих обязанностей.

В комнате, где был телефон, сидел начальник милиции. Сюда непрерывно приходили люди с жалобами. Малограмотный начальник милиции часами допрашивал их, писал прото-

колы и постоянно обращался ко мне за помощью. Так что, хотя мои абоненты тревожили меня не больше восьми—десяти раз в день, что занимало у меня в общей сложности десять — пятнадцать минут, я помогал начальнику милиции в составлении протоколов и был занят весь рабочий день. После полудня обычно я шел в красную чайхану читать вслух дехканам газету. Эту работу мне поручил Эрматов. Он стал моим руководителем и самым близким старшим товарищем в Кале.

Я подружился еще с одним городским мальчиком моих лет, которого звали Мумином. Он жил у своего дяди, недавно переселившегося в наш кишлак из Намангана и работавшего мирабом, точнее — заведующим водным хозяйством волости. Мумин был грамотный и из кишлачных детей дружил только со мной.

Часто приходил он на «телефонную станцию», помогал мне в работе, а по окончании работы уводил меня к себе домой. У него дома были интересные книги на узбекском языке, мы вместе читали их. Кроме того, у него был граммофон. Мы слушали музыку, иногда пели сами и очень весело проводили время.

Его дядя, толстяк с бритым лицом и торчащими жесткими усами, казалось, был рад нашей дружбе, нередко сидел с нами на кате¹ и, слушая наше чтение, объяснял нам непонятные места.

— Хорошо, что вы появились здесь, — говорил он, обращаясь ко мне и называя меня на «вы». — А то Мумин сильно скучал без товарища.

Но дружба наша с Мумином, продолжавшаяся каких-нибудь две недели, оборвалась самым неожиданным образом.

Случилось это так. Однажды, когда я был в доме Солеха, к ним пришли несколько человек дехкан. Братья Солеха и дехкане стали жаловаться при мне на мираба: мираб, мол, обижает бедняков, дает воду баям за взятки. Об этом на другой день я рассказал в союзе батраков Эрматову.

— Да, я тоже кое-что слышал. Этот мираб, видно, только кажется безобидным. На днях исполком будет слушать его отчет, приглашает и активистов. Ты должен выступить и рассказать о том, что слышал.

Я попытался отказаться:

— Я никогда не выступал на собраниях, мало знаю здешние дела... Я не могу...

¹ Кат — деревянный помост.

Эрматов стал меня стыдить:

— Какой же ты пионер, если боишься разоблачить мираба-взяточника! Ты обязательно должен выступить!

Очень трудно было мне выполнить это поручение моего руководителя, секретаря комсомольской ячейки: я часто бывал в доме мираба, дружил с его племянником и сам мираб хорошо ко мне относился.

Эрматов привел меня на заседание президиума исполкома с активистами. Мираб читал отчет своим зычным голосом. Потом ему стали задавать вопросы, и наконец начались прения. Кто критиковал мираба, кто хвалил. Я сидел как на иголках. В глубине души я сознавал, что должен рассказать о том, что дехкане недовольны мирабом, что он несправедлив и нечестен. Но как трудно сказать об этом в лицо человеку, у которого ты столько раз бывал в гостях! А Эрматов сидел напротив и все время делал мне знаки, чтобы я выступил. Раза два или три я робко поднимал руку, но председатель не замечал меня, так как я сидел в дальнем углу.

Как я хотел, чтобы кто-нибудь из присутствующих сказал то, о чем должен был говорить я, и тогда мне не пришлось бы выступать! Но, увы, дело не шло дальше критики некоторых мелких недостатков в работе мираба. А Эрматов продолжал делать мне знаки. И я решил.

— Я слышал среди дехкан разговоры, — начал я смущенно, не глядя ни на кого и чувствуя на лице жгучий взгляд мираба, — будто товарищ мираб воду дает больше баям, обижает бедняков, и... и говорят, будто товарищ мираб... берет у баев... взятки.

Среди присутствующих началось движение, шушуканье, мираб что-то крикнул мне. Я больше не мог говорить и сел.

— Ты должен сейчас сказать: когда, где и у кого слышал эти разговоры? — крикнул мираб, в первый раз называя меня на «ты». — Иначе будешь отвечать за клевету!

— Правда, я слышал это, не выдумываю, — сказал я.

Конечно, я не хотел выдавать братьев Солеха и других дехкан.

— Нет, выдумываешь! Тебя научили так говорить мои враги! — кричал мираб, вскочив и снова садясь.

На выручку мне поспешил Эрматов. Взяв слово, он твердо и резко сказал:

— Он говорит правду. — Эрматов указал на меня. — Есть жалобы и факты. Когда нужно будет, мы их представим. Предлагаю снять мираба с работы и передать дело следственным органам.

Среди активистов, приглашенных на заседание президиу-

ма, раздались голоса, поддерживающие Эрматова. Председатель исполкома мягко осадил их, говоря, что нельзя требовать снятия человека с работы, прежде чем не будет доказана его вина.

— Мы проверим обвинение и снова обсудим этот вопрос на одном из очередных заседаний президиума, — заключил председатель.

На другой день Мумин, встретившись со мной, прошел мимо, не поздоровавшись. Мне было жалко терять дружбу с ним, но поправить дело было невозможно. Я рассказал Эрматову, что Мумин обиделся на меня.

— Если сердится, пусть кусает себе нос, — нахмурившись, сказал Эрматов. — Он скоро поймет, кто его дядя. Он сам, видно, мальчик неплохой. Посмотрим, как он себя поведет, когда узнает, что за человек его родственник. А ты не кланяйся ему. И вообще надо быть посмелее. Тебе разве больше жаль Мумина и его дядю, чем дехкан, которые страдают от плохого мираба?

Я восхищался смелостью и прямоотой этого вожака киш-лачных комсомольцев.

После расследования мираб был снят с работы и исчез из нашего кишлака.

СОЮЗ БАТРАКОВ

У ишана Ашрафхана жил мальчик, по имени Хамрохон. В те дни, когда я еще жил у дяди в кишлаке, этот мальчик нянчил младшую дочку ишана и целыми днями носил ее на руках. Я не помню, чтобы он когда-нибудь появлялся на улице или на площади перед мечетью, где играли дети, без ребенка. Хамрохон был малоразговорчивый, всегда улыбающийся, красивый мальчик. Он говорил, что где-то в Коканде живет его мать, а отца у него нет, и ишан взял его в свой дом из жалости. Хамрохон был ревностным молельщиком: на утреннюю молитву приходил вместе со взрослыми, а остальные четыре совершал там, где заставлял его час молитвы. Бывало, ходит он с ребенком на руках, услышит вдруг крик муэдзина — моментально садится, молча ждет, пока муэдзин кончит сзывать верующих на молитву, потом посадит ребенка на землю или передаст кому-нибудь из находящихся здесь ребят и совершает омовение — ударяя ладонями о землю, делает вид, что зачерпывает воду и моет кисти рук. Затем расстелит на земле свой поясной платок, станет на колени и молится.

Нам смешно было смотреть на него, но мы не мешали ему усердствовать перед аллахом.

Я его спрашивал:

— Зачем ты это делаешь? Ведь никто из ребят не молится в обычные дни, кроме пятницы и дней праздника.

Он говорил многозначительно:

— Аллах всматривается по очереди в каждого человека, и если его взгляд падает на молящегося, то он исполнит его желание.

Хамрохон хотел породниться с ишаном. Жена ишана пообещала выдать за него замуж свою среднюю дочку, которой было тогда лет семь.

Уйдя из кишлака, я забыл о Хамрохоне. И вот теперь, уже студентом, мне вновь привелось встретиться с ним.

Как-то раз я отправился в тополевую рощу за хворостом, залез на тополь, ломаю сухие ветки.

Кто-то мне кричит снизу:

— Эй, кто там обламывает чужой тополь?

Посмотрев вниз, вижу молодого человека с кетменем на плечах. Это был Хамрохон. Я его узнал, спустился к нему.

— Это ты? — сказал он.

Я быстро собрал наломанный хворост, связал его сырыми ивовыми прутьями, поднял вязанку на плечи и пошел вместе с Хамрохоном.

Возле шалаша бабушки Мастуры мы присели на траву. Я принес лепешку и чайник чая, и мы стали вспоминать детство.

Хамрохон все еще жил у ишана. Он похудел и выглядел нищим: старый халат, весь в заплатках, был надет прямо на голое тело, штаны подвернуты до колен, ноги босы.

— Ну, Хамрохон, взгляд аллаха еще не упал на тебя в час молитвы? — спрашиваю я.

Он смущенно улыбается; нагнув голову, вздыхает.

— Женился?

— Нет.

— Ждешь, когда подрастет дочка ишана?

Снова смущенная улыбка: прошло два года, ему семнадцать лет, а ей девять, не больше.

— Ну, расскажи, как же ты живешь?

Он стал рассказывать сначала спокойно, а потом все больше сердясь и жалуясь. Он теперь работал на огороде ишана и, кроме того, ухаживал за его лошадьми и быками. Никакой платы за это он не получал и должен был удовлетворяться только тем, что ишан его кормит и справляет в год один халат, пару сапог и две пары холщового белья. У него ничего нет за душой. Мать его, живущая в Коканде, стара и очень нуждается, а он ничем не может ей помочь.

— Тогда почему же ты не уйдешь от ишана! Или все надеешься стать его зятем?

Он еще ниже опустил голову, долго молчал, потом сказал:

— Какой там зять!.. Разве ишан за меня ее выдаст?..

— Тогда что же тебя держит у ишана?

— Он обещает потом наделить меня землей... Здесь или в Сариджуге.

— Ты веришь его обещанию?

— Не очень-то верю, но что делать?.. Идти некуда...

Он вдруг заторопился, быстро распрощался со мной, сказав, что ему пора идти поливать огород.

Я рассказал про Хамрохона Эрматову. Я знал, что главной заботой Эрматова в те дни было выявление кулаков-эксплуататоров, вовлечение батраков в союз и заключение договоров о найме между ними и хозяевами.

Как я и ожидал, Эрматов живо заинтересовался судьбой Хамрохона и пообещал вмешаться.

Дня через два, зайдя в союз, я застал Хамрохона у Эрматова. Хамрохон пришел босой, но в белье и в сравнительно чистом халате.

— Мы заставим Ашрафхана подписать с вами договор и аккуратно выплачивать ваш заработок, — говорит ему Эрматов.

Хамрохон, не поднимая глаз от пола, мнетя, ерзает.

— Э, не надо, очень прошу вас, — робко произносит он. — Ишан такой... рассердится еще. Не надо.

— Но он же вам ничего не платит! Ведь вам плохо живется у него?

— Да нет... Кто вам сказал? Мне живется ничего.

— Как «ничего»? — восклицаю я. — Ты же сам, Хамрохон, жаловался мне, что за работу не получаешь и даже старой матери не можешь помочь!

— Это я просто так говорил... к слову.

— Не будь дурнем, Хамрохон. Такие вещи «к слову» не говорятся.

Как мы с Эрматовым ни агитировали его, все было напрасно. Он отказывался от помощи союза и не соглашался ни на какие договоры.

Отпустив его, Эрматов тяжело вздохнул:

— Знакомая история... Запуган парень. Кулаки-кровопийцы выезжают на несознательности своих батраков, запугивают их... Сколько еще надо работать нашему союзу, чтобы пробудить в батраках сознание своих прав! Ничего, я доберусь до этого Ашрафхана!

В тот же день Эрматов послал за ишаном сторожа кишлачного Совета и пригласил его прийти в союз батраков. Охваченный любопытством, я не пошел на «телефонную станцию» и попросил начальника милиции слушать звонки и включать аппараты.

Сидим с Эрматовым и ждем.

Подъезжает на лошади Ашрафхан — смуглый, в белой чалме, с выхоленным лицом и негустой черной бородкой, упитанный, с гордой осанкой.

Когда он остановился возле правления союза батраков, сторож хотел подбежать к нему и помочь слезть с лошади. Но Эрматов, вышедший из помещения, сердитым взглядом удержал сторожа: нечего, мол, помогать, сам слезет. Сторож смутился и отошел. Ишану, может быть, впервые пришлось самому, без услужливой помощи, слезть с лошади и самому же привязать ее к стволу дерева.

Сложив на животе спрятанные в длинные рукава халата руки, Ашрафхан подошел к Эрматову:

— Салам алейкум! Меня сюда вызывали?

— Да, пожалуйста.

Войдя в помещение, ишан сел на скамейку, а Эрматов прошел за свой стол.

Ишан удостоил заметить и узнать меня:

— Здравствуй! И ты здесь? Мне говорил Хамрохон, что ты учишься в Ташкенте и приехал на лето. Молодец, молодец! Что ж ты не заходишь к нам?

Ишан был чрезвычайно любезен, говорил бархатным голосом.

— Спасибо, как-нибудь зайду, — ответил я, смущенный вниманием такого важного человека.

Эрматов сделал серьезное лицо, помолчал, словно набираясь храбрости, и вежливо, но строго стал говорить ишану о его батраке. Предложил немедленно подписать с Хамрохоном договор, в котором будут точно определены обязанности нанимаемого и нанимателя, размер вознаграждения за труд и точные сроки выплаты батраку этого вознаграждения.

Ишан слушал Эрматова молча, с чувством собственного достоинства. Затем ответил, приложив руку к груди:

— Пожалуйста... Я не знал об этих правилах, но они верны и угодны аллаху. Я вырастил этого сироту и всегда заботился о нем сколько мог. Вы изволили назвать его батраком — это не совсем верно. Он усыновлен мной и пользуется всеми правами сына. Все, что мое, в равной мере принадлежит и ему. Но если, несмотря на все это, вы найдете нужным заключить, как вы изволите называть, договор, то я ничего не ска-

жу. Я всегда подчинялся всем правилам, установленным властями.

Я с любопытством ждал, что скажет на это Эрматов. Наверно, он, по своей горячности, накричит на ишана, станет обвинять его в безжалостной эксплуатации, в коварстве... Но, к удивлению моему, он спокойно повернул дело так, как хотел его повернуть.

— Это хорошо, что вы не возражаете против договора. Усыновление — дело души и сердца; пожалуйста, хоть сто раз усыновляйте. Но, видите ли, господин ишан, усыновленный вами Хамрохон работает на вас с утра до ночи. Ему надо быть сытым, одетым, он должен нормально отдыхать и аккуратно получать сполна то, что полагается за его труд, а как раз этого и нет у вас. Вы, должно быть, знаете, что вашей власти уже давно нет — она свергнута; теперь власть принадлежит таким, как Хамрохон, только некоторые из них еще не понимают этого. Но очень скоро они поймут и тогда перестанут работать для обогащения таких эксплуататоров чужого труда, как вы. А такие, как вы, заставляют своих батраков день и ночь работать на вас за кусок хлеба и чашку похлебки. Вы не оставляете им времени подумать о своем положении, о своих правах, а когда они жалуются, вы говорите: «Ты мне сын, все мое — твое». А так ли это на самом деле? Вы, таксыр, лучше меня знаете, что это не так!..

Ишан выслушал его в полном молчании, не пошевелившись. Эрматов закурил папиросу и сказал:

— Приходите завтра вместе с Хамрохоном и подпишите договор. И пожалуйста, не вздумайте его чем-нибудь запугивать!

Ишан произнес только: «Слушаюсь», — и медленно вышел. А Эрматов, едва ишан скрылся за дверью, бросил ему вслед:

— Лиса!.. Сладкими речами хотел обмануть! Не на того напал!

Эрматов не только добился заключения договора, но и настоял, чтобы Хамрохону выплатили натурой за все проработанное время по нормам, установленным законом и договором.

Кроме того, Эрматов заставил ишана предоставить Хамрохону двухнедельный отпуск с сохранением содержания.

Я встретился с Хамрохоном в тот день, когда он, продав на базаре полученное от ишана зерно и закрутив деньги в поясной платок, собирался ехать в Коканд к матери. На нем были новый халат, новая тюрбетейка, новые сапоги на высоких каблуках.

— Ну что, Хамрохон? Ты все ждал, что на тебя упадет взгляд аллаха, а на тебя упал взгляд союза батраков!

Он молча взял двумя руками мою руку и со смущенной улыбкой потряс ее.

— Поеду расскажу все моей матери. Она будет молиться за тебя и за Эрматова.

И на самом деле стоило, чтобы его мать узнала о Шермате Эрматове. После этого случая я еще больше полюбил Шермату, преисполнился к нему самого глубокого уважения. Для меня он был героем. Я иногда думал: «Мог бы я на его месте действовать так же смело и решительно?» Мне хотелось быть таким же смелым и твердым человеком, как он.

...Сказать по правде, я побаивался встречи с ишаном. Конечно, он уже узнал, что это я сообщил в союз батраков о его работнике и из-за меня ему пришлось раскошелиться. Наверно, встретившись, он стал бы бранить и попрекать меня. А я чувствовал какую-то робость перед его важной особой, боялся, что не смогу должным образом ответить ему, и тогда будет стыдно перед Эрматовым.

Но встречи с ишаном я все-таки не избежал.

Однажды я купался в одной из загородок под струей воды нашего родника, падающей из желоба.

— Эй, кто там? — слышу я вдруг сверху сердитый голос.

Поднимаю глаза и над перегородкой вижу голову ишана, смотрящего на меня.

— Кто здесь оскверняет воду мылом? — вопрошает он, хотя отлично знает, что вода из-под желоба стекает в сбросную канаву, откуда никто ею не пользуется.

Лицо у меня в мыле, мыло ест глаза. Я говорю:

— Это я, дядя ишан. Грязная вода отсюда течет в канаву.

— А-а, это ты! — И голова ишана исчезла. Спустя минуту до меня доносится его голос: — Не пускайте сюда этого короткохвостого кофира! Он оскверняет родник!

— Хорошо, таксыр, больше не буду его пускать, — отвечает подобострастно муэдзин.

Кровь бросилась мне в голову. Не пускать меня к нашему роднику? Вот новость! Видно, ишан хочет мстить мне за Хамрохона.

Одеваюсь после купания, выхожу. На каменном возвышении у родника сидит ишан с четырьмя своими бородатыми почитателями из нашего квартала, все в чалмах, потому что скоро час предвечерней молитвы. Напротив, на другой стороне улицы, сидят на корточках, прислонившись к дувалу, несколь-

ко знакомых мне дехкан. Среди них старший брат моего товарища Солеха. Мне нужно было пройти как раз между каменным возвышением и сидящими внизу дехканами. Когда я поравнялся с ними, ишан окликнул меня:

— Эй, подойди-ка сюда!

Я остановился.

— Это ты донес о Хамре? — спросил ишан, глядя на меня сверху вниз.

— Я просто рассказал в союзе батраков, как живет у вас Хамра, и Эрматов захотел помочь ему.

Ишан и его собеседники вперили в меня глаза, скривив рожки в презрительной усмешке.

— Жалко было человека, вот я и рассказал о нем, — заключил я.

— А он просил тебя о помощи?

— Нет, я сам.

— А ведь он, таксыр, хорошо сделал, — услышал я за спиной голос брата Солеха. — Ваш Хамра прямо ожил. Ведь правда, а?

Некоторые из дехкан поддакнули ему. Это меня подбодрило, и я прямо посмотрел в глаза ишану. Он отвернулся.

— Да-а... когда оборванцы и короткохвостые наступают на твоё лицо, остается только молчать, — произнес он тихо, но так, что все — и я и дехкане — услышали его слова.

Я вспыхнул. Эти оскорбительные слова ишана и приказ его не пускать меня к роднику возмутили меня до глубины души. Я чувствовал, что брат Солеха тоже был возмущен и ждал, чтобы я дал отпор ишану.

— Вы, таксыр, в союзе батраков не так разговаривали! Хамру оборванцем сделали вы, а советская власть надела на него сапоги и халат. Будь ваша власть, вы бы из всех нас захотели сделать себе таких слуг, как Хамра, высосать из нас все соки, как пивка! Но теперь это вам не удастся! И не в вашей власти пускать или не пускать меня к роднику! А если вы будете еще оскорблять людей, вас вызовут уже не в союз батраков, а прямо в исполком!

Выпалив все это одним духом, я пошел не оглядываясь, но краем глаза видел, что дехкане посмеивались, прикрывая рукой усы.

Я, конечно, рассказал Эрматову об этом столкновении у родника. Мой ответ ишану он одобрил, даже похвалил меня и все допытывался, кто были дехкане, которые смеялись над ишаном, не было ли среди них членов союза батраков. Я сказал, что были. Эрматов остался очень доволен.

— Год назад они вряд ли смеялись бы над ишаном, а те-

перь смеются. Это результат работы союза! — гордо заявил он.

После этого Шермат, как мне казалось, стал разговаривать со мной совсем по-товарищески и даже посвящал меня в планы готовящейся в кишлаке земельной реформы.

— Скоро мы Ашрафхана и подобных ему баев заставим потесниться. Отберем у них землю и воду и отдадим таким, как Хамрохон. Тогда посмотрим, будут ли они еще обзывать нас оборванцами и короткохвостыми!

Мы с Шерматом очень подружились. Он охотно мне рассказывал о делах союза батраков и о себе самом. Его жизнь была похожа на мою.

Он рос круглым сиротой. У него, как и у меня, был младший брат, которого он опекал. И он, так же как я, ушел из своего кишлака, чтобы учиться.

Иногда после работы или в выходные дни мы ходили с ним гулять в соседние кишлаки Сариджуй или Гова, купались в горных речках и говорили обо всем, что нас волновало. Он рассказал мне о своей любви к одной девушке, которая учится в Ташкентском педтехникуме, спросил меня, бывал ли я там. «Да, бывал несколько раз», — отвечал я. Заметил ли там я высокую, стройную, красивую девушку с длинными, тонкими бровями, с пухлым подбородком? Я никак не мог вспомнить такую девушку. Шермат досадовал на мою ненаблюдательность.

— Как же ты мог ее не заметить? Ведь она самая видная...

Когда я уехал в Ташкент, Шермат передал со мной письмо для нее. Я повез письмо в женский педагогический техникум. По моей просьбе девушку вызвали из общежития. Каково же было мое удивление, когда я увидел длинную, худую девушку, с лицом ничем не привлекательным, и брови у нее были самые обыкновенные, вовсе не такие длинные и тонкие, как рисовал мне Шермат. Подбородок у нее действительно был пухлый, но это не показалось мне чем-то особенно украшающим девушку. Я невольно вспомнил пословицу: «Лейли надо видеть глазами Меджнуна».

БЛЯТВА ИШАНА АШРАФХАНА

Я читал в чайхане дехканам свежий номер газеты. Пришел сторож волостного исполкома и сказал:

— Иди в исполком, Собир. Из Туса приехал секретарь райкома комсомола, спрашивает тебя.

Бегу в исполком. В приезде секретаре комсомола узнаю

Рахматулло Шамсуллаева. Я так обрадовался, словно встретился с родным братом. Чисто выбритый, в парусиновом костюме и синих брезентовых сапогах, Шамсуллаев выглядел молодцом.

— Что же ты не повидался со мной, когда уезжал из Ташкента? — упрекнул он меня.

— Ходил на рабфак, — говорю я, — но тебя там не было. Ты по делу к нам?

— Да, мы тут будем проводить земельную реформу. — Шамсуллаев указал на своих спутников.

Один из них, человек средних лет, с черной бородкой, в простой, но чистой дехканской одежде, был ответственным работником райисполкома, посланным сюда председателем комиссии по земельной реформе. Другой, высокий, худощавый, бледнолицый молодой человек, в белой парусиновой шляпе, был русский, землемер. Шамсуллаев приехал как член комиссии. В нее вошли еще три местных кишлачных активиста, один из них — Эрматов.

Эрматов повел приезжих в отведенную для них комнату, рядом с чайханой. Мы просидели за дружеской беседой до самого вечера. Рахматулло рассказал, что после окончания рабфака его послали в Тус в качестве секретаря районного комитета комсомола и он с увлечением там работает.

На следующий день комиссия по земельной реформе начала свою работу. В один из классов школы внесли столы, скамейки и табуретки. Комиссия вызывала к себе баев, батраков, чоряккоров и расспрашивала их. Шамсуллаев и Эрматов усердно заполняли какие-то документы. А вечером, когда спал дневной зной, члены комиссии вместе с приезжим землемером отправлялись на поля измерять байские земли.

Днем я то и дело прибежал в школу и, устроившись в углу, за спинами наблюдал, как члены комиссии принимали баев, их батраков и чоряккоров.

Одним из первых в комиссию был вызван бай Мирабдулла, толстый, с большим зобом; длинный клин бороды падал ему на грудь, глаза бегали по сторонам. Усевшись на скамейке у стены, он с готовностью отвечал на вопросы членов комиссии; казалось, даже охотно перечислил свои земельные участки, рассказал о своих прошлых и теперешних чоряккорах, обрабатывающих ему эти участки.

Вдруг дверь в комнату полуотворилась, в ней показалась голова хорошо знакомого мне дехкана Хаита.

— Можно войти?

— Войди, Хаит, — ответил ему Эрматов, опережая председателя комиссии.

Хаит не спеша вошел в комнату, оглянулся, выбирая место, где ему сесть. Он был в старых сыромятных сапогах, в которых, наверно, приехал еще из Ташкента. Вслед за ним появился неразлучный его приятель, длинный Шариф. Увидев своего бывшего хозяина, дехкане остановились как вкопанные и смотрели на него с ненавистью.

— Садитесь! — предлагает им председатель комиссии, указывая на скамейку.

После нашего отъезда из Ташкента Шариф и Хаит еще год работали на заводе, потом все же вернулись в свой кишлак. Земли у них не было, и они нанимались на работу то к одному баю, то к другому.

— Вы по какому делу? — спрашивает председатель комиссии.

Хаит смотрит то на зобатого бая, то на председателя комиссии и не спешит с ответом.

— Говори, Хаит, не стесняйся! — подбадривает его Эрматов и сам отвечает председателю: — У них жалоба на Мирабдуллу.

— Да, у нас жалоба на этого душителя! — говорит Хаит, указывая на бая.

Наконец, расхрабрившись, он рассказал, как в голодный год Мирабдулла, воспользовавшись их крайней нуждой, завладел земельными участками и садиками несчастных, умирающих с голоду Шарифа и Хаита, уплатив им только несколько мер кукурузной муки. По возвращении из Ташкента они не раз просили зобатого вернуть им землю, заклинали его аллахом и пророком, соглашались заплатить в десять раз дороже. Но Мирабдулла гнал их прочь.

Хаит указал на меня и сказал:

— Вот он знает, его отец — дай ему аллах место в раю! — приутиль нас, голодных, в Ташкенте, устроил на работу, а этот злодей...

— Ты не кричи здесь, — прервал его Мирабдулла, — рабоче-дехканская власть все рассудит по правде! — И, обращаясь к членам комиссии, сказал своим хриплым голосом: — Хаит и Шариф были должны мне. Они сами согласились отдать свои участки за долги, а я, как истинный мусульманин, все же поддержал их в голодный год. Продажа участков была совершена у казия при свидетелях, с доброго согласия этих людей. Не купи я их землю, она все равно заросла бы травой, потому что сами они не в силах были обработать ее.

— Врешь! Ты выманил у нас землю и сад за кукурузную муку! — крикнул Шариф. — У тебя зерно гнило в закромах,

а бедняки умирали с голоду, и ты подсовывал им кукурузную муку, которую сам не ел!

— Просим комиссию отобрать у него землю и вернуть нам! — добавил Хаит.

— Хорошо, мы разберемся. Подайте заявления.

Когда председатель комиссии сказал это, Шамсуллаев посмотрел в мою сторону и попросил:

— Напиши им заявления.

Я пошел с Хаитом и Шарифом в соседний класс и, усевшись за парту, стал писать им заявления. Я так хорошо знал их историю, что мне не пришлось ничего расспрашивать.

— Смотри-ка, Собир! Тогда твой отец нам помог, а теперь ты помогаешь. Сама судьба сводит нас каждый раз, — говорит Хаит, хлопая меня по плечу.

Изложив в заявлении обстоятельства их дела, я добавил еще, что Мирабдулла — кровопийца и эксплуататор и что надо лишить его земли, воды и совсем прогнать из кишлака. Это все очень понравилось Шарифу и Хаиту.

На третий день в комиссию был вызван ишан Ашрафхан. Неподвижно сидел он на скамейке, скрестив на животе руки, и, стараясь сохранить достоинство, с покорным видом коротко отвечал на вопросы.

Я заметил, что, перечисляя свои земельные владения, он не упомянул о сариджуйских землях, куда еще мой дядя ходил жать хлеб и где я сам собирал колосья. Я хорошо знал Карабая и Тимура — двух дехкан, обрабатывающих сариджуйские земли ишана.

— Таксыр, а почему вы не сказали о вашей земле в Сариджуге? — осмелился я спросить.

Он бросил на меня короткий злобный взгляд и поспешил объяснить комиссии:

— Та земля давно не принадлежит мне, я отдал ее двум дехканам, которые обрабатывают ее.

— Карабаю и Тимуру? — говорю я.

— Да.

— Даром отдали? — спросил Рахматулло.

— За небольшую плату.

— А именно?

— За... за две пары быков.

— Сколько там танапов земли? — спросил председатель комиссии.

— Около двадцати танапов.

— Я не верю ишану! — вдруг резко сказал Шермат.

Ашрафхан поднял на него глаза.

— Вы допускаете, что я могу лгать? В моем сане? — при-

ложив руку к груди и слегка наклонившись вперед в почтительной позе, обратился ишан к Шермату.

— Один раз я уже уличил вас во лжи. Теперь, извините, не очень вам верю.

Ишан с оскорбленным видом опустил глаза в землю и произнес медленно:

— Я никогда не осквернял мои уста ложью. Сариджуйской землей владеют теперь Карабай и Тимур, это правда!

— Вы можете поклясться в этом? — прямо спросил его Шермат, вставая с места.

Председатель комиссии повернулся к нему:

— Зачем это, Эрматов? Здесь не канцелярия казья. Мы все равно проверим заявление ишана.

— Нет, пусть поклянется! — настаивал Шермат.

Члены комиссии недоумевали.

— Пусть покарает меня аллах, если земля в Сариджуде моя! — произнес ишан торжественно и, снова приложив руку к сердцу, обратился к Шермату: — Вы удовлетворены?

— Да! — ничуть не смутившись, ответил Шермат и сел.

— Вы свободны, вопросов к вам больше нет, — сказал ишану председатель комиссии.

Когда Ашрафхан ушел, председатель комиссии недовольным тоном спросил Шермата:

— Зачем тебе нужна была его клятва?

— А к тому, что хотел узнать, сговорился ли он со своими сариджуйскими батраками, научил ли, что надо говорить комиссии по земельной реформе, — возбужденно отвечал Шермат. — Эти негодяи пользуются несознательностью своих батраков, подговаривают их. Вам еще придется повозиться с батраками ишана, чтобы выпытать у них правду. Не сговорившись заранее с Карабаем и Тимуром, ишан не стал бы давать клятву. Вот увидите: дехкане будут говорить то же, что ишан. Думаете легко разоблачать этих коварных врагов? Я их уже раскусил. Если дехкане узнают, что святой ишан дал ложную клятву, тогда никакая агитация не нужна: те же Карабай и Тимур сами отвернутся от него и выложат вам всю правду.

К концу горячей речи Шермата председатель уже с довольной улыбкой смотрел на него:

— Ты прав, мы до этого не додумались.

Шамсуллаев, поднявшись из-за стола, подошел ко мне и спросил:

— Ты знаешь сариджуйских чоряккоров ишана?

— Карабая и Тимура? Очень хорошо знаю.

— Сходи в Сариджуй, поговори с ними, — выразительно подмигнул, сказал мне Шамсуллаев.



Ишан поднялся с огромным трудом и медленно вышел, согнувшись, не поднимая глаз от земли.

До Сариджуя всего четыре версты. Карабая и Тимура я нашел в поле. На паре быков они распахивали пашню, с которой был убран хлеб, — очевидно, под брюкву или морковь. Они сначала меня не узнали, но потом вспомнили и, остановив быков, пошли со мной в тень на берегу канала, чтобы поговорить.

— Неужели вспомнил нас и пришел навестить? — приятно удивляется Карабай, дехканин средних лет, босой, в грязном халате, надетом на голое тело. Развязав платок на голове, он вытирает им потное лицо и шею.

— Дому, где ты однажды ел хлеб-соль, поклоняйся сорок лет, — смеясь, отвечаю я пословицей, хотя цель моего прихода — не только навестить старых знакомых.

Невзначай спрашиваю их о земле, все ли еще она принадлежит ишану.

— А кому же еще? — с удивлением говорит Тимур, широколицый дехканин с редкой бородкой.

Я не верю своим ушам. «Неужели Шермат прав и ишан дал ложную клятву?» — спрашиваю я себя. Направляясь сюда, я все-таки думал, что ишан не мог дать ложной клятвы.

— Ну, теперь-то эта земля будет вашей, — говорю я, показывая рукой на поле, посередине которого под палящими лучами солнца неподвижно стоит пара черных быков с ярмом на шее. — Из района комиссия приехала. Она хочет отобрать у баев излишки земли и отдать батракам и чоряккорам. Значит, и у вас будет теперь земля.

— Слыхали, — говорит Тимур, — только неизвестно, что из этого выйдет...

И они с Карабаем переглядываются.

— А ишан при мне сказал комиссии, что эта земля уже не его, что он давно отдал ее вам. Выходит, он сказал неправду?

Карабай полуотвернулся от меня и смотрел в воду канала, а Тимур стал рвать траву около себя.

Оба долго молчали. Потом Карабай, понизив голос, доверительно сказал мне:

— Дело тут такое... Ты свой человек, тебе можно это открыть... Ведь Ашрафхан не только наш хозяин, он также и наш пир¹, мы оба давно ему дали свои руки, стали его мюридами². Как мы можем отнимать землю у своего пира? Да и сам ишан на днях приезжал, просил нас не срамить его перед властями.

¹ Пир — духовник.

² Мюрид — приверженец главы религиозного ордена (общины).

— Значит, велел говорить комиссии, что земля эта не его, а ваша?

— Да.

Я был поражен тем, что услышал от чоряккоров, а еще больше — проницательностью Эрматова, и сказал дехканам:

— А ишан поклялся, что земля не принадлежит ему!

Они не поверили мне. Я не стал их убеждать.

В кишлак я вернулся поздно вечером и был рад этому: можно было не заходить к Шамсуллаеву. Я должен был бы рассказать ему все, но я не мог выдать тайну, которую доверили мне мои знакомые.

На другой день я тихо сидел у своего телефонного аппарата, когда ко мне зашли Эрматов и Шамсуллаев.

— Что же ты не идешь к нам? Ты был в Сариджуге? — сразу спросил Шамсуллаев.

— Был.

— Видел батраков?

— Да.

— Ну, что ты у них узнал?

— Вызовите их, поговорите с ними сами.

— Мы их, конечно, позовем, но ты-то что узнал? Земля их или ишана?

Я молчал.

— Ну, все понятно без слов. Они тебе в чем-то открылись, а ты не хочешь их выдавать! — догадался Шамсуллаев. — Зачем же мы тогда посылали тебя в Сариджуй? — И, уже выходя из комнаты, добавил: — В данном случае было бы лучше, если бы ты сказал. Дело-то ведь государственное, и речь идет о пользе твоих же друзей.

В школу, где работала комиссия, я пошел только тогда, когда увидел в окно направляющихся туда Карабая и Тимура.

— Что же это получается? В налоговых листках вы называете себя чоряккорами, а земля-то, оказывается, ваша! Почему обманываете государство? — спросил Шермат, как только Карабай и Тимур уселись на скамейку.

Вопрос был для них совершенно неожиданный. Они растерянно глядели на членов комиссии, на меня и друг на друга.

— Э... вот эта... которая... земля-то сама... она перешла к нам совсем недавно, — промямлил Карабай.

— Когда? — спросил председатель комиссии.

— Э... вот... это самое... месяц назад.

— Не морочьте голову ни себе, ни нам! Говорите все как есть, — сказал Шамсуллаев.

Сбитые с толку, Карабай и Тимур не знали, что говорить. Тимур бросал подозрительные взгляды в мою сторону.

— Тимур-ака, говорите правду! От комиссии ничего не надо утаивать, — сказал я им.

Оба они уставились на меня и долго смотрели — видно, хотели узнать по моим глазам, рассказывал я комиссии о нашем разговоре или не рассказывал. Я поощрительно кивнул им.

— Да... Так и есть, — произнес наконец Тимур.

— Что «так и есть»? — спросил председатель.

— Мы чоряккоры...

Шермат взглянул на председателя, встретился с ним глазами и прищелкнул языком, как бы говоря: вот, мол, видите? Он вскочил и, отворив дверь, крикнул сторожу:

— Эргаш-ака, позовите-ка сюда ишана Ашрафхана!

Ашрафхан был тоже вызван заранее и ждал где-то поблизости. Он вошел спокойно, как всегда сохраняя полное достоинство. Ишан был уверен, что его мюриды не изменят ему.

— Садитесь, таксыр, — предложил ему Шермат, который от возбуждения все время вскакивал и прохаживался по комнате. — Повторите-ка вашу вчерашнюю клятву, — попросил он ишана.

Ашрафхан вздрогнул, посмотрел на своих мюридов и молча склонил голову.

— Выходит, таксыр, Эрматов был прав — нельзя вам верить? — спокойно сказал председатель комиссии. — А знаете что? Вот они говорят, что были и остаются вашими чоряккорами. — Председатель указал на Карабая и Тимура.

Часто моргая, Ашрафхан повернул голову в сторону своих батраков, но они сидели не поднимая глаз.

— Ваш ишан вчера сказал нам: «Пусть покарает меня аллах, если земля в Сариджуге моя!» — торжествующе сообщил Шермат, обращаясь к чоряккорам.

Они оба одновременно подняли голову, словно только что очнулись, и вопросительно уставились на ишана.

— Это верно, таксыр? — робко спросил Карабай. — Вы клялись?

Весь вид их ясно говорил, что в эту минуту подвергалась решительному испытанию их вера в своего пира. Если он, их ишан, их духовник, так легко обманывает людей и аллаха, как же верить ему!

Ашрафхан весь сжался, как зверь, попавший в капкан, и замер, словно любое движение могло причинить ему боль.

— Все ясно. Можете идти, таксыр, — сказал председатель.

Ишан поднялся, как мне показалось, с огромным трудом, словно на него взвалили тяжелую ношу, и медленно вышел, согнувшись, не поднимая глаз от земли. От прежней его гордой осанки не осталось и следа.

— Кому мы дали наши руки? — качая головой, тихо сказал Тимур потрясенному Карабаю.

Судьба сариджуйской земли была решена: отныне она переходила в полное владение тех, кто много лет обрабатывал ее, — бывших чоряккоров ишана.

...Спустя несколько дней во дворе волостного исполкома проходило многолюдное собрание дехкан. Шамсуллаев объявлял решение уездного исполнительного комитета о передаче излишков байских земель батракам, чоряккoram, малоземельным дехканам.

Получили назад от Мирабдуллы свои земельные участки со значительной придачей Шариф и Хаит. Получили сариджуйские земли бывшие батраки ишана Ашрафхана. Получили землю и многие другие безземельные люди кишлака.

После оглашения длинного постановления председательствующий спросил собравшихся:

— Кто хочет взять слово?

Поднял руку в задних рядах длинный Шариф.

— Люди! — громко обратился он к своим односельчанам, выходя вперед. — Кто такой я, Шариф, вы знаете! С того дня, как помню себя, я не выпускал из рук кетменя. Посмотрите на мои ладони! — Шариф вытянул вперед свои длинные руки. — С них никогда не сходят мозоли... Вы знаете и моего отца, он жил чоряккором и умер чоряккором. Отец всегда говорил мне: «Сын, правды не ищи, правды на этом свете нет». А вот, оказывается, она есть. — Тут голос Шарифа дрогнул. — Есть для нас правда, люди! — Вытерев глаза рукавом, он повернулся к президиуму и, сложив руки на груди, согнулся в поклоне:

— Спасибо нашей рабоче-деханской власти, сто раз спасибо!

КОМСОМОЛЬСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Уезжая из нашего кишлака, Шамсуллаев сказал мне:

— Приходи на этих днях в Тус. Приближается праздник курбан-байрам. Мы готовим антирелигиозный спектакль. Ты будешь в нем участвовать.

Шермат уговорил начальника милиции при волостном исполкоме временно замещать меня у телефона, и дня через три я отправился в Тус.

Шамсуллаев, которого я нашел в райкоме комсомола, повел меня в дом, где происходили репетиции спектакля.

Посреди небольшого, чисто подметенного двора был разбит цветник, в котором цвели белые и красные розы, лиловые и розовые астры, пышные георгины, выюны на палочках. Цветник окаймляла пахучая мята.

На широком деревянном помосте, покрытом ковром, и на террасе, тянувшейся вдоль дома, группа незнакомых мне молодых людей репетировала какую-то пьесу.

Шамсуллаев познакомил меня со стройным юношей, по имени Асад. Это был один из тех молодых людей, что вызывают симпатию и доверие с первого взгляда. Во всех его движениях и в обращении сквозило чувство собственного достоинства и уважения к людям. Открытый, серьезный взгляд его привлекал своей сосредоточенностью.

Асад оказался постановщиком спектакля и хозяином этого дома. Отца у него не было, а мать его переехала на лето в загородный сад. В городском доме Асад жил вдвоем с младшим братом Ахадом.

— Это мой друг из Ташкента, — отрекомендовал меня Шамсуллаев. — Я вызвал его из кишлака участвовать в твоём спектакле.

Шамсуллаев скоро ушел.

Посидев и послушав, я узнал, что репетируется один из вариантов двухактной пьесы «Ишан-обманщик». Живет в кишлаке ишан, притворяется святым. К нему приходят женщины за всякими амулетами или с просьбами, чтобы он, прочитав молитву, подул на них, вымолил им у бога сына или дочку. А ишан, обещая исполнить их желание, начинает заигрывать с женщинами. Живет он богато и сытно за счет обманутых им прихожан, которые не скупятся на приношения. Комсомольцы кишлака решают разоблачить его. С этой целью один из них, учитель, надевает паранджу, идет к ишану и начинает притворно просить его вымолить у бога дитя. Ишан в ответ расточает мнимой посетительнице сладкие, ласковые слова и пытается обнять ее. Тогда учитель сбрасывает паранджу — и ишан разоблачен... В этот момент в комнату врываются другие комсомольцы, товарищи учителя, участвующие в заговоре.

Этот спектакль был затеян Шамсуллаевым, а разыгрывали его такие же, как я, учащиеся, приехавшие на каникулы в Тус.

Часа через два «актеры» стали расходиться. Я тоже хотел уйти, но Асад задержал меня. Мы посидели с ним, поговорили, и он, узнав кто я и откуда прибыл, предложил мне пожить у них. Меня смутило такое предложение, и я не знал, что ответить.

Общество Асада сулило мне много интересного, но я стеснялся быть кому-нибудь обузой — ведь денег у меня не было. Очевидно угадав это, Асад сказал:

— Ты ни о чем не беспокойся, чувствуй себя здесь как дома. Мама оставила нам муки, риса, сала — хватит на все лето. Будем хозяйничать втроем. Кстати, у меня есть интересные книги, будем читать. Согласен?

Асад попал в цель: при упоминании о книгах у меня исчезли все сомнения, и я остался.

Каждый день с утра приходили «актеры» репетировать пьесу. Репетиции проходили очень весело, сопровождались шутками, остротами; на ходу вносились в пьесу изменения, дописывались новые диалоги и реплики. Я переписывал роли, иногда заменял суфлера.

Наконец спектакль был готов. За несколько дней до наступления мусульманского праздника курбан-байрам мы развесили по улицам афиши, приглашая на вечер всех желающих: спектакль был бесплатный.

С большим трудом мы оборудовали сцену в клубе исполкома. Спектакль в этом клубе ставился впервые, поэтому мы с некоторым беспокойством ждали назначенного вечера — придут ли зрители?

Но опасения наши были напрасны. Еще задолго до начала спектакля зал был битком набит; даже проходы между скамейками были заполнены зрителями. Люди устраивались на подоконниках и в нишах.

Публика была самая разнообразная: наш спектакль пришли смотреть дехкане, учителя, работники районных учреждений, ремесленники, лавочники.

Представление началось. Удачные реплики, остроты вызвали в зале шумные аплодисменты, одобрительные выкрики. Нередко кто-нибудь из зрителей прибавлял что-то свое к словам «актеров». Когда на сцене появлялся ишан-обманщик, молодежь в зале вслух насмеялась над ним.

Шамсуллаев и все мы, участники спектакля, были в восторге от горячего приема зрителями нашей постановки. Наверно, не было еще спектакля, в котором весь зрительный зал принимал такое живое участие.

— Как любит наш народ театр! — восторженно говорил Шамсуллаев, прибегая за кулисы. — Вы видели когда-нибудь

таких зрителей? А я-то все огорчался, что сцена плохая, бедная, лампы плохо ее освещают!

Перед началом второго акта за сценой неожиданно начался переполох: один из «актеров», Шукур, который должен был играть учителя, являющегося к ишану под паранджой, категорически отказался выйти на сцену.

— Хоть убейте, не буду играть! Не буду — и все! — заявил он и ушел домой.

Причина его отказа играть выяснилась уже после спектакля: оказалось, что дядя Шукура, известный мулла, у которого жил наш «актер», сидел в первом ряду, прямо перед сценой, и Шукур не осмелился при нем срамить ишана.

Зал гудел, неистово хлопал в ладоши, требуя открытия занавеса.

Шамсуллаев и все участники были в полной растерянности. У бедного Асада дрожали губы. Я был за кулисами — помогал переодеваться, закрывать и открывать занавес.

Вдруг подходит ко мне Шамсуллаев и говорит:

— Выходи ты вместо Шукура!

Я в страхе стал отмахиваться:

— Что вы! Я не репетировал, роли не знаю!

— Нет, ты все-таки знаком с пьесой, видел не раз репетиции! Сможешь! Выходи скорее!

К Шамсуллаеву присоединился и Асад, видя во мне спасение.

— Выручай, Собир, дорогой! — умолял он меня.

А зал все шумел и требовал продолжения спектакля.

Не дав мне больше возразить, быстро набросили на меня паранджу и вытолкнули на сцену. Там уже сидел ишан в ожидании посетительницы. Теперь для меня не было отступления.

Я начал говорить. Шум в зале мешал мне слышать суфлера. Я улавливал только отдельные его слова, а остальное вспоминал или же сочинял на ходу. Сначала как будто все шло гладко. Но вот ишан начинает заигрывать со мной, протягивает руку под паранджу... Я резко сбрасываю ее... Смертельно испуганный ишан узнает учителя...

Зал бешено рукоплещет, я слышу выкрики ворвавшихся в комнату «актеров» — моих товарищей, которые должны засвидетельствовать посрамление ишана... На сцене шум, крик, ни одного слова суфлера невозможно уловить. Краем глаза я вижу только его сердитое, взволнованное лицо, открывающийся и закрывающийся рот.

Но время не ждет. Я должен действовать, обвинять ишана. И я начинаю.

— Вы притворяетесь святым, а на самом деле вы обманщик! — кричу я в лицо ишану. — Ни совести, ни стыда у вас нет!.. Вы жадный, ненасытный дармоед!.. Вы называете нас, детей трудящихся, короткохвостыми, запрещаете нам купаться у родника, не даете мыться мылом!.. Вы скрываете от комиссии по земельной реформе свои земли, а когда советская власть хочет защитить от вас батрака, вы говорите: «Я его усыновил». Это ложь!

Растерянный «ишан» делает мне знаки и шепчет:

— Дурень, ведь у меня ответ не на эти слова!

А я кричу ему:

— А, вы не можете мне ответить! Нет у вас ответа, потому что я говорю правду!.. Народ видит, что вы бессовестные обманщики, и не будет вам верить!.. Вот погодите, советская власть отрежет у вас земли и отдаст батракам! Тогда мы посмотрим, будете ли вы еще восседать у родника и обзывать нас короткохвостыми!..

Зрители аплодировали, стучали ногами от удовольствия, кричали:

— Верно!.. Правду сказал!.. Прохвосты они, ишаны!.. В милицию его!..

Наконец до меня доносятся слова суфлера:

— Хватит! Все испортил! Занавес!

Занавес начал сдвигаться. Но я продолжал кричать ишану:

— Ваше время прошло! Теперь власть рабочих, батраков, чоряккоров!

Снова взрыв аплодисментов. Занавес опять раздвигается. Суфлер ошалело твердит:

— Занавес! Занавес!

Ухожу со сцены и за кулисами встречаю ошеломленного Асада, который только машет руками, качает головой и ничего не может выговорить. Другие ребята хохочут, держась за животы. Наконец Асад обрел дар речи и набросился на меня.

— Что ты наделал! Там были совсем другие слова! Ты не дал ишану играть, все испортил!.. Какой бред ты нес! Откуда взял родники, короткохвостых? Ты в уме или нет?

«Актеры» тоже негодовали:

— Ты все перепутал, не дал никому говорить!

Они бранили меня все хором.

Наверняка произошла бы драка, если бы не появился в этот момент Шамсуллаев. При одном взгляде на него я понял, что он доволен мной.

— Тише! Не кричите! — успокаивал он негодующих уча-

стников спектакля. — Что вы хотите? Чем недовольны? Вы посмотрите, как спектакль понравился зрителям! Слышите, еще до сих пор аплодируют! Ишан разоблачен, посрамлен. Цель спектакля достигнута! Больше нам ничего и не надо! — говорил Шамсуллаев и, хлопнув меня по плечу, добавил, смеясь: — Молодец! Я не ожидал, что ты так проведешь свою роль!

Несмотря на то что Асад и многие товарищи были недовольны моим дебютом и сердились на меня, самому мне было весело.

Я до конца рассчитался с ишаном.

„ТЫ — СЫН ЛЕНИНА, СОБИР!“

Как ни хорошо мне было в Тусе, где я приобрел много новых товарищей и где жил мой любимый друг Рахматулло, мне пора было возвращаться в свой кишлак. Ведь я «на государственной службе». Начальник милиции, взявший на себя на время моего отсутствия выполнение моих обязанностей волостного телефониста, наверно, уже ругает меня.

«Поеду в кишлак, поработаю еще телефонистом, получу зарплату — и снова в Ташкент!» — думал я.

Но Рахматулло не отпустил меня.

— Тебе пора подумать о вступлении в комсомол, — сказал он мне. — Подай заявление в ячейку. Мы здесь примем тебя. Поедешь к себе в институт комсомольцем.

Разве я мог возражать против такого предложения! Стать комсомольцем, таким, как Шермат и каким был недавно сам Рахматулло, — разве это не было моей мечтой? Правда, я мог вступить в комсомол и в кишлаке, но тут районная ячейка, райком комсомола. За меня будет голосовать сам секретарь райкома!

Я остался в Тусе. Комсомольцы собрались в том же клубе, где народ всего несколько дней назад шумно рукоплескал нашему первому молодежному спектаклю.

Прежде всего комсомольское собрание единогласно исключило из комсомола Шукура, который своим внезапным отказом играть комсомольца — разоблачителя ишана чуть не сорвал наш агитационный спектакль. Никто не хотел простить Шукуру трусости перед дядей-муллою. Комсомольцы, бывшие товарищи Шукура, поднявшись на сцену, называли его кулацким охвостьем, изменником, классовым врагом.

Для него наш спектакль был только развлечением, веселой

забавой, а для нас он явился полем классового боя. Не могло быть никакой пощады трусу, в момент решительной схватки дезертировавшему с поля боя!

Следующим вопросом был прием в комсомол. Первой стояла моя кандидатура.

Этот день остался в памяти как один из самых светлых и счастливых дней моей юности. Товарищи говорили, что я, пионер Собир Умаров, достоин быть в рядах Ленинского комсомола, что я завоевал это право. Рахматулло вспоминал ин-тернат, старого плотника Додобоя, прошедший на днях спектакль. А Шермат, один из моих поручителей, специально прибывший на это собрание из кишлака, рассказывал о батраке ишана Хамрохоне, о моей встрече с ишаном на роднике, о кишлачной красной чайхане, где я читал газеты дехканам.

Я слушал и удивлялся значительности, которую получал в их передаче тот или иной мой поступок. Мне и в голову не приходило, что, помогая старику Додобю, сообщая в союз батраков о Хамрохоне или защищая бабушку Мастуру от ее жадного и суеверного соседа, я делаю что-то важное. Эти поступки не стоили мне никакого труда, и любой человек на моем месте поступил бы точно так... Но вот, оказывается, по этим отдельным маленьким поступкам люди определяли свое отношение ко мне, судили обо мне, делали какие-то выводы даже о моей будущности. Я удивлялся теперь и в то же время возвышался сам в собственных глазах и с сожалением вспоминал другие случаи в своей жизни, когда я мог сделать что-нибудь хорошее, но не сделал.

По уставу, меня, как дехканского сына и студента, следовало принять кандидатом в члены комсомола, но Шермат предложил принять меня прямо в члены.

По его мнению, меня можно было считать сыном рабочего, так как мой отец последние годы работал на заводе, а полгода учения в Таджикском институте просвещения не могли изменить моего социального положения; что же касается испытания, которое должен пройти новичок за время пребывания в кандидатах, то Шермат сказал, что я уже прошел все испытания. Не знаю, было ли тут нарушение устава или не было, но мнение моего поручителя взяло верх, и я был принят в члены комсомола.

На этом собрании я впервые почувствовал себя взрослым человеком. Я пришел на него ребенком, а ушел юношей. Все, что я делал до сих пор, казалось мне далеким, ребяческим, несерьезным. Настоящая, большая жизнь начиналась только теперь.

Я — комсомолец! В душе своей, переполненной радостью,

гордостью, надеждой, я ощущал прилив силы, желание отдать всего себя учению, работе, служению моему народу. Мир казался мне прекрасным, и жить в нем, сознавая себя борцом-ленинцем, было великим счастьем.

Мою радость не могла омрачить даже внезапная, как стихийное бедствие, встреча с Хидыром. Он приехал в Тус и разыскав меня, потребовал долг. Выплатить ему сейчас семь рублей пятьдесят копеек не было у меня никакой возможности. Не полученной еще зарплаты «волостного телефониста» должно было хватить мне только на обратный проезд в Ташкент — я ни за что не хотел ее трогать. Других же средств у меня не было. Обратиться за помощью к моим друзьям я считал невозможным: мне даже стыдно было бы признаться им, что я должен изгнанному из интерната байскому сыну. А Хидыр требовал деньги немедленно. С трудом я выпросил у него отсрочку на два дня.

Два дня прошли, но денег я не достал.

Хидыр вдруг предложил мне отработать свой долг. Начался сбор хлопка; надо было сейчас же отправиться в Курган и три дня с утра до ночи собирать у них хлопок. В первую минуту я даже обрадовался такому предложению. Сбор хлопка — нетрудное дело, даже приятное, и мне к нему не приывать. К тому же работать придется всего три дня. Подумав для вида, я сказал Хидыру:

— Согласен. Пойдем.

Мы направились в Курган. Хидыр стал разговаривать со мной дружелюбнее. Когда мы, оставив Тус позади, вышли на проселочную дорогу, он сказал мне:

— Ты молодец! Я думал — побоишься работы. Знаешь, брат как раз хотел нанять мардикоров-сборщиков. Три мардикора уже работают у нас, но их мало. Хлопка мы посеяли в этом году на тридцати танапах.

Как только Хидыр упомянул о мардикорах, меня сразу осенило. Мардикоры! Значит, я мардикор, батрак, и меня нанимают? Нанимает бай?

Холод пробежал у меня по спине. Я спросил, сколько они платят мардикорам за работу. Хидыр сказал — по сорок копеек в день.

— Но тебе мы сделаем исключение, — добавил он. — Для меня важно то, что ты согласился пойти к нам работать.

Все понятно: Хидыру нужно мое унижение. За это он готов даже отказаться от денег. Не с этой ли целью — унижить меня потом! — он так любезно предложил мне в Ташкенте деньги? Я был возмущен до глубины души. Нет, он не дожидается моего унижения!

Я готов тысячу дней работать там, где мне укажет советская власть, мои друзья и товарищи по комсомолу, но ни одного дня — у Хидыра! Даже ни одного часа. Хозяин теперь я, а не Хидыр!

— А знаешь, я передумал: не пойду к вам работать. Долг верну в Тусе... — И, резко повернувшись, я пошел назад.

Он кричал и звал меня, но я не оглянулся.

Я знал, что финотдел некоторым приехавшим на каникулы учащимся поручал за плату какие-то работы. И я прямо направился туда. Там мне предложили заполнять налоговые листы. За каждый заполненный лист платили одну копейку. Неожиданно мне пришла в голову замечательная мысль — попросить заполнить налоговые листы по Кургану. Просьба моя была удовлетворена.

Я сидел во дворе финотдела за столиком со стопкой налоговых листов, когда явился Хидыр. Он удивительно быстро разыскивал меня в Тусе. Не отрываясь от работы, я сказал:

— Деньги получишь в следующий четверг. Всё.

Наверно, он устроил бы скандал, если бы я был тут один. Но, кроме меня, здесь работали еще четыре человека. Хидыр не решился скандалить и ушел.

Работал я по десяти — двенадцати часов в сутки. За шесть дней мне удалось заполнить восемьсот листов. Мне выдали восемь рублей.

Теперь я уже сам искал Хидыра. Он явился в полдень. В коридоре финотдела я вручил ему одной рукой семь рублей пятьдесят копеек, а другой — налоговый лист на их хозяйство: инспектор финотдела, комсомолец, согласился отдать мне его для вручения налогоплательщику.

— Плати! — сказал я Хидыру. — Отсрочка не допускается! — И пошел прочь от него.

Август подходит к концу. Пора мне собираться в путь — в Ташкент. Я уже съездил попрощаться с братишкой Мухтаром и ждал только Шамсуллаева, который уехал в Наманганский уездный комитет комсомола и обещал привезти мне от туда комсомольский билет.

Он сдержал слово. Двадцать шестого августа новенький комсомольский билет с портретом Ленина на обложке был у меня в руках.

Я пошел в районо проститься с Азизом Каримом.

— Комсомольский билет получил? — спросил он меня.

— Да, учитель.

Поднявшись из-за стола, Азиз Карим крепко пожал мне руку:

— Поздравляю! Теперь ты стал сыном Ленина, Собир! Ты понимаешь, что это значит?

— Да, учитель.

— Ильич завещал молодежи учиться, учиться и учиться. Помни это, Собир, выполняй завет нашего великого учителя и отца! — сказал Азиз Карим на прощание.

На улице меня ждал фаэтон с двумя пассажирами, с которыми я сговорился ехать до станции. Тут же стояли пришедшие проводить меня Шамсуллаев и Асад.

Я долго еще махал им рукой, стоя в фаэтоне, уносившем меня от родных мест.

Ярко светило утреннее солнце. Лошади бежали по улице, политой водой и еще прохладной.

Тени высоких тополей ровными полосами ложились на дорогу, делая ее похожей на полосатый шелк. Шумный, весь в пене, поток мчал свои воды рядом с дорогой, словно вперегонки с фаэтоном. Вокруг до самого горизонта расстился узорный ковер пашен и садов. А далеко впереди дымчатые вершины гор казались нарисованными на прозрачном синем стекле неба.

Сверкающая солнечная даль звала.



СТРАНЫ СВЕТА СХОДЯТ С МЕСТА

Маленький компас — очень упрямая машина, ребята. И если не совать под нее железки и не портить ее зря, стрелка компаса, что бы не случилось, всегда показывает одним своим концом на север, другим — на юг.

На севере и на юге, на западе и на востоке, каждый по-своему, жили и живут народы нашей земли. И чем дальше на север, чем дальше на восток, на юг, тем труднее жили люди. Казалось, навечно утвердилась темная нищета во льдах Чукотки, в азиатских пустынях и джунглях и нет такой силы, чтобы изменить и переделать наново эту трудную жизнь. Да и нужно ли ее переделывать? Кое-кому это было невыгодно. Известно издавна, что безоружного нищего ограбить легче, чем богатея, вооруженного до зубов. Ведь на самом-то деле огромные сказочные богатства лежали под ногами у голодных таджиков, индусов, чукчей и эвенков. Империалистические грабители все делали для того, чтобы так они оставались на своих местах — вечные страны света со своими вечными «порядками» голода и темноты.

В очередном томе пионерской библиотеки печатаются рядом, как будто нарочно, две повести — Н. Шундика «На севере дальнем» и С. Улуг-Зода «Утро нашей жизни». Многие тысячи километров от севера к югу разделяют героев этих повестей. Ледяные торосы Чукотки, суровое дыхание Северного Ледовитого океана и палящее солнце Таджикистана, разные люди, разные судьбы, разные сюжеты книжек. Зачем бы объединять их под одной крышей?

Север, юг и восток сходят со своих «вечных» мест. Почти одновременно приходят в закопченные чукотские яранги и таджикские кишлаки новые сильные люди, простые, скромные посланцы ленинской партии, ленинского комсомола. В прах разлетается страшная колдовская сила чукотского шамана Мэнгылю, помощника иностранных бандитов и грабителей; мощного движения ленинских идей не могут остановить жадные мирабы, жестокие басмачи и хитрые муллы в повести

Улуг-Зода; у тебя на глазах мужают, становятся настоящими юными ленинцами вчерашние маленькие чукчи и таджики.

И ты вдруг начинаешь понимать что такое великая сила ленинского дела. Пора тебе это понимать! Гордись, что это сила у тебя в руках. Живя в больших городах и селах Советского Союза, мы уже слишком привыкли к своему пионерскому галстуку, комсомольскому билету.

В книжках Шундика и Улуг-Зода пионерские галстуки и комсомольские билеты завоевываются трудной жизнью и настоящей борьбой; это уже не только литература — это свидетельство истории, правдивый и торжественный ее урок. Прочтя эти книги, ты становишься еще немного умней и старше.

Нет смысла пересказывать здесь сюжеты обеих книг. Повести прочитаны, урок окончен, с героями читатели познакомились сами, и что-то главное не забудется никогда.

Можно эти повести читать поодиночке, так они и писались, каждая сама по себе. Писатели не думали о том, что придет время и придется им со своими книжками стоять перед читателем рядом. И все-таки, пожалуй, лучше читать обе книги сразу — одну за другой.

Н. Шундик посвятил свою книгу пионерам Чукотки, Улуг-Зода — своим детям. Ну что ж, дети Улуг-Зода и чукотские ребята — это одна семья.

Ребята Дальнего Севера и такого же дальнего среднеазиатского юга и вместе с ними москвичи, ленинградцы, сибиряки найдут в книгах Шундика и Улуг-Зода большую правду истории и подлинную правду искусства. Авторы отлично знают материал, быт, природу и обычаи народов, о которых пишут. По их книгам действительно можно учиться истории и географии, а самое главное — уметь строить жизнь.

Сейчас мы с вами, ребята, присутствуем при событии огромной важности. Во всем мире рушится, казалось бы, незыблемая система колониализма, система угнетения и грабежа народов.

В великой борьбе народов за независимость, за национальное освобождение огромную роль сыграла и еще сыграет сила ленинского примера, ленинского дела, сила коммунистического учения, коммунистического света.

Поэтому читайте книжки внимательней, учитесь лучше. Будьте готовыми к борьбе за дело Ленина!

Борис Емельянов

СОДЕРЖАНИЕ

НИКОЛАЙ ШУНДИК.

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ. *Рисунки Н. Кочергина* 5

Часть первая. У ледяной границы 7

Часть вторая. Факелы в черной ночи 107

Часть третья. Счастливые берега 178

С. УЛУГ-ЗОДА.

УТРО НАШЕЙ ЖИЗНИ. *Рисунки П. Кирпичева* 279

Б. Емельянов. Страны света сходят с места 541

Оформление Н. Муц

БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА

т. X

Шундик Николай Елисеевич

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ

Сатым Улуг-Зода

УТРО НАШЕЙ ЖИЗНИ

Ответственные редакторы
В. М. Щ у к а р ь и Г. И. М о с к о в с к а я
Художественный редактор
Н. З. Л е в и н с к а я
Технический редактор
Е. Д. Г р а к о в а

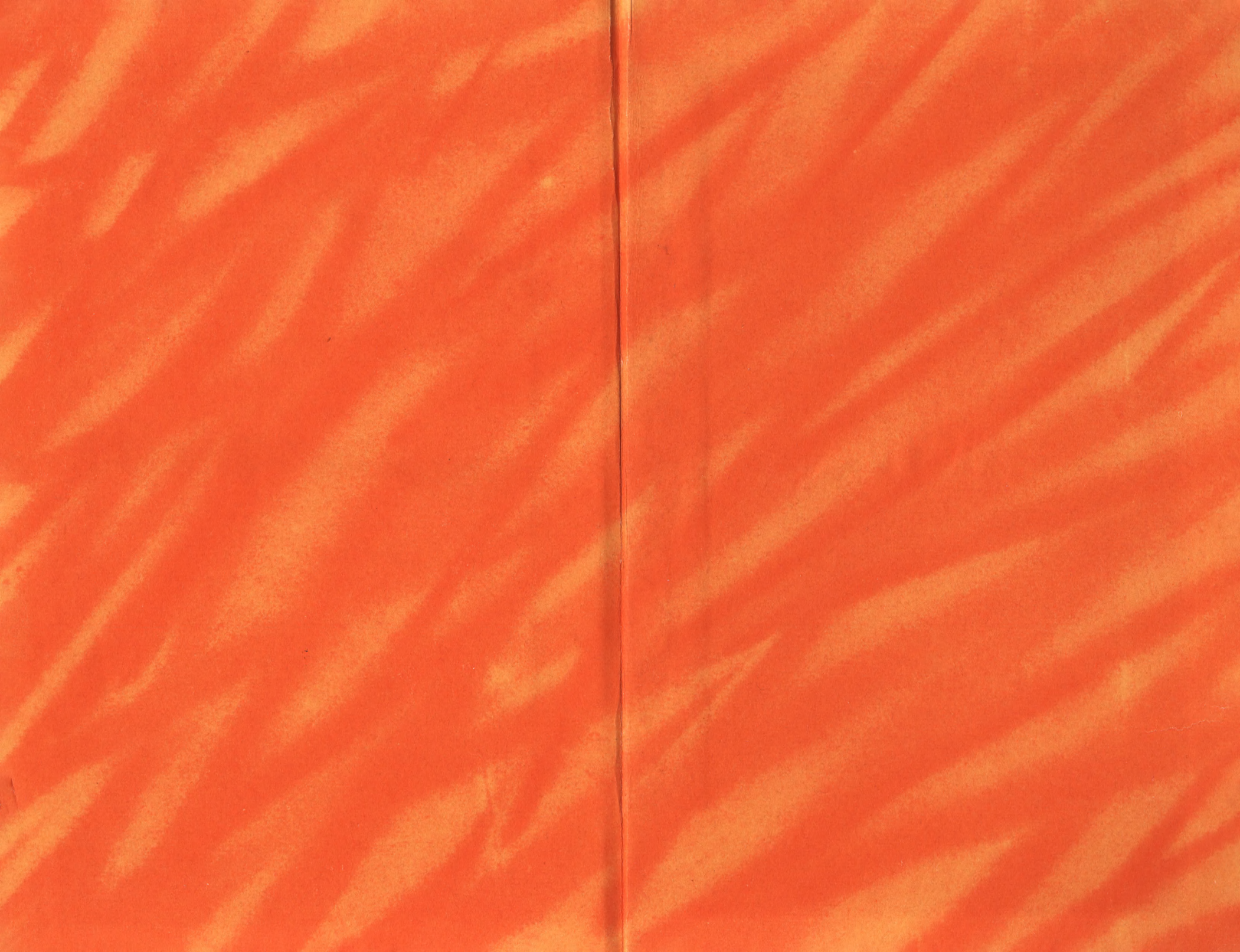
Корректоры
Э. Л. Л о ф е н ф е л ь д и
К. И. П е т р о в с к а я.

Сдано в набор 28/X 1963 г. Подписано к печати 3/II 1964 г. Формат 60×90¹/₁₆. Печ. л. 34. Уч.-изд. л. 32,44. Тираж 200 000 экз. А01460.

Цена 1 р. 22 к.
Детгиз, Москва, М. Черкасский пер., 1.

* * *

Фабрика детской книги № 1.
Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 5661.



1p. 22a.



Н. ШУНДИК

НА СЕРЬЕ
ДЛЯ ШКОЛ



С. УЛУГ-ЗОДА

УТРО
БАЩЕЙ
ЖУЗЫ

